НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ



Генночке
от мамы.
24/II-62 года



НИКОЛАЙ
ОСТРОВСКИЙ

Как закалялась сталь

★

Рожденные бурей

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАРЕЛЬСКОЙ АССР
ПЕТРОЗАВОДСК
1961



Как закалялась сталь

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Кто из вас перед праздником приходил ко мне домой отвечать урок — встаньте!

Обрюзглый человек в рясе, с тяжелым крестом на шее, угрожающе посмотрел на учеников.

Маленькие злые глазки точно прокалывали всех шестерых, поднявшихся со скамеек,— четырех мальчиков и двух девочек. Дети боязливо посматривали на человека в рясе.

— Вы садитесь,— махнул поп в сторону девочек.

Те быстро сели, облегченно вздохнув.

Глазки отца Василия сосредоточились на четырех фигурках.

— Идите-ка сюда, голубчики!

Отец Василий поднялся, отодвинул стул и подошел вплотную к сбившимся в кучку ребятам.

— Кто из вас, подлецов, курит?

Все четверо тихо ответили:

— Мы не курим, батюшка.

Лицо попа побагровело.

— Не курите, мерзавцы, а махорку кто в тесто насыпал? Не курите? А вот мы сейчас посмотрим! Выверните карманы! Ну, живо! Что я вам говорю? Выворачивайте!

Трое начали вынимать содержимое своих карманов на стол.

Поп внимательно просматривал швы, ища следы табака, но не нашел ничего и принялся за четвертого, черноглазого, в серенькой рубашке и синих штанах с заплатами на коленях.

— А ты что, как истукан, стоишь?

Черноглазый, глядя с затаенной ненавистью, глухо ответил:

— У меня нет карманов,— и провел руками по зашитым швам.

— А-а-а, нет карманов! Так ты думаешь, я не знаю, кто мог сделать такую подлость — испортить тесто! Ты думаешь, что и теперь останешься в школе? Нет, голубчик, это тебе даром не пройдет. В прошлый раз только твоя мать упросила оставить тебя, ну, а теперь уж конец. Марш из класса! — Он больно схватил за ухо и вышвырнул мальчишку в коридор, закрыв за ним дверь.

Класс затих, съежился. Никто не понимал, почему Павку Корчагина выгнали из школы. Только Сережка Брузжак, друг и приятель Павки, видел, как Павка насыпал попу в пасхальное тесто горсть махры там, на кухне, где ожидали попа шестеро неуспевающих учеников. Им пришлось отвечать уроки уже на квартире у попа.

Выгнанный Павка присел на последней ступеньке крыльца. Он думал о том, как ему явиться домой и что сказать матери, такой заботливой, работающей с утра до поздней ночи кухаркой у акцизного инспектора.

Павку душили слезы:

«Ну что мне теперь делать? И все из-за этого проклятого попа. И на черта я ему махры насыпал? Сережка подбил. «Давай,— говорит,— насыплем гадюке вредному». Вот и всыпали. Сережке ничего, а меня, наверное, выгонят».

Уже давно началась эта вражда с отцом Василием. Как-то подрался Павка с Левчуковым Мишкой, и его оставили без обеда. Чтобы не шалил в пустом классе, учитель привел шалуна к старшим, во второй класс. Павка уселся на заднюю скамью.

Учитель, сухонький, в черном пиджаке, рассказывал про землю, светила. Павка слушал, разинув рот от удивления, что земля уже существует много миллионов лет и что звезды тоже вроде земли. До того был удивлен услышанным, что даже пожелал встать и сказать учителю: «В законе божием не так написано», но побоялся, как бы не влетело.

По закону божию поп всегда ставил Павке пять. Все тропари, новый и ветхий заветы знал он назубок; твердо знал, в какой день что произведено богом. Павка решил

расспросить отца Василия. На первом же уроке закона, едва поп уселся в кресло, Павка поднял руку и, получив разрешение говорить, встал.

— Батюшка, а почему учитель в старшем классе говорит, что земля миллионы лет стоит, а не как в законе божием — пять тыс...— и сразу осел от визгливого крика отца Василия:

— Что ты сказал, мерзавец? Вот ты как учишь слово божие!

Не успел Павка и пикнуть, как поп схватил его за оба уха и начал долбить головой об стенку. Через минуту, избитого и перепуганного, его выбросили в коридор.

Здорово попало Павке и от матери.

На другой день пошла она в школу и упросила отца Василия принять сына обратно. Возненавидел с тех пор попа Павка всем своим существом. Ненавидел и боялся. Никому не прощал он своих маленьких обид; не забывал и попу незаслуженную порку, озлобился, затаился.

Много еще мелких обид перенес мальчик от отца Василия: гонял его поп за дверь, целыми неделями в угол ставил за пустяки и не спрашивал у него ни разу уроков, а перед пасхой из-за этого пришлось ему с неуспевающими к попу на дом идти сдавать. Там, на кухне, и всыпал Павка махры в пасхальное тесто.

Никто не видел, а все же поп сразу узнал, чья это работа.

...Урок окончился, детвора высыпала во двор и обступила Павку. Он хмуро отмалчивался. Сережка Брузжак из класса не выходил, чувствовал, что и он виноват, но помочь товарищу ничем не мог.

В открытое окно учительской высунулась голова заведующего школой Ефрема Васильевича, и густой бас его заставил Павку вздрогнуть.

— Пошлите сейчас же ко мне Корчагина! — крикнул он.

И Павка с заколотившимся сердцем пошел в учительскую.

Хозяин станционного буфета, пожилой, бледный, с бесцветными, вылинявшими глазами, мельком взглянул на стоявшего в стороне Павку.

— Сколько ему лет?

— Двенадцать,— ответила мать.

— Что же, пусть останется. Условие такое: восемь рублей в месяц и стол в дни работы, сутки работать, сутки — дома, и чтоб не воровать.

— Что вы, что вы! Воровать он не будет, я ручаюсь,— испуганно сказала мать.

— Ну, пусть начинает сегодня же работать,— приказал хозяин и, обернувшись к стоявшей рядом с ним за стойкой продавщице, попросил: — Зина, отведи мальчика в судомойню, скажи Фросеньке, чтобы дала ему работу вместо Гришки.

Продавщица бросила нож, которым резала ветчину, и, кивнув Павке головой, пошла через зал, пробираясь к боковой двери, ведущей в судомойню. Павка последовал за ней. Мать торопливо шла вместе с ними, шепча ему наспех:

— Ты уж, Павлушка, постарайся, не срамись.

И, проводив сына грустным взглядом, пошла к выходу.

В судомойне шла работа вовсю: гора тарелок, вилок, ножей высилась на столе, и несколько женщин перетирали их перекинутыми через плечо полотенцами.

Рыженький мальчик с всклокоченными, нечесаными волосами, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами.

Судомойня была наполнена паром из большой лохани с кипятком, где мылась посуда, и Павка первое время не мог разобрать лиц работавших женщин. Он стоял, не зная, что ему делать и куда приткнуться.

Продавщица Зина подошла к одной из женщин, моющих посуду, и, взяв ее за плечо, сказала:

— Вот, Фросенька, новый мальчик вам сюда вместо Гришки. Ты ему растолкуй, что надо делать.

Обращаясь к Павке и указав на женщину, которую только что назвала Фросенькой, Зина проговорила:

— Она здесь старшая. Что она тебе скажет, то и делай.— Повернулась и пошла в буфет.

— Хорошо,— тихо ответил Павка и вопросительно взглянул на стоявшую перед ним Фросю. Та, вытирая пот со лба, глядела на него сверху вниз, как бы оценивая его достоинства, и, подвертывая сползший с локтя рукав, сказала удивительно приятным, грудным голосом:

— Дело твое, милай, маленькое: вот этот куб нагреешь, значит, утречком, и чтоб в нем у тебя всегда кипяток был, дрова, конечно, чтобы наколол, потом вот эти самовары тоже твоя работа. Потом, когда нужно, ножики и вилочки чистить будешь и помои таскать. Работки хватит, милай, упаришься,— говорила она костромским говорком с ударением на «а», и от этого ее говорка и залитого краской лица с курносым носиком Павке стало как-то веселее.

«Тетка эта, видно, ничего»,— решил он про себя и, осмелев, обратился к Фросе:

— А что мне сейчас делать, тетя?

Сказал и запнулся. Громкий хохот работавших в судомойне женщин покрыл его последние слова:

— Ха-ха-ха!.. У Фросеньки уж и племянник завелся...

— Ха-ха!..— смеялась больше всех сама Фрося.

Павка из-за пара не разглядел ее лица, а Фросе всего было восемнадцать лет.

Уже совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил:

— Что мне делать надо сейчас?

Но мальчик на вопрос только хихикнул:

— Ты у тети спроси, она тебе все пропечатает, а я здесь временно.— И, повернувшись, выскочил в дверь, ведущую на кухню.

— Иди сюда, помогай вытирать вилки,— услышал Павка голос одной из работавших, уже немолодой судомойки.— Чего ржете-то? Что тут такого мальчонка сказал? Вот бери-ка,— подала она Павке полотенце,— бери один конец в зубы, а другой натяни ребром. Вот вилочку и чисть туда-сюда зубчиками, только чтоб ни соринки не оставалось. У нас за это строго. Господа вилки просматривают, и если заметят грязь — беда: хозяйка в три счета прогонит.

— Как хозяйка? — не понял Павел. — Ведь у вас хозяин тот, что меня принимал.

Судомойка засмеялась:

— Хозяин у нас, сынок, вроде мебели, тюфяк он. Всему голова здесь хозяйка. Ее сегодня нет. Вот поработаешь — увидишь.

Дверь в судомойню открылась, и в нее вошли трое официантов, неся груды грязной посуды.

Один из них, широкоплечий, косоглазый, с крупным четырехугольным лицом, сказал:

— Пошевеливайтесь живее. Сейчас придет двенадцатичасовой, а вы копаетесь.

Глядя на Павку, он спросил:

— А это кто?

— Это новенький,— ответила Фрося.

— А, новенький,— проговорил он.— Ну, так вот,— тяжелая рука его опустилась на плечо Павки и толкнула к самоварам,— они у тебя всегда должны быть готовы, а они, видишь,— один затух, а другой еле дышит. Сегодня это тебе пройдет, а завтра если повторится, то получишь по морде. Понял?

Павка, не говоря ни слова, принялся за самовары.

Так началась его трудовая жизнь. Никогда Павка не старался так, как в свой первый рабочий день. Понял он: тут — не дома, где можно мать не послушать. Косоглазый ясно сказал, что если не послушаешь — в морду.

Разлетались искры из толстопузых четырехведерных самоваров, когда Павка раздувал их, натянув снятый сапог на трубу. Хватая ведра с помоями, летел к сливной яме, подкладывал под куб с водой дрова, сушил на кипящих самоварах мокрые полотенца, делал все, что ему говорили. Поздно вечером уставший Павка отправился вниз, на кухню. Пожилая судомойка Анисья, посмотрев на дверь, скрывшую Павку, сказала:

— Ишь, мальчонка какой-то ненормальный: мотается, как сумасшедший. Не с добра, видно, послали работать-то.

— Да, парень справный,— сказала Фрося,— такого подгонять не надо.

— Убегается скоро,— возразила Луша,— все сначала стараются...

В семь часов утра, измученный бессонной ночью и бесконечной беготней, Павка передал кипящие самовары своей смене — толстомордонькому мальчишке с нахальными глазками.

Удостоверившись, что все в порядке и самовары кипят, мальчишка, засунув руки в карманы, цыкнув сквозь сжатые зубы слюной и с видом презрительного превосходства взглянув на Павку слегка белесоватыми глазами, сказал тоном, не допускающим возражения:

— Эй ты, шляпа! Завтра приходи в шесть часов на смену

— Почему в шесть? — спросил Павка.— Ведь сменяются в семь.

— Кто сменяется, пусть сменяется, а ты приходи в шесть. А будешь много гавкать, то сразу поставлю тебе блямбу на фотографию. Подумаешь, пешка, только что поступил и уже форс давит.

Судомойки, сдавшие свое дежурство вновь прибывшим, с интересом наблюдали за разговором двух мальчиков. Нахальный тон и вызывающее поведение мальчишки разозлили Павку. Он подвинулся на шаг к своему сменщику, приготовясь влепить мальчишке хорошего «леща», но боязнь быть прогнанным в первый же день работы остановила его. Весь потемнев, он сказал:

— Ты потише, не налетай, а то обожжешься. Завтра приду в семь, а драться я умею не хуже тебя; если захочешь попробовать — пожалуйста.

Противник отодвинулся на шаг к кубу и с удивлением смотрел на взъерошенного Павку. Такого категорического отпора он не ожидал и немного опешил.

— Ну, ладно, посмотрим,— пробормотал он.

Первый день прошел благополучно, и Павка шагал домой с чувством человека, честно заработавшего свой отдых. Теперь он тоже трудится, и никто не скажет ему, что он дармоед.

Утреннее солнце лениво подымалось из-за громады лесопильного завода. Скоро и Павкин домишко покажется. Вот здесь, сейчас же за усадьбой Лещинского.

«Мать, наверное, не спит, а я с работы возвращаюсь,— думал Павка и пошел быстрее, посвистывая.— Получилось не так уже скверно, что меня из школы выперли. Все равно проклятый поп не дал бы житья, а теперь я на него плевать хотел,— рассуждал Павка, подходя к дому, и, открывая калитку, вспомнил: — А тому, белобрысому, обязательно набью морду, обязательно».

Мать возилась во дворе с самоваром. Увидев сына, спросила тревожно:

— Ну, как?

— Хорошо,— ответил Павка.

Мать хотела о чем-то предупредить. Он понял — в раскрытое окно комнаты виднелась широкая спина брата Артема.

— Что, Артем приехал? — спросил он, смутившись.

— Вчера приехал и останется здесь. Служить будет в депо.

Павка не совсем уверенно открыл дверь в комнату.

Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку глянули из-за густых черных бровей суровые глаза брата.

— А, пришел, махорочник? Ну, ну, здорово!

Не предвещала Павке ничего приятного беседа с приехавшим братом.

«Артем уже все знает,— подумал Павка.— Артем может и отругать и поколотить».

Побаивался Павлик Артема.

Но Артем, видно, драться не собирался; он сидел на табурете, опершись локтями о стол, и смотрел на Павку неотрывающимся взглядом — не то насмешливо, не то презрительно.

— Так ты говоришь, университет уже закончил, все науки прошел, теперь за помои принялся? — сказал Артем.

Павка уставился глазами в потрескавшуюся половицу пола, внимательно изучая высунувшуюся шляпку гвоздика. Но Артем поднялся из-за стола и ушел в кухню.

«Обойдется, видно, без припарки»,— облегченно вздохнул Павка.

Во время чаепития Артем спокойно расспрашивал Павку о происшедшем в классе.

Павка рассказал все.

— И что с тобой будет дальше, когда ты таким хулиганом растешь? — с грустью проговорила мать.— Ну, что нам с ним делать? И в кого он такой уродился? Господи боже мой, сколько я мучения с этим мальчишкой перенесла,— жаловалась она.

Артем, отодвинув от себя пустую чашку, сказал, обращаясь к Павке:

— Ну, так вот, браток. Раз уж так случилось, держись теперь настороже, на работе фокусов не выкидывай, а выполняй все, что надо; ежели и оттуда тебя выставят, то я тебя так разрисую, что дальше некуда. Запомни это. Довольно мать дергать. Куда, черт, ни ткнется — везде недоразумение, везде чего-нибудь отчебучит. Но теперь уж шабаш. Отработаешь годок — буду просить взять учеником в депо, потому в тех помоях человека из

тебя не будет. Надо учиться ремеслу. Сейчас еще мал, но через год попрошу,— может примут. Я сюда переврожусь и здесь работать буду. Мамка служить больше не будет. Хватит ей горб гнуть перед всякой сволочью, но ты, смотри, Павка, будь человеком.

Он поднялся во весь свой громадный рост, надел висевший на спинке стула пиджак и бросил матери:

— Я пойду по делу на часок.— И, согнувшись у притолоки двери, вышел.

Уже во дворе, проходя мимо окна, сказал:

— Там тебе привез сапоги и ножик, мамка даст.

Буфет вокзала торговал беспрерывно целые сутки.

Железнодорожный узел соединял шесть линий. Вокзал плотно был набит людьми и только на два-три часа ночью, в перерыв между двумя поездами, затихал. Здесь, на вокзале, сходились и разбегались в разные стороны сотни эшелонов. С фронта на фронт. Оттуда с искалеченными, с искромсанными людьми, а туда с потоком новых людей в серых однообразных шинелях.

Два года провертелся Павка на этой работе. Кухня и судомойня — вот и все, что он видел за эти два года. В громадной подвальной кухне — лихорадочная работа. Работало двадцать с лишним человек. Десять официантов сновали из буфета в кухню.

Получал уже Павка не восемь, а десять рублей. Вырос за два года, окреп. Много мытарств прошел он за это время. Коптился в кухне полгода поваренком, вылетел опять в судомойню — выбросил всесильный шеф: не понравился несговорчивый мальчонка, того и жди, что пырнет ножом за зуботычину. Давно бы уже прогнали за это с работы, но спасла его неиссякаемая трудоспособность. Работать мог Павка больше всех, не уставая.

В горячие для буфета часы носился, как угорелый, с подносами, прыгая через четыре-пять ступенек вниз, в кухню, и обратно.

Ночами, когда прекращалась толкотня в обоих залах буфета, внизу, в кладовушках кухни, собирались официанты. Начиналась бесшабашная азартная игра: в «очко», в «девятку». Видел Павка не раз кредитки, лежавшие на столах. Не удивлялся Павка такому количеству денег, знал, что каждый из них за сутки своего дежурства

чаевыми получал по тридцать-сорок рублей. По полтинничку, по рублику собирали. А потом напивались и резались в карты. Злобился на них Павка.

«Сволочь проклятая! — думал он.— Вот Артем — слесарь первой руки, а получает сорок восемь рублей, а я — десять; они гребут в сутки столько — и за что? Поднесет — унесет. Пропивают и проигрывают».

Считал их Павка, так же как хозяев, чужими, враждебными. «Они здесь, подлюги, лакеями ходят, а жены да сыночки по городам живут, как богатые».

Приводили они своих сынков в гимназических мундирчиках, приводили и расплывшихся от довольства жен. «А денег у них, пожалуй, больше, чем у тех господ, которым прислуживают»,— думал Павка. Не удивлялся он и тому, что происходило ночами в закоулках кухни да на складах буфетных; знал Павка хорошо, что всякая посудница и продавщица недолго наработает в буфете, если не продаст себя за несколько рублей каждому, кто имел здесь власть и силу.

Заглянул Павка в самую глубину жизни, на ее дно, в колодезь, и затхлой плесенью, болотной сыростью пахнуло на него, жадного ко всему новому, неизведанному.

Не удалось Артему устроить брата учеником в депо: моложе пятнадцати лет не брали. Ожидал Павка дня, когда выйдет отсюда, тянуло к огромному каменному закопченному зданию.

Частенько бывал он там у Артема, ходил с ним осматривать вагоны и старался чем-нибудь помочь.

Особенно скучно стало, когда ушла с работы Фрося.

Не было уже смеющейся, веселой девушки, и Павка острее почувствовал, как крепко он сдружился с ней. Приходя утром в судомойню, слушая сварливые крики беженок, ощущал какую-то пустоту и одиночество.

В ночной перерыв, подкладывая в топку куба дрова, Павка присел на корточках перед открытой дверцей; прищурившись, смотрел на огонь — хорошо было от теплоты печки. В судомойне никого не было.

Не заметил, как мысли вернулись к тому, что было недавно, к Фросе, и отчетливо всплыла картина.

В субботу, в ночной перерыв, спускался Павка вниз по лестнице, в кухню. На повороте из-любопытства влез

на дрова, чтобы заглянуть в кладовушку, где обычно собирались игроки.

А игра там была в полном разгаре. Побуревший от волнения Зеливанов держал банк.

На лестнице послышались шаги. Обернулся: сверху спускался Прохошка. Павка залез под лестницу, пережидая, когда тот пройдет в кухню. Под лестницей было темно, и Прохошка видеть его не мог.

Прохошка повернул вниз, и Павке было видно его широкую спину и большую голову. Сверху по лестнице еще кто-то сбегал поспешными легкими шагами, и Павка услыхал знакомый голос:

— Прохошка, подожди.

Прохошка остановился и, обернувшись, посмотрел вверх.

— Тебе чего? — буркнул он.

Шаги на лестнице застучали вниз, и Павка узнал Фросю.

Она взяла официанта за рукав и прерывающимся, сдавленным голосом сказала:

— Прохошка, где же те деньги, которые тебе дал поручик?

Прохор резко отдернул руку.

— Что? Деньги? А разве я тебе не дал? — говорил он озлобленно-резко.

— Но ведь он дал тебе триста рублей.— И в голосе Фроси слышались приглушенные рыдания.

— Триста рублей, говоришь? — ехидно проговорил Прохошка.— Что же, ты хочешь их получить? Не больно ли дорого, сударынька, для судомойки? Я думаю, хватит и тех пятидесяти, что я дал. Подумаешь, какое счастье! Почище барыньки, с образованием — и то таких денег не берут. Скажи спасибо за это — ночку поспать и пятьдесят целковых схватить. Нет дураков. Десятку-две я тебе еще дам, и кончено, а не будешь дурой — еще подработаешь, я тебе протекцию составлю.— И, бросив последние слова, Прохошка повернулся и пошел в кухню.

— Подлюга, гад! — крикнула ему вдогонку Фрося и, прислонясь к дровам, глухо зарыдала.

Не передать, не рассказать чувств, которые охватили Павку, когда он слушал этот разговор и, стоя в темноте под лестницей, видел вздрагивающую и бьющуюся о поленья головой Фросю. Не сказался Павка, молчал,

судорожно ухватившись за чугунные подставки лестницы, а в голове пронеслось отчетливо, ясно:

«И эту продали, проклятые. Эх, Фрося, Фрося!..»

Еще глубже и сильнее затаилась ненависть к Прохошке, и все окружающее опостылело и стало ненавистным. «Эх, была бы сила, избил бы этого подлеца до смерти! Почему я не большой и сильный, как Артем?»

Огоньки в печке вспыхивали и гасли, дрожали их красные языки, сплетаясь в длинный голубоватый виток; казалось Павке, что кто-то насмешливый, издевающийся показывает ему язык.

Тихо было в комнате, лишь потрескивало в топке и у крана слышался стук равномерно падающих капель.

Климка, поставив на полку последнюю ярко начищенную кастрюлю, вытирал руки. На кухне никого не было. Дежурный повар и кухонщицы спали в раздевалке. На три ночных часа затихала кухня, и эти часы Климка всегда проводил наверху у Павки. По-хорошему сдружился поваренок с черноглазым кубовщиком. Поднявшись наверх, Климка увидел Павку сидящим на корточках перед раскрытой топкой. Павка заметил на стене тень от знакомой взлохмаченной фигуры и проговорил, не оборачиваясь:

— Садись, Климка.

Поваренок забрался на сложенные поленья и, улегшись на них, посмотрел на сидевшего молча Павку и проговорил улыбаясь:

— Ты что, на огонь колдуешь?

Павка с трудом оторвал глаза от огненных языков. На Климку смотрели два огромных блестящих глаза. В них Климка увидел невысказанную грусть. Первый раз увидел Климка эту грусть в глазах товарища.

— Чудной ты, Павка, сегодня какой-то... — И, помолчав, спросил: — Случилось у тебя что-нибудь?

Павка поднялся и сел рядом с Климкой.

— Ничего не случилось,— ответил он глуховато.— Тяжело мне здесь, Климка.— И руки его, лежавшие на коленях, сжались в кулаки.

— Что это на тебя сегодня нашло? — продолжал приподнявшийся на локтях Климка.

— Сегодня нашло, говоришь? Всегда находило, как только попал сюда работать. Ты погляди, что здесь делается! Работаем, как верблюды, а в благодарность тебя по

зубам бьет кто только вздумает, и ни от кого защиты нет. Нас с тобой хозяева нанимали им служить, а бить всякий право имеет, у кого только сила есть. Ведь хоть разорвись, всем сразу не угодишь, а кому не угодишь, от того и получай. Уж так стараешься, чтобы делать как следует, чтобы никто придраться не мог, кидаешься во все концы, но все равно кому-нибудь не донесли вовремя — и по шее...

Климка испуганно перебил его:

— Ты не кричи так, а то зайдет кто — услышит.

Павка вскочил.

— Ну и пусть слышат, все равно уйду отсюда. Пути очищать от снега и то лучше, а здесь... могила, жулик на жулике сидит. Денег у них сколько у всех! А нас за тварей считают, с дивчатами что хотят, то и делают; а которая хорошая, не поддается, выгоняют в два счета. Тем куда деваться? Набирают беженок, бесприютных, голодающих. Те за хлеб держатся, тут хоть поесть смогут, и на все идут из-за голода.

Он говорил это с такой злобой, что Климка, опасаясь, что кто-нибудь услышит их разговор, вскочил и закрыл дверь, ведущую в кухню, а Павка все говорил о накипевшем у него на душе.

— Вот ты, Климка, молчишь, когда тебя бьют. Почему молчишь?

Павка сел на табуретку у стола и устало склонил голову на ладонь. Климка наложил в топку дров и тоже сел у стола.

— Читать не будем сегодня? — спросил он Павку.

— Книжки нет,— ответил Павка.— киоск закрыт.

— Что, разве он не торгует сегодня? — удивился Климка.

— Забрали продавца жандармы. Нашли у него что-то,— ответил Павка.

— За что?

— За политику, говорят.

Климка недоуменно посмотрел на Павку.

— А что эта политика означает?

Павка пожал плечами.

— Черт его знает! Говорят, ежели кто против царя идет, так политикой зовется.

Климка испуганно дернулся.

— А разве есть такие?

— Не знаю,— ответил Павка.

Дверь открылась, и в судомойню вошла заспанная Глаша.

— Вы это чего не спите, ребятки? На час задремать можно, пока поезда нет. Иди, Павка, я за кубом погляжу.

Кончилась Павкина служба раньше, чем он ожидал, и так кончилась, как он и не предвидел.

В один из морозных январских дней дорабатывал Павка свою смену и собирался уходить домой, но сменявшего его парня не было. Пошел Павка к хозяйке и заявил, что уходит домой, но та не отпускала. Пришлось усталому Павке отстукивать вторые сутки, и к ночи он совсем выбился из сил. В перерыв надо было наливать кубы и кипятить их к трехчасовому поезду.

Отвернул кран Павка — вода не шла. Водокачка, видно, не подала. Оставил кран открытым, улегся на дрова и заснул: усталость одолела.

Через несколько минут забулькал, заурчал кран, и вода полилась в бак, наполнила его до краев и потекла по кафельным плитам на пол судомойни, в которой, как обычно, никого не было. Воды наливалось все больше и больше. Она залила пол и просочилась под дверь в зал.

Ручейки подбирались под вещи и чемоданы спящих пассажиров. Никто этого не замечал, и только когда вода залила лежавшего на полу пассажира и тот, вскочив на ноги, закричал, все бросились к вещам. Поднялась суматоха.

А вода все прибывала и прибывала.

Убиравший со стола во втором зале Прохошка кинулся на крик пассажиров и, прыгая через лужи, подбежал к двери и с силой распахнул ее. Вода, сдерживаемая дверью, потоком хлынула в зал.

Крики усилились. В судомойню вбежали дежурные официанты. Прохошка бросился к спящему Павке.

Удары один за другим посыпались на голову совершенно одуревшего от боли мальчика.

Он со сна ничего не понимал. В глазах вспыхивали яркие молнии, и жгучая боль пронизывала все тело.

Избитый, едва доплелся домой.

Утром Артем, угрюмый, насупившийся, расспрашивал Павку обо всем случившемся.

Павка рассказал все, как было.

— Кто тебя бил? — глухо спросил Артем.

— Прохошка.

— Ладно, лежи.

Артем надел кожух и, не говоря ни слова, вышел.

— Могу я видеть официанта Прохора? — спросил у Глаши незнакомый рабочий.

— Он сейчас зайдет, подождите,— ответила она.

Громадная фигура прислонилась к притолоке.

— Ладно, подожду.

Прохор, тащивший на подносе целый ворох посуды, толкнул ногой дверь, вошел в судомойню.

— Вот этот самый,— сказала Глаша, указывая на Прохора.

Артем шагнул вперед и, тяжело опустив руку на плечо официанта, спросил, глядя в упор:

— За что Павку, брата моего, бил?

Прохор хотел освободить плечо, но страшный удар кулака свалил его на пол, он пытался подняться, но второй удар, страшнее первого, пригвоздил его к полу.

Испуганные посудницы шарахнулись в сторону.

Артем повернулся и пошел к выходу.

Прохошка с разбитым в кровь лицом ворочался на полу.

Артем из депо вечером не вернулся.

Мать узнала: сидит Артем в жандармском отделении.

Через шесть суток вернулся Артем вечером, когда мать спала. Подошел к сидевшему на кровати Павке и спросил ласково:

— Что, поправился, браток? — Присел рядом.— Бывает и хуже.— И, помолчав, добавил: — Ничего, пойдешь на электростанцию, я уж о тебе говорил. Там делу научишься.

Павка крепко сжал обеими руками громадную руку Артема.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В маленький городок вихрем ворвалась ошеломляющая весть: «Царя скинули!»

В городке не хотели верить.

С приползшего в пургу поезда на перрон выкатились два студента с винтовками поверх шинели и отряд

революционных солдат с красными повязками на рукавах. Они арестовали станционных жандармов, старого полковника и начальника гарнизона. И в городке поверили. По снежным улицам к площади потянулись тысячи людей.

Жадно слушали новые слова: свобода, равенство, братство.

Прошли дни, шумливые, напоенные возбуждением и радостью. Наступило затишье, и только красный флаг над зданием городской управы, где хозяевами укрепились меньшевики и бундовцы, говорил о происшедшей перемене. Все остальное осталось по-прежнему.

К концу зимы в городке разместился гвардейский кавалергардский полк. По утрам ездили эскадронами на станцию ловить дезертиров, бежавших с Юго-Западного фронта.

У кавалергардов лица сытые, народ рослый, здоровенный. Офицеры все больше графы да князья, погоны золотые, на рейтузах канты серебряные, все, как при царе,— словно и не было революции.

Для Павки, Климки и Сережки Брузжака ничего не изменилось. Хозяева остались старые. Только в дождливый ноябрь стало твориться что-то неладное. Зашевелились на вокзале новые люди, все больше из окопных солдат, с чудным прозвищем: «большевики».

Откуда такое название, твердое, увесистое,— никому невдомек.

Трудновато гвардейцам дезертиров с фронта сдерживать. Все чаще лопались вокзальные стекла от ружейной трескотни. С фронта срывались целыми группами и при задержке отбивались штыками. В начале декабря хлынули целыми эшелонами.

Гвардейцы вокзал запрудили, удержать думали, но их пулеметными трещотками ошарашили. К смерти привычные люди из вагонов высыпали.

В город гвардейцев загнали серые фронтовики. Загнали и на вокзал воротились, и дальше двинулся эшелон за эшелоном.

Весной тысяча девятьсот восемнадцатого года трое друзей шли от Сережи Брузжака, где резались в «шестьдесят шесть». По дороге завернули в садик Корчагина. Прилегли на траву. Было скучно. Все привычные занятия

надоели. Начали думать, как бы лучше денек провести. За спиной зацокали копыта лошади, и на дорогу вынесся всадник. Конь одним рывком перепрыгнул канаву, отделявшую шоссе от низенького забора садика. Конник махнул нагайкой лежавшим Павке и Климке:

— Эй, хлопцы мои, сюда!

Павка и Климка вскочили на ноги и подбежали к забору. Всадник был весь в пыли, толстым слоем серой дорожной пыли были покрыты сбитая на затылок фуражка, защитная гимнастерка и защитные штаны. На крепком солдатском ремне висели наган и две немецкие бомбы.

— Тащите воды попить, ребятки! — попросил всадник и, когда Павка побежал в дом за водой, обратился к глазевшему на него Сережке: — Скажи, паренек, какая власть в городе?

Сережка, торопясь, стал рассказывать приезжему все городские новости:

— Никакой власти у нас нет уже две недели. Самооборона у нас власть. Все жители по очереди ходят ночью город охранять. А вы кто такие будете? — в свою очередь задал он вопрос.

— Ну, много будешь знать — скоро состаришься,— с улыбкой ответил всадник.

Из дому бежал Павка, держа в руках кружку с водой.

Всадник жадно, залпом, выпил ее до дна, передал кружку Павке, рванул поводья и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке.

— Кто это был? — недоуменно спросил Павка Климку.

— Откуда я знаю? — ответил тот, пожав плечами.

— Наверно, смена власти опять будет. Потому и Лещинские вчера выехали. А раз богатые утекают — значит, придут партизаны,— окончательно и твердо разрешил этот политический вопрос Сережка.

Доводы его были настолько убедительны, что с ним сразу согласились и Павка и Климка.

Не успели ребята как следует поговорить об этом, как по шоссе зацокали копыта. Все трое бросились к забору.

Из лесу, из-за дома лесничего, чуть видного ребятам, двигались люди, повозки, а совсем недалеко по шоссе — человек пятнадцать конных с винтовками поперек седла. Впереди конных двое: один — пожилой, в защитном френче, перепоясанном офицерскими ремнями, с биноклем на

грудп, а рядом с ним — только что виденный ребятами всадник. На френче у пожилого — красный бант.

— А я что говорил? — толкнул Павку локтем в бок Сережка.— Видишь, красный бант. Партизаны. Лопни мои глаза — партизаны...— И, гикнув от радости, птицей переметнулся через забор на улицу.

Оба приятеля последовали за ним. Все трое стояли теперь на краю шоссе и смотрели на подъезжавших.

Всадники подъехали совсем близко. Знакомый ребятам кивнул им и, указав нагайкой на дом Лещинских, спросил:

— Кто в этом доме живет?

Павка, стараясь не отстать от лошади всадника, рассказывал:

— Здесь адвокат Лещинский живет. Вчера сбежал. Вас, видно, испугался...

— Ты откуда знаешь, кто мы такие? — спросил, улыбаясь, пожилой.

Павка, указывая на бант, ответил:

— А это что? Сразу видать...

На улицу высыпали жители, с любопытством рассматривая входивший в город отряд. Наши приятели стояли у шоссе и тоже смотрели на запыленных, усталых красногвардейцев.

Когда прогромыхало по камням единственное в отряде орудие и проехали повозки с пулеметами, ребята двинулись за партизанами и разошлись по домам лишь после того, как отряд остановился в центре города и стал размещаться по квартирам.

Вечером в большой гостиной дома Лещинских, где остановился штаб отряда, за большим с резными ножками столом сидело четверо: трое из комсостава и командир отряда товарищ Булгаков — пожилой, с проседью в волосах.

Булгаков, развернув на столе карту губернии, водил по ней ногтем, оттискивая линии, и говорил, обращаясь к сидевшему напротив скуластому, с крепкими зубами:

— Ты говоришь, товарищ Ермаченко, что здесь надо будет драться, а я думаю — надо утром отходить. Хорошо бы даже ночью, да люди устали. Наша задача — успеть отойти к Казатину, пока немцы не добрались туда раньше нас. Оказывать сопротивление с нашими силами — это же смешно... Одно орудие и тридцать снаря-

дов, двести штыков и шестьдесят сабель — грозная сила... Немцы идут железной лавиной. Драться мы сможем, только соединившись с другими отходящими красными частями. Ведь мы должны иметь в виду, товарищ, что, кроме немцев, мы имеем по пути много разных контрреволюционных банд. Мое мнение — завтра же утром отходить, взорвав мостик за станцией. Пока немцы будут его налаживать, пройдет два-три дня. По железной дороге их продвижение будет задержано. Вы как думаете, товарищи? Давайте решим,— обратился он к сидящим за столом.

Сидевший наискосок от Булгакова Стружков пожевал губами, посмотрел на карту, потом на Булгакова и, наконец, с трудом выдавил застрявшие в горле слова:

— Я... под...держиваю Булгакова.

Самый молодой, в рабочей блузе, согласился:

— Булгаков говорит дело.

И только Ермаченко, тот, что днем говорил с ребятами, отрицательно мотнул головой.

— На черта же мы тогда отряд собирали? Чтобы отходить перед немцами без драки? По-моему, нам надо здесь с ними стукнуться. Надоело драпака задавать... Ежели бы на меня, то я дрался бы здесь обязательно.— Он резко отодвинул стул, поднялся и зашагал по комнате.

Булгаков неодобрительно посмотрел на него.

— Драться надо с толком, Ермаченко. А бросать людей на верный разгром и уничтожение — этого мы не можем делать. Да это и смешно. За нами движется целая дивизия с тяжелой артиллерией, бронемашинами... Не надо ребячиться, товарищ Ермаченко...— И, уже обращаясь к остальным, закончил: — Итак, решено — завтра утром отходим... Следующий вопрос — о связи,— продолжал совещание Булгаков.— Поскольку мы отходим последними, на нас ложится задача по организации работы в тылу у немцев. Здесь — крупный железнодорожный узел, городишко имеет два вокзала. Мы должны позаботиться о том, чтобы на станции работал надежный товарищ. Сейчас мы решим, кого из своих оставить здесь для налаживания работы. Намечайте кандидатуры.

— Я думаю, что здесь должен остаться матрос Жухрай,— сказал Ермаченко, подходя к столу.— Во-первых, Жухрай из здешних мест, во-вторых, он слесарь

и монтер — сможет устроиться работать на станции. С нашим отрядом Федора никто не видел — он приедет лишь ночью. Парень он мозговитый и здесь дело наладит. По-моему, это самый подходящий человек.

Булгаков кивнул головой.

— Правильно, я с тобой согласен, Ермаченко. Вы, товарищи, не возражаете? — обратился он к остальным.— Нет. Значит, вопрос исчерпан. Мы оставляем Жухраю денег и мандат на работу... Теперь третий, последний вопрос, товарищи,— произнес Булгаков.— Это вопрос об оружии, находящемся в городе. Здесь имеется целый склад винтовок — двадцать тысяч штук, оставшихся еще от царской войны. Сложены они в крестьянском сарае и лежат там, забытые всеми. Мне сообщил об этом крестьянин — хозяин сарая. Хочет избавиться от них... Оставлять немцам этот склад, конечно, нельзя. Я считаю, нужно его сжечь. И сейчас же, чтобы к утру все было готово. Только поджигать-то опасно: сарай стоит на краю города среди бедняцких дворов. Могут загореться крестьянские постройки.

Крепко сбитый, со щетиной давно не бритой бороды, Стружков шевельнулся:

— За... за... зачем... поджигать? Я д...думаю — раз... раздать оружие на...населению.

Булгаков быстро повернулся к нему:

— Раздать, говоришь?

— Правильно. Вот это правильно! — восхищенно воскликнул Ермаченко.— Раздать его рабочим и остальному населению, кто захочет. Будет по крайней мере чем почесать бока немцам, когда прижмут до края. Зажимать ведь крепко будут. А когда станет невмоготу, возьмутся ребята за оружие. Стружков правильно сказал: раздать. Хорошо бы даже в деревеньку завезти. Мужички припрячут поглубже, а как немцы станут реквизировать подчистую, эти винтовочки-то ой как нужны будут!

Булгаков засмеялся:

— Да, но ведь немцы прикажут сдать оружие, и все его снесут.

Ермаченко запротестовал:

— Ну, не все снесут. Кто снесет, а кто и оставит.

Булгаков вопросительно обвел глазами сидящих.

— Раздадим, раздадим винтовки,— поддержал Ермаченко и Стружкова молодой рабочий.

— Ну что же, значит, раздадим,— согласился Булгаков.— Вот и все вопросы,— сказал он, вставая из-за стола.— Теперь мы сможем до утра отдохнуть. Когда приедет Жухрай, пусть зайдет ко мне. Я побеседую с ним. А ты, Ермаченко, пойди проверь посты.

Оставшись один, Булгаков прошел в соседнюю с гостиной спальню хозяев и, разостлав на матраце шинель, лег.

Утром Павка возвращался с электростанции. Уже целый год работал он подручным кочегара.

В городке царило необычайное оживление. Оно сразу бросилось ему в глаза. По дороге все чаще и чаще встречались жители, несущие по одной, по две и по три винтовки. Павка заспешил домой, не понимая, в чем дело. Возле усадьбы Лещинского садились на лошадей вчерашние его знакомые.

Вбежав в дом, наскоро помывшись и узнав от матери, что Артема еще нет, Павка выскочил и помчался к Сережке Брузжаку, жившему на другом конце города.

Сережка был сыном помощника машиниста. Его отец имел собственный маленький домик и такое же маленькое хозяйство. Сережки дома не оказалось. Мать его, полная белолицая женщина, недовольно посмотрела на Павку.

— А черт его знает, где он! Сорвался чуть свет, носит его нелегкая. Оружие, говорит, где-то раздают, так он, наверное, там и есть. Всыпать вам розог надо, сопливым воякам. Распустились уж чересчур. Сладу нет. Два вершка от горшка, а туды же, за оружие. Ты ему, подлецу, скажи: если хоть один патрон в дом принесет, голову оторву. Натащит всякой дряни, а потом отвечай за него. А ты что, тоже туда собрался?

Но Павка уже не слушал сварливой Сережкиной мамаши и выкатился на улицу.

По шоссе шел мужчина и нес на каждом плече по винтовке.

— Дядя, скажи, где достал? — подлетел к нему Павка.

— А там, на Верховине, раздают.

Павка помчался что есть духу по указанному адресу. Пробежав две улицы, он наткнулся на мальчишку, тащившего тяжелую пехотную винтовку со штыком.

— Где взял ружье? — остановил его Павка.

— Напротив школы раздают отрядники, но уже ничего нет. Все разобрали. Целую ночь давали, одни ящики пустые лежат. А я вторую несу,— с гордостью закончил мальчишка.

Сообщенная новость страшно огорчила Павку.

«Эх, черт, надо было сразу бежать туда, а не идти домой! — с отчаянием думал он.— И как это я проморгал?»

И вдруг, осененный мыслью, круто повернулся и, нагнав тремя прыжками уходившего мальчишку, с силой рванул винтовку у него из рук.

— У тебя уже одна есть — хватит. А это мне,— тоном, не допускающим возражения, заявил Павка.

Мальчишка, взбешенный грабежом среди белого дня, бросился на Павку, но тот отпрыгнул шаг назад и, выставив вперед штык, крикнул:

— Отскочь, а то наколешься!

Мальчишка заплакал с досады и побежал обратно, ругаясь от бессильной злобы. А Павка, удовлетворенный, помчался домой. Перемахнул через забор, вбежал в сарайчик, примостил на балках под крышей добытую винтовку и, радостно посвистывая, вошел в дом.

Хороши вечера на Украине летом в таких маленьких городишках-местечках, как Шепетовка, где середина — городок, а окраины — крестьянские.

В такие тихие летние вечера вся молодежь на улицах. Дивчата, парубки — все у своих крылечек, в садах, палисадниках, прямо на улице, на сваленных для застройки бревнах, группами, парочками. Смех, песни.

Воздух дрожит от густоты и запаха цветов. Глубоко в небе чуть-чуть поблескивают светлячками звезды, и голос слышен далеко-далеко...

Любит свою гармонь Павка. Любовно ставит на колено певучую двухрядку венскую. Пальцы ловкие — клавиши чуть тронут, пробегут сверху вниз быстро, с перебором. Вздохнут басы, и засыплет гармоника лихую, заливистую.

Извивается гармоника, и как тут в пляс не ударишься? Не утерпишь — ноги сами движутся. Жарко дышит гармоника,— хорошо жить на свете!

Сегодня вечером было особенно весело. Собралась на бревнах, у дома, где жил Павка, молодежь смешливая, а звонче всех — Галочка, соседка Павкина. Любит дочь каменотеса потанцевать, попеть с ребятами. Голос у нее — альт, грудной, бархатистый.

Побаивается ее Павка. Язычок у нее острый. Садится она рядом с Павкой на бревнах, обнимает его крепко и хохочет:

— Эх ты, гармонист удалой! Жаль, не дорос маленько парень, а то бы хороший муженек для меня был. Люблю гармонистов, тает мое сердце перед ними.

Краснеет Павка до корней волос,— хорошо, вечером не видно. Отодвигается от баловницы, а та его крепко держит — не пускает.

— Ну, куда же ты, миленький, убегаешь? Ну и женишок,— шутит она.

Чувствует Павка плечом ее упругую грудь, и от этого становится как-то тревожно, волнующе, а кругом смех будоражит обычно тихую улицу.

Павка упирается рукой в плечо Галочки и говорит:

— Ты мне мешаешь играть, отодвинься.

И снова взрыв хохота, поддразнивания, шутки.

Вмешивается Маруся:

— Павка, сыграй что-нибудь грустное, чтобы за душу брало.

Медленно растягиваются мехи, пальцы тихо перебирают. Знакомая всем, родная мелодия. Галина первая подхватывает ее. За ней — Маруся и остальные.

Зібралися всі бурлаки
до рідноі хати,
тут нам мило,
тут нам любо
в журби заспівати...

И уносятся вдаль, к лесу, звонкие молодые голоса, поющие песню.

— Павка! — Это голос Артема.

Павка сдвигает мехи гармоники, застегивает ремни.

— Зовут, я пошел.

Маруся говорит упрашивающе:

— Ну, посиди еще, поиграй немного. Успеешь домой.

Но Павка спешит:

— Нет. Завтра еще поиграем, а сейчас идти надо. Артем зовет,— и бежит через улицу к домику.

Открыв дверь в комнатку, видит — за столом сидит Роман, товарищ Артема, и еще третий — незнакомый.

— Ты меня звал? — спросил Павка.

Артем кивнул на Павку головой и обратился к незнакомцу:

— Вот он самый и есть, братишка мой.

Тот протянул Павке узловатую руку.

— Вот что, Павка,—обратился Артем к брату.— Ты говоришь, что у вас на электростанции монтер заболел. Завтра узнай, не примут ли они на его место знающего человека. Если нужно, то придешь и скажешь.

Незнакомец вмешался:

— Нет, я пойду с ним вместе. Сам с хозяином и поговорю.

— Конечно, нужно. Ведь сегодня станция и не пошла, потому что Станкович заболел. Хозяин два раза прибегал — все искал кого-нибудь заменить, да не нашел. А пускать станцию с одним кочегаром не решился. А монтер тифом заболел.

— Ну вот, дело и сделано,— сказал незнакомец.— Завтра я за тобой зайду, и пойдем вместе,— обратился он к Павке.

— Хорошо.

Павка встретился с серыми спокойными глазами незнакомца, внимательно изучавшими его. Твердый, немигающий взгляд несколько смутил Павку. Серый пиджак, застегнутый сверху донизу, на широкой, крепкой спине был сильно натянут,— видно, хозяину он был тесен. Плечи с головой соединяла крепкая воловья шея, и весь он был налит силой, как старый коренастый дуб.

Прощаясь, Артем проговорил:

— Пока всего хорошего, Жухрай. Завтра пойдешь с братишкой и уладишь все дело.

Немцы вошли в город через три дня после ухода отряда. Об их прибытии сообщил гудок паровоза на станции, опустевшей за последние дни. По городу разнеслась весть:

— Немцы идут.

И город закопошился, как раздраженный муравейник, хотя давно все знали, что немцы должны прийти. Но в это

как-то слабо верили. И вот эти страшные немцы не где-то идут, а уже здесь, в городе.

Все жители прилипли к заборам, калиткам. На улицу выходить боялись.

А немцы шли цепочкой по обеим сторонам, оставляя шоссе свободным, в темно-зеленых мундирах, с винтовками наперевес. На винтовках — широкие, как ножи, штыки. На головах — тяжелые стальные шлемы. За спинами — громадные ранцы. И шли они от станции к городу беспрерывной лентой, шли настороженно, готовые каждую минуту к отпору, хотя отпора давать им никто и не собирался.

Впереди шагали два офицера с маузерами в руках. Посредине шоссе — гетманский старшина, переводчик, в синем украинском жупане и папахе.

Собрались немцы в каре на площади в центре города. Забили в барабан. Собралась небольшая толпа осмелевших обывателей. Гетманец в жупане вылез на крыльцо аптеки и громко прочитал приказ коменданта, майора Корфа.

Приказ гласил:

«§ 1

Приказываю:

Всем гражданам города снести в течение 24 часов имеющееся у них огнестрельное и холодное оружие. За неисполнение настоящего приказа — расстрел.

§ 2

В городе объявляется военное положение, и хождение после 8 часов вечера воспрещается.

Комендант города майор К о р ф».

В доме, где раньше находилась городская управа, а после революции помещался Совет рабочих депутатов, разместилась немецкая комендатура. У крыльца дома стоял часовой. уже не в стальном шлеме, а в парадной каске, с огромным императорским орлом. Тут же, во дворе, было складочное место для сносимого оружия.

Целый день напуганный угрозой расстрела обыватель сносил оружие. Взрослые не показывались. Оружие несли молодежь и мальчуганы. Немцы никого не задерживали.

Те, кто не хотел нести, ночью выбрасывали оружие прямо на шоссе, и утром немецкий патруль собирал его, складывал на военную повозку и увозил в комендатуру.

В первом часу дня, когда вышел срок сдачи оружия, немецкие солдаты подсчитывали свои трофеи. Всего сданных винтовок было четырнадцать тысяч штук. Итак, шесть тысяч винтовок немцы обратно не получили. Повальные обыски, произведенные ими, дали очень незначительные результаты.

На рассвете следующего дня за городом, у старого еврейского кладбища, были расстреляны двое рабочих-железнодорожников, у которых при обыске были найдены спрятанные винтовки.

Артем, выслушав приказ, поспешил домой. Во дворе он встретил Павку, взял его за плечо и тихо, но настойчиво спросил:

— Ты что-нибудь принес домой со склада?

Павка собирался умолчать о винтовке, но врать брату не хотелось, и все рассказал.

Пошли к сараю вместе. Артем достал заложенную за балки винтовку, вынул из нее затвор, снял штык и, взяв винтовку за дуло, размахнулся и со всей силой ударил о столб забора. Приклад разлетелся. Остатки винтовки были выброшены далеко в пустырь за садиком. Штык и затвор Артем бросил в уборную.

Проделав все это, Артем повернулся к брату:

— Ты уже не маленький, Павка, понимаешь, что с оружием играть незачем. Я тебе всерьез говорю — ничего в дом не носи. Ты знаешь, за это жизнью можно теперь поплатиться. Смотри, не обманывай меня, а то принесешь, найдут, меня же первого и расстреляют. Тебя-то, сморкача, трогать не будут. Времена теперь собачьи, понимаешь?

Павка обещал ничего не носить.

Когда шли оба через двор в дом, у ворот Лещинских остановилась коляска. Из нее выходили адвокат с женой и их дети — Нелли и Виктор.

— Прилетели птички,— злобно. проговорил Артем.— Эх, и кутерьма начинается, едят его мухи! — И вошел в дом.

Весь день Павка грустил о винтовке. В это время его приятель Сережка трудился изо всех сил в старом заброшенном сарае, разгребая лопатой землю у стены. Наконец яма была готова. Сережка сложил в ней замотанные в тряпки три новенькие винтовки, добытые им при раз-

даче. Отдавать их немцам он не собирался — не для того мучился целую ночь, чтобы расстаться со своей добычей.

Засыпав яму землей, он плотно утрамбовал ее, натащил на выровненное место кучу мусора и старого хлама; критически осмотрев результаты своего труда и найдя их удовлетворительными, снял с головы фуражку и вытер со лба пот.

«Ну, теперь пускай ищут. А если найдут, то чей сарай — неизвестно».

Павка незаметно сблизился с суровым монтером, который уже месяц как работал на электростанции.

Жухрай показывал подручному кочегару устройство динамо и приучал его к работе.

Смышленый мальчишка понравился матросу. Жухрай частенько приходил к Артему по свободным дням. Рассудительный и серьезный матрос терпеливо выслушивал все рассказы о житье-бытье, особенно когда мать жаловалась на проказы Павки. Он умел так успокаивающе подействовать на Марию Яковлевну, что та забывала свои невзгоды и становилась бодрее.

Как-то раз Жухрай остановил Павку во дворе электростанции, среди сложенных штабелей дров, и, улыбнувшись, сказал:

— Мать рассказывает, ты драться любишь. «Он у меня,— говорит,— драчливый, как петух».— Жухрай рассмеялся одобрительно.— Драться вообще не вредно, только надо знать, кого бить и за что бить.

Павка, не зная, смеется над ним Жухрай или говорит серьезно, ответил:

— Я зря не дерусь, всегда по справедливости.

Жухрай неожиданно предложил:

— Хочешь, научу тебя драться по-настоящему?

Павка удивленно на него посмотрел.

— Как так — по-настоящему?

— А вот посмотришь.

И Павка прослушал первую короткую лекцию по английскому боксу.

Не легко досталась Павке эта наука, но усвоил он ее прекрасно. Не раз летел он кубарем, сбитый с ног ударом кулака Жухрая, но учеником оказался прилежным и терпеливым.

В один из жарких дней Павка, придя от Климки, послонявшись по комнате и не найдя себе работы, решил забраться на любимое местечко — на крышу сторожки, стоявшей в углу сада, за домом. Он прошел через двор, вошел в садик и, дойдя до дощатого сарая, по выступам забрался на крышу. Пробравшись сквозь густые ветви вишен, склонившихся над сараем, он выбрался на середину крыши и прилег на солнышке.

Одной стороной сторожка выходила в сад Лещинских, и, если добраться до края, виден весь сад и одна сторона дома. Павка высунул голову над выступом и увидел часть двора со стоявшей там коляской. Видно было, как денщик немецкого лейтенанта, поместившегося у Лещинских на квартире, чистил щеткой вещи своего начальника. Павка не раз видел лейтенанта у ворот усадьбы.

Лейтенант был приземистый, краснощекий, с маленькими подстриженными усиками, в пенсне и фуражке с лакированным козырьком. Знал Павка, что лейтенант помещается в боковой комнате, окно которой выходило в сад и было видно с крыши.

Сейчас лейтенант сидел за столом и что-то писал, потом взял написанное и вышел. Передав письмо денщику, он пошел по дорожке сада к калитке, выходящей на улицу. У витой беседки лейтенант остановился — видно, с кем-то говорил. Из беседки вышла Нелли Лещинская. Взяв ее под руку, лейтенант пошел с ней к калитке, и оба вышли на улицу.

Все это наблюдал Павка. Он уже собирался заснуть, когда увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик, повесил на вешалку мундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел, прикрыв за собой дверь. Тотчас же Павка увидел его у конюшни, где стояли лошади.

В открытое окно Павке была хорошо видна вся комната. На столе лежали ремни и еще что-то блестящее.

Подталкиваемый нестерпимым зудом любопытства, Павка тихо перелез с крыши на ствол черешни и спустился в сад Лещинских. Согнувшись, в несколько скачков он добежал до раскрытого окна и заглянул в комнату. На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным «манлихером».

У Павки захватило дух. Несколько секунд в нем происходила борьба, но, захлестнутый отчаянной дерзостью, он перегнулся, схватил кобуру и, вытащив из нее новый

вороненый револьвер, спрыгнул в сад. Оглянувшись по сторонам, осторожно сунул револьвер в карман и бросился через сад к черешне. Вскарабкавшись быстро, по-обезьяньи, на крышу, Павка оглянулся назад. Денщик мирно разговаривал с конюхом. В саду было тихо... Он сполз с сарая и помчался домой.

Мать возилась на кухне, приготовляя обед, и не обратила на Павку внимания.

Схватив лежавшую за сундуком тряпку, Павка сунул ее в карман, незаметно выскользнул в дверь, пробежал через сад, перелез через забор и выбрался на дорогу, ведущую к лесу. Придерживая рукой тяжело бивший по ноге револьвер, что есть мочи помчался к старому, завалившемуся кирпичному заводу.

Ноги едва касались земли, ветер свистел в ушах.

У старого кирпичного завода было тихо. Кое-где провалившаяся деревянная крыша, горы разбитого кирпича и разрушающиеся обжигные печи наводили тоску. Все здесь поросло бурьяном. И только трое друзей иногда собирались сюда для своих игр. Павка знал много потаенных местечек, где можно спрятать украденное сокровище.

Забравшись в пролом печи, он осторожно оглянулся, но дорога была пуста. Тихо шумели сосны, легкий ветерок крутил придорожную пыль. Крепко пахло смолой.

На самом дне печи, в уголке, положил Павка завернутый в тряпку револьвер, закрыл его пирамидкой старых кирпичей. Выбравшись оттуда, завалил кирпичами вход в старую печь, заметил расположение кирпичей и, выйдя на дорогу, медленно пошел назад.

Ноги в коленях чуть дрожали.

«Чем все это кончится?» — думал он, и сердце сжималось как-то тревожно.

На электростанцию пошел раньше времени, чтобы только не быть дома. Взял у сторожа ключ и открыл широкую дверь, ведущую в помещение, где стояли двигатели. И пока чистил поддувало, накачивал в котел воду и растапливал топку, думал:

«Что теперь делается на даче Лещинских?»

Уже поздно, часов в одиннадцать, к Павке зашел Жухрай, отозвал его во двор и тихо спросил:

— Почему у вас обыск был сегодня?

Павка испуганно вздрогнул:

— Как обыск?

Жухрай, помолчав, добавил:

— Да, дело неважное. Ты не знаешь, что они искали?

Павка хорошо знал, что искали, но рассказать Жухраю о краже револьвера не решился. Весь вздрагивая от тревоги, он спросил:

— Артема арестовали?

— Никого не арестовали, но все в доме перерыли вверх дном.

От этих слов стало немного легче, но тревога не проходила. Несколько минут каждый думал о своем. Один из них, зная причину обыска, тревожился о последствиях, другой не знал и от этого настораживался.

«Черт их знает, может, пронюхали про меня что-нибудь? Артему обо мне ничего неизвестно, а почему у него обыск? Надо быть поосторожней»,— думал Жухрай.

Разошлись молча к своей работе.

А в усадьбе был большой переполох.

Лейтенант, обнаружив отсутствие револьвера, вызвал денщика; узнав, что револьвер пропал, он, обычно корректный, сдержанный, ударил денщика со всего размаха в ухо; тот, качнувшись от удара, стоял, вытянувшись в струнку, и, виновато мигая глазами, покорно ожидал дальнейшего.

Вызванный для объяснения адвокат тоже возмущался и извинялся перед лейтенантом за то, что в его доме случилась такая неприятность.

Присутствовавший при этом Виктор Лещинский высказал отцу предположение, что револьвер могли украсть соседи, в особенности хулиган Павел Корчагин. Отец поспешно стал объяснять лейтенанту мысль сына, и тот немедленно дал распоряжение вызвать наряд для обыска.

Обыск не дал никаких результатов. Случай с пропажей револьвера убедил Павку в том, что даже и такие рискованные предприятия иногда оканчиваются благополучно.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тоня стояла у раскрытого окна. Она скучающе смотрела на знакомый, родной ей сад, на окружающие его высокие стройные тополя, чуть вздрагивающие от легкого ветерка. И не верилось, что целый год она не видела род-

ной усадьбы. Казалось, что только вчера она оставила все эти с детства знакомые места и вернулась сегодня с утренним поездом.

Ничего здесь не изменилось: такие же аккуратно подстриженные ряды малиновых кустов, все так же геометрически расчерченные дорожки, засаженные любимыми цветами мамы — «анютиными глазками». Все в саду чистенько и прибрано. Всюду видна педантичная рука ученого лесовода. И Тоне скучно от этих расчищенных, расчерченных дорожек.

Тоня взяла недочитанный роман, открыла дверь на веранду, спустилась по лестнице в сад, толкнула маленькую крашеную калиточку и медленно пошла к станционному пруду у водокачки.

Миновав мостик, она вышла на дорогу. Дорога была, как аллея. Справа пруд, окаймленный вербой и густым ивняком. Слева начинался лес.

Она направилась было к прудам, на старую каменоломню, но остановилась, заметив внизу у пруда взметнувшуюся удочку.

Нагнувшись над кривой вербой, раздвинула рукой ветви ивняка и увидела загорелого парнишку, босого, с засученными выше колен штанами. Сбоку стояла ржавая жестяная банка с червяками. Парень был увлечен своим занятием и не замечал пристального взгляда Тони.

— Разве здесь рыба ловится?

Павка сердито оглянулся.

Держась за вербу, низко нагнувшись к воде, стояла незнакомая девушка. На ней была белая матроска с синим в полоску воротником и светло-серая короткая юбка. Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги в коричневых туфельках. Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут.

Рука с удочкой чуть вздрогнула, гусиный поплавок кивнул головкой, и от него разбежалась кругами всколыхнувшаяся гладь воды.

А голосок сзади взволнованно:

— Клюет, видите, клюет...

Павел совсем растерялся, дернул удочку. Вместе с брызгами воды вынырнул вертящийся на крючке червячок.

«Ну, теперь половишь, черта с два! Принес леший вот эту»,— раздраженно думал Павка и, чтобы скрыть свою неловкость, закинул удочку подальше в воду — между двух лопухов, как раз туда, куда закидывать не следовало, крючок мог зацепиться за корягу.

Сообразил и, не оборачиваясь, прошипел в сторону сидевшей наверху девушки:

— Чего вы галдите? Так вся рыба разбежится.

И услыхал сверху насмешливое, издевающееся:

— Она давно уже разбежалась от одного вашего вида. Разве днем ловят? Эх вы, горе-рыбак!

Это было уже слишком для старавшегося соблюсти приличие Павки. Он встал и, надвинув на лоб кепку, что всегда у него являлось признаком злости, проговорил, подбирая наиболее деликатные слова:

— Вы бы, барышня, уматывались куда-нибудь, что ли.

Глаза Тони чуть-чуть сузились, заискрились промелькнувшей улыбкой.

— Разве я вам мешаю?

В голосе ее уже не было насмешки, было в нем что-то дружеское, примиряющее, и Павка, собравшийся нагрубить этой невесть откуда взявшейся «барышне», был обезоружен.

— Что же, смотрите, если охота. Мне места не жалко,— согласился он и, присев, опять глянул на поплавок. Тот прибился к лопуху, и было ясно, что крючок зацепился за корень. Потянуть его Павка не решался.

«Если зацепится, тогда не оторвешь. А эта, конечно, смеяться будет. Хоть бы ушла»,— рассуждал он.

Но Тоня, усевшись поудобнее на чуть покачивающуюся изогнутую вербу, положила на колени книгу и стала наблюдать за загорелым черноглазым грубияном, так нелюбезно встретившим ее и теперь нарочито не обращавшим на нее внимания.

Павке хорошо видно в зеркальной воде отражение сидящей девушки. Она читает, а он потихоньку тянет зацепившуюся лесу. Поплавок ныряет: леса, упираясь, натягивается.

«Зацепилась, проклятая!» — мелькает мысль, а косым взглядом видит в воде смеющуюся мордочку.

Через мостик у подкачки прошли двое молодых людей — гимназистов-семиклассников. Один — сын начальника депо, инженера Сухарько, белобрысый, веснушчатый

семнадцатилетний балбес и повеса Рябой Шурка, как прозвали его в училище, с хорошей удочкой, с лихо закушенной папироской. Рядом — Виктор Лещинский, стройный, изнеженный юноша.

Сухарько, подмигивая, нагнувшись к Виктору, говорил:

— Девочка эта с изюмом, другой такой здесь нет. Уверяю, ро-ман-ти-че-ская особа. В Киеве учится в шестом классе, к отцу на лето приехала. Он здесь главный лесничий. Она знакома с моей сестрой Лизой. Я как-то письмецо ей подкатил в таком, знаешь, возвышенном духе. Влюблен, дескать, безумно и с трепетом ожидаю вашего ответа. И даже из Надсона выскреб стихотвореньице подходящее.

— Ну и что же? — с любопытством спросил Виктор.

Сухарько, немного смущенный, проговорил:

— Да ломается, знаешь, задается на макароны. Не порть бумаги, говорит. Но это всегда так сначала бывает. Я в этих делах стреляная птица. Знаешь, неохота возиться — долго ухаживать да притоптывать. Куда лучше, пойдешь вечерком в ремонтные бараки и за трешку такую красавицу выберешь, что язычком оближешься. И безо всякого ломанья. Мы с Валькой Тихоновым ходили,— ты дорожного мастера знаешь?

Виктор презрительно сморщился.

— Ты занимаешься такой гадостью, Шура?

Шура пожевал папироску, сплюнул и бросил насмешливо:

— Подумаешь, чистоплюй какой. Знаем, чем занимаетесь.

Виктор, перебивая его, спросил:

— Так ты меня с этой познакомишь?

— Конечно, идем быстрее, пока она не ушла. Вчера она сама утром ловила.

Приятели уже приближались к Тоне. Вынув папиросу изо рта, Сухарько, франтовато изогнувшись, поклонился.

— Здравствуйте, мадемуазель Туманова. Что, рыбу ловите?

— Нет, наблюдаю, как ловят,— ответила Тоня.

— А вы незнакомы? — заспешил Сухарько, беря Виктора за руку.— Мой приятель, Виктор Лещинский.

Виктор смущенно подал Тоне руку.

— А почему вы сегодня не ловите? — старался завязать разговор Сухарько.

— Я не взяла удочки,— ответила Тоня.

— Я сейчас принесу еще одну,— заторопился Сухарько.— Вы пока половите моей, а я сейчас принесу.

Он выполнял данное Виктору слово познакомить его с Тоней и старался оставить их вдвоем.

— Нет, мы будем мешать. Здесь уже ловят,— ответила Тоня.

— Кому мешать? — спросил Сухарько.— Ах, вот этому? — Он только сейчас заметил сидевшего у куста Павку.— Ну, этого я выставлю отсюда в два счета.

Тоня не успела ему помешать. Он спустился вниз к удившему Павке.

— Сматывай удочки сейчас же,— обратился Сухарько к Павке.— Ну, быстрей, быстрей,— говорил он, видя, что Павка спокойно продолжает удить.

Павка поднял голову, посмотрел на Сухарько взглядом, не обещающим ничего хорошего.

— А ты потише. Чего губы распустил?

— Что-о-о? — вскипел Сухарько.— Ты еще разговариваешь, рвань несчастная! Пош-шел вон отсюда! — и с силой ударил носком ботинка по банке с червями. Та перевернулась в воздухе и шлепнулась в воду. Брызги от разлетевшейся воды попали на лицо Тони.

— Сухарько, как вам не стыдно! — воскликнула она.

Павка вскочил. Он знал, что Сухарько — сын начальника депо, в котором работал Артем, и если он сейчас ударит в эту рыхлую рыжую рожу, то гимназист пожалуется отцу и дело обязательно дойдет до Артема. Это было единственной причиной, которая удерживала его от немедленной расправы.

Сухарько, чувствуя, что Павел сейчас его ударит, бросился вперед и толкнул обеими руками в грудь стоявшего у воды Павку. Тот взмахнул руками, изогнулся, но удержался и не упал в воду.

Сухарько был старше Павки на два года и имел репутацию первого драчуна и скандалиста.

Павка, получив удар в грудь, совершенно вышел из себя.

— Ах, так! Ну, получай! — и коротким взмахом руки влепил Сухарько режущий удар в лицо. Затем, не давая

ему опомниться, цепко схватил за форменную гимназическую куртку, рванул к себе и потащил в воду.

Стоя по колено в воде, замочив свои блестящие ботинки и брюки, Сухарько изо всех сил старался вырваться из цепких рук Павки. Толкнув гимназиста в воду, Павка выскочил на берег.

Взбешенный Сухарько ринулся за Павкой, готовый разорвать его на куски.

Выскочив на берег и быстро обернувшись к налетевшему Сухарько, Павка вспомнил:

«Упор на левую ногу, правая напряжена и чуть согнута. Удар не только рукой, но и всем телом, снизу вверх, под подбородок».

Ррраз!..

Лязгнули зубы. Взвизгнув от страшной боли в подбородке и от прикушенного языка, Сухарько нелепо взмахнул руками и тяжело, всем телом, плюхнулся в воду.

А на берегу безудержно хохотала Тоня.

— Браво, браво! — кричала она, хлопая в ладоши.— Это замечательно!

Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся лесу, выскочил на дорогу.

Уходя, слышал, как Виктор говорил Тоне:

— Это самый отъявленный хулиган, Павка Корчагин.

На станции становилось неспокойно. С линии приходили слухи, что железнодорожники начинают бастовать. На соседней большой станции деповские рабочие заварили кашу. Немцы арестовали двух машинистов по подозрению в провозе воззваний. Среди рабочих, связанных с деревней, начались большие возмущения, вызванные реквизициями и возвращением помещиков в свои фольварки.

Плетки гетманских стражников полосовали мужицкие спины. В губернии развивалось партизанское движение. Уже насчитывалось до десятка партизанских отрядов, организованных большевиками.

Жухрай в эти дни не знал покоя. Он за время своего пребывания в городке проделал большую работу. Познакомился со многими рабочими-железнодорожниками, бывал на вечеринках, где собиралась молодежь, и создал крепкую группу из деповских слесарей и лесопильщиков. Пробовал прощупать Артема. На его вопрос, как Артем

смотрит насчет большевистского дела и партии, здоровенный слесарь ответил ему:

— Знаешь, Федор, я насчет этих партий слабо разбираюсь. Но помочь, ежели надо будет, всегда готов. Можешь на меня рассчитывать.

Федор и этим остался доволен,— знал, что Артем свой парень, и если что сказал, то и сделает. А до партии, видать, еще не дошел человек. «Ничего, времечко теперь такое, что скоро грамоту пройдет»,— думал матрос.

Перешел Федор на работу с электростанции в депо. Удобнее было работать: на электростанции он был оторван от железной дороги.

Движение на дороге было громадное. Немцы увозили в Германию тысячами вагонов все, что награбили на Украине: рожь, пшеницу, скот...

Неожиданно гетманская стража взяла на станции телеграфиста Пономаренко. Били его в комендантской жестоко, и, видно, рассказал он про агитацию Романа Сидоренко, деповского товарища Артема.

За Романом пришли во время работы два немца и гетманец — помощник станционного коменданта. Подойдя к верстаку, где работал Роман, гетманец, не говоря ни слова, ударил его нагайкой по лицу.

— Идем, сволочь, за нами! Там поговорим кой о чем,— сказал он. И, жутко осклабившись, рванул слесаря за рукав.— Там у нас поагитируешь!

Артем, работавший на соседних тисках, бросил напильник и, надвинувшись всей громадой на гетманца, сдерживая накатывающуюся злобу, прохрипел:

— Как смеешь бить, гад?

Гетманец попятился, отстегивая кобуру револьвера. Низенький, коротконогий немец скинул с плеча тяжелую винтовку с широким штыком и лязгнул затвором.

— Хальт! — пролаял он, готовый выстрелить при первом движении.

Верзила-слесарь беспомощно стоял перед этим плюгавеньким солдатом, бессильный что-либо сделать.

Забрали обоих. Артема через час выпустили, а Романа заперли в багажном подвале.

Через десять минут в депо никто не работал. Деповские собрались в станционном саду. К ним присоединились

стрелочники и другие рабочие, работающие на материальном складе. Все были страшно возбуждены. Кто-то написал воззвание с требованием выпустить Романа и Пономаренко.

Возмущение еще более усилилось, когда примчавшийся к саду с кучей стражников гетманец, размахивая револьвером, закричал:

— Если не пойдете, сейчас же на месте всех переарестуем! А кое-кого и к стенке поставим.

Но крики озлобленных рабочих заставили его ретироваться на станцию. Из города уже летели по шоссе грузовики, полные немецких солдат, вызванных комендантом станции.

Рабочие стали разбегаться по домам. С работы ушли все, даже дежурный по станции. Сказывалась Жухраева работа. Это было первое массовое выступление на станции.

Немцы установили на перроне тяжелый пулемет. Он стоял, как лягавая собака на стойке. Положив руку на рукоять, на корточках около него сидел немецкий капрал.

Вокзал обезлюдел.

Ночью начались аресты. Забрали и Артема. Жухрай дома не ночевал, его не нашли.

Собрали всех в громадном товарном пакгаузе и выставили ультиматум: возврат на работу или военно-полевой суд.

По линии бастовали почти все рабочие-железнодорожники. За сутки не прошел ни один поезд, а в ста двадцати километрах шел бой с крупным партизанским отрядом, перерезавшим линию и взорвавшим мосты.

Ночью на станцию пришел эшелон немецких войск, но машинист, его помощник и кочегар сбежали с паровоза. Кроме воинского эшелона, на станции ожидали очереди на отправление еще два состава.

Открыв тяжелые двери пакгауза, вошли комендант станции, немецкий лейтенант, его помощник и группа немцев.

Помощник коменданта вызвал:

— Корчагин, Полентовский, Бруззжак. Вы сейчас едете поездной бригадой. За отказ — расстрел на месте. Едете?

Трое рабочих понуро кивнули головами. Их повели под конвоем к паровозу, а помощник коменданта уже выкрикивал фамилии машиниста, помощника и кочегара на другой состав.

Паровоз сердито отфыркивался брызгами светящихся искр, глубоко дышал и, продавливая темноту, мчал по рельсам в глубь ночи. Артем, набросав в топку угля, захлопнул ногой железную дверцу, потянул из стоявшего на ящике курносого чайника глоток воды и обратился к старику-машинисту Полентовскому:

— Везем, говоришь, папаша?

Тот сердито мигнул из-под нависших бровей:

— Да, повезешь, ежели тебя штыком в спину.

— Бросить все и тикать с паровоза,— предложил Бруздак, искоса поглядывая на сидевшего на тендере немецкого солдата.

— Я тоже так думаю,— буркнул Артем,— да вот этот тип за спиной торчит.

— Да...— неопределенно протянул Брузжак, высовываясь в окно.

Подвинувшись поближе к Артему, Полентовский тихо прошептал:

— Нельзя нам везти, понимаешь? Там бой идет, повстанцы пути повзрывали. А мы этих собак привезем, так они их порешат в два счета. Ты знаешь, сынок, я при царе не возил при забастовках. И теперь не повезу. До смерти позор будет, если для своих расправу привезем. Ведь бригада-то паровозная разбежалась. Жизнью рисковали, и все же разбежались хлопцы. Нам поезд доставлять никак невозможно. Как ты думаешь?

— Я согласен, папаша, но что ты сделаешь вот с этим? — И он взглядом показал на солдата.

Машинист сморщился, вытер паклей вспотевший лоб и посмотрел воспаленными глазами на манометр, как бы надеясь найти там ответ на мучительный вопрос. Потом злобно, с накипью отчаяния, выругался.

Артем потянул из чайника воду. Оба думали об одном и том же, но никто не решался первым высказаться. Артему вспомнилось Жухраево:

— Как ты, братишка, насчет большевистской партии и коммунистической идеи рассматриваешь?

И его, Артема, ответ:

— Помочь всегда готов, можешь на меня положиться...

«Хороша помощь, везем карателей...»

Полентовский, нагнувшись над ящиком с инструментом бок о бок с Артемом, с трудом выговорил:

— А этого надо порешить. Понимаешь?

Артем вздрогнул. Полентовский, скрипнув зубами, добавил:

— Иначе выхода нет. Стукнем, и регулятор в печку, рычаги в печку, паровоз на снижающий ход — и с паровоза долой.

И, будто скидывая тяжелый мешок с плеч, Артом сказал:

— Ладно.

Артем, нагнувшись к Бруззкаку, рассказал помощнику о принятом решении.

Бруззкак не скоро ответил. Каждый из них шел на очень большой риск. У всех оставались дома семьи. Многосемейным был Полентовский: у него дома оставалось девять душ. Но каждый сознавал, что везти нельзя.

— Что ж, я согласен,— сказал Бруззкак.— Но кто ж его...— Он не договорил понятную для Артема фразу.

Артем повернулся к старику, возившемуся у регулятора, и кивнул головой, как бы говоря, что Бруззкак тоже согласен с их мнением, но тут же, мучимый неразрешенным вопросом, подвинулся к Полентовскому ближе.

— Но как же мы это сделаем?

Тот посмотрел на Артема:

— Ты начинай. Ты самый крепкий. Ломом двинем его разок — и кончено.— Старик сильно волновался.

Артем нахмурился:

— У меня это не выйдет. Рука как-то не поднимается. Ведь солдат, если разобраться, не виноват. Его тоже из-под штыка погнали.

Полентовский блеснул глазами:

— Не виноват, говоришь? Но мы тоже ведь не виноваты, что нас сюда загнали. Ведь карателей везем. Эти невиноватые расстреливать партизанов будут, а те что, виноваты?.. Эх ты, сиромаха!.. Здоров, как медведь, а толку с тебя мало...

— Ладно,— прохрипел Артем, беря лом. Но Полентовский зашептал:

— Я возьму, у меня вернее. Ты бери лопату и лезь скидать уголь с тендера. Если будет нужно, то грохнешь немца лопатой. А я вроде уголь разбивать пойду.

Бруззкак кивнул головой:

— Верно, старик.— И стал у регулятора.

Немец в суконной бескозырке с красным околышком сидел с краю на тендере, поставив между ног винтовку,

и курил сигару, изредка посматривая на возившихся на паровозе рабочих.

Когда Артем полез наверх грести уголь, часовой не обратил на это особого внимания. А затем, когда Полентовский, как бы желая отгрести большие куски угля с края тендера, попросил его знаком подвинуться, немец послушно передвинулся вниз, к дверке, ведущей в будку паровоза.

Глухой, короткий удар лома, проломивший череп немцу, поразил Артема и Брузжака, как ожог. Тело солдата мешком свалилось в проход.

Серая суконная бескозырка быстро окрашивалась кровью. Лязгнула ударившаяся о железный борт винтовка.

— Кончено,— прошептал Полентовский, бросая лом, и, судорожно покривившись, добавил:— Теперь для нас заднего хода нет.

Голос сорвался, но тотчас же, преодолевая давившее всех молчание, перешел в крик.

— Вывинчивай регулятор, живей! — крикнул он.

Через десяток минут все было сделано. Паровоз, лишенный управления, медленно задерживал ход.

Тяжелыми взмахами вступали в огневой круг паровоза темные силуэты придорожных деревьев и тотчас же снова бежали в безглазую темь. Фонари паровоза, стремясь пронизать тьму, натыкались на ее густую кисею и отвоевывали у ночи лишь десяток метров. Паровоз, как бы истратив последние силы, дышал все реже и реже.

— Прыгай, сынок! — услышал Артем за собой голос Полентовского и разжал руку, державшую поручень. Могучее тело по инерции пролетело вперед, и ноги твердо толкнулись о вырвавшуюся из-под них землю. Пробежав два шага, Артем упал, тяжело перевернувшись через голову.

С обеих подножек паровоза спрыгнули сразу еще две тени.

В доме Брузжаков было невесело. Антонина Васильевна, мать Сережи, за последние четыре дня совсем извелась. От мужа вестей не было. Она знала, что его вместе с Корчагиным и Полентовским взяли немцы в поездную бригаду. Вчера приходили трое из гетманской стражи и грубо, с ругательствами допрашивали ее.

Из этих слов она смутно догадывалась, что случилось что-то неладное, и, когда ушла стража, женщина, мучимая

тяжелой неизвестностью, повязала платок и собралась идти к Марии Яковлевне, надеясь у нее узнать о муже.

Старшая дочь Валя, прибиравшая на кухне, увидев уходившую мать, спросила:

— Ты далеко, мама?

Антонина Васильевна, взглянув на дочь полными слез глазами, ответила:

— Пойду к Корчагиным. Может, узнаю у них что про отца. Если Сережка придет, то скажи ему: пусть на станцию сходит к Полентовским.

Валя, тепло обняв за плечи мать, успокаивала ее, провожая до двери:

— Ты не тревожься, мама.

Мария Яковлевна встретила Бruzжак, как и всегда, радушно. Обе женщины ожидали услышать друг от друга что-либо новое, но после первых же слов надежда эта исчезла.

У Корчагиных ночью тоже был обыск. Искали Артема. Уходя, приказали Марии Яковлевне, как только вернется сын, сейчас же сообщить в комендатуру.

Корчагина была страшно перепугана ночным приходом патруля. Она была одна: Павел, как всегда, ночью работал на электростанции.

Павка пришел рано утром. Выслушав рассказ матери о ночном обыске и поисках Артема, он почувствовал, как все его существо наполняет гнетущая тревога за брата. Несмотря на разницу характеров и кажущуюся суровость Артема, братья крепко любили друг друга. Это была суровая любовь, без признаний, и Павел ясно сознавал, что нет такой жертвы, которую он не принес бы без колебания, если б она была нужна брату.

Он, не отдыхая, побежал на станцию в депо искать Жухрая, но не нашел его, а от знакомых рабочих ничего не смог узнать ни о ком из уехавших. Не знала ничего и семья машиниста Полентовского. Павка встретил во дворе Бориса, самого младшего сына Полентовского. От него он узнал, что ночью был обыск и у Полентовских. Искали отца.

Так ни с чем и вернулся Павка к матери, устало завалился на кровать и сразу потонул в беспокойной сонной зыби.

Валя оглянулась на стук в дверь.

— Кто там? — спросила она и откинула крючок.

В открытой двери появилась рыжая всклокоченная голова Марченко. Климка, видно, быстро бежал. Он запыхался и покраснел от бега.

— Мама дома? — спросил он Валю.

— Нет, ушла.

— А куда ушла?

— Кажется, к Корчагиным.— Валя задержала за рукав собравшегося было бежать Климку.

Тот нерешительно посмотрел на девушку.

— Да так, знаешь, дело у меня к ней есть.

— Какое дело? — затормошила парня Валя.— Ну, говори же, скорей, медведь ты рыжий, говори же, а то тянет за душу,— повелительным тоном командовала девушка.

Климка забыл все предостережения, категорический приказ Жухрая передать записку только Антонине Васильевне лично, вытащил из кармана замусоленный клочок бумажки и подал его девушке. Не мог отказать он белокурой сестренке Сережки, потому что рыженький Климка не совсем сводил концы с концами в своих отношениях к этой славной девчурке. Правда, скромный поваренок ни за что не признался бы даже самому себе, что ему нравится Валя. Он отдал ей бумажку, которую та бегло прочла:

«Дорогая Тоня! Не беспокойся. Все хорошо. Живы и невредимы. Скоро узнаешь больше. Передай остальным, что все благополучно, чтоб не тревожились. Записку уничтожь. З а х а р».

Прочитав записку, Валя бросилась к Климке:

— Рыжий медведь, миленький мой, где ты достал это? Скажи, где ты достал, косолапый медвежонок? — И она изо всех сил тормошила растерявшегося Климку, и он не опомнился, как сделал вторую оплошность.

— Это мне Жухрай на станции передал.— И, вспомнив, что этого не надо было говорить, добавил: — Только он сказал: никому не давать.

— Ну, хорошо, хорошо! — засмеялась Валя.— Я никому не скажу. Ну беги, рыженький, к Павке, там и мать застанешь. — Она легонько подталкивала поваренка в спину.

Через секунду рыжая голова Климки мелькнула за калиткой.

Никто из троих домой не возвращался. Вечером Жухрай пришел к Корчагиным и рассказал Марии Яковлевне обо всем происшедшем на паровозе. Успокоил, как мог, испуганную женщину, сообщив, что все трое устроились далеко, в глубоком селе, у дядьки Брузжака, что они там в безопасности, возвращаться им сейчас, конечно, нельзя, но что немцам туго, можно ожидать в скором будущем изменения.

Все происшедшее еще более сдружило семьи уехавших. С большой радостью читались редкие записки, присылаемые семьям, но в домах стало пустынное и тише.

Зайдя как-то раз как бы невзначай к старухе Полентовской, Жухрай передал ей деньги.

— Вот, мамаша, вам поддержка от мужа. Только глядите, мамаша, ни слова никому.

Старуха благодарно пожала ему руку.

— Вот спасибо, а то совсем беда, есть ребятам нечего.

Деньги эти были из тех, что оставил Булгаков.

«Ну, ну, посмотрим, что дальше будет. Забастовка хотя и сорвалась, под страхом расстрела рабочие хотя и работают, но огонь загорелся, его уже не потушишь, а те трое — молодцы, это пролетарии»,— с восхищением думал матрос, шагая от Полентовских к депо.

В старенькой кузнице, повернувшейся своей закопченной стеной к дороге на отшибе села Воробьева Балка, у огневой глотки печи, слегка жмурясь от яркого света, Полентовский длинными щипцами ворочал уже накалившийся докрасна кусок железа.

Артем нажимал на подвешенный к перекладине рычаг, раздувавший кожаные мехи.

Машинист, добродушно усмехаясь себе в бороду, говорил:

— Мастеровому на селе сейчас не пропасть, работа найдется, хоть завались. Вот поработаю недельку-другую, и, пожалуй, сальца и мучицы своим послать сможем. У мужичка, сынок, кузнец всегда в почете. Откормимся здесь, как буржуи, хе-хе. А Захар-то особь статья, он больше по крестьянству придерживается, закопался в землю с дядькой своим. Что ж, оно, пожалуй, понятно.

У нас с тобой, Артем, ни кола, ни двора, горб да рука, как говорится, вековая пролетария, хе-хе, а Захар пополам разделился, одна нога на паровозе, другая в деревне.— Он потрогал щипцами раскаленный кусок железа и добавил уже серьезно, задумчиво: — А наше дело табак, сынок. Ежели немцев не попрут вскорости, придется нам в Екатеринослав аль в Ростов навертывать, а то возьмут за жабры и подвесят между небом и землей, как пить дать.

— Да,— пробурчал Артем.

— Как наши там держатся, не пристают ли к ним гайдамаки?

— Да, папаша, кашу заварили, теперь от дома отрекайся.

Машинист выхватил из горна голубоватый жаркий кусок и быстро положил его на наковальню.

— А ну, сыночек, стукни!

Артем схватил тяжелый молот, стоявший у наковальни, с силой взмахнул им над головой и ударил. Сноп ярких искр с легким шуршащим треском разбрызгался по кузне, осветив на мгновенье ее темные углы.

Полентовский поворачивал раскаленный кусок под мощные удары, и железо послушно плющилось, как размякший воск.

В раскрытые ворота кузни дышала теплым ветром темная ночь.

Озеро внизу — темное, громадное; сосны, охватившие его со всех сторон, кивают могучими головами.

«Как живые»,— думает Тоня. Она лежит на покрытой травой выемке на гранитном берегу. Высоко наверху, за выемкой, бор, а внизу, сейчас же у подножья отвеса, озеро. Тень от обступивших скал делает края озера еще более темными.

Это любимый уголок Тони. Здесь, в версте от станции, в старых каменоломнях, в глубоких заброшенных котловинах, забили родники, и теперь образовалось три проточных озера. Внизу, у спуска к озеру, слышен плеск. Тоня поднимает голову и, раздвинув рукой ветви, смотрит вниз: от берега на середину озера сильными бросками плывет загорелое изгибающееся тело. Тоня видит смуглую спину и черную голову купающегося. Он фыркает, как морж, разрезая воду короткими саженками, переворачивается, кувыркается, ныряет и, наконец устав, ло-

жится на спину, зажмурив глаза от яркого солнца, замирает, распластав руки и чуть изогнувшись.

Тоня опустила ветку. «Ведь это неприлично»,— насмешливо подумала она и принялась за чтение.

Увлеченная книгой, данной ей Лещинским, Тоня не заметила, как кто-то перелез через гранитный выступ, отделявший площадку от бора, и, только когда на книгу из-под ноги перелезавшего упал камешек, вздрогнув от неожиданности, подняла голову и увидела стоявшего на площадке Павку Корчагина. Он стоял, удивленный неожиданной встречей, и, тоже смущенный, собирался уйти.

«Это он сейчас купался»,— догадалась Тоня, взглянув на Павкины мокрые волосы.

— Что, испугал вас? Не знал, что вы здесь, так что невзначай сюда.— И, проговорив это, Павка взялся рукой за выступ. Он тоже узнал Тоню.

— Вы мне не мешаете. Если хотите, можем даже поговорить о чем-нибудь.

Павка с удивлением глядел на Тоню.

— О чем же мы с вами говорить будем?

Тоня улыбнулась.

— Ну, чего же вы стоите? Можете сесть вот здесь,— и она указала на камень.— Скажите, как вас зовут?

— Я Павка Корчагин.

— А меня зовут Тоня. Вот мы и познакомились.

Павка смущенно мял кепку.

— Так вас зовут Павкой? — прервала молчание Тоня.— А почему Павка? Это некрасиво звучит, лучше Павел. Я вас так и буду называть. А вы часто сюда ходите...— она хотела сказать: купаться, но, не желая открыть, что видела его купающимся, добавила: — гулять?

— Нет, не часто, как случается свободное время,— ответил Павел.

— А вы где-нибудь работаете? — допытывалась Тоня.

— Кочегаром на электростанции.

— Скажите, где вы научились так мастерски драться? — задала вдруг неожиданный вопрос Тоня.

— А вам-то что до моей драки? — недовольно буркнул Павел.

— Вы не сердитесь, Корчагин,— проговорила она, чувствуя, что Павка недоволен ее вопросом.— Меня это очень интересует. Вот это был удар! Нельзя бить так немилосердно,— и она расхохоталась.

— А вам что, жалко? — спросил Павел.

— Ну, нет, вовсе не жалко, наоборот, Сухарько получил по заслугам. А мне эта сценка доставила много удовольствия. Говорят, что вы часто деретесь.

— Кто говорит? — насторожился Павел.

— Ну, вот Виктор Лещинский говорит, что вы профессиональный забияка.

Павел потемнел.

— Виктор — сволочь, белоручка. Пусть скажет спасибо, что ему тогда не попало. Я слыхал, как он обо мне говорил, только не хотелось рук марать.

— Зачем вы так ругаетесь, Павел? Это нехорошо, — перебила его Тоня.

Павел нахохлился.

«Какого лешего я с этой чудачкой разговорился? Ишь, командует: то ей «Павка» не нравится, то «не ругайся», — думал он.

— Почему вы злы на Лещинского? — спросила Тоня.

— Барышня в штанах, панский сыночек, душа из него вон! У меня на таких руки чешутся: норовит на пальцы наступить, потому что богатый и ему все можно, а мне на его богатство плевать; ежели затронет как-нибудь, то сразу и получит все сполна. Таких кулаком и учить, — говорил он возбужденно.

Тоня пожалела, что затронула в разговоре имя Лещинского. Этот парень имел, видно, старые счеты с изнеженным гимназистом, и она перевела разговор на более спокойную тему: начала расспрашивать Павла о его семье и работе.

Незаметно для себя Павел стал подробно отвечать на расспросы девушки, забыв о своем желании уйти.

— Скажите, почему вы не учились дальше? — спросила Тоня.

— Меня из школы выперли.

— За что?

Павка покраснел.

— Я попу в тесто махры насыпал, — ну, меня и вытурили. Злой был поп, жизни от него не было. — И Павел обо всем рассказал ей.

Тоня с любопытством слушала. Он забыл свое смущение, рассказывал ей, как старый знакомый, о том, что не вернулся брат; никто из них и не заметил, как в дружеской, оживленной беседе они просидели на площадке

несколько часов. Наконец Павка опомнился и вскочил.

— Ведь мне на работу уже пора. Вот заболтался, а мне котлы разводить надо. Теперь Данило волынку подымет.— И он беспокойно заговорил: — Ну, прощайте, барышня, теперь мне надо во весь карьер жарить в город.

Тоня быстро поднялась, надевая жакет.

— Мне тоже пора, пойдемте вместе.

— Ну, нет, я бегом, вам со мной не с руки.

— Почему? Мы побежим вместе, вперегонку: посмотрим, кто быстрей.

Павка пренебрежительно посмотрел на нее.

— Вперегонку? Куда вам со мной!

— Ну, увидим, давайте сначала выберемся отсюда.

Павел перескочил камень, подал Тоне руку, и они выбежали в лес на широкую ровную просеку, ведущую к станции.

Тоня остановилась у середины дороги.

— Ну, сейчас побежим: раз, два, три. Ловите! — И сорвалась вихрем вперед. Быстро-быстро замелькали подошвы ее ботинок, синий жакет развевался от ветра.

Павел помчался за ней.

«В два счета догоню»,— думал он, летя за мелькающим жакетом, но догнал ее лишь в конце просеки, недалеко от станции. С размаху набежал и крепко схватил за плечи.

— Есть, попалась птичка! — закричал весело, задыхаясь.

— Пустите, больно,— защищалась Тоня.

Стояли оба, запыхавшиеся, с колотившимися сердцами, и выбившаяся из сил от сумасшедшего бега Тоня чуть-чуть, как бы случайно, прижалась к Павлу и от этого стала близкой. Было это одно мгновенье, но запомнилось.

— Меня никто догнать не мог,— говорила она, освободившись от его рук.

Сейчас же расстались. И, махнув на прощанье кепкой, Павел побежал в город.

Когда Павел открыл дверь в кочегарку, возившийся уже у топки Данило, кочегар, сердито обернулся:

— Ты бы еще позднее пришел. Что, я за тебя растапливать буду, что ли?

Но Павка весело хлопнул кочегара по плечу и примирительно сказал:

— В один момент, старик, топка будет в ходу.— И завозился у сложенных в штабеля дров.

К полуночи, когда Данило, лежа на дровах, разразился лошадиным храпом, Павел, облазив с масленкой весь двигатель, вытер паклей руки и, вытащив из ящика шестьдесят второй выпуск «Джузеппе Гарибальди», углубился в чтение захватывающего романа о бесконечных приключениях легендарного вождя неаполитанских «краснорубашечников» Гарибальди.

«Посмотрела она на герцога своими прекрасными синими глазами...»

«А у этой тоже синие глаза,— вспомнил Павел.— Она особенная какая-то, на тех, богатеньких, не похожа,— думал он,— и бегает, как черт».

Углубившись в воспоминание о дневной встрече, Павел не слышал нарастающего шума двигателя; тот дрожал от напряжения, громадный маховик бешено вертелся, и бетонная платформа, на которой стоял он, нервно вздрагивала.

Павка метнул взглядом на манометр: стрелка на несколько делений перемахнула вверх за сигнальную красную линию.

— Ах ты, черт! — сорвался Павел с ящика и бросился к отводящему пар рычагу, повернул его два раза, и за стеной кочегарки сипло зашипел выпускаемый из отводной трубы в реку пар. Опустив вниз рычаг, Павка перевел ремень на колесо, двигающее насос.

Павел оглянулся на Данилу; тот безмятежно спал, широко разинув рот, и выводил носом жуткие звуки.

Через полминуты стрелка манометра возвратилась на старое место.

Расставшись с Павлом, Тоня направилась домой. Она думала о только что происшедшей встрече с этим черноглазым юношей и, сама того не сознавая, была рада ей.

«Сколько в нем огня и упорства! И он совсем не такой грубиян, как мне казалось. Во всяком случае он совсем не похож на всех этих слюнявых гимназистов...»

Он был из другой породы, из той среды, с которой до сих пор Тоня близко не сталкивалась.

«Его можно приручить,— думала она,— и это будет интересная дружба»,

Подходя к дому, Тоня увидела сидящих в саду Лизу Сухарько, Нелли и Виктора Лещинских. Виктор читал. Они, видимо, ожидали ее.

Поздоровалась со всеми, присела на скамью. Среди пустого, легкомысленного разговора Виктор Лещинский, подсев к Тоне, тихо спросил:

— Вы прочли роман?

— Ах, да, роман! — спохватилась Тоня.— А я его...— Она чуть не сказала, что книга забыта у озера.

— Ну, как он вам понравился? — Виктор внимательно посмотрел на нее.

Тоня подумала и, медленно чертя носком ботинка по песку дорожки какую-то замысловатую фигуру, подняла голову и посмотрела на него:

— Нет, я начала другой роман, более интересный, чем тот, что вы мне принесли.

— Вот как,— обиженно протянул Виктор.— А кто автор? — спросил он.

Тоня посмотрела на него искрящимися, насмешливыми глазами.

— Никто...

— Тоня, приглашай гостей в комнату, вас ожидает чай! — позвала стоявшая на балконе мать Тони.

Взяв под руки обеих девушек, Тоня направилась к дому. А Виктор, идя сзади, ломал голову над сказанными Тоней словами, не понимая их смысла.

Первое, еще не осознанное, но незаметно вошедшее в жизнь молодого кочегара чувство было так ново, так непонятно-волнующе. Оно встревожило озорного, мятежного парня.

Была Тоня дочерью главного лесничего, а главный лесничий был для него все равно, что адвокат Лещинский.

Выросший в нищете и голоде, Павел враждебно относился к тем, кто был в его понимании богатым. К своему чувству подходил Павел с осторожностью и опаской, он не считал Тоню, как дочь каменотеса Галину, своей, простой, понятной и недоверчиво относился к Тоне, готовый дать резкий отпор всякой насмешке и пренебрежению к нему, кочегару, со стороны этой красивой и образованной девушки.

Целую неделю не виделся Павел с дочерью лесничего и сегодня решил пойти на озеро. Пошел нарочно мимо ее дома, надеялся встретить. Медленно идя вдоль забора усадьбы, в самом конце заметил знакомую матроску. Поднял лежащую у забора сосновую шишку, бросил ее, целясь в белую блузку.

Тоня быстро обернулась. Заметив Павла, подбежала к забору. Весело улыбнулась, подавая ему руку.

— Наконец-то вы пришли,— обрадованно сказала она.— Где пропадали все время? Я была у озера, книгу там забыла. Думала, вы придете. Идите сюда, к нам в сад.

Павка отрицательно махнул головой:

— Не пойду.

— Почему? — Брови ее удивленно поднялись.

— Да отец ваш, пожалуй, ругаться станет. Вам же и попадет за меня. Зачем, скажет, такого обормота привела?

— Вы чепуху говорите, Павел,— рассердилась Тоня.— Идите сейчас же сюда. Мой отец никогда ничего не скажет, вот вы сами увидите. Идемте.

Она побежала, открыла калитку, и Павел не совсем уверенно пошел за ней.

— Вы любите читать книги? — спросила она, когда они сели за круглый, вкопанный в землю стол.

— Очень люблю,— оживился Павел.

— Какая из прочитанных книг вам больше всего нравится?

Павел, подумав, ответил:

— «Джузеппа Гарибальди».

— «Джузеппе Гарибальди»,— поправила Тоня.— Вам очень нравится эта книга?

— Да, я его шестьдесят восемь выпусков прочел, каждую получку покупаю по пять штук. Вот человек был Гарибальди! — с восхищением произнес Павел.— Вот герой! Это я понимаю! Сколько ему приходилось биться с врагами, а всегда его верх был. По всем странам плавал! Эх, если бы он теперь был, я к нему пристал бы. Он себе мастеровых набирал в компанию и все за бедных бился.

— Хотите, я вам покажу нашу библиотеку? — сказала Тоня и взяла его за руку.

— Ну, нет, в дом не пойду,— наотрез отказался Павел.



— Отчего вы упрямитесь? Или боитесь?

Павел посмотрел на свои босые ноги, не блиставшие чистотой, и поскреб затылок.

— А меня мамаша или отец не попруг оттуда?

— Бросьте, наконец, эти разговоры, или я окончательно рассержусь,— вспылила Тоня.

— Что ж, Лещинский к себе в дом не пускает, в кухне беседует с нашим братом. Я к ним ходил по одному делу, так Нелли даже в комнату не пустила,— наверное, чтобы я им ковры не попортил, черт ее знает,— улыбнулся Павка.

— Идем, идем.— Она взяла его за плечи и дружески втолкнула на балкон.

Проведя его через столовую в комнату с громадным дубовым шкафом, Тоня открыла дверцы. Павел увидел несколько сотен книг, стоявших ровными рядами, и поразился невиданному богатству.

— Мы сейчас найдем для вас интересную книгу, и вы обещайте приходить и брать их у нас постоянно. Хорошо?

Павка радостно кивнул головой:

— Я книжки люблю.

Провели они несколько часов очень хорошо и весело. Она познакомила его со своей матерью. Это оказалось не так уж страшно, и мать Тони Павлу понравилась.

Тоня привела Павла в свою комнату, показывала ему свои книги и учебники.

У туалетного столика стояло небольшое зеркало. Подведя к нему Павла, Тоня, смеясь, сказала:

— Почему у вас такие дикие волосы? Вы их никогда не стрижете и не причесываете?

— Я их начистую снимаю, когда отрастают, что больше с ними делать? — неловко оправдывался Павка.

Тоня, смеясь, взяла с туалета расческу и быстрыми движениями причесала его взлохмаченные кудри.

— Вот сейчас совсем другое,— говорила она, оглядывая Павла.— А волосы надо красиво подстричь, а то вы, как бирюк, ходите.

Тоня посмотрела критическим взглядом на его вылинявшую, рыжую рубашку и потрепанные штаны, но ничего не сказала.

Павел этот взгляд заметил, и ему стало обидно за свой наряд.

Расставаясь с ним, Тоня приглашала его приходить в дом. И взяла с него слово прийти через два дня вместо удить рыбу.

В сад Павел выбрался одним махом через окно: проходить опять через комнаты и встречаться с матерью ему не хотелось.

С отсутствием Артема в семье Корчагина стало туго: заработка Павла не хватало.

Мария Яковлевна решила поговорить с сыном: не следует ли ей опять приниматься за работу, кстати Лещинским нужна была кухарка. Но Павел запротестовал:

— Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду там работать, и этого нам хватит с тобой, а ты уж не ходи на работу, а то Артем сердиться будет на меня, скажет: не мог обойтись без того, чтобы мать на работу не послать.

Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел заупрямился, и она согласилась.

На другой день Павел уже работал на лесопилке, раскладывал для просушки свеженапиленные доски. Встретил там знакомых ребят: Мишку Левчукова, с которым учился в школе, и Кулешова Ваню. Взялись они с Мишей вдвоем сдельно работать. Заработок получался довольно хороший. День проводил Павел на лесопилке, а вечером бежал на электростанцию.

К концу десятого дня принес Павел матери заработанные деньги. Отдавая их, он смущенно потоптался и, наконец, попросил:

— Знаешь, мама, купи мне сатиновую рубашку, синюю,— помнишь, как у меня в прошлом году была. На это половина денег пойдет, а я еще заработаю, не бойся, а то у меня вот эта уже старая,— оправдывался он, как бы извиняясь за свою просьбу.

— Конечно, конечно, куплю, Павлуша, сегодня же, а завтра сошью. У тебя, верно, рубашки нет новой.— Она ласково глядела на сына.

Павел остановился у парикмахерской и, нащупав в кармане рубль, вошел в дверь.

Парикмахер, разбитной парень, заметив вошедшего, привычно кивнул на кресло:

— Садитесь.

Усевшись в глубокое, удобное кресло, Павел увидел в зеркале смущенную, растерянную физиономию.

— Под машинку? — спросил парикмахер.

— Да, то есть нет, в общем подстригите. Ну, как это у вас называется? — и сделал отчаянный жест рукой.

— Понимаю,— улыбнулся парикмахер.

Через четверть часа Павел вышел вспотевший, измученный, но аккуратно подстриженный и причесанный. Парикмахер долго и упорно трудился над непослушными вихрами, но вода и расческа победили, и волосы прекрасно лежали.

На улице Павел вздохнул свободно и натянул поглубже кепку.

«Что мать скажет, когда увидит?»

Ловить рыбу, как обещал, Павел не пришел, и Тоню это обидело.

«Не очень внимателен этот мальчишка-кочегар»,— с досадой думала она, но, когда Павел не пришел и в следующие дни, ей стало скучно.

Она уже собиралась идти гулять, когда мать, приоткрыв дверь в ее комнату, сказала:

— К тебе, Тонечка, гости. Можно?

В дверях стоял Павел, и Тоня его даже сразу не узнала.

На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка и черные штаны. Начищенные сапоги блестели, и — что сразу заметила Тоня — он был подстрижен, волосы не торчали космами, как раньше,— и черномазый кочегар предстал совсем в ином свете.

Тоня хотела высказать свое удивление, но, не желая смущать и без того чувствовавшего себя неловко парня, сделала вид, что не заметила разительной перемены.

Она принялась было укорять его:

— Как вам не стыдно! Почему вы не пришли рыбу ловить? Так-то вы свое слово держите?

— Я на лесопилке работал эти дни и не мог прийти.

Не мог он сказать, что для того, чтобы купить себе рубашку и штаны, он работал эти последние дни до изнеможения.

Но Тоня догадалась об этом сама, и вся досада на Павла прошла бесследно.

— Идемте гулять к пруду,— предложила она, и они пошли в сад, а оттуда на дорогу.

И уже, как другу, как большую тайну, Павел рассказал Тоне об украденном у лейтенанта револьвере и обещал ей в один из ближайших дней забраться глубоко в лес и пострелять.

— Смотри, ты меня не выдай,— неожиданно сказал он ей «ты».

— Я тебя никогда никому не выдам,— торжественно обещала Тоня.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Острая, беспощадная борьба классов захватывала Украину. Все большее и большее число людей бралось за оружие, и каждая схватка рождала новых участников.

Далеко в прошлое отошли спокойные для обывателя дни.

Кружила метель, встряхивала орудийными выстрелами ветхие домишки, и обыватель жался к стенкам подвальчиков, к вырытым самодельным траншеям.

Губернию залила лавина петлюровских банд разных цветов и оттенков: маленькие и большие батьки, разные Голубы, Архангелы, Ангелы, Гордии и нескончаемое число других бандитов.

Бывшее офицерье, правые и левые украинские эсеры — всякий решительный авантюрист, собравший кучку головорезов, объявлял себя атаманом, иногда развертывал желто-голубое знамя петлюровцев и захватывал власть в пределах своих сил и возможностей.

Из этих разношерстных банд, подкрепленных кулачеством и галицийскими полками осадного корпуса атамана Коновальца, создавал свои полки и дивизии «головний атаман Петлюра». В эту эсеровско-кулацкую муть врывались красные партизанские отряды, и тогда дрожала земля под сотнями и тысячами копыт, тачанок и артиллерийских повозок.

В тот апрель мятежного девятнадцатого года насмерть перепуганный, обалделый обыватель, продирая утром заспанные глаза, открывая окна своих домишек, тревожно спрашивал ранее проснувшегося соседа:

— Автоном Петрович, какая власть в городе?

И Автоном Петрович, подтягивая штаны, испуганно озирался:

— Не знаю, Афанас Кириллович. Ночью пришли какие-то. Посмотрим: ежели евреев грабить будут, то, значит, петлюровцы, а ежели «товарищи», то по разговору слыхать сразу. Вот я и высматриваю, чтобы знать, какой портретик повесить, дабы не влипнуть в историю, а то, знаете, Герасим Леонтьевич, мой сосед, недосмотрел хорошо да возьми и вывеси Ленина, а к нему как наскочат трое: оказывается, из петлюровского отряда. Как глянут на портрет, да за хозяина! Всыпали ему, понимаете, плеток с двадцать. «Мы,— говорят,— с тебя, сукина сына, коммунистическая морда, семь шкур сдерем». Уж он как ни оправдывался, ни кричал — не помогло.

Замечая кучки вооруженных, шедших по шоссе, обыватель закрывал окна и прятался. Неровен час...

А рабочие с затаенной ненавистью смотрели на желто-голубые знамена петлюровских громил. Бессильные против этой волны самостийного шовинизма, они оживали лишь тогда, когда в городок клином врезались проходившие красные части, жестоко отбивавшиеся от обступивших со всех концов жовто-блакитников[1]. День-другой алело родное знамя над управой, но часть уходила, и сумерки надвигались опять.

Сейчас хозяин города — полковник Голубь, «краса и гордость» Заднепровской дивизии.

Вчера его двухтысячный отряд головорезов торжественно вступил в город. Пан полковник ехал впереди отряда на великолепном вороном жеребце и, несмотря на апрельское теплое солнце, был в кавказской бурке и в смушковой запорожской шапке с малиновой «китыцей», в черкеске с полным вооружением: кинжал, сабля чеканного серебра.

Красив пан полковник Голубь: брови черные, лицо бледное с легкой желтизной от бесконечных попоек. В зубах люлька. Был пан полковник до революции агрономом на плантациях сахарного завода, но скучна эта жизнь, не сравнить с атаманским положением, и выплыл агроном в мутной стихии, загулявшей по стране, уже паном полковником Голубом.

[1] Жовто-блакитный — по-украински — желто-голубой.

В единственном театре городка был устроен пышный вечер в честь прибывших. Весь «цвет» петлюровской интеллигенции присутствовал на нем: украинские учителя, две поповские дочери — старшая, красавица Аня, младшая — Дина, мелкие подпанки, бывшие служащие графа Потоцкого, и куча мещан, называвшая себя «вильным казацтвом», украинские эсеровские последыши.

Театр был битком набит. Одетые в национальные украинские костюмы, яркие, расшитые цветами, с разноцветными бусами и лентами, учительницы, поповны и мещаночки были окружены целым хороводом звякающих шпорами старшин, точно срисованных со старых картин, изображавших запорожцев.

Гремел полковой оркестр. На сцене лихорадочно готовились к постановке «Назара Стодоли».

Не было электричества. Пану полковнику доложили об этом в штабе. Он, собиравшийся лично почтить своим присутствием вечер, выслушал своего адъютанта, хорунжего Паляныцю, а по-настоящему — бывшего подпоручика Поляпцева, бросил небрежно, но властно:

— Чтобы свет был. Умри, а монтера найди и пусти электростанцию.

— Слушаюсь, пане полковнику.

Хорунжий Паляныця не умер и монтеров достал.

Через час двое петлюровцев вели Павла на электростанцию. Таким же образом доставили монтера и машиниста.

Паляныця сказал коротко:

— Если до семи часов не будет света, повешу всех троих! — Он указал рукой на железную штангу.

Эти кратко сформулированные выводы сделали свое дело, и через установленный срок был дан свет.

Вечер был уже в полном разгаре, когда явился пан полковник со своей подругой, дочерью буфетчика, в доме которого он жил, пышногрудой, с ржаными волосами девицей.

Богатый буфетчик обучал ее в гимназии губернского города.

Усевшись на почетные места, у самой сцены, пан полковник дал знак, что можно начинать, и занавес тотчас же взвился. Перед зрителями мелькнула спина убегавшего со сцены режиссера.

Во время спектакля присутствовавшие старшины со своими дамами изрядно накачивались в буфете первачом, самогоном, доставляемым туда вездесущим Паляныцей, и всевозможными яствами, добытыми в порядке реквизиции. К концу спектакля все сильно охмелели.

Вскочивший на сцену Паляныця театрально взмахнул рукой и провозгласил:

— Шановни добродии, зараз почнем танци.

В зале дружно зааплодировали. Все вышли во двор, давая возможность петлюровским солдатам, мобилизованным для охраны вечера, вытащить стулья и освободить зал.

Через полчаса в театре шел дым коромыслом.

Разошедшиеся петлюровские старшины лихо отплясывали гопака с раскрасневшимися от жары местными красавицами, и от топота их тяжелых ног дрожали стены ветхого театра.

В это время со стороны мельницы в город въезжал вооруженный отряд конных.

На околице петлюровская застава с пулеметами, заметив движущуюся конницу, забеспокоилась и бросилась к пулемету. Щелкнули затворы. В ночь пронесся резкий крик:

— Стой! Кто идет?

Из темноты выдвинулись две темные фигуры, и одна из них, приблизившись к заставе, громким пропойным басом прорычала:

— Я — атаман Павлюк со своим отрядом, а вы — голубовские?

— Да,— ответил вышедший вперед старшина.

— Где мне разместить отряд? — спросил Павлюк.

— Я сейчас спрошу по телефону штаб,— ответил ему старшина и скрылся в маленьком доме у дороги.

Через минуту выбежал оттуда и приказал:

— Снимай, хлопцы, пулемет с дороги, давай проезд пану атаману.

Павлюк натянул поводья, останавливая лошадь около освещенного театра, вокруг которого шло оживленное гулянье.

— Ого, тут весело,— сказал он, оборачиваясь к остановившемуся рядом с ним есаулу.— Слезем, гукмач, и мы гульнем кстати. Баб подберем себе подходящих, здесь их до черта. Эй, Сталежко,— крикнул он,— размести хлопцев

по квартирам! Мы тут остаемся. Конвой со мной.— И он грузно спрыгнул с пошатнувшейся лошади на землю.

У входа в театр Павлюка остановили двое вооруженных петлюровцев.

— Билет?

Но тот презрительно посмотрел на них, отодвинул одного плечом. За ним таким же порядком продвинулось человек двенадцать из его отряда. Их лошади стояли тут же, привязанные у забора.

Новоприбывших сразу заметили. Особенно выделялся своей громадной фигурой Павлюк, в офицерском, хорошего сукна, френче, в синих гвардейских штанах и в мохнатой папахе. Через плечо — маузер, из кармана торчит ручная граната.

— Кто это? — зашептали стоявшие за кругом танцующих, где сейчас отплясывал залихватскую «метелицу» помощник Голуба.

В паре с ним кружилась старшая поповна. Взметнувшиеся вверх веером юбки открывали восхищенным воякам шелковое трико не в меру расходившейся поповны.

Раздав плечами толпу, Павлюк вошел в самый круг.

Павлюк мутным взглядом вперился в ноги поповны, облизнул языком пересохшие губы и пошел прямо через круг к оркестру, стал у рампы, махнул плетеной нагайкой.

— Жарь гопака!

Дирижирующий оркестром не обратил на это внимания.

Тогда Павлюк резко взмахнул рукой, вытянул его вдоль спины нагайкой. Тот подскочил, как ужаленный.

Музыка сразу оборвалась, зал мгновенно затих.

— Это наглость! — вскипела дочь буфетчика.— Ты не должен этого позволить,— нервно жала она локоть сидевшего рядом Голуба.

Голуб тяжело поднялся, толкнул ногой стоявший перед ним стул, сделал три шага к Павлюку и остановился, подойдя к нему вплотную. Он сразу узнал Павлюка. Были у Голуба еще не сведенные счеты с этим конкурентом на власть в уезде.

Неделю тому назад Павлюк подставил пану полковнику ножку самым свинским образом.

В разгар боя с красным полком, который не впервой трепал голубовцев, Павлюк, вместо того чтобы ударить

большевиков с тыла, вломился в местечко, смял легкие заставы красных и, выставив заградительный заслон, устроил в местечке небывалый грабеж. Конечно, как и подобало «щирому» петлюровцу, погром коснулся еврейского населения.

Красные в это время разнесли в пух и прах правый фланг голубовцев и ушли.

А теперь этот нахальный ротмистр ворвался сюда и еще смеет бить в присутствии его, пана полковника, его же капельмейстера. Нет, этого он допустить не мог. Голуб понимал, что, если он не осадит сейчас зазнавшегося атаманишку, авторитет его в полку будет уничтожен.

Впившись друг в друга глазами, стояли они несколько секунд молча.

Крепко зажав в руке рукоять сабли и другой нащупывая в кармане наган, Голуб гаркнул:

— Как ты смеешь бить моих людей, подлец?

Рука Павлюка медленно поползла к кобуре маузера.

— Легче, пане Голуб, легче, а то можно сбиться с каблука. Не наступайте на любимый мозоль, осержусь.

Это переполнило чашу терпения.

— Взять их, выбросить из театра и всыпать каждому по двадцать пять горячих! — прокричал Голуб.

На павлюковцев, как стая гончих, кинулись со всех сторон старшины.

Охнул, как брошенная об пол электролампочка, чей-то выстрел, и по залу завертелись, закружились, как две собачьи стаи, дерущиеся. В слепой драке рубили друг друга саблями, хватали за чубы и прямо за горло, а от сцепившихся шарахались с поросячьим визгом насмерть перепуганные женщины.

Через несколько минут обезоруженных павлюковцев, избивая, выволокли во двор и выбросили на улицу.

Павлюк потерял в драке папаху, ему раскваспли лицо, разоружили,— он был вне себя. Вскочив со своим отрядом на лошадей, он помчался по улице.

Вечер был сорван. Никому не приходило на ум веселиться после всего происшедшего. Женщины наотрез отказались танцевать и требовали отвезти их домой, но Голуб стал на дыбы.

— Никого из зала не выпускать, поставить часовых,— приказал он.

Паляныця поспешно выполнял приказания.

На посыпавшиеся протесты Голуб упрямо отвечал:

— Танцы до утра, шановни добродийки и добродии. Я сам танцую первый тур вальса.

Музыка вновь заиграла, но веселиться все же не пришлось.

Не успел полковник пройти с поповной один круг, как ворвавшиеся в двери часовые закричали:

— Театр окружают павлюковцы!

Окно у сцены, выходившее на улицу, с треском разлетелось. В проломленную раму просунулась морда тупорылого пулемета. Она глупо ворочалась, нащупывая метавшиеся фигуры, и от нее, как от черта, отхлынули на середину зала.

Паляныця выстрелил в тысячесвечовую лампу в потолке, и та, лопнув, как бомба, осыпала всех мелким дождем стекла.

Стало темно. С улицы кричали:

— Выходи все во двор! — и неслась жуткая брань.

Дикие, истерические крики женщин, бешеная команда метавшегося по залу Голуба, старавшегося собрать растерявшихся старшин, выстрелы и крики на дворе — все это слилось в невероятный гам. Никто не заметил, как выскочивший вьюном Паляныця, проскочив задним ходом на соседнюю пустынную улицу, мчался к голубовскому штабу.

Через полчаса в городе шел форменный бой. Тишину ночи всколыхнул непрерывный грохот выстрелов, мелкой дробью засыпали пулеметы. Совершенно отупевшие обыватели соскочили со своих теплых кроватей, — прилипли к окнам.

Выстрелы стихают, только на краю города отрывисто, по-собачьи лает пулемет.

Бой утихает. Брезжит рассвет...

Слухи о погроме ползли по городку. Заползли они и в еврейские домишки, маленькие, низенькие, с косоглазыми оконцами, примостившиеся каким-то образом над грязным обрывом, идущим к реке. В этих коробках, называвшихся домами, в невероятной тесноте жила еврейская беднота.

В типографии, в которой уже второй год работал Сережа Брузжак, наборщики и рабочие были евреи.

Сжился с ними Сережа, как с родными. Дружной семьей держались все против хозяина, отъевшегося, самодовольного господина Блюмштейна. Между хозяином и работавшими в типографии шла непрерывная борьба. Блюмштейн норовил урвать побольше, заплатить поменьше, и на этой почве не раз закрывалась на две-три недели типография: бастовали типографщики. Было их четырнадцать человек. Сережа, самый младший, вертел по двенадцати часов колесо печатной машины.

Сегодня Сережа заметил беспокойство рабочих. Последние тревожные месяцы типография работала от заказа к заказу. Печатали воззвания «головного» атамана.

Сережу отозвал в угол чахоточный наборщик Мендель.

Смотря на него своими грустными глазами, он сказал:

— Ты знаешь, что в городе будет погром?

Сережа удивленно посмотрел:

— Нет, не знаю.

Мендель положил высохшую, желтую руку на плечо Сережи и по-отцовски доверчиво заговорил:

— Погром будет, это факт. Евреев будут избивать. Я тебя спрашиваю: ты хочешь помочь своим товарищам в этой беде или нет?

— Конечно, хочу, если смогу. Говори, Мендель.

Наборщики прислушивались к разговору.

— Ты славный парень, Сережа, мы тебе верим. Ведь твой отец тоже рабочий. Побеги сейчас домой и поговори с отцом: согласится ли он к себе спрятать нескольких стариков и женщин, а мы заранее договоримся, кто у вас прятаться будет. Потом поговори с семьей, у кого еще можно спрятать. Русских эти бандиты пока не трогают. Беги, Сережа, время не терпит.

— Хорошо, Мендель, будь уверен, я сейчас к Павке и Климке сбегаю — у них обязательно примут.

— Подожди минутку,— забеспокоился Мендель, удерживая собиравшегося уходить Сережу.— Кто такие эти Павка и Климка? Ты их хорошо знаешь?

Сережа уверенно кивнул головой.

— Ну как же, мои кореши: Павка Корчагин, его брат — слесарь.

— А, Корчагин,— успокоился Мендель.— Этого я знаю, с ним вместе жил в одном доме. Этому можно. Иди, Сережа, и возвращайся скорее с ответом.

Сережа выскочил на улицу.

Погром начался на третий день после боя павлюковского отряда с голубовцами.

Разбитый и отброшенный от города, Павлюк убрался восвояси и занял соседнее местечко, потеряв в ночном бою два десятка человек. Столько же недосчитали голубовцы.

Убитых поспешно отвезли на кладбище и в тот же день похоронили, без особой пышности, потому что хвастаться здесь было нечем. Погрызлись, как две бродячие собаки, два атамана, и устраивать шумиху с похоронами было неудобно. Паляныця хотел было хоронить с треском, объявив Павлюка красным бандитом, но против этого был эсеровский комитет, во главе которого стоял поп Василий.

Ночное столкновение вызвало в голубовском полку недовольство, в особенности в конвойной сотне Голуба, где убитых насчитывалось больше всего, и, чтобы потушить это недовольство и поднять дух, Паляныця предложил Голубу «облегчить существование», как он издевательски выражался о погроме. Он доказывал Голубу необходимость этого, ссылаясь на недовольство в отряде. Тогда полковник, не желавший было сначала нарушать спокойствия в городе перед своей свадьбой с дочерью буфетчика, под угрозами Паляныци согласился.

Правда, немного смущала пана полковника эта операция в связи с вступлением его в эсеровскую партию. Опять же враги могут создать вокруг его имени нежелательные разговоры, что вот он, полковник Голуб,— погромщик, и обязательно будут на него наговаривать «головному» атаману. Но пока что Голуб от «головного» мало зависел, снабжаясь со своим отрядом на свой риск и страх. Да «головной» и сам прекрасно знал, что за братия у него служит, и сам не раз денежки требовал на нужды директории от так называемых реквизиций, а насчет славы погромщика, то у Голуба она уже была довольно солидная. Прибавить к ней он мог очень немногое.

Разбой начался ранним утром.

Городок плавал в предрассветной серой дымке. Пустые улицы, как измокшие полотняные полосы, беспорядочно опутывавшие несуразно застроенные еврейские кварталы, были безжизненны. Подслеповатые оконца завешены и наглухо закрыты ставнями.

Снаружи казалось, что кварталы спали крепким предутренним сном, но в домишках не спали. Семьи, одетые,

готовились к начинающемуся несчастью, сбивались в какой-нибудь комнатушке, и только маленькие дети, не понимавшие ничего, спали безмятежно-спокойным сном на руках матерей.

Долго будил в это утро голубовского адъютанта Паляныцю начальник голубовского конвоя Саломыга, черный, с цыганским лицом, с сизым рубцом от удара сабли на щеке.

Тяжело просыпался адъютант. Никак оторваться не мог от дурацкого сна. Все еще его царапал когтями по горлу кривляющийся горбатый черт, от которого не было отбоя всю ночь. И когда, наконец, поднял разрывающуюся от боли голову, понял: это будит Саломыга.

— Да вставай же, холера,— тряс его за плечо Саломыга.— Поздно уже, пора начинать. Ты бы еще больше выпил.

Паляныця совсем проснулся, сел и, скривившись от изжоги, сплюнул горьковатую слюну.

— Чего начинать? — выпучил он бессмысленные глаза на Саломыгу.

— Как чего? Жидов потрошить. Не знаешь?

Паляныця вспомнил: да, верно, он совсем забыл, вчера здорово выпили на хуторе, куда забрался пан полковник со своей невестой и кучкой собутыльников.

Убраться из города Голубу на время погрома было удобно. Потом можно было сказать, что произошло недоразумение в его отсутствие, а Паляныця успеет все обделать на совесть. О, этот Паляныця большой специалист по части «облегчения»!

Он вылил ведро воды на голову, и к нему вернулась способность соображать. Он зашнырял по штабу, отдавая различные приказания.

Конвойная сотня была уже на конях. Предусмотрительный Паляныця, во избежание возможных осложнений, приказал выставить заставу, отделяющую рабочий поселок и станцию от города.

В саду усадьбы Лещинских был поставлен пулемет, смотревший на дорогу.

В случае если бы рабочие подумали вмешаться, их бы встретили свинцом.

Когда все приготовления были окончены, адъютант и Саломыга вскочили на лошадей.

Уже трогаясь в путь, Паляныця вспомнил:

— Стой, забыл было. Давай две подводы: мы Голубу приданое постараемся. Го-го-го... Первая добыча, как всегда, командиру, а первая баба, ха-ха-ха, мне, адъютанту. Понял, балда стоеросовая?

Последнее относилось к Саломыге.

Тот блеснул на него желтоватым глазом:

— Всем хватит.

Тронулись по шоссе. Впереди — адъютант и Саломыга, сзади — беспорядочной ватагой конвойники.

Дымка рассвета прояснилась. У двухэтажного дома с проржавевшей вывеской «Галантерейная торговля Фукса» Паляныця натянул поводья.

Серая тонконогая кобыла его беспокойно ударила копытом по камню.

— Ну, с божьей помощью отсюда и начнем,— сказал Паляныця, соскакивая на землю.

— Эй, хлопцы, слазь с коней,— обернулся он к обступившему его конвою. — Представление начинается, — пояснил он.— Хлопцы, по черепкам никого не стукать, на то будет еще час; баб тоже, если не велика охота, до вечера продержитесь.

Один из конвойников, оскалив крепкие зубы, запротестовал:

— Как же так, пане хорунжий, а ежели по доброму согласию?

Кругом заржали. Паляныця посмотрел на говорившего с восхищенным одобрением.

— Ну, конечно, если по доброму согласию, валяйте, этого запретить никто не имеет права.

Подойдя к закрытой двери магазина, Паляныця с силой толкнул ее ногой, но крепкая дубовая дверь даже не дрогнула.

Начинать надо было не отсюда. Адъютант завернул за угол, направился к двери, ведущей в квартиру Фукса, придерживая рукой саблю. За ним двинулся Саломыга.

В доме сразу услыхали стук копыт по мостовой, и когда топот затих у лавки и сквозь стену донеслись голоса, сердца словно оторвались и тела как бы обмерли. В доме было трое.

Богатый Фукс еще вчера удрал из города со своими дочерьми и женой, а в доме оставил стеречь добро прислугу Риву, тихую, забитую девятнадцатилетнюю девушку. Чтобы ей не страшно было в пустой квартире, он пред-

ложил привести своих стариков — отца с матерью — и всем троим жить до его возвращения.

Хитрый коммерсант успокаивал слабо возражавшую Риву, что погрома, может быть, и не будет, что им взять с нищих? А он уже ей, Риве, по приезде подарит на платье.

Все трое в мучительной надежде прислушивались: авось, проедут мимо, может, они ошиблись, может, те остановились не у их дома, может, это просто показалось. Но, как бы опровергая эти надежды, глухо ударили в дверь магазина.

Старый, с серебряной головой, с детски испуганными голубыми глазами Пейсах, стоявший у двери, ведущей в магазин, зашептал молитву. Он молился всемогущему Иегове со всей страстностью убежденного фанатика. Он просил его отвратить несчастье от дома сего, и стоявшая рядом с ним старуха не сразу разобрала за шепотом его молитвы шум приближавшихся шагов.

Рива забилась в самую дальнюю комнату, за большой дубовый буфет.

Резкий, грубый удар в дверь отозвался судорожной дрожью в теле стариков.

— Открывай! — Удар резче первого и брань озлобленных людей.

Но нет сил поднять руки и откинуть крючок.

Снаружи часто забили прикладами. Дверь запрыгала на засовах и, сдаваясь, затрещала.

Дом наполнился вооруженными людьми, рыскавшими по углам. Дверь в магазине была вышиблена ударом приклада. Туда вошли, открыли засовы наружной двери.

Начался грабеж.

Когда подводы были нагружены доверху материей, обувью и прочей добычей, Саломыга отправился на квартиру Голуба и, уже возвращаясь в дом, услыхал дикий крик.

Паляныця, предоставив своим потрошить магазин, вошел в комнату. Обведя троих своими зеленоватыми рысьими глазами, сказал, обращаясь к старикам:

— Убирайтесь!

Ни отец, ни мать не трогались.

Паляныця шагнул вперед и медленно потянул из ножен саблю.

— Мама! — раздирающе крикнула дочь.

Этот крик и услышал Саломыга.

Паляныця обернулся к подоспевшим голубовцам и бросил коротко:

— Вышвырните их! — Он указал на стариков, и, когда тех с силой вытолкнули за дверь, Паляныця сказал подошедшему Саломыге: — Ты постой здесь за дверью, а я с девочкой поговорю кое о чем.

Когда старик Пейсах кинулся на крик к двери, тяжелый удар в грудь отбросил его к стене. Старик задохнулся от боли, но тогда в Саломыгу волчицей вцепилась вечно тихая старая Тойба.

— Ой, пустите, что вы делаете?

Она рвалась к двери, и Саломыга не мог оторвать ее судорожно вцепившиеся в жупан старческие пальцы.

Опомнившийся Пейсах бросился к ней на помощь.

— Пустите, пустите!.. О, моя дочь!

Они вдвоем оттолкнули Саломыгу от двери. Он злобно рванул из-за пояса наган и ударил кованой рукояткой по седой голове старика. Пейсах молча упал.

А из комнаты рвался крик Ривы.

Когда выволокли на улицу обезумевшую Тойбу, улица огласилась нечеловеческими криками и мольбами о помощи.

Крики в доме прекратились.

Выйдя из комнаты, Паляныця, не глядя на Саломыгу, взявшегося уже за ручку двери, остановил его:

— Не ходи — задохлась: я ее немного подушкой прикрыл.— И, шагнув через труп Пейсаха, вступил в темную густую жижу.

— Неудачно как-то началось,— выдавил он, выйдя на улицу.

За ними молча следовали остальные, и от их ног на полу комнаты и на ступеньках оставались кровавые отпечатки.

А в городе уже шел разгром. Вспыхивали короткие волчьи схватки среди не поделивших добычу громил, кое-где взметывались выхваченные сабли. И почти всюду шел мордобой.

Из пивной выкатывали на мостовую дубовые десятиведерные бочки.

Потом поползли по домам.

Никто не оказывал сопротивления. Рыскали по комнатушкам, бегло шарили по углам и уходили навьюченные, оставив сзади взрыхленные груды тряпья и пуха распоро-

тых подушек и перин. В первый день было лишь две жертвы: Рива и ее отец, но надвигавшаяся ночь несла за собой неотвратимую гибель.

К вечеру вся разношерстная шакалья стая перепилась досиня. Замутневшие от угара петлюровцы ждали ночи.

Темнота развязала руки. В черной темени легче раздавить человека: даже шакал, и тот любит ночь, а ведь и он нападает только на обреченных.

Многим не забыть этих страшных двух ночей и трех дней. Сколько исковерканных, разорванных жизней, сколько юных голов, поседевших в эти кровавые часы, сколько пролито слез, и кто знает, были ли счастливее те, что остались жить с опустевшей душой, с нечеловеческой мукой о несмываемом позоре и издевательствах, с тоской, которую не передать, с тоской о невозвратно погибших близких. Безучастные ко всему, лежали по узким переулкам, судорожно запрокинув руки, юные, девичьи тела — истерзанные, замученные, согнутые.

И только у самой речки, в домике кузнеца Наума, шакалы, бросившиеся на его молодую жену Сарру, получили жестокий отпор. Атлет-кузнец, налитый силой двадцати четырех лет, со стальными мускулами молотобойца, не отдал своей подруги.

В жуткой короткой схватке в маленьком домике разлетелись, как гнилые арбузы, две петлюровские головы. Страшный в своем гневе обреченного, кузнец яростно защищал две жизни, и долго трещали сухие выстрелы у речки, куда сбегались почуявшие опасность голубовцы. Расстреляв все патроны, Наум последнюю пулю отдал Сарре, а сам бросился навстречу смерти со штыком наперевес. Он упал, подкошенный свинцовым градом на первой же ступеньке, придавив землю своим тяжелым телом.

На сытых лошадках появились в городке крепкие мужички из ближних деревень, нагружали подводы тем, что облюбовали, и, сопровождаемые своими сынами и родственниками из голубовского отряда, спешили обернуться два-три раза в деревню и обратно.

Сережа Брузжак, укрывший с отцом в подвале и на чердаке половину типографских товарищей, возвращался через огород к себе во двор; он увидел бежавшего по шоссе человека.

Взмахивая руками, в длиннополом заплатанном сюртуке, без шапки, с помертвелым от ужаса лицом,

задыхаясь, бежал старик-еврей. Сзади, быстро нагоняя, изогнувшись для удара, летел на сером коне петлюровец. Слыша цокот лошади за спиной, старик поднял руки, как бы защищаясь. Сережа рванулся на дорогу, бросился к лошади, загородил собой старика.

— Не тронь, бандит, собака!

Не желая сдерживать удара сабли, конник полоснул саблей плашмя по юной белокурой головке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Красные упорно теснили части «головного» атамана Петлюры. Полк Голуба был вызван на фронт. В городке остались небольшое тыловое охранение и комендатура.

Зашевелились люди. Еврейское население, пользуясь временным затишьем, хоронило убитых, и в маленьких домишках еврейских кварталов снова появилась жизнь.

Тихими вечерами доносился неясный грохот. Где-то недалеко шли бои.

Железнодорожники расползались со станции по деревням в поисках работы.

Гимназия была закрыта.

В городе объявлено военное положение.

Непроглядная, нахмуренная ночь.

В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты, и люди движутся ощупью, вслепую, рискуя в любой канаве свернуть голову.

Обыватель знает: в такое время сиди дома и зря не жги свет. Свет может притянуть кого-нибудь непрошеного. Лучше всего в темноте, спокойнее. Есть люди, которым всегда неспокойно. Пускай себе ходят, до них обывателю нет дела. Но сам он не пойдет. Будьте уверены, не пойдет.

И вот в такую ночь двигался человек.

Добравшись до домика Корчагина, он осторожно постучал в оконную раму и, не получив ответа, постучал вторично, сильнее и настойчивее.

Павка во сне видит: на него наводит пулемет какое-то странное существо, на человека не похожее; он пытается

убежать, но бежать некуда, а пулемет как-то страшно стучит.

Стекло дребезжит от настойчивого стука.

Соскочив с постели, Павел подошел к окну, пытаясь рассмотреть, кто стучит. Но, кроме неясного, темного силуэта, ничего не увидел.

Он был дома один. Мать уехала к старшей дочери, муж которой работал машинистом на сахарном заводе. А Артем кузнечил в соседнем селе, отмахивая молотом на харчи.

Стучать мог только Артем.

Павел решил открыть окно.

— Кто там? — бросил он в темноту.

За окном шевельнулась фигура, и грубый, придушенный бас ответил:

— Это я, Жухрай.

На подоконник легли две руки, и вровень с лицом Павла выросла голова Федора.

— Я к тебе ночевать пришел. Принимаешь, братишка? — зашептал он.

— Ну, конечно,— дружески ответил Павел.— Какой может быть разговор? Лезь прямо в окно.

Грузная фигура Федора втиснулась в окно.

Прикрывая его за собой, Федор не сразу отошел от окна.

Он стоял, прислушиваясь, и когда луна выскользнула из-за туч и стала видна дорога, он оглядел ее внимательно и обернулся к Павлу.

— Мы мамашу не разбудим? Она спит, наверное?

Павел сказал Федору, что в доме, кроме него, никого нет. Матрос почувствовал себя свободнее и заговорил громче:

— За меня, братишка, принялись эти шкуродеры всерьез. Сводят счеты за последние дела на станции. Если б братва была дружнее, то мы смогли бы во время погрома устроить «серожупанникам» хороший прием. Но, понимаешь, народ еще не решается лезть в огонь. Сорвалось. Теперь за мной и гонятся. Два раза мне облаву устраивали. Сегодня чуть было не засыпался. Подхожу, понимаешь, к дому, конечно с задворок, стал у сарая. Смотрю: в саду кто-то стоит, к дереву прижался, но штык выдал. Я, понятно, отдал концы. Вот к тебе и притопал. Здесь я, братишка, на несколько дней на якорь сяду. Возражений не имеешь? Ну и хорошо.

Жухрай, сопя, стаскивал забрызганные грязью сапоги.

Павел был рад приходу Жухрая. Последнее время электростанция не работала, и Павлу было скучно одному в пустой квартире.

Легли спать. Павел заснул сразу, а Федор долго курил. Затем поднялся с кровати и, тихо ступая босыми ногами, подошел к окну. Он долго смотрел на улицу; вернувшись к кровати, заснул, побежденный усталостью. Рука его, засунутая под подушку, лежала на тяжелом кольте, согревая его своей теплотой.

Неожиданный ночной приход Жухрая и совместная жизнь с ним в течение этих восьми дней оказались для Павла очень значительными. В первый раз услыхал он от матроса так много волнующего, важного и нового, и эти дни стали для молодого кочегара решающими.

Матрос, прижатый, как в мышеловке, двумя засадами, пользуясь вынужденным бездельем, весь пыл своей ярости и жгучей ненависти к задушившим край «жовто-блакитникам» передавал жадно слушавшему Павлу.

Говорил Жухрай ярко, четко, понятно, простым языком. У него не было ничего нерешенного. Матрос твердо знал свою дорогу, и Павел стал понимать, что весь этот клубок различных партий с красивыми названиями: социалисты-революционеры, социал-демократы, польская партия социалистов,— это злобные враги рабочих, и лишь одна революционная, непоколебимая, борющаяся против всех богатых — это партия большевиков.

Раньше Павел в этом безнадежно путался.

И большой, сильный человек, убежденный большевик, обветренный морскими шквалами, член РСДРП(б) с тысяча девятьсот пятнадцатого года, балтийский матрос Федор Жухрай рассказывал жестокую правду жизни смотревшему на него зачарованными глазами молодому кочегару.

— Я, братишка, в детстве тоже был вот вроде тебя,— говорил он.— Не знал, куда силенки девать, выпирала из меня наружу непокорная натура. Жил в бедности. Глядишь, бывало, на сытых да наряженных господских сыночков, и ненависть охватывает. Бил я их частенько беспощадно, но ничего из этого не получалось, кроме страшенной трепки от отца. Биться в одиночку — жизни не перевер-

нуть. У тебя, Павлуша, все есть, чтобы быть хорошим бойцом за рабочее дело, только вот молод очень и понятие о классовой борьбе очень слабое имеешь. Я тебе, братишка, расскажу про настоящую дорогу, потому что знаю: будет из тебя толк. Тихоньких да примазанных не терплю. Теперь на всей земле пожар начался. Восстали рабы и старую жизнь должны пустить на дно. Но для этого нужна братва отважная, не маменькины сынки, а народ крепкой породы, который перед дракой не лезет в щели, как таракан от света, а бьет без пощады.

Он с силой ударил кулаком по столу.

Жухрай встал; засунув руки в карманы, нахмуренный, зашагал по комнате.

Федора угнетала бездеятельность. Он очень жалел, что остался в этом городишке, и, считая дальнейшее пребывание здесь бесполезным, твердо решил перебраться через фронт навстречу красным частям.

В городе оставалась группа из девяти членов партии, которые должны были вести работу.

«Обойдетесь и без меня, а я больше не могу сидеть сложа руки. Довольно, и так угробил десять месяцев», — с раздражением думал Жухрай.

— Кто ты такой, Федор? — спросил его однажды Павел.

Жухрай встал, засунув руки в карманы. Он сразу не понял вопроса.

— Разве ты не знаешь, кто я такой?

— Я думаю, что ты большевик или коммунист,— тихо ответил Павел.

Жухрай рассмеялся, шутливо стукнув в свою широкую грудь, затянутую в полосатый тельник:

— Это ясно, братишка. Это такой же факт, как и то, что большевик или коммунист одно и то же.— И он сразу стал серьезным.— Раз ты это понимаешь, то помни, что никому нигде об этом говорить не следует, если не хочешь, чтобы из меня кишки выпустили. Понял?

— Понял,— твердо ответил Павел.

На дворе послышались голоса, и дверь, не постучав, открыли. Рука Жухрая быстро скользнула в карман, но сейчас же выбралась оттуда. В комнату входил с перевязанной головой Сережа Брузжак, похудевший, бледный. За ним вошли Валя и Климка.

— Здорово, чертяка,— улыбаясь, подал Павке руку Сережа.— Мы к тебе втроем в гости. Валя меня одного не пускает, боится. А Климка Валю не пускает одну, тоже боится. Он хотя и рыжий, но все же разбирается, кого куда пускать одного опасно.

Валя шутливо закрыла ему ладонью рот.

— Вот болтун,— засмеялась она.— Он сегодня Климке жить не дает.

Климка добродушно смеялся, показывая белые зубы:

— Что взять с больного человека? Котелок поврежден, вот и заговаривается.

Все засмеялись.

Сережа, еще не окрепший от удара, примостился на Павкиной кровати, и вскоре между друзьями шла оживленная беседа. Всегда веселый, неунывающий, Сережа, теперь притихший и подавленный, рассказывал Жухраю, как его ударил петлюровец.

Жухрай знал всех пришедших к Павлу. Он не раз бывал у Брузжаков. Ему нравилась эта молодежь, еще не нашедшая своей дороги в водовороте борьбы, но ясно выражавшая стремление своего класса. И он внимательно слушал рассказы юношей о том, как каждый из них помогал прятать у себя еврейские семьи, спасая их от погрома. В этот вечер он много говорил о большевиках, о Ленине, помогая каждому из них понять происходящее.

Поздно вечером проводил Павел гостей.

Жухрай по вечерам уходил и возвращался ночью. Он договаривался перед отъездом с остающимися товарищами об их работе.

В эту ночь Жухрай не вернулся. Проснувшись утром, Павел увидел пустую кровать.

Охваченный каким-то неясным предчувствием, Корчагин быстро оделся и вышел из дому. Заперев квартиру и положив ключ в условленное место, Павел пошел к Климке, надеясь узнать у него что-нибудь о Федоре. Мать Климки, приземистая, широколицая женщина, с крапленным оспой лицом, стирала белье и на вопрос Корчагина, не знает ли она, где Федор, ответила отрывисто:

— А что, мне только и делов, что твоего Федора смотреть? Из-за него, черта корявого, у Зозулихи весь дом перевернули. Тебе-то на что сдался он? Что за компания такая? Нашлись приятели: Климка, ты...— Она с ожесточением нажимала на белье.

Мать у Климки была с язычком, сварливая.

От Климки завернул Павел к Сереже. Рассказал о своей тревоге. Валя вмешалась в разговор:

— Чего ты тревожишься? Он, может, у знакомых остался.— Но в голосе ее не было уверенности.

У Брузжаков Павлу не сиделось. Он ушел, несмотря на уговоры остаться обедать.

Подходил к дому с надеждой увидеть Жухрая.

Дверь была заперта на замок. Остановился с тяжелым чувством: не хотелось идти в пустую квартиру.

Несколько минут стоял он на дворе, раздумывая, и, направляемый каким-то неясным побуждением, пошел в сарай. Пробравшись под крышу, отмахиваясь от кружев паутины, вытащил из заветного уголка завернутый в тряпки тяжелый «манлихер».

Выйдя из сарая и ощущая в кармане волнующую тяжесть револьвера, пошел на станцию.

О Жухрае ничего не узнал и, возвращаясь обратно, около знакомой усадьбы лесничего замедлил шаг. С неясной для себя надеждой смотрел в окна дома, но сад и дом были безлюдны. Когда усадьба осталась позади, оглянулся на покрытые проржавленными прошлогодними листьями дорожки сада. Заброшенным, запустелым выглядел он. Видно, не касалась его рука заботливого хозяина, и от этой безлюдности и тишины большого старого дома стало еще грустней.

Последняя размолвка с Тоней была самой серьезной из всех бывших ранее. Произошла она неожиданно, почти месяц назад.

Медленно шагая в город, засунув глубоко в карманы руки, Павел вспоминал о том, как вспыхнула размолвка.

В одну из случайных встреч на дороге Тоня позвала его к себе в гости.

— Отец и мама уходят к Большанским на именины. Дома буду я одна. Приходи, Павлуша, мы будем читать очень интересную книгу Леонида Андреева — «Сашка Жигулев». Я уже прочла ее, но с тобой с удовольствием перечту. Мы очень хорошо проведем вечер. Придешь?

Из-под белой шапочки, плотно охватывавшей густые каштановые волосы, на Корчагина ожидающе смотрели ее огромные глаза.

— Приду.

И они расстались.

Павел спешил к машинам, и от мысли, что впереди целый вечер в обществе Тони, топки, казалось, горели ярче и поленья потрескивали веселей.

В тот же вечер на его стук в широкую парадную дверь открыла Тоня. Она, немного смутившись, сказала:

— У меня гости. Я их не ожидала, Павлуша, но ты не должен уходить.

Корчагин повернулся к двери, собираясь уйти.

— Идем,— схватила она его за рукав.— Им будет полезно познакомиться с тобой.— И, обхватив рукой, она провела его через столовую к себе.

Войдя в свою комнату, она обратилась к сидевшим молодым людям и, улыбаясь, сказала:

— Вы не знакомы? Мой друг Павел Корчагин.

За маленьким столом посредине комнаты сидели: Лиза Сухарько, хорошенькая, смуглая, с капризно очерченным ротиком, с кокетливой прической, гимназистка, какой-то не знакомый Павлу долговязый юноша в аккуратненьком черном пиджаке, с прилизанными, блестящими от вежеталя волосами, серыми глазами и скучающим взглядом, а между ними в щегольской гимназической куртке Виктор Лещинский. Его первого заметил Павел, как только Тоня открыла дверь.

Лещинский сразу узнал Корчагина, и его тонкие стрельчатые брови удивленно приподнялись.

Павел стоял у двери несколько секунд молча, обжигая Виктора недобрым взглядом. Это неловкое молчание Тоня поспешила нарушить, приглашая Павла войти, и, обращаясь к Лизе, сказала:

— Познакомься.

Сухарько, с любопытством рассматривая вошедшего, приподнялась.

Павел круто повернулся и быстро пошел через полутемную столовую к выходу. Тоня нагнала его уже на крыльце и, схватив за плечи, взволнованно сказала:

— Зачем ты ушел? Я ведь нарочно хотела, чтобы они познакомились с тобой.

Но Павел снял с плеч ее руки и резко ответил:

— Нечего меня напоказ выставлять перед этим обормотом. Мне с этой компанией не с руки вместе сидеть. Тебе они, может, и приятны, а я их ненавижу. Не знал, что ты с ними дружбу водишь, а то никогда бы к тебе не пришел.

Тоня, сдерживая возмущение, прервала его:

— Кто тебе дал право так со мной разговаривать? Я тебя не спрашиваю, с кем ты дружишь и кто к тебе приходит.

Павел, сходя по ступенькам в сад, резко бросил:

— Ну и пусть себе ходят, но я больше не приду.— И побежал к калитке.

С тех пор с Тоней не виделся. Во время погрома, когда Павел с монтером прятали на электростанции спасавшиеся еврейские семьи, размолвка с Тоней забылась. Сегодня же снова захотелось встретиться с ней.

Исчезновение Жухрая и ожидавшее его одиночество в квартире действовали угнетающе. Серое полотнище шоссе, еще не высохшее от весенней грязи, с выбоинами, наполненными бурой кашицей, поворачивало вправо.

За нелепо выдвинутым на самую дорогу домом с облупленной, шелудивой стеной сходились две улицы.

На перекрестке у разгромленного киоска с продавленной дверью, с перевернутой вверх ногами вывеской «Продажа минеральных вод», Виктор Лещинский прощался с Лизой.

Задерживая ее руку в своей, он говорил, выразительно смотря в ее глаза:

— Вы придете? Не обманете?

Лиза кокетливо отвечала:

— Приду, приду, ждите.

И, уходя, улыбнулась ему обещающими карими с поволокой глазами.

Пройдя десяток шагов, Лиза увидела вышедших на шоссе из-за поворота двух людей. Впереди шел коренастый рабочий с широкой грудью, в расстегнутом пиджаке, из-под которого виднелся полосатый тельник, в черной, надвинутой на лоб кепке, с темно-синим кровоподтеком у глаза.

Он шагал твердо слегка выгнутыми ногами, обутыми в желтые короткие сапоги.

В трех шагах позади него, почти упираясь штыком в его спину, шел петлюровец в сером жупане, с двумя подсумками на поясе.

Из-под мохнатой шапки смотрели в затылок арестованного два узеньких настороженных глаза. Желтые, прокуренные махрой усы топорщились в стороны.

Лиза, слегка замедлив шаг, перешла на другую сторону шоссе. А сзади нее выходил на шоссе Павел.

Повернув вправо по дороге к дому, он тоже увидел идущих.

Ноги приросли к земле. В переднем он сразу узнал Жухрая.

«Так вот почему он не вернулся!»

Жухрай приближался. Сердце Корчагина заколотилось со страшной силой. Мысли бежали одна за другой, их нельзя было схватить и оформить. Слишком мал был срок для решения. Одно было ясно: Жухрай погиб.

И, смотря на подходивших, Павел затерялся в рое охвативших его чувств.

«Что делать?»

В последнюю минуту вспомнил: в кармане револьвер. Как только пройдут мимо, выстрелить в спину вот этому, с винтовкой, и тогда Федор свободен. И от мгновенного решения прекратилась пляска мыслей. Крепко, до боли сжались зубы. Ведь только вчера Федор говорил ему: «А для этого нужна братва отважная...»

Павел быстро оглянулся назад. Улица, ведущая в город, была свободна. На ней не было ни души. Впереди торопилась пройти женская фигурка в весеннем коротком пальто. Она не помешает. Второй улицы вбок от перекрестка он видеть не мог. Лишь вдалеке по дороге на станцию виднелись человеческие фигуры.

Павел подошел к краю шоссе. Жухрай увидел Корчагина, когда тот был от него на расстоянии нескольких шагов.

Вскинул на него одним глазом. Вздрогнули густые брови. Узнал и от неожиданности задержал шаг. Его спина наткнулась на конец штыка.

— Ну, ты, шевелись, а то прикладом огрею! — взвизгнул конвоир резкой фистулой.

Жухрай зашагал шире. Он что-то хотел сказать Павлу, но сдержался и как бы в знак приветствия махнул рукой.

Опасаясь привлечь внимание рыжеусого, Павел, пропуская мимо себя Жухрая, отвернулся в сторону, как будто ему было безразлично все происходящее.

Но голову сверлила тревожная мысль. «Если я выстрелю в него и промахнусь, то пуля может попасть в Жухрая...»

Разве можно было думать, когда петлюровец уже был рядом?

И случилось так: с Павлом поравнялся рыжеусый конвоир; Корчагин неожиданно бросился к нему и, схватив винтовку, резким движением пригнул к земле.

Штык с лязгом скребнул о камень.

Петлюровец не ожидал нападения и на миг оторопел, но сейчас же рванул винтовку к себе изо всех сил. Наваливаясь всем телом, Павел удержал ее. Бабахнул выстрел. Пуля ударилась о камень и, взвизгнув, отскочила рикошетом в канаву.

От выстрела Жухрай отпрянул в сторону и обернулся. Конвойный остервенело рвал винтовку из рук Павла. Он крутил ее, выворачивая юноше руки. Но Павел не выпускал винтовку. Тогда разъяренный петлюровец резким движением свалил Павку на землю. Но и эта попытка освободить винтовку не удалась. Падая на мостовую, Павел увлек за собой и конвоира, и не было сил, которые заставили бы его выпустить оружие в такую минуту.

В два прыжка Жухрай очутился рядом. Железный кулак его, описав дугу, опустился на голову конвоира, а через секунду, оторванный от лежащего на земле Корчагина, получив два свинцовых удара в лицо, петлюровец тяжелым мешком свалился в канаву.

Те же сильные руки подняли с земли Павла и поставили на ноги.

Виктор, отошедший от перекрестка на сотню шагов, шел, посвистывая «Сердце красавицы склонно к измене». Он был еще под влиянием встречи с Лизой и ее обещания прийти завтра на свидание к заброшенному заводу.

Среди заядлых ухажеров гимназии ходили слухи о Лизе Сухарько, как о смелой в вопросах любви девушке.

Наглый и самоуверенный Семен Заливанов однажды рассказал Виктору, что он овладел Лизой. И, хотя Лещинский не совсем верил Семке, все же Лиза была очень интересным и заманчивым объектом, и завтра он решил узнать, правду ли говорил Заливанов.

«Если только придет, то я буду решителен. Ведь позволяет она себя целовать. И если Семка не врал...» Его мысли

прервались. Он посторонился, пропуская мимо двух петлюровцев. Один из них ехал верхом на куцехвостой лошадке, помахивая брезентовым ведром,— видимо, поить лошадь. Другой, в короткой поддевке, в широчайших синих штанах, держась рукой за колено верхового, что-то весело рассказывал.

Пропустив их, Виктор собирался идти дальше, когда ухнувший на шоссе выстрел остановил его. Обернувшись, Виктор увидел, как верховой рванул коня и понесся на выстрел. За ним бежал другой, придерживая рукой саблю.

Лещинский побежал за ними и, когда был уже близко около шоссе, услышал другой выстрел. Из-за поворота на Виктора ошалело метнулся верховой. Он бил лошадь ногами и брезентовым ведром и, заскочив в первые ворота, закричал находившимся во дворе:

— Хлопцы, в ружье, там нашего убили!

Через минуту со двора выбежало несколько человек, щелкая затворами.

Виктора арестовали.

На шоссе собралось несколько человек. Среди них Виктор и Лиза, которую задержали как свидетельницу.

От испуга она осталась на месте, когда мимо нее пробежали Жухрай и Корчагин. Она с удивлением узнала в напавшем на петлюровца юноше того, с которым ее хотела познакомить Тоня.

Один за другим они перепрыгнули через забор чьей-то усадьбы, и сейчас же на шоссе вылетел конный. Увидя убегавшего с винтовкой Жухрая и конвоира, силившегося подняться с земли, он погнал лошадь к забору.

Жухрай обернулся, вскинул винтовку и выстрелил в него. Конник шарахнулся обратно.

Еле шевеля разбитыми губами, конвоир рассказал о том, что произошло.

— Что же ты, балда, с-под носу упустил арестанта? Теперь получишь двадцать пять шомполов по задней части.

Конвоир озлобленно огрызнулся:

— Ты очень разумный, я вижу. Упустил с-под носу! Кто же его знал, что та стервятина на меня кинется, як скаженна?

Лизу тоже допрашивали. Она рассказала то же, что и конвоир, но скрыла, что знает напавшего. Их все же повели в комендатуру.

Только вечером по приказанию коменданта их отпустили.

Комендант предложил даже лично проводить Лизу домой. Но она отказалась. От коменданта пахло водкой, и его предложение не предвещало ничего хорошего.

Провожал Лизу Виктор. До станции было далеко, и, идя под руку с Лизой, Виктор радовался происшествию.

— А вы знаете, кто освободил арестованного? — спросила Лиза, когда подходила к дому.

— Нет, откуда же мне знать.

— Вы помните тот вечер, когда Тоня хотела нас познакомить с одним молодым человеком?

Виктор остановился.

— С Павлом Корчагиным? — спросил он удивленно.

— Да, кажется, его фамилия Корчагин. Помните, он ушел так странно? Так это был он.

Виктор стоял огорошенный.

— А вы не ошиблись? — спросил он Лизу.

— Нет, я прекрасно запомнила его лицо.

— Почему же вы этого не сказали коменданту?

Лиза возмутилась:

— Вы думаете, что я могу сделать такую подлость?

— Что вы считаете подлостью? Рассказать, кто напал на конвоира, по-вашему, подлость?

— А по-вашему, честно? Вы забыли, что они делают. Вы не знаете, сколько в гимназии евреев-сирот, и вы хотите, чтобы я им еще рассказала о Корчагине? Благодарю вас, не думала.

Лещинский не ожидал такого ответа. В его расчеты не входило ссориться с Лизой, и он старался заговорить о другом.

— Вы не сердитесь, Лиза, я пошутил. Я не знал, что вы такая принципиальная.

— Шутка у вас получилась нехорошая,— сухо ответила Лиза.

У дома Сухарько Виктор, прощаясь, спросил:

— Вы придете, Лиза?

И услыхал ее неопределенное:

— Не знаю.

Шагая в город, Виктор размышлял: «Ну, если вы, мадемуазель, считаете нечестным, то я об этом совершенно другого мнения. Конечно, мне безразлично, кто кого освобождал».

Ему, родовитому польскому шляхтичу Лещинскому, были противны и те и эти. Все равно скоро придут польские легионы, и тогда-то вот и будет настоящая власть, истинно шляхетская власть Речи Посполитой. Но в данном случае есть возможность ликвидировать мерзавца Корчагина. Они ему живо голову свернут.

Виктор оставался в городке один. Жил у тети, жены вице-директора сахарного завода. А отец с матерью и Нелли давно жили в Варшаве, где Сигизмунд Лещинский занимал видное положение.

Подойдя к комендатуре, Виктор вошел в раскрытую дверь.

Через некоторое время он шел в сопровождении четырех петлюровцев к дому Корчагиных.

Указывая на светившееся окно, он тихо сказал:

— Вот здесь.— И, обратившись к стоявшему рядом хорунжему, спросил: — Мне можно идти?

— Пожалуйста. Мы справимся одни. Благодарю за услугу.

Виктор быстро зашагал по тротуару.

Павел, получив последний удар в спину, ткнулся вытянутыми руками в стену темной комнаты, куда его привели. Нащупав руками подобие нар, он сел, измученный, избитый, подавленный.

Его арестовали тогда, когда он этого не ожидал. «Как могли узнать про него петлюровцы? Ведь его никто не видел. Что теперь будет? Где Жухрай?»

Он расстался с матросом в доме Климки. Павел пошел к Сережке, а Жухрай дожидался вечера, чтобы выбраться из города.

«Как хорошо, что я спрятал револьвер в вороньем гнезде,— подумал Павел.— Ведь если бы они его нашли, тогда мне конец. Но как они узнали?» Этот вопрос мучил его неизвестностью.

Мало чем поживились петлюровцы из имущества Корчагиных. Костюм и гармонь брат забрал в село. Мать увезла свой сундучок, и шарившим по углам петлюровцам досталось очень немногое.

Зато не забыть Павлу пути от дома до комендантской. Ночь темная, хоть глаз выколи. Небо заволокло тучами, и, подталкиваемый с боков и сзади немилосердными

пинками, он шел бессознательно, в состоянии какого-то отупения.

За дверью слышались голоса. В соседней комнате помещалась комендантская охрана. Под дверью яркая полоска света. Корчагин встал и, пробираясь вдоль стены, ощупью обошел комнату. Напротив нар нащупал окно с прочной зубчатой решеткой. Потрогал рукой — заделана крепко. Здесь, видно, раньше была кладовка.

Пробравшись к двери, постоял с минуту, прислушиваясь. Потом нажал легонько на ручку. Дверь противно скрипнула.

— Сволочь немазаная! — выругался Павел.

В открывшуюся узенькую щель увидел чьи-то заскорузлые с раскоряченными пальцами ноги на краю нар. Еще легкий нажим на ручку, и дверь уже без стеснения заверещала. С нар поднялась заспанная, растрепанная фигура и, зверски скребя всей пятерней вшивую голову, многословно заговорила. Когда восьмиэтажное ругательство, произнесенное лениво-однотонным голосом, было закончено, фигура, дотронувшись до стоявшего у головы ружья, флегматично изрекла:

— Закрой дверь, а выглянь у меня еще разок, так получишь пятерку в...

Павел прикрыл дверь. В соседней комнате гоготали.

Много передумал он в эту ночь. Первая попытка вмешаться в борьбу окончилась для него, Корчагина, так неудачно. С первого же шага схватили и заперли, как мышь в ящике.

И когда, сидя, забылся в тревожной полудреме, выплыл образ матери, ее худенькое морщинистое лицо с такими знакомыми, родными глазами. Плыла мысль: «Хорошо, что ее нет, меньше горя».

От окна на полу вырисовывался серый квадрат.

Темнота понемногу отступала. Приближался рассвет.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В большом старом доме светилось лишь одно окно, задернутое занавесью. Во дворе залаял внушительным басом привязанный на цепь Трезор.

Сквозь дремоту Тоня слышит негромкий голос матери:

— Нет, она еще не спит. Заходите, Лиза,

Легкие шаги и ласковое, порывистое объятие подруги рассеивают обрывки дремоты.

Тоня улыбается усталой улыбкой.

— Хорошо, Лиза, что пришла: у нас радость — вчера миновал кризис у папы, и сегодня он спит спокойно целый день. И мы тоже с мамой отдыхали от бессонных ночей. Рассказывай, Лиза, все новости.— Тоня притягивает подругу к себе на диван.

— О, новостей очень много! Часть из них я могу рассказать только тебе,— смеется Лиза, лукаво поглядывая на Екатерину Михайловну.

Мать Тони, представительная дама, несмотря на свои тридцать шесть лет, с живыми движениями молодой девушки, с умными серыми глазами, с некрасивым, но приятным, энергичным лицом, улыбнулась.

— Я с удовольствием оставлю вас одних через несколько минут. А теперь рассказывайте общедоступные новости,— шутила она, подвигая стул к дивану.

— Первая новость — мы больше заниматься не будем. Школьный совет решил выдать седьмому классу аттестат об окончании. Я очень рада,— живо рассказывала Лиза.— Мне так надоели эти алгебра и геометрия! И для чего учить все это? Мальчишки, возможно, дальше будут учиться, хотя они сами не знают, где. Везде фронты, сражения. Ужас!.. Нас выдадут замуж, а от жены никакой алгебры не требуется.— Говоря это, Лиза засмеялась.

Посидев немного с девушками, Екатерина Михайловна ушла к себе.

Лиза подвинулась ближе к Тоне и, обняв подругу, шепотом рассказала ей о столкновении на перекрестке.

— Представь себе мое удивление, Тонечка, когда я узнала в бегущем... Как бы ты подумала, кого?

Тоня, с любопытством слушавшая рассказ, недоуменно пожала плечами.

— Корчагина! — выпалила залпом Лиза.

Тоня вздрогнула и болезненно съежилась.

— Корчагина?

Лиза, довольная произведенным эффектом, уже описывала ссору с Виктором.

Увлеченная рассказом, Лиза не замечала, какой бледностью покрылось лицо Тумановой, как тонкие ее пальцы нервно перебирали ткань синей блузки. Не знала Лиза, как тревожно сжималось сердце Тони, не знала, почему

так неспокойно вздрагивают густые ресницы прекрасных глаз.

Тоня уже не слышала рассказа о пьяном хорунжем, у нее одна мысль: «Виктор Лещинский знает, кто напал. Зачем Лиза сказала ему?» И невольно эту фразу произнесла вслух.

— Что сказала? — не поняла Лиза.

— Зачем ты рассказала Лещинскому о Павлуше, то есть о Корчагине? Ведь он его выдаст...

Лиза возразила:

— Ну нет! Не думаю. Зачем ему в конце концов это делать?

Тоня порывисто села, до боли сжав руками колени.

— Ты, Лиза, ничего не понимаешь! Они с Корчагиным враги, и к этому прибавляется еще одно обстоятельство... И ты сделала большую ошибку, рассказав Виктору о Павлуше.

Лиза теперь лишь заметила волнение Тони, а это случайно уроненное «о Павлуше» открыло ей глаза на вещи, о которых у нее были лишь смутные догадки.

Невольно чувствуя себя виноватой, она смущенно притихла.

«Значит, это правда,— подумала она.— Странно, у Тони вдруг такое увлечение — кем? — простым рабочим...» Ей очень хотелось поговорить на эту тему, но из чувства деликатности она сдерживалась. Стараясь чем-нибудь загладить свою вину, она схватила руки Тони.

— Ты очень волнуешься, Тоночка?

Тоня рассеянно ответила:

— Нет, может быть, Виктор честнее, чем я о нем думаю.

Вскоре пришел Демьянов, скромный мешковатый юноша, их одноклассник.

До самого его прихода разговор у девушек не вязался.

Проводив товарищей, Тоня долго стояла одна. Прислонясь к калитке, она смотрела на темную полосу дороги, ведущей в город. На нее дышал насыщенный холодной влажностью и весенней прелью вечный бродяга-ветер. Недобро, мутно-красными зрачками мигали вдали окошечки городских усадеб. Вот он там, этот чужой ей городок. В нем, под одной из крыш, не зная об угрозе, он, ее мятежный товарищ. И, возможно, забыл о ней. Сколько

дней пробежало чередой после их последней встречи? Он был неправ тогда, но все давно уже забыто. Завтра она увидит его, и опять вернется дружба, волнующая, хорошая. Она вернется, Тоня это знает. Лишь бы не предала ночь. Ночь недобрая какая-то, словно притаилась, поджидает... Холодно.

Кинув последний взгляд на дорогу, Тоня вошла в дом. В постели, кутаясь в одеяло, она стала засыпать с мыслью: лишь бы не предала ночь!

Ранним утром, когда в доме еще спали, Тоня проснулась, быстро оделась. Тихо, чтобы не разбудить никого, вышла во двор, отвязала Трезора, большого лохматого пса и пошла с ним в город. Напротив дома Корчагина остановилась на минуту в нерешительности. Затем, толкнув калитку вошла во двор. Трезор бежал впереди, помахивая хвостом.

Этим же ранним утром возвратился из села Артем. Приехал на телеге с кузнецом, у которого работал. Взвалил на плечи мешок с заработанной мукой, пошел по двору. За ним кузнец нес все остальные пожитки. У раскрытой двери Артем сбросил с плеч мешок, позвал:

— Павка!

Но ответа не получил.

— Тащи в дом, чего там! — сказал подошедший кузнец.

Положив пожитки на кухне, Артем вошел в комнату — и остолбенел. Все было перерыто, перевернуто, старое тряпье разбросано по полу.

— Что за черт! — недоумевающе буркнул Артем, оборачиваясь к кузнецу.

— Да, беспорядок,— поддакнул тот.

— Куда мальчишка девался? — начинал злиться Артем.

Но квартира была пуста, и спрашивать было не у кого. Кузнец простился и уехал.

Артем вышел во двор и стал осматриваться кругом.

«Не пойму, что за буза такая! Квартира открыта, Павки нет».

Сзади него послышались шаги. Артем обернулся. Перед ним стоял, насторожив уши, громадный пес. От калитки к дому шла незнакомая девушка.

— Мне нужно видеть Павла Корчагина,— сказала она негромко, рассматривая Артема.

— Мне тоже его надо видеть. Черт его знает, где он

подевался! Я вот приехал, квартира открытая, а его нету. А вы к нему, что ли? — обратился он к девушке.

В ответ услыхал вопрос:

— Вы брат Корчагина — Артем?

— Да, а что такое?

Но девушка, не отвечая ему, смотрела с тревогой на открытую дверь. «Почему я не пришла вчера? Неужели, неужели?..» И тяжесть в груди налегла еще сильнее.

— Вы застали квартиру открытой, и Павла не было? — спросила она удивленно смотревшего на нее Артема.

— А вы что, собственно, имеете к Павлу?

Тоня подвинулась к нему ближе и, оглядываясь вокруг, порывисто заговорила:

— Я точно не знаю, но если Павла нет дома, то его арестовали.

— За что? — нервно вздрогнул Артем.

— Зайдемте в комнату,— сказала Тоня.

Артем слушал ее молча. Когда она передала ему все, что знала, он пришел в отчаяние.

— Эх, будь ты трижды проклята! Не хватало печали — черти накачали...— подавленно пробормотал он.— Теперь понятно, почему такой кавардак в квартире. Внесла же нечистая сила мальчишку в эту историю... Где его теперь искать? А вы, барышня, чья будете?

— Я дочь лесничего Туманова. Павла я знаю.

— А-а...— неопределенно протянул Артем.— Вот, муку вез подкормить мальчишку, а тут вот что...

Тоня и Артем молча смотрели друг на друга.

— Я ухожу. Вы, может быть, его найдете,— проговорила тихо Тоня, прощаясь с Артемом.— Вечером зайду к вам, вы мне расскажете.

Артем молча кивнул головой.

В углу окна жужжала проснувшаяся от зимней спячки тощая муха. На краю старого, протертого дивана, опершись руками о колени, сидела молодая крестьянка, уставившись бесцельным взглядом в грязный пол.

Комендант, зажав углом рта папиросу, размашисто дописывал лист и под подписью «комендант города Шепетовки хорунжий» с удовольствием поставил витиеватую подпись с замысловатым крючком на конце. В дверях послышалось звяканье шпор. Комендант поднял голову.

Перед ним стоял с перевязанной рукой Саломыга.

— Каким ветром занесло? — приветствовал его комендант.

— Хорош ветер, руку разнес богунец до кости.

Саломыга, не обращая внимания на присутствие женщины, крепко выругался.

— Что же ты, поправляться сюда приехал?

— Поправляться будем на том свете. На фронте жмут, аж вода капает.

Комендант остановил его, указав головой на девушку.

— Поговорим потом.

Саломыга грузно сел на табурет и снял кепку с кокардой, на которой был вырезан эмалевый трезубец — государственный знак УНР.

— Меня Голуб прислал,— начал он негромко.— Скоро сюда дивизия сичевых стрельцов перейдет. Вообще здесь каша заварится, так я должен навести порядок. Возможно, головний приедет, с ним какой-нибудь заграничный гусь, так чтоб здесь никто не разговаривал насчет «облегчения». А ты что пишешь?

Комендант передвинул папиросу в другой угол рта.

— Тут один стервец у меня сидит, мальчишка. Понимаешь, на станции попался тот самый Жухрай, помнишь, который железнодорожников натравил на нас.

— Ну-ну? — заинтересованно придвинулся Саломыга.

— Ну, понимаешь, Омельченко, балда, станционный комендант, с одним казаком послал его к нам, а этот, что у меня сидит, отбил его середь бела дня. Разоружили казака, выбили ему зубы и — поминай как звали. Жухрая след простыл, а этот попался. Вот почитай-ка материал,— он подвинул Саломыге пачку исписанной бумаги.

Тот бегло просмотрел ее, перелистывая левой, здоровой рукой. Прочитав, уставился на коменданта:

— И ты от него ничего не добился?

Комендант нервно потянул козырек фуражки.

— Пять дней с ним бьюсь. Молчит: «Ничего,— говорит,— не знаю, я не освобождал». Выродок какой-то бандитский. Понимаешь, конвойный его опознал, чуть не задушил здесь, гаденыша. Я насилу оторвал. Омельченко казаку на станции двадцать пять шомполов вписал за арестанта, так он ему тут жару и дал. Держать больше нечего, я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход.

Саломыга презрительно сплюнул.

— Был бы он в моих руках, заговорил бы. Не тебе, попович, дознанья делать. Какой с семинариста комендант? Ты ему шомполов дал?

Комендант вскипел:

— Ты уж слишком себе позволяешь. Свои насмешки можешь оставить при себе. Я здесь комендант и прошу не вмешиваться.

Саломыга взглянул на нетупившегося коменданта и захохотал:

— Ха-ха!.. Попович, не надувайся, а то лопнешь. Черт с тобой и с твоими делами! Ты лучше скажи, где достать пару бутылок самогонки?

Комендант ухмыльнулся.

— Это можно.

— А этого,— ткнул Саломыга пальцем в бумаги,— если хочешь, чтобы к ногтю прижали, поставь ему вместо шестнадцати лет восемнадцать. Крючок загни вот здесь, а то могут не утвердить.

В кладовой их было трое. Бородатый старик в поношенном кафтане лежал бочком на нарах, подогнув худые ноги в широких полотняных штанах. Его посадили за то, что из его сарая пропал конь постояльца-петлюровца. На полу сидела пожилая женщина с хитрыми, вороватыми глазками, с острым подбородком, самогонщица, по обвинению в краже часов и других ценных вещей. В углу под окном, положив голову на фуражку, в полузабытьи лежал Корчагин.

В кладовую ввели девушку с испуганными большими глазами, в повязанном по-крестьянски цветном платочке.

Девушка постояла с минуту и села рядом с самогонщицей. Та, пытливо обследовав новенькую, бросила быстрым говорком:

— Сидишь, девонька?

Не получив ответа, не отставала:

— За что тебя сюда, а? Случай, не по самогонному делу?

Крестьянка, встав и посмотрев на назойливую бабу, ответила тихо:

— Нет, за брата меня взяли.

— А он что? — приставала баба.

Старик вмешался:

— Чего ты ее тревожишь? Человеку, может, на свет глядеть не мило, а ты трещишь.

Баба быстро повернулась к нарам.

— А ты что мне за указчик такой нашелся? Я с тобой, что ли, говорю?

Старик сплюнул.

— Не приставай, говорю, к человеку.

В кладовой стихло. Девушка разостлала большой платок, прилегла, положив голову на руку.

Самогонщица принялась за еду. Старик спустил ноги на пол, не спеша свернул козью ножку и закурил. По кладовой потянулись клубы вонючего дыма.

Чавкая набитым ртом, баба заворчала:

— Поесть бы дал спокойно, без вонищи, раскурился без перестану.

Старик язвительно хихикнул:

— Похудешь, боишься? Вон в дверь не пролезешь скоро. Ты бы хлопцу дала поесть, а то в себя все толчешь.

Баба обидчиво отмахнулась:

— Я ему говорю: поешь,— не хочет. А насчет меня губы не распускай: не твое ем.

Девушка повернулась к самогонщице и, кивнув головой в сторону Корчагина, спросила:

— Вы не знаете, за что он сидит?

Баба обрадовалась, что с ней заговорили, и охотно сообщила:

— Это здешний парняга, Корчагиной, кухарки, сын младший.

Нагнувшись к уху, самогонщица прошептала:

— Большевику освобожденье сделал. Матрос тут был один, у Зозулихи, соседки моей, квартировал.

Девушка вспомнила: «Я посылаю в штаб для разрешения вывести в расход...»

Станцию один за другим наполняли эшелоны. Беспорядочной толпой оттуда вываливались курени (батальоны) сичевых стрельцов. По путям медленно полз закованный в сталь четырехвагонный бронепоезд «Запорожец». С платформ стаскивали орудия. Из товарных вагонов выводили лошадей. Тут же седлали, садились и, расталкивая бесформенные толпы пехотинцев, пробивались на станционный двор, где строился кавалерийский отряд.

Суетились старшины, выкрикивая номера своих подразделений.

Вокзал гудел, как осиный рой. Из бесформенной кучи разноголосых суматошных людей постепенно сколачивались квадраты взводов, и вскоре поток вооруженных людей влился в город. До самого вечера по шоссе дребезжали подводы и плелись тыловые охвостья вступившей в город дивизии сичевых стрельцов.

И, наконец, замыкая шествие, прошагала штабная рота, горланя в сто двадцать глоток:

Шо за шум, шо за гам
Учинився?
То Петлюра на Вкраини
Появився...

Корчагин поднялся к окошку. Сквозь сумрак раннего вечера он услышал грохот колес на улице, топот множества ног, многоголосые песни.

Сзади тихо сказали:

— Видно, войска в город входят.

Корчагин обернулся.

Говорила девушка, которую привели вчера.

Он слышал ее рассказ — самогонщица добилась своего. Старший ее братишка Грицко, красный партизан, при Советах верховодил в комбеде.

Когда ушли красные, ушел и Грицко, опоясав себя пулеметной лентой. А теперь семье житья нет. Лошадь одна была, и ту забрали. Отца в город возили: намучился, сидя под замком. Староста — из тех, кого прищемлял Грицко,— в отместку на постой к ним всегда приводит разных людей. Обнищала семья вконец. Вчера на село явился комендант для облавы. Привел его староста к ним. Пригляделся к девушке комендант, наутро забрал в город «для допроса».

Корчагину не спалось, бесследно исчез покой, и одна назойливая мысль, от которой не мог отмахнуться, мысль: «Что будет дальше?» — вертелась в голове.

Больно покалывало избитое тело. С животной злобой избил его конвоир.

Чтобы отвлечься от ненавистных мыслей, он стал слушать шепот своих соседок.

Совсем тихо рассказывала девушка, как приставал к ней комендант, угрожал, уговаривал, а получив отпор,

озверел. «Посажу,— говорит,— в подвал, ты у меня оттуда не выйдешь».

Чернота заволакивала углы. Впереди ночь, душная, неспокойная. Опять мысли о неизвестном завтра. Седьмая ночь, а кажется, будто месяцы прошли, жестко лежать, не утихла боль. В кладовой теперь лишь трое. Дедка на нарах храпит, как у себя на печи. Дедка мудро спокоен и спит ночами крепко. Самогонщицу выпустил хорунжий добывать водку. Христина и Павел на полу, почти рядом. Вчера в окошечко видел Сережку. Долго тот стоял на улице, смотрел тоскливо на окна дома.

«Видно, знает, что я здесь».

Три дня передавали куски черного кислого хлеба. Кто передавал, не сказали. Два дня тревожил допросами комендант.

Что бы это могло значить?

На допросах ничего не сказал, от всего отрекался. Почему молчал, и сам не знал. Хотел быть смелым, хотел быть крепким, как те, о которых читал в книгах, а когда взяли, вели ночью и у громады паровой мельницы один из ведущих сказал: «Что его таскать, пане хорунжий? Пулю в спину — и кончено», стало страшно. Да, страшно умирать в шестнадцать лет! Ведь смерть — это навсегда не жить.

Христина тоже думает. Она знает больше, чем этот парень. Он, наверное, еще не знает... А она слышала.

Не спит он, мечется ночами. Жалко, ой, как жалко Христине его, но у нее свое горе: не может забыть она страшные слова коменданта: «Я с тобой завтра расправлюсь. Не хочешь со мной — в караулку пойдешь. Казаки не откажутся. Выбирай».

Ой, как тяжело, и неоткуда пощады ждать! Чем же она виновата, что Грицко в красные пошел? «Ой, як на свити тяжко жити!»

Тупая боль сжимает горло, беспомощное отчаяние, страх захлестнули ее, и Христина глухо зарыдала.

Вздрагивает молодое тело от безумной тоски и отчаяния.

В углу у стены шевельнулась тень.

— Ты чего это?

Горячий шепот Христины — вылила она свою тоску молчаливому соседу. Он слушает, молчит, и только рука его легла на руки Христины.

— Замучают меня, проклятые,— глотая слезы, с неосознанным ужасом шептала она.— Пропала я: сила ихняя.

Что он, Павел, мог сказать этой дивчине? Нет слов. Нечего говорить. Жизнь давила обручем.

Не пустить завтра ее, бороться? Изобьют до смерти, а то и рубанут саблей по голове — и кончено. И, чтобы хоть чуть приласкать эту горем отравленную девушку, нежно по руке погладил. Рыданья девушки стихли. Изредка часовой у входа окликал прохожих обычным: «Кто идет?» — и опять тихо. Крепко спит дедка. Медленно ползли неощутимые минуты. Не понял, когда крепко обняли руки и притянули к себе.

— Слухай, голубе,— шепчут горячие губы,— мени все равно пропадать: як не офицер, так те замучат. Бери мене, хлопчику милый, щоб не та собака дивочисть забрала.

— Что ты говоришь, Христина?

Но крепкие руки не отпускали. Губы горячие, полные губы, от них трудно уйти. Слова дивчины простые, нежные,— ведь он знает, почему эти слова.

И вот убежало куда-то в сторону сегодняшнее. Забыт замок на двери, рыжий казак, комендант, звериные побои, семь душных, бессонных ночей, и на миг остались только горячие губы и чуть влажное от слез лицо.

Вдруг вспомнилась Тоня.

«Как можно было ее забыть?.. Чудные, родные глаза».

Хватило сил оторваться. Как пьяный, поднялся и взялся за решетку. Руки Христины нашли его.

— Чего же ты?

Сколько чувства в этом вопросе! Он нагибается к ней и, крепко сжимая руки, говорит:

— Я не могу, Христина. Ты — хорошая,— и еще что-то говорил, чего сам не понял.

Выпрямился, чтобы разорвать нестерпимую тишину, шагнул к нарам. Сев на краю, затормошил деда:

— Дедунь, дай закурить, пожалуйста.

В углу, закутавшись в платок, рыдала девушка.

Днем пришел комендант, и казаки увели Христину. Она попрощалась глазами с Павлом. В них был укор. И когда за ней захлопнулась дверь, в его душе стало еще тяжелее и непрогляднее.

Дедка до вечера не добился от юноши ни одного слова. Сменили караул и комендантскую команду. Вечером привели нового. Павел узнал в нем Долинника, столяра сахарного завода. Крепко скроенный, приземистый, в облинялой желтой рубашке под заношенным пиджаком. Внимательным взглядом обежал кладовку.

Павел видел его в 1917 году, в феврале, когда докатилась революция и до городка. На шумных демонстрациях он слышал только одного большевика. Это был Долинник. Он говорил солдатам речь, влезши на забор у дороги. Запомнилось его заключительное:

— Держитесь, солдаты, за большевиков: они не продадут!

С тех пор столяра не встречал.

Старик обрадовался новому соседу. Ему, видно, было тяжело сидеть молча целый день. Долинник подсел к нему на нары, раскурил с ним папироску и расспросил обо всем.

Затем подсел к Корчагину.

— А у тебя что хорошего? — спросил он парня.— Каким образом сюда?

Получая односложные ответы, Долинник чувствовал, что его собеседник недоверчив, поэтому так скуп на слова. Но когда столяр узнал, какое обвинение предъявляют юноше, он удивленно уставился на Корчагина своими умными глазами. Сел рядом.

— Так ты, говоришь, Жухрая выручил? Вот оно что. Я и не знал, что тебя забрали.

Павел от неожиданности приподнялся на локте.

— Какого Жухрая? Я ничего не знаю. Мало ли чего мне пришьют.

Но Долинник, улыбаясь, подвинулся к нему ближе.

— Брось, дружок, передо мной не запирайся. Я больше твоего знаю.

И тихо, чтобы не слышал старик:

— Я сам Жухрая провожал, он, поди, на месте. Федор мне все рассказал про этот случай.

Помолчав немного, думая о чем-то, добавил:

— Парень ты, оказывается, что надо. Но вот то, что сидишь, что они знают про все,— это дело того, ни к черту, можно сказать, совсем дрянь.

Он сбросил пиджак, постелил его на полу, сел, опершись спиной о стенку, и снова стал крутить папироску.

Последние слова Долинника все сказали Павлу. Было ясно: Долинник свой человек. Раз провожал Жухрая — значит...

К вечеру он знал, что Долинник арестован за агитацию среди петлюровских казаков. Попался он с поличным, когда раздавал воззвания губернского ревкома с призывом сдаваться и переходить к красным.

Осторожный Долинник рассказал Павлу немногое.

«Кто знает? — думал он. — Начнут бить парнишку шомполами. Молод еще».

Поздно вечером, укладываясь спать, высказал свои опасения в короткой общей фразе:

— Положение наше с тобой, Корчагин, можно сказать, хуже губернаторского. Посмотрим, что из этого получится.

На другой день в кладовой появился новый арестант, известный всему городу парикмахер Шлема Зельцер, с огромными ушами, тонкой шеей. Он рассказал Долиннику, горячась и жестикулируя:

— Ну, так вот, Фукс, Блувштейн, Трахтенберг хлеб-соль будут ему носить. Я говорю: хотите нести — несите, но кто им подпишет от всего еврейского населения? Извиняюсь, никто. Им есть расчет. У Фукса — магазин, у Трахтенберга — мельница, а у меня что? А у остальной голоты? У этих нищих — ничего. Ну, у меня длинный язык. Сегодня я брею одного старшину, из новых, что прислали недавно. «Скажите,— говорю,— атаман Петлюра знает про погромы или нет? Примет он эту делегацию?» Эх, сколько раз я неприятности имел за свой язык! Что, вы думаете, этот старшина сделал, когда я его побрил, попудрил, сделал все на первый сорт? Он себе встает, вместо того чтобы деньги мне заплатить, арестовывает меня за агитацию против власти.— Зельцер ударял себя по груди кулаком: — Какая агитация? Что я такое сказал? Я только спросил у человека... И за это меня сажать...

Зельцер, горячась, крутил Долиннику пуговицу на рубашке, дергал его то за одну, то за другую руку.

Долинник невольно улыбнулся, слушая возмущенного Шлему. Когда парикмахер замолчал, Долинник сказал серьезно:

— Эх, Шлема, ты вот умный парень, а дурака свалял. Нашел время, когда языком молоть. Я б тебе не советовал попадаться сюда.

Зельцер понимающе посмотрел на него и в отчаянии махнул рукой. Дверь открылась, и в кладовую втолкнули знакомую Павлу самогонщицу. Она озлобленно ругала ведущего казака:

— Огонь бы вас спалил вместе с вашим комендантом! Чтоб ему от моей горилки околеть!

Часовой захлопнул за ней дверь, и было слышно, как он засовывал замок.

Баба села на нары: ее шутливо приветствовал старик:

— Что, опять к нам, трещотка? Садись, гостем будешь.

Самогонщица нелюбезно глянула на старика и, захватив узелок, пересела на пол рядом с Долинником.

Ее опять посадили, получив от нее несколько бутылок самогона.

За дверью в караулке послышались крики, движение. Чей-то резкий голос отдавал приказания. Все арестованные в кладовой повернули головы к двери.

На площади, у неказистой церквушки со старинной колокольней, происходило необычайное для городка событие. Охватывая площадь с трех сторон, правильными прямоугольниками разместились части дивизии сичевых стрельцов в полном боевом снаряжении.

Впереди, начиная от церковного подъезда, рядами, упираясь в забор школы, вытянулись шахматными квадратами три пехотных полка.

Серой, грязноватой массой, приставив ружья к ноге, густо обвешанные патронами, в нелепых железных русских шлемах, похожих на расколотые пополам тыквы, стояли петлюровские солдаты наиболее боеспособной дивизии «директории».

Хорошо одетая и обутая из запасов бывшей царской армии, больше чем наполовину состоявшая из кулаков, сознательно боровшихся против Советов, эта дивизия была переброшена в городок для защиты важнейшего стратегического железнодорожного узла.

Из Шепетовки в пять разных сторон убегали блестящие полоски путей. Потерять этот пункт для Петлюры — значит потерять все. У «директории» и так оставалась куцая территория. Столицей петлюровщины стал скромный городок Винница.

«Головной» атаман решил лично проверить части. Все было готово к его встрече.

В задних рядах, подальше от взглядов, в углу площади примостили полк новомобилизованных. Тут была босая, пестро одетая молодежь. Никто из этих молодых сельских парней, стащенных ночной облавой с печки или пойманных на улице, не думал идти воевать.

— Нема дурних,— говорили они.

Самое большее, что удалось петлюровским офицерам,— это привести мобилизованных под конвоем в город, рассчитать их на роты и курени и выдать оружие.

Но на другой же день треть приведенных исчезла, и с каждым днем их становилось все меньше.

Выдавать им сапоги было более чем легкомысленно, да и сапог-то было не густо. Издан был приказ: явиться на призыв обутыми. Он дал изумительные результаты. Где только добывалась та невероятная рвань, которая держалась на ногах лишь при помощи проволоки или веревок?

На парад их привели босыми.

За пехотой растянулся кавалерийский полк Голуба.

Кавалеристы сдерживали густые толпы любопытных. Всем хотелось посмотреть парад.

Сам «головной» атаман приедет! В городе такие события были редкостью, и пропустить бесплатное зрелище никто не хотел.

На ступеньках церкви собрались полковники, есаулы, обе поповны, кучка украинских учителей, группа «вильных» казаков, слегка горбатый председатель управы — в общем, избранные, представляющие «общественность», и среди них, в черкеске, главный инспектор пехоты. Он командовал парадом.

В церкви облачался в пасхальное одеяние поп Василий.

Прием Петлюре готовился торжественный. Принесли и водрузили знамя: желтое с голубым. Ему должны были присягать мобилизованные.

Командир дивизии на чахоточном, облезлом «форде» отправился на вокзал за Петлюрой.

Инспектор пехоты подозвал к себе стройного, с щегольски закрученными усиками полковника Черняка.

— Берите с собой кого-нибудь, проверьте комендатуру и тыл, чтобы все было чисто и прибрано. Если есть арестованные, просмотрите, шваль выгоните.

Черняк щелкнул каблуками, захватил попавшегося под руку есаула и ускакал.

Инспектор любезно обратился к старшей попопне:

— А как у вас с обедом, все в порядке?

— О да, там комендант старается,— ответила поповна, впиваясь глазами в красивого инспектора.

Вдруг все зашевелилось: по шоссе летел, припав к шее коня, верховой. Он махал рукой и кричал:

— Едут!

— По мес-там! — гаркнул инспектор.

Старшины побежали в строй.

Когда «форд» зачихал у церковного подъезда, оркестр заиграл «Ще не вмерла Украина».

Из автомобиля вслед за командиром дивизии неуклюже вылез «сам головной атаман Петлюра», человек среднего роста, с крепко посаженной угловатой головой на багровой шее, в синем жупане из хорошего гвардейского сукна, затянутом желтым поясом с пристегнутым к нему крошечным браунингом в замшевой кобуре. На голове защитная «керенка», на ней кокарда с эмалевым трезубцем.

Ничего воинственного не было в фигуре Симона Петлюры. Выглядел он совсем не военным человеком.

Недовольный чем-то, выслушал он короткий рапорт инспектора. Затем к нему обратился с приветствием председатель управы.

Петлюра рассеянно слушал, глядя через его голову на выстроенные полки.

— Начнем смотр,— кивнул он инспектору.

Взойдя на небольшой помост у знамени, Петлюра обратился к солдатам с десятиминутной речью.

Речь была неубедительна. Произносил ее Петлюра без особого подъема, видимо устав с дороги. Окончил под казенные крики солдат: «Слава! Слава!» Слез с помоста и вытер платком вспотевший лоб. Затем с инспектором и командиром дивизии обошел части.

Проходя вдоль рядов мобилизованных, презрительно сощурил глаза, нервно покусывая губы.

К концу смотра, когда мобилизованные взвод за взводом неровными рядами подходили к знамени, у которого стоял с евангелием поп Василий, и целовали сначала евангелие, потом угол знамени, произошло нечто неожиданное.

Невесть каким образом на площадь к Петлюре пробралась делегация. С хлебом и солью в руках выступал

богатый лесопромышленник Блувштейн, за ним галантерейщик Фукс и еще трое солидных коммерсантов.

Блувштейн, лакейски изгибаясь, подал поднос Петлюре. Его взял стоявший рядом старшина.

— Еврейское население выражает свою искреннюю признательность и уважение к вам, глава государства. Вот, пожалуйста, поздравительный лист.

— Добре,—буркнул Петлюра, бегло просматривая бумагу.

Но тут выступил Фукс.

— Мы нижайше просим вас, чтобы вам дали возможность открыть предприятия и защищать от погрома,— выдавил Фукс трудное слово.

Петлюра злобно насупился.

— Моя армия погромами не занимается. Вы это должны запомнить.

Фукс беспомощно развел руками.

Петлюра нервно подернул плечом. Он был зол на так некстати подошедшую делегацию. Он обернулся. За его спиной стоял, покусывая черный ус, Голуб.

— Тут на ваших казаков жалуются, пане полковник. Разберитесь, в чем дело, и примите меры,— сказал Петлюра и, обращаясь к инструктору, приказал: — Начинаем парад.

Злополучная делегация никак не ожидала встречи с Голубом и поспешила улизнуть.

Все внимание зрителей было обращено на приготовление к церемониальному маршу. Раздались резкие слова команды.

Голуб, надвигаясь на Блувштейна с внешне спокойным лицом, говорил внятно, шепотом:

— Уносите ноги, пекрещеные души, а то я из вас котлеты сделаю.

Гремел оркестр, и первые части стали проходить по площади. Подходя к месту, где стоял Петлюра, солдаты механически гаркали «слава!» и заворачивали по шоссе в боковые улицы. Впереди рот, одетые в новенькие костюмы цвета хаки, непринужденно шагали старшины, как на прогулке, помахивая тросточками. Эту моду маршировать с тросточкой, как и шомпола у солдат, сичевики ввели впервые.

В хвосте шли мобилизованные, шли недружной массой, сбиваясь с шага, натыкаясь друг на друга.

Шорох босых ног был тих. Старшины изо всех сил старались навести порядок, но это было невозможно. Когда подходила вторая рота, правофланговый молодой парень в полотняной рубахе, засмотрелся на «головного», разинув от удивления рот, и со всего размаху шлепнулся на шоссе, попав ногой в выбоину.

Винтовка, дребезжа, покатилась по камням. Парень пытался подняться, но его сейчас же сбивали с ног идущие сзади.

Среди зрителей послышался хохот. Взвод смешал строй. Площадь проходили уже как попало. Неудачливый парнишка, подхватив винтовку, догонял своих.

Петлюра отвернулся в сторону от этого неприятного зрелища; не ожидая конца прохождения колонны, пошел к автомобилю. Инспектор, следуя за ним, осторожно спросил:

— Пан атаман обедать не останется?

— Нет,— отрывисто бросил Петлюра.

За высокой церковной оградой, среди толпы зрителей, смотрели парад Сережа Брузжак, Валя и Климка.

Крепко обхватив руками прутья решетки, взглядом, полным ненависти, всматривался Сережа в лица стоявших внизу.

— Пойдем, Валя, лавочка закрывается,— вызывающе громко, так, чтобы слышали все, проговорил он, отрываясь от решетки. На него изумленно обернулись.

Не обращая ни на кого внимания, он пошел к калитке. За ним сестра и Климка.

Подскакав к комендантской, полковник Черняк с есаулом спрыгнули с лошадей. Передав их вестовому, они быстро вошли в караулку.

— Где комендант? — резко спросил Черняк у вестового.

— Не знаю,— промямлил тот.— Куда-то пошел.

Черняк оглядывал грязную, неприбранную караулку, развороченные постели, на которых беспечно развалились комендантские казаки. Они не думали даже встать при приходе старшин.

— Что за хлев развели? — заревел Черняк.— Вы что развалились, как поросые свиньи? — налетел он на лежавших.

Один из казаков, сев, сыто отрыгнул и недружелюбно промычал:

— Ты чего кричишь? У нас свое кричало есть.

— Что такое? — подскочил Черняк.— Ты с кем разговариваешь, коровья морда? Я — полковник Черняк! Слыхал, сукин сын? Вставать сейчас же, а то всыплю всем шомполов! — бегал по караулке разгоряченный полковник.— В одну минуту чтобы всю грязь вымести, кровати прибрать, морды свои привести в человеческий вид. На кого вы похожи? Не казаки, а банда с большой дороги.

Его ярости не было границ. Он с бешенством толкнул ногой бак с помоями, стоявший на дороге.

Есаул не отставал от него, обильно сыпя матерщину, и, убедительно помахивая плеткой-трехвосткой, сгонял лежебок с постелей.

— Головной атаман парад принимает, сюда зайти может. Живо шевелитесь!

Видя, что дело принимает серьезный оборот и что шомполы действительно можно заработать,— имя Черняка было всем прекрасно известно,— казаки забегали, как ошпаренные.

Работа закипела.

— Надо посмотреть арестованных,— предложил есаул.— Кто их знает, кого они здесь держат? Заглянет головной — может получиться ерунда.

— У кого ключ? — спросил часового Черняк.— Откройте сейчас же.

Старшой торопливо подскочил и открыл замок.

— А где комендант? Что, я его долго ждать буду? Найти его сейчас же и прислать сюда,— командовал Черняк.— Охрану вывести во двор, выстроить в порядке... Почему винтовки без штыков?

— Мы вчера только сменились, — оправдывался старшой.

Он кинулся к двери искать коменданта.

Есаул толкнул ногой дверь кладовой. С полу привстало несколько человек, остальные остались лежать.

— Откройте двери,— командовал Черняк,— здесь мало света.

Он всматривался в лица арестованных.

— За что сидишь? — резко спросил он сидевшего на нарах старика.

Тот приподнялся, подтянул штаны и, немного заикаясь, напуганный резким криком, прошамкал:

— Я и сам не знаю. Посадили — вот и сижу. Коняга со двора пропала, так я же в этом не виноват.

— Чья коняга? — перебил есаул.

— Да казенная. Пропили ее мои постояльцы, а на меня сваливают.

Черняк окинул старика с головы до ног быстрым взглядом, нетерпеливо дернув плечом.

— Забери свои манатки — и марш отсюда! — крикнул он, поворачиваясь к самогонщице.

Старик не сразу поверил, что его отпускают, и, обращаясь к есаулу, заморгал подслеповатыми глазами:

— Значит, мне уйти дозволяется?

Тот кивнул головой: катись, катись поскорей.

Старик поспешно отвязал от нар свою торбу и бочком проскочил в дверь.

— А ты за что посажена? — уже допрашивал самогонщицу Черняк.

Та, доедая кусок пирога, затараторила:

— Меня, наше начальство, по несправедливости посадили. Вдова я, самогонку мою пили, а меня потом и посадили.

— Ты что, самогонкой торгуешь? — спросил Черняк.

— Да яка там торговля, — обиделась баба. — Он, комендант, взял четыре бутылки и ни гроша не заплатил. Вот так все: самогонку пьют, а денег не платят. Яка же это торговля?

— Довольно, сейчас убирайся к черту.

Баба не заставила дважды повторять приказание и, схватив корзинку, благодарно кланяясь, попятилась задом к двери.

— Дай вам боже здоровечко, господа начальство.

Долинник смотрел на эту комедию широко раскрытыми глазами. Никто из арестованных не понимал, в чем дело. Было ясно одно: пришедшие люди — какое-то начальство, имеющее власть над арестованными.

— А ты за что? — обратился к Долиннику Черняк.

— Встать перед паном полковником! — гаркнул есаул.

Долинник медленно и тяжело приподнялся с пола.

— За что сидишь, спрашиваю? — повторил вопрос Черняк.

Долинник несколько секунд смотрел на подкрученные усы полковника, на его гладко выбритое лицо, потом на козырек новенькой «керенки» с эмалевой кокардой, и вдруг мелькнула хмельная мысль: «А что, если выйдет?»

— Меня арестовали за то, что я шел по городу после восьми часов,— сказал он первое, что пришло ему на ум.

Ожидал весь в мучительном напряжении.

— А чего ночью шатаешься?

— Да не ночью, часов в одиннадцать.

Говорил и уже не верил в дикую удачу.

Колени дрогнули, когда услышал короткое:

— Отправляйся.

Долинник, забыв свой пиджак, шагнул к двери, а есаул уже спрашивал следующего.

Корчагин был последним. Он сидел на полу, совершенно сбитый с толку всем тем, что видел, и даже не успел осознать, что Долинника отпустили. Понять, что происходит, он не мог. Всех отпускают. Но Долинник, Долинник... Он сказал, что арестован за ночное хождение... Наконец понял.

Полковник начал допрос худенького Зельцера с обычного:

— За что сидишь?

Бледный, волнующийся парикмахер ответил порывисто:

— Мне говорят, что я агитирую, но я не понимаю, в чем моя агитация заключается.

Черняк насторожился.

— Что? Агитация?! О чем агитируешь?

Зельцер недоуменно развел руками:

— Я не знаю, но я говорил только, что собирают подписи на прошение головному атаману от еврейского населения.

— На какое прошение? — продвинулись к Зельцеру есаул и Черняк.

— Прошение об отмене погромов. Вы знаете, у нас был страшный погром. Население боится.

— Понятно,— оборвал его Черняк.— Мы тебе пропишем прошение, жидовская морда.— И, оборачиваясь к есаулу, бросил: — Этого фрукта надо запрятать подальше. Убрать его в штаб. Там я с ним побеседую лично. Узнаем, кто собирается подать прошение.

Зельцер пытался возразить, но есаул, резко махнув рукой, ударил его нагайкой по спине.

— Молчи, стерва!

Кривясь от боли, Зельцер отшатнулся в угол. Губы его задрожали, он едва сдерживал прорывающиеся рыдания.

При последней сцене Корчагин встал. В кладовой из арестованных оставались только он и Зельцер.

Черняк стоял перед юношей и ощупывал его черными глазами.

— Ну, а ты чего здесь?

На свой вопрос полковник услышал быстрый ответ:

— Я от седла крыло отрезал на подметки.

— От какого седла? — не понял полковник.

— У нас стоят два казака, так я от старого седла крыло отрезал для подметок, а казаки меня сюда и привели за это.— И, охваченный безумной надеждой выбраться на свободу, добавил: — Я кабы знал, что нельзя...

Полковник пренебрежительно глядел на Корчагина.

— И чем этот комендант занимался, черт его знает, тоже арестантов насбирал! — И, оборачиваясь к двери, закричал: — Можешь идти домой и скажи отцу, чтобы он тебя вздул, как полагается. Ну, вылетай!

Не веря себе, с сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, схватив лежащий на полу пиджак Долинника, Корчагин кинулся к двери. Пробежал караулку и за спиной выходившего Черняка проскользнул во двор, оттуда в калитку и на улицу.

В кладовой остался одинокий, несчастный Зельцер. Он с мучительной тоской оглянулся, инстинктивно сделав несколько шагов к выходу, но в караулку вошел часовой, закрыл дверь, повесил замок и уселся на стоящий у двери табурет.

На крыльце Черняк, довольный, обратился к есаулу:

— Хорошо, что мы сюда заглянули. Смотри, сколько здесь швали набилось, а коменданта посадим недельки на две. Ну, поедем, что ли?

Во дворе выстраивал свой отряд старшой. Увидев полковника, он подбежал и отрапортовал:

— Все в порядке, пане полковник.

Черняк вложил ногу в стремя, легко вспрыгнул в седло. Есаул возился с норовистой лошадью. Подбирая поводья, Черняк сказал старшому:

— Скажи коменданту, что я выпустил всю дрянь, которую он тут напихал. Передай ему, что я посажу его на две недели за то, что он здесь развел. А того, что там сидит, перевести сейчас же в штаб. Караулу быть готовым.

— Слушаюсь, пане полковник,— откозырял старшой.

Дав лошадям шпоры, полковник с есаулом понеслись галопом к площади, где уже кончался парад.

Перемахнув седьмой забор, Корчагин остановился. Бежать дальше не было сил.

Голодные дни в душной, непроветриваемой кладовой обессилили его. Домой нельзя, а к Брузжакам идти — узнает кто, разгромят всю семью. Куда же?

Он не знал, что делать, и бежал, оставляя позади себя огороды и задворки усадеб. Опомнился, лишь наткнувшись грудью на чью-то ограду.

Глянул и обомлел: за высоким дощатым забором начинался сад главного лесничего. Вот куда принесли его усталые вконец ноги. Разве думал он добежать сюда? Нет.

Но почему же очутился именно у усадьбы лесничего? На это ответить не мог.

Надо где-нибудь передохнуть и потом подумать, куда дальше; в саду деревянная беседка, там его никто не увидит.

Корчагин подпрыгнул, захватил рукой край доски, забрался на забор и свалился в сад. Оглянувшись на чуть видневшийся за деревьями дом, он пошел к беседке. Она была открыта почти со всех сторон. Летом ее обвивал дикий виноград — сейчас все было голо.

Повернулся к забору, но было поздно: за спиной он услышал бешеный лай. От дома по засыпанной листьями дорожке, оглашая сад грозным рычаньем, на него мчалась огромная собака.

Павел приготовился к защите.

Первое нападение было отбито ударом ноги. Но пес готовился ко второму. Кто знает, чем окончилась бы эта схватка, если бы знакомый Павлу звонкий голос не закричал:

— Трезор, назад!

По дорожке бежала Тоня. Оттащив за ошейник Трезора, она обратилась к стоящему у забора Павлу:

— Как вы сюда попали? Вас же могла искусать собака. Хорошо, что я...

Она запнулась. Ее глаза широко раскрылись. До чего же похож на Корчагина этот неизвестно как забредший сюда юноша!

Фигура у забора шевельнулась и тихо проговорила:

— Ты... Вы меня узнаете?

Тоня вскрикнула и порывисто шагнула к Корчагину.

— Павлуша, ты?

Трезор понял крик как сигнал к нападению и сильным прыжком бросился вперед.

— Пошел вон!

Трезор, получив несколько пинков от Тони, обиженно поджал хвост и поплелся к усадьбе.

Тоня, сжимая руки Корчагина, произнесла:

— Ты свободен?

— А ты разве знаешь?

Тоня, не справляясь со своим волнением, порывисто ответила:

— Я все знаю. Мне рассказала Лиза. Но каким образом ты здесь? Тебя освободили?

Корчагин устало ответил:

— Освободили по ошибке. Я убежал. Меня уже, наверное, ищут. Сюда попал нечаянно. Хотел отдохнуть в беседке.— И, как бы извиняясь, добавил: — Я очень устал.

Она несколько мгновений смотрела на него и, вся охваченная приливом жалости, горячей нежности, тревоги и радости, сжимала его руки.

— Павлуша, милый, милый Павка, мой родной, хороший... Я люблю тебя... Слышишь?.. Упрямый ты мой мальчишка, почему ты ушел тогда? Теперь ты пойдешь к нам, ко мне. Я тебя ни за что не отпущу. У нас спокойно, ты пробудешь, сколько нужно.

Корчагин отрицательно покачал головой.

— Если меня найдут у вас, что тогда будет? Не могу я к вам.

Руки еще сильнее сжали пальцы, ресницы дрогнули, глаза заблестели.

— Если ты не пойдешь, ты больше меня никогда не увидишь. Ведь Артема нет, его забрали под конвоем на паровоз. Всех железнодорожников мобилизуют. Куда же ты пойдешь?

Корчагин понимал ее тревогу, но боязнь поставить под удар дорогую ему девушку останавливала его. Все пережитое утомило, хотелось отдохнуть, мучил голод. Он сдался.

Когда он сидел на диване в комнате Тони, в кухне между дочерью и матерью происходил разговор.

— Послушай, мама. У меня в комнате сейчас сидит Корчагин, помнишь? Мой ученик. Я от тебя ничего не буду скрывать. Он был арестован за освобождение одного матроса-большевика. Он сбежал, и у него нет пристанища.— Голос ее задрожал.— Я прошу у тебя, мама, согласиться на то, чтобы он сейчас остался у нас.

Глаза дочери умоляюще посмотрели на мать.

Та испытующе смотрела в глаза Тоне.

— Хорошо, я не возражаю. А где же ты устроишь его?

Тоня зарделась и смущенно, волнуясь, ответила:

— Я устрою его у себя в комнате на диване. Папе можно будет пока не говорить.

Мать прямо посмотрела в глаза Тоне.

— Это и было причиной твоих слез?

— Да.

— Он совсем еще мальчик.

Тоня нервно теребила рукав блузки.

— Да, но если бы он не ушел, его бы расстреляли, как взрослого.

Екатерина Михайловна была встревожена присутствием в доме Корчагина. Ее беспокоили и его арест, и несомненная симпатия Тони к этому мальчику, и то, что она его совершенно не знала.

А Тоню охватил хозяйственный азарт.

— Он должен выкупаться, мама. Я сейчас это устрою. Он грязен, как настоящий кочегар. Он столько времени не умывался.

Она бегала, суетилась, растапливала ванну, приготовляла белье. И с налету, избегая объяснений, схватив Павла за руку, потащила купаться.

— Ты должен все с себя снять. Вот тут костюм. Твою одежду нужно выстирать. Наденешь вот это,— сказала она, показывая на стул, где были аккуратно сложены синяя матросская блуза с полосатым белым воротничком и брюки клеш.

Павел удивленно оглядывался. Тоня улыбалась.

— Это мой маскарадный костюм. Он тебе будет хорош.

Ну, хозяйничай, я тебя оставлю. Пока ты купаешься, я приготовлю кушать.

Она захлопнула дверь. Делать было нечего. Корчагин быстро разделся и забрался в ванну.

Через час все трое — мать, дочь и Корчагин — обедали на кухне.

Изголодавшись, Павел незаметно для себя опустошил третью тарелку. Сначала он стеснялся Екатерины Михайловны, но потом, видя ее дружеское отношение, освоился.

Когда после обеда они собрались в комнате Тони, Павел по просьбе Екатерины Михайловны рассказал о своих мытарствах.

— Что же вы думаете дальше делать? — спросила Екатерина Михайловна.

Павел задумался.

Я хочу Артема повидать, а потом удрать отсюда.

— Куда?

— На Умань пробраться думаю или в Киев. Я сам еще не знаю, но отсюда надо убраться обязательно.

Павел не верил, что все так быстро переменилось. Еще утром каталажка, а сейчас Тоня рядом, чистая одежда, а главное — свобода.

Вот как иногда поворачивается жизнь: то темь беспросветная, то снова улыбается солнце. Если бы не нависающая угроза нового ареста, он был бы сейчас счастливым парнем.

Но именно сейчас, пока он здесь, в этом большом и тихом доме, его могли накрыть.

Надо было уходить куда угодно, но не оставаться здесь.

Но ведь уходить отсюда совсем не хочется, черт возьми! Как интересно было читать о герое Гарибальди! Как он ему завидовал, а ведь жизнь у этого Гарибальди была тяжелая, его гоняли по всему свету. Вот он, Павел, всего только семь дней прожил в ужасных муках, а кажется, будто год прошел.

Герой из него, Павки, видно, получается неважный.

— О чем ты думаешь? — спросила, нагнувшись над ним, Тоня. Ее глаза кажутся ему бездонными в своей темной синеве.

— Тоня, хочешь, я расскажу тебе о Христинке?..

— Рассказывай,— оживленно сказала Тоня.

— ...и она больше не пришла.— Последние слова он договорил с трудом.

В комнате было слышно, как размеренно стучали часы. Тоня, склонив голову, готовая разрыдаться, до боли кусала губы.

Павел посмотрел на нее.

— Я должен уйти отсюда сегодня же,— решительно сказал Павел.

— Нет, нет, ты сегодня никуда не пойдешь!

Тонкие теплые пальцы ее тихо забрались в его непокорные волосы, ласково теребили их...

— Тоня, ты мне должна помочь. Надо узнать в депо об Артеме и отнести записку Сережке. В вороньем гнезде у меня лежит револьвер. Мне идти нельзя, а Сережка должен его достать. Ты можешь это сделать?

Тоня поднялась.

— Я сейчас пойду к Сухарько. С ней в депо. Ты напиши записку, я отнесу Сереже. Где он живет? А если он захочет прийти, сказать ему, где ты?

Подумав, Павел ответил:

— Пусть сам принесет в сад вечером.

Тоня вернулась домой поздно. Павел спал крепким сном. От прикосновения ее руки он проснулся. Она радостно улыбалась.

— Артем сейчас придет. Он только что приехал. Его под ручательство отца Лизы отпустят на час. Паровоз стоит в депо. Я ему не могла сказать, что ты здесь. Сказала, что передам что-то очень важное. Да вот он.

Тоня побежала к двери. Не веря своим глазам, Артем, как вкопанный, остановился в дверях. Тоня закрыла за ним дверь, чтобы не услыхал в кабинете больной тифом отец.

Когда руки Артема схватили Павла в объятия, у Павла хрустнули кости.

— Братишка! Павка!

Было решено: Павел едет завтра. Артем устроит его на паровоз к Бруздаку, который отправляется в Казатин.

Артем, обычно суровый, потерял равновесие, измучившись за брата, не зная его участи. Он теперь был бесконечно счастлив.

— Значит, утром в пять часов ты приходишь на материальный склад. Дрова погрузят на паровоз, и ты сядешь. Хотелось бы с тобой поговорить, но пора

возвращаться. Завтра провожу. Из нас формируют железнодорожный батальон. Как при немцах — под охраной ходим.

Артем попрощался и ушел.

Быстро спустились сумерки. Сережа должен был прийти к ограде сада. В ожидании Корчагин ходил по темной комнате из угла в угол. Тоня с матерью были у Тумановых.

С Сережей встретились в темноте и крепко сжали друг другу руки. С ним пришла Валя. Говорили тихо.

— Я револьвер не принес. У тебя во дворе полно петлюровцев. Подводы стоят, огонь разложили. На дерево полезть никак нельзя было. Вот неудача какая,— оправдывался Сережа.

— Шут с ним,— успокаивал его Павел.— Может, это и лучше. В дороге могут нащупать — голову оторвут. Но ты его забери обязательно.

Валя придвинулась к нему.

— Ты когда едешь?

— Завтра, Валя, чуть свет.

— Но как ты выбрался, расскажи?

Павел быстро, шепотом рассказал о своих мытарствах.

Прощались тепло. Сережа не шутил, волновался.

— Счастливого пути, Павел, не забывай нас,— с трудом выговорила Валя.

Ушли, сразу растаяв в темноте.

Тишина в доме. Лишь часы шагают четким неустанным шагом. Никому из двоих не приходит в голову мысль уснуть, когда через шесть часов они должны расстаться и, быть может, больше никогда не увидят друг друга. Разве можно рассказать за этот коротенький срок те миллионы мыслей и слов, которые носит в себе каждый из них?

Юность, прекрасная юность, когда страсть еще непонятна, лишь смутно чувствуется в частом биении сердец; когда рука испуганно вздрагивает и убегает в сторону, случайно прикоснувшись к груди подруги, и когда дружба юности бережет от последнего шага! Что может быть роднее рук любимой, обхвативших шею, и — поцелуй, жгучий, как удар тока!

За всю дружбу это второй поцелуй. Корчагина, кроме матери, никто не ласкал, но зато били много. И тем сильнее чувствовалась ласка.

В жизни забитой, жестокой не знал, что есть такая радость. А эта девушка на пути — большое счастье.

Он чувствует запах ее волос и, кажется, видит ее глаза.

— Я так люблю тебя, Тоня! Не могу я тебе этого рассказать, не умею.

Прерываются его мысли. Как послушно гибкое тело!.. Но дружба юности выше всего.

— Тоня, когда закончится заваруха, я обязательно буду монтером. Если ты от меня не откажешься, если ты действительно серьезно, а не для игрушки, тогда я буду для тебя хорошим мужем. Никогда бить не буду, душа с меня вон, если я тебя чем обижу.

И, боясь заснуть обнявшись, чтобы не увидела мать и не подумала нехорошее, разошлись.

Уже просыпалось утро, когда они уснули, заключив крепкий договор не забывать друг друга.

Ранним утром Екатерина Михайловна разбудила Корчагина.

Он быстро вскочил на ноги.

Когда переодевался в ванной в свое платье, натягивал сапоги, пиджак Долинника, мать разбудила Тоню.

Быстро шли в сыром утреннем тумане к станции. Подошли обходом к дровяным складам. Их нетерпеливо ожидал Артем у нагруженного дровами паровоза.

Медленно подходил мощный паровоз «щука», окутанный клубами шипящего пара.

В окно паровозной кабинки смотрел Бруззжак.

Быстро попрощались. Пенко схватился за железные поручни паровозных ступенек. Полез наверх. Обернулся. На переезде стояли две знакомые фигуры: высокая — Артема и рядом с ним стройная, маленькая — Тони.

Ветер сердито теребил воротник ее блузки, трепал локоны каштановых волос. Она махала рукой.

Артем, кинув вкось взгляд на сдерживавшую рыдания Тоню, вздохнул:

— Или я совсем дурак, или у этих гайка не на месте. Ну и Павка! Вот тебе и шкет!

Когда поезд ушел за поворот, Артем повернулся к Тоне:

— Ну, что ж, будем друзьями? — И в его громадной руке спряталась крошечная рука Тони.

Издалека донесся грохот набиравшего ход поезда.

Целую неделю городок, опоясанный окопами и опутанный паутиной колючих заграждений, просыпался и засыпал под оханье орудий и клекот ружейной перестрелки. Лишь глубокой ночью становилось тихо. Изредка срывали тишину испуганные залпы: щупали друг друга секреты! А на заре на вокзале у батарей начинали копошиться люди. Черная пасть орудия злобно и страшно кашляла. Люди спешили накормить его новой порцией свинца. Бомбардир дергал за шнур, земля вздрагивала. В трех верстах от города, над деревней, занятой красными, снаряды неслись с воем и свистом, заглушая все, и, падая, взметали вверх разорванные глыбы земли.

На дворе старинного польского монастыря была расположена батарея красных. Монастырь стоял на высоком холме посреди деревни.

Вскочил военком батареи товарищ Замостин. Он спал, положив голову на хобот орудия. Подтягивая потуже ремень с тяжелым маузером, прислушивался к полету снаряда, ожидая разрыва. Двор огласился его звонким голосом:

— Досыпать завтра будем, товарищи. По-ды-м-а-а-й-сь!

Батарейцы спали тут же, у орудий. Они вскочили так же быстро, как и военком. Один только Сидорчук медлил, он нехотя подымал заспанную голову.

— Ну и гады, чуть свет — уже гавкают. Что за подлый народ!

Замостин расхохотался:

— Несознательные элементы, Сидорчук. Не считаются с тем, что тебе поспать хочется.

Батареец подымался, недовольно ворча.

Через несколько минут на монастырском дворе громыхали орудия, а в городе рвались снаряды. На высоченной трубе сахарного завода примостились на настланных досках петлюровский офицер и телефонист.

Они взбирались по железным ступенькам, идущим внутри трубы.

Весь городок был как на ладони. Отсюда они управляли артиллерийской стрельбой. Им было видно каждое движение осаждавших город красных. Сегодня у большевиков большое оживление. В «цейс» видно движение их

частей. Вдоль железнодорожного пути к Подольскому вокзалу медленно катился бронепоезд, не прекращая артиллерийского обстрела. За ним виднелись цепи пехоты. Несколько раз красные бросались в атаку, пытаясь захватить городок, но сичевики укрепились на подступах, окопались. И вскипали ураганным огнем окопы. Все кругом наполнялось сумасшедшим стрекотом выстрелов. Он вырастал в сплошной рев, поднимаясь до наивысшего напряжения в момент атак. И, залитые свинцовым ливнем, не выдерживая нечеловеческого напряжения, цепи большевиков отходили назад, оставляя на поле неподвижные тела.

Сегодня удары по городку все настойчивее, все чаще. Воздух беспокойно мечется от орудийной пальбы. С высоты заводской трубы видно, как, припадая к земле, спотыкаясь, неудержимо идут вперед цепи большевиков. Они почти заняли вокзал. Сичевики втянули в бой все свои наличные резервы, но не могли заполнить образовавшийся на вокзале прорыв. Полные отчаянной решимости, большевистские цепи врывались в привокзальные улицы. Выбитые коротким страшным ударом с последней своей позиции — пригородных садов и огородов, петлюровцы третьего полка сичевых стрельцов, оборонявшие вокзал, беспорядочно разрозненными кучками бросились в город. Не давая опомниться и остановиться, сметая штыковым ударом заградительные посты, красноармейские цепи заполняли улицы.

Никакая сила не могла удержать Сережу Брузжака в подвале, где собрались его семья и ближайшие соседи. Его тянуло наверх. Несмотря на протесты матери, он выбрался из прохладного погреба. Мимо дома с лязгом, стреляя во все стороны, пронесся бронеавтомобиль «Сагайдачный». Вслед за ним бежали врассыпную охваченные паникой цепи петлюровцев. Во двор Сережи забежал один из сичевиков. Он с лихорадочной поспешностью сбросил с себя патронташ, шлем и винтовку и, перемахнув через забор, скрылся в огородах. Сережа решил выглянуть на улицу. По дороге к юго-западному вокзалу бежали петлюровцы. Их отступление прикрывал броневик. Шоссе, ведущее в город, было пустынно. Но вот на дорогу выскочил красноармеец. Он припал к земле и выстрелил вдоль

шоссе. За ним другой, третий... Сережа видит их: они пригибаются и стреляют на ходу. Не скрываясь, бежит загорелый, с воспаленными глазами китаец, в нижней рубашке, перепоясанной пулеметными лентами, с гранатами в обеих руках. Впереди всех, выставив ручной пулемет, мчится совсем еще молодой красноармеец. Это первая цепь красных, ворвавшихся в город. Чувство радости охватило Сережу. Он бросился на шоссе и закричал что было сил:

— Да здравствуют товарищи!

От неожиданности китаец чуть не сбил его с ног. Он хотел было свирепо накинуться на Сережу, но восторженный вид юноши остановил его.

— Куда Петлюра бежала? — задыхаясь, кричал ему китаец.

Но Сережа его не слушал. Он быстро вбежал во двор, схватил брошенные сичевиком патронташ и винтовку и бросился догонять цепь. Его заметили только тогда, когда ворвались на юго-западный вокзал. Отрезав несколько эшелонов, нагруженных снарядами, амуницией, отбросив противника в лес, остановились, чтобы отдохнуть и переформироваться. Юный пулеметчик подошел к Сереже и удивленно спросил:

— Ты откуда, товарищ?

— Я здешний, из городка, я только и ждал, чтобы вы пришли.

Сережу обступили красноармейцы.

— Моя его знает,—радостно улыбался китаец.— Его клицала: «Длавствуй, товалиса!» Его больсевика — наса, молодой, холосая,— добавил он восхищенно, хлопая Сережу по плечу.

А сердце Сережи радостно билось. Его сразу приняли, как своего. Он вместе с ними брал в штыковой атаке вокзал.

Городок ожил. Измученные жители выбирались из подвалов и погребов и стремились к воротам, посмотреть на входившие в город красные части. Антонина Васильевна и Валя в рядах красноармейцев заметили шагавшего со всеми Сережу. Он шел без фуражки, опоясанный патронташем, с винтовкой за плечом.

Антонина Васильевна, возмущенная, всплеснула руками.

Сережа, ее сын, вмешался в драку. О, это ему даром не пройдет! Подумать только: перед всем городом с винтовкой ходит! А потом что будет?

И, охваченная этими мыслями, Антонина Васильевна, уже не сдерживая себя, закричала:

— Сережка, марш домой, сейчас же! Я тебе покажу, мерзавцу. Ты у меня повоюешь! — И она направилась к сыну с намерением остановить его.

Но Сережа, ее Сережа, которому она не раз драла уши, сурово взглянул на мать и, заливаясь краской стыда и обиды, отрезал:

— Не кричи! Никуда отсюда я не пойду.— И, не останавливаясь, прошел мимо.

Антонина Васильевна вспыхнула:

— Ах, вот как ты с матерью разговариваешь! Ну, так не смей после этого домой возвращаться.

— И не вернусь! — не оборачиваясь крикнул в ответ Сережа.

Антонина Васильевна, растерянная, осталась стоять на дороге. А мимо двигались ряды загорелых, запыленных бойцов.

— Не плачь, мамаша! Сынка комиссаром выберем,— раздался чей-то крепкий насмешливый голос.

Веселый смех посыпался по взводу. Впереди роты сильные голоса дружно взмахнули песню:

Смело, товарищи, в ногу.
Духом окрепнем в борьбе,
В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе...

Мощно подхватили ряды песню, и в общем хоре — звонкий голос Сережи. Он нашел новую семью. И в ней один штык его, Сережи.

На воротах усадьбы Лещинского — белый картон. На нем коротко: «Ревком».

Рядом огневой плакат. Прямо в грудь читающему направлены палец и глаза красноармейца. И подпись:

«Ты вступил в Красную Армию?»

Ночью расклеили работники подива этих немых агитаторов. Тут же первое воззвание ревкома ко всем трудящимся города Шепетовки:

«Товарищи! Пролетарскими войсками взят город. Восстановлена советская власть. Призываем население к спокойствию. Кровавые погромщики отброшены, но чтоб они больше никогда не вернулись обратно, чтобы их уничтожить окончательно, вступайте в ряды Красной Армии. Всеми силами поддерживайте власть трудящихся. Военная власть в городе принадлежит начальнику гарнизона. Гражданская власть — революционному комитету.

Предревкома Д о л и н н и к».

В усадьбе Лещинского появились новые люди. Слово «товарищ», за которое еще вчера платились жизнью, звучало сейчас на каждом шагу. Непередаваемо волнующее слово «товарищ!»

Долинник забыл и сон и отдых.

Столяр налаживал революционную власть.

На двери маленькой комнаты дачи — лоскуток бумаги. На нем карандашом: «Партийный комитет». Здесь сидит товарищ Игнатьева, спокойная, выдержанная. Ей и Долиннику поручил подив организацию органов советской власти.

Прошел день, и уже сидят за столами сотрудники, стучит пишущая машинка, организован продкомиссариат. Комиссар Тыжицкий — подвижной, нервный. Тыжицкий работал на сахарном заводе помощником механика. С редкой настойчивостью начал он в первые же дни установления советской власти громить аристократическую верхушку фабричной администрации, которая притаилась со скрытой ненавистью к большевикам.

На фабричном собрании, запальчиво стуча кулаком о барьер трибуны, бросал он окружающим его рабочим жесткие, непримиримые слова по-польски.

— Кончено,— говорил он.— Что было, того уже не будет. Достаточно наши отцы и мы сами целую жизнь пробатрачили на Потоцкого. Мы им дворцы строили, а за это ясновельможный граф давал нам ровно столько, чтобы мы с голоду на работе не подохли.

Сколько лет графы Потоцкие да князья Сангушки на наших горбах катаются? Разве мало среди нас, поляков, рабочих, которых Потоцкий держал в ярме, как и русских и украинцев? Так вот, среди этих рабочих ходят слухи,

пущенные прислужниками графскими, что власть советская всех их в железный кулак сожмет.

Это подлая клевета, товарищи. Никогда еще рабочие разных народностей не имели таких свобод, как теперь.

Все пролетарии есть братья, но панов-то мы уж прижмем, будьте уверены.— Его рука описывает дугу и вновь обрушивается на барьер трибуны.— А кто заставляет проливать кровь братьев? Короли и дворяне с давних веков посылали крестьян польских на турок, и всегда один народ нападал и громил другой — сколько народу уничтожено, каких только несчастий не произошло! И кому это было нужно, нам, что ли? Но вскоре все это закончится. Пришел конец этим гадам. Большевики кинули всему миру страшные для буржуев слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Вот в чем наше спасение, наша надежда на счастливую жизнь, чтобы рабочий рабочему был брат. Вступайте, товарищи, в коммунистическую партию.

Будет и польская республика, только советская, без Потоцких, которых мы изничтожим под корень, а в Польше советской сами хозяевами станем. Кто из вас не знает Броника Пташинского? Он назначен ревкомом комиссаром нашего завода. «Кто был ничем, тот станет всем». Будет и у нас праздник, товарищи, не слушайте только этих скрытых змей! И если наше рабочее доверие поможет, то организуем братство всех народов во всем мире!

Вацлав высказал эти новые слова из глубины своего простого, рабочего сердца.

Когда он сошел с трибуны, молодежь проводила его сочувственными возгласами.

Только старшие боялись высказаться. Кто знает? Может быть, завтра большевики отступят, и тогда придется расплатиться за каждое свое слово. Если не попадешь на виселицу, то уж с завода прогонят наверняка.

Комиссар просвещения — худенький стройный учитель Черпопысский. Это пока единственный человек среди местного учительства, преданный большевикам. Напротив ревкома разместилась рота особого назначения. Ее красноармейцы дежурят в ревкоме. Вечером в саду, перед входом, стоит настороженный «максим» со змеей-лентой, уползающей в приемник. Рядом двое с винтовками.

В ревком направляется товарищ Игнатьева. Она

обращает внимание на молоденького красноармейца и спрашивает:

— Сколько вам лет, товарищ?

— Пошел семнадцатый.

— Вы здешний?

Красноармеец улыбается.

— Да, я только позавчера во время боя в армию вступил.

Игнатьева всматривается в него.

— Кто ваш отец?

— Помощник машиниста.

В калитку входит Долинник с каким-то военным. Игнатьева, обращаясь к нему, говорит:

— Вот я и заправилу в райком комсомола подыскала, он местный.

Долинник окинул быстрым взглядом Сергея.

— Чей? А, Захара сын! Что ж, валяй, накручивай ребят.

Сережа удивленно взглянул на них.

— А как же с ротой?

Уже взбегая на ступеньки, Долинник бросил:

— Это мы уладим.

К вечеру второго дня был создан местный комитет Коммунистического союза молодежи Украины.

Новая жизнь ворвалась неожиданно и быстро. Она заполнила его всего. Закрутила в своем водовороте. Сережа забыл семью, хоть она и была где-то совсем близко.

Он, Сережа Брузжак,— большевик. И десятый раз вытаскивал из кармана полосочку белой бумаги, где на бланке комитета КП(б)У было написано, что он, Сережа, комсомолец и секретарь комитета. А если бы кто и подумал сомневаться, то поверх гимнастерки, на ремне, в брезентовой кустарной кобуре, висел внушительный «манлихер», подарок дорогого Павки. Это убедительнейший мандат. Эх, жаль, нет Павлушки!

Сережа целыми днями бегал по поручениям ревкома. Вот и сейчас Игнатьева ожидает его. Они едут на станцию, в подив, где для ревкома дадут литературу и газеты. Он быстро выбегает на улицу. Работник политотдела ждет их у ворот ревкома с автомашиной.

До вокзала далеко. На вокзале в вагонах стоял штаб и политотдел первой советской украинской дивизии. Игнатьева использует поездку для расспросов Сережи.

— Что ты сделал по своей отрасли? Создал организацию? Ты должен агитировать своих друзей, детей рабочих. В ближайшее время нужно сколотить группу коммунистической молодежи. Завтра мы составим и отпечатаем воззвание комсомола. Потом соберем в театр молодежь, устроим митинг; в общем, я тебя познакомлю в подиве с Устинович. Она, кажется, ведет работу среди вашего брата.

Устинович оказалась восемнадцатилетней дивчиной с темными стрижеными волосами, в новенькой гимнастерке цвета хаки, перехваченной в талии узеньким ремешком. Сережа узнал от нее очень много нового и получил обещание помогать в работе. На прощанье она нагрузила его тюком литературы и, особо, маленькой книжечкой — программой и уставом комсомола.

Поздно вечером возвратились в ревком. В саду ожидала Валя. С упреком она набросилась на Сергея:

— Как тебе не стыдно! Ты что, совсем от дома отрекся? Мать из-за тебя каждый день плачет, отец сердится. Скандал будет.

— Ничего, Валя, не будет. Домой мне идти некогда. Честное слово, некогда. И сегодня не приду. А вот с тобой поговорить нужно. Идем ко мне.

Валя не узнавала брата. Он совсем изменился. Его словно кто зарядил электричеством. Усадив сестру на стул, Сережа начал сразу, без обиняков:

— Дело такое. Вступай в комсомол. Непонятно? Коммунистический союз молодежи. Я в этом деле за председателя. Не веришь? На вот, почитай!

Валя прочла и смущенно смотрела на брата.

— Что я буду делать в комсомоле?

Сережа развел руками.

— Что? Делать нечего? Милая! Так я же ночами не сплю. Агитацию раздуть надо. Игнатьева говорит: соберем всех в театр и про советскую власть рассказывать будем, а мне, говорит, речь надо произнести. Я думаю зря, потому что я, понятно, не знаю, как ее говорить. И завалюсь я, что называется. Ну вот, так и говори: как насчет комсомола?

— Я не знаю. Мать тогда совсем рассердится.

— Ты на мать не смотри, Валя,— возразил Сережа.— Она не разбирается в этом. Она только смотрит, чтобы ее дети при ней были. Она против советской власти ничего

не имеет. Наоборот, сочувствует. Но чтоб воевали на фронте другие, не ее сыновья. А это разве справедливо? Помнишь, как нам Жухрай рассказывал? Вот Павка, тот на мать не оглядывался. А теперь нам право вышло жить на свете, как полагается. Что ж, Валюша, неужели ты откажешься? А как хорошо было бы! Ты среди дивчат, а я среди ребят взялся бы. Рыжего чертяку Климку сегодня же в оборот возьму. Ну так как же, Валя, пристаешь к нам или нет? Вот тут книжечка у меня есть по этому делу.

Он достал из кармана и подал ей. Валя, не отрывая глаз от брата, тихо спросила:

— А что будет, если опять придут петлюровцы?

Сережа впервые задумался над этим вопросом.

— Я-то, конечно, уйду со всеми. Но вот с тобой как быть? Мать действительно несчастная будет.— Он замолчал.

— Ты меня запишешь, Сережа, так, чтобы мать не знала и никто не знал, только я да ты. Я помогать буду во всем, так лучше будет.

— Верно, Валя.

В комнату вошла Игнатьева.

— Это моя сестренка, товарищ Игнатьева, Валя. Я с ней разговор имел насчет идеи. Она вполне подходящая, но вот, понимаете, мать у нас серьезная. Можно так ее принять, чтобы об этом никто не знал? Ежели нам, скажем, отступать придется, так я, конечно, за винтовку и пошел, а ей вот мать жалко.

Игнатьева сидела на краю стола и внимательно слушала его.

— Хорошо. Так будет лучше.

Театр битком набит говорливой молодежью, созванной сюда развешанными по городу объявлениями о предстоящем митинге. Играет духовой оркестр рабочих сахарного завода. Больше всего в зале учащихся — гимназисток, гимназистов, учеников высшего начального училища.

Все они привлечены сюда не столько митингом, сколько спектаклем.

Наконец поднялся занавес, и на возвышении появился только что приехавший из уезда секретарь укома товарищ Разин.

Маленький, худенький, с острым носиком, он привлек к себе всеобщее внимание. Его речь слушали с большим интересом. Он говорил о борьбе, которой охвачена вся страна, и призывал молодежь объединиться вокруг коммунистической партии. Он говорил как настоящий оратор, в его речи было слишком много таких слов, как «ортодоксальные марксисты», «социал-шовинисты» и так далее, которых слушатели, конечно, не поняли.

Когда он кончил, его наградили громкими аплодисментами. Он передал слово Сереже и уехал.

Случилось то, чего Сережа боялся. Речи не выходило. «Что говорить, о чем?» — мучился он, подыскивая слова и не находя их.

Игнатьева выручила его, шепнув из-за стола:

— Говори об организации ячейки.

Сережа сразу перешел к практическим мероприятиям:

— Вы уже все слышали, товарищи, теперь нам надо создать ячейку. Кто из вас поддерживает это?

В зале настала тишина.

Устинович пришла на помощь. Она начала рассказывать слушателям об организации молодежи в Москве. Сережа, смущенный, стоял в стороне.

Его волновало такое отношение к организации ячейки, и он недружелюбно посматривал на зал. Устинович слушали невнимательно. Заливанов что-то шептал Лизе Сухарько, презрительно посматривая на Устинович. В переднем ряду гимназистки старших классов, с напудренными носиками и лукаво стреляющими по сторонам глазками, переговаривались между собой. В углу, у входа на сцену, находилась группа молодых красноармейцев. Среди них Сережа увидел знакомого юного пулеметчика. Он сидел на краю рампы, нервно ерзал, с ненавистью смотрел на щегольски одетых Лизу Сухарько и Анну Адмовскую. Они без всякого стеснения разговаривали со своими кавалерами.

Чувствуя, что ее не слушают, Устинович быстро закончила свою речь и уступила место Игнатьевой. Спокойная речь Игнатьевой утихомирила слушателей.

— Товарищи молодежь,— говорила она,— каждый из вас может продумать все то, что он слышал здесь, и я уверена, что среди вас найдутся товарищи, которые пойдут в революцию активными участниками, а не зрителями. Двери для вас открыты, остановка только за вами. Мы

хотим, чтобы вы высказались сами. Приглашаем желающих это сделать.

В зале снова водворилась тишина. Но вот из задних рядов раздался голос:

— Я хочу сказать!

И к сцене пробрался похожий на медвежонка, с чуть косыми глазами Миша Левчуков.

— Ежели такое дело, надо большевикам подсоблять, я не отказываюсь. Сережка меня знает. Я записываюсь в комсомол.

Сережа радостно улыбнулся.

— Вот видите, товарищи! — рванулся он сразу на середину сцены.— Я же говорил, вот Мишка — свой парень, потому что у него отец — стрелочник, задавило его вагоном, от этого Мишка образования не получил. Но в нашем деле разобрался сразу, хотя гимназию не кончил.

В зале послышались шум и выкрики. Слова попросил гимназист Окушев, сын аптекаря, парень со старательно накрученным хохлом. Одернув гимнастерку, он начал:

— Я извиняюсь, товарищи. Я не понимаю, чего от нас хотят. Чтобы мы занимались политикой? А учиться когда мы будем? Нам гимназию кончать надо. Другое дело, если бы создали какое-нибудь спортивное общество, клуб, где можно было бы собраться, почитать. А то политикой заниматься, а потом тебя повесят за это. Извините. Я думаю, что на это никто не согласится.

В зале раздался смех. Окушев соскочил со сцены и сел. Его место занял молодой пулеметчик. Бешено надвинув фуражку на лоб, метнув озлобленный взгляд по рядам, он с силой выкрикнул:

— Смеетесь, гады?

Глаза его — как два горящих угля. Глубоко вдохнув в себя воздух, весь дрожа от ярости, он заговорил:

— Моя фамилия — Жаркий Иван. Я не знаю ни отца, ни матери, беспризорный я был; нищим валялся под заборами. Голодал и нигде не имел приюта. Жизнь собачья была, не так, как у вас, сыночков маменькиных. А вот пришла власть советская, меня красноармейцы подобрали. Усыновили целым взводом, одели, обули, научили грамоте, а самое главное — понятие человеческое дали. Большевиком через них сделался и до смерти им буду. Я хорошо знаю, за что борьба идет: за нас, за бедняков, за

рабочую власть. Вы вот ржете, как жеребцы, а того не знаете, что под городом двести товарищей легло, навсегда погибло...— Голос Жаркого зазвенел, как натянутая струна.— Жизнь, не задумываясь, отдали за наше счастье, за наше дело... По всей стране гибнут, по всем фронтам, а вы в это время здесь карусели крутили. Вы вот к ним обращаетесь, товарищи,— обернулся он вдруг к столу президиума,— вот к этим,— показал он пальцем на зал,— а разве они поймут? Нет! Сытый голодному не товарищ. Здесь один только нашелся, потому что он бедняк, сирота. Обойдемся и без вас,— яростно накинулся он на собрание,— просить не будем, на черта сдались нам такие! Таких только пулеметом прошить! — задыхаясь, крикнул он напоследок и, сбежав со сцены, ни на кого не глядя, направился к выходу.

Из президиума на вечере никто не остался. Когда шли к ревкому, Сережа огорченно сказал:

— Вот какая буза получилась! Жаркий-то прав. Ничего у нас не вышло с этими гимназистами. Только зло берет.

— Нечего удивляться,— прервала его Игнатьева,— пролетарской молодежи здесь почти нет. Ведь большинство или мелкая буржуазия, или городская интеллигенция, обыватели. Работать надо среди рабочих. Опирайся на лесопилку и сахарный завод. Но от митинга польза все-таки будет. Среди учащихся есть хорошие товарищи.

Устинович поддержала Игнатьеву:

— Наша задача, Сережа, неустанно проталкивать в сознание каждого наши идеи, наши лозунги. На каждое новое событие партия будет обращать внимание всех трудящихся. Мы проведем целый ряд митингов, совещаний, съездов. Подив на станции открывает летний театр. На днях прибудет агитпоезд и работу развернем вовсю. Помните, Ленин говорил, что мы не победим, если не втянем в борьбу многомиллионные массы трудящихся.

Поздно вечером Сергей проводил Устинович на станцию. На прощанье крепко сжал руку, на секунду задержал ее в своей. Устинович чуть заметно улыбнулась.

Возвращаясь в город, Сергей завернул к своим.

Молча, не возражая, выдерживал Сережа нападки матери. Но когда выступил отец, Сережа сам перешел к активным действиям и сразу загнал Захара Васильевича в тупик.

— Послушай, батька, когда вы при немцах бастовали и на паровозе часового убили, ты о семье думал? Думал. А все-таки пошел, потому что тебя твоя совесть рабочая заставила. А я тоже о семье думал. Понимаю я, что если отступим, то вас за меня преследовать будут. Да зато, если мы победим, то наш верх будет. А дома я сидеть не могу. Ты, батька, сам это хорошо понимаешь. Зачем же бузу заваривать? Я за хорошее дело взялся, ты меня поддержать должен, помочь, а ты скандалишь. Давай, батька, помиримся, тогда и мама перестанет на меня кричать.— Он смотрел на отца своими чистыми голубыми глазами, ласково улыбаясь, уверенный в своей правоте.

Захар Васильевич беспокойно завозился на лавке и сквозь щетину густых усов и небритой бороденки показал в улыбке желтоватые зубы.

— На сознание нажимаешь, шельмец? Ты думаешь, если револьвер прицепил, то я тебя ремнем не огрею?

Но в его голосе не было угрозы. Смущенно помявшись, он добавил, решительно протягивая сыну свою корявую руку:

— Двигай, Сережка, раз уже на подъеме, тормозить не стану, только ты от нас не отсовывайся, приходи.

Ночь. Полоска света от приоткрытой двери лежит на ступеньках. В большой комнате, обставленной мягкими, обитыми плюшем диванами, за широким адвокатским столом — пятеро. Заседание ревкома. Долинник, Игнатьева, предчека Тимошенко, похожий на киргиза, в кубанке, и двое из ревкома — верзила-железнодорожник Шудик и Остапчук, с приплюснутым носом, деповский.

Долинник, перегнувшись через стол и уставившись на Игнатьеву упрямым взглядом, охрипшим голосом выдалбливал слово за словом:

— Фронту нужно снабжение. Рабочим нужно есть. Как только мы пришли, торгаши и базарные спекулянты вздули цены. Совзнаки не принимаются. Торгуют или на старые, николаевские, или на керенки. Сегодня же выработаем твердые цены. Мы прекрасно понимаем, что никто из спекулянтов по твердой цене продавать не станет. Попрячут. Тогда мы произведем обыски и реквизируем у шкуродеров все товары. Тут разводить кисель нельзя. Допустить, чтобы рабочие дальше голодали, мы не можем.

Товарищ Игнатьева предупреждает, чтобы мы не перегнули палку. Это, я скажу, у нее интеллигентская мягкотелость. Ты не обижайся, Зоя: я говорю то, что есть. Притом дело не в мелких торгашах. Вот я получил сегодня сведения, что в доме трактирщика Бориса Зона есть потайной подвал. В этот подвал еще до петлюровцев крупные магазинщики сложили громадные запасы товара.— Он выразительно, с ядовитой насмешкой посмотрел на Тимошенко.

— Откуда ты узнал? — спросил тот растерянно. Ему было досадно, что Долинник все сведения получил раньше его, в то время как об этом прежде всего должен был знать он, Тимошенко.

— Ге-ге! — смеялся Долинник.— Я, браток, все вижу. Я не только про подвал знаю,— продолжал он,— я и про то знаю, что ты вчера полбутылки самогона с шофером начдива выдул.

Тимошенко заерзал на стуле. На его желтоватом лице появился румянец.

— Ну и хвороба! — выдавил он восхищенно. Но, бросив взгляд на нахмурившуюся Игнатьеву, замолчал. «Вот чертов столяр! У него своя Чека»,— думал Тимошенко, смотря на предревкома.

— Узнал я от Сергея Брузжака,— продолжал Долинник.— У него приятель есть, что ли, в буфете работал. Так он от поваров узнал, что их Зон раньше снабжал всем необходимым в неограниченном количестве. А вчера Сережа добыл точные сведения: погреб есть, только надо его найти. Вот ты, Тимошенко, бери ребят, Сережу. Сегодня же чтоб все было найдено! В случае удачи мы снабдим рабочих и опродкомдив.

Через полчаса восемь вооруженных человек вошли в дом трактирщика, двое остались на улице, у входа.

Хозяин, приземистый, круглый, как десятиведерная бочка, заросший рыжей щетиной, стуча деревянной ногой, залебезил перед вошедшими и хриплым гортанным басом спросил:

— В чем дело, товарищи? Почему в такой поздний час?

За спиной Зона, накинув халаты, щурясь от света электрического фонарика Тимошенко, стояли дочери. А в соседней комнате, охая, одевалась дородная супруга.

Тимошенко объяснил в двух словах:

— Произведем обыск.

Каждый квадрат пола был исследован. Обширный сарай, заваленный пилеными дровами, кладовые, кухня и вместительный погреб — все подверглось тщательному обследованию. Однако никаких следов потайного погреба не обнаружили.

В маленькой комнатушке, у кухни, крепким сном спала прислуга трактирщика. Спала так крепко, что не слыхала, как вошли. Сережа осторожно разбудил ее.

— Ты что, здесь служишь? — спросил он заспанную девушку.

Натягивая на плечи одеяло, закрываясь рукой от света, ничего не понимая, она удивленно ответила:

— Служу. А вы кто такие?

Сережа объяснил и ушел, предложив ей одеться.

В просторной столовой Тимошенко расспрашивал хозяина. Трактирщик пыхтел, говорил возбужденно, брызгая слюной:

— Чего вы хотите? У меня другого погреба нет. Вы напрасно время тратите. Уверяю вас, напрасно. У меня был трактир, но теперь я бедняк. Петлюровцы меня ограбили, чуть не убили. Я очень рад советской власти, но что у меня есть, то вы видите,— он растопыривал свои короткие толстые руки. А глаза с кровяными прожилками перебегали с лица предчека на Сережу, с Сережи куда-то в угол и на потолок.

Тимошенко нервно кусал губы.

— Значит, вы продолжаете скрывать? Последний раз предлагаю указать, где находится погреб.

— Ах, что вы, товарищ военный,— вмешалась супруга трактирщика,— мы сами прямо голодаем! У нас все забрали.— Она хотела было заплакать, но у нее ничего не получилось.

— Голодаете, а прислугу держите,— вставил Сережа.

— Ах, какая там прислуга! Просто бедная девушка у нас живет. Ей некуда деваться. Да пусть вам сама Христинка скажет.

— Ладно,— крикнул, теряя терпение, Тимошенко,— приступаем к делу!

На дворе уже был день, а в доме трактирщика все еще шел упорный обыск. Озлобленный неудачей тринадцатичасовых поисков, Тимошенко решил было прекратить обыск, но в маленькой комнатке прислуги уже собирав-

шийся уходить Сережа вдруг услышал тихий шепот девушки:

— Наверное, в кухне, в печи.

Через десять минут развороченная русская печь открыла железную крышку люка. А час спустя двухтонный грузовик, нагруженный бочками и мешками, отъезжал от дома трактирщика, окруженного толпой зевак.

Жарким днем с маленьким узелочком пришла с вокзала Мария Яковлевна. Горько плакала она, слушая рассказ Артема о Павке. Потянулись для нее сумрачные дни. Жить было нечем, и приладилась Мария Яковлевна стирать красноармейцам белье, за что те выхлопотали для нее военный паек.

Однажды под вечер быстрее обычного протопал под окном Артем. И, толкая дверь, с порога бросил:

— От Павки известия.

> «Дорогой браток Артем,— писал Павка.— Извещаю тебя, любимый брат, что я жив, хотя не совсем здоров. Стрельнуло меня пулей в бедро, но я поправляюсь. Доктор говорит, в кости повреждений нету. Не беспокойся за меня, все пройдет. Может, получу отпуск, приеду после лазарета. К матери я не попал, а получилось так, что теперь я есть красноармеец кавалерийской бригады имени товарища Котовского, известного вам, наверное, за свое геройство. Таких людей я еще не видал и большое уважение к комбригу имею. Приехала ли наша матушка? Если дома, то горячий ей привет от сына младшего. И прощения прошу за беспокойство. Твой брат.
>
> Артем, сходи к лесничему и расскажи про письмо».

Много слез было пролито Марией Яковлевной. А сын непутевый даже адреса не написал, где лежит.

Частенько Сережа наведывается на вокзале в зеленый пассажирский вагон с надписью: «Агитпроп подива». Здесь в маленьком купе работают Устинович и Игнатьева Последняя, с неизменной папиросой в зубах, лукаво посмеивается уголками губ.

Незаметно сблизился с Устинович секретарь комсомольского райкома и, кроме тюков литературы и газет, увозил с собою с вокзала неясное чувство радости от короткой встречи.

Открытый театр подива каждый день наполнялся рабочими и красноармейцами. На путях стоял запеленутый в яркие плакаты агитпоезд 12-й армии. Агитпоезд круглые сутки жил кипучей жизнью. Работала типография, выпускались газеты, листовки, прокламации. Фронт близок. Случайно попал вечером в театр Сережа. Среди красноармейцев нашел Устинович.

Поздно ночью, провожая ее на станцию, где жили работники подива, Сережа неожиданно для себя спросил:

— Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть? — И добавил: — С тобой так хорошо! После встречи бодрости больше и работать хочется без конца.

Устинович остановилась.

— Вот что, товарищ Бружжак, давай условимся в дальнейшем, что ты не будешь пускаться в лирику. Я этого не люблю.

Сережа покраснел, как школьник, получивший выговор.

— Я тебе, как другу, сказал, — ответил он, — а ты меня... Что я такого контрреволюционного сказал? Больше, товарищ Устинович, я, конечно, говорить не буду!

И, быстро протянув ей руку, он почти бегом пустился в город.

Несколько дней подряд Сережа не появлялся на вокзале. Когда Игнатьева звала его, он отговаривался, ссылаясь на работу. Да и действительно он был очень занят.

Однажды ночью выстрелили в Шудика, возвращавшегося домой по улице, где жили преимущественно высшие служащие сахарного завода, поляки. В связи с этим были произведены обыски. Нашли оружие и документы союза пилсудчиков «Стрелец».

На совещание в ревком приехала Устинович. Отведя Сережу в сторону, она спокойно спросила:

— Ты что, в мещанское самолюбие ударился? Личный разговор переводишь на работу? Это, товарищ, никуда не годится.

И опять при случае стал забегать Сережа в зеленый вагон.

Был на уездной конференции. Два дня вел жаркие споры. На третий — вместе со всем пленумом вооружился и целые сутки гонял в заречных лесах банду Зарудного, недобитого петлюровского старшины. Вернулся, застал у Игнатьевой Устинович. Провожал ее на станцию и, прощаясь, крепко-крепко жал руку.

Устинович сердито руку отдернула. И опять долгое время в агитпроповский вагон не заглядывал. Нарочно не встречался с Ритой, даже тогда, когда надо было. А на ее настойчивое требование объяснить свое поведение с размаху отрубил:

— Что мне с тобой говорить? Опять пришьешь какое-нибудь мещанство или измену рабочему классу.

На станцию прибыли эшелоны Кавказской краснознаменной дивизии. В ревком приехали трое смуглых командиров. Высокий, худой, перетянутый чеканным поясом, наступал на Долинника:

— Ты мне ничего не говори. Давай сто подвод сена. Лошадь дохнет.

Сережа был послан с двумя красноармейцами добывать сено. В одном селе нарвался на кулацкую банду. Красноармейцев разоружили и избили до полусмерти. Сереже попало меньше других, его пощадили по молодости. Привезли их в город комбедовцы.

В село был послан отряд. Сена достали на другой день.

Сережа отлеживался в комнате Игнатьевой, не желая тревожить семью. Приходила Устинович. В первый раз в этот вечер он почувствовал ее пожатие, такое ласковое и крепкое, на которое он никогда бы не решился.

В жаркий полдень, забежав в вагон, Сережа читал Рите письмо Корчагина, рассказывал о товарище. Уходя, бросил:

— Пойду в лес, искупаюсь в озере.

Устинович, отрываясь от работы, задержала:

— Подожди. Пойдем вместе.

У спокойного зеркального озера остановились. Манила свежесть теплой прозрачной воды.

— Ты иди к выходу на дорогу и подожди. Я буду купаться,— командовала Устинович.

Сережа присел на камне у мостика и подставил лицо солнцу.

За его спиной плескалась вода.

Сквозь деревья он увидел на дороге Тоню Туманову и военкома агитпоезда Чужанина. Красивый, в щегольском френче, перетянутый портупеей со множеством ремней, в скрипучих хромовых сапогах, он шел с Тоней под руку, о чем-то рассказывал.

Сережа узнал Тоню. Это она приходила с письмом от Павлуши. Она тоже пристально смотрела на него,— видно, узнала. Когда они поравнялись с Сережей, он вынул из кармана письмо и остановил Тоню.

— На минуточку, товарищ. Я имею письмо, которое отчасти относится и к вам.

Он протянул ей исписанный листок. Освободив руку, Тоня читала письмо. Листочек чуть заметно запрыгал в ее руке. Отдавая его Сереже, Тоня спросила:

— Вы больше ничего не знаете о нем?

— Нет,— ответил Сергей.

Сзади под ногами Устинович хрустнула галька. Чужанин заметил Риту и, обращаясь к Тоне, прошептал:

— Пойдемте.

Голос Устинович, насмешливый, презрительный, остановил его:

— Товарищ Чужанин! Вас там в поезде целый день ищут.

Чужанин недружелюбно покосился на нее:

— Ничего. Обойдутся и без меня.

Смотря вслед Тоне и военкому, Устинович сказала:

— Когда только прогонят этого проходимца!

Лес шумел, кивая могучими шапками дубов. Озеро манило своей свежестью. Сережу потянуло искупаться.

После купанья он нашел Устинович недалеко от просеки на сваленном дубе.

Пошли, разговаривая, в глубь леса. На небольшой прогалине с высокой свежей травой решили отдохнуть. В лесу тихо. О чем-то шепчутся дубы. Устинович прилегла на мягкой траве, подложив под голову согнутую руку. Ее стройные ноги, одетые в старые, заплатанные башмаки, прятались в высокой траве. Сережа бросил случайный взгляд на ее ноги, увидел на ботинках аккурат-

ные заплатки, посмотрел на свой сапог с внушительной дырой, из которой выглядывал палец, и засмеялся.

— Чего ты?

Сережа показал сапог:

— Как мы в таких сапогах воевать будем?

Рита не ответила. Покусывая стебелек травы, она думала о другом.

— Чужанин — плохой коммунист, — сказала она наконец.— У нас все политработники в тряпье ходят, а он только о себе заботится. Случайный он человек в нашей партии... А вот на фронте действительно серьезно. Нашей стране придется долго выдерживать ожесточенные бои.— И, помолчав, добавила: — Нам, Сергей, придется действовать и словом и винтовкой. Знаешь о постановлении Цека мобилизовать четверть состава комсомола на фронт? Я так думаю, Сергей, что мы здесь недолго продержимся.

Сережа слушал ее, с удивлением улавливая в ее голосе какие-то необычные ноты. Ее черные, отсвечивающие влагой глаза были устремлены на него.

Он чуть не забылся и не сказал ей, что глаза у нее, как зеркало, в них все видно, но вовремя удержался.

Рита приподнялась на локте.

— Где твой револьвер?

Сергей огорченно пощупал свой пояс.

— На селе кулацкая шайка отобрала.

Рита засунула руку в карман гимнастерки и вынула блестящий браунинг.

— Видишь тот дуб, Сергей?— указала она дулом на весь изрытый бороздами ствол, шагах в двадцати пяти от них. И, вскинув руку на уровень глаз, почти не целясь, выстрелила. Посыпалась отбитая кора.

— Видишь? — удовлетворенно проговорила она и снова выстрелила. Опять зашуршала о траву кора.

— На,— передавая ему револьвер, сказала Рита насмешливо,— посмотрим, как ты стреляешь.

Из трех выстрелов Сережа промазал один. Рита улыбалась.

— Я думала, у тебя будет хуже.

Положила револьвер на землю и легла на траву. Сквозь ткань гимнастерки вырисовывалась ее упругая грудь.

— Сергей, иди сюда,— проговорила она тихо.

Он придвинулся к ней.

— Видишь небо? Оно голубое. А ведь у тебя такие же глаза. Это нехорошо. У тебя глаза должны быть серые, стальные. Голубое — это что-то чересчур нежное.

И, внезапно обхватив его белокурую голову, она властно поцеловала в губы.

Прошло два месяца. Наступила осень.

Ночь подобралась незаметно, окутав в черную вуаль деревья. Телеграфист штаба дивизии, нагнувшись над аппаратом, рассыпавшим дробь «морзе», подхватывал ленту, узенькой змейкой выползавшую из-под пальцев. Быстро выписывал на бланке фразы, сложенные из точек и тире:

«Начштадиву 1-й копия предревкома города Шепетовки. Приказываю эвакуировать все учреждения города через десять часов после получения настоящей телеграммы. Городе оставить батальон, которому влиться распоряжение командира N-ского полка, командующего боевым участком. Штадиву, подиву, всем военным учреждениям отодвинуться станцию Баранчев. Исполнение донести начдиву. Подпись».

Через десять минут по безмолвным улицам городка промчался, блестя глазом ацетиленового фонаря, мотоциклет. Пыхтя, остановился у ворот ревкома. Мотоциклист передал телеграмму предревкома Долиннику. И забегали люди. Выстраивалась особая рота. Час спустя по городу стучали повозки, нагруженные имуществом ревкома. Грузились на Подольском вокзале в вагоны.

Сережа, прослушав телеграмму, выбежал вслед за мотоциклистом.

— Товарищ, можно с вами на станцию? — спросил он шофера.

— Садись сзади, только держись крепче.

Шагах в десяти от вагона, уже прицепленного к составу, Сережа обхватил плечи Риты и, чувствуя, что теряет что-то дорогое, которому нет цены, зашептал:

— Прощай, Рита, товарищ мой дорогой! Мы еще встретимся с тобой, только ты не забывай меня.

Он с ужасом почувствовал, что сейчас разрыдается. Надо было уходить. Не имея больше сил говорить, он только до боли жал ее руки.

Утро застало город и вокзал пустыми, осиротевшими. Отгудели, словно прощаясь, паровозы последнего поезда, и за станцию по обе стороны пути залегла защитная цепь батальона, оставленного в городе.

Осыпались желтые листья, оголяя деревья. Ветер подхватывал опавшие листочки и тихонько катил их по дороге.

Сережа, одетый в красноармейскую шинель, весь перехваченный холщевыми патронными сумками, с десятком красноармейцев занимал перекресток у сахарного завода. Ждали поляков.

Автоном Петрович постучался к своему соседу Герасиму Леонтьевичу. Тот, еще не одетый, выглянул в раскрытую дверь:

— Что случилось?

Указывая на идущих с винтовками наперевес красноармейцев, Автоном Петрович подмигнул приятелю:

— Уходят.

Герасим Леонтьевич озабоченно посмотрел на него:

— Вы не знаете, у поляков какие знаки?

— Кажется, орел одноглавый.

— Где же достать?

Автоном Петрович озлобленно почесал затылок.

— Им ничего,— сказал он после некоторого раздумья: — взяли и ушли. А ты здесь голову ломай, как к новой власти прилаживаться.

Нарушая тишину, дробно загрохотал пулемет. У вокзала неожиданно загудел паровоз, и оттуда ахнуло тяжелым ударом орудие. Завывая, со стоном, высоко в небе буравил воздух тяжелый снаряд. Упал за заводом на дороге, окутав сизым дымом придорожные кусты. По улице, поминутно оглядываясь, молча отходили красноармейские цепи.

У Сережи легким холодком скатилась по щеке слезинка. Торопливо стер ее след, оглянулся на товарищей. Нет, никто не видел.

Рядом с Сережей шел высокий, худой Антек Клопотовский с лесопильного завода. Пальцы его — на курке винтовки. Антек хмур, озабочен. Его глаза встречаются со взглядом Сережи, и Антек выдает свои скрытые мысли:

— Преследовать наших будут, особенно моих. «Поляк,— скажут,— а против польских легионов пошел». Выгонят старика с лесопилки и всыпят ему плетей. Говорил старику, чтобы шел с нами, но не хватило у батьки сил семью бросить. Эх, проклятые, столкнуться бы с ними скорее! — И Антек нервно поправил сползавший ему на глаза красноармейский шлем.

...Прощай, родной городишко, неказистый, грязный, с некрасивыми домиками, корявым шоссе! Прощайте, близкие, прощай, Валя, прощайте, товарищи, ушедшие в подполье! Надвигаются чужие, злобные, не знающие пощады белопольские легионы.

Печальным взглядом провожают красноармейцев деповские рабочие в прокопченных мазутом рубашках.

— Мы еще придем, товарищи! — взволнованно крикнул Сережа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Смутно поблескивает река в предрассветной дымке; журчит по прибрежным камешкам-голышам. От берегов к середине река спокойная, гладь ее кажется неподвижной, а цвет серый, поблескивающий. На середине темная, беспокойная, видно глазу, движется, спешит вниз. Река красивая, величественная. Это про нее писал Гоголь свое непревзойденное «Чуден Днепр...» Крутым обрывом сбегает к воде высокий правый берег. Он горой надвинулся на Днепр, словно остановился в своем движении перед шириной реки. Левый берег внизу весь в песчаных лысинах. Их оставляет Днепр после весенних разливов, возвращаясь в свои берега.

У реки, зарывшись в землю в тесном окопе, находятся пятеро. Дружно прилегли они у тупоносого «максимки». Это передовой секрет 7-й стрелковой дивизии. У пулемета, лицом к реке, прилег на боку Сережа Бруздак.

Вчера, обессиленные в бесконечных схватках, разбиваемые ураганным огнем артиллерии поляков, наши части сдали Киев. Перешли на левый берег. Закрепились.

Но отступление, большие потери и, наконец, сдача противнику Киева тяжело подействовали на бойцов. 7-я дивизия героически пробивалась сквозь окружения, шла лесами и, выйдя к железной дороге у станции Малин, яростным ударом разметала занявшие станцию польские части, отбросила их в лес, освободив дорогу на Киев.

Теперь, когда красавец-город отдан, красноармейцы были пасмурны.

Поляки заняли небольшой плацдарм на левом берегу у железнодорожного моста, выбив красные части из Дарницы.

Но подвинуться далее, несмотря на все усилия, не смогли, встречаемые ожесточенными контратаками.

Смотрит Сережа, как бежит река, и не может не думать о прошлом дне.

Вчера, в полдень, подхваченный общей яростью, встречал белополяков контратакой; вчера же впервые грудь с грудью столкнулся с безусым легионером. Летел тот на него, выкинув вперед винтовку, с длинным, как сабля, французским штыком, бежал заячьими прыжками, крича что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его глаза, расширенные яростью. Еще миг — и Сергей ударил концом штыка по штыку поляка. И блестящее французское лезвие было отброшено в сторону.

Поляк упал...

Рука Сергея не дрогнула. Он знает, что будет еще убивать, он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не злой, не жестокий, но он знает, что в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами, обманутые и злобно натравленные солдаты.

И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут.

За плечо трогает Парамонов:

— Будем отходить, Сергей, скоро нас заметят.

Уже год носился по родной стране Павел Корчагин на тачанке, на орудийном передке, на серой с отрубленным ухом лошадке. Возмужал, окреп. Вырастал в страданиях и невзгодах.

Успела зажить кожа, растертая в кровь тяжелыми патронными сумками, и не сходил уже твердый рубец мозолей от ремня винтовки.

Много страшного видел Павел за этот год. Вместе с тысячами других бойцов, таких же, как и он, оборванных и раздетых, но охваченных неугасающим пламенем борьбы за власть своего класса, прошел он пешком взад и вперед свою родину и только дважды отрывался от урагана.

Первый раз из-за ранения в бедро, второй — в морозном феврале двадцатого заметался в липком, жарком тифу.

Страшнее польских пулеметов косил вшивый тиф ряды полков и дивизий 12-й армии. Раскинулась армия на громадном пространстве, почти через всю северную Украину, преграждая полякам дальнейшее продвижение вперед. Едва поправившись, возвратился Павел в свою часть.

Сейчас полк занимал позицию у станции Фронтовки, на ветке, отходящей от Казатина на Умань.

Станция в лесу. Небольшое здание вокзала, у которого приютились разрушенные, покинутые жителями домики. Жить в здешних местах стало невозможно. Третий год то затихали, то опять загорались побоища. Кого только не видела Фронтовка за это время!

Снова назревали большие события. В то время, когда 12-я армия, страшно поредевшая, отчасти дезорганизованная, отходила под натиском польской армии к Киеву, пролетарская республика готовила опьяненным победным маршем белополякам сокрушительный удар.

С далекого Северного Кавказа беспримерным в военной истории походом перебрасывались на Украину закаленные в боях дивизии 1-й Конной армии. 4-я, 6-я, 11-я и 14-я кавалерийские дивизии подходили одна за другой к району Умани, группируясь в тылу нашего фронта и по пути к решающим боям сметая с дороги махновские банды.

Шестнадцать с половиной тысяч сабель, шестнадцать с половиной тысяч опаленных степным зноем бойцов.

Все внимание высшего красного командования и командования Юго-Западным фронтом было привлечено к тому, чтобы этот подготавливаемый решающий удар по

был предупрежден пилсудчиками. Бережно охранял группировку этой конной массы штаб республики и фронтов.

На уманском участке были прекращены активные действия. Стучали непрерывно прямые провода от Москвы к штабу фронта — Харькову, отсюда к штабам 14-й и 12-й армий. В узенькие полоски телеграфных лент отстукивали «морзянки» шифрованные приказы: «Не дать привлечь внимание поляков к группировке Конной армии». Если и завязывались активные бои, то только там, где продвижение поляков грозило втянуть в бой дивизии буденновской конницы.

Шевелится рыжими лохмами костер. Бурыми кольцами, спиралью вверх уходит дым. Не любит дыма мошкара; носится она быстрым роем, стремительная, непоседливая. Поодаль, вокруг огня, веером растянулись бойцы. Костер красит медным цветом их лица.

У костра в голубоватом пепле пригрелись котелки.

В них пузырится вода. Выбрался из-под горящего бревна вороватый язычок пламени и лизнул краешком поверх чьей-то вихрастой головы. Голова отмахнулась, недовольно буркнув:

— Тьфу, черт!

Вокруг засмеялись.

Пожилой красноармеец в суконной гимнастерке, с подстриженными усами, только что просмотрев на огонь дуло винтовки, пробасил:

— Вот парень в науку ударился — и огня не чует.

— Ты нам, Корчагин, расскажи, чего ты там вычитал.

Молодой красноармеец, ощупывая клок опаленных волос, улыбался.

— Действительно,— книжка — что называется, товарищ Андрощук. Как добрался до нее, оторваться никак не могу.

Сосед Корчагина, курносый юноша, старательно трудясь над ремешком подсумка, перекусывая зубами суровую нитку, с любопытством спросил:

— А про кого там пишут? — И, заматывая на вколотую в шлем иголку обрывок нитки, добавил: — Очень интересуюсь, ежели про любовь.

Кругом загоготали. Матвейчук поднял свою стриженную ежиком голову и, ехидно щуря плутоватый глаз, обратился к юноше:

— Что ж любовь — вещь хорошая, Середа. Ты парень красивый, картинка! От тебя, куда ни придем, девки с каблуков сбиваются. Вот только маленький дехвект у тебя, нос — пятачком Да это исправить можно. На край носа десятифунтовку Новицкого[1] подвесить, за ночь оттянет книзу.

От хохота испуганно всхрапнули привязанные к пулеметным тачанкам лошади.

Середа лениво повернулся.

— Не в красоте дело, а в котелке,— выразительно стукнул он себя по лбу.— Вот язык у тебя крапивяной, а сам ты балда балдою, и уши у тебя холодные.

Готовых сцепиться товарищей рознял отделенный Татаринов.

— Ну-ну, ребятки, зачем кусаться? Пусть лучше Корчагин почитает, ежели что стоящее.

— Сыпь, Павлушка, сыпь! — раздалось со всех сторон.

Корчагин придвинул к огню седло, уселся на него и развернул на коленях небольшую толстую книжку.

— Эта книга, товарищи, называется «Овод». Достал я ее у военкома батальона. Очень действует на меня эта книжка. Если будете сидеть тихонько, буду читать.

— Жарь! Чего там! Никто мешать не будет.

Когда к костру незаметно подъехал с комиссаром командир полка товарищ Пузыревский, он увидел одиннадцать пар глаз, неподвижно уставленных на чтеца.

Пузыревский повернул голову к комиссару и указал рукой на группу.

— Вот половина разведки полка. У меня там четверо, совсем зеленые комсомольцы, а каждый хорошего бойца стоит. Вот тот, что читает, а вон тот, другой,— видишь? — глаза, как у волчонка,— это Корчагин и Жаркий. Они друзья. Однако между ними не затухает скрытая ревность. Раньше Корчагин был у меня разведчиком. Теперь у него очень опасный конкурент. Вот сейчас, смотри, ведут политработу незаметно, а влияние очень большое. Для них хорошее слово придумано — «молодая гвардия».

— Это политрук разведки читает? — спросил комиссар.

— Нет. Политрук Крамер.

---

[1] Ручная граната Новицкого весом около 4 килограммов, для разрыва проволочных заграждений.

Пузыревский двинул лошадь вперед.

— Здравствуйте, товарищи! — крикнул он громко.

Все обернулись. Легко спрыгнув с седла, командир подошел к сидящим.

— Греемся, друзья? — спросил он, широко улыбаясь, и его мужественное лицо со слегка монгольскими, узенькими глазами потеряло суровость.

Командира встретили приветливо, дружески, как хорошего товарища. Военком оставался на лошади, собираясь ехать дальше.

Пузыревский, откинув назад кобуру с маузером, присел у седла рядом с Корчагиным и предложил:

— Закурим, что ли? У меня табачок дельный завелся.

Закурив цигарку, он обратился к комиссару:

— Ты езжай, Доронин, я здесь останусь. Если в штабе нужен буду, дайте знать.

Когда Доронин уехал, Пузыревский, обращаясь к Корчагину, предложил:

— Читай дальше, я тоже послушаю.

Дочитав последние страницы, Павел положил книгу на колени и задумчиво смотрел на пламя.

Несколько минут никто не проронил ни слова. Все находились под впечатлением гибели Овода.

Пузыревский, дымя цигаркой, ожидал обмена мнений.

— Тяжелая история, — прервал молчание Середа. — Есть, значит, на свете такие люди. Так человек не выдержал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается.

Он говорил, заметно волнуясь. Книга произвела на него большое впечатление.

Андрюша Фомичев, сапожный подмастерье из Белой Церкви, с негодованием крикнул:

— Попался бы мне ксендз, что ему крестом в зубы залезал, я б его, проклятого, сразу прикончил!

Андрощук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убежденно произнес:

— Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается. Я одного парнишку знал. Порайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался сгоряча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги

ахнул. Сам на куски и кругом положил беляков кучу. А на него сверху посмотришь — никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата.

Помешал ложкой в котелке, вытянув губы, попробовал из ложки чай и продолжал:

— А смерть бывает и собачья. Мутная смерть, без почета. Когда у нас бой под Изяславлем шел, город такой старинный, еще при князьях строился. На реке Горынь. Есть там польский костел, как крепость, без приступу. Ну так вот, вскочили мы туда. Цепью пробираемся по закоулкам. Правый фланг у нас латыши держали. Выбегаем мы, значит, на шоссе, глядь, стоят около одного сада три лошади, к забору привязаны, под седлами.

Ну, мы, понятное дело, думаем: застукаем полячишек. Человек с десяток нас во дворик кинулись. Впереди с маузерищем прет командир роты ихней, латышской.

До дому дорвались, дверь открыта. Мы — туда. Думали — поляки, а получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал. Они раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем невеселое дело. Факт налицо: женщину притесняют. Жил там офицеришка польский. Ну, они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш, как это все увидел, да по-своему что-то крикнул. Схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хоть я по-ихнему и не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремневой породы. Приволокли они тех к конюшне каменной. Амба, думаю, шлепнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнище, морда кирпича просит, не дается, барахтается. Загинает до седьмого поколения. Из-за бабы, говорит, к стенке ставить! Другие тоже пощады просят.

Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредису и говорю: «Товарищ комроты, пущай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой закончился, а мы тут с этими рассчитываемся». Он до меня как обернется, так я и пожалел за свои слова. Глаза у него, как у тигра. Маузер мне в зубы. Семь лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьет без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберешь: «Кровью знамя крашено, а эти — позор всей армии. Бандит смертью платит».

Не выдержал я, бегом из двора на улицу, а сзади стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По-собачьи люди сгинули. Разъезд-то был из тех, что к нам пристали у Мелитополя. У Махно раньше действовали, народ сбродный.

Поставив котелок у ног, Андрощук стал развязывать сумку с хлебом.

— Замотается меж нас такая дрянь. Не досмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. А смотреть тяжело было. До сих пор не забуду,— закончил он, принимаясь за чай.

Только поздней ночью заснула конная разведка. Выводил носом трели уснувший Середа. Спал, положив голову на седло, Пузыревский, и записывал что-то в записную книжку политрук Крамер.

На другой день, возвращаясь с разведки, Павел, привязав лошадь к дереву, подозвал к себе Крамера, только что окончившего пить чай:

— Слушай, политрук, как ты посмотришь на такое дело: вот я собираюсь перемахнуть в Первую Конную. У них дела впереди горячие. Ведь не для гулянки их столько собралось. А нам здесь придется толкаться все на одном месте.

Крамер посмотрел на него с удивлением.

— Как это перемахнуть? Что тебе Красная Армия — кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела!

— Не все ли равно, где воевать? — перебил Павел Крамера.— Тут ли, там ли. Я же не дезертирую в тыл.

Крамер категорически запротестовал:

— А дисциплина, по-твоему, что? У тебя, Павел, все на месте, а вот насчет анархии, это имеется. Захотел — сделал. А партия и комсомол построены на железной дисциплине. Партия — выше всего. И каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен. Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит — точка.

Высокий, тонкий Крамер, с желтоватым лицом, закашлялся от волнения. Крепко засела свинцовая типографская пыль в легких, часто горел на щеках его нездоровый румянец.

Когда Крамер успокоился, Павел сказал негромко, но твердо:

— Все это правильно, но к буденновцам я перейду — это факт.

На другой день вечером Павла у костра уже не было.

В соседней деревушке, на бугорке, у школы, в широкий круг собрались конники. На задке тачанки, заломив фуражку на самый затылок, терзал гармонь здоровенный буденновец. И она у него рявкала, сбиваясь с такта, и в кругу сбивался с сумасшедшего гопака разудалый кавалерист в необъятных красных галифе.

На тачанку и соседние плетни влезли любопытные дивчата и сельские хлопцы посмотреть удалых танцоров из только что вступившей в их село кавалерийской бригады.

— Жми, Топтало! Дави землю. Эх, жарь, братишка! Гармонист, давай огня!

Но огромные пальцы гармониста, могущие согнуть подкову, туго подвигались по клавишам.

— Срубал Махно Кулябку Афанасия,— с сожалением сказал загорелый кавалерист,— гармонист первой статьи был. Правофланговым в эскадроне шел. Жаль парня. Хороший был боец, а гармонист лучший.

В кругу стоял Павел. Услышав последние слова, он протолкался к тачанке и положил руку на мехи. Гармонь смолкла.

— Что тебе? — скосил глаз гармонист.

Топтало остановился. Кругом раздались недовольные голоса:

— Чего там? Что застопорил?

Павел протянул к ремню руку:

— Дай, наверну маленько.

Буденновец недоверчиво посмотрел на незнакомого красноармейца, нерешительно снимая с плеча ремень.

Павел привычным жестом вскинул гармонь на колено. Веером вывернул волнистые мехи и рванул с переборами, с перехватами во весь гармоний дух:

Эх, яблочко,
Куда котишься?
В Губчека попадешь,
Не воротишься.

На лету подхватил знакомый мотив Топтало. И, взмахнув руками, словно птица, понесся по кругу, выкидывая невероятные кренделя, ухарски шлепая себя по голенищам, по коленям, по затылку, по лбу, оглушительно ладонью по подошве и, наконец, по раскрытому рту.

А гармонь подхлестывала, подгоняла в буйном, хмельном ритме, и Топтало завертелся, словно волчок по кругу, выкидывая ноги, задыхаясь:

— Их, ах, их, ах!

5 июня 1920 года после нескольких коротких ожесточенных схваток 1-я Конная армия Буденного прорвала польский фронт на стыке 3-й и 4-й польских армий, разгромив заграждавшую ей дорогу кавалерийскую бригаду генерала Савицкого, и двинулась в направлении Ружин.

Польское командование для ликвидации прорыва с лихорадочной поспешностью создало ударную группу. Пять бронированных гусеничных танков, только что снятых с платформы станции Погребище, спешили к месту схватки.

Но Конная армия обошла Зарудницы, из которых готовился удар, и очутилась в тылу польских армий.

По пятам 1-й Конной бросилась кавалерийская дивизия генерала Корницкого. Ей было приказано ударить в тыл 1-й Конной армии, которая, по мнению польского командования, должна была устремиться на важнейший стратегический пункт тыла поляков — Казатин. Но это не облегчило положения белополяков. Хотя на другой день они зашили дыру, пробитую на фронте, и за Конной армией сомкнулся фронт, но в тылу у них оказался могучий конный коллектив, который, уничтожив тыловые базы противника, должен был обрушиться на киевскую группу поляков. На пути своего продвижения конные дивизии уничтожали небольшие железнодорожные мосты и разрушали железные дороги, чтобы лишить поляков путей отступления.

Получив от пленных сведения о том, что в Житомире находится штаб армии,— на самом деле там был даже штаб фронта,— командарм Конной решил захватить важные железнодорожные узлы и административные центры — Житомир и Бердичев. 7 июня на рассвете на Житомир уже мчалась 4-я кавалерийская дивизия.

В одном из эскадронов на месте погибшего Кулябко правофланговым скакал Корчагин. Он был принят в эскадрон по коллективной просьбе бойцов, не пожелавших отпустить такого знаменитого гармониста.

Развернулись веером у Житомира, не осаживая горячих коней, заискрились на солнце серебряным блеском сабель.

Застонала земля, задышали кони, привстали в стременах бойцы.

Быстро-быстро бежала под ногами земля. И большой город с садами спешил навстречу дивизии. Проскочили первые сады, ворвались в центр, и страшное, жуткое, как смерть, «даешь!» потрясло воздух.

Ошеломленные поляки почти не оказывали сопротивления. Местный гарнизон был раздавлен.

Пригибаясь к шее лошади, летел Корчагин. Рядом на вороном тонконогом коне — Топтало.

На глазах у Павла срубил неумолимым ударом лихой буденновец не успевшего вскинуть к плечу винтовку легионера.

Со скрежетом ударяли о камень мостовой кованые копыта. И вдруг на перекрестке — пулемет, прямо посреди дороги, и, пригнувшись к нему, трое в голубых мундирах и четырехугольных конфедератках. Четвертый, с золотым жгутом змеей на воротнике, увидев скачущих, выбросил вперед руку с маузером.

Ни Топтало, ни Павел не могли сдержать коней и прямо в когти смерти рванули на пулемет. Офицер выстрелил в Корчагина. Мимо... Воробьем чирикнула пуля у щеки, и, отброшенный грудью лошади, поручик, стукнувшись головой о камни, упал навзничь.

В ту же секунду захохотал дико, лихорадочно спеша, пулемет. И упал Топтало вместе с вороным, ужаленный десятками шмелей.

Вздыбился конь Павла, испуганно храпя, рывком перенес седока через упавших прямо на людей у пулемета, и шашка, описав искровую дугу, впилась в голубой квадрат фуражки.

Снова сабля взметнулась в воздухе, готовая опуститься на другую голову. Но горячий конь отпрянул в сторону.

Словно бешеная горная река, вылился на перекресток эскадрон, и десятки сабель заполосовали в воздухе.

Длинные узкие коридоры тюрьмы огласились криками.

В камерах, до отказа наполненных людьми с измученными, изможденными лицами, волнение. В городе бой — разве можно поверить, что это свобода, что это неведомо откуда ворвавшиеся свои?

Выстрелы уже во дворе. По коридорам бегут люди. И вдруг родное, непередаваемо родное: «Товарищи, выходи!»

Павел подбежал к закрытой двери с маленьким окошком, к которому устремились десятки глаз. Яростно ударил по замку прикладом. Еще и еще!

— Подожди, я в него бомбой,— остановил Павла Миронов и вытащил из кармана гранату.

Взводный Цыгарченко вырвал гранату.

— Стой, психа! Что ты, очумел? Сейчас ключи принесут. Где нельзя взломать, ключами откроем.

По коридору уже вели сторожей, подталкивая их наганами. Коридор наполнялся оборванными, немытыми, охваченными безумной радостью людьми.

Распахнув широкую дверь, Павел вбежал в камеру.

— Товарищи, вы свободны! Мы — буденновцы, наша дивизия взяла город.

Какая-то женщина с влажными от слез глазами бросилась к Павлу и, обняв, словно родного, зарыдала.

Дороже всех трофеев, дороже победы было для бойцов дивизии освобождение пяти тысяч семидесяти одного большевика, загнанных белополяками в каменные коробки и ожидавших расстрела или виселицы, и двух тысяч политработников Красной Армии. Для семи тысяч революционеров беспросветная ночь стала сразу ярким солнцем горячего июньского дня.

Один из заключенных, с желтым, как лимонная корка, лицом, радостно кинулся к Павлу. Это был Самуил Лехер, наборщик типографии из Шепетовки.

Павел слушал рассказ Самуила. Лицо его покрылось серым налетом. Самуил рассказывал о кровавой трагедии в родном городке, и слова его падали на сердце, как капли расплавленного металла.

— Забрали нас ночью всех сразу, выдал негодяй провокатор. Очутились все мы в лапах военной жандармерии.

Били нас, Павел, страшно. Я мучился меньше других: после первых же ударов свалился замертво на пол, но другие покрепче были. Скрывать нам было нечего. Жандармерия знала все лучше нас. Знали каждый наш шаг.

Еще бы не знать, когда среди нас сидел предатель! Не рассказать мне про эти дни. Ты знаешь, Павел, многих: Валю Бруздак, Розу Грицман из уездного города, совсем девочка, семнадцати лет, хорошая дивчина, глаза у нее доверчивые такие были, потом Сашу Бупшафта, знаешь, наш же наборщик, веселый такой парнишка, он всегда на хозяина карикатуры рисовал. Ну так вот, он, потом двое гимназистов — Новосельский и Тужиц. Ну, ты этих знаешь. А другие все из уездного городка и местечка. Всего было арестовано двадцать девять человек, среди них шесть женщин. Всех их мучили зверски. Валю и Розу изнасиловали в первый же день. Издевались, гады, кто хотел. Полумертвыми приволокли их в камеры. После этого Роза стала заговариваться, а через несколько дней совсем лишилась рассудка.

В ее сумасшествие не верили, считали симулянткой и на каждом допросе били. Когда ее расстреливали, страшно было смотреть. Лицо было черно от побоев, глаза дикие, безумные — старуха.

Валя Бруздак до последней минуты держалась хорошо. Они умерли, как настоящие бойцы. Я не знаю, где брались у них силы, но разве можно рассказать, Павел, о смерти их? Нельзя рассказать. Смерть их ужаснее слов... Бруздак была замешана в самом опасном: это она держала связь с радиотелеграфистами из польского штаба, и ее посылали в уезд для связи, и у нее при обыске нашли две гранаты и браунинг. Гранаты ей передал этот же провокатор. Все было устроено так, чтобы обвинить в намерении взорвать штаб.

Эх, Павел, не могу я говорить о последних днях, но ты требуешь, я скажу. Полевой суд постановил: Валю и двух других — к повешению, остальных товарищей — к расстрелу.

Польских солдат, среди которых мы проводили работу, судили на два дня раньше нас.

Молодого капрала, радиотелеграфиста Снегурко, который до войны работал электромонтером в Лодзи, обвинили в измене родине и в коммунистической пропаганде

среди солдат и приговорили к расстрелу. Он не подал прошения о помиловании и был расстрелян через двадцать четыре часа после приговора.

Валю вызвали по его делу как свидетеля. Она рассказала нам, что Снегурко признал, что вел коммунистическую пропаганду, но резко отверг обвинение в измене родине. «Мое отечество,— сказал он,— это Польская советская социалистическая республика. Да, я член коммунистической партии Польши, солдатом меня сделали насильно. И я открывал глаза таким же, как я, солдатам, которых вы на фронт гнали. Можете меня за это повесить, но я своей отчизне не изменял и не изменю. Только наши отечества разные. Ваше — панское, а мое — рабоче-крестьянское. И в том моем отечестве, которое будет,— я в этом глубоко уверен,— никто меня изменником не назовет».

После приговора нас всех уже держали вместе. А перед казнью перегнали в тюрьму. За ночь приготовили виселицу напротив тюрьмы, у больницы; у самого леса, немного поодаль, у дороги, где обрыв, выбрали место для расстрела; там и общий ров вырыли для нас.

В городе приговор был вывешен, всем было известно, а расправу над нами поляки решили учинить при народе, днем, чтобы всякий видел и боялся. И с утра начали сгонять из города к виселице народ. Некоторые шли из любопытства,— хоть и страшно, но шли. Толпа у виселиц громадная. Куда глаз достанет, все людские головы. Тюрьма, знаешь, забором из бревен обнесена. Тут же, у тюрьмы, поставили виселицы, и нам слышен был гул голосов. На улице сзади пулеметы поставили, конную и пешую жандармерию со всего округа согнали. Целый батальон оцепил огороды и улицы. Для приговоренных к повешению яму особую вырыли тут же, у виселицы. Ожидали мы конца молча, изредка перекидываясь словами. Обо всем переговорили накануне, тогда же и попрощались. Только Роза шептала что-то невнятное в углу камеры, разговаривая сама с собой. Валя, истерзанная насилием и побоями, не могла ходить и больше лежала. А коммунистки из местечка, родные сестры, обнявшись, прощались и, не выдержав, зарыдали. Степанов, из уезда, молодой, сильный, как борец, парень, при аресте двоих жандармов ранил, отбиваясь, настойчиво требовал от сестер: «Не надо слез, товарищи! Плачьте здесь, чтобы не

плакать там. Нечего собак кровавых радовать. Все равно нам пощады не будет, все равно погибать приходится, так давайте умирать по-хорошему. Пусть никто из нас не ползает на коленях. Товарищи, помните, умирать надо хорошо».

И вот пришли за нами. Впереди Шварковский, начальник контрразведки,— садист, бешеная собака. Он если не насиловал, то жандармам давал насиловать, а сам любовался. От тюрьмы к виселице через дорогу коридор из жандармов устроили. И стояли эти «канарики», как их за желтые аксельбанты называли, с палашами наголо.

Выгнали нас прикладами во двор тюрьмы, по четверо построили и, открыв ворота, повели на улицу. Нас поставили перед виселицей, чтобы мы видели гибель товарищей, а потом наступил и наш черед. Виселица высокая, из толстых бревен сбитая. На ней три петли из толстой крученой веревки, подмостки с лесенкой упираются в откидывающийся столбик. Море людское чуть слышно шумит, колышется. Все глаза на нас устремлены. Узнаем своих.

На крыльце, поодаль, собралась польская шляхта с биноклями, офицеры среди них. Пришли посмотреть, как большевиков вешать будут.

Снег под ногами мягкий, лес от него седой, деревья словно ватой обсыпаны, снежинки кружатся, опускаются медленно, на лицах наших горячих тают, и подножка снегом запорошена. Все мы почти раздеты, но никто стужи не чувствует, а Степанов даже и не замечает, что стоит в одних носках.

У виселицы прокурор военный и высшие чины. Вывели из тюрьмы, наконец, Валю и тех двоих товарищей, что к повешению. Взялись они все трое под руку. Валя в середине, сил у нее идти не было, товарищи поддерживали, а она прямо идти старается, помня слова Степанова: «Умирать надо хорошо». Без пальто она была, в вязаной кофточке.

Шварковскому, видно, не понравилось, что под руку шли, толкнул идущих. Валя что-то сказала, и за это слово со всего размаха хлестнул ее по лицу нагайкой конный жандарм.

Страшно закричала в толпе какая-то женщина, забилась в крике безумном, рвалась сквозь цепь к идущим,

но ее схватили, уволокли куда-то. Наверно, мать Вали. Когда были недалеко от виселицы, запела Валя. Не слыхал никогда я такого голоса — с такой страстью может петь только идущий на смерть. Она запела «Варшавянку»; ее товарищи тоже подхватили. Хлестали нагайки конных; они били наших товарищей с тупым бешенством. Но те как будто не чувствовали ударов. Сбив с ног, их к виселице волокли, как мешки. Бегло прочитали приговор и стали вдевать в петли. Тогда запели мы:

Вставай, проклятьем заклейменный...

К нам кинулись со всех сторон; я только видел, как солдат прикладом выбил столбик из подножки, и все трое задергались в петлях...

Нам, десяти, уже у самой стенки прочитали приговор, в котором заменялась смертная казнь генеральской милостью — двадцатилетней каторгой. Остальных, шестнадцать, расстреляли.

Самуил рванул ворот рубахи, словно он его душил.

— Три дня повешенных не снимали. У виселицы день и ночь стоял патруль. Потом к нам в тюрьму привели новых арестованных. Они рассказывали: «На четвертый день оборвался товарищ Тобольдин, самый тяжелый, и тогда сняли остальных и зарыли тут же».

Но виселица стояла все время. И когда нас уводили сюда, мы ее видели. Так и стоит с петлями, ожидая новых жертв.

Самуил замолчал, устремив неподвижный взгляд куда-то вдаль. Павел не заметил, что рассказ окончен.

В его глазах отчетливо вырастали три человеческих тела, безмолвно покачивающихся, со страшными, запрокинутыми набок головами.

На улице резко играли сбор. Этот звук заставил очнуться Павла. Он тихо, чуть слышно сказал:

— Пойдем отсюда, Самуил!

По улице, оцепленные кавалерией, шли пленные польские солдаты. У ворот тюрьмы стоял комиссар полка, дописывал в полевую книжку приказ.

— Возьмите, товарищ Антипов,— передал он записку коренастому комэскадрона.— Нарядите разъезд и всех пленных направляйте на Новгород-Волынский. Раненых перевязать, положить в повозки и тоже по тому направ-

лению. Отвезите верст за двадцать от города — и пусть катятся. Нам некогда с ними возиться. Смотрите, чтобы никаких грубостей в отношении пленных не было.

Садясь в седло, Павел обернулся к Самуилу:

— Ты слыхал? Они наших вешают, а их провожай к своим без грубостей! Где взять силы?

Комполка повернул к нему голову, всмотрелся. Павел услыхал твердые, сухие слова, произнесенные комполка как бы про себя:

— За жестокое отношение к безоружным пленным будем расстреливать. Мы не белые!

И, отъезжая от ворот, Павел вспомнил последние слова приказа Реввоенсовета, прочитанные перед всем полком:

«Рабоче-крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, чтобы на знамени ее не было ни одного пятна».

— Ни одного пятна,— шепчут губы Павла.

В то время, когда 4-я кавалерийская дивизия взяла Житомир, в районе села Окунново форсировала реку Днепр 20-я бригада 7-й стрелковой дивизии, входящая в состав ударной группы товарища Голикова.

Группе, состоявшей из 25-й стрелковой дивизии и Башкирской кавалерийской бригады, было приказано, переправившись через Днепр, перерезать железную дорогу Киев — Коростень у станции Ирша. Этим маневром отрезался единственный путь отступления полякам из Киева. Здесь при переправе погиб член шепетовской комсомольской организации Миша Левчуков.

Когда бежали по шаткому понтону, оттуда, из-за горы, злобно шипя, пролетел над головами снаряд и рванул воду в клочья. И в тот же миг юркнул под лодку понтона Миша. Глотнула его вода, назад не отдала, только белобрысый, в фуражке с оторванным козырьком красноармеец Якименко удивленно вскрикнул:

— Чи ты не сгоришь? То це ж Мишка пид воду пишов, пропав хлопец, як корова злызнула! — Он было остановился, испуганно уставившись в темную воду, но сзади на него набежали, затолкали:

— Чего рот разинул, дурень? Пошел вперед!

Некогда было раздумывать о товарище. Бригада и так отстала от других, уже занявших правый берег.

И о гибели Миши Сережа узнал спустя четыре дня, когда бригада с боем захватила станцию Буча и, поворачиваясь фронтом к Киеву, выдерживала ожесточенные атаки поляков, пытавшихся прорваться па Коростень.

В цепи рядом с Сережей залег Якименко. Прекратив бешеную стрельбу, с трудом раскрыл затвор раскаленной винтовки и, пригибая голову к земле, повернулся к Сереже:

— Винтовка передышки требует, як огонь!

Сергей едва расслышал его за грохотом выстрелов. Когда немного утихло, Якименко как-то вскользь сообщил:

— А твой товарищ утопул в Днепре. Я и не досмотрел, як вин нырнув в воду,— закончил он свою речь и, потрогав рукой затвор, вынул из подсумка обойму и стал деловито заправлять ее в магазинную коробку.

11-я дивизия, направленная на захват Бердичева, встретила в городе ожесточенное сопротивление поляков.

На улицах завязался кровавый бой. Преграждая дорогу коннице, строчили пулеметы. Но город был взят, и остатки разбитых польских войск бежали. На вокзале захватили поездные составы. Но самым страшным ударом для поляков был взрыв миллиона орудийных снарядов — огневой базы польского фронта. В городе стекла сыпались мелким щебнем, и дома, как картонные, дрожали от взрывов.

Удар по Житомиру и Бердичеву был для поляков ударом с тыла, и они двумя потоками поспешно отхлынули от Киева, отчаянно пробивая себе дорогу из железного кольца.

Павел потерял ощущение отдельной личности. Все эти дни были напоены жаркими схватками. Он, Корчагин, растаял в массе, и, как каждый из бойцов, как бы забыл слово «я», осталось лишь «мы»: наш полк, наш эскадрон, наша бригада.

А события мчались с ураганной быстротой. Каждый день приносил новое.

Конная лавина буденновцев, не переставая, наносила удар за ударом, исковеркав и изломав весь польский тыл. Напоенные хмелем побед, со страстной яростью кидались кавалерийские дивизии в атаки на Новоград-Волынский — сердце польского тыла.

Откатываясь назад, как волна от крутого берега, отходили и снова бросались вперед со страшным: «Даешь!»

Ничто не помогло полякам: ни сети проволочных заграждений, ни отчаянное сопротивление гарнизона, засевшего в городе. Утром 27 июня, переправившись в конном строю через реку Случ, буденновцы ворвались в Новоград-Волынский, преследуя поляков по направлению к местечку Корец. В это же время 45-я дивизия перешла реку Случ у Нового Мирополя, а кавалерийская бригада Котовского бросилась на местечко Любар.

Радиостанция 1-й Конной принимала приказ командующего фронтом направить всю конницу на захват Ровно. Непреодолимое наступление красных дивизий гнало поляков разрозненными, деморализованными, ищущими спасения группами.

Однажды, посланный комбригом на станцию, где стоял бронепоезд, Павел встретился с тем, с кем встретиться никак не ожидал. Конь с разбегу взял насыпь. Павел натянул поводья у переднего вагона, закрашенного серым цветом. Грозный своей неприступностью, с черными жерлами орудий, запрятанных в башни, стоял бронепоезд. Возле него возилось несколько замасленных фигур, приподымая тяжелую стальную завесу у колес.

— Где можно найти командира бронепоезда? — спросил Павел красноармейца в кожанке, несущего ведро с водой.

— Вон там,— махнул тот рукой к паровозу.

Останавливаясь у паровоза, Корчагин спросил:

— Кто командир?

Затянутый в кожу с головы до ног человек с рябинкой на лице повернулся к нему.

— Я!

Павел вытащил из кармана пакет.

— Вот приказ комбрига. Распишитесь на конверте.

Командир, прилаживая на колено конверт, расписывался. У среднего паровозного колеса возилась с масленкой чья-то фигура. Павел видел лишь широкую спину, из кармана кожаных брюк торчала рукоятка нагана.

— Вот, получи расписку,— протянул Павлу конверт человек в кожаном.

Павел подбирал поводья, готовясь к отъезду. Человек у паровоза выпрямился во весь рост и обернулся. В ту же минуту Павел соскочил с лошади, словно его ветром сдуло.

— Артем, братишка!

Весь измазанный в мазуте машинист быстро поставил масленку и схватил в медвежьи объятия молодого красноармейца.

— Павка! Мерзавец! Ведь это же ты! — крикнул он, не веря своим глазам.

Командир бронепоезда с удивлением смотрел на эту сцену. Красноармейцы-артиллеристы рассмеялись:

— Видишь, братки встретились.

Девятнадцатого августа в районе Львова Павел потерял в бою фуражку. Он остановил лошадь, но впереди уже врезались эскадроны в польские цепи. Меж кустов лощинника летел Демидов. Промчался вниз к реке, на ходу крича:

— Начдива убили!

Павел вздрогнул. Погиб Летунов, героический его начдив, беззаветной смелости товарищ. Дикая ярость охватила Павла.

Полоснув тупым концом сабли измученного, с окровавленными удилами Гнедка, помчал в самую гущу схватки.

— Руби гадов! Руби их! Бей польскую шляхту! Летунова убили! — И яростно, не видя жертвы, рубанул фигуру в зеленом мундире. Охваченные безумной злобой за смерть начдива, эскадронцы изрубили взвод легионеров.

Вынеслись на поле, догоняя бегущих, но по ним уже била батарея; рвала воздух, брызгая смертью, шрапнель.

Перед глазами Павла вспыхнуло магнием зеленое пламя, громом ударило в уши, прижгло каленым железом голову. Страшно, непонятно закружилась земля и стала поворачиваться, перекидываясь набок.

Как соломинку, вышибло Павла из седла. Перелетая через голову Гнедка, тяжело ударился о землю.

И сразу наступила ночь...

У спрута глаз выпуклый, с кошачью голову, тускло-красный, середина зеленая, горит-переливается живым светом. Спрут копошится десятками щупальцев; они, словно клубок змей, извиваются, отвратительно шурша чешуей кожи. Спрут движется. Он видит его почти у самых глаз. Щупальцы поползли по телу, они холодны и жгутся, как крапива. Спрут вытягивает жало, и оно впивается, как пиявка, в голову и, судорожно сокращаясь, всасывает в себя его кровь. Он чувствует, как кровь переливается из его тела в разбухшее туловище спрута. А жало сосет, сосет, и там, где оно впилось в голову, невыносимая боль.

Где-то далеко-далеко слышны человеческие голоса:

— Какой у него сейчас пульс?

И еще тише отвечает другой голос, женский:

— Пульс у него сто тридцать восемь. Температура тридцать девять и пять. Все время бред.

Спрут исчез, но боль от жала осталась. Павел чувствует: чьи-то пальцы дотрагиваются до его руки выше кисти. Он старается открыть глаза, но веки до того тяжелы, что нет сил их разнять. Отчего так жарко? Мать, видно, натопила печь. Но опять где-то говорят люди:

— Пульс сейчас сто двадцать два.

Он пытается открыть веки. А внутри огонь. Душно.

Пить, как хочется пить! Он сейчас встанет, напьется. Но почему он не встает? Только хотел шевельнуться, но тело чужое, непослушное, не его тело. Мать сейчас принесет воды. Он ей скажет: «Я хочу воды». Что-то около него шевелится. Не спрут ли опять подбирается? Вот он, вот красный цвет его глаза...

Издали слышится тихий голос:

— Фрося, принесите воды!

«Чье это имя?» — силится вспомнить Павел, но от усилия погружается в темноту. Выплыл оттуда и снова вспомнил: «Хочу пить».

Слышит голоса:

— Он, кажется, приходит в себя.

И уже отчетливее, ближе нежный голос:

— Вы хотите пить, больной?

«Неужели я больной, или это не мне говорят? Да ведь я болею тифом, вот оно что». И в третий раз пытается

открыть веки. Наконец удается. В узкую щель открывшегося глаза первое, что ощутил,— это красный шар над головой, но его закрывает что-то темное; это темное нагибается к нему, и губы ощущают твердый край стакана и влагу, живительную влагу. Огонь внутри потухает.

Прошептал удовлетворенно:

— Вот теперь хорошо.

— Больной, вы меня видите?

Это спрашивает то темное, стоящее над ним, и, уже засыпая, все же успел ответить:

— Не вижу, а слышу...

— Кто бы мог сказать, что он выживет? А он, смотрите, выцарапался в жизнь. Удивительно крепкий организм. Вы, Нина Владимировна, можете гордиться. Вы его буквально выходили.

И голос женский, волнуясь:

— О, я очень рада!

После тринадцатидневного беспамятства к Корчагину возвратилось сознание.

Молодое тело не захотело умереть, и силы медленно приливали к нему. Это было второе рождение, все казалось новым, необычным. Только голова тяжестью непреодолимой лежала неподвижно в гипсовой коробке, и не было сил сдвинуть ее с места. Но вернулось ощущение тела, и уже сжимались и разжимались пальцы рук.

Нина Владимировна, младший врач клинического военного госпиталя, за маленьким столиком в своей квадратной комнате перелистывает толстую, в сиреневой обложке тетрадь. В ней мелким, с наклоном почерком были написаны короткие записи:

«26 августа 1920 года

Сегодня к нам из санитарного поезда привезли группу тяжело раненных. На койку в углу у окна положили красноармейца с разбитой головой. Ему лишь семнадцать лет. Мне передали пачку его документов, найденных в карманах, положенных в конверт вместе с врачебными записями. Его фамилия Корчагин, Павел Андреевич. Там были: затрепанный билетик № 967 Коммунистического союза молодежи Украины, изорванная красноармейская

книжка и выписка из приказа по полку. В ней говорилось, что красноармейцу Корчагину за боевое выполнение разведки объявляется благодарность. И записка, сделанная, видно, рукою хозяина:

«Прошу товарищей в случае моей смерти написать моим родным: город Шепетовка, депо, слесарю Артему Корчагину».

Раненый в беспамятстве с момента удара осколком, с 19 августа. Завтра его будет смотреть Анатолий Степанович.

27 августа

Сегодня осматривали рану Корчагина. Она очень глубока, пробита черепная коробка, от этого парализована вся правая сторона головы. В правом глазу кровоизлияние. Глаз вздулся.

Анатолий Степанович хотел глаз вынуть, чтобы избежать воспаления, но я уговорила его не делать этого, пока есть надежда на уменьшение опухоли. Он согласился.

Мною руководило исключительно эстетическое чувство. Если юноша выживет, зачем его уродовать, вынимая глаз?

Раненый все время бредит, мечется, около него приходится постоянно дежурить. Я отдаю ему много времени. Мне очень жаль его юность, и я хочу отвоевать ее у смерти, если мне удастся.

Вчера я пробыла несколько часов в палате после смены; он самый тяжелый. Вслушиваюсь в его бред. Иногда он бредит, словно рассказывает. Я узнаю многое из его жизни, но иногда он жутко ругается. Брань эта ужасна. Мне почему-то больно слышать от него такие страшные ругательства. Анатолий Степанович говорит, что он не выживет. Старик бурчит сердито: «Я не понимаю, как это можно почти детей принимать в армию? Это возмутительно».

30 августа

Корчагин все еще в сознание не пришел. Он лежит в особой палате, там лежат умирающие. Около него, почти не отходя, сидит санитарка Фрося. Она, оказывается,

знает его. Они когда-то давно работали вместе. С каким теплым вниманием она относится к этому больному! Теперь и я чувствую, что его положение безнадежно.

2 сентября

Одиннадцать часов вечера. Сегодня у меня замечательный день. Мой больной, Корчагин, пришел в себя, ожил. Перевал пройден. Последние два дня я не уходила домой.

Сейчас не могу передать своей радости, что спасен еще один. В нашей палате одной смертью меньше. В моей изнуряющей работе самое радостное — это выздоровление больных. Они привязываются ко мне, как дети.

Их дружба искренна и проста, и когда расстаемся, иногда даже плачу. Это немного смешно, но это правда.

10 сентября

Я написала сегодня первое письмо Корчагина к родным. Он пишет, что легко ранен, скоро выздоровеет и приедет; он потерял много крови, бледен, как вата, еще очень слаб.

14 сентября

Корчагин первый раз улыбнулся. Улыбка у него хорошая. Обычно он не по годам суров. Поправляется с поразительной быстротой. С Фросей они друзья. Я ее часто вижу у его постели. Она ему, видно, рассказала обо мне, конечно, перехвалила, и больной встречает мой приход чуть заметной улыбкой. Вчера он спросил:

— Что это у вас, доктор, на руке черные пятна?

Я смолчала, что это следы его пальцев, которыми он до боли сжимал мою руку во время бреда.

17 сентября

Рана на лбу Корчагина выглядит хорошо. Нас, врачей, поражает это поистине безграничное терпение, с которым раненый переносит перевязки.

Обычно в подобных случаях много стонов и капризов. Этот же молчит и, когда смазывают йодом развороченную рану, натягивается, как струна. Часто теряет сознание, но вообще за весь период ни одного стона.

Уже все знают: если Корчагин стонет, значит потерял сознание. Откуда у него это упорство? Не знаю.

21 сентября

Корчагина на коляске вывезли первый раз на большой балкон госпиталя. Каким глазом он смотрел в сад, с какой жадностью дышал свежим воздухом! В его окутанной марлей голове открыт лишь один глаз. Этот глаз, блестящий, подвижной, смотрел на мир, как будто первый раз его видел.

26 сентября

Сегодня меня вызвали вниз в приемную, там меня встретили две девушки. Одна из них очень красивая. Они просили свидания с Корчагиным. Их фамилии: Тоня Туманова и Татьяна Бурановская. Имя Тони мне известно. Его иногда в бреду повторял Корчагин. Я разрешила свидание.

8 октября

Корчагин первый раз самостоятельно гуляет по саду. Он неоднократно спрашивал у меня, когда может выписаться. Я ответила, что скоро. Обе подруги приходят к больному каждый приемный день. Я знаю, почему он не стонал и вообще не стонет. На мой вопрос он ответил:

— Читайте роман «Овод», тогда узнаете.

14 октября

Корчагин выписался. Мы с ним расстались очень тепло. Повязка с глаза снята, осталась лишь на лбу. Глаз ослеп, но снаружи вид нормальный. Мне было очень грустно расставаться с этим хорошим товарищем.

Так всегда: вылечиваются и уходят от нас, чтобы, возможно, больше не встретиться. Прощаясь, сказал:

— Лучше бы ослеп левый,— как же я стрелять теперь буду?

Он еще думает о фронте.»

Первое время после лазарета Павел жил у Бурановского, где остановилась Тоня.

Он сразу сделал попытку втянуть Тоню в общую работу. Пригласил ее на городское собрание комсомола.

Тоня согласилась, но, когда она вышла из комнаты, где одевалась, Павел закусил губу. Она была одета очень изящно, нарочито изысканно, и он не решался вести ее к своей братве.

Тогда же произошло первое столкновение. На его вопрос, зачем она так оделась, она обиделась:

— Я никогда не подлаживаюсь под общий тон; если тебе неудобно со мною идти, то я останусь.

Тогда же в клубе ему было тяжело видеть ее расфранченной среди выцветших гимнастерок и кофточек. Ребята приняли Тоню, как чужую. Она, чувствуя это, смотрела на всех презрительно и вызывающе.

Павла отозвал в сторону секретарь комсомола товарной пристани, плечистый парень в грубой брезентовой рубахе, грузчик Панкратов. Недружелюбно глянул на Павла; скосив глаза на Тоню, сказал:

— Это ты, что ль, привел эту кралю сюда?

— Да, я,— жестко ответил ему Корчагин.

— М-да...— протянул Панкратов.— Вид-то у нее для нас неподходящий, на буржуазию похоже. Как ее пропустили сюда?

У Павла застучало в висках.

— Это мой товарищ, и я ее привел сюда. Понимаешь? Она человек нам не враждебный, только вот у нее насчет нарядов — так это правда, но ведь не всегда по одежде ярлык надо припаивать. Я тоже понимаю, кого сюда привести можно, и нацеливаться, товарищ, нечего.

Он хотел сказать еще что-то грубое, но сдержался, понимая, что Панкратов высказывает общее мнение, и всё свое возмущение перенес на Тоню.

«Я же ей говорил! Какому черту нужен этот форс?»

Этот вечер был началом развала дружбы. С чувством горечи и удивления следил Павел, как ломается такая, казалось, крепкая дружба.

Прошло еще несколько дней, и каждая встреча, каждая беседа вносила все большее отчуждение и глухую неприязнь в их отношения. Дешевый индивидуализм Тони становился непереносимым Павлу.

Необходимость разрыва была ясна обоим.

Сегодня они пришли оба в застланный умершими бурыми листьями Купеческий сад, чтобы сказать друг другу последнее слово. Стояли у балюстрады над обрывом;

внизу серой массой воды поблескивал Днепр; против течения, из-за громадины моста полз буксирный пароход, устало шлепая по воде крыльями колес, таща за собой две пузатые баржи. Заходящее солнце красило золотыми мазками Труханов остров и ярким полымем стекла домиков.

Тоня смотрела на золотые лучи и проговорила с глубокой грустью:

— Неужели наша дружба угаснет, как угасает сейчас солнце?

Он смотрел на нее не отрываясь; крепко сдвинув брови, тихо ответил:

— Тоня, мы уже говорили об этом. Ты, конечно, знаешь, что я тебя любил и сейчас еще любовь моя может возвратиться, но для этого ты должна быть с нами. Я теперь не тот Павлуша, что был раньше. И я плохим буду мужем, если ты считаешь, что я должен принадлежать прежде тебе, а потом партии. А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и остальным близким.

Тоня с тоской глядела на синеву реки, и глаза ее наполнились слезами.

Павел смотрел на ее знакомый профиль, на густые каштановые волосы, и к сердцу прилила волна жалости к девушке, когда-то такой дорогой и близкой.

Он осторожно положил свою руку на ее плечо.

— Бросай все, что тебя вяжет. Идем к нам. Будем вместе добивать господ. У нас есть много девушек хороших, вместе с нами они несут всю тяжесть борьбы ожесточенной, вместе с нами переносят все лишения. Они, может, не такие образованные, как ты, но почему, почему ты не хочешь быть с нами? Ты говоришь, что тебя Чужанин силком взять хотел, но это же выродок, а не боец. Говоришь, встретили тебя недружелюбно, а зачем же ты оделась, словно на буржуйский бал? Гордость зашибла: не буду, мол, подлаживаться под грязные гимнастерки. У тебя нашлась смелость полюбить рабочего, а полюбить идею не можешь. Мне жаль с тобой расстаться, и о тебе вспоминать хотелось бы хорошо.

Он замолчал.

На другой день на улице Павел увидел приказ за подписью председателя губернской Чека Жухрая. Сердце у него дрогнуло. Насилу добился он до матроса — не

пускали. Такую «волынку» завел, что часовые арестовать собрались. Все же добился.

Встретились с Федором хорошо. Руку у Федора отбил снаряд. Тут же сговорились о работе.

— Будем с тобой контру здесь душить, пока на фронт у тебя сил нет. Завтра же и приходи,— сказал Жухрай.

Борьба с белополяками закончилась. Красные армии, бывшие почти у стен Варшавы, израсходовали все материальные и физические силы, оторванные от своих баз, не могли взять последнего рубежа, отошли обратно. Случилось «чудо на Висле», как поляки называют отход красных от Варшавы. Белопанская Польша осталась жить. Мечту о Польской советской социалистической республике пока не удалось осуществить.

Страна, залитая кровью, требовала передышки.

Павлу не пришлось увидеться со своими, так как городок Шепетовка опять был занят белополяками и стал временной границей фронта. Шли мирные переговоры. Дни и ночи Павел проводил в Чрезвычайной комиссии, выполняя разные поручения. Жил он в комнате Федора. Узнав о занятии городка поляками, Павел загрустил:

— Что же, Федор, значит, мать за границей останется, если перемирие на этом закончится?

Но Федор его успокаивал:

— Наверное, граница через Горынь по реке пойдет. Так что город за нами останется. Скоро узнаем.

С польского фронта на юг перебрасывались дивизии. Пользуясь передышкой, из Крыма выполз Врангель. И в то время, когда республика напрягала все силы на польском фронте, врангелевцы продвинулись с юга на север, вдоль Днепра, пробираясь к Екатеринославской губернии.

Для ликвидации этого последнего контрреволюционного гнезда, пользуясь окончанием войны с поляками, страна бросила на Крым свои армии.

Через Киев на юг проходили эшелоны, груженные людьми, повозками, кухнями, орудиями. В участковой транспортной Чека шла лихорадочная работа. Весь этот поток составов создавал «пробки», и тогда вокзалы забивались до отказа, и движение срывалось, так как не было

ни одного свободного пути. А аппараты выбрасывали полосочки лент с ультимативными телеграммами. В них приказывалось освободить путь для такой-то дивизии. Ползли бесконечные полосочки, крапленные черточками ленты, и в каждой из них было: «вне всякой очереди... в порядке боевого приказа... немедленно освободить путь...» И почти в каждой из них упоминалось, что за неисполнение виновные будут преданы суду революционного военного трибунала.

А ответственной за «пробки» была УТЧК.

Сюда врывались, размахивая наганом, командиры частей, требуя немедленного продвижения их эшелонов вперед согласно вот такой-то телеграмме командарма, за номером таким-то.

Никто из них не хотел слушать, что этого сделать невозможно. «Душа вон, а пропускай вперед!» И начиналась страшная ругань. В особо сложных случаях срочно вызывали Жухрая. И тогда готовые перестрелять друг друга, разгоряченные люди утихали.

Железная фигура Жухрая, холодно-спокойная, и голос тугой, не допускающий возражений, заставляли засовывать в кобуры вынутые наганы.

Выбирался Павел на перрон из комнаты с колючей болью в голове. Разрушающе действовала на нервы чекистская работа.

Однажды на поездной платформе, наполненной зарядными ящиками, Павел увидел Сережу. Брузжак свалился на него с платформы, чуть не сшиб на землю и крепко тискал в объятиях:

— Павка, чертяка! А я тебя сразу узнал.

Друзья не знали, о чем спрашивать друг друга, о чем рассказывать! Ведь так много было пережито за это время! Спрашивали и, не дожидая ответа, отвечали сами. И не заметили гудков. Лишь когда медленно поползли вагоны, разорвали объятия.

Что было делать? Встреча прервалась, поезд все прибавлял ход. И, чтобы не отстать, Сережа последний раз крикнул что-то другу, побежал по перрону, цепляясь за открытую дверь теплушки; его подхватило несколько рук, втянули внутрь. А Павел стоял и смотрел вслед и только теперь вспомнил, что Сережа не знает о гибели Вали. Сережа ведь не был в родном городе. А он, Павел, ему этого не сказал, ошеломленный встречей.

«Пусть едет спокойно, хорошо, что не знает»,— думал Павел. Он не знал, что видит друга в последний раз. Не знал и Сергей, стоя на крыше вагона, подставляя под осенний ветер грудь, что движется навстречу смерти.

— Сядь, Сережа,— уговаривал его Дорошенко, красноармеец с прогорелой на спине шинелью.

— Ничего, мы с ветром друзья. Пусть продувает,— отвечал, смеясь, Сережа.

И через неделю погиб в первом бою в осенней украинской степи.

Издалека примчалась слепая пуля.

Вздрогнул от удара. Шагнул навстречу жгучей боли, разорвавшей грудь, покачнулся, не закричал, обнял воздух, горячо прижал к груди и, наклонившись, будто готовился к прыжку, ударился оземь очугуневшим телом, и в степную безгрань устремились недвижно голубые глаза его.

Нервная обстановка работы в Чека сказалась на неокрепшем здоровье Павла. Участились контузионные боли, и, наконец, после двух бессонных ночей он потерял сознание.

Тогда он обратился к Жухраю:

— Как ты думаешь, Федор, будет ли правильно, если я перейду на другую работу? У меня большое желание идти в главные мастерские, по своей профессии, а то я чувствую, что у меня гайка здесь слаба. Мне в комиссии сказали, что я к военной службе не пригоден. Но тут хуже фронта. Вот эти два дня, когда ликвидировали банду Сутыря, меня совсем подрезали. Я должен отдохнуть от перестрелок. Ты, Федор, понимаешь, что из меня плохой чекист, если я на ногах едва держусь.

Жухрай озабоченно посмотрел на Павла:

— Да, выглядишь ты неважно. Надо было еще раньше тебя освободить, но это я виноват, за работой недосмотрел.

В результате этого разговора Павел очутился в губкомоле с бумажкой, в которой значилось, что он, Корчагин, посылается в распоряжение комитета.

Вертлявый мальчишка в озорно надвинутой на нос кепке, стрельнув глазами по бумажке, весело подмигнул Павлу:

— Из Чека? Приятное учреждение. Пожалуйста, мы тебе работенку в два счета смастерим. У нас на ребят голодуха. Куда тебя? В губпродком хочешь? Нет? Не надо. На пристаня в агитбазу пойдешь? Нет? Ну, напрасно. Хорошее местечко, ударный паек.

Павел перебил паренька:

— Я на железную дорогу, и в главные мастерские хочу.

Тот удивленно посмотрел на него:

— В главные мастерские? Гм... там у нас людей не требуется. В общем, иди к Устинович. Она тебя куда-нибудь пристроит.

После короткой беседы со смуглой дивчиной было решено: Павел идет секретарем комсомольского коллектива в мастерские без отрыва от производства.

А в это время у ворот Крыма, в узеньком горлышке полуострова, у старинных рубежей, отделявших когда-то крымских татар от запорожских куреней, стояла обновленная и страшная своими укреплениями белогвардейская твердыня — Перекоп.

За Перекопом, в Крыму, чувствуя себя в полной безопасности, захлебывался в винной гари загнанный сюда со всех концов страны обреченный на гибель старый мир.

И осенней, промозглой ночью десятки тысяч сынов трудового народа вошли в холодную воду пролива, чтобы в ночь пройти Сиваш и ударить в спину врага, зарывшегося в укреплениях. В числе тысяч шел и Жаркий Иван, бережно неся на голове свой пулемет.

И когда с рассветом вскипел в безумной лихорадке Перекоп, когда прямо в лоб через заграждения ринулись тысячи, в тылу у белых, на Литовском полуострове, взбирались на берег первые колонны перешедших Сиваш. И одним из первых, выползших на кремнистый берег, был Жаркий.

Загорелся невиданный по жестокости бой. Конница белых кидалась в диком, зверином порыве на людей, выползавших из воды. Пулемет Жаркого брызгал смертью, ни разу не останавливая свой бег. И ложились груды людей и лошадей под свинцовым дождем. С лихорадочной быстротой вставлял Жаркий все новые и новые диски.

Перекоп клокотал сотнями орудий. Казалось, сама земля провалилась в бездонную пропасть, и, бороздя с диким визгом небо, метались, неся смерть, тысячи снарядов, рассыпаясь на мельчайшие осколки. Земля, взрытая, израненная, вскидывалась вверх, черными глыбами застилая солнце.

Голова гадины была раздавлена, и в Крым хлынул красный поток, хлынули страшные в своем последнем ударе дивизии 1-й Конной. Охваченные судорожным страхом, белогвардейцы в панике осаждали уходящие от пристаней пароходы.

Республика прикрепляла к истрепанным гимнастеркам, там, где стучит сердце, золотые кружочки орденов Красного Знамени, и среди них была гимнастерка пулеметчика-комсомольца Жаркого Ивана.

Мир с поляками был заключен, и городок, как надеялся Жухрай, остался за Советской Украиной. Границей стала река в тридцати пяти километрах от городка. В декабре 1920 года, памятным утром, подъезжал Павел к знакомым местам.

Вышел на запорошенный снегом перрон, мельком взглянул на вывеску «Шепетовка 1-я», свернул сразу влево, в депо. Спросил Артема, но слесаря не было. Запахнув плотнее шинель, быстро пошел через лес в городок.

Мария Яковлевна обернулась на стук в дверь, приглашая войти. И когда в дверь просунулся человек, засыпанный снегом, узнала родное лицо сына, схватилась руками за сердце, не могла говорить от радости неизмеримой.

Прижалась всем худеньким телом к груди сына и, осыпая бесчисленными поцелуями его лицо, плакала счастливыми слезами.

А Павел, обнимая ее, смотрел на измученное тоской и ожиданием лицо матери с бороздками морщинок и ничего не говорил, ожидая, пока она успокоится.

Счастье опять заблестело в глазах измученной женщины, и мать все эти дни не могла наговориться, насмотреться на сына, увидеть которого она уже и не чаяла. Радость ее была безгранична, когда дня через три, ночью, в комнатушку ввалился и Артем с походной сумкой за плечами.

В маленькую квартирку Корчагиных возвращались ее обитатели. После тяжелых испытаний и невзгод сошлись братья, уцелев от гибели...

— Что же вы делать теперь будете? — спрашивала Мария Яковлевна сыновей.

— Опять за подшипники примемся, мамаша,— ответил Артем.

А Павел, пробыв две недели дома, уезжал обратно в Киев, где его ждала работа.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Полночь. Уж давно проволок свое разбитое туловище последний трамвай. Луна залила неживым светом подоконник. Голубоватым покрывалом лег луч ее на кровать, отдавая полутьме остальную часть комнаты. В углу на столе — кружок света из-под абажура настольной лампы. Рита наклонилась низко над объемистой тетрадью — своим дневником.

«24 мая» — начеркал острый кончик ее карандаша.

«Я опять пытаюсь записать свои впечатления. Опять пустое место. Полтора месяца прошло, и не записано ни слова. Приходится согласиться с этим обрывком.

Когда же находить время для дневника? Вот сейчас ночь, а я пишу. Убегает сон. Уезжает на работу в ЦК товарищ Сегал. Это известие всех нас огорчило. Прекрасная личность наш Лазарь Александрович. Только теперь понимаю, каким богатством была для всех дружба с ним. Конечно, с отъездом Сегала развалится кружок диамата. Вчера были до поздней ночи у него, проверяли достижения наших «подшефных». Пришел секретарь губкома Аким, противный завучетом Туфта. Не терплю этого всезнайку! Сегал сиял. Его ученик Корчагин блестяще срезал Туфту по истории партии. Да, эти два месяца не пропали даром. Не жалко сил, если они дают такие результаты. По слухам, Жухрай переходит на работу в Особый отдел военного округа. Почему это, не знаю.

Лазарь Александрович передал мне своего ученика.

— Довершайте начатое,— сказал он,— не останавливайтесь на полдороге. И вам, Рита, и ему есть чему друг у друга поучиться. Юноша еще не совсем ушел от стихийности. Живет чувствами, которые в нем бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону. Насколько я вас знаю, Рита, вы будете самым подходящим для него руководом. Желаю вам успеха. Не забывайте писать мне в Москву,— говорил мне Сегал на прощание.

Сегодня из ЦК прислали нового секретаря Соломенского райкома, Жаркого. Я его знаю по армии.

Завтра Дмитрий приведет Корчагина. Опишу Дубаву. Среднего роста. Сильный, мускулистый. В комсомоле он с восемнадцатого, в партии с двадцатого. Это один из трех исключенных из губкомола за принадлежность к «рабочей оппозиции». Учеба с ним была нелегкая. Каждый день он срывал план, засыпая меня вопросами, отвлекая от темы. Между Юреневой, моей второй ученицей, и Дубавой были частые размолвки. В первый же вечер, оглядев Ольгу с ног до головы, он заметил:

— У тебя неполное обмундирование, старуха. Нужны штаны с кожей, шпоры, буденновка и шашка, а то ни рыба ни мясо.

Ольга не осталась в долгу, и мне пришлось разнимать. Дубава, кажется, друг Корчагина. На сегодня довольно. Спать.»

Зной истомил землю. Накалило до ожога железные перила надвокзального моста. На мост подымались вялые, изнемогающие от жары люди. Это не были пассажиры. По мосту шли преимущественно из железнодорожного района в город.

С верхней ступени Павел увидел Риту. Она пришла к поезду раньше его и смотрела на сходящих вниз людей.

Шагах в трех сбоку от Устинович Корчагин остановился. Она не замечала его. Павел рассматривал ее с каким-то странным любопытством. Рита была в полосатой блузке, в синей недлинной юбке из простой ткани, куртка мягкого хрома была переброшена через плечо. Шапка непослушных волос окаймляла загорелое лицо. Она стояла, слегка запрокинув голову и щурясь от яркого

света. В первый раз Корчагин смотрел на своего друга и учителя такими глазами, и в первый раз ему пришла в голову мысль, что Рита не только член бюро губкома, а... И, поймав себя на таких «грешных» мыслях, раздосадованный, окликнул ее:

— Я уже целый час смотрю на тебя, а ты меня не видишь. Пора идти, поезд уже стоит.

Они подошли к служебному проходу на перрон.

Вчера губком назначил Риту своим представителем на одну из уездных конференций. В помощь ей дали Корчагина. Сегодня им необходимо сесть на поезд, что было далеко не легкой задачей. Вокзал в часы отхода редких поездов находился во власти всемогущей посадочной пятерки, без пропуска посадкома никто не имел права выйти на перрон. Все подступы и выходы занимал заградительный отряд комиссии. Поезд, до отказа набитый людьми, мог увезти лишь десятую долю стремившихся уехать. Никто не желал оставаться, ждать днями случайного поезда. Тысячи людей штурмовали проходы, пытаясь прорваться к недоступным зеленым вагонам. Вокзал в те дни переживал настоящую осаду, и дело иногда доходило до рукопашной.

Павел и Рита тщетно пытались пройти на перрон.

Зная все ходы и выходы, Павел провел свою спутницу через багажную. С трудом пробрались они к вагону № 4. У дверей вагона, сдерживая густую толпу, стоял распаренный жарой чекист, повторяя в сотый раз:

— Говорю вам, вагон переполнен, а на буфера и крышу, согласно приказу, никого не пустим.

На него напирали взбешенные люди, тыча в нос билетами посадкома, выданными на четвертый номер. Злобная ругань, крики, толкотня перед каждым вагоном. Павел видел, что сесть обычным порядком на этот поезд не удастся, но ехать было необходимо, иначе срывалась конференция. Отозвав Риту в сторону, посвятил ее в свой план действий: он проберется в вагон, откроет окно и втянет в него Риту. Иначе ничего не выйдет.

— Дай мне свою куртку, она лучше любого мандата.

Павел взял у нее кожанку, надел, переложил в карман куртки свой наган, нарочито выставив рукоять со шнуром наружу. Оставив сумку с припасами у ног Риты, пошел к вагону. Бесцеремонно растолкав пассажиров, взялся рукой за поручень.

— Эй, товарищ, куда?

Павел оглянулся на корепастого чекиста.

— Я из Особого отдела округа. Вот сейчас проверим, все ли у вас погружены с билетами посадкома,— сказал Павел тоном, не допускавшим сомнения в его полномочиях.

Чекист посмотрел на его карман, вытер рукавом пот со лба и сказал безразличным тоном:

— Что ж, проверяй, если влезешь.

Работая руками, плечами и кое-где кулаками, взбираясь на чужие плечи, подтягиваясь на руках, хватаясь за верхние полки, осыпаемый градом ругани, Павел все же пробрался в середину вагона.

— Куда тебя черт несет, будь ты трижды проклят! — кричала на него жирная тетка, когда он, спускаясь сверху, ступил ногой на ее колено. Тетка втиснулась своей семипудовой махиной на край нижней полки, держа между ног бидон для масла. Такие бидоны, ящики, мешки и корзины стояли на всех полках. В вагоне нельзя было продохнуть.

На ругань тетки Павел ответил вопросом:

— Ваш посадочный билет, гражданка?

— Чиво? — окрысилась та на незваного контролера.

С самой верхней полки свесилась чья-то «блатная» башка и загудела контрабасом:

— Васька, что это за фрукт явился сюда? Дай ему путевку на «евбазу».

Прямо над головой Корчагина появилось то, что, повидимому, было Васькой. Здоровенный парень с волосатой грудью уставился на Корчагина бычьими глазищами.

— Чего к женщине пристал? Какой тебе билет?

С боковой полки свешивались четыре пары ног. Хозяева этих ног сидели в обнимку, энергично щелкая семечки. Здесь, видно, ехала спетая компания матерых мешочников, видавших виды железнодорожных мародеров. Не было времени связываться с ними. Надо было посадить в вагон Риту.

— Чей это ящик? — спросил он пожилого железнодорожника, указывая на деревянную коробку у окна.

— Да вон той девахи,— показал тот на толстые ноги в коричневых чулках.

Надо было открыть окно. Ящик мешал. Положить его было некуда. Взяв ящик на руки, Павел подал его хозяйке, сидевшей на верхней полке.

— Подержите, гражданка, минутку, я открою окно.

— Ты что чужие вещи трогаешь! — заверещала плосконосая деваха, когда он на ее колени поставил ящик.

— Мотька, чтой-то за гражданин шум подымает? — обратилась она за помощью к своему соседу. Тот, не слезая с полки, толкнул Павла в спину ногой, одетой в сандалий.

— Эй ты, плешь водяная! Смывайся отсюда, пока я тебе компостер не поставил.

Павел молча снес пинок в спину. Закусив губу, открывал окно.

— Товарищ, отодвинься маленько,— попросил он железнодорожника.

Освобождая место, отодвинул чей-то бидон и встал вплотную к окну. Рита была у вагона и быстро подала ему сумку. Бросив сумку на колени тетки с бидоном, Павел нагнулся вниз и, захватив руки Риты, потянул ее к себе. Не успел красноармеец заградотряда заметить это нарушение правил и воспрепятствовать ему, как Рита была уже в вагоне. Неповоротливому красноармейцу ничего не оставалось, как выругаться и отойти от окна. Появление Риты в вагоне всей мешочной компанией было встречено таким галдежом, что Рита смутилась и затревожилась. Ей негде было встать, и она стояла на краешке нижней полки, держась за поручень верхней. Со всех сторон неслась ругань. Сверху контрабас изрыгнул:

— Вот гад, сам влез и девку за собой тащит!

А кто-то невидимый сверху пискнул:

— Мотька, засвети ему промеж глаз!

Деваха норовила деревянный ящик поставить на голову Корчагина. Кругом были чужие, похабные лица. Павел пожалел, что Рита здесь, но надо было как-то устраиваться.

— Гражданин, убери свои мешки с прохода, здесь товарищ станет,— обратился он к тому, кого звали Мотькой, но в ответ получил такую циничную фразу, от которой весь вскипел. Над правой бровью часто и больно закололо.— Подожди, подлец, ты мне еще ответишь за это,— едва сдерживаясь, сказал он хулигану, но тут же получил удар сверху ногой по голове.

— Васька, ставь ему еще фитиля! — улюлюкали со всех сторон.

Все, что долго сдерживал в себе Павел, прорвалось наружу, и, как всегда в такие моменты, стали стремительны и жестки движения.

— Что же вы, гадье спекулянтское, издеваться думаете? — Подымаясь на руках, как на пружинах, Павел выбрался на вторую полку и с силой ударил кулаком по наглой роже Мотьки. Ударил с такой силой, что спекулянт свалился в проход на чьи-то головы.

— Слезайте с полки, гады, а то перестреляю, как собак! — бешено кричал Корчагин, размахивая наганом перед носами четверки.

Дело оборачивалось совсем по-другому. Рита внимательно наблюдала за всем, готовая стрелять в каждого, кто попытался бы схватить Корчагина. Верхняя полка быстро была очищена. «Блатная» братва поспешно эвакуировалась в соседнее отделение вагона.

Усадив Риту на свободной полке, он шепнул ей:

— Ты сиди здесь, а я разделаюсь с этими.

Рита остановила его:

— Неужели ты еще будешь драться?

— Нет, я сейчас вернусь,— успокоил он.

Окно опять было открыто, и Павел через него выбрался на перрон. Несколько минут спустя он уже был у стола перед УТЧК Бурмейстером — старым своим начальником. Латыш, выслушав его, отдал распоряжение выгрузить весь вагон, проверить у всех документы.

— Я же говорил, поезда подаются к посадке уже с мешочниками,— ворчал Бурмейстер.

Отряд, состоявший из десятка чекистов, выпотрашивал вагон. Павел по старой привычке помогал проверять весь поезд. Уйдя из Чека, он не порвал связи со своими друзьями, а в бытность секретарем молодежного коллектива послал на работу в УТЧК немало лучших комсомольцев. Окончив проверку, Павел вернулся к Рите. Вагон наполнили новые пассажиры — командированные и красноармейцы.

На третьем ярусе в углу оставалось лишь место для Риты, все остальное было завалено тюками газет.

— Ничего, как-нибудь поместимся,— сказала Рита.

Поезд двинулся.

За окном проплыла тетка, восседавшая на ворохе мешков.

— Манька, где мой бидон? — донесся ее крик.

Сидя в узеньком пространстве, отгороженные тюками от соседей, Рита и Павел уписывали за обе щеки хлеб с яблоками, весело вспоминая недавний не совсем веселый эпизод.

Медленно полз поезд. Перегруженные, расхлябанные вагоны, скрипя и потрескивая сухими кузовами, вздрагивали на стыках. Вечер глянул в вагон густой синевой. За ним ночь затянула чернотой открытые окна. Темно в вагоне.

Рита, утомленная, задремала, положив голову на сумку. Павел сидел на краю полки, свесив ноги, и курил. Он тоже устал, но негде было прилечь. Из окна веяло свежестью ночи. От толчка Рита проснулась. Она заметила огонек папироски Павла. «Он так до утра просидеть может. Ясно, не хочет меня стеснять»,— подумала Рита.

— Товарищ Корчагин! Отбросьте буржуазные условности, ложитесь-ка вы отдыхать,— шутливо сказала она.

Павел лег рядом с ней и с наслаждением вытянул затекшие ноги.

— Завтра нам работы уйма. Спи, забияка.— Ее рука доверчиво обняла друга, и у самой щеки он почувствовал прикосновение ее волос.

Для него Рита была неприкосновенна. Это был его друг и товарищ по цели, его политрук, и все же она была женщиной. Он это впервые ощутил у моста, и вот почему его так волнует ее объятие. Павел чувствовал глубокое ровное дыхание, где-то совсем близко ее губы. От близости родилось непреодолимое желание найти эти губы. Напрягая волю, подавил это желание. Рита, как бы угадывая его чувства, в темноте улыбнулась. Она уже пережила и радость страсти и ужас потери. Двум большевикам отдала она свою любовь. И обоих забрали у нее белогвардейские пули. Один — мужественный великан, комбриг, другой — юноша с ясными глазами.

Скоро перестук колес убаюкал Павла. Лишь утром его разбудил рев паровоза.

Поздно стала возвращаться в свою комнату Рита. В редко открываемой тетради появилось еще несколько коротких записей:

«11 августа

Закончили губконференцию. Аким, Михайло и другие уехали в Харьков на всеукраинскую. На меня свалилась вся техника. Дубава и Павел получили мандаты в губком. С тех пор как Дмитрия послали секретарем Печерского райкомола, он не приходит больше вечерами на учебу. Завалили его работой. Павел еще пытается заниматься, но то у меня нет времени, то его ушлют куда-нибудь. В связи с обостренным положением на желдороге у них постоянная мобилизация. Жаркий был вчера у меня, недоволен, что мы забрали у него ребят, говорит, что они ему самому дозарезу нужны.

23 августа

Сегодня иду по коридору, смотрю — стоят у двери управления делами Панкратов, Корчагин и еще незнакомый. Подхожу. Слышу — Павел рассказывает:

— Да там такие типы сидят — пули не жалко. «Вы,— говорит,— не имеете права вмешиваться в наши распоряжения. Здесь хозяин Желлеском, а не какой-то комсомол». А морда, братишки, у него... Вот где позасели паразиты!..

И я услыхала отборную матерщину. Панкратов, заметив меня, толкнул Павла. Тот обернулся и, увидев меня, побледнел. Не смотря мне в глаза, сейчас же ушел. Я его теперь у себя долго не увижу. Он ведь знает, что я никому не прощаю ругань.

27 августа

Было закрытое бюро. Положение осложняется. Не могу пока полностью все записать — нельзя. Аким приехал из уезда хмурый. Вчера у Тетерева опять пустили под откос продмаршрут. Кажется, брошу записывать, все как-то клочками. Жду Корчагина. Видела его — создают с Жарким коммуну из пяти.»

Днем в мастерских Павла вызвали к телефону. Рита сообщила о свободном вечере и о незаконченной проработке темы: причины разгрома Парижской коммуны.

Вечером, подходя к подъезду дома на Кругло-Университетской, Павел посмотрел вверх. Окно Риты освещено.

Взбежал по лестнице, как всегда, стукнул кулаком в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел.

На кровати, на которую никто из ребят не имел права даже присесть, лежал мужчина в военном. Револьвер, походная сумка и фуражка со звездой лежали на столе. Рядом с ним, крепко обняв его, сидела Рита. Они о чем-то оживленно разговаривали... Рита повернула к Павлу свое радостное лицо.

Освобождаясь от объятий, военный встал.

— Знакомьтесь,— сказала Рита, здороваясь с Павлом,— это...

— Давид Устинович,— простецки сказал за нее военный, крепко сжимая руку Корчагина.

— Свалился, как снег на голову,— смеялась Рита.

Холодное было рукопожатие Корчагина. Метнулась кремневой искрой в глазах несказанная обида. Успел заметить на рукаве Давида четыре квадрата.

Рита хотела говорить — Корчагин перебил ее:

— Я забежал к тебе сказать, что сегодня работаю по разгрузке дров на пристанях. Чтобы не ждала... А у тебя кстати гость. Ну, я пошел, ребята внизу ждут.

Павел исчез за дверью так же внезапно, как и появился. Простучали по лестнице быстрые шаги. Глухо внизу стукнула дверь. Стихло.

— С ним что-то неладное,— неуверенно ответила Рита на недоумевающий взгляд Давида.

...Внизу, под мостом, глубоко вздохнул паровоз, выбросив из могучей груди рой золотых светлячков. Причудливый хоровод их устремился ввысь и погас в дыму.

Прислонясь к перилам, Павел смотрел на мерцание разноцветных огней сигнальных фонариков на стрелках. Зажмурил глаза.

«Все же непонятно, товарищ Корчагин, почему вам так больно оттого, что у Риты оказался муж? Разве когда-нибудь она говорила, что его нет? Ну, а если даже говорила, что из этого? Почему это вдруг так заело? А вы же считали, товарищ дорогой, что, кроме идейной дружбы, ничего нет... Как же это вы просмотрели? А? — иронически допрашивал себя Корчагин.— А что если это не муж? Давид Устинович может быть и брат и дядька... Тогда ты, чудило, зря на человека освирепел. Такая же ты, видно, сволочь, как любой мужик. Насчет брата это узнать можно. Допустим, это брат или дядя, так что же

ты ей скажешь об этом самом? Нет, ты не пойдешь к ней больше!»

Мысли оборвал рев гудка.

«Поздно, пора домой, хватит муру разводить».

На Соломенке (так назывался рабочий железнодорожный район) пятеро создали маленькую коммуну. Это были — Жаркий, Павел, веселый белокурый чех Клавичек, Окунев Николай — секретарь деповской комсы, Степа Артюхин — агент железнодорожной Чека, недавно еще котельщик среднего ремонта.

Достали комнату. Три дня после работы мазали, белили, мыли. Подняли такую возню с ведрами, что соседям померещился пожар. Смастерили койки, матрацы из мешков набили в парке кленовыми листьями, и на четвертый день, украшенная портретом Петровского и огромной картой, сияла комната еще не тронутой белизной.

Между двумя окнами полочка с горкой книг. Два ящика, обитых картоном,— это стулья. Ящик побольше — шкаф. Посреди комнаты здоровенный биллиард без сукна, доставленный сюда на плечах из коммунхоза. Днем это стол, ночью кровать Клавичека. Снесли сюда свое имущество. Хозяйственный Клавичек составил опись всего добра коммуны и хотел прибить ее на стенке, но после дружного протеста отказался от этого. Все стало в комнате общим. Жалованье, паек и случайные посылки — все делилось поровну. Личной собственностью оставалось лишь оружие. Коммунары единодушно решили: член коммуны, нарушивший закон об отмене собственности и обманувший доверие товарищей, исключается из коммуны. Окунев и Клавичек настояли на добавлении: и выселяется.

На открытие коммуны собрался весь актив районной комсы. В соседнем дворе был одолжен здоровенный самоварище, и на чай ухлопали весь запас сахарина, а покончив с самоваром, грянули хором:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный...

Таля с табачной фабрики дирижирует. Кумачевая повязка чуть сбита набок, глаза — как у озорного мальчишки. Близко в них всматриваться никому еще не удава-

лось. Смеется заразительно Таля Лагутина. Сквозь расцвет юности смотрит эта картонажница на мир с восемнадцатой ступеньки. Взлетает вверх ее рука, и запев, как сигнал фанфары:

Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом —
Над миром наше знамя реет.
Оно горит и ярко рдеет,
То наша кровь горит огнем...

Разошлись поздно, разбудив молчаливые улицы перекличкой голосов.

Жаркий протянул руку к телефону.

— Потише, ребята, ничего не слышно! — крикнул он голосистой комсе, набившейся в комнату отсекра.

Голоса сбавили на два тона.

— Я слушаю. А, это ты! Да, да, сейчас. Повестка? Все та же — доставка дров с пристаней. Что? Нет, никуда не послан. Здесь. Позвать? Ладно.

Жаркий поманил пальцем Корчагина.

— Тебя товарищ Устинович.— И передал ему трубку.

— Я думала, что тебя нет. У меня вечер не занят случайно. Приходи. Брат проездом заехал, мы с ним два года не виделись.

Брат!

Павел не слушал ее слов. Вспомнились и тот вечер, и то, о чем решил тогда же ночью на мосту. Да, надо пойти к ней сегодня и сжечь мостки. Любовь приносит много тревог и боли. Разве теперь время говорить о ней?

Голос в трубке:

— Ты что, не слышишь меня?

— Нет, нет, я слушаю. Хорошо. Да, после бюро.

Положил трубку.

Он прямо смотрел в ее глаза и, сжимая дубовый край стола, сказал:

— Я, наверное, не смогу дальше приходить к тебе.

Сказал и увидел, как вскинулись густые ресницы. Карандаш ее остановил свой бег по листу и неподвижно лег на развернутой тетради.

— Почему?

— Все труднее становится выкраивать часы. Сама знаешь, дни пошли у нас тяжеловатые. Жаль, но приходится отложить...

Прислушался к последним словам и почувствовал их нетвердость.

«Для чего вертишь мельницу? Не находишь, значит, мужества ударить по сердцу кулаком!»

И Павел настойчиво продолжал:

— Кроме этого, давно хотел тебе сказать, плохо я тебя понимаю. Вот когда с Сегалом занимался, у меня в голове все задерживалось, а с тобой у меня никак не выходит. От тебя каждый раз к Токареву ходил, чтобы разобраться. Коробка моя не варит. Тебе надо взять кого-нибудь помозговитей.

И отвернулся от ее внимательного взгляда. Затем упрямо договорил:

— И вот выходит, что нам с тобой нельзя время зря тратить.

Встал, осторожно отодвинул ногой стул и посмотрел сверху вниз на склоненную голову, на побледневшее в свете лампы лицо. Надел фуражку.

— Что же, прощай, товарищ Рита! Жаль, что я тебе столько дней голову морочил. Надо было сразу сказать. Это уж моя вина.

Рита механически подала ему руку и, ошеломленная его неожиданной холодностью, смогла лишь произнести:

— Я тебя не виню, Павел. Раз я не смогла подойти к тебе и быть понятной, то я заслужила сегодняшнее.

Тяжело переступали ноги. Без стука прикрыл дверь. У подъезда задержался — можно еще вернуться, рассказать... Для чего? Для того, чтобы получить в лицо удар презрительным словом и опять очутиться здесь, у подъезда? Нет!

В тупиках росли кладбища расхлябанных вагонов и холодных паровозов. Ветер вихрил мелкие опилки на пустых дровяных складах.

А вокруг города, по лесным тропам, по глубоким балкам хищной рысью ходила банда Орлика. Днями отсиживалась она в окрестных хуторах, в лесных богатых пасеках, а ночью выползала на пути, разрывала их когтистой

лапой и, совершив страшную работу, уползала в свое убежище.

И часто рушились под откос стальные кони. Разбивались в щепки коробки-вагоны, плющило в лепешку сонных людей, и мешалось с кровью и землей драгоценное зерно.

Налетала банда на тихие волостные местечки. Испуганно кудахча, разбегались с улицы куры. Хлопал шальной выстрел. Трещала, словно сухой хворост под ногами, недолгая перестрелка у белого домика волсовета. Бандиты метались по деревне на сытых конях и рубили схваченных людей. Рубили с присвистом, как колют дрова. Редко стреляли — берегли патроны.

Так же быстро исчезали, как и появлялись. Везде имела банда свои глаза, свои уши. Сверлили эти глаза белый волсоветский домик, подсматривали за ним из поповского двора и из добротной кулацкой хаты. И туда, в лесные заросли, тянулись невидимые нити. Туда текли патроны, куски свежей свинины, бутылки сизоватого «первача» и еще то, что передавалось тихо на ухо меньшим атаманам, а затем, через сложнейшую сеть,— самому Орлику.

Банда имела всего две-три сотни головорезов, но поймать банду не удавалось. Разбиваясь на несколько частей, банда оперировала в двух-трех уездах сразу. Нащупать все нельзя было. Бандит ночью — днем мирный крестьянин ковырялся у себя во дворе, подкладывая корм коню, и с ухмылкой посасывал свою люльку у ворот, провожая мутным взглядом кавалерийские разъезды.

Потеряв покой и сон, носился стремительно со своим полком по трем уездам Александр Пузыревский. Неутомимый в своем упорстве преследования, настигал он иногда бандитский хвост.

А через месяц оттянул свои шайки Орлик из двух уездов. Заметался в узком кольце.

Жизнь в городе плелась обыденным ходом. На пяти базарах копошились в гомоне людские скопища. Властвовали здесь два стремления: одно — содрать побольше, другое — дать поменьше. Тут орудовало во всю ширь своих сил и способностей разнокалиберное жулье. Как блохи, сновали сотни юрких людишек с глазами, в которых можно было прочесть все, кроме совести. Здесь, как в навозной куче, собиралась вся городская нечисть

в едином стремлении «облапошить» серенького новичка. Редкие поезда выбрасывали из своей утробы кучи навьюченных мешками людей. Весь этот люд направлялся к базарам.

Вечером пустели базары, и одичалыми казались торговые переулки, черные ряды рундуков и лавок.

Не всякий смельчак рискнет ночью углубиться в этот мертвый квартал, где за каждой будкой — немая угроза. И нередко ночью ударит, словно молотком по жести, револьверный выстрел, захлебнется кровью чья-то глотка. А пока сюда доберется горсть милиционеров с соседних постов (в одиночку не ходили), то, кроме скорченного трупа, уже никого не найти. Шпана нивесть где от «мокрого» места, а поднятый шум сдунул ветром всех ночных обитателей базарного квартала. Тут же напротив — кино «Орион». Улица и тротуар в электрическом свете. Толпятся люди.

А в зале трещал киноаппарат. На экране убивали друг друга неудачливые любовники, и диким воем отвечали зрители на обрыв картины. В центре и на окраинах жизнь, казалось, не выходила из проложенного русла, и даже там, где был мозг революционной власти — в губкоме,— все шло обычным чередом. Но это было лишь внешнее спокойствие.

В городе назревала буря.

О ее приближении знали многие из тех, кто входил в город со всех концов, плохо пряча строевую винтовку под мужицкой «свиткой». Знали и те, кто под видом мешочников приезжал на крышах поездов и держал путь не на базар, а нес мешки до записанных в своей памяти улиц и домов.

Если эти знали, то рабочие кварталы, даже большевики, не догадывались о приближении грозы.

Было в городе лишь пять большевиков, знавших все эти приготовления.

Остатки петлюровщины, загнанные Красной Армией в белую Польшу, в тесном сотрудничестве с иностранными миссиями в Варшаве готовились принять участие в предполагаемом восстании.

Из остатков петлюровских полков тайно формировалась рейдовая группа.

В Шепетовке центральный повстанческий комитет тоже имел свою организацию. В нее вошло сорок семь

человек, из коих большинство — активные контрреволюционеры в прошлом, доверчиво оставленные местной Чека на свободе.

Руководили организацией поп Василий, прапорщик Винник, петлюровский офицер Кузьменко. А поповны, брат и отец Винника и затершийся в деловоды исполкома Самотыня вели разведку.

В ночь восстания решено было забросать пограничный Особый отдел ручными гранатами, выпустить арестованных и, если удастся, захватить вокзал.

В большом городе — центре будущего восстания — в глубочайшей конспирации шло сосредоточение офицерских сил, а в пригородные леса стягивались бандитские шайки. Отсюда рассылались проверенные «зубры» в Румынию и к самому Петлюре.

Матрос в Особом отделе округа не засыпал ни на минуту уже шестую ночь. Он был одним из тех большевиков, которые знали все. Федор Жухрай переживал ощущение человека, выследившего хищника, уже готового к прыжку.

Нельзя крикнуть, поднять тревогу. Кровожадная тварь должна быть убита. Лишь тогда возможен спокойный труд, без оглядки на каждый куст. Зверя нельзя спугнуть. Тут, в этой смертельной борьбе, дает победу лишь выдержка бойца и твердость его руки.

Наступали сроки.

Где-то здесь, в городе, в лабиринте явок и конспирации, решили: завтра ночью.

Те пятеро большевиков, что знали, предупредили. Нет, сегодня ночью.

Вечером из депо тихо, без гудков, вышел бронепоезд, и так же тихо закрылись за ним деповские огромные ворота.

Прямые провода спешили передать шифрованные телеграммы, и везде, куда прилетали они, забывая про сон, сторожевые республики обезвреживали осиные гнезда.

Жаркого вызвал к телефону Аким.

— Ячейковые собрания обеспечены? Да? Хорошо. Сам сейчас приезжай с секретарем райкомпарта на совещание. Вопрос с дровами хуже, чем мы думали.

Приедешь — поговорим,— слушал Жаркий твердую скороговорку Акима.

— Ну, мы все скоро на дровах помешаемся,— проворчал он, кладя трубку.

Оба секретаря вышли из автомобиля, на котором их примчал Литке. Поднявшись на второй этаж, они сразу поняли, что дело не в дровах.

На столе управделами стоял «максим», около него возились пулеметчики из ЧОН. В коридорах — молчаливые часовые из горактива партии и комсомола. За широкой дверью кабинета секретаря губкома заканчивалось экстренное заседание бюро губкома партии.

Через форточку с улицы шли провода к двум полевым телефонам.

Приглушенный разговор. Жаркий нашел в комнате Акима, Риту и Михайлу. Рита, как когда-то в свою бытность политруком роты,— в красноармейском шлеме, в защитной юбке, поверх кожанки ремень к тяжелому маузеру.

— Как это все понимать надо? — с удивлением спросил ее Жаркий.

— Опытная тревога, Ваня. Сейчас поедем к вам в район. Сбор по тревоге в Пятой пехотной школе. Прямо с ячейковых собраний ребята двигаются туда. Главное — это проделать незаметно,— рассказывала Рита Жаркому.

Тихо в «кадетской» роще.

Высокие молчаливые дубы — столетние великаны. Спящий пруд в покрове лопухов и водяной крапивы, широкие запущенные аллеи. Среди рощи, за высокой белой стеной — этажи кадетского корпуса. Сейчас здесь Пятая пехотная школа краскомов. Глубокий вечер. Верхний этаж не освещен. Внешне здесь все спокойно. Всякий, проходя мимо, подумает, что за стеной спят. Но тогда зачем открыты чугунные ворота и что это похожее на две громадные лягушки у ворот? Но люди, шедшие сюда с разных концов железнодорожного района, знали, что в школе не могут спать, раз поднята ночная тревога. Сюда шли прямо с ячейковых собраний, после краткого извещения, шли, не разговаривая, в одиночку и парами, но не больше трех человек, в карманах которых обязательно лежала книжечка с заголовком «Коммунистическая партия большевиков» или «Коммунистический союз молодежи Украины». За чугунные ворота можно было войти, лишь показав такую книжечку.

В актовом зале уже много людей. Здесь светло. Окна завешены брезентовыми палатками. Собранные здесь большевики, подшучивая над условностями тревоги, спокойно раскуривали «козьи ножки». Никто никакой тревоги не ощущал. Просто так собирают, на всякий случай, чтобы чувствовалась дисциплина частей особого назначения. Но опытные фронтовики, входя во двор школы, чувствовали что-то не совсем похожее на условную тревогу. Очень уж тихо делалось все. Молча строились под полушепот команды взводы курсантов. На руках выносились пулеметы, и снаружи ни одного огонька во всех корпусах.

— Что-нибудь серьезное ожидается, Митяй? — тихо спросил Корчагин, подходя к Дубаве.

Митяй сидел на подоконнике рядом с незнакомой девушкой. Корчагин мельком видел ее третьего дня у Жаркого.

Дубава шутливо похлопал Павла по плечу.

— Что, душа ушла в пятки, говоришь? Ничего, мы вас научим воевать. Ты что, с ней незнаком? — кивнул он на девушку.— Зовут Анной, фамилии не знаю, а чин ее — заведующая агитационной базой.

Девушка, слушая шутливое представление Дубавы, рассматривала Корчагина. Поправила выбившийся из-под синеневой повязки виток волос.

С глазами Корчагина встретилась — несколько секунд длилось немое состязание. Глаза ее, иссиня-черные, вызывающе искрились. Пушистые ресницы. Павел отвел взгляд на Дубаву. Почувствовав, что краснеет, недовольно нахмурился.

— Кто же кого из вас агитирует? — силясь улыбнуться, спросил Павел.

В зале послышался шум. Командир роты, взобравшись на стул, крикнул:

— Коммунары первой роты, строиться в этом зале! Быстрее, быстрее, товарищи!

В зал входили Жухрай, предгубисполкома и Аким. Они только что приехали. Зал набит людьми, построенными в ряды.

Предгубисполкома стал на площадку учебного пулемета и, подняв руку, произнес:

— Товарищи, мы собрали вас сюда для серьезного и ответственного дела. Сейчас можно сказать то, чего

нельзя было сказать еще вчера, так как это было глубокой военной тайной. Завтра в ночь в городе, как и в других городах Украины, должно вспыхнуть контрреволюционное восстание. Город наполнен офицерьем. Вокруг города концентрируются бандитские шайки. Часть заговорщиков проникла в бронедивизион и работает там шоферами. Но Чрезвычайной комиссией заговор открыт, и мы сейчас ставим под ружье всю парторганизацию и комсомол. Совместно с испытанными частями из курсантов и отрядов Чека будут действовать первый и второй коммунистические батальоны. Курсанты уже выступили, теперь ваша очередь, товарищи. Пятнадцать минут на получение оружия и построение. Операцией будет руководить товарищ Жухрай. От него командиры получат точные указания. Я считаю излишним указывать коммунистическому батальону на серьезность настоящего момента. Завтрашний мятеж мы должны предотвратить сегодня.

Через четверть часа вооруженный батальон выстроился во дворе школы.

Жухрай обвел взглядом недвижные ряды батальона.

В трех шагах впереди строя двое в ремнях: комбат Меняйло — богатырь, уральский литейщик, и рядом — комиссар Аким. Налево — взводы первой роты. В двух шагах впереди — двое: комроты и политрук. За их спинами — молчаливые ряды коммунистического батальона. Триста штыков.

Федор подал знак.

— Пора выступать.

Шли триста по безлюдным улицам.

Город спал.

На Львовской, против Дикой улицы, батальон оборвал шаг. Здесь начинались его действия.

Бесшумно оцеплялись кварталы. Штаб разместился на ступеньках магазина.

Сверху по Львовской, из центра, осветив шоссе прожектором, скатился автомобиль. У штаба застопорил.

Литке на этот раз привез своего отца. Комендант соскочил на мостовую и бросил несколько отрывистых фраз сыну по-латышски. Машина рванула вперед и мигом исчезла за поворотом на Дмитриевскую. Гуго Литке —

весь в зрении. Руки слились с рулевым колесом — вправо-влево.

Ага, вот где понадобилась его, Литке, отчаянная езда! Никому в голову не придет припаять ему две ночи ареста за сумасшедшие виражи.

И Гуго летал по улицам, как метеор.

Жухрай, которого молодой Литке перебросил в мгновенье ока из одного конца города в другой, не мог не выразить своего одобрения:

— Если ты, Гуго, при такой езде сегодня никого не угробишь, завтра получишь золотые часы.

Гуго торжествовал.

— А я думаль — сутка десять ареста получаль за вираж...

Первые удары были направлены на штаб-квартиру заговорщиков. В Особый отдел были доставлены первые арестованные и забранные документы.

На Дикой улице, в переулке с таким же странным названием, в доме № 11, жил некто под фамилией Цюрберт. По данным Чека, он играл немалую роль в белом заговоре. У него хранились списки офицерских дружин, которые должны были оперировать в районе Подола.

Сам Литке приехал на Дикую для ареста Цюрберта. В квартире, выходящей окнами в сад, отделенный стеной от бывшего женского монастыря, Цюрберта не нашли. Он в этот день, по словам соседей, не возвращался. Произведен был обыск, вместе с ящиком ручных гранат нашли списки и адреса. Приказав устроить засаду, на минуту Литке задержался у стола, просматривая найденные материалы.

Часовым в саду стоял молодой курсант. Ему видно освещенное окно. Неприятно стоять здесь одному в углу. Жутковато. Ему приказано наблюдать за стеной. Но отсюда далеко до успокаивающего света окна. А тут еще чертов месяц так редко светит. В темноте кусты кажутся живыми. Курсант щупает штыком вокруг — пусто.

«Зачем меня поставили здесь? Все равно на стену никому не взобраться — высокая. Подойти, что ли, к окну, поглядеть?» — подумал курсант. Еще раз оглядев гребень стены, вышел из пахнущего плесенным грибом угла. Остановился на момент у окна. Литке быстро собирал

бумаги и готовился уйти из комнаты. В этот момент на гребне стены появилась тень. Человеку с гребня виден часовой у окна и тот, другой, в комнате. С кошачьей ловкостью тень перебралась на дерево, потом на землю. По-кошачьи подкралась к жертве, замахнулась — и рухнул курсант. По рукоять вогнано ему в шею лезвие морского кортика.

Выстрел в саду ударил током по людям, оцепившим квартал.

Гремя сапогами, к дому бежали шестеро.

Упав залитой кровью головой на стол, сидел в кресле мертвый Литке. Стекло окна разбито. Документов враг так и не выручил.

У монастырской стены заспешили выстрелы. Это убийца, спрыгнув на улицу, бросился бежать на Лукьяновские пустыри, отстреливаясь. Не ушел: догнала чья-то пуля.

Всю ночь шли повальные обыски. Сотни непрописанных в домовых книгах людей с подозрительными документами и оружием были отправлены в Чека. Там работала отборочная комиссия — сортировала.

В некоторых местах заговорщики оказали вооруженное сопротивление. На Жилянской улице при обыске в одном доме был убит наповал Лебедев Антоша.

Соломенский батальон потерял в эту ночь пятерых, а в Чека не стало Яна Литке, старого большевика, верного сторожевого республики.

Восстание предотвращено.

В эту же ночь в Шепетовке взяли попа Василия с дочерьми и всю остальную братию.

Улеглась тревога.

Но новый враг угрожал городу — паралич на стальных путях, а за ним голод и холод.

Хлеб и дрова решали все.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Федор в раздумьи вынул изо рта коротенькую трубку и осторожно пощупал пальцами бугорок пепла. Трубка потухла.

Седой дым от десятка папирос кружил облаком ниже матовых плафонов, над креслом предгубисполкома. Как

в легком тумане, видны лица сидящих за столом в углах кабинета.

Рядом с предгубисполкома грудью на стол навалился Токарев. Старик в сердцах щипал свою бородку, изредка косил на низкорослого лысого человека, высокий тенорок которого продолжал петлять многословными, пустыми, как выпитое яйцо, фразами.

Аким поймал косой взгляд слесаря, и вспомнилось детство: был у них в доме драчун-петух «Выбей глаз». Он точно так же посматривал перед наскоком.

Второй час продолжалось заседание губкома партии. Лысый человек был председателем железнодорожного лесного комитета.

Перебирая проворными пальцами кипу бумаг, лысый строчил:

— ...И вот эти-то объективные причины не дают возможности выполнить решение губкома и правления дороги. Повторяю, и через месяц мы не сможем дать больше четырехсот кубометров дров. Ну, а задание в сто восемьдесят тысяч кубометров — это...— лысый подбирал слово,— утопия! — Сказал и захлопнул маленький ротик обиженной складкой губ.

Молчание казалось долгим.

Федор постукивал ногтем о трубку, выбивая пепел. Токарев разбил молчание гортанным перехватом баса:

— Тут и жевать нечего. В Желлескоме дров не было, нет, и впредь не надейтесь... Так, что ли?

Лысый дернул плечом.

— Извиняюсь, товарищ, дрова мы заготовили, но отсутствие гужевого транспорта...— Человечек поперхнулся, вытер клетчатым платком полированную макушку и, долго не попадая рукой в карман, нервно засунул платок под портфель.

— Что же мы сделали для доставки дров? Ведь с момента ареста руководящих специалистов, замешанных в заговоре, прошло много дней,— сказал из угла Денекко.

Лысый повернулся к нему:

— Я дважды сообщал в правление дороги о невозможности без транспорта...

Токарев остановил его.

— Это мы уже слыхали,— язвительно хмыкнул слесарь, кольнув лысого враждебным взглядом.— Вы что же, нас за дураков считаете?

От этого вопроса у лысого по спине заходили мурашки.

— Я за действия контрреволюционеров не отвечаю,— уже тихо отвечал лысый.

— Но вы знали, что работу ведут вдали от дороги? — спросил Аким.

— Слышал, но я не мог указывать начальству на ненормальности в чужом участке.

— Сколько у вас служащих? — задал лысому вопрос председатель совпрофа.

— Около двухсот.

— По кубометру на дармоеда в год! — бешено сплюнул Токаров.

— Мы всему Желлескому даем ударный паек, отрываем у рабочих, а вы чем занимаетесь? Куда вы дели два вагона муки, данные вам для рабочих? — продолжал председатель совпрофа.

Лысого засыпали со всех сторон острыми вопросами, а он отделывался от них, как от назойливых кредиторов, требующих оплаты векселей.

Угрем ускользал от прямых ответов, но глаза бегали по сторонам. Нутром чуял приближение опасности. С трусливой первозностью желал лишь одного: поскорее уйти отсюда туда, где к сытому ужину ждет его не старая еще жена, коротая вечер за романом Поль де Кока.

Не переставая вслушиваться в ответы лысого, Федор писал на блокноте: «Я думаю, этого человека надо проверить поглубже: здесь не простое неумение работать. У меня уже кое-что есть о нем... Давай прекратим разговоры с ним, пусть убирается, и приступим к делу».

Предгубисполкома прочел переданную ему записку и кивнул Федору.

Жухрай поднялся и вышел в прихожую к телефону. Когда он возвратился, предгубисполкома читал конец резолюции:

«...снять руководство Желлескома за явный саботаж. Дело о разработке передать следственным органам».

Лысый ожидал худшего. Правда, снятие с работы за саботаж ставит под сомнение его благонадежность, но это пустяк, а дело о Боярке — ну, за это он спокоен, это не на его участке. «Фу, черт, мне показалось, что эти докопались до чего-нибудь...»

Собирая в портфель бумаги, уже почти успокоенный, сказал:

— Что ж, я беспартийный специалист, и вы вправе мне не доверять. Но моя совесть чиста. Если я не сделал, то, значит, не мог.

Ему никто не ответил. Лысый вышел, поспешно спустился по лестнице и с облегчением открыл дверь на улицу.

— Ваша фамилия, гражданин? — спросил его человек в шинели.

С обрывающимся сердцем лысый пропикал:

— Чер...винский...

В кабинете предгубисполкома, когда вышел чужой человек, над большим столом тесно сгрудились тринадцать.

— Вот видите...— надавил пальцем развернутую карту Жухрай.— Вот станция Боярка, в семи верстах — лесоразработки. Здесь сложено в штабеля двести десять тысяч кубометров дров. Восемь месяцев работала трудармия, затрачена уйма труда, а в результате — предательство, дорога и город без дров. Их надо подвозить за шесть верст к станции. Для этого нужно не менее пяти тысяч подвод в течение целого месяца, и то при условии, если будут делать по два конца в день. Ближайшая деревня — в пятнадцати верстах. К тому же в этих местах шатается Орлик со своей бандой... Понимаете, что это значит?.. Смотрите, на плане лесоразработка должна была начаться вот где, и идти к вокзалу, а эти негодяи повели ее в глубь леса. Расчет верный: не сможем подвезти заготовленных дров к путям. И действительно, нам и сотни подвод не добыть. Вот откуда они нас ударили!.. Это не меньше повстанкома.

Сжатый кулак Жухрая тяжело лег на вощеную бумагу.

Каждому из тринадцати ясно представлялся весь ужас надвигающегося, о чем Жухрай не сказал. Зима у дверей. Больницы, школы, учреждения и сотни тысяч людей во власти стужи, а на вокзалах — человеческий муравейник, и поезд один раз в неделю.

Каждый глубоко задумался.

Федор разжал кулак.

— Есть один выход, товарищи: построить в три месяца узкоколейку от станции до лесоразработок — семь

верст — с таким расчетом, чтобы уже через полтора месяца она была доведена до начала сруба. Я этим делом занят уже неделю. Для этого нужно,— голос Жухрая в пересохшем горле заскрипел,— триста пятьдесят рабочих и два инженера. Рельсы и семь паровозов есть в Пуще-Водице. Их там комса отыскала на складах. Оттуда до войны в город хотели узкоколейку проложить. Но в Боярке рабочим негде жить, одна развалина — школа лесная. Рабочих придется посылать партиями на две недели, больше не выдержат. Бросим туда комсомольцев, Аким?

И, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Комсомол кинет туда все, что только сможет: во-первых, соломенскую организацию и часть из города. Задача очень трудная, но если ребятам рассказать, что это спасет город и дорогу, они сделают.

Начальник дороги недоверчиво покачал головой.

— Навряд ли выйдет что из этого. На голом месте семь верст проложить при теперешней обстановке: осень, дожди, потом морозы,— устало сказал он.

Жухрай, не поворачивая к нему головы, отрезал:

— За разработкой надо было смотреть тебе получше, Андрей Васильевич. Подъездной путь мы построим. Не замерзать же, сложа руки.

Погружены последние ящики с инструментами. Поездная бригада разошлась по местам. Моросил хлипкий дождик. По блестящей от влаги тужурке Риты скатывались стеклянными крупинками дождевые капли.

Прощаясь с Токаревым, Рита крепко пожала ему руку и тихо сказала:

— Желаем удачи.

Старик тепло посмотрел на нее из-под седой бахромы бровей.

— Да, задали нам мороку, язви их в сердце! — буркнул он, отвечая вслух на свои мысли.— Вы тут посматривайте. Если у нас какой затор выйдет, так вы нажмите, где надо. Ведь без волокиты эта шушваль не может работать. Ну, пора седать, доченька.

Старик плотно запахнул пиджак. В последний момент Рита как бы невзначай спросила:

— Что, разве Корчагин не едет с вами? Его среди ребят не видно.

— Он с техноруком вчера на дрезине поехал приготовить кое-что к нашему приезду.

По перрону к ним торопливо шли Жаркий, Дубава, а с ними, в небрежно накинутом жакете, с потухшей папиросой между тонких пальцев, Анна Борхарт.

Всматриваясь в подходящих, Рита задала последний вопрос:

— Как ваша учеба с Корчагиным?

Токарев удивленно взглянул на нее.

— Какая учеба, ведь паренек под твоей опекой? Парень мне не раз говорил о тебе. Не нахвалится.

Рита недоверчиво прислушивалась к его словам.

— Так ли это, товарищ Токарев? От меня ведь он к тебе ходил переучиваться.

Старик рассмеялся:

— Ко мне?.. Я его и в глаза не видал.

Паровоз заревел. Клавичек из вагона кричал:

— Товарищ Устинович, отпускай нам папашу, нельзя же так! Что мы без него делать будем?

Чех еще что-то хотел сказать, но, заметив троих подошедших, замолчал. Мельком столкнулся с неспокойным блеском глаз Анны, с грустью уловил ее прощальную улыбку Дубаве и порывисто отошел от окна.

Хлестал в лицо осенний дождь. Низко ползли над землей темно-серые, набухшие влагой тучи. Поздняя осень оголила лесные полчища, хмуро стояли старики-грабы, пряча морщины коры под бурым мхом. Безжалостная осень сорвала их пышные одеянья, и стояли они голые и чахлые.

Одиноко среди леса ютилась маленькая станция. От каменной товарной платформы в лес уходила полоса разрыхленной земли. Муравьями облепили ее люди.

Противно чавкала под сапогами липкая глина. Люди яростно копались у насыпи. Глухо лязгали ломы, скребли камень лопаты.

А дождь сеял, как сквозь мелкое сито, и холодные капли проникали сквозь одежду. Дождь смывал труд людей. Густой кашицей сползала глина с насыпи.

Тяжела и холодна вымоченная до последней нитки одежда, но люди с работы уходили только поздно вечером.

И с каждым днем полоса вскопанной и взрыхленной земли уходила все дальше и дальше в лес.

Недалеко от станции угрюмо взгорбился каменный остов здания. Все, что можно было вывернуть с мясом, снять или взорвать, все давно уже загребла рука мародера. Вместо окон и дверей — дыры; вместо печных дверок — черные пробоины. Сквозь дыры ободранной крыши видны ребра стропил.

Нетронутым остался лишь бетонный пол в четырех просторных комнатах. На него к ночи ложилось четыреста человек в одежде, промокшей до последней нитки и облепленной грязью. Люди выжимали у дверей одежду, из нее текли грязные ручьи. Отборным матом крыли они распроклятый дождь и болото. Тесными рядами ложились на бетонный, слегка запорошенный соломой пол. Люди старались согреть друг друга. Одежда парилась, но не просыхала. А сквозь мешки на оконных рамах сочилась на пол вода. Дождь сыпал густой дробью по остаткам железа на крыше, а в щелястую дверь дул ветер.

Утром пили чай в ветхом бараке, где была кухня, и уходили к насыпи. В обед ели убийственную в своем однообразии постную чечевицу, полтора фунта черного, как антрацит, хлеба.

Это было все, что мог дать город.

Техрук — сухой высокий старик с двумя глубокими морщинами на щеках — Валериан Никодимович Патошкин и техник Вакуленко — коренастый, с мясистым носом на грубо скроенном лице — поместились в квартире начальника станции.

Токарев ночевал в комнатушке станционного чекиста Холявы, коротконогого, подвижного, как ртуть.

Строительный отряд с озлобленным упорством переносил лишения.

Насыпь с каждым днем углублялась в лес.

Отряд насчитывал уже девять дезертиров. Через несколько дней сбежало еще пять.

Первый удар стройка получила на второй неделе: с вечерним поездом не пришел из города хлеб.

Дубава разбудил Токарева и сообщил ему об этом.

Секретарь партколлектива, спустив на пол волосатые ноги, яростно скреб у себя под мышкой.

— Начинаются игрушки! — буркнул он себе под нос, быстро одеваясь.

В комнату вкатился шарообразный Холява.

— Сыпь к телефону и достучись до Особого отдела,— приказал ему Токарев.— А ты никому о хлебе ни звука,— предупредил он Дубаву.

После получасовой ругани с линейными телефонистами напористый Холява добился связи с замнач Особого отдела Жухраем. Слушая его перебранку, Токарев нетерпеливо переступал с ноги на ногу.

— Что? Хлеба не доставили? Я сейчас узнаю, кто это сделал,— угрожающе загудел в трубку Жухрай.

— Ты мне скажи, чем мы завтра людей кормить будем? — сердито кричал в трубку Токарев.

Жухрай, видимо, что-то обдумывал. После длинной паузы секретарь партколлектива услыхал:

— Хлеб доставим ночью. Я пошлю с машиной Литке, он дорогу знает. Под утро хлеб будет у вас.

Чуть свет к станции подошла забрызганная грязью машина, нагруженная мешками с хлебом. Из нее устало вылез бледный от бессонной ночи Литке-сын.

Борьба за стройку обострялась. Из правления дороги сообщили: нет шпал. В городе не находили средств для переброски рельсов и паровозиков на стройку, и сами паровозики, оказалось, требовали значительного ремонта. Первая партия заканчивала работу, а смены не было, задерживать же вымотавших все свои силы людей не было возможности. В старом бараке до поздней ночи при свете коптилки совещался актив.

Утром в город уехали Токарев, Дубава, Клавичек, захватив еще шестерых для ремонта паровозов и доставки рельсов. Клавичек, как пекарь по профессии, посылался контролером в отдел снабжения, а остальные — в Пущу-Водицу.

А дождь все лил.

Корчагин с трудом вытянул из липкой глины ногу и по острому холоду в ступне понял, что гнилая подошва сапога совсем отвалилась. С самого приезда сюда он страдал из-за худых сапог, всегда сырых и чавкающих грязью; сейчас же одна подошва отлетела совсем, и голая нога ступала в режуще-холодную глиняную кашу. Сапог выводил его из строя. Вытянув из грязи остаток подошвы, Павел с отчаянием глянул на него и нарушил данное себе слово

не ругаться. С остатком сапога пошел в барак. Сел около походной кухни, развернул всю в грязи портянку и поставил к печке окоченевшую от стужи ногу.

На кухонном столе резала свеклу Одарка, жена путевого сторожа, взятая поваром в помощники. Природа дала далеко не старой сторожихе всего вволю: по-мужски широкая в плечах, с богатырской грудью, с крутыми, могучими бедрами, она умело орудовала ножом, и на столе быстро росла гора нарезанных овощей.

Одарка кинула на Павла небрежный взгляд и недоброжелательно спросила:

— Ты что, к обеду мостишься? Рановато малость. От работы, паренек, видно, улепетываешь. Куда ты ноги-то суешь? Тут ведь кухня, а не баня,— брала она в оборот Корчагина.

Вошел пожилой повар.

— Сапог порвался вдребезги,— объяснил свое присутствие на кухне Павел.

Повар посмотрел на искалеченный сапог и кивнул головой на Одарку:

— У нее муж наполовину сапожник, он вам может посодействовать, а то без обуви погибель.

Слушая повара, Одарка пригляделась к Павлу и немного смутилась.

— А я вас за лодыря приняла,— призналась она.

Павел улыбнулся. Одарка глазом знатока осмотрела сапог.

— Латать его мой мужик не будет — не к чему, а чтобы ногу не покалечить, я принесу вам старую калошу, на горище у нас такая валяется. Где ж это видано, так мучиться! Не сегодня-завтра мороз ударит, пропадете,— уже сочувственно говорила Одарка и, положив нож, вышла.

Вскоре она вернулась с глубокой калошей и куском холста. Когда завернутая в холстину и согретая нога была умещена в теплую калошу, Павел с молчаливой благодарностью поглядел на сторожиху.

Токарев приехал из города раздраженный, собрал в комнату Холявы актив и передал ему невеселые новости.

— Всюду заторы. Куда ни кинешься, везде колеса крутят и все на одном месте. Мало мы, видно, белых гусей

повыловили, на наш век их хватит,— докладывал старик собравшимся.— Я, ребятки, скажу открыто: дело ни к черту. Второй смены еще не собрали, а сколько пришлют — неизвестно. Мороз на носу. До него хотя умри, а нужно пройти болото, а то потом землю зубами не угрызешь. Ну, так вот, ребятки, в городе возьмут в «штосс» всех, кто там путает, а нам здесь надо удвоить скорость. Пять раз сдохни, а ветку построить надо. Какие мы иначе большевики будем — одна слякоть,— говорил Токарев не обычным для него хриповатым баском, а напряженно-стальным голосом. Блестевшие из-под насупленных бровей глаза его говорили о решительности и упрямстве.

— Сегодня же проведем закрытое собрание, растолкуем своим, и все завтра на работу. Утром беспартийных отпускаем, а сами остаемся. Вот решение губкома,— передал он Панкратову сложенный вчетверо лист.

Через плечо грузчика Корчагин прочел: «Считать необходимым оставить на стройке всех членов комсомола, разрешив их смену не раньше первой подачи дров. За секретаря губкома Р. Устинович».

В тесном бараке не пройти. Сто двадцать человек заполнили его. Стояли у стен, забрались на столы и даже на кухню. Открывал собрание Панкратов. Токарев говорил недолго, но конец его речи подрезал всех:

— Завтра коммунисты и комсомольцы в город не уедут.

Рука старика подчеркнула в воздухе всю непреложность решения. Жест этот смахнул все надежды вернуться в город, к своим, выбраться из этой грязи. В первую минуту ничего нельзя было разобрать за выкриками. От движения тел беспокойно замигала подслеповатая коптилка. Темнота скрывала лица. Шум голосов нарастал. Одни говорили мечтательно о «домашнем уюте», другие возмущались, кричали об усталости. Многие молчали. И только один заявил о дезертирстве. Раздраженный голос его из угла выбрасывал вперемежку с бранью:

— К чертовой матери! Я здесь и дня не останусь! Людей на каторгу ссылают, так хоть за преступление. А нас за что? Держали нас две недели — хватит. Дураков больше нет. Пусть тот, кто постановлял, сам едет и строит. Кто хочет, пусть копается в этой грязи, а у меня одна жизнь. Я завтра уезжаю.

Окунев, за спиной которого стоял крикун, зажег спичку, желая увидеть дезертира. Спичка на миг выхватила из темноты перекошенное злобной гримасой лицо и раскрытый рот. Окунев узнал: сын бухгалтера из губпродкома.

— Что присматриваешься? Я не скрываюсь, не вор.

Спичка потухла. Панкратов поднялся во весь рост:

— Кто это там разбрехался? Кому это партийное задание — каторга? — глухо заговорил он, обводя тяжелым взглядом близстоящих.— Братва, нам в город никак нельзя, наше место здесь. Ежели мы отсюда дадим дёру, люди замерзать будут. Братва, чем скорее закончим, тем скорее вернемся, а тикать отсюда, как тут одна зануда хочет, нам не дозволяет идея наша и дисциплина.

Грузчик не любил больших речей, но и эту, короткую, перебил все тот же голос:

— А беспартийные уезжают?

— Да,— отрубил Панкратов.

К столу протиснулся парень в коротком городском пальто. Летучей мышью кувыркнулся над столом маленький билет, ударился в грудь Панкратова и, отскочив на стол, встал ребром.

— Вот билет, возьмите, пожалуйста, из-за этого кусочка картона не пожертвую здоровьем!

Конец фразы заглушили заметавшиеся по бараку голоса:

— Чем швыряешься!

— Ах ты, шкура продажная!

— В комсомол втерся, на теплое местечко целился!

— Гони его отсюда!

— Мы тебя погреем, вошь тифозная!

Тот, кто бросил билет, пригнув голову, пробирался к выходу. Его пропускали, сторонясь, как от зачумленного. Скрипнула закрывшаяся за ним дверь.

Панкратов сжал пальцами брошенный билет и сунул его в огонек коптилки. Картон загорелся, сворачиваясь в обугленную трубочку.

В лесу прозвучал выстрел. От ветхого барака в темноту леса нырнули конь и всадник. Из школы и барака выбегали люди. Кто-то случайно наткнулся на дощечку из фанеры, засунутую в щель двери. Чиркнули спичкой. Закрывая колеблющийся от ветра огонек полами одежды,

прочли: «Убирайтесь все со станции туда, откуда явились. Кто останется, тому пуля в лоб. Перебьем всех до одного, пощады никому не будет. Срок вам даю до завтрашней ночи». И подписано: «Атаман Чеснок».

Чеснок был из банды Орлика.

В комнате Риты на столе незакрытый дневник.

«2 декабря

Утром выпал первый снег. Крепкий мороз. На лестнице встретилась с Вячеславом Ольшинским. Шли вместе.

— Я всегда любуюсь первым снегом. Мороз-то какой! Одна прелесть, не правда ли? — сказал Ольшинский.

Я вспомнила о Боярке и ответила ему, что мороз и снег меня совершенно не радуют, наоборот, удручают. Рассказала, почему.

— Это субъективно. Если ваши мысли продолжить, то надо будет признать недопустимым смех и вообще проявление жизнерадостности во время, скажем, войны. Но в жизни этого не бывает. Трагедии там, где полоска фронта. Там ощущение жизни придавлено близостью смерти. Но даже и там смеются. А вдали от фронта жизнь все та же: смех, слезы, горе и радость, жажда зрелищ и наслаждений, волненье, любовь...

В словах Ольшинского трудно отличить иронию. Ольшинский — уполномоченный Наркоминдела. В партии с 1917 года. Одет по-европейски, всегда гладко выбрит, чуть надушен. Живет в нашем доме, в квартире Сегала. Вечерами заходит ко мне. С ним интересно говорить, знает Запад, долго жил в Париже, но я не думаю, чтобы мы стали хорошими друзьями. Причина тому: во мне он видит прежде всего женщину и уже только потом товарища по партии. Правда, он не маскирует своих стремлений и мыслей,— он достаточно мужественен, чтобы говорить правду, и его влечения не грубы. Он умеет их делать красивыми. Но он мне не нравится.

Грубоватая простота Жухрая мне несравненно ближе, чем европейский лоск Ольшинского.

Из Боярки получаем короткие сводки. Каждый день сотня сажен прокладки. Шпалы кладут прямо на мерзлую землю, в прорубленные для них гнезда. Там всего двести сорок человек. Половина второй смены разбежалась. Условия действительно тяжелые. Как-то они будут работать на морозе?.. Дубава уже неделю там. В Пуще-Водице из восьми паровозов собрали пять. К остальным нет частей.

На Дмитрия создано Управлением трамвая уголовное дело: он со своей бригадой силой задержал все трамвайные площадки, идущие из Пуще-Водицы в город. Высадив пассажиров, он нагрузил платформы рельсами для узкоколейки. Привезли девятнадцать площадок по городской линии к вокзалу. Трамвайщики помогали вовсю.

На вокзале группа соломенской комсомолии за ночь погрузила, а Дмитрий со своими повез рельсы в Боярку.

Аким отказался ставить на бюро вопрос о Дубаве. Нам Дмитрий рассказал о безобразной волоките и бюрократизме в Управлении трамвая. Там наотрез отказались дать больше двух площадок. Туфта прочел Дубаве нравоучение.

— Пора бросить партизанские выходки, теперь за это в тюрьме насидеться можно. Будто нельзя договориться и обойтись без вооруженного захвата?

Я еще не видела Дубаву таким свирепым.

— Почему же ты, бумагоед, не договорился? Сидит здесь, пиявка чернильная, и языком брешет. Мне без рельсов на Боярке морду набьют. А тебя, чтобы ты тут под ногами не путался, на стройку надо отослать, Токареву на пересушку! — гремел Дмитрий на весь губком.

Туфта написал на Дубаву заявление, но Аким, попросив меня выйти, говорил с ним минут десять. Туфта от Акима выскочил красный и злой.

3 декабря

В губкоме новое дело, уже из Трансчека. Панкратов, Окунев и еще несколько товарищей приехали на станцию Мотовиловку и сняли с пустых строений двери и оконные рамы. При погрузке всего этого в рабочий поезд их пытался арестовать станционный чекист. Они его обезоружили и, лишь когда тронулся поезд, вернули

ему револьвер, выпув из него патроны. Двери и окна увезли. Токарева же материальный отдел дороги обвиняет в самовольном изъятии из боярского склада двадцати пудов гвоздей. Он отдал их крестьянам за работу по вывозке с лесоразработки длинных полёньев, которые они кладут вместо шпал.

Я говорила с товарищем Жухраем об этих делах. Он смеется: «Все эти дела мы поломаем».

На стройке положение крайне напряженное, и дорог каждый день. По малейшему пустяку приходится нажимать. То и дело тянем в губком тормозильщиков. Ребята на стройке все чаще выходят за рамки формалистики.

Ольшинский принес мне маленькую электрическую печку. Мы с Олей Юреньевой греем над ней руки. Но в комнате от нее теплее не становится. Как-то там, в лесу, пройдет эта ночь? Ольга рассказывает: в больнице очень холодно, и больные не вылезают из-под одеял. Топят через два дня.

Нет, товарищ Ольшинский, трагедия на фронте оказывается трагедией в тылу!

4 декабря

Всю ночь валил снег. В Боярке, пишут, все засыпал. Работа стала. Очищают путь. Сегодня губком вынес решение: стройку первой очереди, до границы лесоразработки, закончить не позже 1 января 1922 года. Когда передали это в Боярку, Токарев, говорят, ответил: «Если не передохнем, то выполним».

О Корчагине ничего не слышно. Удивительно, что на него нет «дела» вроде панкратовского. Я до сих пор не знаю, почему он не хочет со мной встречаться.

5 декабря

Вчера банда обстреляла стройку.»

Кони осторожно ставят ноги в мягкий, податливый снег. Изредка заворошится под снегом прижатая к земле копытом ветка, затрещит — тогда всхрапывает конь. Метнется в сторону, но, получив обрезом по прижатым ушам, переходит в галоп, догоняя передних.

Около десятка конных перевалило через холмистый кряж, в который уперлась полоса черной, еще не устланной снегом земли.

Здесь всадники задержали коней. Звякнули, встретясь, стремена. Шумно встряхнулся всем телом вспотевший от далекого пробега жеребец переднего.

— Их до биса наихало сюды,— говорил передний.— Ось мы им холоду нагоним. Батько сказав, щоб цих саранчи тут завтра не було, бо вже видно, що к дровам сволочная мастеровщина доберется...

К станции подъезжали гуськом, по обочинам узкоколейки. Шагом подъехали к прогалине, что у старой школы; не выезжая на поляну, остались за деревьями.

Залп разметал тишину темной ночи. Белкой скользнул вниз снежный ком с ветки серебристой при лунном свете березы. А меж деревьев высекали искры куцые обрезы, ковыряли пули сыпучую штукатурку, жалобно дзинькало пробитое стекло привезенных Панкратовым окон.

Залп сорвал людей с бетонного пола, поставил их на ноги, но, когда залетали по комнатам жуткие сверчки, страх повалил людей обратно на пол.

Падали друг на друга.

— Ты куда? — схватил за шинель Павла Дубава.

— На двор.

— Ложись, идиот! Уложат на месте, только покажись,— порывисто шептал Дмитрий.

Они лежали в комнате рядом у самой двери. Дубава прижался к полу, вытянув по направлению к двери руку с револьвером. Корчагин сидел на корточках, нервно ощупывая пальцами патронные гнезда в барабане нагана. В них пять патронов. Нащупав пустоты, повернул барабан.

Стрельба прервалась. Наступившая тишина удивляла.

— Ребята, у кого есть оружие, собирайтесь сюда,— шепотом командовал лежащим Дубава.

Корчагин осторожно открыл дверь. На прогалине пусто. Медленно кружась, падали снежинки.

А в лесу десять всадников нахлестывали лошадей.

В обед из города примчалась автодрезина. Из нее вышли Жухрай и Аким. Их встречали Токарев и Холява. С дрезины сняли и поставили на перрон пулемет «максим», несколько коробок с пулеметными лентами и два десятка винтовок.

К месту работ шли торопливо. Полы шинели Федора чертили по снегу зигзаги. Шаг у него медвежий, вперевалку — все еще не отвык, ставит ноги циркулем, словно под ним еще была качающаяся палуба миноносца. Токареву то и дело приходилось бежать за своими спутниками: высокий Аким шел в ногу с Федором.

— Налет банды — это еще полбеды. Тут вот нам косогор поперек дороги лег. Нанесло на нашу голову, язви его! Много земли вынимать придется.

Старик остановился, повернулся спиной к ветру, закурил, держа ладони лодочкой, и, пыхнув дымком раз-другой, догнал ушедших вперед. Аким, поджидая его, остановился. Жухрай, не сбавляя шага, уходил дальше.

Аким спросил Токарева:

— Хватит ли у вас сил в срок построить подъездной путь?

Токарев ответил не сразу.

— Знаешь, сынок,— сказал он, наконец,— если говорить вообще, то построить нельзя, но не построить тоже нельзя. Вот отсюда и получается.

Они нагнали Федора и зашагали рядом. Слесарь заговорил возбужденно:

— Вот тут-то и начинается это самое «но». Ведь только нас двое тут — Патошкин и я — знают, что построить при таких собачьих условиях, при таком оборудовании и количестве рабочей силы невозможно. Но зато все до одного знают, что не построить — нельзя. И вот почему я смог сказать: «Если не передохнем, то будет сделано». Сами поглядите, второй месяц как здесь копаемся, четвертую смену дорабатываем, а основной состав — без передышки, только молодостью и держится. А ведь половина из них простужена. Посмотришь на этих ребят, так сердце кровью заливает. Цены им нет... Не одного из них загонит в гроб эта проклятая трущоба.

В километре от станции кончалась вполне готовая узкоколейка.

Дальше, километра на полтора, на выровненном полотне лежали врытые в землю длинные поленища, словно поваленный ветром частокол. Это шпалы. Еще дальше, до самого косогора, шла лишь ровная дорога.

Здесь работала первая строительная группа Панкратова. Сорок человек прокладывали шпалы. Рыжебородый крестьянин в новеньких лаптях не спеша стаскивал с розвальней поленья и бросал их на полотно дороги. Несколько таких же саней разгружалось поодаль. Две длинные железные штанги лежали на земле. Это была форма рельсов, под них равняли шпалы. Для трамбовки земли пускались в ход топоры, ломы, лопаты.

Кропотливое и медленное это дело — прокладка шпал. Прочно и устойчиво должны лежать па земле шпалы и так, чтобы рельс опирался одинаково па каждую из них.

Технику прокладки знал только один старик, без единой сединки в свои пятьдесят четыре года, со смолистой, раздвинутой надвое бородой — дорожный десятник Лагутин. Он добровольно работал четвертую смену, переносил с молодежью все невзгоды и заслужил в отряде всеобщее уважение. Этот беспартийный (отец Тали) всегда занимал почетное место на всех партийных совещаниях. Гордясь этим, старик дал слово не оставлять стройки.

— Ну, как же мне вас кидать, скажите на милость? Напутаете без меня с прокладкой, тут глаз нужен, практика. А уж я этих шпал по Расее натыкал за свою жизнь...— добродушно говорил он при каждой смене — и оставался.

Патошкин ему доверял и на его участок заглядывал редко. Когда трое подошли к работавшим, Панкратов, потный и раскрасневшийся, рубил топором гнездо для шпалы.

Аким еле узнал грузчика. Панкратов похудел, острее вырисовывались его широкие скулы, а плохо вымытое лицо как-то потемнело и осунулось.

— А, губерния приехала! — проговорил он и подал Акиму горячую влажную руку.

Стук лопат прекратился. Аким видел вокруг бледные лица. Снятые шинели и полушубки валялись тут же, прямо на снегу.

Поговорив с Лагутиным, Токарев захватил Панкратова и повел приезжих к выемке. Грузчик шел рядом с Федором.

— Расскажи мне, Панкратов, как это у вас там с чекистом вышло, в Мотовиловке? Как ты думаешь, перегнули вы немного с разоружением-то? — серьезно спросил Федор неразговорчивого грузчика.

Панкратов смущенно улыбнулся:

— Мы его по согласию разоружили, он нас сам просил. Ведь он наш парняга. Мы ему растолковали все, как есть, он и говорит: «Я, ребята, не имею права позволить вам увезти окна и двери. Есть приказ товарища Дзержинского пресекать расхищение дорожного имущества. Тут начальник станции со мной на ножах, ворует, мерзавец, а я мешаю. Отпущу вас — он на меня обязательно донесет по службе, и меня в Ревтрибунал. А вы вот меня разоружите и катитесь. И если начальник станции не донесет, то на этом и кончится». Мы так и сделали. Двери и окна ведь не себе же везли!

Заметив искорку смеха в глазах Жухрая, Панкратов добавил:

— Пусть же нам одним попадет, вы уж парня-то не жмите, товарищ Жухрай.

— Все это ликвидировано. В дальнейшем таких вещей нельзя — это разрушает дисциплину. У нас достаточно силы, чтобы разбивать бюрократизм организованным порядком. Ладно, поговорим о более важном.— И Федор начал расспрашивать о подробностях налета.

В четырех с половиной километрах от станции яростно вгрызались в землю лопаты. Люди резали косогор, ставший на их пути.

А по сторонам стояло семеро, вооруженных карабином Холявы и револьверами Корчагина, Панкратова, Дубавы и Хомутова. Это было все оружие отряда.

Патошкин сидел на скате, выписывая цифры в записную книжку. Инженер остался один. Вакуленко, предпочитая суд за дезертирство смерти от пули бандита, утром удрал в город.

— На выемку у нас уйдет полмесяца, земля мерзлая,— негромко сказал Патошкин стоящему перед ним Хомутову, всегда хмурому увальню, скуповатому на слова.

— Нам всего дают на дорогу двадцать пять дней, а вы на выемку пятнадцать кладете,— ответил ему Хомутов, сердито захватывая губой кончик уса.

— Этот срок не реален. Правда, я в своей жизни никогда не строил в такой обстановке и с таким соста-

вом людей, как этот. Я могу и ошибиться, что уже дважды со мной бывало.

В это время Жухрай, Аким и Панкратов подходили к выемке. На косогоре их заметили.

— Глянь, кто это? — толкнул Корчагина локтем раскосый парень в старом, порвавшемся на локтях свитере, Петька Трофимов, болторез из мастерских, указывая пальцем под косогор. В тот же миг Корчагин, не выпуская из рук лопаты, кинулся под гору. Глаза его под козырьком шлема тепло улыбнулись, и Федор дольше других жал его руку.

— Здорово, Павел. Поди, узнай его в такой разнокалиберной обмундировке.

Панкратов криво усмехнулся:

— Ничего себе комбинация из пяти пальцев, и все пять наружу. К тому же у него дезертиры шинель уперли. У них с Окуневым коммуна: тот Павлу свой пиджачишко отдал. Ничего, Павлуша парень теплый. Недельку на бетоне погреется, солома почти не помогает, а потом «сыграет в ящик»,— невесело говорил Акиму грузчик.

Чернобровый Окунев, слегка курносенький, щуря плутоватые глаза, возразил:

— Мы Павлушке пропасть не дадим. Голоснем — и на кухню его в повара, к Одарке в резерв. Там он, если не дурак будет, и подъест и погреется — хоть у печки, хоть у Одарки.

Дружный смех покрыл его слова.

В этот день смеялись первый раз.

Федор осмотрел косогор, съездил с Токаревым и Патошкиным в санях к лесоразработке и вернулся обратно. На косогоре рыли землю все с тем же упорством. Федор смотрел на мельканье лопат, на согнутые в напряженном усилии спины и тихо сказал Акиму:

— Митинг не нужен. Агитировать здесь некого. Правду ты, Токарев, сказал, что им цены нет. Вот где сталь закаляется.

Глаза Жухрая с восхищением и суровой любовной гордостью смотрели на землекопов. Ведь еще так недавно часть этих землекопов щетинилась сталью штыков в ночь накануне мятежа. А сейчас они охвачены единым стремлением довести стальные жилы рельсов до заветных дровяных богатств — источника тепла и жизни.

Патошкин вежливо, но убежденно доказывал Федору невозможность прорыть выемку раньше двух недель. Федор слушал его вычисления и про себя что-то решал.

— Снимите людей с косогора, развертывайте путь дальше, а холм мы возьмем иначе.

На станции Жухрай долго сидел у телефона. Холява сторожил у дверей. Он слышал за спиной глухой бас Федора:

— Позвони сейчас же от моего имени наштаокру, пусть немедленно перекинут полк Пузыревского в сектор стройки. Необходимо очистить район от банд. Вышлите из базы бронепоезд с подрывниками. Об остальном я распоряжусь сам. Возвращусь ночью. Вышлите на вокзал к двенадцати Литке с машиной.

В бараке после короткой речи Акима заговорил Жухрай. В товарищеской беседе незаметно прошел час. Федор говорил строителям о невозможности ломать срок окончания постройки, назначенный на первое января.

— Мы переводим стройку на военное положение. Коммунисты сводятся в роту ЧОН. Командиром роты назначается товарищ Дубава. Все шесть строительных групп получают твердые задания. Оставшиеся работы по прокладке делятся на шесть равных частей. Каждая группа получает свою часть. К первому января все работы должны быть закончены. Группа, которая окончит работу раньше, получает право на отдых и отъезд в город. Кроме этого, президиум губисполкома возбудит ходатайство перед ВУЦИК о награждении орденом Красного Знамени лучшего рабочего этой группы.

Начальниками стройгрупп были утверждены: первой — товарищ Панкратов, второй — товарищ Дубава, третьей — товарищ Хомутов, четвертой — товарищ Лагутин, пятой — товарищ Корчагин, шестой — товарищ Окунев.

— Начальником стройки,— заканчивал свою речь Жухрай,— ее идейным руководителем и организатором остается бессменно Антон Никифорович Токарев.

Словно стая птиц взлетела, заплескались руки, заулыбались суровые лица, и дружески-шутливая последняя фраза серьезного человека разрядила длительное внимание взрывом смеха.

Человек двадцать гурьбой провожали Акима и Федора до автодрезины.

Прощаясь с Корчагиным и глядя на его засыпанную снегом калошу, Федор сказал негромко:

— Сапоги пришлю. Ты ноги-то еще не отморозил?

— Что-то похоже на это,— припухать стали,— ответил Павел и, вспомнив давнишнюю свою просьбу, взял Федора за рукав: — Ты мне немного патронов для нагана дашь? У меня надежных только три.

Жухрай сокрушенно качал головой, но, увидя огорчение в глазах Павла, не раздумывая, отстегнул свой маузер.

— Вот тебе мой подарок.

Павел не сразу поверил, что ему дарят вещь, о которой он так давно мечтал, но Жухрай накинул на его плечо ремень.

— Бери, бери! Я же знаю, что у тебя на него давно глаза горят. Только ты осторожней с ним, своих не перестреляй. Вот тебе еще три полных обоймы к нему.

На Павла устремились явно завистливые взгляды. Кто-то крикнул:

— Павка, давай меняться на сапоги с полушубком в придачу.

Панкратов озорно толкнул Павла в спину:

— Меняй, черт, на валенки. Все равно в калоше не доживешь до рождества христова.

Поставив ногу на подножку дрезины, Жухрай писал разрешение на подаренный револьвер.

Ранним утром, глухо цокая на стрелках, к станции подошел бронепоезд. Пышным султаном вырывался белый, как лебяжий пух, освобожденный пар, тут же исчезая в морозном чистом воздухе. Из бронированных коробок выходили зашитые в кожу люди. Через несколько часов трое подрывников из бронепоезда глубоко зарыли в косогор две огромные вороненые тыквы, отвели от них длинные шнуры и дали сигнальные выстрелы. Тогда от страшного теперь косогора во все стороны побежали люди. От спички конец шнура вспыхнул фосфорическим огоньком.

У сотен людей на миг сжались сердца. Одна-две минуты томительного ожидания — и... вздрогнула земля, страшная сила разнесла вершины холма, швырнув в небо огромные глыбы земли. Второй взрыв сильнее первого,

Страшный грохот прокатился по лесной чаще, наполняя ее хаосом звуков от разорванного в клочья косогора.

Там, где только что был холм, зияла глубокая яма, и на десятки метров вокруг сахарную белизну снега засыпала взрыхленная земля.

В образовавшееся от взрыва углубление устремились люди с кирками и лопатами.

С отъездом Жухрая на стройке развернулось упорнейшее состязание — борьба за первенство.

Еще далеко до рассвета Корчагин тихо, никого не будя, поднялся и, едва передвигая одеревеневшие на холодном полу ноги, направился в кухню. Вскипятив в баке воду для чая, вернулся и разбудил всю свою группу.

Когда проснулся весь отряд, на дворе было уже светло.

В бараке во время утреннего чая к столу, где сидел Дубава со своими арсенальщиками, протиснулся Панкратов.

— Видал, Митяй, Павка свою братву чуть свет на ноги поднял. Поди, саженей десять уже проложили. Ребята говорят, что он своих из главмастерских так навинтил, что те решили двадцать пятого закончить свой участок. Щелкнуть хочет он нас всех по носу. Но это, я извиняюсь, мы еще посмотрим! — возмущенно говорил он Дубаве.

Митяй кисло улыбнулся. Он прекрасно понимал, почему поступок группы из главных мастерских задел за живое секретаря коллектива речного порта. Да и его, Дубаву, дружок Павлушка подхлестнул: не сказав ни слова, бросил вызов всему отряду.

— Дружба дружбой, а табачок врозь — тут «кто кого»,— сказал Панкратов.

Около полудня энергичная работа группы Корчагина была неожиданно прервана. Сторожевой, стоявший у составленных в козлы винтовок, заметил меж деревьев группу конных и дал тревожный выстрел.

— В ружье, братва! Банда! — крикнул Павел и, швырнув лопату, бросился к дереву, на котором висел его маузер.

Расхватав оружие, группа залегла прямо в снег у обочины дороги. Передние конные замахали шапками. Один из них крикнул:

— Стой, товарищи! Свои!

Полсотни конных в буденовках с алыми звездами подъезжали по дороге.

Оказалось, что стройку пришел проведать взвод полка Пузыревского. Павел обратил внимание на обрубленное ухо лошади командира. Красивая серая кобыла с белой лысиной на лбу не стояла на месте, «играла» под всадником. Она испуганно попятилась назад, когда Павел, бросившись к ней, схватил ее под уздцы.

— Лыска, баловница, вот где мы с тобой встретились! Уцелела от пули, красавица моя одноухая.

Он нежно обхватил тонкую шею лошади и гладил рукой ее вздрагивающие ноздри. Командир пристально всматривался в Павла и, узнав, удивленно ахнул:

— Да это же Корчагин!.. Коня узнал, а Середу недосмотрел. Здравствуй, братенек!

В городе «нажали на все рычаги». Это сразу сказалось на стройке. Жаркий опустошил райком, выслав остатки организации в Боярку. На Соломенке остались одни дивчата. В путейском техникуме Жаркий же добился посылки на стройку новой группы студентов.

Сообщая обо всем этом Акиму, он полушутя сказал:

— Остался я с одним женским пролетариатом. Посажу Лагутину вместо себя. На дверях напишем: «Женотдел», и покачу-ка я на Боярку. Неудобно мне, знаешь, одному мужику среди женщин крутиться. Поглядывают на меня девочки подозрительно. Наверно, меж собой говорят, сороки: «Всех разослал, а сам остался, гусь лапчатый», или еще пообиднее что-нибудь. Прошу тебя разрешить мне выехать.

Аким, смеясь, отказал.

В Боярку прибывал народ. Прибыло и шестьдесят студентов-путейцев.

Жухрай добился у управления дороги посылки в Боярку четырех классных вагонов для жилья вновь посланным рабочим.

Группа Дубавы была снята с работы и послана в Пущу-Водицу. Ей приказывалось доставить на стройку паровозики и шестьдесят пять узкоколейных платформ. Эта работа засчитывалась как задание на участке.

Перед отъездом Дубава посоветовал Токареву отозвать Клавичека на стройку и дать ему вновь организованную группу. Токарев отдал этот приказ, не подозревая истинной причины, побудившей арсенальца вспомнить о существовании чеха. А причиной была записка Анны, переданная приезжими соломенцами.

«Дмитрий! — писала Анна.— Мы с Клавичеком отобрали вам гору литературы. Шлем тебе и всем боярским штурмовикам свой горячий привет. Какие вы все молодчаги! Желаем вам сил и энергии. Вчера из складов выдали последние запасы дров. Клавичек просил передать вам привет. Чудный парень! Хлеб для вас он печет сам. В пекарне никому не доверяет. Сам просеивает муку, сам машиной месит тесто. Муку где-то добыл хорошую, и хлеб у него получается прекрасный, не в пример тому, что я получаю. Вечером у меня собираются наши: Лагутина, Артюхин, Клавичек и иногда Жаркий. Понемногу подвигаем учебу, но больше говорим обо всем и обо всех, а чаще всего о вас. Девушки возмущены отказом Токарева допустить их на стройку. Они уверяют, что вынесут лишения наравне со всеми. Таля говорит: «Оденусь во все отцовское и заявлюсь к папане, пусть попробует меня оттуда выпереть».

Пожалуй, она это сделает. Передай мой привет черноглазому. Анна».

Метель надвинулась сразу. Небо затянулось серыми, низко плывущими облаками. Густо пошел снег. Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, гоняясь за увертливым снежным вихрем, будоражил лес угрожающим присвистом.

Бушевал и разбойничал всю ночь буран. Промерзли до костей люди, хотя всю ночь топились печи. Не держала тепла станционная развалина.

Утром выступивший на работу отряд увязал в глубоком снегу, а над деревьями пламенело солнце, и на синеголубом небе ни единого облачка.

Группа Корчагина освобождала от снежных заносов свой участок. Только теперь Павел почувствовал, до чего мучительны страдания от холода. Старый пиджачок Окунева не грел его, а в калошу набивался снег. Он не раз терял ее в сугробах. Сапог на другой ноге грозил совсем

развалиться. От спанья на полу на шее его вздулись два огромные карбункула. Вместо шарфа Токарев дал ему свое полотенце.

Худой, с воспаленными глазами, Павел яростно взметывал широкой деревянной лопатой, сгребая снег.

На станцию в это время приполз пассажирский поезд. Его едва приволок сюда выдыхающийся паровоз: на тендере ни одного полена, в топке догорали остатки.

— Дадите дров — поедем, а нет — переведите поезд на запасный, пока есть чем двигать! — кричал машинист начальнику станции.

Поезд перевели на запасный путь. Удрученным пассажирам сообщили причину остановки. В битком набитых вагонах заохали и зачертыхались.

— Поговорите со стариком — вон идет по перрону. Это начстройки. Он может приказать подвезти к паровозу на санях дрова. Они их вместо шпал кладут,— посоветовал начальник станции кондукторам. Те пошли навстречу Токареву.

— Дров дам, но не даром. Ведь это наш строительный материал. У нас заносы. В поезде шестьсот — семьсот пассажиров. Дети и женщины могут остаться в поезде, а остальным лопаты в руки — и до вечера греби снег. За это получат дрова. Если откажутся — пусть сидят до нового года,— сказал Токарев кондукторам.

— Смотри, ребята, народу валит сколько! Гляди, и женщины! — удивленно заговорили за спиной Корчагина.

Павел обернулся.

— Вот тебе сто человек, дай им работу и присматривай, чтобы не сидели,— сказал, подходя, Токарев.

Корчагин раздавал работу вновь прибывшим. Какой-то высокий мужчина, в форменной железнодорожной шинели с меховым воротником, в теплой каракулевой шапке, возмущенно вертел в руках лопату и, обращаясь к стоящей рядом с ним молодой женщине в котиковой шапочке с пушистым бубенцом наверху, протестовал:

— Я грести снег не буду, меня никто не имеет права заставить. Если меня попросят, я, как инженер-путеец, смогу распорядиться работой, но ворочать снег ни ты, ни я не должны, это инструкцией не предусматривается.

Старик поступает противозаконно. Я его привлеку к ответственности. Кто здесь десятник? — спросил он ближайшего к нему рабочего.

Подошел Корчагин.

— Почему вы не работаете, гражданин?

Мужчина окинул Павла с ног до головы презрительным взглядом.

— А вы что из себя представляете?

— Я рабочий.

— Тогда мне не о чем с вами говорить. Пришлите ко мне десятника или кто тут у вас...

Корчагин исподлобья посмотрел на него.

— Не хотите работать — не надо. Без нашей отметки на проездном билете на поезд не сядете. Таков приказ начстройки.

— А вы, гражданка, тоже отказываетесь? — повернулся Павел к женщине — и на миг остолбенел: перед ним стояла Тоня Туманова.

Она с трудом узнала в оборванце Корчагина. В рваной, истрепанной одежде и фантастической обуви, с грязным полотенцем на шее, с давно не мытым лицом стоял перед ней Павел. Только одни глаза с таким же, как прежде, незатухающим огнем. Его глаза. И вот этот оборванец, похожий на бродягу, был еще так недавно ею любим. Как все переменилось!

Она со своим мужем после недавней свадьбы едет в большой город, где он работает в правлении дороги на ответственном посту. И вот где ей пришлось встретиться со своим юношеским увлечением. Ей даже неудобно было подать ему руку. Что подумает Василий? Как неприятно, что Корчагин так опустился. Видно, дальше рытья земли кочегар в жизни не продвинулся.

Она в нерешительности стояла, заливаясь краской смущения. Путейца взбесило наглое, как ему казалось, поведение оборванца, не отрывавшего глаз от его жены. Он швырнул на землю лопату и подошел к Тоне.

— Идем, Тоня, я не могу спокойно смотреть на этого лаццарони.

Корчагин знал из романа «Джузеппе Гарибальди», кто такой лаццарони.

— Если я лаццарони, то ты просто недорезанный буржуй,— глухо ответил он путейцу и, переведя взгляд на Тоню, сухо отчеканил: — Берите лопату, товарищ

Туманова, и становитесь в ряд. Не берите пример с этого откормленного буйвола. Прошу прощения, не знаю, кем он вам приходится.

Павел нелюбезно улыбнулся, глядя на боты Тони, и добавил вскользь:

— Оставаться не советую. На днях банда наведывалась.

Повернулся и пошел к своим, хлопая калошей.

Последние слова возымели действие и на путейца.

Тоня уговорила его остаться работать.

Вечером, окончив работу, возвращались к станции. Муж Тони пошел вперед, спеша занять места в поезде. Тоня остановилась, пропуская рабочих. Сзади всех шел, опираясь на лопату, утомленный Корчагин.

— Здравствуй, Павлуша. Я, признаюсь, не ожидала увидеть тебя таким. Неужели ты у власти ничего не заслужил лучшего, чем рыться в земле? Я думала, что ты давно уже комиссар или что-нибудь в этом роде. Как это неудачно у тебя жизнь сложилась...— заговорила Тоня, идя рядом с ним.

Павел остановился, окинул Тоню удивленным взглядом.

— Я тоже не ожидал встретить тебя такой... замаринованной,— нашел, наконец, Павел подходящее слово помягче.

Кончики ушей Тони загорелись.

— Ты все так же грубишь!

Корчагин вскинул лопату на плечо и зашагал. Лишь пройдя несколько шагов, ответил:

— Моя грубость куда легче вашей, товарищ Туманова, с позволения сказать, вежливости. О моей жизни беспокоиться нечего, тут все в порядке. А вот у вас жизнь сложилась хуже, чем я ожидал. Года два назад ты была лучше: не стыдилась руки рабочему подать. А сейчас от тебя нафталином запахло. И скажу по совести, мне с тобой говорить не о чем.

Павел получил письмо от Артема. Брат писал о скорой своей свадьбе и просил Павку приехать во что бы то ни стало. Ветер вырвал из рук Корчагина белый лист, и тот голубем взметнул вверх. Не бывать ему на свадьбе. Мыслим ли отъезд? Уже вчера медведь Панкратов обогнал его группу и двинулся вперед таким ходом, что все только удивились. Грузчик шел напролом к первенству и, поте-

ряв свое обычное спокойствие, поджигал своих «пристанских» на сумасшедшие темпы.

Патошкин наблюдал за молчаливым ожесточением строителей. Удивленно потирая виски, спрашивал себя: «Что это за люди? Что это за непонятная сила? Ведь если погода продержится еще хотя бы дней восемь, то мы подойдем к лесоразработкам. Выходит: век живи, век учись и на старости дураком останешься. Эти люди своей работой бьют все расчеты и нормы».

Из города приехал Клавичек, привез последнюю свою выпечку хлеба. Повидавшись с Токаревым, он разыскал на работе Корчагина. Дружески поздоровались. Клавичек, улыбаясь, вынул из мешка прекрасную желтую меховую шведскую куртку и, хлопнув ладонью по эластичному хрому, сказал:

— Это тебе. Не ведаешь, от кого?.. Хо! Ну и глуп же ты, хлопче! Это тебе товарищ Устинович посылает, чтобы ты, дурак, не смерз. Куртку товарищ Ольшинский ей подарил, она из рук его взяла и мне передала — вези Корчагину. Аким говорил ей, что ты в пиджаке на морозе работаешь. Ольшинский немного нос скривил. «Я,— говорит,— этому товарищу шинель послать могу». А Рита смеялась: ничего, в куртке ему лучше работать! Получай.

Павел удивленно подержал в руке дорогую вещь и нерешительно надел ее на озябшее тело. Мягкий мех скоро согрел плечи и грудь.

Рита записывала:

«20 декабря

Полоса вьюг. Снег и ветер. Боярцы были почти у цели, но морозы и вьюги остановили их. Утопают в снегу. Рыть мерзлую землю трудно. Осталось всего три четверти километра, но самые трудные.

Токарев сообщает: на стройке появился тиф, трое заболело.

22 декабря

На пленум губкомола из Боярки не приехал никто. Бандиты пустили под откос эшелон с хлебом в семнадцати километрах от Боярки. По приказу уполнаркомпрода весь строительный отряд переброшен туда.

23 декабря

В город из Боярки привезли еще семерых в тифу. Среди них Окунев. Была на вокзале. С буферов пришедшего из Харькова поезда снимали окоченевшие трупы. В больницах холодно. Проклятая вьюга! Когда она кончится?

24 декабря

Только что от Жухрая. Оказывается, верно: Орлик вчера ночью всей своей бандой налетел на Боярку. Два часа между бандой и нашими шел бой. Банда прервала сообщение, и только сегодня утром Жухраю удалось получить точные сведения. Банду отбили. Токарев ранен в грудь навылет. Его привезут сегодня. Зарублен насмерть Франц Клавичек, бывший в ту ночь начальником караула. Это он заметил банду и поднял тревогу, но, отстреливаясь от нападавших, не успел добежать до школы и был зарублен. В строительном отряде ранено одиннадцать. Сейчас там бронепоезд и два эскадрона кавалерии.

Начальником стройки стал Панкратов. Днем Пузыревский настиг часть банды в хуторе Глубоком и вырубил всех до единого. Часть кадровиков беспартийных, не ожидая поезда, пешком ушла по шпалам.

25 декабря

Привезли Токарева и остальных раненых. Их положили в клинический госпиталь. Врачи обещали спасти старика. Он в беспамятстве. Жизнь остальных вне опасности.

Из Боярки губкомпарт и мы получили телеграмму: «В ответ на бандитские нападения мы, строители узкоколейки, собранные на настоящем митинге, совместно с командой бронепоезда «За власть Советов» и красноармейцами кавполка заверяем вас, что, несмотря на все препятствия, дадим городу дрова к первому января. С напряжением всех сил приступаем к работе. Да здравствует коммунистическая партия, пославшая нас! Председатель митинга Корчагин. Секретарь Берзин».

На Соломенке с военными почестями похоронили Клавичека.»

Заветные дрова уже близки. Но к ним продвигались томительно медленно: каждый день тиф вырывал десятки нужных рук.

Шатаясь, как пьяный, на подгибающихся ногах, возвращался к станции Корчагин. Он уже давно ходил с повышенной температурой, но сегодня охвативший его жар чувствовался сильнее обычного.

Брюшной тиф, обескровивший отряд, подобрался и к Павлу. Но крепкое его тело сопротивлялось, и пять дней он находил силы подниматься с устланного соломой бетонного пола и идти вместе со всеми на работу. Не спасли его и теплая куртка и валенки, присланные Федором, надетые на уже обмороженные ноги.

При каждом шаге что-то больно кололо в груди, знобко постукивали зубы, мутило в глазах, и деревья, казалось, кружили странную карусель.

Едва добрался до станции. Необычный шум поразил его. Вгляделся: длинный состав растянулся на всю станцию. На платформах стояли паровозики, лежали рельсы, шпалы — их разгружали приехавшие с поездом люди. Он сделал еще несколько шагов и потерял равновесие. Слабо почувствовал удар головой о землю. Приятным холодком прижег снег горячую щеку.

На него наткнулись через несколько часов. Принесли в барак. Корчагин тяжело дышал и не узнавал окружающих. Вызванный с бронепоезда фельдшер заявил: «Крупозное воспаление легких и брюшной тиф. Температура 41,5. О воспаленных суставах и опухоли на шее говорить не приходится — мелочь. Первых двух вполне достаточно, чтобы отправить его на тот свет».

Панкратов и приехавший Дубава делали все возможное, чтобы спасти Павла.

Земляку Корчагина — Алеше Кохановскому — было поручено отвезти больного в родной город.

Только при помощи всей корчагинской группы и, главное, под натиском Холявы Панкратову и Дубаве удалось погрузить беспамятного Корчагина и Алешу в забитый до отказа вагон. Их не пускали, страшась заразы сыпным тифом, сопротивлялись, грозили выбросить тифозного по дороге.

Холява, размахивая наганом под носами мешавших погрузке больного, кричал:

— Больной не заразный! Он поедет, хотя нам для этого вас всех выкидывать пришлось бы! Помните, шкурники, если его хоть кто-нибудь рукой тронет — я сообщу по линии: всех снимем с поезда и посадим за решетку. Вот тебе, Алеша, Павкин маузер, бей в упор всякого, кто его вздумает снимать,— подбросил Холява для острастки.

Поезд двинулся. На опустевшем перроне Панкратов подошел к Дубаве.

— Как ты думаешь, выживет?

И не получил ответа.

— Пойдем, Митяй, как будет, так и будет. Нам теперь отвечать за все. Паровозы-то ночью сгружать придется, а утром попробуем их разогреть.

Холява звонил по всей линии своим друзьям-чекистам. Он горячо просил их не допустить выгрузки пассажирами больного Корчагина и, только получив твердое обещание «не допустить», пошел спать.

На узловой железнодорожной станции из пассажирского поезда прямо на перрон вытащили труп умершего в одном из вагонов неизвестного молодого белокурого парня. Кто он и отчего он умер — никто не знал. Станционные чекисты, помня просьбу Холявы, побежали к вагону, чтобы помешать выгрузке, но, удостоверившись в смерти парня, распорядились убрать труп в мертвецкую эвакоприемника.

Холяве же тотчас позвонили в Боярку, сообщая о смерти друга, за жизнь которого он так беспокоился.

Краткая телеграмма из Боярки извещала губком о гибели Корчагина.

Алеша Коханский доставил больного Корчагина родным и сам свалился в жарком тифу.

9 января

Почему так тяжело? Прежде чем сесть к столу, я плакала. Кто мог думать, что и Рита может рыдать, и еще как больно! Разве слезы всегда признак слабости воли? Сегодня причина их — жгучее горе. Почему же оно пришло? Почему горе пришло сегодня, в день большой победы, когда ужас холода побежден, когда железнодорожные станции загружены драгоценным топли-

вом, когда я только что была на торжестве победы, на расширенном пленуме горсовета, где чествовали героев-строителей? Это победа, но за нее двое отдали свою жизнь: Клавичек и Корчагин.

Гибель Павла открыла мне истину: он мне дорог больше, чем думала.

На этом прерываю записи. Не знаю, вернусь ли когда-либо к новым. Завтра пишу в Харьков о согласии работать в ЦК комсомола Украины.»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Молодость победила. Тиф не убил Корчагина. Павел перевалил четвертый раз смертный рубеж и возвращался к жизни. Только через месяц, худой и бледный, поднялся он на неустойчивые ноги и, цепляясь за стены, попытался пройти по комнате. Поддерживаемый матерью, он дошел до окна и долго смотрел на дорогу. Поблескивали лужицы от тающего снега. На дворе была первая предвесенняя оттепель.

Прямо перед окном, на ветке вишни, хорохорился серопузый воробей, беспокойно посматривая вороватыми глазками на Павла.

— Что, пережили зиму с тобой? — тихо проговорил Павел, постучав пальцем в окно.

Мать испуганно посмотрела на него.

— Ты с кем там?

— Это я воробью... Улетел, жуликоватый такой,— и слабо улыбнулся.

Весна была в полном разгаре. Корчагин стал подумывать о возвращении в город. Он достаточно окреп, чтобы ходить, но в его организме творилось что-то неладное. Однажды, гуляя в саду, он неожиданно был свален на землю острой болью в позвоночнике. С трудом приплелся в комнату. На другой день его внимательно осматривал врач. Нащупав в позвоночнике глубокую впадину, удивленно хмыкнул:

— Откуда у вас это?

— Это, доктор, след от камня из мостовой. Под городом Ровно трехдюймовкой сзади по шоссе ковырнули...

— Как же вы ходили? Вас это не тревожило?

— Нет. Тогда полежал часа два — и на лошадь. Вот только сейчас первый раз напомнило.

Врач, нахмурясь, осматривал впадину.

— Да, дорогой мой, пренеприятная штука. Позвоночник не любит таких потрясений. Будем надеяться, впредь он о себе не заявит. Оденьтесь, товарищ Корчагин.

И он сочувственно и с плохо скрываемым огорчением смотрел на своего пациента.

Артем жил в семье своей жены, неприглядной молодухи Стеши. Семья была захудалая крестьянская. Павел как-то зашел к Артему. На маленьком грязном дворике бегал замазюканный раскосый мальчонка. Увидев Павла, он бесцеремонно впялился в него глазенками и, сосредоточенно ковыряя в носу пальцем, спросил:

— Чего тебе надо? Может, ты воровать пришел? Уходи лучше, а то у нас мамка сердитая!

В старой низкой избенке открылось крошечное окно, и Артем позвал:

— Заходи, Павлуша!

У печи возилась с ухватом старуха с пожелтевшим, как пергамент, лицом. Она на миг коснулась Павла нелюбезным взглядом и, пропустив гостя, загремела чугунами.

Две девочки-подростка с куцыми косичками быстро взобрались на печь и с любопытством дикарей выглядывали оттуда.

За столом сидел Артем, немного смущенный. Его женитьбу не одобряли ни мать, ни брат. Потомственный пролетарий, Артем неизвестно почему порвал свою трехлетнюю дружбу с красавицей Галей, дочерью каменотеса, работницей-портнихой, и пошел «в примаки» к серенькой Стеше, в семью из пяти ртов, без единого работника. Здесь он после деповской работы всю свою силу вкладывал в плуг, обновляя захирелое хозяйство.

Артем знал, что Павел не одобрял его отхода, как он выражался, в «мелкобуржуазную стихию», и теперь наблюдал, как воспринимает брат все окружающее его здесь.

Посидели, перебросились малозначащими, обычными при встрече фразами, и Павел собрался уходить. Артем задержал его.

— Погодь, покушаешь с нами, сейчас Стеша молока принесет. Значит, завтра едешь? Слабоват ты еще, Павка.

В комнату вошла Стеша, поздоровалась, позвала Артема на гумно помочь что-то перенести. Павел остался один со старухой, не щедрой на слова. В окно донесся церковный звон. Старуха поставила ухват и недовольно забормотала:

— Осподи сусе, за чертовой работой и помолиться некогда! — И, сняв с шеи платок, подошла, косясь на пришельца, к углу, уставленному потемневшими от времени унылыми ликами святых. Сложив щепоткой три костлявых пальца, закрестилась.

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое...— зашептала она высохшими губами.

На дворе мальчонка с наскока оседлал черную вислоухую свинью. Крепко шпоря ее босыми ногами, вцепившись ручонками в щетину, кричал на вертящееся и хрюкающее животное:

— Но-о-о, пошла, поехала! Тпру! Не балуй!

Свинья носилась с мальчишкой по двору, пытаясь его сбросить, но раскосый сорванец держался крепко.

Старуха прервала молитву и высунулась в окно:

— Я тебе поезжу, трясця твоему батькови! Слазь со свиньи, холера тебе в бок. А провались ты, таке дитя скаженне!

Свинье удалось, наконец, сбросить наездника, и удовлетворенная старуха опять повернулась к иконам. Сделав набожное лицо, она продолжала:

— Да приидет царствие твое...

В дверях показался заплаканный мальчишка. Рукавом утирая ушибленный нос, всхлипывая от боли, он заныл:

— Мамка-а-а, дай вареник!

Старуха злобно повернулась:

— Помолиться не даст, черт косоокий. Я тебя, сукиного сына, сейчас накормлю!..— И она схватила с лавки кнут. Мальчик моментально исчез. За печкой девочки тихонько прыснули.

Старуха в третий раз принялась за молитву.

Павел встал и вышел, не дождавшись брата. Закрывая калитку, приметил в крайнем оконце голову старухи. Она следила за ним.

«Какая нелегкая затянула сюда Артема? Теперь ему до смерти не выбраться. Будет Стеша рожать каждый

год. Закопается, как жук в навозе. Еще, чего доброго, депо бросит,— размышлял удрученный Павел, шагая по безлюдной улице городка.— А я было думал в политическую жизнь втянуть его».

Он радовался, что завтра уедет туда, в большой город, где остались его друзья и дорогие его сердцу люди. Большой город притягивал своей мощью, жизненностью, суетой непрерывных человеческих потоков, грохотом трамваев и криком сирен автомобилей. А главное, тянуло в огромные каменные корпуса, закопченные цехи, к машинам, к тихому шороху шкивов. Тянуло туда, где в стремительном разбеге кружились великаны-маховики и пахло машинным маслом, к тому, с чем сроднился. Здесь же, в тихом городке, бродя по улицам, Павел ощущал какую-то подавленность. Не удивляло, что городок стал ему чужим и скучным. Неприятно даже было выходить днем гулять. Проходя мимо болтливых кумушек, сидевших на крылечках, Павел слышал их торопливый переговор:

— Дывысь, бабы, откуда цей страхополох?

— Видать, беркулезный, чихотка у него.

— А тужурка на ем богатая, не иначе — краденая...

И многое другое, от чего становилось противно.

Давно уже оторвался корнями отсюда. Стал ближе и роднее большой город. Братва, крепкая и жизнерадостная, и труд.

Корчагин незаметно дошел до сосновой рощи и остановился на раздорожье. Вправо — отгороженная от леса высоким, заостренным частоколом угрюмая старая тюрьма, за ней белые корпуса больницы.

Вот здесь, на этой просторной площади, задыхались в петлях Валя и ее товарищи. Молча постоял он на том месте, где была виселица, затем пошел к обрыву. Спустился вниз и вышел на площадку братского кладбища.

Чьи-то заботливые руки убрали ряд могил венками из ели, оградив маленькое кладбище зеленой изгородью. Над обрывом высились стройные сосны. Зеленый шелк молодой травы устлал склоны оврага.

Здесь край городка. Тихо и грустно. Легкий лесной шелест и весенняя прель возрожденной земли. Здесь мужественно умирали братья, для того чтобы жизнь стала прекрасной для тех, кто родился в нищете, для тех, кому самое рождение было началом рабства.

Рука Павла медленно стянула с головы фуражку, и грусть, великая грусть заполнила сердце.

Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее.

Охваченный этими мыслями, Корчагин ушел с братского кладбища.

Дома мать, грустная, собирала в дорогу сына. Наблюдая за ней, Павел видел: скрывает от него слезы.

— Может, останешься, Павлуша? Горько мне на старости одной жить. Детей сколько, а чуть подрастут — разбегутся. Чего тебя в город-то тянет? И здесь жить можно. Или тоже высмотрел себе перепелку стриженую? Ведь никто мне, старухе, ничего не расскажет. Артем женился — слова не сказал, а ты уж и подавно. Я только и вижу вас, когда покалечитесь,— тихонько говорила мать, укладывая в чистую сумку небогатые сыновьи пожитки.

Павел взял ее за плечи, притянул к себе.

— Нет, маманя, перепелки! А знаешь ли ты, старенькая, что птицы по породе подружку ищут? Что ж я, по-твоему, перепел?

Заставил мать улыбнуться.

— Я, маманя, слово дал себе дивчат не голубить, пока во всем свете буржуев не прикончим. Что, долгонько ждать, говоришь? Нет, маманя, долго буржуй не продержится... Одна республика станет для всех людей, а вас, старушек да стариков, которые трудящиеся,— в Италию, страна такая теплая по-над морем стоит. Зимы там, маманя, никогда нет. Поселим вас во дворцах буржуйских, и будете свои старые косточки на солнышке греть. А мы буржуя кончать в Америку поедем.

— Не дожить мне, сынок, до твоей сказки... Таким заскочистым твой дед был, в моряках плавал. Настоящий разбойник, прости господи! Довоевался в севастопольскую

войну, что без ноги и руки домой вернулся. На груди ему два креста навесили и два полтинника царских на ленточках, а помер старый в страшной бедности. Строптивый был, ударил какую-то власть по голове клюшкой, в тюрьме мало не год просидел. Закупорили его туды, и кресты не помогли. Погляжу я на тебя, не иначе как в деда вдался.

— Что же мы, маманя, прощанье таким невеселым делаем? Дай-ка мне гармонь, давно в руках не держал.

Склонил голову над перламутровыми рядами клавишей. Дивилась мать новым тонам его музыки.

Играл не так, как бывало. Нет бесшабашной удали, ухарских взвизгов и разудалой пересыпи, той хмельной залихватистости, прославившей молодого гармониста Павку на весь городок. Музыка звучала мелодично, не теряя силы, стала более глубокой.

На вокзал пришел один.

Уговорил мать остаться дома: не хотел ее слез при прощаньи.

В поезд набились все нахрапом. Павел занял свободную полку на самом верху и оттуда наблюдал за крикливыми и возбужденными людьми в проходах.

Все также тащили мешки и пихали их под лавку.

Когда поезд тронулся, поугомонились и, как всегда в этих случаях, жадно принялись за еду.

Павел скоро уснул.

Первый дом, который он хотел посетить, был в центре города, на Крещатике. Медленно взбирался по ступенькам. Все кругом знакомо, ничто не изменилось. Шел по мосту, рукой скользил по гладким перилам. Подошел к спуску. Остановился — на мосту ни души. В бескрайной вышине ночь открывала завороженным глазам величественное зрелище. Черным бархатом застилала темь горизонт, перегибаясь, мерцали фосфористым светом, жглись звездные множества. А ниже, там, где сливалась на невидимой грани с небосклоном земля, город рассыпал в темноте миллионы огней...

Навстречу Корчагину по лестнице поднималось несколько человек. Резкие голоса увлеченных спором людей

нарушили тишину ночи, и Павел, оторвав взгляд от огней города, стал спускаться с лестницы.

На Крещатике, в бюро пропусков Особого отдела округа, дежурный комендант сообщил Корчагину, что Жухрая в городе уже давно нет.

Он долго прощупывал Павла вопросами и, лишь убедившись, что парень лично знаком с Жухраем, рассказал: Федор уже два месяца отозван на работу в Ташкент, на туркестанский фронт. Огорчение Корчагина было так велико, что он не стал даже спрашивать подробностей, а молча повернулся и вышел на улицу. Усталость навалилась на него и заставила присесть на ступеньки подъезда.

Прошел трамвай, наполняя улицу грохотом и лязгом. На тротуарах бесконечный людской поток. Оживленный город — то счастливый смех женщин, то обрывки мужского баса, то тенор юноши, то клокочущая хрипотца старика. Людской поток бесконечен, шаг всегда тороплив. Ярко освещенные трамваи, вспышки автомобильных фар и пожар электроламп вокруг рекламы соседнего кино. И везде люди, наполняющие несмолкаемым говором улицу. Это вечер большого города.

Шум и суета проспекта скрадывали остроту горечи, вызванной известием об отъезде Федора. Куда идти? Возвращаться на Соломенку, где были друзья,— далеко. И сам собой всплыл дом на недалекой отсюда Кругло-Университетской улице. Конечно, он сейчас пойдет туда. Ведь после Федора первым товарищем, которого он хотел бы видеть, была Рита. Там, у Акима, можно и заночевать.

Еще издали наверху в угловом окне увидел свет. Стараясь быть спокойным, потянул к себе дубовую дверь. На площадке постоял несколько секунд. За дверью в комнате Риты слышны голоса, кто-то играл на гитаре.

«Ого, разрешена, значит, и гитара? Режим смягчен»,— заключил Корчагин и легонько стукнул кулаком в дверь. Чувствуя, что волнуется, зажал зубами губу.

Дверь открыла незнакомая женщина, молодая, с завитушками на висках. Вопросительно оглядела Корчагина.

— Вам кого?

Она не закрывала двери, и беглый взгляд на незнакомую обстановку уже подсказал ответ.

— Устинович можно видеть?

— Ее нет, она еще в январе уехала в Харьков, а оттуда, как я слышала, в Москву.

— А товарищ Аким здесь живет или тоже уехал?

— Товарища Акима тоже нет. Он сейчас секретарь Одесского губкомола.

Павлу ничего не оставалось, как повернуть назад. Радость возвращения в город поблекла.

Теперь надо было серьезно подумать о ночлеге.

— Так по друзьям ходить, все ноги отобьешь и никого не увидишь,— угрюмо ворчал Корчагин, пересиливая горечь. Но все же решил еще раз попытать счастья — найти Панкратова. Грузчик жил вблизи пристани, и к нему было ближе, чем на Соломенку.

Совсем усталый, добрался, наконец, до квартиры Панкратова и, стуча в когда-то крашенную охрой дверь, решил: «Если и этого нет, больше бродить не буду. Заберусь под лодку и переночую».

Дверь открыла старушка в простеньком, подвязанном под подбородок платочке, мать Панкратова.

— Игнат дома, мамаша?

— Только что пришедши. А вы к цему?

Она не узнала Павла и, оборачиваясь назад, крикнула:

— Генька, тут к тебе!

Павел вошел с ней в комнату, положил на пол мешок. Панкратов, доедая кусок, повернулся к нему из-за стола.

— Ежели ко мне, садись и рассказывай, а я пока борща умну миску, а то с утра на одной воде.— И Панкратов взял в руку огромную деревянную ложку.

Павел сел сбоку на продавленный стул. Сняв с головы фуражку, по старой привычке вытер ею лоб.

«Неужели я так изменился, что и Генька меня не узнал?»

Панкратов отправил ложки две борща в рот и, не получив от гостя ответа, повернул к нему голову:

— Ну, давай, что там у тебя?

Рука с куском хлеба на полдороге ко рту остановилась. Панкратов растерянно замигал.

— Э... постой... Тьфу ты, буза какая!

Видя его красное от натуги лицо, Корчагин не вытерпел и расхохотался.

— Павка! Ведь мы тебя за пропащего считали!.. Стой! Как тебя зовут?

На крики Панкратова из соседней комнаты выбежали старшая сестра и мать. Все втроем, наконец, удостоверились, что перед ними настоящий Корчагин.

В доме уже давно спали, а Панкратов все еще рассказывал о событиях за четыре месяца:

— Еще зимой в Харьков уехали Жаркий, Митяй. И не куда-нибудь, стервецы, а в Коммунистический университет. Ванька и Митяй на подготовительный. Нас человек пятнадцать собралось. С горячки и я напнарил заявление. Надо, думаю, в мозгах начинку подгустить, а то жидковато. Но, понимаешь, в комиссии меня посадили на песок.

Сердито посопев, Панкратов продолжал:

— Сначала у меня на мази дело было. Все статьи подходящие: партбилет есть, стажа по комсе хватает, насчет положеньев и происхожденьев носа не подточишь, но когда дело дошло до политпроверки, здесь у меня получилась неприятность.

Заелся я с одним товарищем из комиссии. Подкидывает он мне такой вопросец: «Скажите, товарищ Панкратов, какие сведения вы имеете по философии?» А сведений-то, понимаешь, у меня никаких и не было. Но тут же вспомнил, был у нас грузчик один, гимназист, бродяга. В грузчики из форсу поступил. Он нам рассказывал как-то: черт его знает когда в Греции были такие ученые, что много о себе понимали, называли их философами. Один такой типчик, фамилии не помню, кажись, Идеоген, жил всю жизнь в бочке и так далее... Лучшим спецом среди них считался тот, кто сорок раз докажет, что черное — то белое, а белое — то черное. Одним словом, были они брехуны. Ну вот, я рассказ гимназиста вспомнил и подумал: «Объезжает меня с правой стороны этот член комиссии». А тот с хитринкой на меня поглядывает. Ну, я тут и жахнул. «Философия,— говорю,— это одно пустобрехство и наводка теней. Я, товарищ, этой бузой заниматься не имею никакой охоты. Вот насчет истории партии всей душой бы рад». Давай они меня тут марьяжить, откуда, мол, у меня такие новости про философию. Тут я еще кое-что прибавил со слов гимназиста, от чего вся комиссия в хохот. Я обозлился. «Что,— говорю,— вы с меня тут дурака строите?» За шапку — и домой.

Потом меня этот член комиссии в губкоме встретил и часа три беседовал. Оказывается, гимназистик-то напутал. Выходит, что философия — большое, мудрое дело.

А вот Дубава и Жаркий прошли. Ну, Митяй хоть учился здорово, а Жаркий — тот недалеко от меня отъехал. Не иначе как орден Ваньке помог. Одним словом, остался я на бобах. Меня здесь на пристанях хозяйством ворочать назначили. Замещаю начальника товарной пристани. Раньше я, бывало, всегда с пачами вперебой вступал по разным делам молодежным, а теперь самому приходится руководить делом хозяйственным. Иногда и так бывает: лодырь тебе под руку подвернется или растяпа неповоротливая, так жмешь его и как начальник и как секретарь. Он уж мне очков не вотрет, извиняюсь. О себе потом. Какие я тебе новости еще не рассказывал? Про Акима знаешь, из старых в губкоме только Туфта торчит на том же месте. Токарев секретарит в райкоме партии на Соломенке. В райкомоле Окунев, твой коммунщик. Политпросветом Таля. В мастерских на твоем месте Цветаев, я его мало знаю, на губкоме встречаемся, кажется, парень неглупый, но самолюбивый. Если помнишь Борхарт Анну, она тоже на Соломенке, завженотделом райкомпарта. Об остальных я уже тебе рассказывал. Да, Павлуша, много народу партия на учебу бросила. В губсовпартшколе весь старый актив теперь сидит за книжкой. На будущий год обещают и меня послать.

Уснули далеко за полночь. Утром, когда Корчагин проснулся, Игната в доме уже не было, ушел на пристань. Дуся, сестра его, крепкая дивчина, лицом в брата, угощала гостя чаем, весело тараторя о всяких пустяках. Отец Панкратова, судовой машинист, был в поездке.

Корчагин собрался уходить. На прощанье Дуся напомнила:

— Не забывайте, что ждем вас к обеду.

В губкоме обычное оживление. Входная дверь не знает покоя. В коридорах и в комнатах людно, приглушенный стук машинок за дверью управления делами.

Павел постоял в коридоре, приглядываясь, не встретит ли знакомое лицо, и, не найдя никого, вошел в комнату секретаря. За большим письменным столом сидел в синей косоворотке секретарь губкома. Встретил Корчагина ко-

ротким взглядом и, не поднимая головы, продолжал писать.

Павел сел напротив и внимательно рассматривал заместителя Акима.

— По какому вопросу? — спросил секретарь в косоворотке, ставя точку в конце исписанного листа.

Павел рассказал ему свою историю.

— Необходимо, товарищ, воскресить меня в списках организации и направить в мастерские. Сделай об этом распоряжение.

Секретарь откинулся на спинку стула. Ответил нерешительно:

— Восстановим, конечно, об этом разговора быть не может. Но в мастерские послать тебя неудобно, там уже работает Цветаев, член губкома последнего созыва. Мы тебя используем в другом месте.

Глаза Корчагина сузились:

— Я в мастерские иду не для того, чтобы мешать работать Цветаеву. Я иду в цех по специальности, а не секретарем коллектива, и, поскольку я еще слаб физически, прошу на другую работу не посылать.

Секретарь согласился. Набросал на бумаге несколько слов.

— Передайте товарищу Туфте, он все уладит.

В учраспреде Туфта разносил в пух и прах своего помощника — учетчика. С полминуты Павел слушал их перебранку, но, видя, что она затягивается надолго, прервал расходившегося учраспредчика:

— Потом доругаешься с ним, Туфта. Вот тебе записка, давай оформим мои документы.

Туфта долго смотрел то на бумагу, то на Корчагина. Наконец уразумел.

— Э! Значит, ты не умер? Как же теперь быть? Ты исключен из списков, я сам посылал в Цека карточку. А потом ты же не прошел всероссийской переписи. Согласно циркуляру Цека комсомола, все, не прошедшие переписи, исключаются. Поэтому тебе остается одно — вступать вновь на общих основаниях,— произнес Туфта безапелляционным тоном.

Корчагин поморщился.

— Ты все по-старому? Молодой парень, а хуже старой крысы из губархива. Когда ты станешь человеком, Володька?

Туфта подскочил, словно его укусила блоха.

— Прошу мне нотаций не читать, я отвечаю за свою работу. Циркуляры пишутся не для того, чтобы я их нарушал. А за оскорбление насчет «крысы» привлеку к ответственности.

Последние слова Туфта произнес с угрозой и демонстративно подтянул к себе ворох пакетов непросмотренной почты, всем своим видом показывая, что разговор окончен.

Павел не спеша направился к двери, но, вспомнив что-то, вернулся к столу, взял обратно лежавшую перед Туфтой записку секретаря. Учраспредчик следил за Павлом. Злой и придирчивый, этот молодой старичок с большими настороженными ушами был неприятен и в то же время смешон.

— Ладно,— издевательски-спокойно сказал Корчагин.— Мне, конечно, можно припаять «дезорганизацию статистики», но скажи мне, как ты ухитряешься налагать взыскания на тех, кто взял да и помер, не подав об этом предварительно заявления? Ведь это каждый может: захочет — заболеет, захочет — умрет, а циркуляра на этот счет, наверно, нет.

— Го-го-го! — весело заржал помощник Туфты, не выдержавший нейтралитета.

Кончик карандаша в руке Туфты сломался. Он швырнул его на пол, но не успел ответить своему противнику. В комнату ввалились гурьбой несколько человек, громко разговаривая и смеясь. Среди них был Окунев. Радостному удивлению и расспросам не было конца. Через несколько минут в комнату вошла еще группа молодежи, и с ней Юренева. Она долго, растерянно, но радостно жала Корчагину руку.

Павла опять заставили рассказывать все сначала. Искренняя радость товарищей, неподдельная дружба и сочувствие, крепкие рукопожатия, хлопки по спине, увесистые и дружеские, заставили забыть о Туфте.

Под конец рассказа Корчагин передал товарищам и свой разговор с Туфтой. Кругом послышались возмущенные восклицания. Ольга, наградив Туфту уничтожающим взглядом, пошла в комнату секретаря.

— Идем к Нежданову! Он ему прочистит поддувало.— С этими словами Окунев взял Павла за плечи, и они с толпой товарищей пошли вслед за Ольгой.

— Его надо снять и послать к Панкратову на пристань грузчиком на год. Ведь Туфта — штампованный бюрократ! — горячилась Ольга.

Секретарь губкома снисходительно улыбался, выслушивая требования Окунева, Ольги и других снять Туфту из учраспреда.

— О восстановлении Корчагина говорить нечего, ему сейчас же выпишут билет,— успокаивал Ольгу Нежданов.— Я тоже с вами согласен, что Туфта формалист,— продолжал он.— Это его основной недостаток. Но ведь надо же признать, что он поставил дело очень неплохо. Где я ни работал, учет и статистика в комсомольских комитетах — непроходимые дебри, и ни одной цифре верить нельзя. А в нашем учраспреде статистика поставлена хорошо. Вы сами знаете, что Туфта иногда просиживает в своем отделе до ночи. И я так думаю: снять его можно всегда, но если вместо него будет рубаха-парень, но никудышный учетчик, то бюрократизма не будет, но и учета не будет. Пусть работает. Я ему намылю голову как следует. Это подействует на некоторое время, а там посмотрим.

— Ладно, шут с ним,— согласился Окунев.— Едем, Павлуша, на Соломенку. Сегодня в нашем клубе собрание актива. Никто еще о тебе не знает, и вдруг: «Слово Корчагину!» Молодец, Павлуша, что не умер. Ну, какая тогда была бы с тебя польза пролетарпату? — шутливо резюмировал Окунев, загребая в охапку Корчагина и выталкивая его в коридор.

— Ольга, ты придешь?

— Обязательно.

Панкратовы не дождались Корчагина к обеду, не вернулся он и к ночи. Окунев привез своего друга к себе на квартиру. В доме Совета у него была отдельная комната. Накормил, чем смог, и, положив на столе перед Павлом кипы газет и две толстые книги протоколов заседаний бюро райкомола, посоветовал:

— Просмотри всю эту продукцию. Когда ты в тифу даром время тратил, здесь немало воды утекло. Читай, знакомься с тем, что было и что есть. Я под вечер приду, и пойдем в клуб, а устанешь — ложись и дрыхни.

Рассовав по карманам кучу документов, справок, отношений (портфель Окунев принципиально игнорировал, и он лежал под кроватью), секретарь райкомола сделал прощальный круг по комнате и вышел.

Вечером, когда он вернулся, пол комнаты был завален развернутыми газетами, из-под кровати выдвинута груда книг. Часть из них была сложена стопкой на столе. Павел сидел на кровати и читал последние письма Центрального Комитета, найденные им под подушкой друга.

— Что ты, разбойник, из моей квартиры сделал! — с напускным возмущением закричал Окунев.— Э, постой, постой, товарищ! Да ты ведь секретные документы читаешь! Вот пусти такого в хату!

Павел, улыбаясь, отложил письмо в сторону.

— Здесь как раз секрета нет, а вот вместо абажура на лампочке у тебя действительно был документ, не подлежащий оглашению. Он даже подгорел на краях. Видишь?

Окунев взял обожженный лист и, взглянув на заголовок, стукнул себя ладонью по лбу.

— А я его три дня искал, чтоб он провалился! Исчез, как в воду канул. Теперь я припоминаю, это Волынцев третьего дня из него абажур смастерил, а потом сам же искал до седьмого пота.— Окунев, бережно сложив листок, сунул его под матрац.— Потом все приведем в порядок,— успокоительно сказал он.— Сейчас шаманем маленько — и в клуб. Подсаживайся, Павлуша!

Окунев выгрузил из кармана длинную воблу, завернутую в газету, а из другого — два ломтя хлеба. Подвинул на край стола бумагу, разостлал на свободном пространстве газету, взял воблу за голову и начал хлестать ею по столу.

Сидя на столе и энергично работая челюстями, жизнерадостный Окунев, мешая шутку с деловой речью, передавал Павлу новости.

В клуб Окунев провел Корчагина служебным ходом за кулисы. В углу вместительного зала, вправо от сцены, около пианино, в тесном кругу железнодорожной комсы сидели Таля Лагутина и Борхарт. Напротив Анны, покачиваясь на стуле, восседал Волынцев — комсомольский секретарь депо, румяный, как августовское яблоко, в из-

ношенной до крайности, когда-то черной кожаной тужурке. У Волынцева пшеничные волосы и такие же брови.

Около него, небрежно опершись локтем о крышку пианино, сидел Цветаев,— красивый шатен с резко очерченным разрезом губ. Ворот его рубахи был расстегнут.

Подходя к компании, Окунев услышал конец фразы Анны:

— Кое-кто желает всячески усложнять прием новых товарищей. У Цветаева это налицо.

— Комсомол не проходной двор,— упрямо, с грубоватой пренебрежительностью отозвался Цветаев.

— Посмотрите, посмотрите! Николай сегодня сияет, как начищенный самовар! — воскликнула Таля, увидев Окунева.

Окунева затянули в круг и забросали вопросами:

— Где был?

— Давай начинать.

Окунев успокаивающе протянул вперед руку:

— Не кипятитесь, братишки. Сейчас придет Токарев, и откроем.

— А вот и он,— заметила Анна.

Действительно, к ним шел секретарь райкомпарта. Окунев побежал ему навстречу.

— Идем, отец, за кулисы, я тебе одного твоего знакомца покажу. Вот удивишься!

— Чего там еще? — буркнул старик, пыхнув папиросой, но Окунев уже тащил его за руку.

Колокольчик в руке Окунева так отчаянно дребезжал, что даже заядлые говоруны поспешили прекратить разговоры.

За спиной Токарева в пышной рамке из зеленой хвои львиная голова гениального создателя «Коммунистического манифеста». Пока Окунев открывал собрание, Токарев смотрел на стоявшего в проходе кулис Корчагина.

— Товарищи! Прежде чем приступить к обсуждению очередных задач организации, здесь вне очереди попросил слова один товарищ, и мы с Токаревым думаем, что ему слово надо дать.

Из зала понеслись одобряющие голоса, и Окунев выпалил:

— Слово для приветствия предоставляется Павке Корчагину!

Из ста человек в зале не менее восьмидесяти знали Корчагина, и когда на краю рампы появилась знакомая фигура и высокий бледный юноша заговорил, в зале его встретили радостными возгласами и бурными овациями.

— Дорогие товарищи!

Голос Корчагина ровный, но скрыть волнение не удалось.

— Случилось так, друзья, что я вернулся к вам и занимаю свое место в строю. Я счастлив, что вернулся. Я здесь вижу целый ряд моих друзей. Я у Окунева читал, что у нас на Соломенке на треть стало больше новых братишек, что в мастерских и в депо зажигалочникам крышка и что с паровозного кладбища тянут мертвецов в «капитальный». Это значит, что страна наша вновь рождается и набирает силы! Есть для чего жить на свете! Ну, разве я мог в такое время умереть! — И глаза Корчагина заискрились в счастливой улыбке.

Под крики приветствий Корчагин спустился в зал, направляясь к месту, где сидели Борхарт и Таля. Быстро пожал несколько рук. Друзья потеснились, и Корчагин сел. На его руку легла рука Тали и крепко-крепко сжала ее.

Широко раскрыты глаза Анны, чуть вздрагивают ресницы, и в ее взгляде удивление и привет.

Скользили дни. Их нельзя было назвать буднями. Каждый день приносил что-нибудь новое, и, распределяя утром свое время, Корчагин с огорчением отмечал, что времени в дне мало и что-то из задуманного остается недоделанным.

Павел поселился у Окунева. Работал в мастерских помощником электромонтера.

Павел долго спорил с Николаем, пока уговорил его согласиться на временный отход от руководящей работы.

— У нас людей не хватает, а ты хочешь прохлаждаться в цехе. Ты мне на болезнь не показывай, я и сам после тифа месяц с палкой в райком ходил. Я ведь тебя, Павка, знаю, тут — не это. Ты мне скажи про самый корень, — наступал на него Окунев.

— Корень, Коля, есть: хочу учиться.

Окунев торжествующе зарычал:

— А-а!.. Вот оно что! Ты хочешь, а я, по-твоему, нет? Это, брат, эгоизм. Мы, значит, колесо будем вертеть, а ты — учиться? Нет, миленький, завтра же пойдешь в оргинстр.

Но после долгой дискуссии Окунев сдался.

— Два месяца не трону, знай мою доброту. Но ты с Цветаевым не сработаешься, у него большое самомнение.

Возвращение Корчагина в мастерские Цветаев встретил настороженно. Он был уверен, что с приходом Корчагина начнется борьба за руководство, и, болезненно самолюбивый, приготовлялся к отпору. Но в первые же дни он убедился в ошибочности своих предположений. Узнав о намерении бюро коллектива ввести его в свой состав, Корчагин сам пришел в комнату отсекра и, ссылаясь на договоренность с Окуневым, убедил снять этот вопрос с повестки. В цеховой ячейке комсомола Корчагин взял на себя кружок политграмоты, но работы в бюро не добивался. И все же, несмотря на официальный отход от руководства, влияние Павла чувствовалось во всей работе коллектива. Незаметно, дружески он не раз выводил Цветаева из затруднительного положения.

Как-то раз, зайдя в цех, Цветаев с удивлением наблюдал, как вся молодежная ячейка и десятка три беспартийных ребят мыли окна, чистили машины, соскребая с них долголетнюю грязь, вытаскивая на двор лом и хлам. Павел ожесточенно тер огромной шваброй залитый мазутом и жиром цементный пол.

— С чего это вы прихорашиваетесь? — недоуменно спросил Павла Цветаев.

— Не хотим работать в грязи. Тут двадцать лет никто не мыл, мы за неделю сделаем цех новым,— кратко ответил ему Корчагин.

Цветаев, пожав плечами, ушел.

Электротехники не успокоились на этом и принялись за двор. Этот большой двор издавна был свалочным местом. Чего там только не было! Сотни вагонных скатов, целые горы ржавого железа, рельсы, буфера, буксы — несколько тысяч тонн металла ржавело под открытым небом. Но наступление на свалку приостановила администрация:

— Есть еще более важные задачи, а со двором на нас не каплет.

Тогда электрики вымостили кирпичами площадку у входа в свой цех, укрепив на ней проволочную сетку для очистки грязи с обуви, и на этом остановились. Но внутри цеха уборка продолжалась по вечерам после работы. Когда через неделю сюда зашел главный инженер Стриж, цех был весь залит светом. Огромные окна с железными переплетами рам, освобожденные от вековой пыли, смешанной с мазутом, открыли путь солнечным лучам, и те, проникая в машинный зал, ярко отражались в начищенных медных частях дизелей. Тяжелые части машин были выкрашены зеленой краской, и даже на спицах колес кто-то заботливо вывел желтые стрелки.

— М-мда...— удивился Стриж.

В дальнем углу цеха несколько человек заканчивали работы. Стриж прошел туда. Навстречу ему с банкой, наполненной разведенной краской, шел Корчагин.

— Подождите, милейший,— остановил его инженер.— То, что вы делаете, я одобряю. Но кто дал вам краску? Ведь я запретил без моего разрешения расходовать ее — дефицитный материал. Покраска частей паровоза важней того, что вы делаете.

— А краску мы добыли из выброшенных красильных банок. Два дня возились над старьем, и наскребли фунтов двадцать пять. Здесь все по закону, товарищ технорук.

Инженер еще раз хмыкнул, но уже смущенно:

— Тогда, конечно, делайте. М-мда... Все-таки интересно... Чем объяснить такое, как это выразиться, добровольное стремление к чистоте в цехе? Ведь это вы проделали в нерабочее время?

Корчагин уловил в голосе техноруки нотки искреннего недоумения.

— Конечно. А вы как же думали?

— Да, но...

— Вот вам и «но», товарищ Стриж. Кто вам сказал, что большевики оставят эту грязь в покое? Подождите, мы это дело раскачаем шире. Вам еще будет на что посмотреть и подивиться.

И, осторожно обходя инженера, чтобы не мазнуть его краской, Корчагин пошел к двери.

Вечерами допоздна Корчагин застревал в публичной библиотеке. Он завел здесь прочное знакомство со всеми тремя библиотекаршами и, пуская в ход все средства пропаганды, получил, наконец, желанное право свободного просмотра книг. Подставив лесенку к огромным книжным шкафам, Павел часами просиживал на ней, перелистывая книгу за книгой в поисках интересного и нужного. В большинстве книги были старые. Новая литература скромно умещалась в одном небольшом шкафу. Здесь были собраны случайно попавшие брошюры периода гражданской войны, «Капитал» Маркса, «Железная пята» и еще несколько книг. Среди старых книг Корчагин нашел роман «Спартак». Осилив его в две ночи, Павел перенес книгу в шкаф и поставил рядом со стопкой книг М. Горького. Такое перетаскивание наиболее интересных и близких книг продолжалось все время. Библиотекарши этому не мешали — им было безразлично.

В комсомольском коллективе однообразное спокойствие было резко нарушено незначительным, как сначала показалось, происшествием: член бюро ячейки среднего ремонта Костька Фидин, курносый, с исцарапанным оспой лицом, медлительный парнишка, сверля железную плиту, сломал дорогое американское сверло. Сломал по причине своей возмутительной халатности. Даже хуже — почти нарочно. Произошло это утром. Старший мастер среднего ремонта Ходоров предложил Костьке просверлить в плите несколько дыр. Костька сначала отказывался, но под нажимом мастера взял плиту и стал сверлить. Ходорова в цехе не любили за придирчивую требовательность. Он когда-то был меньшевиком. В общественной жизни не принимал никакого участия, на комсомольцев смотрел косо, но свое дело знал прекрасно и свои обязанности выполнял добросовестно. Мастер заметил, что Костька сверлит «на сухую», не заливая сверло маслом. Мастер торопливо подошел к сверлильному станку и остановил его.

— Ты что, ослеп, что ли, или вчера пришел сюда?! — закричал он на Костьку, зная, что сверло неизбежно выйдет из строя при таком обращении.

Но Костька облаял мастера и опять пустил станок. Ходоров пошел жаловаться начальнику цеха, а Костька, не остановив станка, побежал искать масленку, чтобы к приходу администрации все было в порядке. Пока он

нашел масленку и вернулся, сверло уже сломалось. Начальник цеха подал рапорт об увольнении Фидина. Бюро комсомольской ячейки вступилось за Костьку, опираясь на то, что Ходоров зажимает молодежный актив. Администрация настаивала, и разбор дела перешел в бюро коллектива. Отсюда и началось.

Из пяти членов бюро трое были за то, чтобы Костьке вынести выговор и перевести его на другую работу. Среди них был Цветаев. Двое же вообще не считали Костьку виноватым.

Заседание бюро происходило в комнате Цветаева. Здесь стоял большой стол, покрытый красной материей, несколько длинных скамеек и табуреток, собственноручно сделанных ребятами из столярной мастерской, по стенам портреты вождей, позади стола во всю стену развернутое знамя коллектива.

Цветаев был «освобожденный работник». Кузнец по профессии, он благодаря своим способностям за последние четыре месяца выдвинулся на руководящую работу в молодежном коллективе. Вошел членом в бюро райкомола и в состав губкома. Кузнечил он на механическом заводе, в мастерских был новичком. С первых же дней он крепко прибрал вожжи к рукам. Самонадеянный и решительный, он сразу же приглушил личную инициативу ребят, за все хватался сам и, не охватив полностью работы, начинал громить своих помощников за бездеятельность.

Комната — и та декорировалась под его личным наблюдением.

Цветаев вел заседание, развалясь в единственном мягком кресле, принесенном сюда из красного уголка. Заседание было закрытое. Когда парторг Хомутов попросил слова, в дверь, закрытую на крючок, кто-то постучал. Цветаев недовольно поморщился. Стук повторился. Катюша Зеленова встала и откинула крючок. За дверью стоял Корчагин. Катюша пропустила его.

Павел уже направлялся к свободной скамье, когда Цветаев окликнул его:

— Корчагин! У нас сейчас закрытое бюро.

Щеки Павла залила краска, и он медленно повернулся к столу.

— Я знаю это. Меня интересует ваше мнение о деле Костьки. Я хочу поставить новый вопрос в связи с этим. А ты что, против моего присутствия?

— Я не против, но тебе же известно, что на закрытых заседаниях присутствуют одни члены бюро. Когда людно, труднее обсуждать. Но раз пришел — садись.

Такую пощечину Корчагин получал впервые. На лбу меж бровей родилась складка.

— К чему такие формальности? — высказал свое неодобрение Хомутов, но Корчагин жестом остановил его и сел на табурет.— Я вот о чем хотел сказать,— заговорил Хомутов.— Насчет Ходорова это верно, он человек на отшибе, но у нас с дисциплиной неважно. Если так все комсомольцы начнут сверла крошить, нам нечем будет работать. А уж беспартийным пример и вовсе никудышный. Я думаю, что парню предупреждение дать нужно.

Цветаев не дал ему договорить и стал возражать. Прослушав минут десять, Корчагин понял установку бюро. Когда уже приступили к голосованию, он выступил с заявлением. Цветаев, пересилив себя, дал ему слово.

— Я хочу передать вам, товарищи, свое мнение о деле Костьки.

Голос Корчагина был более резок, чем он этого хотел.

— Дело Костьки — это сигнал, а главное не в Костьке. Я вчера собрал немного цифр.— Павел вынул из кармана записную книжку.— Они даны табельщиком. Послушайте внимательно: двадцать три процента комсомольцев ежедневно опаздывают на работу от пяти до пятнадцати минут. Это уже закон. Семнадцать процентов комсомольцев прогуливают от одного до двух дней в месяц систематически, в то время как беспартийный молодняк имеет четырнадцать процентов прогульщиков. Цифры хуже плетки. Я мимоходом записал и еще кое-что: среди партийцев прогульщиков четыре процента по одному дню в месяц и опаздывают тоже четыре процента. Среди беспартийных взрослых прогульщиков одиннадцать процентов по одному дню в месяц и опаздывают тринадцать процентов. Поломка инструментов — девяносто процентов падает на молодняк, среди которого только что принятых на работу семь процентов. Отсюда вывод: мы работаем много хуже партийцев и взрослых рабочих. Но это положение не везде одинаково. Кузнице можно только позавидовать, у электриков удовлетворительно, а у остальных более или менее ровно. Товарищ Хомутов, по-моему, сказал о дисциплине лишь на четверть. Перед нами стоит задача — выровнять эти зигзаги. Я не стану агитировать

и митинговать, но мы должны со всей яростью обрушиться на разгильдяйство и расхлябанность. Старые рабочие прямо говорят: на хозяина работали лучше, на капиталиста работали исправнее, а теперь, когда мы сами стали хозяевами, этому нет оправдания. И в первую очередь виноват не столько Костька или кто там другой, а мы с вами, потому что мы не только не вели борьбы с этим злом как следует, а, наоборот, под тем или другим предлогом иногда защищали таких, как Костька.

Здесь только что говорили Самохин и Бутыляк, что Фидин свой парень. Как говорится, «свой в доску»: активист, несет нагрузки. Ну, сковырнул сверло — подумаешь, какая важность, с кем не случается. Зато парень наш, а мастер — чужак... Хотя с Ходоровым никто работы не ведет... Этот придира имеет тридцать лет рабочего стажа! Не будем говорить о его политической позиции. Он сейчас прав: он, чужак, бережет государственное добро, а мы кромсаем заграничные инструменты. Как такой оборот дела назвать? Я считаю, что мы сейчас нанесем первый удар и начнем наступление на этом участке.

Предлагаю: Фидина, как лодыря, разгильдяя и дезорганизатора производства, из комсомола исключить. О его деле написать в стенгазете и открыто, не боясь никаких разговоров, поместить вот эти цифры в передовой статье. У нас есть силы, у нас есть на кого опереться. Основная масса комсомольцев — хорошие производственники. Из них шестьдесят человек прошли через Боярку, а эта школа — самая верная. С их помощью и при их участии мы зигзаг этот заровняем. Только надо раз навсегда отбросить такой подход к делу, какой есть сейчас.

Обычно спокойный и молчаливый, Корчагин сейчас говорил горячо и резко. Цветаев впервые наблюдал электрика в его настоящем виде. Он сознавал правоту Павла, но согласиться с ним мешало все то же чувство настороженности. Он понял выступление Корчагина как резкую критику общего состояния организации, как подрыв его — Цветаева — авторитета и решил разгромить монтера. Свои возражения он прямо начал с обвинения Корчагина в защите меньшевика Ходорова.

Три часа продолжалась страстная дискуссия. Поздно вечером были подведены ее результаты: разбитый неумолимой логикой фактов и потеряв большинство, пере-

шедшее на сторону Корчагина, Цветаев сделал неверный шаг — поломал демократию: перед решающим голосованием он предложил Корчагину выйти из комнаты.

— Хорошо, я выйду, хотя это не делает тебе чести, Цветаев. Я только предупреждаю, что если ты все же настоишь на своем, завтра я выступлю на общем собрании, и — уверен — ты там большинства не соберешь. Ты, Цветаев, неправ. Я думаю, товарищ Хомутов, что ты обязан перенести этот вопрос в партколлектив еще до общего собрания.

Цветаев вызывающе крикнул:

— Чем ты меня пугаешь? Без тебя дорогу туда знаю, мы и о тебе поговорим. Если сам не работаешь, то другим не мешай.

Закрыв дверь, Павел потер рукой горячий лоб и пошел через пустую контору к выходу. На улице вздохнул полной грудью. Закурив папиросу, направился к маленькому домику на Батыевой горе, где жил Токарев.

Корчагин застал слесаря за ужином.

— Рассказывай. Послушаем, что у вас там новенького. Дарья, принеси-ка ему миску каши,— говорил Токарев, усаживая Павла за стол.

Дарья Фоминишна, жена Токарева, в противоположность мужу высокая, полнотелая, поставила перед Павлом тарелку пшенной каши и, вытирая белым фартуком влажные губы, сказала добродушно:

— Кушай, голубок.

Раньше, когда Токарев работал в мастерских, Корчагин частенько просиживал здесь допоздна, но теперь, по возвращении в город, он был у старика впервые.

Слесарь внимательно слушал Павла. Сам ничего не говорил, старательно работал ложкой, похмыкивая про себя. Покончив с кашей, он вытер платком усы и откашлянулся.

— Ты, конечно, прав. Нам давно пора поставить это дело по-настоящему. Мастерские — основной коллектив в районе, отсюда надо начинать. Значит, вы с Цветаевым поцапались? Плохо. Парень он козыристый, но ты же умел с ребятами работать? Кстати, что ты в мастерских делаешь?

— Я в цехе. Так, вообще везде шевелюсь понемногу. У себя в ячейке кружок веду политграмоты.

— А в бюро что делаешь?

Корчагин замялся.

— Я на первое время, пока силенок было мало, да и подучиться думал, официально в руководстве не участвовал.

— Вот тебе и на! — с неодобрением воскликнул Токарев. — Знаешь, сынок, одно тебя от взбучки выручает — это неокрепшее здоровье. А сейчас как, оправился маленько?

— Да.

— Ну, так вот, принимайся за дело по-настоящему. Нечего водичку цедить. Кто это видел, чтобы с бокуприпеку можно было что-нибудь путное сделать! Да тебе любой скажет — увиливаешь от ответственности, и тебе крыть нечем. Завтра там все это поправь, а я Окуневу накручу чуба, — с ноткой недовольства в голосе закончил Токарев.

— Ты его не трогай, отец, — вступился Павел, — я сам просил не грузить.

Токарев презрительно свистнул:

— Просил, а он тебя уважил? Ну, ладно, что с вами, с комсой, поделаешь... Давай, сынок, по старой привычке газеты почитай... Глаза мои прихрамывают.

Бюро партколлектива одобрило мнение большинства молодежного бюро. Перед партийным и молодежным коллективами была поставлена важная и трудная задача: личной работой дать пример трудовой дисциплины. На бюро Цветаева основательно потрепали. Сначала он было запетушился, но, припертый в угол выступлением отсекра Лопахина, пожилого, с желто-бледным лицом от сжигающего его туберкулеза, Цветаев сдался и наполовину свою ошибку признал.

На другой день в стенных газетах в мастерских появились статьи, привлекшие внимание рабочих. Их читали вслух и горячо обсуждали. Вечером, на необычно многолюдном собрании молодежного коллектива, только и разговору было, что о них.

Костьку исключили, а в бюро коллектива ввели нового товарища, нового политпросвета — Корчагина.

Необычайно тихо и терпеливо слушали Нежданова. А тот говорил о новых задачах, о новом этапе, в который вступали железнодорожные мастерские.

После собрания Цветаева на улице ожидал Корчагин.

— Пойдем вместе, нам есть о чем поговорить,— подошел он к отсекру.

— О чем речь пойдет? — глухо спросил Цветаев.

Павел взял его под руку и, сделав с ним несколько шагов, остановился у скамьи.

— Сядем на минутку.— И первый сел.

Огонек папироски Цветаева то вспыхивал, то потухал.

— Скажи, Цветаев, за что ты на меня зуб имеешь?

Несколько минут молчания.

— Вот ты о чем, а я думал — о деле! — Голос Цветаева неровный, деланно удивленный.

Павел твердо положил свою ладонь на его колено.

— Брось, Димка, ездить на рессорах. Это так только дипломаты выкаблучивают. Ты вот дай ответ: почему я тебе не понутру пришелся?

Цветаев нетерпеливо шевельнулся.

— Чего пристал? Какой там зуб! Сам же предлагал тебе работать. Отказался, а теперь, выходит, вроде я тебя отшиваю.

Павел не уловил в его голосе искренности и, не снимая руки с колена, заговорил, волнуясь:

— Не хочешь отвечать — я скажу. Ты думаешь, я тебе дорогу перееду, думаешь — место отсекра мне снится? Ведь если бы не это, не было б перепалки из-за Костьки. Этакие отношения всю работу уродуют. Если бы это мешало только нам двоим, черт с ним — неважно, думай, что хочешь. Но мы же завтра на пару работать будем. Что из этого получится? Ну, так слушай. Нам делить нечего. Мы с тобой парни рабочие. Если тебе дело наше дороже всего, ты дашь мне пять, и завтра же начнем по-дружески. А ежели всю эту шелуху из головы не выкинешь и пойдешь по склочной тропинке, то за каждую прореху в деле, которая из-за этого получится, будем драться жестоко. Вот тебе рука, бери, пока это рука товарища.

С большим удовлетворением почувствовал Корчагин на своей ладони узловатые пальцы Цветаева.

Прошла неделя. В райкомпарте кончалась работа. Становилось тихо в отделах. Но Токарев еще не уходил.

Старик сидел в кресле, сосредоточенно читая свежие материалы. В дверь постучали.

— Ага! — ответил Токарев.

Вошел Корчагин и положил перед секретарем две заполненные анкеты.

— Что это?

— Это, отец, ликвидация безответственности. Думаю, пора. Если и ты того же мнения, то прошу твоей поддержки.

Токарев взглянул на заголовок, потом, несколько секунд посмотрев на юношу, молча взял перо в руки. И в графе, где были слова о партстаже рекомендующих товарища Корчагина Павла Андреевича в кандидаты РКП(б), твердо вывел «1903 год» и рядом свою бесхитростную подпись.

— На, сынок. Верю, что никогда не опозоришь мою седую голову.

В комнате душно, и мысль одна: как бы скорее туда, в каштановые аллеи привокзальной Соломенки.

— Кончай, Павка, нет моих сил больше,— обливаясь потом, взмолился Цветаев. Катюша, за ней и другие поддержали его.

Корчагин закрыл книгу. Кружок кончил свою работу. Когда всей гурьбой поднялись, на стене беспокойно звякнул старенький «эриксон». Стараясь перекричать разговаривающих в комнате, Цветаев повел переговоры.

Повесив трубку, он обернулся к Корчагину:

— На вокзале стоят два дипломатических вагона польского консульства. У них потух свет, поезд через час отходит, нужно исправить проводку. Возьми, Павел, ящик с материалом и сходи туда. Дело срочное.

Два блестящих вагона международного сообщения стояли у первого перрона вокзала. Салон-вагон с широкими окнами был ярко освещен, но соседний с ним утопал в темноте.

Павел подошел к роскошному пульману и взялся рукой за поручень, собираясь войти в вагон.

От вокзальной стены быстро отделился человек и взял его за плечо:

— Вы куда, гражданин?

Голос знакомый. Павел оглянулся. Кожаная куртка,

широкий козырек фуражки, тонкий с горбинкой нос и настороженно-недоверчивый взгляд.

Артюхин лишь теперь узнал Павла,— рука упала с плеча, выражение лица потеряло сухость, но взгляд вопросительно застрял на ящике.

— Ты куда шел?

Павел кратко объяснил. Из-за вагона появилась другая фигура.

— Сейчас я вызову их проводника.

В салон-вагоне, куда вошел Корчагин вслед за проводником, сидело несколько человек, изысканно одетых в дорожные костюмы. За столом, покрытым шелковой с розами скатертью, спиной к двери сидела женщина. Когда вошел Корчагин, она разговаривала с высоким офицером, стоявшим против нее. Едва монтер вошел, разговор прекратился.

Быстро осмотрев провода, идущие от последней лампы в коридор, и найдя их в порядке, Корчагин вышел из салон-вагона, продолжая искать повреждение. За ним неотступно следовал жирный, с шеей боксера, проводник в форме, изобилующей крупными медными пуговицами с изображением одноглавого орла.

— Перейдем в соседний вагон, здесь все исправно, аккумулятор работает. Повреждение, видно, там.

Проводник повернул ключ в двери, и они вошли в темный коридор. Освещая проводку электрическим фонариком, Павел скоро нашел место короткого замыкания. Через несколько минут загорелась первая лампочка в коридоре, залив его бледно-матовым светом.

— Надо открыть купе, там необходимо сменить лампы, они перегорели,— обратился к своему спутнику Корчагин.

— Тогда надо позвать пани, у нее ключ.— И проводник, не желая оставлять Корчагина одного, повел его за собой.

В купе первой вошла женщина, за ней Корчагин. Проводник остался стоять в дверях, закупорив их своим телом. Павлу бросились в глаза два изящных кожаных чемодана в сетках, небрежно брошенное на диван шелковое манто, флакон духов и крошечная малахитовая пудреница на столике у окна. Женщина села в углу дивана и, поправляя свои волосы цвета льна, наблюдала за работой монтера.

— Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку: пан майор хочет холодного пива,— угодливо сказал проводник, с трудом сгибая при поклоне свою бычью шею.

Женщина протянула певуче-жеманно:

— Можете идти.

Разговор шел на польском языке.

Полоса света из коридора падала на плечо женщины. Изысканное, из тончайшего лионского шелка, сшитое у первоклассных парижских мастеров платье пани оставляло обнаженными ее плечи и руки. В маленьком ушке, вспыхивая и сверкая, качался каплевидный бриллиант. Корчагин видел только плечо и руку женщины, словно выточенные из слоновой кости. Лицо было в тени. Быстро работая отверткой, Павел сменил в потолке розетку, и через минуту в купе появился свет. Оставалось осмотреть вторую электролампочку — над диваном, где сидела женщина.

— Мне нужно проверить эту лампочку,— сказал Корчагин, останавливаясь перед ней.

— Ах да, я ведь вам мешаю,— на чистом русском языке ответила пани и легко поднялась с дивана, встав почти рядом с Корчагиным. Теперь ее было видно всю. Знакомые стрельчатые линии бровей и надменно сжатые губы. Сомнений быть не могло: перед ним стояла Нелли Лещинская. Дочь адвоката не могла не заметить его удивленного взгляда. Но если Корчагин узнал ее, то Лещинская не заметила, что выросший за эти четыре года монтер и есть ее беспокойный сосед.

Пренебрежительно сдвинув брови в ответ на его удивление, она прошла к двери купе и остановилась там, нетерпеливо постукивая носком лакированной туфельки. Павел принялся за вторую лампочку. Отвинтив ее, посмотрел на свет и неожиданно для себя, а тем более для Лещинской, спросил на польском языке:

— Виктор тоже здесь?

Спрашивая, Корчагин не обернулся. Он не видел лица Нелли, но продолжительное молчание говорило о ее замешательстве.

— Разве вы его знаете?

— Очень даже знаю. Мы ведь были с вами соседи.— Павел повернулся к ней.

— Вы Павел, сын?..— Нелли запнулась.

— Кухарки,— подсказал ей Корчагин.

— Как вы выросли! Помню вас дикарем-мальчиком.

Нелли бесцеремонно рассматривала его с ног до головы.

— А почему вас интересует Виктор? Насколько я помню, вы с ним были не в ладах,— сказала Нелли своим певучим сопрано, надеясь рассеять скуку неожиданной встречей.

Отвертка быстро ввертывала в стену шуруп.

— За Виктором остался неоплаченный долг. Вы, когда встретите его, передайте, что я не теряю надежды расквитаться.

— Скажите, сколько он вам должен, я заплачу за него.

Она понимала, о каком «расчете» говорил Корчагин. Ей была известна вся история с петлюровцами, но желание подразнить этого «хлопа» толкало ее на издевку.

Корчагин отмолчался.

— Скажите: верно ли, что наш дом разграблен и разрушается? Наверно, беседка и клумбы все разворочены? — с грустью спросила Нелли.

— Дом теперь наш, а не ваш, и разрушать его нам нет расчета.

Нелли саркастически усмехнулась.

— Ого, вас тоже, видно, обучали? Но, между прочим, здесь вагон польской миссии, и в этом купе я госпожа, а вы как были рабом, так и остались. Вы и сейчас работаете, чтобы у меня был свет, чтобы мне было удобно читать вот на этом диване. Раньше ваша мать стирала нам белье, а вы носили воду. Теперь мы опять встретились в том же положении.

Она говорила это с торжествующим злорадством. Павел, зачищая ножичком кончик провода, смотрел на польку с нескрываемой насмешкой.

— Я для вас, гражданочка, и ржавого гвоздя не вбил бы, но раз буржуи выдумали дипломатов, то мы марку держим, и мы им голов не рубаем, даже грубостей не говорим, не в пример вам.

Щеки Нелли запунцовели.

— Что бы вы со мной сделали, если бы вам удалось взять Варшаву? Тоже изрубили бы в котлету или же взяли бы себе в наложницы?

Она стояла в дверях, грациозно изогнувшись;

чувственные ноздри, знакомые с кокаином, вздрагивали. Над диваном вспыхнул свет. Павел выпрямился.

— Кому вы нужны? Сдохнете и без наших сабель от кокаина. Я бы тебя даже как бабу не взял — такую!

Ящик в руках, два шага к двери. Нелли посторонилась, и уже в конце коридора он услыхал ее сдавленное:

— Пшеклентый большевик!

На другой день вечером, когда Корчагин направлялся в библиотеку, на улице встретился с Катюшей. Зажав в кулачок рукав его блузы, Зеленова шутливо преградила ему дорогу.

— Куда бежишь, политика и просвещение?

— В библиотеку, мамаша, освободи дорогу,— в тон ей ответил Корчагин, бережно взял Катюшу за плечи и осторожно отодвинул ее на мостовую. Освободясь от его рук, Катюша пошла рядом.

— Слушай, Павлуша! Не все же учиться... Знаешь что? Сходим сегодня на вечеринку. У Зины Гладыш сегодня собираются ребята. Меня девочки давно уже просили привести тебя. Ты ведь в одну политику ударился. Неужели тебе не хочется повеселиться, погулять? Ну, не почитаешь сегодня, твоей же голове легче,— настойчиво уговаривала его Катюша.

— Какая это вечеринка? Что там делать будут?

Катюша насмешливо передразнила:

— Что делать! Не богу же молиться, а весело проведут время — и только. Ведь ты на баяне играешь? А я ни разу не слыхала. Ну, сделай ты для меня удовольствие. У Зинкиного дяди баян есть, но дядя играет плохо. Тобой девочки интересуются, а ты над книгой сохнешь. Где это написано, чтобы комсомольцу повеселиться нельзя было? Идем, пока мне не надоело тебя уговаривать, а то поссорюсь с тобой на месяц.

Большеглазая малярка Катя — хороший товарищ и неплохая комсомолка. Корчагину не хотелось обижать дивчину, и он согласился, хоть и было непривычно и диковато.

В квартире паровозного машиниста Гладыша было людно и шумно. Взрослые, чтобы не мешать молодежи, перешли во вторую комнату, а в большой первой и на веранде, выходящей в маленький садик, собралось человек

пятнадцать парней и дивчат. Когда Катюша провела Павла через сад на веранду, там уже шла игра, так называемая «кормежка голубей». Посреди веранды стояли два стула спинками друг к другу. На них, по вызову хозяйки, руководившей игрой, сели парнишка и девушка. Хозяйка кричала: «Кормите голубей!» — и сидевшие друг к другу спиной молодые люди повертывали назад головы, губы их встречались, и они всенародно целовались. Потом шла игра в «колечко», в «почтальона», и каждая из них обязательно сопровождалась поцелуями, причем в «почтальоне», чтобы избежать общественного надзора, поцелуи переносились из освещенной веранды в комнату, где на это время тушился свет. Для тех, кого эти игры не удовлетворяли, на круглом столике, в углу, лежала стопка карточек «цветочного флирта». Соседка Павла, назвавшая себя Мурой, девушка лет шестнадцати, кокетничая голубыми глазенками, протянула ему карточку и тихо сказала:

— Фиалка.

Несколько лет тому назад Павел наблюдал такие вечера, и если и не принимал в них непосредственного участия, то все же считал нормальным явлением. Но сейчас, когда он навсегда оторвался от мещанской жизни маленького городка, вечеринка эта показалась ему чем-то уродливым и немного смешным.

Как бы то ни было, а карточка «флирта» была в его руке.

Напротив «фиалки» он прочитал: «Вы мне очень нравитесь».

Павел посмотрел на девушку. Она, не смущаясь, встретила этот взгляд.

— Почему?

Вопрос вышел тяжеловатым. Ответ Мура приготовила заранее.

— Роза,— протянула она ему вторую карточку.

Напротив «розы» стояло: «Вы мой идеал». Корчагин повернулся к девушке и, стараясь смягчить тон, спросил:

— Зачем ты этой чепухой занимаешься?

Мура смутилась и растерялась.

— Разве вам неприятно мое признание? — Ее губы капризно сморщились.

Корчагин оставил ее вопрос без ответа. Но ему захотелось узнать, кто с ним разговаривает. И он задавал

вопросы, на которые девушка охотно отвечала. Через несколько минут он уже знал, что она учится в семилетке, что ее отец — осмотрщик вагонов и что она знает его давно и хотела с ним познакомиться.

— Как твоя фамилия? — спросил Корчагин.

— Волынцева Мура.

— Твой брат секретарь ячейки депо?

— Да.

Теперь Корчагин знал, с кем он имеет дело. Один из активнейших комсомольцев района, Волынцев, как видно, совсем не обращал внимания на свою сестру, и она росла серенькой мещаночкой. В последний год стала посещать вечеринки у своих подруг с поцелуями до одурения. Корчагина она несколько раз видела у брата.

Сейчас Мура почувствовала, что сосед не одобряет ее поведения, и, когда ее позвали «кормить голубей», она, уловив кривую усмешку Корчагина, наотрез отказалась. Посидели еще несколько минут. Мура рассказывала о себе. К ним подошла Зеленова.

— Принести баян, ты сыграешь? — И, плутовато щуря глаза, смотрела на Муру:— Что, познакомились?

Павел усадил Катюшу рядом и, пользуясь тем, что кругом смеялись и кричали, сказал ей:

— Играть не буду, мы с Мурой сейчас уйдем отсюда.

— Ого! Заело, значит? — многозначительно протянула Зеленова.

— Да, заело. Ты скажи, кроме нас с тобой, здесь еще комсомольцы есть? Или только мы с тобой в «голубятники» зашились?

Катюша примиряюще сообщила:

— Уже бросили чудить, сейчас потанцуем.

Корчагин поднялся.

— Ладно, танцуй, старуха, а мы с Волынцевой все-таки уйдем.

Однажды вечером Борхарт зашла к Окуневу. В комнате сидел один Корчагин.

— Ты очень занят, Павел? Хочешь, пойдем на пленум горсовета? Вдвоем нам будет веселее идти, а возвращаться придется поздно.

Корчагин быстро собрался. Над его кроватью висел маузер, он был слишком тяжел. Из стола он вынул брау-

нинг Окунева и положил в карман. Оставил записку Окуневу. Ключ спрятал в условленном месте.

В театре встретили Панкратова и Ольгу. Сидели все вместе, в перерывах гуляли по площади. Заседание, как и ожидала Анна, затянулось до поздней ночи.

— Может, пойдем ко мне спать? Поздно уже, а идти далеко,— предложила Юренева.

— Нет, мы уж с ним договорились,— отказалась Анна.

Панкратов и Ольга направились вниз по проспекту, а соломенцы пошли в гору.

Ночь была душная, темная. Город спал. По тихим улицам расходились в разные стороны участники пленума. Их шаги и голоса постепенно затихали. Павел и Анна быстро уходили от центральных улиц. На пустом рынке их остановил патруль. Проверив документы, пропустил. Пересекли бульвар и вышли на неосвещенную, безлюдную улицу, проложенную через пустырь. Свернули влево и пошли по шоссе, параллельно центральным дорожным складам. Это были длинные бетонные здания, мрачные и угрюмые. Анну невольно охватило беспокойство. Она пытливо всматривалась в темноту, отрывисто и невпопад отвечала Корчагину. Когда подозрительная тень оказалась всего лишь телеграфным столбом, Борхарт рассмеялась и рассказала Корчагину о своем состоянии. Взяла его под руку и, прильнув плечом к его плечу, успокоилась.

— Мне двадцать третий год, а неврастения, как у старушки. Ты можешь принять меня за трусиху. Это будет неверно. Но сегодня у меня особенно напряженное состояние. Вот сейчас, когда я чувствую тебя рядом, исчезает тревога, и мне даже неловко за все эти опаски.

Спокойствие Павла, вспышки огонька его папиросы, на миг освещавшего уголок его лица, мужественный излом бровей — все это рассеяло страх, навеянный чернотой ночи, дикостью пустыря и слышанным в театре рассказом о вчерашнем кошмарном убийстве на Подоле.

Склады остались позади. Миновали мостик, переброшенный через речонку, и пошли по привокзальному шоссе к туннельному проезду, что пролегал внизу, под железнодорожными путями, соединяя эту часть города с железнодорожным районом.

Вокзал остался далеко в стороне, вправо. Проезд проходил в тупик, за депо. Это были уже свои места.

Наверху, где железнодорожные пути, искрились разноцветные огни на стрелках и семафорах, а у депо утомленно вздыхал уходящий на ночной отдых «маневрик».

Над входом в туннель висел на ржавом крюке фонарь. Он едва заметно покачивался от ветерка, и желто-мутный свет его двигался от одной стены туннеля к другой.

Шагах в десяти от входа в туннель, у самого шоссе, стоял одинокий домик. Два года назад в него плюхнулся тяжелый снаряд и, разворотив его внутренности, превратил лицевую сторону в развалину, и сейчас он зиял огромной дырой, словно нищий у дороги, выставляя напоказ свое убожество. Было видно, как наверху по насыпи пробежал поезд.

— Вот мы почти и дома,— облегченно сказала Анна.

Павел незаметно попытался освободить свою руку. Но Анна руки не отпустила. Прошли мимо разрушенного домика.

Сзади вдруг что-то сорвалось. Стремительный топот ног. Хриплое дыхание. Их настигали.

Корчагин рванул руку, но Анна в ужасе прижала ее к себе. И когда он с силой все же вырвал ее, было уже поздно: шею Павла обхватил железный зажим пальцев. Рывок в сторону — и Павел повернут лицом к напавшему. Рука переползла к горлу и, свернув жгутом воротник гимнастерки, держала его перед дулом револьвера, медленно описывающим дугу.

Завороженные глаза электрика следили за этой дугой с нечеловеческим напряжением. Смерть заглядывала в глаза пятном дула, и не было сил, не хватало воли хоть на сотую секунды оторвать глаза от дула. Ждал удара. Но выстрела не было, и широко раскрытые глаза Павла увидели лицо бандита. Большой череп, могучая челюсть, чернота небритой бороды и усов, а глаза под широким козырьком кепки остались в тени.

Край глаза Корчагина запечатлел мелово-бледное лицо Анны, которую в тот же миг потянул в провал дома один из трех. Ломая руки, повалил ее на землю. К Павлу метнулась еще одна тень, ее Корчагин видел лишь отраженной на стене туннеля. Сзади, в провале дома, шла борьба. Анна отчаянно сопротивлялась, ее задушенный крик прервала закрывшая рот фуражка. Большеголового, в чьих руках был Корчагин, не желавшего оставаться без-

участным свидетелем насилия, как зверя, тянуло к добыче. Это, видимо, был главарь, и такое распределение ролей ему не понравилось. Юноша, которого он держал перед собой, был совсем зеленый, по виду «замухрай деповский». Опасности этот мальчишка не представлял никакой.

«Ткнуть его в лоб шпалером раза два-три как следует и показать дорогу на пустыри — будет рвать подметки, не оглядываясь до самого города». И он разжал кулак.

— Дергай бегом... Крой, откуда пришел, а пикнешь — пуля в глотку.— И большеголовый ткнул Корчагина в лоб стволом.— Дергай,— с хрипом выдавил он и опустил парабеллум, чтобы не пугать пулей в спину.

Корчагин бросился назад, первые два шага боком, не выпуская из виду большеголового. Бандит понял, что юноша все еще боится получить пулю, и повернулся к дому.

Рука Корчагина рванулась в карман. «Лишь бы успеть, лишь бы успеть!» Круто обернулся и, вскинув вперед вытянутую левую руку, на миг уловил концом дула большеголового — выстрелил.

Бандит поздно понял свою ошибку. Пуля впилась ему в бок раньше, чем он поднял руку.

От удара его шатнуло к стене туннеля, и, глухо взвыв, цепляясь рукой за стену, он медленно оседал на землю. Из провала дома, вниз, в яр, скользнула тень. Вслед ей разорвался второй выстрел Корчагина. Вторая тень, изогнутая, скачками уходила в черноту туннеля. Выстрел. Осыпанная пылью раскрошенного пулей бетона, тень метнулась в сторону и нырнула в темноту. Вслед ей трижды взбудоражил ночь браунинг. У стены, извиваясь червяком, агонизировал большеголовый.

Потрясенная ужасом происшедшего, Анна, поднятая Корчагиным с земли, смотрела на корчащегося бандита, не веря в свое спасение.

Корчагин силой увлек ее в темноту, назад, к городу, уводя из освещенного круга. Они бежали к вокзалу. А у туннеля, на насыпи, уже мелькали огоньки и тяжело охнул на путях тревожный винтовочный выстрел.

Когда, наконец, добрались до квартиры Анны, где-то на Батыевой горе запели петухи. Анна прилегла на кровать. Корчагин сел у стола. Он курил, сосредоточенно

наблюдая, как уплывает вверх серый виток дыма... Только что он убил четвертого в своей жизни человека.

Есть ли вообще мужество, проявляющееся всегда в своей совершенной форме? Вспоминая все свои ощущения и переживания, он признался себе, что в первые секунды черный глаз дула заледенил его сердце. А разве в том, что две тени безнаказанно ушли, виновата лишь одна слепота глаза и необходимость бить с левой руки? Нет. На расстоянии нескольких шагов можно было стрелять удачнее, но все та же напряженность и поспешность, несомненный признак растерянности, были этому помехой.

Свет настольной лампы освещал его голову, а Анна наблюдала за ним, не упуская ни одного движения мышц на его лице. Впрочем, глаза его были спокойны, и о напряженности мысли говорила лишь складка на лбу.

— О чем ты думаешь, Павел?

Его мысли, вспугнутые вопросом, уплыли, как дым, за освещенный полукруг, и он сказал первое, что пришло сейчас в голову:

— Мне необходимо сходить в комендатуру. Надо обо всем этом поставить в известность.

И нехотя, преодолевая усталость, поднялся.

Она не сразу отпустила его руку — не хотелось оставаться одной. Проводила до двери и закрыла ее, лишь когда Корчагин, ставший ей теперь таким дорогим и близким, ушел в ночь.

Приход Корчагина в комендатуру объяснил непонятное для железнодорожной охраны убийство. Труп сразу опознали: это был хорошо известный уголовному розыску Фимка Череп, налетчик и убийца-рецидивист.

Случай у туннеля на другой день стал известен всем. Это обстоятельство вызвало неожиданное столкновение между Павлом и Цветаевым.

В разгар работы в цех вошел Цветаев и позвал к себе Корчагина. Цветаев вывел его в коридор и, остановившись в глухом закоулке, волнуясь и не зная, с чего начать, наконец, выговорил:

— Расскажи, что вчера было.

— Ты же знаешь.

Цветаев беспокойно шевельнул плечами. Монтер не знал, что Цветаева случай у туннеля коснулся острее других. Монтер не знал, что этот кузнец, вопреки своей

внешней безразличности, был неравнодушен к Борхарт. Анна не у него одного вызывала чувство симпатии, но у Цветаева это происходило сложнее. Случай у туннеля, о котором он только что узнал от Лагутиной, оставил в его сознании мучительный, неразрешимый вопрос. Вопрос этот он не мог поставить монтеру прямо, но знать ответ хотел. Краем сознания он понимал эгоистическую мелочность своей тревоги, но в разноречивой борьбе чувств в нем на этот раз победило примитивное, звериное.

— Слушай, Корчагин,— заговорил он приглушенно.— Разговор останется между нами. Я понимаю, что ты не рассказываешь об этом, чтобы не терзать Анну, но мне ты можешь довериться. Скажи, когда тебя бандит держал, те изнасиловали Анну? — В конце фразы Цветаев не выдержал и отвел глаза в сторону.

Корчагин начал смутно понимать его. «Если бы Анна ему была безразлична, Цветаев так бы не волновался. А если Анна ему дорога, то...» Павел оскорбился за Анну.

— Для чего ты спросил?

Цветаев заговорил что-то несвязное и, чувствуя, что его поняли, обозлился:

— Чего ты увиливаешь? Я тебя прошу ответить, а ты меня допрашивать начинаешь.

— Ты Анну любишь?

Молчание. Затем трудно произнесенное Цветаевым:

— Да.

Корчагин, едва сдерживая гнев, повернулся и пошел по коридору не оглядываясь.

Николай Окунев, смущенно потоптавшись у кровати друга, присел на край и положил руку на книгу, которую читал Павел.

— Знаешь, Павлуша, приходится тебе рассказывать об одной истории. С одной стороны, вроде ерунда, а с другой — совсем наоборот. У меня с Талей Лагутиной получилось недоразумение. Сначала, видишь ли, она мне понравилась.— Окунев виновато поскреб у виска, но, видя, что друг не смеется, осмелел: — А потом у Тали... что-то в этом роде. Одним словом, я всего этого тебе рассказывать не буду, все видно и без фонаря. Вчера мы решили попытать счастье, построить жизнь нашу на пару. Мне двадцать два года, мы оба имеем право голосовать. Я хочу

создать жизнь с Талей на началах равенства. Как ты на это?

Корчагин задумался:

— Что я могу ответить, Коля? Вы оба мои приятели, по роду из одного племени. Остальное тоже общее, а Таля особенно дивчина хорошая... Все здесь понятно.

На другой день Корчагин перенес свои вещи к ребятам в общежитие при депо, а через несколько дней у Анны был товарищеский вечер без еды и питья — коммунистическая вечеринка в честь содружества Тали и Николая. Это был вечер воспоминаний, чтения отрывков из наиболее волнующих книг. Много и хорошо пели хором. Далеко были слышны боевые песни, а позже Катюша Зеленова и Волынцева принесли баян, и рокот густых басов и серебряный перезвон ладов заполнили комнату. В этот вечер Павка играл на редкость хорошо, а когда на диво всем пустился в пляс верзила Панкратов, Павка забылся, и гармонь, теряя новый стиль, рванула огнем:

Эх, улица, улица!
Гад Деникин журится,
Что сибирская Чека
Разменяла Колчака...

Играла гармонь о прошлом, об огневых годах и о сегодняшней дружбе, борьбе и радости. Но когда гармонь была передана Волынцеву и слесарь рявкнул жаркое «яблочко», в стремительный пляс ударился не кто иной, как электрик. В сумасшедшей чечетке плясал Корчагин третий и последний раз в своей жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Рубеж — это два столба. Они стоят друг против друга, молчаливые и враждебные, олицетворяя собой два мира. Один выстроганный и отшлифованный, выкрашенный, как полицейская будка, в черно-белую краску. Наверху крепкими гвоздями приколочен одноглавый хищник. Разметав крылья, как бы обхватывая когтями лап полосатый столб, недобро всматривается одноглавый стервятник в металлический щит напротив, изогнутый клюв его вытянут и напряжен. Через шесть шагов напротив — другой столб. Глубоко в землю врыт круглый, тесаный дубовый

столбище. На столбе литой железный щит, на нем молот и серп. Меж двумя мирами пролегла пропасть, хотя столбы врыты на ровной земле. Перейти эти шесть шагов нельзя человеку, не рискуя жизнью.

Здесь граница.

От Черного моря на тысячи километров до Крайнего Севера, к Ледовитому океану, выстроилась неподвижная цепь этих молчаливых часовых советских социалистических республик с великой эмблемой труда на железных щитах. От того столба, на котором вбит пернатый хищник, начинаются рубежи Советской Украины и панской Польши. В глубоких лесах затерялось маленькое местечко Берездов. В десяти километрах от него, напротив польского местечка Корец,— граница. От местечка Славута до местечка Анаполя район Н-ского погранбата.

Бегут пограничные столбы по снежным полям, пробираясь сквозь лесные просеки, сбегают в яры, выползают наверх, маячат на холмиках и, добравшись до реки, всматриваются с высокого берега на занесенные снегом равнины чужого края.

Мороз. Хрустит под валенками снег. От столба с серпом и молотом отделяется огромная фигура в богатырском шлеме; тяжело переступая, движется в обход своего участка. Рослый красноармеец одет в серую с зелеными петлицами шинель и валенки. Поверх шинели накинута огромная баранья доха с широчайшим воротником, а голова тепло охвачена суконным шлемом. На руках бараньи варежки. Доха длинная, до самых пят, в ней тепло даже в лютую вьюгу. Поверх дохи на плече — винтовка. Красноармеец, загребая дохой снег, идет по сторожевой тропинке, смачно вдыхая дымок махорочной закрутки. На советской границе, в открытом поле, часовые стоят в километре друг от друга, чтобы глазом видно было своего соседа. На польской стороне — на километр-два.

Навстречу красноармейцу, по своей сторожевой тропинке, движется польский жолнер. Он одет в грубые солдатские ботинки, в серо-зеленый мундир и брюки, а поверх черная шинель с двумя рядами блестящих пуговиц. На голове фуражка-конфедератка. На фуражке белый орел, на суконных погонах орлы, в петлицах на воротнике орлы, но от этого солдату не теплее. Суровый мороз пробил его до костей. Он трет одеревенелые уши, на ходу постукивает каблуком о каблук, а руки в тонких перчатках

закоченели. Ни на одну минуту поляк не может остановиться: мороз тотчас же сковывает его суставы, и солдат все время движется, иногда пускаясь в рысь. Часовые поровнялись, поляк повернулся и пошел параллельно красноармейцу.

Разговаривать на границе нельзя, но когда кругом пустынно и лишь за километр впереди человеческие фигуры — кто узнает, идут ли эти двое молча или нарушают международные законы.

Поляк хочет курить, но спички забыты в казарме, а ветерок, как назло, доносит с советской стороны соблазнительный запах махорки. Поляк перестал тереть обмороженное ухо и оглянулся назад: бывает, конный разъезд с вахмистром, а то и с паном поручиком, шныряя по границе, неожиданно вынырнет из-за бугра, проверяя посты. Но пусто вокруг. Ослепительно сверкает на солнце снег. В небе — ни одной снежинки.

— Товарищу, дай шпеналиць,— первым нарушает святость закона поляк и, закинув свою многозарядную французскую винтовку со штыком-саблей за спину, с трудом вытаскивает озябшими пальцами из кармана шинели пачку дешевых сигарет.

Красноармеец слышит просьбу поляка, но полевой устав пограничной службы запрещает бойцу вступать в переговоры с кем-нибудь из зарубежников, да к тому же он не вполне понял то, что сказал солдат. И он продолжает свой путь, твердо ставя ноги в теплых и мягких валенках на скрипучий снег.

— Товарищ большевик, дай прикурить, брось коробку спичек,— на этот раз уже по-русски говорит поляк.

Красноармеец всматривается в своего соседа. «Видать, мороз «папа» пронял до печенки. Хоть и буржуйский солдатишка, а жизня у его дырявая. Выгнали на такой мороз в одной шинелишке, вот и прыгает, как заяц, а без курева так совсем никуды». И красноармеец, не оборачиваясь, бросает спичечную коробку. Солдат ловит ее на лету и, часто ломая спички, наконец, закуривает. Коробка таким же путем опять переходит границу, и тогда красноармеец нечаянно нарушает закон:

— Оставь у себя, у меня есть.

Но из-за границы доносится:

— Нет, спасибо, мне за эту пачку в тюрьме года два отсидеть пришлось бы.

Красноармеец смотрит на коробку. На ней аэроплан. Вместо пропеллера мощный кулак и написано: «Ультиматум».

«Да, действительно, для них неподходяще».

Солдат все продолжает идти в одну с ним сторону. Ему одному скучно в безлюдном поле.

Ритмично скрипят седла, рысь коней успокаивающе равномерна. На морде вороного жеребца, вокруг ноздрей, на волосах морозный иней, лошадиное дыхание белым паром тает в воздухе. Пегая кобыла под комбатом красиво ставит ногу, балует поводом, изгибая дугой тонкую шею. На обоих всадниках серые, перетянутые портупеями шинели, на рукавах по три красных квадрата, но у комбата Гаврилова петлицы зеленые, а у его спутника — красные. Гаврилов — пограничник. Это его батальон протянул свои посты на семьдесят километров, он здесь «хозяин». Его спутник — гость из Бераздова, военный комиссар батальона ВВО Корчагин.

Ночью падал снег. Сейчас он лежит, пушистый и мягкий, не тронутый ни копытом, ни человеческой ногой. Всадники выехали из перелеска и зарысили по полю. Шагах в сорока в стороне опять два столба.

— Тпру-у!

Гаврилов туго натягивает повод. Корчагин заворачивает вороного, чтобы узнать причину остановки. Гаврилов свесился с седла и внимательно рассматривает странную цепочку следов на снегу, словно кто-то провел зубчатым колесиком. Здесь прошел хитрый зверек, ставя нога в ногу и запутывая свой след замысловатыми петлями. Трудно было понять, откуда шел след, но не звериный след заставил комбата остановиться. В двух шагах от цепочки запорошенные снегом другие следы. Здесь прошел человек. Он не запутывал свой след, а шел прямо к лесу, и след показывал отчетливо — человек шел из Польши. Комбат трогает лошадь, и след приводит его к сторожевой тропинке. На десяток шагов на польской стороне виден отпечаток ног.

— Ночью кто-то перешел границу,— пробурчал комбат.— Опять в третьем взводе прохлопали, а в утренней сводке ничего нет. Черти! — Усы у Гаврилова с сединкой,

а иней от теплого дыхания засеребрил их, и они сурово нависли над губой.

Навстречу всадникам движутся две фигуры. Одна маленькая, черная, со вспыхивающим на солнце лезвием французского штыка, другая огромная, в желтой бараньей дохе. Пегая кобыла чувствует шенкеля, забирает ход, и всадники быстро сближаются с идущим навстречу. Красноармеец поправляет ремень на плече и сплевывает на снег докуренную цигарку.

— Здравствуйте, товарищ! Как у вас здесь, на участке? — И комбат, почти не сгибаясь, так как красноармеец рослый, подает ему руку. Богатырь поспешно сдергивает с руки варежку. Комбат здоровается с постовым.

Поляк издали наблюдает. Два красных офицера здороваются с солдатом, как близкие приятели. На миг представляет себе, как бы это он подал руку своему майору Закржевскому, и от этой нелепой мысли невольно оглядывается.

— Только что принял пост, товарищ комбат,— отрапортовал красноармеец.

— След вон там видели?

— Нет, не видел еще.

— Кто стоял ночью от двух до шести?

— Суротенко, товарищ комбат.

— Ну, ладно, глядите же в оба.

И, уже собираясь отъезжать, сурово предупредил:

— Поменьше с этими прохаживаться.

Когда кони шли рысью по широкой дороге, что протянулась между границей и местечком Берездовым, комбат рассказывал:

— На границе глаз нужен. Чуть проспишь, горько пожалеешь. Служба у нас бессонная. Днем границу проскочить не так-то легко, зато ночью держи ухо востро. Вот судите сами, товарищ Корчагин. На моем участке четыре села пополам разрезаны. Здесь очень трудно. Как цепь ни расставляй, а на каждой свадьбе или празднике из-за кордона вся родня присутствует. Еще бы не пройти — двадцать шагов хата от хаты, а речонку курица пешком перейдет. Не обходится и без контрабанды. Правда, все это мелочь. Принесет баба пару бутылок зубровки польской сорокаградусной, но зато немало крупных контрабандистов, где орудуют люди с большими деньгами. А ты

знаешь, что поляки делают? Во всех пограничных селах открыли универсальные магазины: что хочешь, то и купишь. Конечно, это сделано не для своих нищих крестьян.

Корчагин с интересом слушал комбата. Пограничная жизнь похожа на беспрерывную разведку.

— Скажите, товарищ Гаврилов, одной ли перевозкой контрабанды дело ограничивается?

Комбат ответил угрюмо:

— Вот то-то и оно-то!..

Маленькое местечко Берездов. Глухой провинциальный угол, бывшая еврейская черта оседлости. Две-три сотни домишек, бестолково расставленных где попало. Огромная базарная площадь, посреди площади два десятка лавчонок. Площадь грязная, навозная. Опоясывали местечко крестьянские дворы. В еврейском центре по дороге к бойне старая синагога. Унынием веет от этого ветхого здания. Правда, жаловаться на пустоту по субботам синагога не может, но это уже не то, что было раньше, и жизнь у раввина совсем не такая, какую бы он хотел. Что-то, видно, очень плохое случилось в девятьсот семнадцатом году, раз даже здесь, в таком захолустье, молодежь смотрит на раввина без должного уважения. Правда, старики еще не едят «трефного», но сколько мальчишек едят проклятую богом колбасу свиную! Тьфу, паскудно даже подумать! Реббе Борух в сердцах пинает ногой свинью, старательно роющую навозную кучу в поисках съедобного. Да, он — раввин — не совсем доволен тем, что Берездов стал районным центром. Понаехало черт знает откуда этих коммунистов, и все крутят и крутят, и с каждым днем все новая неприятность. Вчера он, реббе, увидел на воротах поповской усадьбы новую вывеску: «Берездовский районный комитет Коммунистического союза молодежи Украины».

Ожидать чего-нибудь хорошего от этой вывески нельзя. Охваченный своими мыслями, раввин не заметил, как наткнулся на небольшое объявление, наклеенное на дверях его синагоги:

«Сегодня в клубе созывается открытое собрание трудящейся молодежи. С докладом выступает предсе-

датель исполнительного комитета Лисицын и врид секретаря райкомола товарищ Корчагин. После собрания будет устроен концерт силами учащихся девятилетки».

Раввин бешено сорвал листок с двери.

«Вот оно, начинается!»

С двух сторон охватывает местечковую церквушку большой сад поповской усадьбы, а в саду старинной кладки просторный дом. Затхлая, скучная пустота комнат, в которых жили поп с попадьей, такие же, как и дом, старые и скучные, давно надоевшие друг другу. Сразу же исчезла скука, когда в дом вошли новые хозяева. В большом зале, где благочестивые хозяева лишь в престольные праздники принимали гостей, теперь всегда людно. Поповский дом стал партийным комитетом Берездова. На двери маленькой комнатки, направо от парадного хода, мелом написано: «Райкомсомол». Здесь часть своего дня проводил Корчагин, исполнявший по совместительству с работой военкома второго батальона всеобщего военного обучения и обязанности секретаря только что созданного райкома комсомола.

Восемь месяцев прошло с того дня, когда проводили они товарищеский вечер у Анны. А кажется, что это было так недавно. Корчагин отложил гору бумаг в сторону и, откинувшись на спинку кресла, задумался...

Тихо в доме. Поздняя ночь, партком опустел. Недавно последним ушел Трофимов, секретарь райкомпартии, и сейчас Корчагин в доме один. Окно заткано причудливыми узорами мороза. Керосиновая лампа на столе, жарко натоплена печь. Корчагин вспоминает недавнее. В августе послал его коллектив мастерских как молодежного организатора с ремонтным поездом в Екатеринослав. И до глубокой осени полтораста человек двигались от станции к станции, разгружая их от наследия войны и разрухи, от горелых и разбитых вагонов. Прошел их путь от Синельникова до Полог. Здесь, в бывшем царстве бандита Махно, на каждом шагу следы разрушения и истребления. В Гуляй-Поле неделю восстанавливали каменное здание водокачки, нашивали железные заплаты на развороченные динамитом бока водяной цистерны. Не знал электрик искусства и тяжести слесарного труда, но не одну тысячу ржавых гаек завинтили его руки, вооруженные ключом.

Глубокой осенью подошел поезд к родным мастерским. Цехи приняли обратно в свои корпуса сто пятьдесят пар рук...

Чаще стали видеть электрика у Анны. Сгладилась складка на лбу, и не раз слышался его заразительный смех.

Опять братва мазутная слушала в кружках его повести о давно минувших годах борьбы. О попытках мятежной, рабской, сермяжной Руси свалить коронованное чудовище. О бунтах Стеньки Разина и Пугачева.

Одним вечером, когда у Анны собралось много молодого люда, электрик неожиданно избавился от одного старого нездорового наследства. Он, привыкший к табаку почти с детских лет, сказал жестко и бесповоротно:

— Я больше не курю.

Это произошло неожиданно. Кто-то завязал спор о том, что привычка сильнее человека, как пример привел куренье. Голоса разделились. Электрик не вмешивался в спор, но его втянула Таля, заставила говорить. Он сказал то, что думал:

— Человек управляет привычкой, а не наоборот. Иначе до чего же мы договоримся?

Цветаев из угла крикнул:

— Слово со звоном. Это Корчагин любит. А вот если этот форс по шапке, то что же получается? Сам-то он курит? Курит. Знает, что куренье ни к чему? Знает. А вот бросить — гайка слаба. Недавно он в кружках «культуру насаждал».— И, меняя тон, Цветаев спросил с холодной насмешкой: — Пусть-ка он ответит нам, как у него с матом? Кто Павку знает, тот скажет: матершит редко, да метко. Проповедь читать легче, чем быть святым.

Наступило молчание. Резкость тона Цветаева неприятно подействовала на всех. Электрик ответил не сразу. Медленно вынул изо рта папиросу, скомкал и негромко сказал:

— Я больше не курю.

Помолчав, добавил:

— Это я для себя и немного для Димки. Грош цена тому, кто не сможет сломить дурной привычки. За мной остается ругань. Я, братва, не совсем поборол этот позор, но даже Димка признается, что редко слышит мою брань.

Слову легче сорваться, чем закурить папиросу, вот почему не скажу сейчас, что и с тем покончил. Но я все-таки и ругань угроблю.

Перед самой зимой запрудили реку дровяные сплавы, разбивало их осенним разливом, и гибло топливо, уносилось вниз по реке. Соломенка опять послала свои коллективы, чтобы спасти лесные богатства.

Нежелание отстать от коллектива заставило Корчагина скрыть от товарищей жестокую простуду, и когда через неделю на берегах пристани выросли горы штабелей дров, студеная вода и осенняя промозглость разбудили врага, дремавшего в крови,— и Корчагин запылал в жару. Две недели жег острый ревматизм его тело, а когда вернулся из больницы, у тисков мог работать, лишь сидя «верхом». Мастер только головой качал. А через несколько дней беспристрастная комиссия признала его нетрудоспособным, и он получил расчет и право на пенсию, от которой гневно отказался.

С тяжелым сердцем покинул он свои мастерские. Опираясь на палку, передвигался медленно и с мучительной болью. Писала не раз мать, просила навестить, и сейчас он вспомнил о своей старушке, о ее словах на прощанье: «Вижу вас, лишь когда покалечитесь».

В губкоме получил свернутые в трубочки два личных дела: комсомольское и партийное, и, почти ни с кем не прощаясь, чтобы не разжигать горя, уехал к матери. Две недели старушка парила и натирала ему распухшие ноги, и через месяц он уже ходил без палки, а в груди билась радость, и сумерки опять перешли в рассвет. Поезд доставил его в губернский центр. Через три дня в орготделе ему вручили документ, по которому он направлялся в губвоенкомат для использования политработником в формировании военобуча. А еще через неделю он приехал сюда, в занесенное снегом местечко, как военкомбат 2. В окружном комитете комсомола получил задание собрать разрозненных комсомольцев и создать в новом районе организацию. Вот как поворачивалась жизнь.

На дворе знойно. В раскрытое окно кабинета предисполкома заглядывает ветка вишни. Солнце зажигает золоченый крест на готической колокольне костела, что

стоит через дорогу напротив исполкома. В садике перед окном проворно ищут корм нежно-пушистые, зеленые, как окружающая их трава, крошечные гусенята исполкомовской сторожихи.

Предисполкома дочитывал только что полученную депешу. По его лицу пробежала тень. Большая узловатая рука заползла в пышную вьющуюся шевелюру и застряла там.

Николаю Николаевичу Лисицыну, председателю Берездовского исполкома, всего лишь двадцать четыре года, но никто из его сотрудников и партийных работников этого не знает. Он, большой и сильный человек, суровый и подчас грозный, выглядит тридцатипятилетним. Крепкое тело, большая голова, посаженная на могучую шею, карие, с холодком, проницательные глаза, энергичная, резкая линия подбородка. Синие рейтузы, серый «видавший виды» френч, на левом грудном кармане орден Красного Знамени.

До Октября Лисицын «командовал» токарным станком на Тульском оружейном заводе, где его дед и отец и он почти с детских лет резали и точили железо.

А с той осенней поры, когда впервые схватил в руки оружие, которое до этого лишь делал, попал Коля Лисицын в буран. Бросали его революция и партия из одного пожара в другой. От красноармейца до боевого командира и комиссара полка прошел свой славный путь тульский оружейник.

Отошли в прошлое пожары и орудийный грохот. Сейчас Николай Лисицын здесь, в пограничном районе. Жизнь течет мирно. До глубокого вечера просиживает он над урожайными сводками, а вот эта депеша на миг воскрешает недавнее. Скупым телеграфным языком предупреждает депеша:

«Совершенно секретно. Берездовскому предисполкома Лисицыну.

На границе замечается оживленная переброска поляками крупной банды, могущей терроризовать погранрайоны. Примите меры осторожности. Предлагается ценности финотдела переслать в округ, не задерживая у себя налоговых сумм».

Из окна кабинета Лисицыну виден каждый, кто входит в РИК. На крыльце Корчагин. Через минуту стук в дверь.

— Садись, потолкуем.— И Лисицын пожимает руку Корчагину.

Целый час предисполкома не принимал никого.

Когда Корчагин вышел из кабинета, был уже полдень. Из сада выбежала маленькая сестренка Лисицына Нюра. Павел звал ее Анюткой. Застенчивая и не по летам серьезная, девочка всегда при встрече с Корчагиным приветливо улыбалась, и сейчас она неловко, по-детски, поздоровалась, откидывая со лба прядку стриженых волос.

— У Коли никого нет? Его Мария Михайловна давно ждет к обеду,— сказала Нюра.

— Иди, Анютка, он один.

На другой день, еще далеко до рассвета, к исполкому подъехали три запряженные сытыми конями подводы. Люди на них тихо переговаривались. Из финотдела вынесли несколько запечатанных мешков, погрузили на подводы, и через несколько минут по шоссе загрохотали колеса. Подводы окружал отряд под командой Корчагина. Сорок километров до окружного центра (из них двадцать пять лесом) пройдены благополучно: ценности перешли в сейфы окрфинотдела. А через несколько дней со стороны границы в Берездов прискакал кавалерист. Всадника и взмыленную лошадь провожали недоуменные взгляды местечковых ротозеев.

У ворот исполкома кавалерист тюком свалился на землю и, поддерживая рукой саблю, загремел по ступенькам тяжелыми сапожищами. Лисицын, нахмурясь, принял от него пакет, распечатал и на конверте написал расписку. Не давая коню передохнуть, пограничник вскочил в седло и, сразу же забирая в карьер, поскакал обратно.

Никто не знал содержания пакета, кроме предисполкома, только что прочитавшего его. Но у местечковых обывателей какой-то собачий нюх. Из трех мелких торговцев здесь два обязательно мелкие контрабандисты, и этот промысел вырабатывает в них какую-то инстинктивную способность угадывать опасность.

По тротуару к штабу батальона ВВО быстро прошли два человека. Один из них Корчагин. Этого обыватели знают: он всегда вооружен. Но то, что секретарь парткома Трофимов в портупее с наганом,— это уже плохо.

Через несколько минут из штаба выбежали полтора десятка человек и, поддерживая винтовки с примкнутыми штыками, бегом бросились к мельнице, что стояла на перекрестке. Остальные коммунисты и комсомольцы вооружались в парткоме. Проскакал верхом в кубанке и с неизменным маузером на боку предисполкома. Ясно — творилось что-то неладное, и большая площадь и глухие переулки словно вымерли — ни одной живой души. В один миг на дверях маленьких лавчонок появились огромные средневековые замки, захлопнулись ставни. И только бесстрашные куры да разморенные жарой свиньи старательно сортировали содержимое куч.

На околице в садах залегла застава. Отсюда начинаются поля и далеко видна прямая линия дороги.

Сводка, полученная Лисицыным, была немногословна:

«Сегодня ночью в районе Поддубец с боем прорвалась через границу на советскую территорию конная банда, приблизительно сто сабель при двух ручных пулеметах. Примите меры. След банды теряется в Славутских лесах. Предупреждаю, днем через Берездов в погоне за бандой пройдет сотня красных казаков. Не спутайте.

Комбат отдельного пограничного Гаврилов».

Уже через час по дороге к местечку показался конный, а в километре позади конная группа. Корчагин пристально всматривался вперед. Конник подъезжал осторожно, но заставы в садах не заметил. Это был молодой красноармеец из 7-го полка красного казачества. Разведка была ему в новинку, и, когда его внезапно окружили высыпавшие из садов на дорогу люди, он, увидав на гимнастерках значки КИМ, смущенно улыбнулся. После коротких переговоров он повернул лошадь и поскакал к идущей на рысях сотне. Застава пропустила красных казаков и вновь залегла в садах.

Прошло несколько тревожных дней. Лисицын получил сводку, в которой говорилось, что бандитам не удалось развернуть диверсионные действия: преследуемая красной кавалерией, банда вынуждена была спешно ретироваться за кордон.

Крошечная группа большевиков — девятнадцать человек во всем районе — напряженно работала над советским строительством. Молодой, только что организованный

район требовал создания всего заново. Близость границы держала всех в неусыпной бдительности.

Перевыборы Советов, борьба с бандитами, культработа, борьба с контрабандой, военно-партийная и комсомольская работа — вот круг, по которому мчалась от зари до глубокой ночи жизнь Лисицына, Трофимова, Корчагина и немногочисленного собранного ими актива.

С лошади — к письменному столу, от стола — на площадь, где маршируют обучаемые взводы молодняка, клуб, школа, два-три заседания, а ночь — лошадь, маузер у бедра и резкое: «Стой! Кто идет?», стук колес убегающей подводы с закордонным товаром — из этого складывались дни и многие ночи военкомбата 2.

Райкомол Берездова — это Корчагин, Лида Полевых — узкоглазая волжанка, завженотделом, и Развалихин Женька — высокий, смазливый, недавний гимназист, «молодой, да ранний», любитель опасных приключений, знаток Шерлока Холмса и Луи Буссенара. Работал Развалихин управделами райкомпартии, месяца четыре назад вступил в комсомол, но держался среди комсомольцев «старым большевиком». Некого было послать в Берездов, и после долгих раздумий окружком послал Развалихина «политпросветом».

Солнце подобралось к зениту. Зной проникал в самые сокровенные уголки, все живое укрылось под крыши, и даже псы заползли под амбары и лежали там, разморенные жарой, ленивые и сонные. Казалось, деревню покинуло все живое, и лишь в луже у колодца блаженно похрюкивала зарывшаяся в грязь свинья.

Корчагин отвязал коня и, закусив от боли в колене губу, сел в седло. Учительница стояла на ступеньках школы, защищая ладонью глаза от солнца.

— До новой встречи, товарищ военком.— Улыбнулась.

Конь нетерпеливо топнул ногой и, выгибая шею, потянул поводья.

— До свиданья, товарищ Ракитина. Итак, решено: завтра вы проводите первый урок.

Конь чувствует отпущенный повод, сразу забирает в рысь. Тут до слуха Корчагина донеслись дикие вопли. Так кричат женщины на пожаре в селе. Жестокая узда круто повернула коня, и военком увидел, что от околицы,

задыхаясь, бежит молодая крестьянка. Выйдя на середину улицы, Ракитина остановила ее. На порогах соседних хат появились люди, больше старики и старухи. Крепкий люд весь в поле.

— Ой, люди добрые, что там делается! Ой, не можу, не можу!

Когда Корчагин подскакал к ним, со всех сторон уже сбегались люди. Женщину осаждали, рвали за рукава белой сорочки, засыпали испуганными вопросами, но из бессвязных ее слов ничего нельзя было понять. «Убили! Режутся насмерть!» — только вскрикивала она. Какой-то дед с всклокоченной бородой, придерживая рукой полотняные штаны, нелепо подскакивая, наседал на молодуху:

— Не кричи, як самашечая! Игде бьют? За што бьют? Да перестань верещать! Тьфу, черт!

— Наше село с поддубцами бьется... за межи! Поддубецкие наших насмерть бьют!

Все поняли беду. На улице поднялся женский вой, яростно зарычали старики. И по селу побежало, закружило по дворам призывно, как набат: «Поддубецкие за межи наших косами засекают!» На улицы из хат выскакивали все, кто мог ходить, и, вооружившись вилами, топорами или просто колом из плетня, бежали за околицу к полям, где в кровавом побоище разрешали свою ежегодную тяжбу о межах два села.

Корчагин так ударил коня, что тот сразу перешел в галоп. Подхлестываемый криком седока, обгоняя бегущих, вороной рванулся вперед стремительными бросками. Плотно притянув к голове уши и высоко вскидывая ноги, он все убыстрял ход. На бугре ветряк, словно преграждая дорогу, раздвинул в стороны свои руки — крылья. От ветряка вправо, в низине, у реки,— луга. Влево, насколько хватал глаз, то вздымаясь буграми, то спадая в яры, раскинулось ржаное поле. Пробегал ветер по спелой ржи, словно гладил ее рукой. Ярко рдели маки у дороги. Было здесь тихо и нестерпимо жарко. Лишь издали, снизу, оттуда, где серебристой змейкой пригрелась на солнце река, долетали крики.

Вниз, к лугам, конь шел страшным аллюром. «Зацепится ногой — и ему и мне могила»,— мелькнуло в голове Павла. Но нельзя уже было остановить коня, и,

пригнувшись к его шее, Павел слушал, как в ушах свистел ветер.

На луг вынесся, как шальной. С тупой, звериной яростью бились здесь люди. Несколько человек лежало на земле, обливаясь кровью.

Конь грудью сбил наземь какого-то бородача, бежавшего с обломком держака косы за молодым, с разбитым в кровь лицом парнем. Загорелый, крепкий крестьянин месил поверженного на земле противника тяжелыми сапожищами, старательно норовя поддать «под душу».

Корчагин налетел на людскую кучу всей тяжестью коня, разбросал в разные стороны дерущихся. Не давая опомниться, бешено крутил коня, наезжал им на озверелых людей и, чувствуя, что разнять это кровавое людское месиво можно только такой же дикостью и страхом, закричал в бешенстве:

— Разойдись, гадье! Перестреляю бандитские души!

И, вырывая из кобуры маузер, полыхнул поверх чьего-то искаженного злобой лица. Бросок коня — выстрел. Кое-кто, кидая косы, повернул назад. Так, остервенело скача на коне по лугу, не давая замолчать маузеру, военком достиг цели. Люди бросились от луга в разные стороны, скрываясь от ответственности и от этого невесть откуда взявшегося, страшного в своей ярости человека с «холерской машинкой», которая стреляет без конца.

Вскоре наехал в Поддубцы районный суд. Долго бился нарсудья, допрашивая свидетелей, но так и не обнаружил зачинщиков. От побоища никто не умер, раненые выжили. Упорно, с большевистским терпением старался судья растолковать хмуро стоявшим перед ним крестьянам всю дикость и недопустимость учиненного ими побоища.

— Межи виноваты, товарищ судья, спутались наши межи! Через то и бьемся каждый год.

Кой-кому ответить все же пришлось.

А через неделю по сенокосу ходила комиссия и вбивала столбики на раздорных местах. Старик-землемер, обливаясь потом, измученный жарой и долгой ходьбой, сматывая рулетку, говорил Корчагину:

— Тридцатый год землемерничаю, и везде и всюду межа — причина раздора. Посмотрите на линию раздела лугов, это же что-то невероятное! Пьяный — и тот ровнее ходит. А на полях-то что? Полоска шириной в три шага, одна на другую залезает, их разделить — с ума можно

сойти. И все это с каждым годом дробится и дробится. Отделился сын от отца — полоска наполовину. Я вас уверяю, что еще через двадцать лет поля будут сплошными межами и сеять негде будет. Ведь и сейчас под межами десять процентов земли гуляет.

Корчагин улыбнулся:

— Через двадцать лет у нас ни одной межи не останется, товарищ землемер.

Старик снисходительно посмотрел на своего собеседника.

— Это вы о коммунистическом обществе говорите? Ну, знаете, это еще где-то в далеком будущем.

— А про Будановский колхоз вы знаете?

— А, вы вот о чем!

— Да.

— В Будановке я был... Но все же это исключение, товарищ Корчагин.

Комиссия мерила. Два парня вбивали колышки. А по обеим сторонам сенокоса стояли крестьяне и зорко наблюдали за тем, чтобы колышки вбивались на месте прежней межи, едва заметной по торчащим кое-где из травы полусгнившим палкам.

Хлестнув кнутовищем ледащего коренника, возница повернулся к седокам и, охотливый на слова, рассказывал:

— Кто его знает, як эти комсомолы у нас развелись. Допрежь этого не было. А началось все, надо полагать, от учительши, фамилия ей Ракитина, может, знаете? Молодая еще бабенка, а можно сказать — вредная. Она баб в селе всех бунтует, насобирает их, да и крутит карусели, от этого одно беспокойство выходит. Хрястнешь под горячую руку бабу по морде, без этого нельзя,— раньше, бывало, утрется да смолчит, а нынче их хоть не трогай, а то крику не оберешься. Тут и про народный суд услыхать можешь, а которая помоложе — та и про развод скажет и про все законы тебе вычитает. А моя Ганка, до чего уж баба сроду тихая, так теперь делегаткой посунулась. Это вроде за старшую, что ли, над бабами. И ходят к ней со всего села. Я сперва хотел было Ганку вожжами погладить, а потом плюнул. Ну их к черту! Пускай колгочут.

Баба она у меня справная и что до хозяйства и так вообще.

Возница почесал волосатую грудь, видную в разрез полотняной рубахи, и для порядка хлестанул коренника под брюхо. На повозке ехали Развалихин и Лида. В Поддубцах каждый из них имел дело: Лида хотела провести совещание делегаток, а Развалихин поехал налаживать работу в ячейке.

— А разве вам комсомольцы не нравятся? — шутливо спросила Лида у возницы.

Тот пощипал бородку и не спеша ответил:

— Нет, чего ж... По молодости побаловать можно. Спектакль развести али что иное, я сам люблю на комедию посмотреть, ежели что стоящее. Мы спервоначала думали, озорничать станут ребята, ан оно наоборот вышло. От людей слыхали, что насчет пьянки, хулиганства и прочего у них строго. Они больше до обученья. Только вот до бога цепляются и все подбивают церковь под клуб забрать. Это уж зря, старики за это косятся и на комсомольцев зуб имеют. А так — что ж? Непорядок у них вот в чем: к себе принимают самую что ни на есть голытьбу, которые в батраках иль с хозяйством завалющие. Хозяйских сынов не пускают.

Подвода спустилась с пригорка и подкатила к школе.

Сторожиха постелила приезжим у себя, а сама пошла спать на сеновал. Лида и Развалихин только что пришли с затянувшегося собрания. В избе темно. Сбросив ботинки, Лида забралась на кровать и сразу же заснула. Ее разбудило грубое и не оставляющее никаких сомнений в своих целях прикосновение рук Развалихина.

— Ты чего?

— Тише, Лидка, что ты орешь? Мне одному, понимаешь, скучно так вот лежать, ну его к черту! Неужели ты не находишь ничего более интересного, как дрыхнуть?

— Убери руки и пошел сейчас же с моей кровати к черту! — Лида толкнула его. Сальную улыбку Развалихина она и раньше не переносила. Сейчас Лидии хочется сказать Развалихину что-то оскорбительное и насмешливое, но ее одолевает сон, и она закрывает глаза.

— Чего ты ломаешься? Подумаешь, какое интеллигентное поведение. Вы, случайно, не из института благородных девиц? Что же ты думаешь, я так тебе и поверил? Не валяй дурочки. Если ты человек сознательный, то сначала удовлетвори мою потребность, а потом спи, сколько тебе вздумается.

Считая излишним тратить слова, он опять пересел с лавки на кровать и хозяйски-требовательно положил свою руку на плечо Лиды.

— Пошел к черту! — сразу проснувшись, говорит она.— Честное слово, я завтра расскажу Корчагину.

Развалихин схватил ее за руку и шепчет раздраженно:

— Плевать я хотел на твоего Корчагина, а ты не брыкайся, а то все равно возьму.

Между ним и Лидой произошла короткая борьба, и звонко в тишине избы звучит пощечина — одна, другая... Развалихин отлетает в сторону. Лида в темноте наугад бежит к двери и, толкнув ее, выбегает на двор. Там она стоит, залитая лунным светом, вне себя от негодования.

— Иди в дом, дура! — злобно крикнул Развалихин.

Он выносит свою постель под навес и остается ночевать на дворе. А Лида, закрывши на щеколду дверь, свертывается калачиком на кровати.

Утром, когда возвращались домой, Женька сидел в повозке рядом со стариком-возницей и курил папироску за папироской.

«А ведь эта недотрога и в самом деле может натрепаться Корчагину. Вот еще кукла крашеная! Хоть бы с виду красавица, а то одно недоразумение. Надо с ней помириться, может буза получиться. Корчагин и так косится на меня».

Развалихин пересел к Лиде. Он притворился смущенным, глаза его почти грустны, он плетет какие-то сбивчивые оправдания, он уже кается.

Развалихин добился своего: у околицы местечка Лида обещает никому о вчерашнем не рассказывать.

Одна за другой рождались в пограничных селах комсомольские ячейки. Много сил отдавали райкомольцы этим первым росткам коммунистического движения.

Целые дни проводили Корчагин и Лида Полевых в этих селах.

Развалихин в села ездить не любил. Он не умел сблизиться с крестьянскими парнями, заслужить их доверие и только портил дело. А у Полевых и Корчагина это выходило просто и естественно. Лида собирала вокруг себя дивчат, находила себе подружек и уже не теряла с ними связи, незаметно заинтересовывая девушек жизнью и работой комсомола. Корчагина в районе знала вся молодежь. Тысячу шестьсот допризывников охватывал военной учебой второй батальон ВВО. Никогда еще гармонь не играла такой большой роли в пропаганде, как здесь, на сельских вечеринках, на улице. Гармонь делала Корчагина «свойским хлопцем», не одна дорожка в комсомол начиналась для чубатых парней именно отсюда, от певучей чаровницы-гармони, то страстной и будоражащей сердце в стремительном темпе марша, то ласковой и нежной в грустных переливах украинских песен. Слушали гармонь, слушали и гармониста — мастерового, ныне военкома и комсомольского «секретарщика». Созвучно сплетались в сердцах и песни гармоники и то, о чем говорил молодой комиссар. Стали слышны в селах новые песни, появились в избах, кроме псалтырей и сонников, другие книги.

Туговато стало контрабандистам, приходилось им оглядываться не только на пограничников: завелись у советской власти молодые приятели и старательные помощники. Иногда, увлеченные порывом самим захватить врага, перебарщивали пограничные ячейки, и тогда Корчагину приходилось выручать своих подшефных. Однажды Гришутка Хороводько, синеглазый секретарь поддубецкой ячейки, горячий на руку, завзятый спорщик, антирелигиозник, получив своими, особыми путями вести о том, что ночью к деревенскому мельнику привезут контрабанду, поднял всю ячейку на ноги. Вооружившись учебной винтовкой, двумя штыками, ячейка во главе с Гришуткой ночью осторожно осадила мельницу, поджидая зверя. О контрабанде узнал погранпост ГПУ и вызвал свою заставу. Ночью обе стороны столкнулись и только благодаря выдержке пограничников комсу не перестреляли в происшедшей свалке. Ребят только обезоружили и, отведя за четыре километра в соседнее село, посадили под замок.

Корчагин был в это время у Гаврилова. Утром комбат сообщил ему о только что полученной сводке, и секретарь райкома поскакал выручать ребят.

Уполномоченный ГПУ, посмеиваясь, рассказывал ему о ночном происшествии.

— Мы вот что сделаем, товарищ Корчагин. Парнишки они хорошие, мы им дела пришивать не будем. А чтобы они наших функций не исполняли в дальнейшем, ты нагони им холоду.

Часовой открыл двери сарая, и одиннадцать парней поднялись с земли и стояли смущенные, переминаясь с ноги на ногу.

— Вот посмотрите на них,— огорченно развел руками уполномоченный.— Натворили дел, и мне приходится их отсылать в округ.

Тогда взволнованно заговорил Гришутка:

— Товарищ Сахаров, что мы такое сделали? Мы же для советской власти постараться хотели. Мы за этим куркулем давно присматривали, а вы нас заперли, как бандюков.— И он обиженно отвернулся.

После серьезных переговоров Корчагин и Сахаров, с трудом выдерживая тон, прекратили «нагонять холод».

— Если ты возьмешь их на поруки и обещаешь нам, что они на границу больше ходить не будут, а свою помощь будут оказывать иначе, то я их отпущу по-хорошему,— обратился Сахаров к Корчагину.

— Хорошо, я за них отвечаю. Надеюсь, они меня больше не подведут.

В Поддубцы ячейка возвращалась с песнями. Инцидент остался неразглашенным. Но мельника все же вскоре накрыли. На этот раз по закону.

Богато живут немцы-колонисты при лесных хуторах Майдан-Виллы. В полкилометре друг от друга стоят крепкие кулацкие дворы; дома с пристройками, как маленькие крепости. Хоронила в Майдан-Вилле свои концы банда Антонюка. Сколотил этот царский фельдфебель из родни бандитскую семерку и стал промышлять наганом на окрестных дорогах, не стесняясь пускать кровь, не брезгуя спекулянтом, но не пропуская и советских работников. Оборачивался Антонюк быстро. Сегодня он прибрал двух

сельских кооператоров, завтра уже километрах в двадцати разоружил почтовика и обобрал его до последней копейки. Соперничал Антонюк со своим коллегой Гордием, один стоил другого, и оба вместе отнимали у окружной милиции и ГПУ немало времени. Шнырял Антонюк под самым носом Берездова. Стали опасными для проезда дороги в город. Бандита трудно было поймать: он, когда ему приходилось жарко, уходил за кордон, отсиживался там и снова появлялся, когда его меньше всего ожидали. При каждой вести о кровавой вылазке этого опасного в своей неуловимости зверя Лисицын нервно кусал губы.

— До каких пор этот гад будет нас кусать? Дождется, стерва, что я сам за него примусь,— цедил он сквозь сжатые зубы. И дважды кидался предисполкома на свежий след бандита, захватив с собой Корчагина и еще трех коммунистов, но Антонюк уходил.

Из округа прислали в Берездов отряд по борьбе с бандитизмом. Командовал им франтоватый Филатов. Заносчивый, как молодой петух, он не счел нужным зарегистрироваться у предисполкома, как того требовали пограничные правила, а повел свой отряд в ближнюю деревню Семаки. Придя в нее ночью, расположился с отрядом в первой от околицы избе. Незнакомые вооруженные люди, так скрыто действующие, привлекли внимание комсомольца-соседа, и тот побежал к председателю сельсовета. Ничего не зная об отряде, председатель принял его за банду, и в район полетел конным нарочным комсомолец. Головотяпство Филатова чуть не стоило жизни многим. Лисицын узнал о «банде» ночью, тотчас же поднял на ноги милицию и с десятком человек поскакал в Семаки. Подлетели ко двору, соскочили с коней и через плетни ринулись к дому. Часовой на пороге, получив удар рукояткой маузера в голову, мешком свалился наземь, дверь под тяжелым ударом плеча Лисицына с разлету открылась, и в комнату, слабо освещенную висящей под потолком лампой, ворвались люди. Запрокинув назад руку, готовый к удару ручной гранатой, зажимая маузер в другой, Лисицын заревел так, что задребезжали стекла:

— Сдавайся, а то разнесу в клочья!

Еще секунда — и ворвавшиеся засыплют градом пуль повскакавших с пола сонных людей. Но страшный вид человека с гранатой подымает вверх десятки рук. А через минуту, когда отрядников выгоняют в одном белье на

двор, орден на френче Лисицына развязывает Филатову язык.

Лисицын бешено сплевывает и с уничтожающим презрением бросает:

— Шляпа!

Докатились в район отзвуки германской революции. Донеслись раскаты ружейной перестрелки на баррикадах Гамбурга. На границе становилось неспокойно. В напряженном ожидании прочитывались газеты, с Запада дули октябрьские ветры. В райкомол посыпались заявления с просьбой направить добровольцами в Красную Армию. Корчагин долго убеждал ходоков от ячеек, что политика советской страны — это политика мира и что воевать она пока ни с кем из соседей не собирается. Но это мало действовало. Каждое воскресенье в местечке собирались комсомольцы всех ячеек, и в большом поповском саду происходили районные собрания. Однажды в полдень на обширный двор райкома, соблюдая строй, походным маршем в полном составе прибыла поддубецкая ячейка комсомола. Корчагин заметил ее в окно и вышел на крыльцо. Одиннадцать парней с Хороводько во главе — в сапогах, с объемистыми сумками за плечами — остановились у входа.

— В чем дело, Гриша? — удивленно спросил Корчагин.

Но Хороводько сделал ему глазами знак и вошел с Корчагиным в дом. Когда Хороводько обступили Лида, Развалихин и еще двое комсомольцев, он закрыл дверь и, серьезно морща выцвевшие брови, сообщил:

— Это я, товарищи, боевую проверку делаю. Я сегодня своим заявил: из района пришла телеграмма, в строгом секрете, конечно,— начинается война с германскими буржуями, а скоро начнется и с панами. Так вот из Москвы приказ — всех комсомольцев на фронт, а кто боится, так пускай пишет заявление — его оставят дома. Наказал, чтоб о войне ни слова, а чтоб взяли по буханке хлеба и кусок сала, а у кого сала нет, так чеснока аль цыбули, чтоб через час под секретом за деревней собрались. Пойдем в район, а оттуда в округ, где и получим оружие. Подействовало это на ребят здорово. Они меня туда-сюда расспрашивать, а я говорю — без разговору, и кончено! А кто отказывается — пиши бумажку. Поход по добро-

вольности. Разошлись мои ребятки, а у меня сердце стучит: а что, если никто не придет? Тогда распускать мне ячейку, а самому в другое место подаваться. Сижу я за селом и поглядываю. Идут по одному. Кой у кого морда заплаканная, а виду не подают. Все десять пришли, ни одного дезертира. Вот она, поддубецкая ячейка! — восхищенно закончил Гришутка, горделиво стукнув кулаком в грудь.

А когда его взяла «в переплет» возмущенная Полевых, он смотрел на нее непонимающими глазами.

— Ты что мне говоришь? Это же самая подходящая проверка! Тут тебе без обману каждого видать. Я их для пущей важности хотел в округ тащить, но приустали хлопцы. Пускай идут домой. Только ты, Корчагин, скажи им речь обязательно, а то как же так? Без речи не подходит... Скажи, дескать, мобилизация отменена, а им за геройство честь и слава.

В окружной центр Корчагин наезжал редко. Эти поездки отнимали несколько дней, а работа требовала ежедневного присутствия в районе. Зато в город при каждом удобном случае укатывал Развалихин. Вооруженный с ног до головы, мысленно сравнивая себя с одним из героев Купера, он с удовольствием совершал эти поездки. В лесу открывал стрельбу по воронам или шустрой белке, останавливал одиноких прохожих и, как заправский следователь, допрашивал: кто, откуда и куда держит путь. Вблизи города Развалихин разоружался, винтовку совал под сено, револьвер в карман и в окружком комсомола входил в своем обыкновенном виде.

— Ну, что у вас в Берездове нового?

В комнате Федотова, секретаря окружкома, всегда полно народа. Все говорят наперебой. Надо уметь работать в такой обстановке, слушать сразу четверых, писать и отвечать пятому. А Федотов совсем молод, но у него партбилет с 1919 года. Только в то мятежное время пятнадцатилетний мог стать членом партии.

На вопрос Федотова Развалихин ответил небрежно:

— Всех новостей не перескажешь. Кручусь с утра до поздней ночи. Все дыры затыкать надо, ведь на голом месте все делать приходится. Опять создал две новые ячейки. Чего вызывали? — И он деловито уселся в кресло.

Крымский, завэкономотделом, на минуту отрываясь от вороха бумаг, оглядывается.

— Мы Корчагина вызывали, а не тебя.

Развалихин выпускает изо рта густую струю табачного дыма.

— Корчагин не любит ездить сюда, мне даже и в этом приходится отдуваться... Вообще хорошо некоторым секретарям: ни черта не делают, а на таких, как я, ослах выезжают. Корчагин как заберется на границу, так его недели две-три и нет, а я везу всю работу.

Развалихин недвусмысленно давал понять, что именно он был бы подходящим секретарем райкомола.

— Мне что-то не нравится этот гусь,— откровенно признался Федотов окружкомцам по выходе Развалихина.

Открылись развалихинские подвохи случайно. Как-то к Федотову зашел Лисицын за почтой. Всякий, кто приезжал из района, забирал почту для всех. Федотов имел с Лисицыным продолжительную беседу, и Развалихин был разоблачен.

— Но ты Корчагина все же пришли, ведь мы с ним здесь почти незнакомы,— прощался с предисполкома Федотов.

— Хорошо. Только уговор: не подумайте его от нас взять. Будем категорически возражать.

В этом году октябрьские торжества прошли на границе с небывалым подъемом. Корчагин был избран председателем октябрьской комиссии в пограничных селах. После митинга в Поддубцах пятитысячная масса крестьян и крестьянок из трех соседних сел, построенная в полукилометровую колонну, имея во главе и духовой оркестр и батальон ВВО, развернув багровые полотнища знамен, двинулась за село к границе. Соблюдая строжайший порядок и организованность, колонна начала свое шествие по советской земле, вдоль пограничных столбов, направляясь к селам, разделенным надвое границей. Такого зрелища поляки на границе никогда не видали. Впереди колонны на конях комбат Гаврилов и Корчагин, сзади гром меди, шелест знамен и песни, песни! Празднично одета крестьянская молодежь, веселье, деревенские дивчата, серебристая россыпь девичьего смеха, серьезные лица взрослых

и торжественные стариков. Далеко, насколько кинет глаз, течет эта человеческая река, берег ее — граница — ни на шаг от советской земли, ни одна нога не ступила за запретную линию. Корчагин пропускает мимо себя людской поток. Комсомольская:

От тайги до британских морей
Красная Армия всех сильней! —

сменялась девичьим хором:

Ой, на горі там жниці жнуть...

Радостной улыбкой приветствовали колонну советские часовые и растерянно-смущенно встречали польские. Шествие по границе, хотя о нем заранее было предупреждено польское командование, все же вызвало на той стороне тревогу. Зашныряли торопливо разъезды полевой жандармерии, впятеро усилился состав часовых, а в балках на всякий случай были запрятаны резервы. Но колонна шла по своей земле, шумная и радостная, наполняя воздух звуками песен.

На бугре польский часовой. Мерный шаг колонны. Взлетают первые звуки марша. Поляк спускает с плеча винтовку и, поставив к ноге, делает «на караул». Корчагин услыхал отчетливо:

— Нех жие коммуна!

Глаза солдата говорят, что это произнес он. Павел, не отрываясь, смотрит на него.

Друг! Под солдатской шинелью у него бьется созвучное колонне сердце, и Корчагин отвечает тихо по-польски:

— Привет, товарищ!

Часовой остался сзади. Он пропускает колонну, оставляя ружье в том же положении. Павел несколько раз оборачивался и смотрел на эту черную маленькую фигуру. Вот и другой поляк. Седеющие усы. Из-под никелированного ободка козырька конфедератки неподвижные, вылинявшие глаза. Корчагин, еще под впечатлением только что слышанного, первый сказал, как бы про себя, по-польски:

— Здравствуй, товарищ!

И не получил ответа.

Гаврилов улыбнулся. Он, оказывается, все слышал.

— Ты многого захотел,— говорит он.— Кроме солдат простой пехоты, здесь и пешая жандармерия. Ты видел у него на рукаве шеврон? Это жандарм.

Голова колонны уже спускалась с горы к селу, разделенному границей надвое. Советская половина готовила гостям торжественную встречу. У пограничного мостка, на берегу маленькой речки, собралось все советское село. Дивчата и парни выстроились по краям дороги. На польской половине крыши изб и сараев облепили люди, пристально всматриваясь в происходящее за рекой. На порогах хат и у плетней толпы крестьян. Когда колонна вошла в людской коридор, оркестр играл «Интернационал». На самодельной, убранной зеленью трибуне говорили волнующие речи и зеленая молодежь и седые старики. Говорил и Корчагин на родном украинском языке. Слова его перелетели границу и были слышны на другом берегу. Там решили не допускать, чтобы эта речь зажигала чьи-то сердца. По селу стал носиться жандармский разъезд, нагайками загоняя жителей в дома. Захлопали по крышам выстрелы.

Опустели улицы. Исчезла с крыш согнанная пулей молодежь, а с советского берега смотрели на все это и хмурились. Забрался на трибуну подсаженный парнями старик-чабан и, обуреваемый порывом возмущения, взволнованно заговорил:

— Хорошо! Смотрите, диты! Отак и нас били когда-то, а теперь на селе такого никем не видано, чтобы крестьянина власть нагайкой била. Кончили панов — кончилась и плетка по нашей спине. Держите, сынки, эту власть крепко. Я, старый, говорить не умею. А сказать хотел много. За всю нашу жизнь, что под царем проволочили, як вол телегу тянет, да такая обида за тех!..— И махнул костлявой рукой за речку и заплакал, как плачут только малые дети и старики.

Дедушку сменил Гришутка Хороводько. И, слушая его гневную речь, Гаврилов повернул коня, всматриваясь — не записывает ли ее кто на том берегу. Но берег был пуст, даже часовой у моста снят.

— Видно, обойдется без ноты Наркоминделу,— пошутил он.

Дождливой осенней ночью, когда кончился ноябрь, перестали кровавить следом бандит Антонюк и те семеро, что с ним. Попался волчий выводок на свадьбе богатого колониста в Майдан-Вилле. Застукали его там хролинские коммунары.

Бабьи языки донесли вести об этих гостях на колонистовой свадьбе. Мигом собрались ячейковые, всего двенадцать, вооруженные кто чем. На подводах перекинулись к хутору Майдан-Вилла, а в Берездов сломя голову мчался нарочный. В Семаках наскочил нарочный на отряд Филатова, и тот на рысях кинулся со своими на горячий след. Обложили хутор хролинские коммунары, и начались у них ружейные разговоры с Антонюковой компанией. Засел Антонюк со своими в маленьком флигеле и хлестал свинцом по каждому, кто попадал на мушку. Рванулся было напролом, но загнали его обратно хролинцы во флигель, проткнув одного из семерки пулей. Не раз попадался Антонюк в такие перепалки и всегда уходил цел: выручали ручные гранаты и ночь. Может, ушел бы и на этот раз, коммунары уже потеряли в перестрелке двоих, но к хутору подоспел Филатов. Антонюк понял, что сел крепко и на этот раз без выхода. До утра огрызался свинцом из всех окон флигеля, но с рассветом его взяли. Из семерки не сдался никто. Конец волчьего выводка стоил четырех жизней. Из них три отдала молодая хролинская ячейка комсомола.

Корчагинский батальон был вызван на осенние маневры территориальных частей. Сорок километров до лагерей территориальной дивизии батальон прошел в один день под проливным дождем, начав свой переход ранним утром и закончив его глубоким вечером. Комбат Гусев и его комиссар сделали этот переход на конях. Восемьсот допризывников, едва добравшись до казарм, повалились спать. Штаб территориальной дивизии опоздал с вызовом батальона; утром же начинались маневры. Вновь прибывший батальон подлежал осмотру. Его выстроили на плацу. Вскоре из штаба дивизии прискакало несколько кавалеристов. Батальон, уже получивший обмундирование и винтовки, преобразился. И Гусев — боевой командир, и Корчагин — оба отдали своему батальону много сил, времени и были спокойны за вверенную им часть. Когда официальный осмотр был закончен и батальон показал свою способность маневрировать и перестраиваться, один из командиров, с красивым, но обрюзглым лицом, резко спросил Корчагина:

— Почему вы на лошади? У нас командиры и военко-

мы батальона ВВО не должны иметь лошадей. Приказываю отдать лошадей в конюшню, маневры проходить пешими.

Корчагин знал, что если он слезет с лошади, то принимать участие в маневрах не сможет: он не пройдет и километра на своих ногах. Как было сказать об этом крикливому франту с десятком перевязей и ремней?

— Я без лошади в маневрах не могу участвовать.

— Почему?

Понимая, что иначе ничем не объяснить своего отказа, Корчагин глухо ответил:

— У меня распухли ноги, и я не смогу неделю бегать и ходить. Притом я не знаю, кто вы, товарищ?

— Я начальник штаба вашего полка — это раз. Во-вторых, еще раз приказываю слезть с лошади, а если вы инвалид, то не я виноват, что вы находитесь на военной службе.

Корчагина словно хлестнули плеткой. Рванул коня уздой, но крепкая рука Гусева удержала его. В Павле несколько минут боролись два чувства: обида и выдержка. Но Павел Корчагин уже был не тем красноармейцем, что мог перейти из части в часть не задумываясь. Корчагин был военком батальона, этот батальон стоял за ним. Какой же пример дисциплины показал бы он ему своим поведением! Ведь не для этого же хлыща он воспитывал свой батальон. Он освободил ноги из стремян, слез с лошади и, превозмогая острую боль в суставах, пошел к правому флангу.

Несколько дней были на редкость погожими. Маневры близились к концу. На пятый день они происходили вокруг Шепетовки, где был их конечный пункт. Берездовский батальон получил задание захватить вокзал со стороны деревни Климентовичи.

Прекрасно зная местность, Корчагин указал Гусеву все подходы. Батальон, разделенный надвое, глубоким обходом, не замеченный «противником», зашел в тыл и с криком «ура» ворвался в вокзал. По решению посредников эта операция была признана блестяще выполненной. Вокзал остался за берездовцами, а защищавший его батальон, условно потеряв пятьдесят процентов состава, отошел в лес.

Корчагин взял на себя командование полубатальоном. Отдавая приказание по расстановке цепи, Корчагин стоял посреди улицы с командиром и политруком третьей роты.

— Товарищ комиссар,— подбежал к ним красноармеец,— комбат спрашивает, заняты ли пулеметчиками переезды. Сейчас приедет комиссия,— запыхавшись, сообщил он Корчагину.

Павел с командирами пошел к переезду.

У переезда собралось командование полка. Гусева поздравляли с удачной операцией. Представители разбитого батальона смущенно переступали с ноги на ногу, даже не пытаясь оправдываться.

— Это не моя заслуга, а вот Корчагин местный, он и провел нас.

Начштаба подъехал к Павлу вплотную и бросил насмешливо:

— Оказывается, вы прекрасно можете бегать, товарищ, а на лошадях вы, видно, прикатили для форса? — Он еще что-то хотел сказать, но его остановил взгляд Корчагина, и он запнулся.

Когда командование уехало, Корчагин тихо спросил у Гусева:

— Ты не знаешь его фамилии?

Гусев хлопнул его по плечу.

— Брось, не обращай внимания на этого прощелыгу. А фамилия его Чужанин, кажется, бывший прапорщик.

Несколько раз в этот день Корчагин силился вспомнить, где он слыхал эту фамилию, но так и не вспомнил.

Кончились маневры. Получив отличный отзыв, батальон ушел в Берездов, а Корчагин на два дня остался у матери, совершенно разбитый физически. Лошадь стояла у Артема. Два дня Павел спал по двенадцати часов, на третий пришел к Артему в депо. Своим, родным повеяло здесь, в закопченном здании. Жадно втянул носом угольный дым. Властно влекло к себе это — с детства знакомое, среди чего вырос и с чем сроднился. Словно что-то дорогое потерял. Сколько месяцев не слышал паровозного крика, и как моряка волнует бирюзовая синь бескрайнего моря каждый раз после долгой разлуки, так и сейчас кочегара и монтера звала к себе родная стихия. Долго не мог побороть в себе этого чувства. Говорил

с братом мало. Заметил у Артема новую складку на лбу. Работал Артем у подвижного горна. У него второй ребенок. Тяжела, видно, жизнь. О ней Артем не говорит, но это и так видно.

Час-другой поработали вместе. Расстались. На переезде Павел остановил коня и долго смотрел на вокзал, потом хлестнул вороного, погнал его по лесной дороге во весь опор.

Стали теперь безопасны для проезда лесные дороги. Вывели большевики крупных и мелких бандитов, повыжгли огнем их гнезда, и по селам района стало покойнее жить.

В Берездов прискакал Корчагин к полудню. На крыльце райкома его радостно встретила Полевых.

— Наконец-то приехал! Мы уж без тебя соскучились.— И, обнявши его за плечи, Лида вошла с ним в дом.

— Где Развалихин? — спросил ее Корчагин, снимая шинель.

Лида как-то неохотно ответила:

— Не знаю, где он. А, вспомнила! Он утром сказал, что пойдет в школу проводить обществоведение вместо тебя. «Это,— говорит,— моя прямая функция, а не Корчагина».

Эта новость неприятно удивила Павла. Развалихин ему всегда не нравился. «Чего этот тип накрутит в школе?» — подумал с неудовольствием Корчагин.

— Ну, ладно. Рассказывай, что у вас хорошего. Ты в Грушевке была? Как там у ребят дела?

Полевых рассказала ему все. Корчагин отдыхал на диване, разминая усталые ноги.

— ...Позавчера приняли в кандидаты партии Ракитину. Это еще более усилит нашу поддубецкую ячейку. Ракитина славная девка, она мне очень нравится. Видишь, среди учителей уже начался перелом, некоторые из них переходят целиком на нашу сторону.

Иногда по вечерам у Лисицына за большим столом до поздней ночи засиживались трое: сам Лисицын, Корчагин и новый секретарь райкомпартии Лычиков.

Дверь в спальню закрыта. Анютка и жена предисполкома спят, а трое за столом нагнулись над небольшой

книгой. Лисицын находил время учиться только по ночам. В те дни, когда Павел возвращался из сел, он проводил вечера у Лисицына и с огорчением узнавал, что Лычиков и Николай уже ушли вперед.

Из Поддубец прилетела весть: ночью неизвестным убит Гришутка Хороводько. Услыхав это, Корчагин рванулся к исполкомовской конюшне и, забывая боль в ногах, добежал туда в несколько минут. В бешеной торопливости оседлал коня и, нахлестывая с обоих боков ременной плетью, помчался к границе.

В просторной избе сельсовета на столе, убранном зеленью, покрытый знаменем совета, лежал Гришутка. До прибытия властей к нему никого не пускали, у порога на часах стояли пограничный красноармеец и комсомолец. Корчагин вошел в избу, подошел к столу и отвернул знамя.

Гришутка, восково-бледный, с широко раскрытыми глазами, в которых запечатлелась предсмертная мука, лежал, склонив голову набок. Разбитый чем-то острым затылок был закрыт веткой ели.

Чья рука поднялась на этого юношу, единственного сына вдовы Хороводько, потерявшей в революцию своего мужа, мельничного батрака, а позднее сельского комбедчика?

Весть о смерти сына свалила с ног старуху-мать, и ее, полумертвую, отхаживали соседи, а сын лежал безмолвный, храня тайну своей гибели.

Смерть Гришутки взбудоражила село. У юного комсомольского вожака и батрацкого защитника оказалось на селе больше друзей, нежели врагов.

Потрясенная этой смертью, Ракитина плакала у себя в комнате и, когда к ней вошел Корчагин, даже не подняла головы.

— Как ты думаешь, Ракитина, кто его убил? — глухо спросил Корчагин, тяжело опускаясь на стул.

— Кто же иначе, как не эта мельникова компания! Ведь этим контрабандистам Гришутка стал поперек горла.

Хоронить Гришутку пришли два села. Привел свой батальон Корчагин, вся комсомольская организация пришла отдать последний долг своему товарищу. Двести пятьдесят штыков пограничной роты выстроил Гаврилов

на площади сельсовета. Под печальные звуки прощального марша вынесли запеленутый в красное гроб и поставили на площади, где была вырыта могила рядом с похороненными в гражданскую большевиками-партизанами.

Кровь Гришутки сплотила тех, за кого он всегда стоял горой. Батрацкая молодежь и беднота обещали ячейке поддержку; и все, кто говорил, пылая гневом, требовали смерти убийцам, требовали найти их и судить здесь, на площади, у этой могилы, чтобы каждый видел в лицо врага.

Трижды загрохотал залп, и на свежую могилу легли хвойные ветви. В тот же вечер ячейка избрала нового секретаря — Ракитину. Из погранпоста ГПУ сообщили Корчагину, что там напали на след убийц.

Через неделю в местечковом театре открылся второй районный съезд Советов. Лисицын, суровый, торжественно начинал свой доклад:

— Товарищи, я с удовлетворением могу доложить съезду, что за год нами всеми проделано много работы. Мы глубоко укрепили в районе советскую власть, с корнем уничтожили бандитизм и подрубили ноги контрабандному промыслу. Выросли в селах крепкие организации деревенской бедноты, вдесятеро выросли комсомольские организации и расширились партийные. Последняя кулацкая вылазка в Поддубцах, жертвой которой пал наш товарищ Хороводько, раскрыта, убийцы — мельник и его зять — арестованы и на днях будут судимы выездной сессией губсуда. От целого ряда делегаций сел президиум получил требование вынести постановление съезда, требующее применения высшей меры наказания бандитам-террористам...

Зал задрожал от криков:

— Поддерживаем! Смерть врагам советской власти!

В боковых дверях показалась Полевых. Она поманила пальцем Павла.

В коридоре Лида передала ему пакет с надписью: «Срочное». Распечатал.

«Райкомол Берездова. Копия райкомпарт. Решением бюро губкома товарищ Корчагин отзывается из района в распоряжение губкома для направления на ответственную комсомольскую работу».

Корчагин прощался с районом, где он проработал год. На последнем заседании райкомпарта обсудили два вопроса: первый — перевести в члены коммунистической партии товарища Корчагина; второй — утвердить его характеристику, освободив от работы секретаря райкомола.

Крепко, до боли, сжимали Павлу руки Лисицын и Лида, по-братски обняли, а когда конь заворачивал из двора на дорогу, десяток револьверов отсалютовал ему.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Напряженно гудя электромотором, вагон трамвая карабкался вверх по Фундуклеевской. У оперного театра остановился. Из трамвая высадилась группа молодежи, и вагон снова пополз вверх.

Панкратов поторапливал отстающих:

— Пошли, ребята. Факт, мы опоздали.

Окунев догнал его уже у самого входа в театр.

— Помнишь, Генька, три года назад мы с тобой таким же манером сюда пришли. Тогда Дубава с «рабочей оппозицией» к нам возвращался. Хороший был вечер. А сегодня опять с Дубавой драться будем.

Панкратов ответил Окуневу уже в зале, куда они вошли, показав свои мандаты стоявшей у входа контрольной группе:

— Да, с Митяем история повторилась опять на этом самом месте.

На них зашикали. Пришлось занимать ближайшие места — вечернее заседание конференции уже открылось. На трибуне жёнская фигура.

— В самый раз. Сиди и слушай, что женщина скажет,— шепнул Панкратов, толкая Окунева локтем в бок.

— ...Правда, на дискуссию у нас ушло много сил, но зато молодежь, участвовавшая в ней, многому научилась. Мы с большим удовлетворением отмечаем тот факт, что в нашей организации разгром сторонников Троцкого налицо. Они не могут пожаловаться, что им не дали высказаться, полностью изложить свои взгляды. Нет, вышло даже наоборот: свобода действий, которую они у нас получили, привела к целому ряду грубейших нарушений партийной дисциплины с их стороны.

Таля волновалась, прядь волос спадала на лицо и мешала говорить. Она рывком откинула голову назад.

— Мы слыхали здесь многих товарищей из районов, и все они говорили о тех методах, которыми пользовались троцкисты. Здесь, на конференции, они представлены в порядочном количестве. Районы сознательно дали им мандаты, чтобы еще раз здесь, на городской партконференции, выслушать их. Не наша вина, если они мало выступают. Полный разгром в районах и ячейках кое-чему научил их. Трудно сейчас вот с этой трибуны выступить и повторить то, что они говорили еще вчера.

Из правого угла партера Талю прервал чей-то резкий голос:

— Мы еще скажем!

Лагутина повернулась.

— Что же, Дубава, выйди и скажи, мы послушаем,— предложила она.

Дубава остановил на ней тяжелый взгляд и нервно скривил губы.

— Придет время — скажем! — крикнул он и вспомнил о вчерашнем тяжелом поражении в своем районе, где его знали.

По залу пронесся ропот. Панкратов не выдержал:

— Что, еще раз думаете партию трясти?

Дубава узнал его голос, но даже не обернулся, только больно закусил губу и опустил голову.

Таля продолжала:

— Ярким примером, как нарушают троцкисты партийную дисциплину, может служить хотя бы Дубава. Он наш старый комсомольский работник, многие знают его, арсенальцы в особенности. Дубава — студент Харьковского коммунистического университета, но мы все знаем, что он уже три недели находится здесь вместе с Шумским. Что привело их сюда в разгар занятий в университете? Нет ни одного района в городе, где бы они не выступали. Правда, Михайло последние дни стал отрезвляться. Кто их сюда послал? Кроме них, у нас целый ряд троцкистов из различных организаций. Все они когда-то здесь работали и сейчас приехали, чтобы разжечь огонь внутрипартийной борьбы. Знает ли партийная организация об их местопребывании? Конечно, нет.

Конференция ждала от троцкистов выступления с признанием своих ошибок. Таля пыталась толкнуть их на

путь признания и говорила словно не с трибуны, а в товарищеской беседе:

— Помните, три года тому назад в этом самом театре к нам возвращался Дубава с бывшей группой «рабочей оппозиции». Помните его слова: «Никогда партийного знамени из рук своих не уроним», и не прошло трех лет, как Дубава его уронил. Да, я заявляю — уронил. Ведь его слова «придет время — скажем» говорят о том, что он и его единомышленники-троцкисты пойдут дальше.

С задних кресел донеслось:

— Пусть Туфта о барометре скажет, он у них за метеоролога.

Поднялись возбужденные голоса:

— Хватит шуточек!

— Пусть ответят: прекращают они борьбу с партией или нет?

— Пусть скажут, кто написал антипартийную декларацию!

Возбуждение нарастало, председательствующий долго звонил.

В шуме голосов слова Тали терялись, но вскоре буря улеглась, и Лагутину снова стало слышно:

— Мы получаем с периферии письма от наших товарищей — они с нами, и это нас воодушевляет. Разрешите мне прочесть отрывок одного письма. Оно от Ольги Юреневой, ее здесь многие знают, она сейчас заворготделом окружкома комсомола.

Таля вынула из пачки бумаг листок и, пробежав его глазами, прочла:

— «Практическая работа заброшена, уже четвертый день все бюро в районах, троцкисты развернули борьбу с небывалой остротой. Вчера произошел случай, возмутивший всю организацию. Оппозиционеры, не получив в городе большинства ни в одной ячейке, решили дать бой объединенным силам в ячейке окрвоенкомата, в которую входят коммунисты окрплана и рабпроса. В ячейке сорок два человека, но сюда собрались все троцкисты. Мы еще не слыхали таких антипартийных речей, как на этом заседании. Один из военкоматских выступил и прямо сказал: «Если партийный аппарат не сдастся, мы его сломаем силой». Оппозиционеры встретили это заявление аплодисментами.

Тогда выступил Корчагин и сказал: «Как могли вы аплодировать этому фашисту, будучи членами партии?» Корчагину не давали говорить дальше, стучали стульями, кричали. Члены ячейки, возмущенные хулиганством, требовали выслушать Корчагина, но, когда Павел заговорил, ему вновь устроили обструкцию. Павел кричал им: «Хороша же ваша демократия! Я все равно буду говорить!» Тогда несколько человек схватили его и пытались стянуть с трибуны. Получилось что-то дикое. Павел отбивался и продолжал говорить, но его выволокли за сцену и, открыв боковую дверь, бросили на лестницу. Какой-то подлец разбил ему в кровь лицо. Почти вся ячейка ушла с собрания. Этот случай открыл глаза многим...»

Таля оставила трибуну.

Сегал уже два месяца работал завагитпропом губкомпарта. Сейчас он сидел в президиуме рядом с Токаревым и внимательно слушал выступления делегатов горпартконференции. Говорила пока исключительно молодежь, бывшая еще в комсомоле.

«Как они выросли за эти годы!» — думал Сегал.

— Оппозиционерам уже жарко,— сказал он Токареву,— а тяжелая артиллерия еще не введена в действие: троцкистов громит молодежь.

На трибуну вскочил Туфта. В зале встретили его появление неодобрительным гулом, коротким взрывом смеха. Туфта повернулся к президиуму, хотел заявить протест против такой встречи, но в зале уже было тихо.

— Тут кто-то меня назвал метеорологом. Вот, товарищи большинство, как вы издеваетесь над моими политическими взглядами! — выпалил он в один мах.

Дружный хохот покрыл его слова. Туфта с возмущением показал президиуму на зал.

— Как ни смейтесь, а я еще раз скажу, что молодежь — это барометр. Ленин несколько раз об этом писал.

В зале моментально стихло.

— Что писал? — долетело из зала.

Туфта оживился.

— Когда готовилось Октябрьское восстание, Ленин давал директиву собрать решительную рабочую молодежь,

вооружить ее и вместе с матросами бросить на самые ответственные участки. Хотите, я вам прочту это место? У меня все цитаты выписаны на карточках.— И Туфта полез в портфель.

— Мы это знаем!

— А что писал Ленин о единстве?

— А о партийной дисциплине?

— Где Ленин противопоставлял молодежь старой гвардии?

Туфта потерял нить и перешел к другой теме:

— Тут Лагутина читала письмо Юреневой. Мы не можем отвечать за некоторые ненормальности дискуссии.

Цветаев, сидевший рядом с Шумским, прошептал с бешенством:

— Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет!

Шумский так же тихо ответил:

— Да! Этот болван провалит нас окончательно.

Тонкий, визгливый голос Туфты продолжал сверлить уши:

— Если вы организовали фракцию большинства, то мы имеем право организовать фракцию меньшинства!

В зале поднялась буря.

Туфта был оглушен градом возмущенных восклицаний:

— Что такое? Опять большевики и меньшевики!

— РКП не парламент!

— Они для всех стараются — от Мясникова и до Мартова!

Туфта взмахнул руками, словно пускаясь вплавь, и азартно зачастил словами:

— Да, нужна свобода группировок. Иначе как мы — инакомыслящие — сможем бороться за свои взгляды с таким организованным, спаянным дисциплиной большинством?

В зале нарастал гул. Панкратов поднялся и крикнул:

— Дайте ему высказаться, это полезно знать! Туфта выбалтывает то, о чем другие молчат.

Стало тихо. Туфта понял, что пересолил. Этого говорить, пожалуй, не стоило сейчас. Его мысль сделала скачок в сторону, и, заканчивая свое выступление, он засыпал слушателей ворохом слов:

— Вы, конечно, можете исключить и запихать нас в угол. Это уже начинается. Меня уже выжили из губко-

мола. Ничего, скоро увидим, кто был прав.— И он выкатился со сцены в зал.

Дубава получил от Цветаева записку:

> «Митяй, выступи сейчас. Правда, это не повернет дела, наше поражение здесь очевидно. Необходимо поправить Туфту. Это ведь дурак и болтун».

Дубава попросил слова; оно ему было сейчас же дано.

Когда он взошел на сцену, в зале наступила настороженная тишина. Холодом отчуждения повеяло на Дубаву от этого самого обычного перед речью молчания. У него уже не было того пыла, с которым он выступал в ячейках. День за днем затухал огонь, и сейчас он, как залитый водой костер, обволакивался едким дымом,— и дымом этим было болезненное самолюбие, задетое неприкрытым поражением и суровым отпором со стороны старых друзей, и еще упрямое нежелание признать себя неправым. Он решил идти напролом, хотя знал, что это еще более отдалит его от большинства. Он говорил глухо, но отчетливо:

— Я прошу меня не прерывать и не дергать репликами. Я хочу изложить нашу позицию целиком, хотя наперед знаю, что это бесполезно: вас — большинство.

Когда он кончил, в зале словно разорвалась граната. Ураган криков обрушился на Дубаву. Словно удары хлыста по щеке, стегнули Дмитрия гневные восклицания:

— Позор!

— Долой раскольников!

— Хватит! Довольно поливать грязью!

Насмешливый хохот провожал Дмитрия, когда он сходил со сцены, и этот хохот убивал его. Если бы кричали возмущенно и яростно, это бы его удовлетворило. Но ведь его осмеяли, как артиста, взявшего фальшивую ноту и сорвавшегося на ней.

— Слово имеет Шумский,— сказал председательствующий.

Михайло поднялся.

— Я отказываюсь от выступления.

С задних рядов прогудел бас Панкратова:

— Прошу слова!

По тембру голоса Дубава узнал душевное состояние Панкратова. Так грузчик говорил, когда его кто-нибудь тяжело оскорблял, и, провожая сумрачным взглядом высокую,

слегка сутулую фигуру Игната, быстро идущего к трибуне, Дубава ощутил гнетущее беспокойство. Он знал, что скажет Игнат. Вспомнил вчерашнюю встречу свою на Соломенке со старыми друзьями, когда ребята в дружеской беседе пытались заставить его порвать с оппозицией. С ним были Цветаев и Шумский. Собрались у Токарева. Там были Игнат, Окунев, Таля, Волынцев, Зеленов, Староверов, Артюхин. Дубава остался нем и глух к этой попытке восстановить единство. В разгаре беседы он ушел с Цветаевым, подчеркивая этим нежелание признать ошибочность своих взглядов. Шумский остался. Теперь он отказался выступить. «Мягкотелый интеллигент! Они его распропагандировали, конечно»,— зло подумал Дубава. В этой оголтелой борьбе он растерял всех друзей. В комвузе произошел разрыв давней дружбы с Жарким, резко выступившим на бюро против заявления «сорока шести». В дальнейшем, когда разногласия обострились, он перестал разговаривать с Жарким. Несколько раз он видел Жаркого у себя на квартире — у Анны. Анна Борхарт уже год как была его женой. У него с Анной были отдельные комнаты. Дубава считал, что его натянутые отношения с Анной, не разделяющей его взглядов, ухудшаются с каждым днем еще и оттого, что Жаркий стал у Анны частым гостем. Тут не было ревности, но дружба Анны с Жарким, с которым Дубава не разговаривал, раздражала его. Он сказал об этом Анне. Произошел крупный разговор, и отношения между ними стали еще более натянутыми. Он уехал сюда, не сказав ей об этом.

Быстрый бег его мыслей прервал Игнат. Он начинал свою речь.

— Товарищи! — твердо откроил это слово Панкратов. Он взошел на трибуну и стал у самой рампы.— Товарищи! Мы девять дней слушали выступления оппозиционеров. Я скажу прямо: они выступали не как соратники, революционные борцы, наши друзья по классу и борьбе,— их выступления были глубоко враждебные, непримиримые, злобные и клеветнические. Да, товарищи, клеветнические! Нас, большевиков, попытались выставить сторонниками палочного режима в партии, людьми, предающими интересы своего класса и революции. Лучший, испытаннейший отряд нашей партии, славную старую большевистскую гвардию, тех, кто выковал, воспитал РКП, тех, кого морила по тюрьмам царская деспотия, тех, кто во главе с товарищем

Лениным вел беспощадную борьбу с мировым меньшевизмом и Троцким, тех попытались выставить как представителей партийного бюрократизма. Кто, как не враг, мог сказать такие слова? Разве партия и ее аппарат не одно целое? На что это похоже, скажите? Как бы мы назвали тех, кто натравливал бы молодых красноармейцев на командиров и комиссаров, на штаб — и это все в то время, когда отряд окружен врагами! Что же, если я сегодня слесарь, то я, по мнению троцкистов, еще могу считаться «порядочным», но если я завтра стану секретарем комитета, то я уже «бюрократ» и «аппаратчик»?! Не чудно ли, товарищи, что среди оппозиционеров, ратующих против бюрократизма, за демократию, такие, например, лица, как Туфта, недавно сняты с работы за бюрократизм, Цветаев, хорошо известный соломенцам своей «демократией», или Афанасьев, которого губком трижды снимал с работы за его командование и зажим в Подольском районе? Но ведь факт же, что в борьбе против партии объединились все, кого партия била. О «большевизме» Троцкого пусть скажут старые большевики. Необходимо, чтобы молодежь знала историю борьбы Троцкого против большевиков, его постоянные перебежки от одного лагеря к другому. Борьба против оппозиции сплотила наши ряды, она идейно укрепила молодежь. В борьбе против мелкобуржуазных течений закалялись большевистская партия и комсомол. Истерические паникеры из оппозиции пророчат нам полный экономический и политический крах. Наше завтра покажет цену этому пророчеству. Они требуют послать наших стариков, например Токарева, к станку, а на их место поставить развинченный барометр вроде Дубавы, который борьбу против партии хочет выставить каким-то геройством. Нет, товарищи, мы на это не пойдем. Старики получат смену, но сменять их будут не те, кто при каждой трудности бешено атакует линию партии. Мы единство нашей великой партии не позволим разрушать. Никогда не расколется старая и молодая гвардия. В непримиримой борьбе с мелкобуржуазными течениями под знаменем Ленина мы придем к победе! — Панкратов сходил с трибуны. Ему яростно аплодировали.

На другой день у Туфты собралось человек десять. Дубава говорил:

— Мы с Шумским сегодня уезжаем в Харьков. Здесь нам делать больше нечего. Постарайтесь не распыляться.

Нам остается только выжидать, как обернутся события. Ясно, что всероссийская конференция нас осудит, но, мне кажется, ожидать репрессий преждевременно. Большинство решило еще раз проверить нас на работе. Сейчас продолжать борьбу открыто, особенно после конференции,— значит вылететь из партии, что в план наших действий не входит. Трудно судить, что будет впереди. Говорить больше, кажется, не о чем.— И Дубава приподнялся, собираясь уходить.

Худой, с тонкими губами, Староверов тоже встал.

— Я тебя не понимаю, Митяй,— заговорил он, слегка картавя и заикаясь.— Что же, решение конференции для нас будет не обязательным?

Его резко оборвал Цветаев:

— Формально — обязательным, иначе у тебя партбилет отнимут. А мы вот посмотрим, каким ветром подует, а сейчас разойдемся.

Туфта беспокойно шевельнулся на стуле. Шумский, сумрачный и бледный, с синими кругами вокруг глаз от бессонных ночей, сидел у окна, грыз ногти. При последних словах Цветаева он оторвался от своего мучительного занятия и повернулся к собранию.

— Я против таких комбинаций,— сказал он глухо, внезапно раздражаясь.— Я лично считаю, что постановление конференции для нас обязательно. Мы свои убеждения отстаивали, но решению конференции должны подчиниться.

Староверов посмотрел на него с одобрением.

— Я это сам хотел сказать,— прошепелявил он.

Дубава уставился на Шумского в упор и с нарочитой издевкой процедил:

— Тебе вообще никто ничего не предлагает. У тебя еще есть возможность «покаяться» на губернской конференции.

Шумский вскочил на ноги.

— Что это за тон, Дмитрий! Я скажу прямо, меня твои слова отталкивают от тебя и заставляют продумать вчерашние позиции.

Дубава отмахнулся от него:

— Тебе только это остается. Иди кайся, пока не поздно.

И Дубава, прощаясь, протягивал руку Туфте и остальным. За ним вскоре ушли Шумский и Староверов.

Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю тысяча девятьсот двадцать четвертый год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью.

На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись с озверелой стихией. В снежные горы врезались стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа, из двенадцати линий работало только три: индо-европейский телеграф и две линии прямого провода.

В комнате телеграфа станции «Шепетовка 1-я» три аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор.

Телеграфистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает двадцати километров, в то время как старик, их коллега, уже начинал третью сотню километров. Он не читает, как они, ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланки слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху: «Всем, всем, всем!»

Записывая, телеграфист думает: «Наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами». За окном вьюга, ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно, он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей.

Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы прочесть пропущенные слова.

Аппарат передавал:

«Двадцать первого января в шесть часов пятьдесят минут...»

Телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руки, стал слушать:

«Вчера в Горках скончался...» Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообщений, первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл

скупых, оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием.

Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок: «Всем, всем, всем!» Аппарат стучал. «В-л-а-д-и-м-и-р И-л-ь-и-ч»,— переводил стуки молоточка в буквы старик-телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич, кому-то он запишет сегодня трагические слова, кто-то зарыдает в отчаянии и горе, а для него это все чужое,— он посторонний свидетель. Аппарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире, а он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк,— это была «Л». За ней он написал вторую — «Е», рядом с ней старательно вывел «Н», дважды подчеркнул перегородку между палочками, сейчас же присоединил к ней «И» и уже автоматически уловил последнюю — «Н».

Аппарат отстукивал паузу, и телеграфист на одну десятую секунды остановился взглядом на выписанном им слове — «ЛЕНИН».

Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще раз посмотрел на последнее слово — «ЛЕНИН». Что?.. Ленин?.. Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за тридцатидвухлетнюю работу он не поверил записанному.

Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись: «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты, впился в нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить! Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услыхали его испуганный вскрик:

— Ленин умер!

Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой вьюжного ветра заметалась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, закружила по путям и стрелкам и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину кованных железом деповских ворот.

В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его лечила бригада легкого ремонта. Старик Полентовский

сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Брузжак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты колосников. Он держал решетку на наковальне, подставляя ее под удары молота Артема.

Захар постарел за последние годы, пережитое оставило глубокую рытвину-складку на лбу, а виски посеребрила седина. Сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки.

В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и предвечерние тени поглотили его. Удары по железу заглушили первый крик, но, когда человек добежал к людям у паровоза, Артем, поднявший молот, не опустил его.

— Товарищи! Ленин умер!

Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артема беззвучно опустила его на цементный пол.

— Ты что сказал? — Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принес страшную весть.

А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорванно:

— Да, товарищи, Ленин умер...

И оттого, что человек уже не кричал, Артем понял жуткую правду и тут разглядел лицо человека: это был секретарь партколлектива.

Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, чье имя знал весь мир.

А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий... В их мощный и наполненный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полет шрапнели. Чистым звоном меди перекрыл их быстроходный красавец «С» — паровоз готового к отходу на Киев пассажирского поезда.

Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения Шепетовка — Варшава, узнав о причине тревожных гудков, с минуту прислушался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе перепуганных [illegible]льских курьеров и дипломатов.

Депо наполняли люди. Они вливались во все ворота, и, когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова.

Говорил секретарь шепетовского окружкома партии, старый большевик Шарабрин:

— Товарищи! Умер вождь мирового пролетариата Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю,— умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию... Смерть вождя партии и класса зовет лучших сынов пролетариата в наши ряды...

Звуки траурного марша, сотни обнаженных голов, и Артем, который за последние пятнадцать лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога, и могучие плечи дрогнули.

Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одеты снегом и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале душно от жарко натопленной голландки и дыхания шестисот человек, пожелавших участвовать в траурном заседании партколлектива.

Не было в зале обычного шума, разговоров. Великая скорбь приглушала голоса, люди разговаривали тихо, и не в одной сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурмана, унесенного шквалом в море.

Так же тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале.

Сейчас же после доклада из-за стола поднялся отсекр коллектива Сиротенко. То, что он сказал, никого не удивило, хотя было необычайно на траурном заседании. А Сиротенко сказал.

— Ряд рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное тридцатью семью товарищами.— И он прочел заявление:

«В железнодорожный коллектив коммунистической партии большевиков станции Шепетовка, Юго-Западной железной дороги.

Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина».

Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей. Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена:

— Полентовский Станислав Зигмундович — паровозный машинист, тридцать шесть лет производственного стажа.

По залу пробежал гул одобрения.

— Корчагин Артем Андреевич — слесарь, семнадцать лет производственного стажа.

— Бруздгак Захар Филиппович — паровозный машинист, двадцать один год производственного стажа.

Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени.

Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошел первый поставивший свою подпись.

Старик Полентовский не мог не волноваться, рассказывая историю своей жизни:

— ...Что ж мне еще сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была известно какая. Жил в кабале и пропадал нищим в старости. Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В девятьсот пятом в варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шел. Молодость была тогда и ухватка горячая. Что старое вспоминать! Ударила меня Ильичева смерть по самому сердцу, потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости!.. Пущай кто покрасивее скажет, я не мастак на слово. Одно только подтверждаю: мне с большевиками по пути, и никак не иначе.

Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей твердо и немигающе устремлен в зал, от которого он как бы ждал решения.

Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому, с седой головой человеку, и ни один не воздержался

при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово.

От стола Полентовский уходил коммунистом.

Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки, и сжимал ими ушастую шапку. Протертый на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастерки, аккуратно застегнутый на две медные пуговицы, делает фигуру слесаря празднично опрятной. Артем повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо: среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотеса. Она улыбнулась ему прощающе, в ее улыбке было одобрение и еще что-то недосказанное, скрытое в уголках губ.

— Расскажи свою биографию, Артем! — услыхал слесарь голос Сиротенко.

Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший, не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчетливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он — Артем — делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло-суровое существование.

— Было нас у матери четверо,— начал Артем.

В зале тихо. Шестьсот внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под черной бахромой бровей.

— Мать кухарила по господам. Отца мало помню, неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло больше чем следует. Жили мы с матерью. Невмоготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц четыре целковых с харчами, и гнула она горб от зари до ночи. Посчастливилось мне две зимы ходить в начальную школу, научили меня читать и писать, а как мне десятый год подошел, не стало у матери иного спасения, как отвезти меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку. Без жалованья, на три года — за одни харчи... Хозяин мастерской был немец, по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый, и мать мне два года прибавила. Был я у этого

немца три года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам да за водкой. Пил он намертвую... Гонял и за углем и за железом... Заделала меня хозяйка своим холуем: таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины — так уж, по привычке: не потрафлю хозяйке чем — она из-за пьянки мужа на всех злая была,— хлестнет меня раздрыгой по морде. Вырвешься от нее на улицу, а куда пойдешь, кому пожалуешься? Мать за сорок верст, да и у ней приюту нет... В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. «Подай,— говорит,— мне вон ту шайбу» — и покажет на землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хвать шайбу рукой, а он ее только что отковал, из горна вынул. На земле она лежит черная, а хватишь — сожжешь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржет, заливается. Невмоготу мне стало от этой молотилки, сбежал я к матери. А той девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно, везла и плакала. На третий год стали мне кое-что показывать по слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там, кишки моючи, полтора с лишним года. Проиграл наш хозяин свое заведение, не заплатил нам за четыре месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трущобы выбрался. Сел на поезд, в Жмеринке вылез и пошел работу искать. Спасибо одному деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я кое-что по слесарному кумекаю, взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне семнадцать лет, и стал я подручным слесарем. Здесь я девятый год работаю. Вот оно насчет жизни прежней, а про здешнее вы все знаете.

Артем провел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое, не дожидаясь чьего-либо вопроса. И, вплотную сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть:

— Каждый может меня спросить: почему я не в большевиках еще с той поры, когда огонь загорелся? Что ж мне на это сказать? Ведь мне до старости еще далеко, а вот только нонче нашел сюда свою дорогу. Что ж я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу. Нам еще в восемнадцатом, когда против немца бастовали, начинать

надо было. Жухрай, матрос, с нами не раз разговаривал. Только в двадцатом взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, поскидали белых в Черное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети... Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней не хватает. Мало свою власть защищать, надо всей семьей заместо Ленина, чтобы власть советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать — партия наша ведь?

Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычный слог своей речи, закончил слесарь и, будто снял с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов.

— Может, кто желает спросить о чем-нибудь? — нарушил тишину Сиротенко.

Людские ряды зашевелились, но из зала ответили не сразу. Черный, как жук, кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно:

— О чем его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путевку, и все тут!

Коренастый, красный от жары и напряжения кузнец Гиляка прохрипел простуженно:

— Такой под откос не слезет, товарищ будет крепкий. Голосуй, Сиротенко!

В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один, невидный в полутьме, и спросил:

— Пусть товарищ Корчагин скажет, почему он на землю осел и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии.

В зале прошел легкий шум неодобрения, и чей-то голос запротестовал:

— Говори по-простому! Нашел, где звонарить...

Но Артем уже отвечал:

— Ничего, товарищ. Этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьей к депо поближе, здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно.

Еще раз дрогнуло сердце Артема, когда глядел на лес поднятых рук, и, уже не чувствуя тяжести своего тела, не сутуля спины, пошел к своему месту. Сзади услыхал голос Сиротенко:

— Единогласно.

Третьим у стола президиума остановился Захар Брузжак. Неразговорчивый старый помощник Полентовского, сам уже давно ставший машинистом, заканчивал рассказ о своей трудовой жизни и, когда дошел до последних дней произнес тихо, но всем было слышно:

— Я за своих детей доканчивать обязан. Не для того они умирали, чтобы я на задворках со своим горем застрял. Ихнюю погибель я не заполнил, а вот смерть вождя глаза мне открыла. За старое вы меня не спрашивайте, настоящая наша жизнь начинается заново.

Захар, обеспокоенный воспоминаниями, сумрачно нахмурился, но, когда его, не задев ни одним резким вопросом, взметом рук принимали в партию, глаза его прояснились, и седеющая голова больше не опускалась.

До глубокой ночи в депо продолжался смотр тем, кто шел на смену. Допускали в партию только наилучших, тех, кого хорошо знали, проверили всей жизнью.

Смерть Ленина сотни тысяч рабочих сделала большевиками. Гибель вождя не расстроила рядов партии. Так дерево, глубоко вошедшее в почву могучими корнями, не гибнет, если у него срезают верхушку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

У входа в концертный зал гостиницы стояли двое. На рукаве высокого в пенсне — красная повязка с надписью: «Комендант».

— Здесь заседание украинской делегации? — спросила Рита.

Высокий ответил официально:

— Да! А в чем дело?

— Разрешите пройти.

Высокий наполовину загораживал проход. Он оглядел Риту и произнес:

— Ваш мандат? Пропускают только делегатов с решающими и совещательными карточками.

Рита вынула из сумки тисненный золотом билет. Высокий прочел: «Член Центрального Комитета». Официальность с него как рукой сняло, сразу стал вежливым и «свойским».

— Пожалуйста, проходите, вон слева свободные места.

Рита прошла меж рядами стульев и, увидав свободное место, села. Совещание делегатов, видимо, оканчивалось. Рита прислушивалась к речи председательствующего. Голос показался ей знакомым.

— Итак, товарищи, представители от делегаций в сеньорен-конвент всероссийского съезда избраны, также и в совет делегаций. До начала остается два часа. Разрешите еще раз проверить список делегатов, прибывших на съезд.

Рита узнала Акима: это он читал торопливо перечень фамилий.

В ответ ему поднимались руки с красными или белыми мандатами.

Рита слушала с напряженным вниманием.

Вот одна знакомая фамилия:

— Панкратов.

Рита оглянулась на поднятую руку, но в рядах сидящих не смогла рассмотреть знакомое лицо грузчика. Бегут имена, и среди них опять знакомое — «Окунев», и сейчас же вслед за ним другое — «Жаркий».

Жаркого Рита видит. Он сидит совсем недалеко вполоборота к ней. Вот и забытый профиль... Да, это Ваня. Несколько лет не видела его.

Бежал перечень имен, и вдруг одно из них заставило Риту вздрогнуть:

— Корчагин.

Далеко впереди поднялась и опустилась рука, и странно — Устинович мучительно захотелось видеть того, кто был однофамильцем ее погибшего друга. Она, не отрываясь, всматривалась туда, откуда поднялась рука, но все головы казались одинаковыми. Рита встала и пошла вдоль прохода у стены к передним рядам. Аким замолчал. Загремели отодвигаемые стулья, делегаты громко заговорили, рассыпался молодой смех, и Аким, стараясь перекричать шум в зале, крикнул:

— Не опаздывайте!.. Большой театр... семь часов!..

У выходной двери образовался затор.

Рита поняла, что в этом потоке она не найдет никого из тех, чьи имена только что слыхала. Оставалось не терять из виду Акима и через него найти остальных. Она

шла к Акиму, пропуская мимо последнюю группу делегатов.

— Что же, Корчагин, поедем и мы, старина! — услыхала она сзади.

И голос, такой знакомый, такой памятный, ответил:

— Пошли.

Рита быстро оглянулась. Перед ней стоял рослый смуглый молодой человек в гимнастерке цвета хаки, перетянутой в талии тонким кавказским ремнем, и в синих рейтузах.

Широко раскрытыми глазами смотрела на него Рита, и, когда ее тепло обняли руки и дрогнувший голос сказал тихо: «Рита», она поняла, что это Павел Корчагин.

— Ты жив?

Эти слова сказали ему все. Она не знала, что весть о его гибели была ошибкой.

Зал опустел, в раскрытое окно доносился шум Тверской, этой могучей артерии города. Часы звонко пробили шесть раз, а обоим казалось, что встретились они всего несколько минут назад. Но часы звали к Большому театру. Когда шли по широкой лестнице к выходу, она еще раз окинула Павла взглядом. Он был теперь выше ее на полголовы. Все тот же, как и раньше, только мужественнее и сдержаннее.

— Видишь, я даже не спросила тебя, где ты работаешь.

— Я секретарь окружкома молодежи или, как говорит Дубава, «аппаратчик»,— и Павел улыбнулся.

— Ты его видел?

— Да, видел, и эта встреча оставила неприятное воспоминание.

Они вышли на улицу. Гудки сирен проносящихся авто, движение и крик толпы. До Большого театра они прошли, почти не разговаривая, думая об одном. А театр осаждало людское море, буйное, напористое. Оно устремлялось на каменную громаду театра, пыталось прорваться в охраняемые красноармейцами заветные входы, но неумолимые часовые пропускали только делегатов, и те проходили сквозь заградительную цепь, с гордостью предъявляя мандаты.

Море вокруг театра — комсомольское. Все это братва, не доставшая гостевых билетов, но стремящаяся во что бы то ни стало побывать на открытии съезда. Шустрые

комсомольцы затирались в середину группы делегатов и, также показывая какую-то красную бумажку, долженствующую изображать мандат, добирались иногда к самым дверям. Некоторым удавалось проскользнуть и в самую дверь. Но тут же они попадались дежурному члену ЦК или коменданту, которые направляли гостей в ярусы, а делегатов в партер. И тогда их, к величайшему удовольствию остальных «безбилетников», выпроваживали за двери.

Театр не мог вместить и двадцатой доли тех, кто желал в нем присутствовать.

Рита и Павел с трудом протиснулись к двери. Делегаты все прибывали: их привозили трамваи, автомобили. У двери давка. Красноармейцам — тоже комсомольцам — становилось трудно, их прижали к самой стене, а с подъезда несся мощный крик:

— Нажимай, бауманцы, нажимай!

— Нажимай, братишка, наша берет!

— Да-е-ш-ш-шь!..

В дверь вместе с Корчагиным и Ритой вьюном проскользнул востроглазый парнишка с кимовским значком и, увернувшись от коменданта, стремглав бросился в фойе. Миг — и он исчез в потоке делегатов.

— Сядем здесь,— указала Рита на «места за креслами», когда они вошли в партер.

Сели в углу.

— Я хочу получить ответ на один вопрос,— сказала Рита.— Хотя это дело минувших дней, но ты, я думаю, мне скажешь: зачем ты прервал тогда наши занятия и нашу дружбу?

Этого вопроса он ждал с первой минуты встречи и все же смутился. Их глаза встретились, и Павел понял: она знает.

— Я думаю, что ты все знаешь, Рита. Это было три года назад, а теперь я могу лишь осудить Павку за это. Вообще же Корчагин в своей жизни делал большие и малые ошибки, и одной из них была та, о которой ты спрашиваешь.

Рита улыбнулась.

— Это хорошее предисловие. Но я жду ответа!

Павел заговорил тихо:

— В этом виноват не только я, но и «Овод», его революционная романтика. Книги, в которых были ярко

описаны мужественные, сильные духом и волей революционеры, бесстрашные, беззаветно преданные нашему делу, оставляли во мне неизгладимое впечатление и желание быть таким, как они. Вот я чувство к тебе встретил по «Оводу». Сейчас мне это смешно, но больше досадно.

— Значит, «Овод» переоценен?

— Нет, Рита, в основном нет! — Отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в «Оводе» — за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим.

— Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через три года после того, как он должен был произойти,— сказала Рита, улыбаясь в каком-то раздумьи.

— Не потому ли жаль, Рита, что я никогда не стал бы для тебя больше, чем товарищем?

— Нет, Павел, мог стать и больше.

— Это можно исправить.

— Немного поздно, товарищ Овод.

Рита улыбнулась своей шутке и объяснила ее:

— У меня крошечная дочурка. У нее есть отец, большой мой приятель. Все мы втроем дружим, и трио это пока неразрывно.

Ее пальцы тронули руку Павла. Это движение тревоги за него, но она сейчас же поняла, что ее движение напрасно. Да, он вырос за эти три года не только физически. Она знала, что ему сейчас больно,— об этом говорили его глаза,— но он сказал без жеста, правдиво:

— Все же у меня остается несравненно больше, чем я только что потерял.

Павел и Рита встали. Пора было занимать места поближе к сцене. Они направились к креслам, где усаживалась украинская делегация. Заиграл оркестр. Горели алым огромные полотнища, и светящиеся буквы кричали: «Будущее принадлежит нам». Тысячи наполняли партер, ложи, ярусы. Эти тысячи сливались здесь в единый мощный трансформатор никогда не затухающей энергии. Гигант-театр принял в свои стены цвет молодой гвардии великого индустриального племени. Тысячи глаз, и в каждой паре их отсвечивает искорками то, что горит над

тяжелым занавесом: «Будущее принадлежит нам». А прибой продолжается: еще несколько минут — и тяжелый бархат занавеса медленно раздвинется, секретарь ЦК РКСМ начнет, волнуясь, теряя на миг самообладание перед несказанной торжественностью минуты:

— Шестой съезд Российского коммунистического союза молодежи считаю открытым.

Никогда более ярко, более глубоко не чувствовал Корчагин величия и мощи революции, той необъяснимой словами гордости и неповторимой радости, что дала ему жизнь, приведшая его как бойца и строителя сюда, на это победное торжество молодой гвардии большевизма.

Съезд забирал у его участников все время от раннего утра до глубокой ночи, и Павел вновь встретил Риту лишь на одном из последних заседаний. Он увидел ее в группе украинцев.

— Завтра после закрытия съезда я сразу же уезжаю, — сказала она. — Не знаю, удастся ли нам поговорить на прощанье. Поэтому я сегодня приготовила тебе две тетради моих записей, относящихся к прошлому, и небольшое письмо. Ты их прочти и пришли обратно по почте. Из написанного ты узнаешь все то, о чем я тебе не рассказала.

Он пожал ей руку и посмотрел на нее пристально, как бы запоминая черты.

Они встретились, как было условлено, на другой день у центрального входа, и Рита передала ему сверток и запечатанное письмо. Кругом были люди, поэтому прощались они сдержанно, и только в ее глазах, слегка затуманенных, он увидел большую теплоту и немного грусти.

Через день поезда уносили их в разные стороны.

Украинцы ехали в нескольких вагонах. Корчагин был в группе киевлян. Вечером, когда все улеглись и Окунев на соседней койке сонно посвистывал носом, Корчагин, придвинувшись ближе к свету, распечатал письмо.

«Павлуша, милый!

Я могла это сказать тебе лично, но так будет лучше. Я хочу лишь одного: чтобы то, о чем мы с тобой говорили перед началом съезда, не оставило тяжелого следа в твоей жизни. Я знаю, у тебя много силы, поэтому я верю в сказанное тобою. Я на жизнь не смотрю формально, иногда можно делать исключение, правда,

очень редко, в личных отношениях, если они вызываются большим, глубоким чувством. Этого ты заслуживаешь, но я отклонила первое желание отдать долг нашей юности. Чувствую, что это не дало бы нам большой радости. Не надо быть таким суровым к себе, Павел. В нашей жизни есть не только борьба, но и радость хорошего чувства.

За остальную твою жизнь, то есть об основном содержании, я не испытываю никакой тревоги. Крепко жму руки. Рита».

Павел в раздумьи разорвал письмо и, высунув руки в окно, почувствовал, как ветер вырвал кусочки бумаги из его пальцев.

К утру обе тетради были прочитаны, завернуты в бумагу и связаны. В Харькове часть украинцев сошла с поезда, в их числе Окунев, Панкратов и Корчагин. Николай должен был уехать в Киев за Талей, оставшейся у Анны. Панкратов, избранный в Цека комсомола Украины, имел свои дела. Корчагин решил ехать с ними до Киева, кстати побывать у Жаркого и Анны. Он задержался в почтовом отделении вокзала, отсылая Рите тетради, и, когда вышел к поезду, никого из друзей не было. Трамвай подвез его к дому, где жили Анна и Дубава. Павел поднялся по лестнице на второй этаж и постучал в дверь налево — к Анне. На стук никто не ответил. Было раннее утро, и уйти на работу Анна еще не могла. «Она, наверно, спит»,— подумал он. Дверь рядом приоткрылась, и на площадку вышел заспанный Дубава. Лицо серое, с синими ободками под глазами. От него отдавало острым запахом лука и, что сразу уловил тонкий нюх Корчагина, винным перегаром. В приоткрытую дверь Корчагин увидел на кровати какую-то толстую женщину, вернее, ее жирную голую ногу и плечи.

Дубава, заметив его взгляд, толчком ноги закрыл дверь.

— Ты что, к товарищу Борхарт? — спросил он хрипло, смотря куда-то в угол.— Ее уже здесь нет. Ты разве об этом не знаешь?

Хмурый Корчагин рассматривал его испытующе.

— Я этого не знал. Куда она переехала? — спросил он.

Дубава внезапно озлился.

— Это меня не интересует.— И, отрыгнув, добавил

с придушенной злобой: — А ты утешать ее пришел? Что же, самое время. Вакансия теперь освободилась, действуй. Тем более, отказа тебе не будет. Она мне ведь не раз говорила, что ты ей нравился... или как там у баб еще называется. Лови момент, тут вам и единство души и тела.

Павел почувствовал жар на щеках. Сдерживая себя, тихо сказал:

— До чего ты дошел, Митяй! Я не ожидал увидеть тебя такой сволочью. Ведь ты когда-то был неплохим парнем. Почему же ты дичаешь?

Дубава прислонился к стене. Ему, видно, было холодно стоять босыми ногами на цементном полу, и он ежился. Дверь отворилась, и в нее высунулась заспанная, пухлощекая женщина.

— Котик, иди же сюда, что ты здесь стоишь?..

Дубава не дал ей докончить, захлопнул дверь и подпер ее своим телом.

— Хорошее начало...— сказал Павел.— Кого ты к себе пускаешь и до чего это доведет?

Дубаве, видно, надоели переговоры, и он крикнул:

— Вы мне еще будете указывать, с кем я спать должен! Довольно мне акафисты читать! Можешь улепетывать, откуда пришел! Поди и расскажи, что Дубава пьет и спит с гулящей девкой.

Павел подошел к нему и сказал волнуясь:

— Митяй, выпроводи эту тетку, я хочу еще раз, в последний, поговорить с тобой...

Лицо Дубавы потемнело. Он повернулся и пошел в комнату.

— Эх, гад! — прошептал Корчагин, медленно сходя с лестницы.

Прошло два года. Беспристрастное время отсчитывало дни, месяцы, а жизнь, стремительная, многокрасочная, заполняла эти дни (с виду однообразные) всегда чем-то новым, не похожим на вчерашнее. Сто шестьдесят миллионов, составляющие великий народ, ставший впервые в мире хозяином своей необъятной земли и ее несметных природных богатств, в труде героическом и напряженном возрождали разрушенное войной народное хозяйство. Страна крепла, наливалась силой, и уже не видно было бездымных труб еще недавно безжизненных и угрюмых в своей заброшенности заводов.

Эти два года прошли для Корчагина в стремительном движении, и он даже не заметил их. Он не умел жить спокойно, размеренно-ленивой зевотой встречать раннее утро и засыпать точно в десять. Он спешил жить. И не только сам спешил, но и других подгонял.

На сон время отпускалось скупо. Можно было не раз до глубокой ночи видеть освещенным окно его комнаты, и в нем людей, склонившихся над столом. Это шла учеба. За два года был проработан третий том «Капитала». Стала понятной тончайшая механика капиталистической эксплуатации.

В округ, где работал Корчагин, явился Развалихин. Его посылал губком с предложением использовать секретарем райкомола. Корчагин был в отъезде, и в его отсутствие бюро послало Развалихина в один из районов. Приехал Корчагин, узнал об этом — ничего не сказал.

Прошел месяц, и Корчагин нагрянул к Развалихину в район. Нашел он немного фактов, но среди них уже были: пьянка, сколачивание вокруг себя подхалимов и затирание хороших ребят. Корчагин все это поставил на бюро и, когда все высказались за вынесение Развалихину строгого выговора, неожиданно сказал:

— Исключить без права вступления.

Это удивило всех, показалось слишком резким, но Корчагин повторил:

— Исключить негодяя. Этому гимназистишке давалась возможность стать человеком, но он просто примазался.— Павел рассказал о Берездове.

— Я категорически протестую против заявления Корчагина. Это личные счеты, мало ли кто обо мне трепаться может. Пусть Корчагин представит документы, данные, факты. Я тоже могу выдумать, что он контрабандой занимался,— значит, его исключить надо? Нет, пусть он даст документ! — кричал Развалихин.

— Подожди, напишем и документ,— ответил ему Корчагин.

Развалихин вышел. Через полчаса Корчагин добился принятия резолюции: «Исключить как чуждый элемент из рядов комсомола».

Летом один за другим уходили в отпуск друзья. У кого было здоровье похуже, пробирались к морю. Летом мечты об отдыхе охватывали всех, и Корчагин

отпускал свою братву на отдых, добывал им санаторные путевки и помощь. Они уезжали бледные, измученные, но радостные. Их работа валилась на его плечи, и он вывозил ее, как добрая лошадь вывозит телегу на подъем. Возвращались загорелые, жизнерадостные, полные энергии. Тогда уезжали другие. Но все лето кого-то не было, а жизнь не останавливала своего шага, и немыслим был день отсутствия Корчагина в его комнате.

Так проходило лето.

Осень и зиму Павел не любил: они приносили ему много физического страдания.

Этого лета ждал особенно нетерпеливо. Ему было мучительно тяжело даже самому себе признаться, что силы с каждым годом убывают. Было два выхода: или признать себя неспособным выносить трудности напряженной работы, признать себя инвалидом, или оставаться на посту до тех пор, пока это окажется возможным. И он выбрал второе.

Как-то на бюро окружкома партии к нему подсел старик-подпольщик доктор Бартелик, завокрздравом.

— Ты неважно выглядишь, Корчагин. В лечебной комиссии был? Как твое здоровье? Не был ведь? То-то я не помню, а надо тебя посмотреть, дружок. Приходи в четверг, к вечеру.

Павел в комиссию не пришел — был занят, но Бартелик о нем не забыл и как-то привел к себе. В результате внимательного врачебного осмотра (Бартелик лично принимал в нем участие как невропатолог) было записано:

> «Лечкомиссия считает необходимым немедленный отпуск с продолжительным лечением в Крыму и дальнейшее серьезное лечение, иначе тяжелые последствия неминуемы».

Этому предшествовал длинный перечень болезней по-латыни, из которого Корчагин понял только, что главная беда не в ногах, а в тяжелом поражении центральной нервной системы.

Бартелик провел решение комиссии через бюро, и никто не возражал против немедленного освобождения Корчагина от работы, но Корчагин сам предложил подождать возвращения из отпуска заворготделом комсомоль-

ского окружкома Сбитнева. Корчагин боялся опустошить комитет. Согласились, хотя Бартелик возражал.

Оставалось три недели до первого за всю жизнь отпуска. В столе уже лежала санаторная путевка в Евпаторию.

Корчагин нажимал в эти дни на работу, провел пленум окркомола и, не жалея сил, подгонял концы, чтобы уехать спокойным.

И вот тут, накануне отдыха и встречи с морем, никогда в своей жизни не виданным, случилось это нелепое и отвратительное, чего не ожидал.

Павел пришел в комнату агитпропа партии после занятий и сел у раскрытого окна на подоконнике за книжным шкафом в ожидании совещания агитпропа. Когда он вошел, в комнате никого не было. Вскоре пришло несколько человек. Павел из-за шкафа не видел их, но голос одного узнал. Это был Файло, завокрнархозом, высокий, с военной выправкой красавец. О нем Павел не раз слыхал, как о любителе выпить и поволочиться за каждой смазливой девчонкой.

Файло когда-то партизанил и при удобном случае со смехом рассказывал, как он рубил головы махновцам — по десятку в день. Корчагин его не переваривал. Однажды к Павлу пришла комсомолка и расплакалась, рассказывала, как Файло обещал на ней жениться, но, прожив с ней неделю, перестал даже здороваться. В КК Файло отвертелся, доказательств дивчина не имела, но Павел верил ей. Корчагин прислушался. Вошедшие в комнату не подозревали о его присутствии.

— Ну, Файло, как твои делишки? Что нового отчудил?

Это спрашивал Грибов, один из приятелей Файло, человек подстать ему. Грибов почему-то считался пропагандистом, хотя был чрезвычайно неразвит, ограничен и большая тупица, но званием пропагандиста пыжился и при каждом удобном и неудобном случае об этом напоминал.

— Можешь меня поздравить: я вчера обработал Коротаеву. А ты говорил, что ничего не выйдет. Нет, братец, я уж как за какой уцеплюсь, так будьте уверены,— и Файло прибавил похабную фразу.

Корчагин почувствовал нервный озноб — признак острого раздражения. Коротаева была завокрженотделом. Она приехала сюда одновременно с ним, и Павел

на совместной работе подружился с этой симпатичной партийкой, отзывчивой и внимательной к каждой женщине и к тем, кто приходил к ней искать защиты или совета. Среди работников комитета Коротаева пользовалась уважением. Она не была замужем. Файло, несомненно, говорил о ней.

— А ты не врешь, Файло? Что-то на нее не похоже.

— Я вру? За кого же ты тогда меня считаешь? Я не таких обламывал. Надо только уметь. Каждая требует особого подхода. Одна сдается на другой день, но это, признаться, барахло. А за другой приходится месяц бегать. Главное — надо узнать психологию. Везде особый подход. Это, братец, целая наука, но я в этом деле профессор. Хо-хо-хо-хо!..

Файло захлебывался от самодовольства. Кучка слушателей подзуживала к рассказу. Компании не терпелось узнать подробности.

Корчагин поднялся, стиснув кулаки, чувствуя, как забилось в тревоге сердце.

— Коротаеву взять так себе, «на бога», нечего было и думать, а упустить ее не хотел, тем более я с Грибовым на дюжину портвейна поспорил. Ну, я и начал диверсию. Зашел раз, другой. Смотрю, косится. Притом тут обо мне трепотня идет,— может, и к ней дошло... Одним словом, с флангов неудача. Я тогда в обход, в обход. Ха-ха!.. Ты понимаешь, говорю, воевал, народу понабил кучу, мотался по свету, горя, дескать, хлебнул немало, а бабы вот путящей себе не нашел, живу, как одинокая собака,— ни ласки, ни привета... И давай и давай накручивать, все в таком же роде. Одним словом, бил на слабые места. Много я с ней повозился. Одно время думал плюнуть к чертовой матери и закончить комедию. Но тут дело в принципе, из-за принципа я от нее не отставал... Наконец добился до ручки! За мое терпение — я вместо бабы на девку наскочил. Ха-ха!.. Эх, умора!

И Файло продолжал гнусный рассказ.

Корчагин плохо помнил, как он очутился около Файло.

— Скотина! — заревел Павел.

— Это я-то скотина или ты, что подслушиваешь чужие разговоры?

Видимо, Павел сказал еще что-то, так как Файло схватил его за грудь.

— Так ты меня оскорблять?!

И ударил Корчагина кулаком. Он был под хмелем.

Корчагин схватил дубовый табурет и одним ударом свалил Файло на пол. В кармане Корчагина не было револьвера, и только это спасло жизнь Файло.

Но нелепое все же случилось в день, назначенный для отъезда в Крым, Корчагин стоял перед партийным судом.

В городском театре вся парторганизация. Случай в агитпропе взбудоражил всех, и суд развернулся в острую бытовую полемику. Вопросы быта, личных взаимоотношений и партийной этики заслонили разбираемое дело. Оно стало сигналом. Файло на суде вел себя вызывающе, нагло улыбался, говорил, что дело его разберет народный суд и Корчагин за его разбитую голову получит принудительные работы. Отвечать на вопросы категорически отказался.

— Что, язычки хотите почесать по моему адресу? Извиняюсь. Можете мне припаивать что угодно, а то, что на меня тут бабье рассвирепело, так это потому, что на них не обращаю внимания. А дело выеденного яйца не стоит. Будь это в восемнадцатом году, я с этим психом Корчагиным разделался бы по-своему. А сейчас здесь и без меня обойдется,— и ушел.

Когда председательствующий предложил Корчагину рассказать о столкновении, Павел заговорил спокойно, но чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя.

— Все, о чем здесь идет речь, случилось потому, что я не сдержался. Давно уже прошло то время, когда я кулаками работал больше, чем головой. Произошла авария, и, прежде чем я это понял, Файло получил по черепу. За несколько последних лет у меня это единственный случай партизанства, и я его осуждаю, хотя затрещина по существу правильна. Файло — отвратительное явление в нашем коммунистическом быту. Я не могу понять, никогда не примирюсь с тем, что революционер-коммунист может быть в то же время и похабнейшей скотиной и негодяем. Этот случай заставил нас заговорить о быте, это единственно положительное во всем деле.

Подавляющим большинством партийный коллектив голосовал за исключение из партии Файло. Грибову был вынесен строгий выговор с предупреждением за ложные показания. Остальные участники разговора признались. Им было вынесено порицание.

Бартелик рассказал о состоянии нервов Павла. Собрание бурно протестовало, когда партследователь предложил объявить Корчагину выговор. Следователь снял свое предложение. Павел был оправдан.

Через несколько дней поезд мчал Корчагина в Харьков. Окружком партии согласился на его настойчивую просьбу отпустить его в распоряжение Цека комсомола Украины. Ему дали неплохую характеристику, и он уехал. Одним из секретарей Цека комсомола был Аким. К нему зашел Павел и рассказал обо всем.

В характеристике за словами «беззаветно предан партии» Аким прочел: «Обладает партийной выдержкой, лишь в исключительно редких случаях вспыльчив до потери самообладания. Виной этому — тяжелое поражение нервной системы».

— Все-таки записали тебе, Павлуша, этот факт на хорошем документе. Ты не огорчайся, бывают иногда такие вещи даже с крепкими людьми. Поезжай на юг, набирайся силенок. Вернешься, тогда поговорим, где будешь работать.

И Аким крепко пожал ему руку.

Санаторий Цека — «Коммунар». Клумбы роз, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду. Белые кители и купальные костюмы отдыхающих. Молодая женщина-врач записывает фамилию, имя. Просторная комната в угловом корпусе, ослепительная белизна постели, чистота и ничем не нарушаемая тишина. Переодетый, освеженный принятой ванной, Корчагин устремился к морю.

Насколько мог окинуть глаз — величественное спокойствие сине-черного, как полированный мрамор, морского простора. Где-то в далекой голубой дымке терялись его границы; расплавленное солнце отражалось на его поверхности пожаром бликов. Вдали сквозь утренний туман вырисовывались массивные глыбы горного хребта. Грудь глубоко вдыхала живительную свежесть морского бриза, а глаза не могли оторваться от великого спокойствия синевы.

Ласково подбиралась к ногам ленивая волна, лизала золотой песок берега.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Рядом с санаторием Цека — большой сад центральной поликлиники. Через него коммунаровцы проходили к себе, возвращаясь с моря. Здесь, под тенью густой чинары, у высокой, из серого известняка стены любил отдыхать Корчагин. Сюда редко кто заглядывал. Отсюда можно было наблюдать оживленное движение людей по аллеям и дорожкам сада, по вечерам слушать музыку, будучи вдали от раздражающей сутолоки большого курорта.

И сегодня Корчагин забрался сюда. С удовольствием прилег на плетеную качалку и, разморенный морской ванной и солнцем, задремал. Мохнатое полотенце и недочитанный «Мятеж» Фурманова лежали на соседней качалке. Первые дни в санатории его не покидало состояние напряженной нервозности, не прекращались головные боли. Профессора все еще изучали его сложное и редкостное заболевание. Многократные выстукивания и выслушивания надоедали Павлу и утомляли его. Ординатор со странной фамилией Иерусалимчик, симпатичная партийка, с трудом находила своего пациента и терпеливо уговаривала пойти с ней к тому или другому специалисту.

— Честное слово, я устал от всего этого,— говорил Павел.— Пять раз в день рассказывай одно и то же. Не была ли сумасшедшей ваша бабушка, не болел ли ревматизмом ваш прадедушка? А черт его знает, чем он болел, я его и в глаза не видел! Потом каждый пытается уговорить меня сознаться, что я болел гонореей или еще чем-нибудь похуже, а мне за это, признаюсь, хочется стукнуть кого-нибудь по лысине. Дайте мне возможность отдохнуть! А то, если меня будут изучать все полтора месяца, я стану социально опасным.

Иерусалимчик смеялась, отвечала шуткой, но уже через несколько минут, взяв его под руку и по дороге рассказывая что-нибудь занимательное, приводила к хирургу.

Сегодня осмотра не предвиделось. До обеда час. Сквозь дремоту Павел уловил чьи-то шаги. Глаза не открыл: «Подумает, что сплю, и уйдет». Напрасная надежда: скрипнула качалка, кто-то сел. Тонкий запах духов подсказывал, что рядом сидит женщина. Открыл глаза. Первое, что он увидел,— ослепительно белое платье и загоре-

лые ноги в сафьяновых чувяках, затем стриженую по-мальчишески головку, два огромных глаза, ряд острых, как у мышонка, зубов. Она улыбнулась смущенно.

— Извините, я, кажется, вам помешала?

Корчагин промолчал. Это было не совсем вежливо, но у него еще была надежда, что соседка уйдет.

— Это ваша книга?

Она перелистывала «Мятеж».

— Да, моя.

Минута молчания.

— Скажите, товарищ, вы из санатория «Коммунар»?

Корчагин нетерпеливо шевельнулся. «Откуда ее принесло? Отдохнул, называется. Сейчас, наверно, спросит, чем я болен. Придется уходить». Он сказал неласково:

— Нет.

— А я как будто видела вас там.

Павел уже поднимался, когда сзади грудной женский голос спросил:

— Ты чего сюда забралась, Дора?

На край качалки присела загорелая полная блондинка в пляжном санаторном костюме. Она мельком посмотрела на Корчагина.

— Я вас где-то видела, товарищ. Вы не в Харькове работаете?

— Да, в Харькове.

— На какой работе?

Корчагин решил закончить эти длительные переговоры.

— В ассенизационном обозе! — И невольно вздрогнул от их хохота.

— Нельзя сказать, чтобы вы были очень вежливы, товарищ.

Так началась их дружба, и Дора Родкина, член бюро Харьковского горкома партии, не раз вспоминала смешное начало знакомства.

Неожиданно в саду санатория «Таласса», куда Корчагин пришел на один из послеобеденных концертов, он встретился с Жарким. И, как ни странно, свел их фокстрот.

После жирной певицы, исполнявшей с яростной жестикуляцией «Пылала ночь восторгом сладострастья», на

эстраду выскочила пара. Он — в красном цилиндре, полуголый, с какими-то цветными пряжками на бедрах, но с ослепительно белой манишкой и галстуком. Одним словом, плохая пародия на дикаря. Она — смазливая, с большим количеством материи на теле. Эта парочка, под восхищенный гул толпы нэпманов с бычьими затылками, стоящих за креслами и койками санаторных больных, затряслась на эстраде в вихлястом фокстроте. Отвратительнее картины нельзя было себе представить. Откормленный мужик в идиотском цилиндре и женщина извивались в похабных позах, прилипнув друг к другу. За спиной Павла сопела какая-то жирная туша. Корчагин повернулся было уходить, как в переднем ряду, у самой эстрады, кто-то поднялся и яростно крикнул:

— Довольно проституировать! К черту!

Павел узнал Жаркого.

Тапер оборвал игру, скрипка взвизгнула последний раз и утихла. Пара на эстраде перестала извиваться. На того, кто закричал, злобно зашикали за стульями:

— Какое хамство — прерывать номер!

— Вся Европа танцует!

— Возмутительно!

Но из группы коммунаровцев разбойничьи свистнул в четыре пальца секретарь череповецкого укомола Сережа Жбанов. Его поддержали другие, и парочку с эстрады словно ветром сдуло. Трепач-конферансье, похожий на разбитного лакея, заявил публике, что труппа уезжает.

— Катись колбаской по Малой Спасской! Скажи деду — в Москву еду! — под общий хохот проводил его какой-то молодой парнишка в санаторном халате.

Корчагин разыскал в первых рядах Жаркого. Долго сидели у Павла в комнате. Ваня работал агитпропом в одном из окружкомов партии.

— А ты знаешь, у меня есть жена. Скоро будет или дочь или сын,— сказал Жаркий.

— Ого, кто же твоя жена? — удивился Корчагин.

Жаркий вынул из бокового кармана карточку и показал Павлу.

— Узнаешь?

На снимке был он и Анна Борхарт.

— А Дубава где? — еще более удивляясь, спросил Павел.

— Дубава в Москве. Он ушел из комвуза после исключения из партии и теперь учится в МВТУ. По слухам, его восстановили, а зря! Отравленный он человек... Знаешь, где Игнат? Он сейчас замдиректора судостроительного завода. Об остальных мало знаю. Оторвались мы друг от друга. Работаем в разных уголках страны, а все же как приятно встретиться и вспомнить старое,— говорил Жаркий.

В комнату вошла Дора и с ней несколько человек. Высокий тамбовец закрыл дверь. Дора взглянула на орден Жаркого и спросила у Павла:

— Твой товарищ — член партии? Где он работает?

Не понимая, в чем дело, Корчагин рассказал вкратце о Жарком.

— Тогда пусть останется. Только что приехали из Москвы товарищи. Они расскажут нам последние партийные новости. Решили собраться у тебя на своего рода закрытое заседание, — объяснила Дора.

Почти все собравшиеся были старые большевики, за исключением Павла и Жаркого. Член МКК Барташев рассказал о новой оппозиции, возглавляемой Троцким, Зиновьевым и Каменевым.

— Наше присутствие на местах в такой напряженный момент необходимо,— закончил Барташев.— Я выезжаю завтра.

Через три дня после собрания в комнате Павла санаторий досрочно опустел. Выехал и Павел, не пробыв положенного срока.

В Цека комсомола долго не задерживали. Корчагин получил назначение секретарем окружкома в одном из промышленных округов, и уже через неделю городской актив организации слушал его первую речь.

Глубокой осенью автомобиль окружкома партии, на котором ехал Корчагин с двумя работниками в один из отдаленных от города районов, свалился в придорожную канаву и перевернулся.

Покалечились все. У Корчагина оказалось раздавленным колено правой ноги. Через несколько дней он был привезен в хирургический институт в Харьков. Врачебный консилиум после осмотра распухшего колена и рентгеновских снимков высказался за немедленную операцию.

Корчагин согласился.

— Тогда завтра утром,— сказал в заключение тучный профессор, возглавлявший консультацию, и поднялся. Вслед за ним вышли и остальные.

Маленькая светлая палата на одного. Безукоризненная чистота и давно им забытый специфический запах лазарета. Корчагин огляделся. Тумбочка с белоснежной скатертью, белый табурет — и все.

Санитарка принесла ужин.

Павел от него отказался. Полусидя на кровати, он писал письма. Боль в ноге мешала думать, есть не хотелось.

Когда четвертое письмо было дописано, дверь в палату тихо открылась, и Корчагин увидел у своей кровати молодую женщину в белом халате и такой же шапочке.

В предвечерних сумерках уловил тонко вычерченные брови и большие глаза, казавшиеся черными. В одной руке она держала портфель, в другой — лист бумаги и карандаш.

— Я ваш ординатор,— сказала она,— сегодня дежурю. Сейчас займусь допросом, и вам волей-неволей придется рассказать о себе все.

Женщина приветливо улыбнулась. Улыбка сделала «допрос» менее неприятным. Целый час Корчагин рассказывал не только о себе, но и о прабабушках.

В операционной несколько человек с завязанными марлей носами.

Отблеск никеля на хирургических инструментах, узкий стол, огромный таз под ним. Когда Корчагин лег на стол, профессор кончал мыть руки. Сзади шла спешная подготовка к операции. Корчагин оглянулся. Сестра раскладывала ланцеты, щипцы. Ординатор Бажанова разматывала повязку на ноге.

— Не смотрите туда, товарищ Корчагин, это неприятно отражается на нервах,— тихо проговорила она.

— Вы о чьих нервах говорите, доктор? — И Корчагин насмешливо улыбнулся.

Через несколько минут плотная маска закрыла ему лицо, профессор сказал:

— Не волнуйтесь, сейчас будем давать хлороформ. Дышите глубоко, через нос и считайте.

Приглушенный голос из-под маски спокойно ответил:

— Хорошо. Заранее прошу извинения за возможные непечатные выражения.

Профессор не удержался от улыбки.

Первые капли хлороформа, удушливый, отвратительный запах. Корчагин глубоко вздохнул и, стараясь выговаривать отчетливо, начал считать. Так вступал он в первый акт своей трагедии.

Артем разорвал конверт почти пополам и, почему-то волнуясь, развернул письмо. Схватил глазами первые строчки, бежал по ним, не отрываясь:

«Артем! Мы очень редко пишем друг другу. Раз, иногда два в год! Разве дело в количестве? Ты пишешь, что уехал из Шепетовки с семьей в казатинское депо, чтобы оторвать корни. Понимаю, что эти корни — отсталая, мелкособственническая психология Стеши, ее родни и прочее. Переделывать людей типа Стеши трудно, боюсь, что тебе это даже не удастся. Говоришь «трудно учиться под старость», но у тебя это идет неплохо. Ты неправ, что так упрямо отказываешься уходить с производства на работу председателя горсовета. Ты воевал за власть? Так бери же ее. Завтра же бери горсовет и начинай дело.

Теперь о себе. У меня творится что-то неладное. Я стал часто бывать в госпиталях, меня два раза порезали, пролито немало крови, потрачено немало сил, а никто еще мне не ответил, когда этому будет конец.

Я оторвался от работы, нашел себе новую профессию — «больного», выношу кучу страданий, и в результате всего этого — потеря движения в колене правой ноги, несколько швов на теле, и, наконец, последнее врачебное открытие: семь лет тому назад получен удар в позвоночник, а сейчас мне говорят, что этот удар может дорого обойтись. Я готов вынести все, лишь бы возвратиться в строй.

Нет для меня в жизни ничего более страшного, как выйти из строя. Об этом даже не могу и подумать. Вот почему я иду на все, но улучшения нет, а тучи все больше сгущаются. После первой операции я, как толь-

ко стал ходить, вернулся на работу, но меня вскоре привезли опять. Сейчас получил билет в санаторий «Майнак» в Евпатории. Завтра выезжаю. Не унывай, Артем, меня ведь трудно угробить. Жизни у меня вполне хватит на троих. Мы еще работнем, братишка! Береги здоровье, не хватай по десяти пудов. Партии потом дорого обходится ремонт. Годы дают нам опыт, учеба — знание, и все это не для того, чтобы гостить по лазаретам. Жму твою руку.

Павел Корчагин».

В то время, когда Артем, хмуря свои густые брови, читал письмо брата, Павел в больнице прощался с Бажановой. Подавая ему руку, она спросила:

— В Крым уезжаете завтра? Где же вы проведете сегодняшний день?

Корчагин ответил:

— Сейчас придет товарищ Родкина. Сегодняшний день и ночь я проведу в ее семье, а утром она меня проводит на вокзал.

Бажанова знала Дору, часто приезжавшую к Павлу.

— Помните, товарищ Корчагин, наш разговор о том, что вы перед отъездом встретитесь с моим отцом? Я ему подробно рассказывала о вашем здоровье. Мне хочется, чтобы он вас посмотрел. Это можно сделать сегодня вечером.

Корчагин немедленно согласился.

В тот же вечер Ирина Васильевна вводила Павла в просторный кабинет своего отца.

Знаменитый хирург в присутствии дочери внимательно осмотрел Корчагина. Ирина привезла из клиники рентгеновские снимки и все анализы. Павел не мог не заметить внезапную бледность на лице Ирины Васильевны после одной пространной реплики отца, произнесенной по-латыни. Корчагин смотрел на большую лысую голову профессора, пытался что-нибудь прочесть в его пронзительных глазах, но Бажанов был непроницаем.

Когда Павел оделся, Бажанов вежливо простился с ним; он уезжал на какое-то заседание и поручил дочери рассказать свое заключение.

В комнате Ирины Васильевны, обставленной с изысканным вкусом, Корчагин прилег на диван, ожидая, когда

Бажанова заговорит. Но она не знала, как начать, что сказать; ей было очень трудно. Отец заявил ей, что медицина не имеет пока средств, могущих приостановить губительную работу идущего в организме Корчагина воспалительного процесса. Он высказывался против хирургических вмешательств. «Этого молодого человека ожидает трагедия неподвижности, и мы бессильны ее предотвратить».

Как врач и друг она не нашла возможным сказать все и в осторожных выражениях передала Корчагину лишь маленькую часть правды.

— Я уверена, товарищ Корчагин, что евпаторийские грязи создадут перелом и вы сможете осенью вернуться к работе.

Говоря это, она забыла, что за ней все время наблюдают два острых глаза.

— Из ваших слов, вернее, из всего того, что вы не договариваете, я вижу всю серьезность положения. Помните, я просил вас всегда говорить со мной откровенно. От меня ничего не надо скрывать, я не упаду в обморок и не зарежусь. Но я очень хочу знать, что меня ожидает впереди,— произнес Павел.

Бажанова отделалась шуткой.

В этот вечер Павел так и не узнал правды о своем завтрашнем дне. Когда они прощались, Бажанова тихо сказала:

— Не забывайте о моей дружбе к вам, товарищ Корчагин. В вашей жизни возможны всякие положения. Если вам понадобится моя помощь или совет, пишите мне. Я сделаю все, что будет в моих силах.

Она смотрела из окна, как высокая фигура в кожанке, тяжело опираясь на палку, двигалась от подъезда к извозчичьей пролетке.

Опять Евпатория. Южный зной. Крикливые загорелые люди в вышитых золотом тюбетейках. Автомобиль в десять минут доставляет пассажиров к двухэтажному, из серого известняка зданию санатория «Майнак».

Дежурный врач разводит приехавших по комнатам.

— Вы по какой путевке, товарищ? — спросил он Корчагина, останавливаясь против комнаты под № 11.

— Цека капебеу.

— Тогда мы вас поместим здесь вместе с товарищем Эбнером. Он немец и просил дать ему соседа русского,— объяснил врач и постучал. Из комнаты послышался ответ на ломаном русском языке:

— Войдите.

В комнате Корчагин поставил свой чемодан и обернулся к лежащему на кровати светловолосому мужчине с красивыми живыми голубыми глазами. Немец встретил его добродушной улыбкой.

— Гут морген, геноссен. Я хочель сказать, ждравствуй,— поправился он и протянул Павлу бледную, с длинными пальцами руку.

Через несколько минут Павел сидел у его кровати, и между ними происходил оживленный разговор на том «международном» языке, где слова играют подсобную роль, а неразобранную фразу дополняет догадка, жестикуляция, мимика — вообще все средства неписанного эсперанто. Павел знал уже, что Эбнер — немецкий рабочий.

В гамбургском восстании 1923 года Эбнер получил пулю в бедро, и вот сейчас старая рана открылась и свалила его в постель. Несмотря на страдания, он держался бодро и этим сразу снискал уважение Павла.

Лучшего соседа Корчагин и не мечтал иметь. Этот не будет рассказывать о своих болезнях с утра до вечера и ныть. Наоборот, с ним забудешь и свои невзгоды.

«Жаль только, что я по-немецки ни в зуб ногой»,— подумал он.

В уголке сада несколько качалок, стол из бамбука, две коляски. Здесь после лечебных процедур проводили весь день пятеро, прозванные больными «Исполкомом Коминтерна».

В коляске полулежал Эбнер, в другой — Корчагин, которому запретили ходить, остальные трое были: тяжеловесный эстонец Вайман — работник Наркомторга одной из республик, Марта Лауринь — латышка, кареглазая молодая женщина, похожая на восемнадцатилетнюю девушку, и Леденев — высокий богатырь с седыми висками, сибиряк. Действительно, здесь были пять национальностей: немец,

эстонец, латышка, русский и украинец. Марта и Вайман владели немецким языком, и Эбнер пользовался ими как переводчиками. Павла и Эбнера сдружила общая комната, Марту и Ваймана сблизило с Эбнером знание языка, а Леденева с Корчагиным — шахматы.

До приезда Иннокентия Павловича Леденева Корчагин был шахматным «чемпионом» в санатории. Он отнял это звание у Ваймана после упорной борьбы за первенство. Вайман был побежден, и это вывело флегматичного эстонца из равновесия. Он долго не мог простить Корчагину своего поражения. Но вскоре в санатории появился высокий старик, необычайно молодо выглядевший в свои пятьдесят лет, и предложил Корчагину сыграть партию. Корчагин, не подозревая об опасности, спокойно начал ферзевой гамбит, на который Леденев ответил дебютом центральных пешек. Как «чемпион» Павел должен был играть с каждым вновь приезжающим шахматистом. Смотреть эти партии постоянно собиралось много народу. Уже с девятого хода Корчагин увидел, как его сдавливают мерно наступающие пешки Леденева. Корчагин понял, что перед ним опасный противник: напрасно Павел отнесся к этой игре так неосторожно.

После трехчасового сражения, несмотря на все усилия, на все напряжение, Павел принужден был сдаться. Он увидел свой проигрыш раньше, чем кто-либо из окружающих. Посмотрел на своего партнера. Леденев улыбнулся отечески-добро. Ясно, что он тоже видел его поражение. Эстонец, с волнением и нескрываемым желанием поражения Корчагину, еще ничего не замечал.

— Я всегда держусь до последней пешки,— сказал Павел, и Леденев одобрительно кивнул головой в ответ на эту одному ему понятную фразу.

Корчагин сыграл с Иннокентием Павловичем десять партий в течение пяти дней, из них проиграл семь, выиграл две и одну вничью.

Вайман торжествовал:

— Ай, спасибо, товарищ Леденев! Как вы ему нахлопали! Так ему и надо! Нас, старых шахматистов, всех обставил, но и сам на старике сорвался. Ха-ха-ха!..

— Что, неприятно проигрывать? — допекал он своего побежденного победителя.

Корчагин потерял звание «чемпиона», но вместо этой игрушечной чести нашел в Иннокентии Павловиче чело-

века, ставшего ему впоследствии дорогим и близким. Поражение Корчагина на шахматном поле было не случайное. Он уловил лишь поверхностную стратегию шахматной игры; шахматист проиграл мастеру, знающему все тайны игры.

У Корчагина и Леденева была общая дата: Корчагин родился в тот год, когда Леденев вступил в партию. Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. У одного — большой жизненный и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом — большой государственной работы; у другого — пламенная юность и всего лишь восемь лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба они — старый и молодой — имели горячие сердца и разбитое здоровье.

Вечером в комнате Эбнера и Корчагина — клуб. Отсюда выходили все политические новости. Вечерами в комнате № 11 было шумно. Обычно Вайман пытался рассказать какой-нибудь сальный анекдот, до которых он был большой любитель, но сейчас же попадал под двойной обстрел — Марты и Корчагина. Марта умела срезать его тонкой и язвительной насмешкой; когда же это не помогало, вмешивался Корчагин:

— Вайман, ты бы спросил,— может быть, нам совсем не по вкусу твое «остроумие»...

— Я вообще не понимаю, как это у тебя совмещается...— неспокойным тоном начинал Корчагин.

Вайман оттопыривал мясистую губу, и узкие глазки его насмешливо скользили по лицам.

— Придется ввести инспектуру морали при Главполитпросвете и рекомендовать Корчагина старшим инспектором. Я еще понимаю Марту, у нее профессиональная женская оппозиция, но Корчагин хочет казаться невинным мальчиком, чем-то вроде комсомольского младенчика... И притом я вообще не люблю, когда яйца кур учат.

После такого возбужденного спора о коммунистической этике вопрос о сальных анекдотах был поставлен на принципиальное обсуждение. Марта перевела Эбнеру точки зрения.

— Эротише анекдот — это не очень карашо, я солидаризирован с Павлюша,— высказался Адам.

Вайману пришлось отступить. Он, как мог, отшучивался, но анекдотов больше не рассказывал.

Марту Корчагин считал комсомолкой. На глазок дал ей девятнадцать лет. Каково же было его удивление, когда однажды в разговоре с ней он узнал, что она член партии с семнадцатого года, что ей тридцать один и что она была одним из активных работников латышской компартии. В восемнадцатом году белые приговорили ее к расстрелу, а вслед за тем она была обменена советским правительством вместе с другими товарищами. Сейчас она работала в «Правде» и одновременно кончала вуз. Как началось их сближение, Корчагин не уловил, но маленькая латышка, часто бывавшая у Эбнера, стала неразлучной с «пятеркой».

Подпольщик Эглит, тоже латыш, лукаво подшучивал над ней:

— Марточка, а как же бедный Озол в Москве? Нельзя же так!

По утрам, за минуту до звонка, в санатории голосисто кричал петух. Эбнер идеально его копировал. Все старания персонала найти неизвестно как забравшегося в санаторий петуха ни к чему не приводили. Эбнеру это доставляло большое удовольствие.

В конце месяца Корчагин почувствовал себя худо. Врачи уложили его в постель. Эбнера это очень огорчило. Он полюбил этого молодого большевика, никогда не унывающего, жизнерадостного, с такой кипучей энергией и так рано потерявшего здоровье. Когда же Марта рассказала Эбнеру, что врачи предсказывают Корчагину трагическую будущность, Адам взволновался.

До самого отъезда из санатория Корчагину не разрешали ходить.

Павлу удавалось скрывать свои страдания от окружающих, одна Марта догадывалась о них по необычайной бледности его лица. За неделю до отъезда Павел получил из Украинского Цека письмо, где сообщалось, что отпуск ему продлен на два месяца и что, согласно санаторному заключению, возвращение его на работу при теперешнем состоянии здоровья невозможно. Вместе с письмом были присланы деньги.

Павел принял этот первый удар, как когда-то принимал удары Жухрая, учившего его боксу: тогда тоже падал, но сейчас же подымался.

Неожиданно пришло письмо от матери. Старушка писала, что недалеко от Евпатории, в портовом городе, живет ее давнишняя подруга Альбина Кюцам, с которой мать не виделась уже пятнадцать лет, и что она очень просит сына заехать к ней. Это случайное письмо сыграло большую роль в жизни Павла.

Через неделю санаторное землячество тепло проводило Корчагина на пристань. На прощанье Эбнер горячо обнял и поцеловал Павла, как брата. Марта же исчезла, и Павел уехал, не простившись с ней.

А на следующее утро фаэтон, привезший Корчагина с пристани, подкатил к маленькому домику в небольшом саду, и Корчагин послал своего провожатого спросить, здесь ли живут Кюцам.

Семья Кюцам состояла из пяти человек. Альбина Кюцам — мать, пожилая полная женщина с тяжелым, придавливающим взором черных глаз и со следами былой красоты на старом лице, ее две дочери — Леля и Тая, маленький сынишка Лели и старик Кюцам, неприятный толстяк, похожий на борова.

Старик служил в кооперативе, младшая дочь Тая ходила на черную работу, старшая, Леля, в прошлом машинистка, недавно разошлась со своим мужем, пьяницей и хулиганом, и сидела без работы. Дни она проводила дома, возилась с сынишкой, помогала по хозяйству матери.

Кроме дочерей, был еще сын Жорж, но сейчас он находился в Ленинграде.

Семья Кюцам радушно приняла Корчагина. Только старик окинул гостя недобрым, настороженным взглядом.

Корчагин терпеливо рассказывал Альбине все, что он знал из семейной хроники Корчагиных, попутно сам расспрашивал о житье-бытье.

Леле было двадцать два года. Стриженая простецкая шатенка с широким открытым лицом, она сразу же стала с Павлом на приятельскую ногу и охотно посвящала его во все семейные секреты. От нее Корчагин узнал, что старик деспотически-грубо зажал всю семью, убивая всякую инициативу и малейшее проявление воли. Ограниченный, узколобый, придирчивый до мелочности, он держал семью в вечном страхе и этим снискал себе глубокую неприязнь детей и глубокую ненависть жены, все двадцать пять лет

боровшейся против его деспотизма. Дочери постоянно становились на сторону матери, и эти беспрерывные семейные ссоры отравляли им жизнь. Так проходили дни, заполненные бесконечными мелкими и большими обидами.

Вторым уродом в семье был Жорж. Судя по рассказам Лели, это был типичный хлыст, задавака и бахвал, любитель хорошо поесть и с шиком одеться, не дурак выпить. Кончив девятилетку, Жорж — любимец матери — потребовал от нее денег для поездки в столичный город.

— Я поеду в университет. Пусть продаст Леля свое кольцо, а ты свои вещи. Мне нужны деньги, а где вы их достанете — мне все равно.

Жорж знал хорошо, что мать ему ни в чем не откажет, и пользовался этим самым бессовестным образом. К сестрам относился пренебрежительно, свысока, считая их ниже себя. Все средства, какие удавалось урвать от старика, и заработанные Таей деньги мать посылала сыну. А тот, с треском провалившись на экзамене, нескучно жил у своего дядьки, терроризируя мать телеграммами о присылке денег.

Младшую, Таю, Корчагин увидел лишь поздно вечером. Мать в сенях шепотом рассказывала ей о приезде гостя. Здороваясь с Павлом, она смущенно подала ему руку и до кончиков маленьких ушей покраснела перед незнакомым молодым человеком. Павел не сразу отпустил ее крепкую, с ощутимыми бугорками мозолей руку.

Тае шел девятнадцатый год. Она не была красавицей, но большие карие глаза, тонкие, монгольского рисунка брови, красивая линия носа и свежие упрямые губы делали ее привлекательной; молодой упругой груди тесно под полосатой рабочей блузкой.

Сестры жили в двух крошечных комнатках. В комнате Таи — узкая железная кровать, комод, уставленный разными безделушками, на нем небольшое зеркало, а на стене десятка три фотографий и открыток. На окне две цветочные банки с пунцовой геранью и бледно-розовыми астрами. Кисейная занавеска подобрана голубой тесемкой.

— Тая не любит пускать в свою комнату представителей мужского пола, а для вас, видите, делается исключение,— шутила над сестрой Леля.

На другой день вечером семья пила чай на половине стариков. Тая была у себя в комнате и оттуда прислушивалась к общему разговору. Кюцам сосредоточенно размешивал сахар в стакане и зло поглядывал поверх очков на сидящего перед ним гостя.

— Семейные законы теперешние осуждаю,— говорил он.— Захотел — женился, а захотел — разженился. Полная свобода.

Старик поперхнулся и закашлялся. Отдышавшись, показал на Лелю.

— Вот со своим хахалем сошлась, не спросясь, и разошлась, не спрашивая. А теперь, извольте радоваться, корми ее и чьего-то ребенка. Безобразие!

Леля мучительно покраснела и прятала от Павла глаза, полные слез.

— А что же, по-вашему, она должна была с этим паразитом жить? — спросил Павел, не спуская со старика своего вспыхивающего дикими огоньками взгляда.

— Надо было смотреть, за кого выходишь.

В разговор вмешалась Альбина. С трудом сдерживая свое негодование, она прерывисто заговорила:

— Послушай, старик, зачем ты заводишь эти разговоры при чужом человеке? Можно о чем-нибудь другом, а не об этом.

Старик дернулся в ее сторону.

— Я знаю, что говорю! С каких это пор мне замечания стали делать?

Ночью Павел долго думал о семье Кюцам. Случайно занесенный сюда, он невольно становился участником семейной драмы. Он думал над тем, как помочь матери и дочерям выбраться из этой кабалы. Его личная жизнь затормаживала ход, перед ним самим вставали неразрешенные вопросы, и сейчас труднее чем когда бы то ни было предпринимать решительные действия.

Выход был один: расколоть семью — матери и дочерям уйти навсегда от старика. Но это было не так просто. Заниматься этой семейной революцией он был не в состоянии, через несколько дней он должен уехать и, может быть, больше никогда не встретится с этими людьми. Не предоставить ли все своему нормальному течению и не ворошить пыли в этом низеньком и тесном доме? Но отвратительный образ старика не давал ему покоя. Павел

создал несколько планов, но все они казались невыполнимыми.

На другой день было воскресенье, и когда Корчагин возвратился из города, дома застал одну Таю. Остальные ушли к родственникам в гости.

Павел зашел к ней в комнату и, усталый, присел на стул.

— Ты почему никуда не идешь погулять, развлечься? — спросил он у нее.

— А мне не хочется никуда идти, — тихо ответила она.

Он вспомнил свои ночные планы и решил проверить их. Торопясь, чтобы никто не помешал, начал напрямик:

— Послушай, Тая, будем говорить друг другу «ты», — к чему нам эти китайские церемонии? Я скоро уеду. Встретился я с вами как раз в плохую пору, когда сам попал в переплет, а то бы мы дело иначе повернули. Будь это год назад, мы бы отсюда уезжали все вместе. Для таких рук, как у тебя и у Лели, работа бы нашлась! Со стариком надо кончать, этого не сагитируешь. Но сейчас этого сделать нельзя. Я сам еще не знаю, что со мной будет, вот почему я, так сказать, обезоружен. Что же теперь делать? Я буду добиваться возвращения на работу. Врачи там написали обо мне черт его знает что, и товарищи заставляют меня лечиться до бесконечности. Ну, это мы там повернем... Я спишусь со своей матушкой, и мы увидим, как эту заваруху кончить. Я вас все-таки так не оставлю. Только вот что, Таюша: жизнь вашу, и твою в частности, придется переворачивать наизнанку. Есть ли у тебя для этого силы и желание?

Тая подняла опущенную голову и тихо ответила:

— Желание у меня есть, а силы — не знаю.

Эта нетвердость в ответе была понятна Корчагину.

— Ничего, Таюша! С этим мы сладим, было бы желание. А скажи ты мне, семья тебя очень привязывает?

Тая ответила не сразу, застигнутая врасплох.

— Мне мать очень жалко, — сказала она наконец. — Отец ее всю жизнь терзал, теперь Жорка из нее все выматывает, а мне ее очень жалко... хотя она меня и не любит так, как Жорку...

Много говорили они в этот день, и незадолго до прихода остальных Павел шутя сказал:

— Удивительно, как тебя старик замуж не согнал за кого-нибудь.

Тая испуганно отмахнулась рукой:

— Я замуж не пойду. Я на Лелю насмотрелась. Ни за что замуж не пойду!

Павел усмехнулся.

— Значит, зарок на всю жизнь? А если налетит какой-нибудь парень-гвоздь, одним словом, хороший парнишка,— тогда как?

— Не пойду! Все они хорошие, пока под окнами ходят.

Павел примиряюще положил руку на ее плечо.

— Ладно. Не плохо можно прожить и без мужа. Только ты уж очень на ребят неласкова. Хорошо, что ты меня хоть в женихowстве не подозреваешь. А то попало бы на орехи,— и он по-приятельски провел по руке смущенной девушки своей холодной ладонью.

— Такие, как ты, себе других жен ищут. На что мы им сдались? — тихо сказала она.

Через несколько дней поезд увозил Корчагина в Харьков. На вокзале его провожали Тая, Леля и Альбина со своей сестрой Розой. На прощанье Альбина взяла с него слово не забывать молодежь, помочь ей выбраться из ямы. Простились с ним, как с родным, а в глазах Таи стояли слезы. Долго видел из окна белый платочек в руках Лели и полосатую блузку Таи.

В Харькове остановился у своего приятеля Пети Новикова, не желая беспокоить Дору. Отдохнул и поехал в Цека. Дождался Акима и, когда остались одни, попросил сейчас же отправить на работу. Аким отрицательно мотнул головой.

— Этого нельзя сделать, Павел! У нас есть постановление лечебной комиссии и Цека партии, где записано: «Ввиду тяжелого состояния здоровья направить в Невропатологический институт для лечения, не допуская возвращения к работе».

— Мало ли чего они напишут, Аким! Я у тебя прошу — дай мне возможность работать! Это шатание по клиникам бесполезно.

Аким отказывался.

— Мы не можем ломать решения. Пойми же, Павлушка, что это для тебя же лучше.

Но Корчагин так горячо настаивал, что Аким не мог устоять и под конец согласился.

На другой день Корчагин уже работал в секретной части секретариата Цека. Ему казалось, что достаточно начать работать, как вернутся утраченные силы. Но с первого же дня он увидел, что ошибался. Он просиживал в своем отделе без перерыва восемь часов не евши, так как спускаться на завтрак и обед с третьего этажа в соседнюю столовую оказалось не под силу: часто немела то рука, то нога. Иногда все тело лишалось способности двигаться, и его температурило. Когда надо было ехать на работу, он вдруг не находил в себе силы подняться с постели. Пока это проходило, он с отчаянием убеждался, что опаздывает на целый час. В конце концов опоздания ему поставили на вид, и он понял, что это начало самого страшного в его жизни — выхода из строя.

Аким еще дважды помогал ему — передвигал на другую работу, но случилось неизбежное: на второй месяц Павел свалился в постель. Тогда он вспомнил прощальные слова Бажановой и написал ей письмо. Она приехала в тот же день, и от нее он узнал самое основное — что в клинику ему ложиться не обязательно.

— Значит, у меня дела так хороши, что и лечиться не стоит,— пытался он пошутить, но шутка не удавалась.

Как только силы частично вернулись к нему, Павел опять появился в Цека. На этот раз Аким был неумолим. На его категорическое предложение ложиться в клинику Корчагин глухо ответил:

— Не пойду никуда. Это бесполезно. Узнал из авторитетных источников. Мне остается одно — получить пенсию и подать в отставку. Но этот номер не пройдет. Вы не можете оторвать меня от работы. Мне всего двадцать четыре года, и я не могу доживать свой век с книжечкой инвалида труда, скитаться по лечебницам, зная, что это ни к чему. Вы должны мне дать работу, подходящую для моих условий. Я могу работать на дому или жить где-нибудь в учреждении... только не писарем, который ставит номера на исходящем. Работа должна давать для моего сердца что-то, чтобы я не чувствовал себя на отшибе.

Голос Павла звучал все взволнованнее и звонче.

Аким понимал, какие чувства движут еще недавно огневым парнем. Он понимал трагедию Павла, знал, что для Корчагина, отдавшего свою короткую жизнь партии,

отрыв от борьбы и переход в глубокий тыл был ужасен, и он решил сделать все, что в его силах.

— Хорошо, Павел, не волнуйся. Завтра у нас секретариат. Я поставлю о тебе вопрос. Даю слово, что сделаю все.

Корчагин тяжело поднялся и подал ему руку.

— Неужели ты можешь подумать, Аким, что жизнь загонит меня в угол и раздавит в лепешку? Пока у меня здесь стучит сердце,— и он с силой притянул руку Акима к своей груди, и Аким отчетливо почувствовал глухие быстрые удары,— пока стучит, меня от партии не оторвать. Из строя меня выведет только смерть. Запомни это, братишка.

Аким молчал. Он знал, что это была не блестящая фраза, а крик тяжело раненного бойца. Он понимал, что говорить и чувствовать иначе такие люди не могут.

Через два дня Аким сообщил Павлу, что ему предоставлена возможность получить ответственную работу в редакции центрального органа, но для этого необходимо проверить, можно ли его использовать на литературном фронте. В редакционной коллегии Павла встретили предупредительно. Заместитель редактора, старая подпольщица, член президиума ЦКК Украины, задала ему несколько вопросов:

— Ваше образование, товарищ?

— Три года начальной школы.

— В партийно-политических школах не были?

— Нет.

— Ну что же, бывает, что и без этого вырабатывается хороший журналист. О вас нам говорил товарищ Аким. Мы можем дать вам работу не обязательно здесь, а на дому, и вообще создать вам подходящие условия. Но для этой работы необходимы все же обширные знания. Особенно в области литературы и языка.

Все это предвещало Павлу поражение. В получасовой беседе выяснилась недостаточность знаний, а в написанной им статье женщина подчеркнула красным карандашом больше трех десятков стилистических неправильностей и немало орфографических ошибок.

— Товарищ Корчагин! У вас есть большие данные. При углубленной работе над собой вы можете стать в будущем литературным работником, но сейчас вы пишете

малограмотно. Из статьи видно, что вы не знаете русского языка. Это не удивительно, вы не имели времени учиться. Но использовать вас мы, к сожалению, не можем. Но еще раз повторяю: у вас большие данные. Если вашу статью обработать, не меняя содержания, то она будет прекрасна. А нам нужны люди, умеющие обрабатывать чужие статьи.

Корчагин встал, опираясь на палку. Правая бровь судорожно вздрагивала.

— Что же, я с вами согласен. Какой из меня литератор? Я был хороший кочегар, неплохой монтер. Умел хорошо ездить на коне, будоражить комсу, но на вашем фронте я неподходящий рубака.

Попрощавшись, вышел.

На повороте в коридоре чуть не упал. Его подхватила какая-то женщина с портфелем.

— Что с вами, товарищ? На вас лица нет!

Корчагин несколько секунд приходил в себя. Потом тихонько отстранил женщину и пошел, налегая на палку.

С этого дня жизнь Корчагина шла под уклон. О работе не могло быть и речи. Все чаще он проводил дни в кровати. Цека освободил его от работы и просил Главсоцстрах назначить ему пенсию. Пенсия была ему дана вместе с книжкой инвалида труда. Цека дал ему денег и выдал личные дела с правом выезда, куда он захочет. От Марты пришло письмо. Она звала его к себе погостить и отдохнуть. Павел и без того собирался ехать в Москву с смутной надеждой найти счастье во Всесоюзном Цека, то есть найти работу, не требующую движения. Но в Москве ему тоже предложили лечиться, обещали поместить в хорошую лечебницу. Он от этого отказался.

Незаметно пробежали девятнадцать дней, прожитых им на квартире Марты и ее подруги Нади Петерсон. Целые дни он оставался один. Марта и Надя уходили с утра и приходили вечером. Павел запоем читал — у Марты было много книг, а вечером забегали подруги и кое-кто из друзей.

Из портового города приходили письма. Семья Кюцам звала его к себе. Жизнь стягивала свой тугой узел. Там ждали его помощи.

В одно утро Корчагина не стало в тихой квартире в Гусятниковом переулке. Поезд мчал его на юг, к морю,

увозя от сырой, дождливой осени к теплым берегам Южного Крыма. Он следил, как пробегали у окна столбы. Плотно были сдвинуты брови, и в темных глазах затаилось упорство.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Внизу, у нагроможденных беспорядочной кучей камней, плещется море. Обвевает лицо сухой «моряк», долетающий сюда из далекой Турции. Ломаной дугой втиснулась в берег гавань, отгороженная от моря железобетонным молом. Обрывал свой хребет у моря перевал. И далеко вверх, в горы, забирались игрушечные белые домики городских окраин.

В старом загородном парке тихо. Заросли травой давно не чищенные дорожки, и медленно падает на них желтый, убитый осенью кленовый лист.

Корчагина привез сюда из города старик-извозчик, перс, и, высаживая странного седока, не утерпел — высказался:

— Зачем ехал? Барышна здэс нэту, театр нэту. Адын шакал ходыт... Что дэлат будышь, нэ понимаю! Поедэм обратно, господын товарищ!

Корчагин расплатился с ним, и старик уехал.

Безлюден парк. Павел нашел скамью на выступе моря, сел, подставив лицо лучам уже не жаркого солнца.

Сюда, в эту тишину, приехал он, чтобы подумать над тем, как складывается жизнь и что с этой жизнью делать. Пора было подвести итоги и вынести решение.

С его вторым приездом сюда противоречие в семье Кюцам обострилось до крайности. Старик, узнав о его приезде, взбесился и поднял в доме невероятную бучу. На Корчагина, само собой, легло руководство сопротивлением. Старик неожиданно встретил энергичный отпор со стороны дочерей и жены, и с первого же дня второго приезда Корчагина дом разделился на две половины, враждебные и ненавистные друг другу. Ход на половину стариков был заколочен, а одна из боковых комнатушек сдана Корчагину как квартиранту. Деньги за квартиру старику были даны вперед, и он вскоре даже как будто

успокоился тем, что дочери, отколовшись от него, не будут требовать средств на жизнь.

Альбина из дипломатических соображений оставалась жить на половине старика. К молодым старик не заглядывал, не желая встречаться с ненавистным человеком, зато на дворе он пыхтел, как паровоз, показывая, что он здесь хозяин.

Старик до службы в кооперативе знал две профессии — сапожника и плотника — и в свободные часы подрабатывал, устроив мастерскую в сарае. Вскоре, чтобы досадить жильцу, он перенес свой станок под самое его окно. Яростно вколачивая гвозди, наслаждался. Он знал хорошо, что мешает Корчагину читать.

— Подожди, я тебя выкурю отсюда...— шипел он себе под нос.

Далеко, почти на горизонте, темной тучкой стлался дымчатый след парохода. Стая чаек пронзительно вскрикивала, кидаясь в море.

Корчагин обхватил голову руками и тяжело задумался. Перед его глазами пробежала вся его жизнь, с детства и до последних дней. Хорошо ли, плохо ли он прожил свои двадцать четыре года? Перебирая в памяти год за годом, проверял свою жизнь как беспристрастный судья, и с глубоким удовлетворением решил, что жизнь прожита не так уж плохо. Но было немало и ошибок, сделанных по дури, по молодости, а больше всего по незнанию. Самое же главное — не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови.

Из строя он не уходил, пока не иссякли силы. Сейчас, подбитый, он не может держать фронт, и ему оставалось одно — тыловые лазареты. Помнил он, когда шли лавины под Варшаву, пуля срезала бойца. И боец упал на землю, под ноги коня. Товарищи наскоро перевязали раненого, сдали санитарам и неслись дальше — догонять врага. Эскадрон не останавливал свой бег из-за потери бойца. В борьбе за великое дело так было и так должно быть. Правда, были исключения. Видел он и безногих пулеметчиков на тачанках — это были страшные для врага люди, пулеметы их несли смерть и уничтожение. За железную выдержку и меткий глаз стали они гордостью полков. Но такие были редкостью.

Как же должен он поступить с собой сейчас, после разгрома, когда нет надежды на возвращение в строй? Ведь добился он у Бажановой признания, что в будущем он должен ждать чего-то еще более ужасного. Что же делать? Угрожающей, черной дырой стал перед ним этот неразрешенный вопрос.

Для чего жить, когда он уже потерял самое дорогое — способность бороться? Чем оправдать свою жизнь сейчас и в безотрадном завтра? Чем заполнить ее? Просто есть, пить и дышать? Остаться беспомощным свидетелем того, как товарищи с боем будут продвигаться вперед? Стать отряду обузой? Что, вывести в расход предавшее его тело? Пуля в сердце — и никаких гвоздей! Умел неплохо жить, умей вовремя и кончить. Кто осудит бойца, не желающего агонизировать? Рука его нащупала в кармане плоское тело браунинга, пальцы привычным движением схватили рукоять. Медленно вытащил револьвер.

— Кто бы мог подумать, что ты доживешь до такого дня?

Дуло презрительно глянуло ему в глаз. Павел положил револьвер на колени и злобно выругался.

— Все это бумажный героизм, братишка! Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай. Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной.

Поднялся и пошел к дороге. Проезжий горец подвез его на своей арбе до города. И там на одном из перекрестков он купил местную газету. В ней сообщалось о собрании городского партколлектива в клубе Демьяна Бедного. К себе Павел возвратился глубокой ночью. На активе он говорил, сам не зная того, последнюю свою речь на большом собрании.

Тая не спала. Ее охватила тревога из-за долгого отсутствия Корчагина. Что с ним? Где он? Что-то жесткое и холодное высмотрела она сегодня в его глазах, ранее

всегда живых. Он мало рассказывал о себе, но она чувствовала, что он переживает какое-то несчастье.

Часы на половине матери отстучали два, когда стукнула калитка, и она, накинув жакет, пошла открывать дверь. Леля спала в своей комнате, бормоча что-то сквозь сон.

— А я уже за тебя беспокоилась,— радуясь, что он пришел, прошептала Тая, когда Корчагин вошел в сени.

— Ничего со мной не случится до самой смерти, Таюша. Что, Леля спит? А ты знаешь, мне совершенно спать не хочется. Я тебе кое-что рассказать хочу о сегодняшнем дне. Идем к тебе, а то мы разбудим Лелю,— также шепотом ответил он.

Тая заколебалась. Как же так, она ночью будет с ним разговаривать? А если об этом узнает мама, что она может о ней подумать? Но ему нельзя этого сказать, ведь он же обидится. И о чем он хочет сказать? Думая об этом, она уже шла к себе.

— Дело вот в чем, Тая,— начал Павел приглушенным голосом, когда они уселись в темной комнате друг против друга так близко, что она ощутила его дыхание.— Жизнь так поворачивается, что мне даже чудновато немного. Я все эти дни прожил неважно. Для меня было неясно, как дальше жить на свете. Никогда еще в моей жизни не было так темно, как в эти дни. Но сегодня я устроил заседание «политбюро» и вынес огромной важности решение. Ты не удивляйся, что я тебя посвящаю.

Он рассказал ей о всем пережитом за последние месяцы и много из продуманного в загородном парке.

— Таково положение. Приступаю к основному. Заваруха в семье только начинается. Отсюда надо выбираться на свежий воздух, подальше от этого гнезда. Жизнь надо начинать заново. Раз уж я в эту драку влез, будем доводить ее до конца. И у тебя и у меня личная жизнь сейчас безрадостна. Я решил запалить ее пожаром. Ты понимаешь, что это значит? Ты станешь моей подругой, женой?

Тая слушала его до сих пор с глубоким волнением. При последнем слове вздрогнула от неожиданности.

— Я не требую от тебя сегодня ответа, Тая. Ты обо всем крепко подумай. Тебе непонятно, как это без разных

там ухаживаний говорят такие вещи. Все эти антимонии никому не нужны. Я тебе даю руку, девочка, вот она. Если ты на этот раз поверишь, то не обманешься. У меня есть много того, что нужно тебе, и наоборот. Я уже решил: союз наш заключается до тех пор, пока ты не вырастешь в настоящего, нашего человека, а я это сделаю, иначе грош мне цена в большой базарный день. До тех пор мы союза рвать не должны. А вырастешь — свободна от всяких обязательств. Кто знает, может так статься, что я физически стану совсем развалиной, и ты помни, что и в этом случае не свяжу твоей жизни.

Помолчав несколько секунд, он продолжал тепло, ласково:

— Сейчас же я предлагаю тебе дружбу и любовь.

Он не выпускал ее пальцев из своей руки и был так спокоен, словно она уже ответила ему согласием.

— А ты меня не оставишь?

— Слова, Тая, не доказательство. Тебе остается одно: поверить, что такие, как я, не предают своих друзей... только бы они не предали меня,— горько закончил он.

— Я тебе сегодня ничего не скажу, все это так неожиданно,— ответила она.

Корчагин поднялся.

— Ложись, Тая, скоро рассвет.

И ушел в свою комнату. Не раздеваясь, лег и, едва голова коснулась подушки, уснул.

В комнате Корчагина, на столе у окна, груды принесенных из партийной библиотеки книг, стопа газет; несколько исписанных блокнотов. Хозяйская кровать, два стула, а на двери, ведущей в комнату Таи, огромная карта Китая, утыканная черными и красными флажками. В комитете партии Корчагин договорился, что его будут снабжать литературой из парткабинета, кроме того, обещали прикрепить к нему для книжного шефства заведующего самой крупной в городе портовой библиотекой. Вскоре он начал оттуда целыми пачками получать книги. Леля с удивлением наблюдала за тем, как он с раннего утра, с небольшими перерывами на обед и завтрак, читал и записывал до самого вечера, который они всегда проводили вместе в ее комнате — втроем. Корчагин делился с сестрами прочитанным.

Далеко заполночь, выходя на двор, старик постоянно видел светлую полоску меж ставен комнаты незваного жильца. Тихо, на цыпочках, подходил старик к окну и в щелочку наблюдал склоненную над столом голову.

«Люди спят, а этот свет жжет целую ночь напролет. Ходит по дому, словно хозяин. Девчонки огрызаться стали»,— недобро раздумывал старик и уходил.

Впервые за восемь лет у Корчагина было так много свободного времени и ни одной обязанности. И он читал с голодной жадностью вновь посвященного. Он просиживал за работой по восемнадцати часов в сутки. Неизвестно, как бы это сказалось на его здоровье, если бы не несколько оброненных Таей слов:

— Я перенесла в другое место комод, дверь в твою комнату теперь открывается. Если тебе нужно будет о чем-нибудь со мной поговорить, можешь пройти прямо, не заходя к Леле.

Павел вспыхнул. Тая радостно улыбнулась — союз был заключен.

Не видел больше старик в полуночные часы полоски света из углового окна, а мать стала замечать в глазах Таи плохо спрятанную радость. Чуть заметной черточкой пролегли каемки под блестящими от внутреннего огня глазами — сказывались бессонные ночи. Звон гитары и Таины песни чаще стали раздаваться в маленькой квартире.

Проснувшаяся в ней женщина страдала оттого, что любовь ее была как будто краденой. Она вздрагивала от каждого шороха, все чудились шаги матери. Мучилась над тем, что ответить, если спросят, почему по ночам стала закрывать на крюк дверь своей комнаты. Корчагин видел это и говорил ей ласково, успокаивающе:

— Чего ты боишься? Ведь если разобраться, мы с тобой здесь хозяева. Спи спокойно. В нашу жизнь чужим вход заказан.

Она прижималась щекой к его груди и, успокоенная, засыпала, обняв любимого. Он долго прислушивался к ее дыханию и не шевелился, боясь спугнуть спокойный ее сон; глубокая нежность к этой девушке, доверившей ему свою жизнь, охватывала его.

Первой узнала причину незатухающего огня в глазах Таи сестра, и с этого дня меж сестрами легла тень отчужденности. Узнала и мать. Вернее — догадалась. Насторожилась. Не того ждала она от Корчагина.

— Таюша ему не пара,— сказала она как-то Леле.— Что из всего этого выйдет?

Закопошились в ней беспокойные мысли, но поговорить с Корчагиным не решилась.

Стала появляться у Корчагина молодежь. Тесновато становилось иногда в маленькой комнатке. Словно гул пчелиного роя доносился к старику. Не раз пели дружным хором:

Нелюдимо наше море,
День и ночь шумит оно...—

и любимую Павла:

Слезами залит мир безбрежный...

Это собирался кружок рабочего партактива, данный Корчагину комитетом партии после его письма с требованием нагрузить пропагандистской работой. Так проходили дни Павла.

Корчагин опять ухватился за руль обеими руками и жизнь, сделавшую несколько острых зигзагов, повернул к новой цели. Это была мечта о возврате в строй через учебу и литературу.

Но жизнь нагромождала одну помеху за другой, и появление их он встречал с неспокойной мыслью о том, насколько они затормозят его продвижение к цели.

Неожиданно привалил из Москвы с женой неудачливый студент Жорж. Поселился у своего тестя, присяжного поверенного, и оттуда приходил выкачивать у матери деньги.

Приезд Жоржа значительно ухудшил внутрисемейные отношения. Жорж, не задумываясь, перешел на сторону отца и вместе с антисоветски настроенной семьей своей жены повел подкопную работу, пытаясь во что бы то ни стало выжить Корчагина из дома и оторвать от него Таю.

Через две недели после приезда Жоржа Леля получила работу в одном из ближайших районов. Она уезжала туда с матерью и сыном, а Корчагин с Таей переехали в далекий приморский городок.

Редко получал Артем от брата письма, но в дни, когда заставал на своем столе в горсовете серый конверт со знакомым угловатым почерком, терял обычное спокойствие, перечитывая его страницы. И сейчас, вскрывая конверт, подумал со скрытой нежностью:

«Эх, Павлуша, Павлуша! Жить бы нам с тобой поблизости, сгодились бы мне, парнишка, твои советы».

«Артем, хочу рассказать о пережитом. Кроме тебя, я, кажется, таких писем никому не пишу. Ты меня знаешь и каждое слово поймешь. Жизнь продолжает меня теснить на фронте борьбы за здоровье.

Получаю удар за ударом. Едва успеваю подняться на ноги после одного, как новый, немилосерднее первого, обрушивается на меня. Самое страшное в том, что я бессилен сопротивляться. Отказалась подчиняться левая рука. Это было тяжело, но вслед за ней изменили ноги, и я, без того еле двигавшийся (в пределах комнаты), сейчас с трудом добираюсь от кровати к столу. Но ведь это, наверно, еще не все. Что принесет мне завтра — неизвестно.

Из дома я больше не выхожу и из окна наблюдаю лишь кусочек моря. Может ли быть трагедия еще более жуткой, когда в одном человеке соединены предательское, отказывающееся служить тело и сердце большевика, его воля, неудержимо влекущая к труду, к вам, в действующую армию, наступающую по всему фронту, туда, где развертывается железная лавина штурма?

Я еще верю, что вернусь в строй, что в штурмующих колоннах появится и мой штык. Мне нельзя не верить, я не имею права. Десять лет партия и комсомол воспитывали меня в искусстве сопротивления, и слова вождя относятся и ко мне: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять».

Моя жизнь теперь — это учеба. Книги, книги, еще раз книги. Сделано много, Артем. Проработал всю художественную классическую литературу. Закончил и сдал работы по первому курсу заочного коммунистического университета. Вечерами — кружок с партийной молодежью. Связь с практической работой организации идет через этих товарищей. Затем Таюша, ее рост и продвижение, ну, и любовь, ласки нежные подружки моей.

Живем с ней дружно. Экономика у нас простая и несложная — тридцать два рубля моей пенсии и Таин заработок. В партию Тая идет моей дорогой: служила домработницей, сейчас посудницей в столовой (в этом городке нет промышленности).

На днях Тая с торжеством показала мне первую делегатскую карточку женотдела. Для нее это не простой кусочек картона. Я слежу за рождением в ней нового человека и помогаю, сколько могу, этим родам. Придет время, и большой завод, рабочий коллектив завершат ее формирование. Пока мы здесь, она идет по единственно возможному пути.

Дважды приезжала мать Таи. Мать, незаметно для себя тянет Таю назад, в жизнь, созданную из мелочей, погруженную в узкое личное, в свое собственное, обособленное. Я старался убедить Альбину в том, что чернота ее дней не должна ложиться тенью на дорогу дочери. Но все это оказалось бесполезным. Чувствую, что мать когда-нибудь станет на пути дочери к жизни новой и что борьбы с ней не избежать.

Жму руку. Твой Павел».

Санаторий № 5 в Старой Мацесте. Трехэтажное каменное здание на вырубленной в скале площадке. Кругом лес, зигзагом бежит вниз подъездная дорога. Окна комнат открыты, ветерок доносит снизу запах серных источников. Корчагин один в своей комнате. Завтра приедут новые товарищи, и у него будет сосед. За окном шаги и чей-то знакомый голос. Говорят несколько человек. Но где он слыхал эту густую октаву? Напряженно заработала память и вытащила из укромного уголка запрятанное туда, но не забытое имя: «Леденев Иннокентий Павлович. Это он, и никто иной». И, уверенный в этом, Павел позвал. Через минуту Леденев уже сидел у него и радостно тряс ему руку:

— А, жив курилка? Ну, чем же ты меня порадуешь? Да ты, что же, всерьез хворать вздумал? Не одобряю. Ты вот с меня бери пример. Меня тоже врачи пророчили в отставку, а я назло им продолжаю держаться,— и Леденев добродушно засмеялся.

Корчагин видел за этим смешком скрытое сочувствие и нотки огорчения.

Два часа провели они в оживленной беседе. Леденев рассказывал московские новости. От него Корчагин впервые узнал о принимаемых партией важнейших решениях — о коллективизации сельского хозяйства, перестройке деревни,— и он жадно впитывал каждое слово.

— А я уж было думал, что ты шевелишь где-нибудь у себя на Украине. А тут такая досада. Ну, ничего, у меня были дела похуже, я было совсем в лежанку перешел, а теперь, видишь, бодрюсь. Никак нельзя, понимаешь ли, сейчас с прохладцей жить. Не выходит это! Я иногда подумываю, есть такой грех: надо бы отдохнуть, что ли, немножко, перевести дух. Ведь годы не те, уж и десять — двенадцать часов работы иногда тяжеловато вытянуть. Ну, только это подумаешь и даже дела просматривать начнешь, чтобы разгрузиться немного, и каждый раз одно и то же выходит. Начнешь «разгружаться» — и так засядешь за эту разгрузочку, что домой раньше двенадцати не возвращаешься. Чем сильнее ход машины, тем быстрее ход колесиков, а у нас — что ни день, то ход стремительнее, и получается, что нам, старикам, жить приходится, как в молодости.

Леденев провел рукой по высокому лбу и сказал по-отечески тепло:

— Ну, расскажи теперь о своих делах.

Слушал Леденев повесть Корчагина о прожитом, и Павел ловил на себе его одобрительный, живой взгляд.

Под тенью размашистых деревьев, в уголке террасы — группа санаторцев. За небольшим столом читал «Правду», тесно сдвинув густые брови, Хрисанф Чернокозов. Его черная косоворотка, старенькая кепчонка, загорелое, худое, давно небритое лицо с глубоко сидящими голубыми глазами — все выдает в нем коренного шахтера. Двенадцать лет назад, призванный к руководству краем, этот человек положил свой молоток, и казалось, что он только что вышел из шахты. Это сказывалось в манере держаться, говорить, сказывалось в самом его лексиконе.

Чернокозов — член бюро крайкома партии и член правительства. Мучительный недуг сжигал его силы — гангрена ноги. Чернокозов ненавидел больную ногу, заставившую его уже почти полгода провести в постели.

Напротив него, задумчиво дымя папиросой, сидела Жигирева. Александре Алексеевне Жигиревой тридцать семь лет, девятнадцать лет она в партии. «Шурочка — металлистка», как звали ее в питерском подполье, почти девочкой познакомилась с сибирской ссылкой.

Третий у стола — Паньков. Наклонив свою красивую, с античным профилем, голову, он читал немецкий журнал, изредка поправляя на носу огромные роговые очки. Нелепо видеть, как этот тридцатилетний атлет с трудом поднимает отказавшуюся подчиняться ногу. Михаил Васильевич Паньков, редактор, писатель, работник Наркомпроса, знает Европу, владеет несколькими иностранными языками. В его голове хранилось немало знаний, и даже сдержанный Чернокозов относился к нему с уважением.

— Это и есть твой товарищ по комнате? — тихо спросила Жигирева Чернокозова и кивнула головой на коляску, в которой сидел Корчагин.

Чернокозов оторвался от газеты; лицо его как-то сразу просветлело.

— Да, это Корчагин. Надо, чтобы вы, Шура, с ним познакомились. Ему болезнь понавтыкала палок в колеса, а то бы этот парнишка сгодился нам на тугих местах. Он из комсы первого поколения. Одним словом, если мы парня поддержим,— а я это решил,— то он еще будет работать.

Паньков прислушивался к его рассказу.

— Чем он болен? — так же тихо спросила Шура Жигирева.

— Остатки двадцатого. В позвонке неполадки. Я тут с врачом говорил, так, понимаешь, опасаются, что контузия приведет к полной неподвижности. Вот поди ж ты!

— Я сейчас привезу его сюда,— сказала Шура.

Так началось их знакомство. И не знал Павел, что Жигирева и Чернокозов станут для него людьми дорогими и что в годы тяжелой болезни, ожидавшей его, они будут первой его опорой.

Жизнь шла по-прежнему. Тая работала. Корчагин учился. Не успел он приступить к кружковой работе, как неслышно подобралось новое несчастье. Паралич разбил ноги. Теперь ему повиновалась только правая рука. До крови искусал он губы, когда после напрасных усилий

понял, что двигаться он уже неспособен. Тая мужественно скрывала свое отчаяние и горечь бессилия помочь ему. А он говорил, виновато улыбаясь:

— Нам, Таюша, надо развестись с тобой. Ведь уговора не было так засыпаться. Это, девочка, я сегодня обдумаю как следует.

Она не давала ему говорить. Трудно было сдержать рыдания. Плакала навзрыд, прижимая к груди голову Павла.

Артем узнал о новом несчастье брата, написал матери, и Мария Яковлевна, бросив все, приехала к ним. Стали жить втроем. Старушка с Таей жили дружно.

Корчагин продолжал учебу.

Одним вечером, в ненастную зиму, принесла Тая весть о первой своей победе — билет члена горсовета. С этих пор Корчагин стал ее редко видеть. Из кухни санатория, где она была посудницей, Тая уходила в женотдел, в Совет и приходила поздно вечером, усталая, но полная впечатлений. Близился день приема ее в кандидаты партии. Она готовилась к нему с большим волнением. Но тут грянула новая беда. Болезнь делала свое дело. Огнем нестерпимой боли запылал правый глаз Корчагина, от него загорелся и левый. И впервые в жизни Павел понял, что такое слепота,— темной кисеей затянулось все кругом него.

Поперек дороги бесшумно выдвинулось страшное в своей непреодолимости препятствие и преградило путь. Не было границ отчаянию матери и Таи, а он с холодным спокойствием решил:

«Надо выждать. Если действительно нет больше возможности продвижения вперед, если все, что проделано для возврата к работе, слепота зачеркнула и вернуться в строй уже невозможно,— нужно кончать».

Корчагин написал друзьям. От друзей приходили письма, зовущие к твердости и продолжению борьбы.

В эти тяжелые для него дни Тая, возбужденная и радостная, сообщила:

— Павлуша, я кандидат партии.

И Павел, слушая ее рассказ, как принимала ячейка в свои ряды нового товарища, вспоминал свои первые партийные шаги.

— Итак, товарищ Корчагина, мы с тобой составляем комфракцию,— сказал он, сжимая ей руку.

На другой день он написал письмо секретарю райкома с просьбой зайти к нему. Вечером у дома остановился забрызганный грязью автомобиль, и Вольмер, пожилой латыш, заросший бородой от подбородка до ушей, тряс Корчагину руку.

— Ну, как живем? Ты что же так безобразно ведешь себя? Вставай-ка, мы тебя сейчас же на землю пошлем,— и он засмеялся.

Секретарь райкома провел у Корчагина два часа, забыв даже, что у него вечернее совещание. Латыш ходил по комнате, слушая взволнованную речь Павла, и, наконец, сказал:

— Брось ты о кружке говорить. Тебе отдохнуть надо, а потом о глазах выяснить. Может, еще не все пропало. Не съездить ли в Москву тебе, а? Ты подумай...

Корчагин перебил его:

— Мне нужны люди, товарищ Вольмер, живые люди! Я в одиночку не проживу. Сейчас, больше чем когда-нибудь, нужны. Давай сюда молодежь, позеленее которая. Они у тебя на селах влево гнут, в коммуну,— им в колхозе тесно. Ведь комса, если за нею не углядишь, частенько норовит выскользнуть вперед цепи. Я сам такой был, знаю.

Вольмер остановился.

— Ты об этом откуда узнал? Ведь только сегодня из района привезли эту новость.

Корчагин улыбнулся.

— Может, помнишь мою жинку? Вчера в партию приняли. Она рассказала.

— А, Корчагина, посудница? Так это твоя жинка? Ха, а я и не знал! — И, подумав немного, Вольмер хлопнул себя рукой по лбу.— Вот кого мы тебе пришлем — Берсенева Льва. Лучшего товарища не надо. Вы по натурам даже подходящие. Получится что-то вроде двух трансформаторов высокой частоты. Я, понимаешь ли, монтером был когда-то, отсюда у меня словечки эти, сравнения такие. Да Лев тебе и радио сварганит, он профессор по части радио. Я, понимаешь, у него частенько до двух часов ночи просиживаю с наушниками. Жена даже в подозрение ударилась: где ты, мол, старый черт, по ночам шататься стал?

Корчагин, улыбаясь, спросил его:

— Кто такой Берсенев?

Вольмер, устав бегать, сел на стул и рассказал:

— Берсенев у нас нотариус, но он такой же нотариус, как я балерина. Еще недавно Лев был большой работник. В революционном движении с двенадцатого года, в партии с Октября. В гражданскую войну ковырял в армейском масштабе, ревтрибуналил во Второй Конной; по Кавказу утюжил белую вошь. Побывал и в Царицыне, и на Южном, на Дальнем Востоке заворачивал Верховным военным судом республики. Хлебнул горячего до слез. Свалил туберкулез парня. Он с Дальнего Востока — сюда. Тут, на Кавказе, был председателем губсуда, зампредкрайсуда. Легкие расхлестались вконец. Теперь загнали под угрозой крышки сюда. Вот откуда у нас такой необычайный нотариус. Должность эта тихая, ну, и дышит. Тут ему потихоньку ячейку дали, потом ввели в райком, политшколу подсунули, затем КК; он бессменный член всех ответственных комиссий в запутанных и каверзных делах. Кроме всего этого, он охотник, потом страстный радиолюбитель, и хоть у него одного легкого нет, но трудно поверить, что он больной. Брызжет от него энергией. Он и умрет-то, наверное, где-нибудь на бегу из райкома в суд.

Павел перебил его резким вопросом:

— Почему же вы так его навьючили? Он у вас здесь больше работает, чем раньше.

Вольмер скосил на Корчагина прищуренные глаза:

— Вот дай тебе кружок и еще что-нибудь, и Лев при случае скажет: «Что вы его вьючите?» А сам говорит: «Лучше год прожить на горячей работе, чем пять прозябать на больничном положении». Беречь людей, видно, сможем тогда, когда социализм построим.

— Это верно. Я тоже голосую за год жизни против пяти лет прозябания, но и здесь мы иногда преступно щедры на трату сил. И в этом, я теперь понял, не столько героичности, сколько стихийности и безответственности. Я только теперь стал понимать, что не имел никакого права так жестоко относиться к своему здоровью. Оказалось, что героики в этом нет. Может быть, я еще продержался бы несколько лет, если бы не это спартанство. Одним словом, детская болезнь левизны — вот одна из основных опасностей для моего положения.

«Вот говорит же, а поставь его на ноги — забудет все на свете»,— подумал Вольмер, но смолчал.

Вечером второго дня к Павлу пришел Лев. Расстались они в полночь. Уходил Лев от нового приятеля с таким чувством, будто встретил брата, потерянного много лет назад.

Утром по крыше лазили люди, укрепляли радиомачту, а Лев монтажничал в квартире, рассказывая интереснейшие эпизоды своего прошлого. Павел его не видел, но по рассказам Таи знал, что Лев — блондин со светлыми глазами, стройный, порывистый в движениях, то есть именно такой, каким его и представлял себе Павел с первых же минут знакомства.

В сумерки зажглись в комнате три «микро». Лев торжественно подал Павлу наушники. В эфире царил хаос звуков. Птичками чирикали портовые «морзянки», где-то (видно, близко на море) полосовал пароходный «искровик». В этом ворохе шумов и звуков катушка вариометра нашла и примчала спокойный и уверенный голос:

— Слушайте, слушайте, говорит Москва...

Маленький аппарат ловил на свою антенну шестьдесят станций мира. Жизнь, от которой Павел был отброшен, врывалась сквозь стальную мембрану, и он ощутил ее могучее дыхание.

Видя, как загорелись его глаза, усталый Берсенев улыбнулся.

Спят в большом доме. Беспокойно что-то шепчет во сне Тая. Поздно приходит она домой, усталая и озябшая. Мало видит ее Павел. Чем глубже уходит она в работу, тем реже у нее свободные вечера, и Павлу вспоминаются слова Берсенева:

«Если у большевика жена — товарищ по партии, они редко видят друг друга. Тут два плюса: не надоедят друг другу, и ссориться некогда!»

Что же он может возразить? Этого надо было ожидать. Были дни, когда Тая отдавала ему все свои вечера. Тогда было больше теплоты, больше нежности. Но тогда она была только подругой, женой, теперь же она воспитанница и товарищ по партии.

Он понимал, что чем больше будет расти Тая, тем меньше часов будет отдано ему, и принял это как должное.

Павел получил кружок.

В доме снова стало шумно по вечерам. Часы, проводимые с молодежью, были для Павла зарядкой бодрости.

В остальное время мать с трудом отбирала у него наушники, чтобы покормить его.

Радио давало ему то, что отняла слепота,— возможность учиться, и в этом, не знающем преград стремлении забывал мучительные боли продолжавшего гореть тела, забывал пожар в глазах и всю суровую, неласковую к нему жизнь.

Когда луч антенны принес из Магнитостроя весть о подвигах юной братвы, сменившей под кимовским знаменем поколение Корчагиных, Павел был глубоко счастлив.

Представлялась метель — свирепая, как стая волчиц, уральские лютые морозы. Воет ветер, а в ночи занесенный пургой отряд из второго поколения комсомольцев в пожаре дуговых фонарей стеклит крыши гигантских корпусов, спасая от снега и холода первые цехи мирового комбината. Крохотной казалась лесная стройка, на которой боролось с вьюгой первое поколение киевской комсы. Выросла страна, выросли и люди.

А на Днепре вода прорывала стальные препоны и хлынула, затопляя машины и людей. И снова комса бросилась навстречу стихии и после яростной двухдневной схватки без сна и отдыха загнала прорвавшуюся стихию обратно за стальные препоны. В этой грандиозной борьбе впереди шло новое поколение комсы. Среди имен героев Павел с радостью услыхал родное имя Игната Панкратова.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Несколько дней в Москве они жили в кладовой архива одного из учреждений, начальник которого помогал поместить Корчагина в специальную клинику.

Только теперь Павел понял, что быть стойким, когда владеешь сильным телом и юностью, было довольно легко и просто, но устоять теперь, когда жизнь сжимает железным обручем,— дело чести.

Прошло полтора года со времени, проведенного Корчагиным в кладовой архива. Восемнадцать месяцев непередаваемых страданий.

В клинике профессор Авербах прямо сказал Павлу, что возвратить зрение невозможно. В туманном будущем, когда прекратится воспаление, хирургия попытается оперировать зрачки. Для подавления воспаления предложили принять меры хирургического порядка.

Спросили его согласия, и Павел разрешил делать с собой все, что врачи найдут нужным.

В часы, проведенные на операционных столах, когда ланцеты кромсали шею, удаляя паращитовидную железу, трижды задевала его своим черным крылом смерть. Но жизнь в Корчагине держалась цепко. Тая находила своего друга после страшных часов ожидания мертвенно-бледным, но живым и, как всегда, спокойно-ласковым.

— Не тревожься, девочка, меня не так легко угробить, я еще буду жить и бузотерить хотя бы назло арифметическим расчетам ученых эскулапов. Они во всем правы насчет моего здоровья, но глубоко ошибаются, написав документ о моей стопроцентной нетрудоспособности. Тут мы еще посмотрим.

Павел твердо выбрал путь, которым решил вернуться в ряды строителей новой жизни.

Кончилась зима, весна открыла оконные рамы, и обескровленный Корчагин, уцелев от последней операции, понял, что больше оставаться в клинике он не может. Прожить столько месяцев в окружении человеческих страданий, среди стонов и причитаний обреченных людей было несравненно труднее, чем переносить свои личные страдания.

На предложение сделать новую операцию он ответил холодно и резко:

— Точка. С меня хватит. Я для науки отдал часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого.

В тот же день Павел написал в Цека письмо с просьбой помочь ему остаться жить в Москве, где работает его подруга, ибо дальнейшие его скитания бесполезны. Впервые он обратился к партии за помощью. В ответ на его письмо Моссовет дал ему комнату. И Павел покинул клинику с единственным желанием больше в нее не возвращаться.

Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы показалась верхом роскоши. И часто Павел, просыпаясь ночью, не верил, что клиника осталась там, где-то позади.

Тая перешла в члены партии. Настойчивая в работе, она, несмотря на всю трагедию своей личной жизни, не отстала от ударниц, и коллектив отметил эту неразговорчивую работницу своим доверием: она была выбрана членом фабкома. Гордость за подругу, превращающуюся в большевика, смягчала тяжелое положение Павла.

*

Его навестила Бажанова, приехавшая в командировку. Говорили долго. Павел с жаром рассказывал о пути, которым он в недалеком будущем вернется в ряды бойцов.

Бажанова приметила серебристую полоску на висках Корчагина и тихо сказала:

— Вижу, пережито немало. Но вы не утеряли все-таки незатухающего энтузиазма. Чего же больше? Это хорошо, что вы решили начать работу, к которой готовились пять лет. Но как же вы будете работать?

Павел успокаивающе улыбнулся.

— Завтра мне принесут вырезанный из картона транспарант. Без него я не смогу писать. Строка наползает на строку. Я долго искал выхода и нашел — вырезанные из картона полоски не дадут моему карандашу выходить из рамок прямой строки. Писать, не видя написанного, трудно, но не невозможно. Я убедился в этом. Очень долго ничего не получалось, но теперь я начал писать медленнее, тщательно вывожу каждую букву, и получается довольно хорошо.

Павел начал работать.

Он задумал написать повесть, посвященную героической дивизии Котовского. Название пришло само собой: «Рожденные бурей».

С этого дня вся его жизнь переключилась на создание книги. Медленно, строчка за строчкой, рождались страницы. Он забывал обо всем, находясь во власти образов и впервые переживая муки творчества, когда яркие, незабываемые картины, так отчетливо ощущаемые, не удавалось передать на бумагу и строки выходили бледные, лишенные огня и страсти.

Все, что писал, он должен был помнить слово в слово. Потеря нити тормозила работу. Мать со страхом смотрела на занятия сына.

В процессе работы ему приходилось по памяти читать целые страницы, иногда даже главы, и матери порой казалось, что сын сошел с ума. Пока он писал, она не решалась подойти к нему и, лишь подбирая соскользнувшие на пол листы, говорила робко:

— Ты бы чем-нибудь другим занялся, Павлуша. А то где же это видано, писать без конца...

Он смеялся от души над ее тревогой и уверял старушку, что он еще не совсем «сошел с катушек».

Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал их в Одессу старым котовцам для оценки и скоро получил от них письмо с положительными отзывами, но рукопись на обратном пути была потеряна почтой. Шестимесячный труд погиб. Это было для него большим потрясением. Горько пожалел он, что послал единственный экземпляр, не оставив себе копии. Он рассказал Леденеву о своей потере.

— Зачем ты так неосторожно поступил? Успокойся, теперь уж нечего браниться. Начинай сначала.

— Но, Иннокентий Павлович! Украден шестимесячный труд. Это каждый день восемь часов напряжения! Вот где паразиты, будь они трижды прокляты!

Леденев старался его успокоить.

Пришлось все начинать сначала. Леденев добывал бумагу. Помогал печатать написанное. Через полтора месяца возродилась первая глава.

В одной квартире с Корчагиным жила семья Алексеевых. Старший сын, Александр, работал секретарем одного из городских райкомов комсомола. У него была восемнадцатилетняя сестра Галя, кончившая фабзавуч. Галя была жизнерадостной девушкой. Павел поручил матери

поговорить с ней, не согласится ли она ему помочь в качестве «секретаря». Галя с большой охотой согласилась. Она пришла, улыбающаяся и приветливая, и, узнав, что Павел пишет повесть, сказала:

— Я с удовольствием буду вам помогать, товарищ Корчагин. Это ведь не то, что писать для отца скучные циркуляры о поддержании в квартирах чистоты.

С этого дня дела литературные двинулись вперед с удвоенной скоростью. За месяц было так много сделано, что Павел даже удивился. Галя своим живейшим участием и сочувствием помогала его работе. Тихо шуршал ее карандаш по бумаге — и то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку раз, искренне радуясь успеху. В доме она была почти единственным человеком, который верил в работу Павла, остальным казалось, что ничего не получится и он только старается чем-нибудь заполнить свое вынужденное бездействие.

Вернулся в Москву уезжавший в командировку Леденев и, прочитав первые главы, сказал:

— Продолжай, друг! Победа за нами. У тебя еще будут большие радости, товарищ Павел. Я верю твердо, что твоя мечта возвратиться в строй скоро исполнится. Не теряй надежды, сынишка.

Старик уходил удовлетворенный: он встречал Павла полным энергии.

Приходила Галя, шуршал по бумаге ее карандаш, и вырастали ряды слов о незабываемом прошлом. В те минуты, когда Павел задумывался, подпадал под власть воспоминаний, Галя наблюдала, как вздрагивают его ресницы, как меняются его глаза, отражая смену мыслей, и как-то не верилось, что он не видит: ведь в чистых, без пятнышка, зрачках была жизнь.

По окончании работы она читала написанное за день и видела, как он хмурится, чутко вслушиваясь.

— Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано же хорошо!

— Нет, Галя, плохо.

После неудачных страниц начинал писать сам. Скованный узкой полоской транспаранта, иногда не выдерживал — бросал. И тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки крови.

К концу работы чаще обычного стали вырываться из тисков недремлющей воли запрещенные чувства. Запрещены были грусть и вереница простых человеческих чувств, горячих и нежных, имеющих право на жизнь почти для каждого, но не для него. Если бы он поддался хотя бы одному из них, дело кончилось бы трагедией.

Поздно вечером приходила с фабрики Тая и, перебросившись с Марией Яковлевной вполголоса несколькими словами, ложилась спать.

Дописана последняя глава. Несколько дней Галя читала Корчагину повесть.

Завтра рукопись будет отослана в Ленинград, в культпроп обкома. Если там дадут книге «путевку в жизнь», ее передадут в издательство — и тогда...

Тревожно стучало сердце. Тогда... начало новой жизни, добытой годами напряженного и упорного труда.

Судьба книги решала судьбу Павла. Если рукопись будет разгромлена, это будут его последние сумерки. Если же неудача будет частичной, такой, которую можно устранить дальнейшей работой над собой, он немедленно начнет новое наступление.

Мать отнесла тяжелый сверток на почту. Наступили дни напряженного ожидания. Никогда еще в своей жизни Корчагин не ждал писем с таким мучительным нетерпением, как в эти дни. Павел жил от утренней почты до вечерней. Ленинград молчал.

Молчание издательства становилось угрожающим. С каждым днем предчувствие поражения усиливалось, и Корчагин сознался себе, что безоговорочный отвод книги будет его гибелью. Тогда больше нельзя жить. Нечем.

В такие минуты вспоминался загородный парк у моря, и еще и еще раз вставал вопрос:

«Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?»

И отвечал:

«Да, кажется, все!»

Много дней спустя, когда ожидание становилось уж невыносимым, мать, волнуясь не меньше сына, крикнула, входя в комнату.

— Почта из Ленинграда!!!

Это была телеграмма из обкома. Несколько отрывистых слов на бланке: «Повесть горячо одобрена. Приступают к изданию. Приветствуем победой».

Сердце учащенно билось. Вот она, заветная мечта, ставшая действительностью! Разорвано железное кольцо, и он опять — уже с новым оружием — возвращался в строй и к жизни.



Рожденные бурей

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Легкий стук в дверь. Людвига отвела глаза от книги и прислушалась. Мягкий, но настойчивый стук повторился. Так стучит только старик Юзеф — осторожно и вкрадчиво, как бы заранее извиняясь за беспокойство. Людвига невольно взглянула на стрелки старинных часов.

«Первый час... Что заставило старика прийти так поздно?»

Том Жеромского соскользнул по одеялу на ковер. Едва ощутимый холодок не то от шелка кимоно, накинутого Людвигой на обнаженные плечи, не то от смутной тревоги заставил ее вздрогнуть.

— Это ты, Юзеф?

— Я, ясновельможная пани.

Уже по тому, что старик-лакей вошел в спальню, позабыв низко поклониться, и по его растерянному виду Людвига поняла: случилось что-то необычное.

— Пан граф Эдвард приехал, графиня...

— Что ты сказал?.. Эдвард?.. Где же он? — почти шепотом спросила Людвига, хотя ей казалось, что она закричала.

Людвига ожидала всего, только не возвращения мужа. Несколько мгновений она пыталась овладеть голосом, но безуспешно. Не помня себя, она выбежала из комнаты. В огромной гостиной — тусклый свет от свечи, поставленной на рояле. Человек в серой солдатской шинели снимал с плеч вещевую сумку. Он быстро повернулся на стук открывшейся двери. Людвига инстинктивно запахнула

кимоно — перед ней, заслоняя свет, стоял незнакомый мужчина в надвинутой до глаз смятой папахе. Взгляд Людвиги с удивлением остановился на окладистой бороде незнакомца. Схватив Людвигу за руки, солдат притянул ее к себе. Она отшатнулась, но мужские руки держали крепко.

Когда чужое бородатое лицо приблизилось к ее глазам, испуг исчез так же мгновенно, как возник. Теперь ни папаха, ни безобразная борода не могли обмануть. Глаза Эдварда она узнала бы среди тысячи других глаз — его чуть прищуренные глаза и тонкие, изогнутые брови над ними. И все же это не был ее Эдди, всегда такой элегантный, сверкающий золотом эполет гвардейский полковник.

Теперь от его усов и бороды, от грязной одежды несло едким запахом махорки, отвратительными испарениями мокрой шинели.

Могельницкий понял состояние жены. Поцеловав пушистый локон у виска, а не вздрагивающие пухлые губы, он отпустил ее. Рядом стоял вошедший Юзеф.

— Это он виноват, что я встречаю тебя в таком виде. Юзеф не должен был говорить тебе о моем приезде, пока я не вымылся и не переоделся,— тихо, как бы извиняясь, сказал Эдвард, снимая папаху. Устало провел рукой по спутавшимся волосам. Это знакомое движение пробудило в Людвиге чувство прежней близости к мужу. Ей стало больно, что грязная одежда и непривлекательная внешность дорогого человека на минуту возбудили в ней отвращение. Забыв о присутствии Юзефа, она прижалась к мужу и, охватив руками его голову, целовала родные, неизменившиеся глаза. И теперь уже он отодвигал ее от себя осторожно, но решительно:

— Потом, Людвись, потом... Я должен снять с себя всю эту гадость, а главное — вымыться. Мне кажется, грязь насквозь пропитала меня: последние два дня я ехал на паровозе и спал на угле, вернее — совсем не спал...

Когда через час Эдвард вошел в спальню жены, она снова удивилась: борода исчезла, но так же сбриты были и его вьющиеся волосы. Крупная, правильной формы голова с твердыми углами лба казалась отполированной. Он вновь не походил на себя, так как никогда раньше не брил головы, зная, что это ему не шло. Серый костюм, добытый Юзефом из старого графского гардероба, пало-

минал Людвиге о первых месяцах ее замужества, проведенных в Ницце. Там впервые она увидела его в штатском.

— Ну, теперь меня можно не бояться, радость моя, и даже поцеловать,— сказал он.

Утро прокралось в спальню серой полоской света, пропущенного неплотно задернутой занавесью. Людвига проснулась, но, боясь разбудить мужа, не шевелилась, рассматривая спящего. Эдвард глубоко дышал, и в такт его дыханию шелковая сорочка вздымалась на широкой волосатой груди. Упрямый, с жестокими складками в уголках, рот был полуоткрыт. Бессонные ночи, постоянное ожидание опасности — все сказалось сразу. Усталый, опьянев от крепкого вина, обильной еды и ее ласк, он заснул, едва успев рассказать ей о самом главном.

Он здесь потому, что она здесь. Конечно, никогда он ее не забывал. И этот длинный и опасный путь из Парижа через два фронта пройден ради нее. Правда, ему дали кое-какие поручения... Но разве он оставил бы Париж, работу в военном министерстве и подверг себя риску и лишениям, если бы его не ждала здесь самая красивая женщина Польши? Последние слова он произнес засыпая. Из того немногого, что успел рассказать ей муж, Людвига поняла, что назревают большие события, и уже сама догадалась, что надвигается какая-то опасность — разрушительная, страшная, грозящая раздавить весь уклад, все основы ее жизни. И все же она была счастлива. Что бы ни случилось, пока он здесь, бояться нечего. Все, что нужно, будет решено и сделано им, как это всегда бывало прежде. За его широкие плечи она пряталась от необходимости разрешать самой какие-либо серьезные практические вопросы.

Эдвард проснулся так же неожиданно, как и заснул. Их взгляды встретились, и оба улыбнулись.

— Как ты думаешь, каково проснуться как раз в тот момент, когда чувствуешь, что тебя режут тупым ножом, и вдруг вместо бандитской рожи увидеть тебя?.. Но уже поздно, пора вставать.

— Закрой глаза, Эдвард, я сейчас оденусь.

Он снисходительно улыбнулся.

Поднял с ковра упавшую книгу, сделал вид, что читает. Жеромский. «Верная река». Романтика восстаний,

самоотречения, верности... Она не изменилась. Все так же просит закрывать глаза. Взрослое дитя! Романтическое существо!..

В старинном палаццо[1] графов Могельницких, во всех его двадцати семи комнатах, начиналась обычная утренняя жизнь. Нижний этаж, часть которого занимала прислуга, уже давно проснулся. На кухне готовили завтрак. Две горничные и молодой лакей убирали вестибюль и большую гостиную. Наверху все еще спали. Горничная Людвиги, хорошенькая шестнадцатилетняя Хеля, внучка старого Юзефа, хотела убрать будуар своей хозяйки, но нашла дверь запертой. Она сказала об этом деду. Старик запретил тревожить пани графиню и производить сегодня уборку в ее комнатах.

Рассматривая знакомые дорогие безделушки на туалетном столике жены, Эдвард ожидал возвращения Людвиги. Она вскоре вошла вместе с Юзефом. Седая голова старика низко склонилась. Под синим казакином отчетливо обрисовывались его худые лопатки. Юзеф служил Эдварду, когда тот был еще ребенком. Старик был предан графской семье, как бывают преданы лишь старые дворовые собаки, готовые броситься на каждого, кто попытается войти в хозяйский дом. Нельзя было представить себе палаццо без Юзефа. Могельницкие привыкли к нему так же, как к двум средневековым рыцарям в латах, стоявшим у входа в вестибюль. Фигуры рыцарей, как и Юзефы, переходили по наследству от поколения к поколению.

Старик был лакеем. И его сыновья и внуки, как бы по наследству, становились лакеями графов Могельницких. Пятнадцатилетним мальчиком Юзеф впервые стал служить деду Эдварда. Вот почему в отношениях с дворецким, которому Эдвард вполне доверял, он допускал известную близость.

— Ты все сделал, Юзеф, как я тебе сказал?

— Да, о приезде ясновельможного пана никому неизвестно. Я сам уберу комнаты графа. Вот, пожалуйста, ключ от той двери кабинета, что выходит в спальню ясновельможной пани. Со дня вашего отъезда туда никто, кроме меня и графини, не входил... Когда Хеля будет

[1] Дворце.

убирать комнаты, пусть ясновельможный пан побудет в своем кабинете. Конечно, внучка никому не скажет, но так будет лучше...

Юзеф говорил тихо, со старческой хрипотцой. Вглядываясь в его худое с длинными седыми бакенбардами лицо, Эдвард только теперь заметил, как постарел он за последние три года.

— Очень хорошо, Юзеф. Теперь расскажи мне об этом немецком майоре. Как его зовут?

— Адольф Зонненбург, ясновельможный пане. Майор занимает комнату гувернера. У него есть денщик. Этот лайдак[1] всегда вертится на кухне и ночует вместе с Адамом в лакейской. Пан майор дворянского рода и, смею вам доложить, порядочный человек. Он запретил своим солдатам безобразничать на птичьем дворе, а то ведь они резали наших гусей, кур...

— Сколько немцев в имении? — перебил его Эдвард.

— Целый эскадрон. Уже месяц, как их кони едят наш овес. Его сиятельство сначала не разрешал, тогда немцы арестовали пана управляющего, и пришлось открыть амбары. Теперь, когда у нас поселился пан майор, немцы хоть сено стали добывать в деревнях, а то все наше...

— Где размещены солдаты?

— На фольварке.

— Хорошо. Ты когда поедешь к отцу Иерониму? Я хочу сегодня же с ним видеться.

— Сейчас поеду. Больше никаких приказаний не будет?

— Нет.

У двери Юзеф задержался.

— Отцу Иерониму можно сказать о приезде ясновельможного пана?

Эдвард несколько мгновений колебался, затем утвердительно кивнул головой.

Могельницкие остались одни. Эдвард подошел к жене.

— Прости меня, Эдди, но я не понимаю, зачем тебе понадобился отец Иероним? Не могу же я в самом деле поверить, что ты решил исповедываться ему в своих грехах! — Она звонко рассмеялась.

Эдвард нежно обнял ее.

— Разве тебе неприятен отец Иероним?

---

[1] Лодырь.

— Нет. Но немного странно: о твоем приезде не знают ни отец, ни брат, ни Стефания.

— А отец Иероним получает особое приглашение. Пусть тебя это не удивляет. Я не мог ночью будоражить всех. Ведь в доме немцы, ну а я... французский офицер. Ты же понимаешь, Людвись? Завтра я должен выехать в Варшаву, и чем меньше будут знать о моем приезде, тем лучше.

— Как, опять уедешь?

— Я скоро вернусь, Людвись.

— И вот, вместо того чтобы провести со мной эти часы, ты зовешь противного иезуита.

Эдвард улыбнулся.

— Отец Иероним мне нужен для одного поручения. Это неинтересные для тебя дела. Ты прости меня, но, когда отец Иероним приедет, нам нужно будет поговорить с ним наедине. Он что-то там просил у кардинала. Так, церковные дела... Это его секрет, и ему будет неприятно чье-либо присутствие. А пока разреши задать тебе несколько вопросов.

— Я слушаю, Эдди.

— Скажи, этот майор обедает вместе с вами?

— Да, папа и Стефания приглашают его к столу. Он ведет себя безукоризненно. Довольно хорошо говорит по-французски... Только иногда он приводит с собой еще одного офицера, обер-лейтенанта Шмультке. Такой грубый баварец. Если бы ты слышал его вульгарные, неуклюжие комплименты! И всегда дает понять, что не мы здесь хозяева, а они. Папа говорит, что Шмультке оказывает ему большие услуги, но мне он все-таки очень неприятен.

Эдвард угадывал за ее словами что-то большее, чем то, что она сказала, и брови его медленно сдвинулись. Людвига уловила настроение мужа и прикоснулась кончиками пальцев к его бровям, сглаживая резкую поперечную складку на лбу. Это молчаливое прикосновение всегда мирило их без слов. Когда вслед за тем ее пальцы приблизились к его губам, он невольно засмотрелся на игру камней ее перстня.

— Людвись, где ты хранишь свои драгоценности?

Ее пушистые ресницы удивленно взметнулись.

— Странно, Эдди! Ты не спрашиваешь о том, как жила я эти три года, а интересуешься...

— Ты ребенок, Лю... Я спросил об этом потому, что мне нужно знать, какими ценностями мы с тобой располагаем. Потом я скажу тебе, зачем это нужно. Ты не помнишь, сколько стоили раньше твои бриллианты в золотых рублях?

— Как-то мама говорила тете, что драгоценности, данные мне в приданое, стоят около ста семидесяти тысяч. А сколько стоят бриллианты, которые ты подарил мне,— это ты знаешь.

Эдвард быстро прикинул в уме: «Сто семьдесят плюс сто двадцать — двести девяносто тысяч. Бочонок с золотыми десятирублевками, зарытый в парке,— еще двести тысяч. Шестьсот тысяч франков во Французском банке. Двенадцать тысяч фунтов на имя Людвиги в Лондонском банке. Да семнадцать тысяч немецких марок в моем кармане... Вот все, что можно считать деньгами. Приблизительно около миллиона золотых рублей. Из этого Людвиге и мне принадлежит лишь половина. И это все, что осталось от семи миллионов моего личного состояния!.. Ведь трудно сейчас считать капиталом девять тысяч десятин земли, экономии и фольварки, паровую мельницу, кожевенный завод и тысячу шестьсот десятин леса, когда все трещит по швам и грозит развалиться. За все это еще надо бороться... А пока мы владеем полмиллионом золотых рублей, и это на худой конец лучше, чем ничего».

За дверью послышались чьи-то голоса и смех.

— Владек, научись, наконец, вести себя прилично! — уговаривал кого-то женский голос.

В ответ послышалось хихиканье.

— Это Стефа и Владислав,— тревожно зашептала Людвига.— Юзеф передал им, что я нездорова, а они все-таки пришли.

Эдвард вошел в спальню жены, увлекая ее за собой. Быстро открыл дверь в свой кабинет.

— Пока ничего им не говори и постарайся поскорее выпроводить,— сказал он, закрывая дверь.

— Что с тобой, дорогая? Ты, говорят, нездорова? — тараторила Стефания, входя в комнату.

Вслед за ней, словно на коньках, вкатился Владислав Могельницкий.

— Но она, как всегда, очаровательна, клянусь честью! — закартавил он и, ловко обогнув Стефанию, подлетел к Людвиге.

Когда его липкие губы прикоснулись к ее руке, Людвига, как всегда, ощутила чувство брезгливости. Она и сама не знала почему, но этот белобрысый юноша, по мере того как вырастал из мальчика в мужчину, становился ей все более и более противен.

— Как видишь, Людвись, уйма денег, потраченных на воспитание нашего шурина, пропала даром. Он, словно жокей на скачках, всегда стремится выскочить первым! — с полупрезрительной улыбкой сказала Стефания.

Владек самодовольно поправлял свой галстук-бабочку.

— Быстрота и натиск — девиз великих полководцев! — И, переводя неприятный разговор на другую тему, Владислав предложил Стефании показать Людвиге только что полученное ею от мужа письмо.

— Что пишет Станислав? — заинтересовалась Людвига и, обняв Стефанию за плечи, села рядом с ней на диван.

Владек уселся напротив и с видом знатока рассматривал полные, затянутые в шелковые чулки икры Стефании и стройные ноги Людвиги.

— «Милая моя Стефочка,— читала Людвига нарочно громко, чтобы Эдвард в своем кабинете мог все слышать,— наш штаб находится сейчас в Киеве. Это большой и достаточно культурный город, есть недурная опера. Вчера, например, мы слушали «Фауста», и наш полковник, старикашка Беклендорф, удивлялся: «Совсем как в Мюнхене! А ведь варварская страна, кишащая бандитами». Я уже писал тебе, что когда мы занимали город Острог, я получил двухнедельный отпуск и отправился в наше волынское имение в Малых Боровицах. Ты не можешь себе представить моей ярости от всего, что я там застал. Дом разграблен — комнаты пусты, стекла выбиты. Даже железо сорвано с крыш. Все машины расхищены. На фольварке лошади и скот забраны крестьянами, хлебные амбары разбиты. И ничего, кроме ободранных построек. Кругом грязь и запустение. Управляющий убит, служащие разбежались. При помощи взвода франкфуртцев, занимающих Боровицу, я произвел следствие и обыски. Отец Паисий, русский священник, у которого я остановился, рассказал мне, как и кем производился грабеж имения. По его совету мы сделали в деревне повальный обыск. Конечно, то, что мы нашли,— жалкие остатки. Все разместилось в трех комнатах. Я предложил франкфуртцам перебраться

в наш дом. Начальник гетманской варты (помнишь сына корчмаря Мазуренко?) со своей семьей тоже переселился в наш дом. Я назначил его временным управляющим имением. Он оказался очень полезным и услужливым парнем. Он поклялся мне вернуть в имение все до последней щепочки. Лучшего управляющего за тридцать марок мне сейчас не найти. На селе он всех знает и все, что можно вернуть, вернет. Франкфуртцам и ему удобнее жить в стороне от деревни,— здесь они все вместе, и в случае нападения им легче защищаться. Кстати сказать, кругом кишат партизанские банды. К сожалению, все, на кого мне указал священник, перед нашим приходом ушли в леса. Осталось только «быдло». Чтобы этим негодяям не повадно было больше грабить, я приказал Мазуренко наиболее вредных выпороть. Конечно, я при экзекуции не присутствовал...»

— Какой ужас! — прошептала Людвига, опуская руку с письмом на колени.

— Да, это совершенно разорило Станислава и Стефу. В Боровицах хоть постройки остались, а галицийское имение совсем сожжено. Я только не понимаю, чего он там разминдальничался? Я бы перевешал полсела, забрал бы весь скот, коней и хлеб у этих животных,— подхватил Владислав.

— Я говорю, что ужасно, когда избивают плетьми людей, может быть, ни в чем не повинных. И это делает Станислав! Я не знаю... Но это недостойно истинного аристократа,— взволнованно прервала его Людвига.

— Тебе хорошо так рассуждать! У вас с Эдвардом все цело, а мы со Станиславом теперь почти нищие,— вспыхнула Стефания.

— Интересно знать, что ты хотела сказать словами «истинные аристократы»,— вскипел Владислав.— Неужели только вы, Чернецкие, достойны этой чести?

— Хватит, Владек, хватит! — замахала руками Стефания.— Я вижу, вы не хотите слушать письмо.

Она была дочерью лесопромышленника, которому его миллионы неплохо заменяли дворянский герб, и петушиная заносчивость Владислава, всегда казавшаяся ей смешной, сейчас раздражала ее.

Владислав еще что-то хотел сказать, но в дверь постучали; вошедший рослый слуга доложил, что его сиятельство желает видеть ясновельможную пани, и почтительно

посторонился, пропуская тучного, обрюзгшего старика, который медленно, с трудом волоча ноги, вошел в комнату.

«Сейчас приедет Юзеф с отцом Иеронимом, а тут, как нарочно, все сошлись сразу и, по-видимому, не скоро уйдут. Надо предупредить Юзефа, чтобы он провел отца Иеронима прямо в кабинет Эдди. Да вообще как-то странно все это: Эдди приехал, а никто не знает! Неужели это так опасно для него? А тут еще этот противный мальчишка!» — подумала с раздражением Людвига.

— Проклятая осень! У меня опять все разболелось, и я почему-то мерзну. Адам, укрой мне ноги и можешь идти. Приготовь постель,— с трудом выдавливая слова, прохрипел старик. Его душила астма, и он дышал тяжело, с присвистом.

Адам вышел.

— Мы читали письмо Стася, папа,— сказала Стефания, садясь рядом со стариком.

Бесцветные глаза графа оживились:

— Ну, что же там? Расскажите!

Первую половину письма пришлось повторить для старика. Затем Стефания продолжала чтение:

— «Я не могу писать обо всем, хотя письмо и посылается военной почтой. Ничего утешительного сказать, к сожалению, не могу. Украина стала походить на пчелиный улей, в который сунули несколько палок. И одна из этих палок — наша немецкая армия. Пчелы все чаще стали жалить. Без стальной сетки опасно выходить за ворота. Кто знает, может быть, я скоро с вами встречусь. Будем надеяться, что судьба не готовит нам трагедии и мы увидимся живые и невредимые. Что слышно об Эдварде? Все ли вы здоровы? Привет вам всем, дорогие мои Людвига, отец и Владек. А тебя, Стефочка, целую и...» Ну, тут уж лично ко мне.— Стефания засмеялась.— Я очень рада, что Станислав приедет. А то ведь смертная скука. Эта бесконечная война уже начинает надоедать, особенно последние годы. Всего было каких-то два небольших бала за весь сезон. Самые интересные люди на фронтах. Куда ни пойдешь, везде эта солдатчина. В особенности здесь, в мужицкой Украине. Я думаю, в Берлине и в Париже живут настоящей жизнью, а здесь от тоски можно с ума сойти.

— Не вижу, чему тут радоваться,— желчно сказал старик.

— Как чему? Стась ведь приедет.

Казимир Могельницкий недовольно посмотрел на Стефанию.

— По-разному можно приезжать. Письмо ясно говорит, что положение немцев крайне неустойчиво. И нетрудно себе представить, что получится, если они оставят Украину. Ведь за ними сюда придут большевики.

Владислав счел необходимым презрительно фыркнуть.

— Ну что ты, папа! На Украине триста тысяч немецких солдат. Это лучшая армия в мире, а большевики — это толпы мужиков, вооруженных винтовками, стадо, которое разбегается при одном виде бронеавтомобиля. Шмультке мне рассказывал, как они гнали этот скот от Брест-Литовска до Ростова. Лейтенант убежден, что немцы скоро займут Баку, а затем и Москву.

Старик отмахнулся.

— Ах, замолчи ты, пожалуйста, со своим Шмультке! Он у себя под носом не может справиться с этими мужиками! Когда у Зайончковских крестьяне захватили сено на лугах, что сделали твои Шмультке и Зонненбург? Сказали, что с одним эскадроном туда ехать опасно. А на сахарном заводе Баранкевича что было? Смешно! Какая-то кучка мальчишек с пулеметом не подпускала их три часа к заводу. А тебе это кажется пустяками! Каждый день все мы можем проснуться в огне. Я не могу спать спокойно. Я знаю, на что эти звери способны, они уже научились убивать. Их может удержать только сила. Мне страшно подумать, что будет, если этой силы не окажется. Немцы — единственная наша опора. Если они уйдут, мы погибли.

Старик задыхался. На висках синими червяками набухли вены. Он мучительно закашлял, сотрясаясь всем телом. Все примолкли. Людвига подошла к окну.

У подъезда стояла коляска.

— Простите, я вас на минуту оставлю,— сказала Людвига, направляясь к двери.

— Я весь к вашим услугам, пан Эдвард! — тихо произнес отец Иероним, когда Людвига оставила их одних.

Они сидели в глубоких креслах за письменным столом друг против друга. Маленькие черные блестящие глаза отца Иеронима осторожно ощупывали Могельницкого, скрываясь за прищуренными ресницами. Эдвард

чувствовал это, хотя казалось, что отец Иероним просто устал и полудремлет.

— Вы немножко удивлены, отец Иероним, моим приездом? — Эдвард следил за цепкими пальцами своего собеседника, теребившего черную кисть крученого пояса.

— Удивлен? Хм... Возможно!

Их взгляды встретились. Это было молчаливое столкновение, длившееся несколько мгновений; Эдварду казалось, что он прикоснулся к острию бритвы.

— Я думаю, что мы с вами будем откровенны и перейдем сразу к существу дела,— прервал молчание Эдвард.

Отец Иероним испытующе посмотрел на него.

— Его святейшество кардинал Камарини просил передать вам привет и маленькую записочку. Вот она.

Отец Иероним несколько раз прочел клочок бумажки, на котором по-латыни было написано что-то вроде рецепта.

«А ведь из него мог бы выйти неплохой боксер»,— пришло в голову Эдварду, наблюдавшему за отцом Иеронимом. Действительно, у отца Иеронима была крупная голова с мощной четырехугольной челюстью и толстая шея. Под черной сутаной угадывалось упитанное, крепкое тело.

— Насколько я понял, его святейшество желает, чтобы я помог вам, даже больше — выполнял все, что вы сочтете нужным мне поручить,— произнес, наконец, отец Иероним.

— Вы правильно поняли. Но для вас, как мне известно, не совсем ясна новая ориентация Ватикана[1]. Позже вы получите подробные объяснения на этот счет, а пока я вам расскажу, как обстоят дела,— ответил Эдвард.

— Да, это меня весьма интересует.

— Ну, так вот, отец Иероним,— почти шепотом начал Эдвард.— Вы, конечно, знаете расположение немецкой армии?

— Да, в общих чертах...

Эдвард вынул из бокового кармана географическую карту и развернул ее на столе. Оба наклонились над ней. Палец Эдварда медленно пополз от Черного моря к Балтийскому.

— Вот, примерно, граница немецкой оккупации: Ростов-на-Дону, Харьков, в общем вся Украина... сюда, к Польше, затем Белоруссия, Литва, Латвия и кончается Эстонией. Это почти в три раза больше территории самой Германии. Я говорю только о Германии,— продолжал

[1] Резиденция папы римского.

Эдвард,— потому что Австро-Венгрия здесь играет второстепенную роль. По данным французского генерального штаба, вполне точным, австро-германское командование располагает на этом пространстве не менее, чем двадцатью девятью пехотными и тремя кавалерийскими дивизиями. Общая численность их армии — триста двадцать тысяч человек.

Отец Иероним чуть заметно улыбнулся.

— Я понимаю, почему вы улыбаетесь, отец Иероним: вы думаете, что не стоило покидать Париж для того, чтобы подсчитывать, сколько сотен тысяч солдат имеет Германия на территории, где Франция пока не имеет ни одного. Я говорю — пока, потому что война продолжается. А война, отец Иероним, не только создает новые границы, но и новые государства. Сейчас я открываю вам то, что является военной тайной и что вызвало мой приезд сюда. Во-первых, Германия уже проиграла войну.

— Проиграла войну? — не скрыл своего изумления отец Иероним.— Неужели Антанта разгромила ее на западном фронте?

— Нет, фронт еще держится, но это уже агония. Их гибель идет изнутри. Наша военная разведка сообщает о целом ряде выступлений рабочих и солдат в Австрии, также в Берлине, Гамбурге. На одном из броненосцев вспыхнуло восстание. С каждым днем бунты учащаются, и кайзеровское правительство уже не в силах с ними справиться. Не может быть сомнений, что ближайшие дни принесут известие о революции в Австрии и Германии. Немцы выдохлись. Ничто им не помогло: ни захват плодороднейших областей России, ни вывоз хлеба и скота из Украины в изголодавшуюся Германию; нация не в состоянии больше продолжать войну, потому что ее тыл в огне. Австрия же вообще держится лишь при помощи Германии. Как видите, с Германией получается то же, что с Россией. Было бы неумно думать, что революционная зараза из России не проникнет в Европу. Она уже проникла. Сам Людендорф признал, что немецкие части, перебрасываемые из Украины на французский фронт, заражены большевизмом и небоеспособны, даже опасны, потому что разлагают другие...

— Скажите, пане Эдвард, это относится только к Германии? — перебил его отец Иероним.

Несколько секунд молчания. Эдвард только теперь почувствовал, что в нетопленном кабинете холодно. Было

слышно, как играла на рояле Людвига. Он тяжело подвинулся в кресле, помрачнел и, отгоняя от себя все теплое, нежное, навеянное музыкой, заговорил глухо и жестко:

— Большевизм может пожрать весь цивилизованный мир, если его не истребить в зародыше.— В голосе Эдварда звучала жестокая решимость и то, что лишь острым чутьем уловил сидевший перед ним иезуит,— страх. Эдвард встал, сделал несколько шагов и, остановившись перед отцом Иеронимом, продолжал: — Рушится все здание Германской империи... Что будет там дальше, трудно сказать. Если Берлин повторит Москву и создаст у себя советы, то это будет страшной угрозой. Ведь вводить союзные войска в охваченную революцией страну — значит повторить судьбу немцев на Украине. Если же социал-демократы — я говорю о правых — удержат в своих руках власть, тогда демократическая курица сменит императорских орлов, и Германия на ряд лет перестанет играть роль великой державы.

В глазах отца Иеронима Эдвард угадал немой вопрос.

— Вы спрашиваете, зачем я приехал сюда, где немцы могут расстрелять меня, как французского шпиона?

— Я, кажется, об этом не говорил. Но, признаюсь, это меня интересует.

— Прекрасно. Простите за длинное вступление. Итак, почему я здесь?.. Как только в Берлине начнется пожар, немецкая армия на Украине и Польше развалится. Это несомненно. Немцы уйдут, и вся занимаемая ими территория перейдет в руки Красной Армии. Вы представляете себе, что тогда получится? Красная Москва — красный Берлин! Это — конец Европы. Ни Франция, ни Англия допустить этого не могут. Ситуация резко меняется. Раньше австро-немецкая армия служила барьером, отделявшим Европу от коммунистической России. Теперь этот барьер рушится. Если мы вместо него не построим другого, советы захлестнут все...

— Как же можно этому помешать? — спросил напряженно слушавший отец Иероним.

Эдвард взял в руки карту.

— Создать Польскую республику с национальной армией, которая преградит красным путь на Запад. Латвия и Эстония получат «самостоятельность» и вместе с Польшей и Румынией создадут вооруженный буфер между Россией и Западом, под протекторатом Франции, Англия

же займется Мурманом и Архангельском. Союзные десанты будут теснить красных с севера, флот — с Балтийского моря. Вторая английская зона — Северный Кавказ, Баку, Средняя Азия. Французский же флот при первой возможности входит в Черное море и занимает Одессу и другие порты. Японцы захватили Владивосток и уже двигаются на Сибирь. В том же направлении действует русская белая армия и чехословацкий корпус. Польша в это время попытается занять правобережную Украину, Литву и Белоруссию, а если это не удастся, создаст там враждебные советам государства. Зажатая в кольцо, Москва задохнется. Но нам, полякам, надо спешить, пока хаос не охватил и наши края. Надо подготовить вооруженные силы, которые смогли бы прижечь огнем всех, кто вздумает после ухода немцев создавать в Польше советы или что-либо в этом роде. Нам важно выиграть время, собрать силы, вооружить их, создать органы власти, жандармерию. Франция даст нам в кредит амуницию, оружие, пришлет тысячи полторы офицеров. И тогда мы заговорим иначе. Но сейчас необходимо действовать, и притом самым решительным образом. Тем более, что ведь это вопрос не только общей политики, но и нашей с вами судьбы: если мы не истребим польских большевиков, то они истребят нас!

Эдвард смолк, вглядываясь в карту. Затем, словно вспомнив что-то, добавил:

— Кстати, его святейшество кардинал поручил мне передать вам, что если ваша работа окажется удачной, то более подходящего генерального викария[1] на Волыни, чем вы, ему не найти.

Глазки отца Иеронима не изменили своего обычного выражения.

— Я жду ваших приказаний, пане Эдвард.

— Прекрасно, отец Иероним! — Эдвард сел.— Итак, будем действовать... Дня через два я уезжаю в Варшаву на совещание. За это время ознакомьте своих коллег в округе с обстановкой. Делайте это осторожно.— Заметив нетерпеливое движение пальцев иезуита, Эдвард понял, что последней фразы не надо было говорить.— О моем приезде и моей миссии — пока ни слова. Через три недели день рождения моей жены. Под этим предлогом мы соберем здесь лучшие фамилии округи и наиболее

[1] Заместитель епископа.

состоятельных людей, заинтересованных в наших действиях. Одновременно вы соберете у себя совещание ксендзов. Затем вы лично постарайтесь встретиться с местными политиканами. Кто у них там верховодит?

— Пепеэсовец[1] — адвокат Сладкевич.

— Он уже социалист? Скоро! Прожженная бестия! Вы с ним поосторожнее, отец Иероним! Пока ситуация выяснится, этот способен трижды продать нас немцам. Я привезу из Варшавы несколько офицеров, которых надо устроить в порядочных семьях. Начнем отбор людей, будем потихоньку вооружать их... Пусть кто-нибудь из ваших коллег в своей проповеди обратится с призывом к борьбе за отчизну и великую Польшу. Если его даже арестуют — неважно, выручим! Я привезу денег. Пока вот пятнадцать тысяч марок. Кстати, предупредите кого нужно о скором крахе немецкой марки. В Варшаве я встречусь с папским нунцием[2] и попрошу совета, как вам дальше действовать. А сейчас основная задача — собирание сил... Вот, кажется, все, что я хотел вам сказать. Теперь я вас прошу поехать к князю Замойскому и передать ему это письмо.

Оба поднялись.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Франциска засмотрелась на парня, рубившего дрова. Вот он замахнулся, ударил, и далеко в сторону отлетела половина чурбана. Второй удар, третий... Быстро росла гора поленьев. И в том, как легко взлетал топор, чувствовалась уверенность и молодая сила.

— Ты бы передохнул немного. Куда торопишься? — проговорила Франциска, складывая выколоченный ковер.

Юноша недоумевающе взглянул на горничную. Глаза у него синие, над ними черные брови, словно крылья в полете... Непослушный завиток волос навис над глазами.

«Красив мальчишка, без спору, хотя этого еще не знает. Губы еще детские, нецелованные»,— опытным женским взглядом отметила Франциска.

Улыбнулась ему. В этом парне, рослом и сильном, что-то хорошее, нетронутое. И странно, что голос у него не юношески ломающийся, а окрепший, мужской.

[1] Член польской партии социалистов.
[2] Послом.

— Может, я вам мешаю?

— Да нет же! — возразила Франциска.— Но ведь ты с самого утра работаешь без отдыха, как будто тебя кто подгоняет. Ты обедал?

— У меня... того... обедать-то нечего. Да и не хочется.

— Ну да, рассказывай! Глупости! Помоги ковер внести, потом пойдем на кухню, покушаем. Я тоже не обедала.

Парень в нерешительности.

— Такого уговора не было... Старший ваш, в синем кафтане, что нанимал, про обед не говорил.

— Это мой свекор... Бери ковер! Поешь, там у них не только на тебя — на десятерых хватит. Не бойся, от этого не обеднеют! — Франциска нетерпеливо поправила передник.

Юноша, взвалив на плечи огромный ковер, пошел за горничной в палаццо.

— Дай нам, Барбара, чего-нибудь поесть. Да побольше! Надо хлопца накормить, да и я проголодалась,— сказала Франциска, войдя в кухню.— С этим праздником в доме все вверх дном! А что будет, когда он наступит... Прием на сто гостей, оркестр из города... Матка боска! Такого уж давно не было,— говорила Франциска, усаживая парня за стол, на который Барбара уже ставила тарелки с борщом.

— Как тебя зовут? — наливая парню вторую тарелку, спросила Франциска.

— Раймонд.

— А фамилия?

— Раевский.

— Ты городской? У тебя есть отец и мать?

— Есть.

— Что же, видно, плохо живется, что на заработки ходишь? Отец на войне?

— Нет.

— А где же? — не унималась Франциска.

Юноша промолчал.

Франциска понимающе вздохнула.

— Бросил вас, наверное?

В кухню вбежала Хеля. Стрельнув глазками в незнакомого парня, защебетала:

— Панство едет к Замойским... Графиня в коляске, а молодой граф верхом. Сейчас Анеля зовет графиню Стефанию, а я бегу на конюшню, чтобы через час подавали лошадей.

Дверь снова открылась. Вошел Юзеф.

— В кухне опять посторонние! Я что говорил, Франциска? И потом — поскорее ешь, тебя звали наверх,— раздраженно сказал он.

— Да что это такое? Поесть спокойно не дадут! С утра до поздней ночи бегаешь, бегаешь — и все мало! Все еще чего-то придираются,— огрызнулась Франциска.

— Ну-ну, укороти свой язык! — прикрикнул Юзеф.— А ты, хлопче, кончай работу, потом прохлаждайся, сколько хочешь. Тут тебе делать нечего... Дрова сложить там же, на заднем дворе, в сарае. Двор подмести. Тогда придешь за деньгами. Ну, отправляйтесь по местам! — повысил голос Юзеф.

Юноша поднялся так стремительно, что старик попятился.

— Спасибо за угощение,— обращаясь не то к Франциске, не то к Юзефу, сдавленно произнес Раймонд и быстро направился к двери.

Когда последняя охапка дров была сложена, двор подметен, Раймонд надел свою фуфайку, взял под мышку топор и пошел к парадному подъезду.

Палаццо стояло на возвышенности, у подножья которой текла река. К реке спускались две широкие гранитные лестницы. Там, где начинался крутой обрыв, дугой шли клумбы и проволочная сетка в метр высотой. У лестниц — круглый бассейн заброшенного фонтана. В старину здесь был укрепленный замок графов Могельницких. Остатки крепости со стороны реки еще сохранились.

Лицевой своей стороной палаццо выходило в парк. У парадных подъездов — огромный полукруг, залитый бетоном. Широкая, усыпанная красным песком аллея вела к главным воротам парка. Фруктовый сад оттеснил от палаццо флигели, конюшни и остальные службы.

У подъезда стояла открытая коляска. Здоровенный кучер едва сдерживал горячих лошадей. Застоявшийся красавец-жеребец нетерпеливо бил копытом о бетон. Скосил на подошедшего Раймонда свирепый глаз и угрожающе захрапел.

— Ну, не балуй, черт! — прикрикнул на жеребца кучер, натягивая вожжи.

Послышались легкие шаги. Раймонд обернулся и встретился с глазами Людвиги. Они коснулись его лишь на миг. Но он продолжал, не отрываясь, смотреть на нее с изумлением, как смотрят дети.

Она легко поднялась в коляску.

— А где Стефания? И моя лошадь? Ян, беги в конюшню, чтобы мне сейчас же привели Ласку. Сколько раз я должен приказывать! — резко закартавил кто-то за спиной Раймонда.

Кучер тяжело сошел с козел.

— Коней надо кому-нибудь подержать, ясновельможный пане.

— Эй, ты! Как тебя там? Подержи лошадей! — повелительно крикнул Раймонду, надменно оттопырив толстую губу, молодой человек в кавалерийской куртке и крагах, нетерпеливо вертя в руке стек. Он был еще безус, коротконог и толст.

— Я вам не лакей!.. — вырвалось у Раймонда.

Владислав на миг оторопел. Затем с бешенством взмахнул стеком, но не ударил: чутьем угадал, что за удар этот парень способен раскроить ему голову топором.

— Тогда пошел вон отсюда! Кто тебя сюда пустил? Эй, Юзеф, или кто там! Куда вас всех черт подевал? — крикнул вышедший из себя Владислав, вырывая вожжи из рук кучера.

Раймонд медленно пошел в сторону от подъезда, направляясь в кухню за расчетом.

В это время вышла Стефания.

В нескольких шагах от сетки, отделявшей плато от обрыва, Раймонд остановился. Его внимание привлек мчавшийся по аллее мотоцикл; им правил немецкий солдат с коротким карабином за плечами. Мотоцикл вынырнул перед самой коляской, и от оглушительной трескотни его мотора лошади рванулись в сторону. Жеребец взвился на дыбы, затрещало дышло. Владек, выронив вожжи, бросился к подъезду, спасаясь от копыт. Солдат, избегая столкновения, дал полный газ и под острым углом повернул мотоцикл в сторону. От этого кони ринулись вперед и понесли к обрыву. Отчаянный крик Стефании только подхлестнул их. Еще несколько шагов — и все свергнется вниз. Лошади не чувствовали обрыва, замаскированного

кустарником. Раймонд бросился наперерез взбесившимся лошадям и в тот же миг понял, что ему не остановить ослепших от испуга животных. Они растопчут его раньше, чем он что-либо сделает... И лишь в последнее мгновение он ощутил в своей руке топор. Вот она уже перед ним, дикая морда жеребца!.. Страшный удар топором в лоб свалил лошадь. И в тот же миг юноша сам упал под ударом кованого дышла. На него свалилась споткнувшаяся вторая лошадь.

На крики сбежалась вся дворня. Побледневшую Людвигу выхватили из коляски и лишь тогда бросились к бившейся на земле лошади, под которой лежал Раймонд. Когда его, наконец, удалось освободить, он не подавал признаков жизни. Его положили на землю. Без кровинки в лице, он, казалось, крепко спал.

Мужчины хлопотали около лошадей. Жеребец лежал с проломленным черепом так же неподвижно, как и тот, кто его сразил.

— Да ведь он разбил ему голову! Такого дорогого коня загубили,— заговорил пришедший, наконец, в себя Владислав.

— Благодарение богу, что графиня невредима! Езус Христус! Что б то было! И граф Эдвард уехал,— прошамкал пересохшими от волнения губами Юзеф.

Недавний испуг Владислава сменился бешенством, и он обрушился на окружающих слуг:

— Это все из-за вас, дармоедов чертовых! Разленились, негодяи! Где вы все были, когда подали коляску? И как смеет всякая солдатня шататься здесь со своими трещотками?

Это уже относилось к только что вышедшему из дома Зонненбургу. Майор извинился перед Людвигой за причиненную ей неприятность. Владислав быстро подошел к нему.

— Господин майор, я требую ареста этого балбеса, который едва не погубил графиню... Кроме того, лошадь стоит несколько тысяч марок, которых этот ваш идиот за всю свою жизнь не заработает. Потом вы должны разъяснить вашим солдатам, что здесь не заезжий двор,— понемецки, коверкая слова, говорил Владислав.

Высокий, сухой, как вобла, майор вежливо откозырнул Людвиге и повернулся к Владиславу.

— Что вам от меня угодно, молодой человек?

— Я вам не молодой человек, а граф Могельницкий! Прошу не забывать этого, господин фон Зонненбург!

— Прекрасно. Но если вы будете продолжать в том же тоне, то я отказываюсь вас слушать. Мотоциклист выполнял свои обязанности и не должен отвечать за то, что вы бросили вожжи и оставили графиню на произвол судьбы,— отрезал Зонненбург и пошел с солдатом в дом, на ходу разрывая пакет с надписью: «Совершенно секретно, весьма срочно. Вскрыть лично».

В этой суматохе про Раймонда забыли. Людвига первая заметила это.

— О, боже, что же вы оставили его без помощи! — вскрикнула она.— Сейчас же несите его в дом! Стефа, попроси майора послать за фельдшером.

Майор в своей комнате читал:

«...Передаю шифрованную радиограмму — двоеточие... В Австро-Венгрии сильнейшее брожение... Его императорское и королевское величество отрекся от престола... Приказываю всеми средствами вплоть до расстрела агитаторов сохранить дисциплину в войсках... точка... Подчиняться только приказам верховного командования.

Людендорф...

Дополнительные указания следуют... По прочтении сжечь...» — шептал Зонненбург.

— Глубокий обморок. Это шок, переломов нет. Одевать его пока не надо. Сейчас мы впрыснем ему камфору,— говорил немец-фельдшер с повязкой Красного Креста на рукаве мундира.

Раймонд лежал на широком диване в курительной комнате, покрытый теплым одеялом. Ухаживали за ним лакей Адам и Франциска. Стефания тоже принимала деятельное участие в их хлопотах. Когда Раймонд стал приходить в себя, в комнату вошла Людвига.

— Вот... Пульс становится отчетливей... Молодой человек ведет себя хорошо. Сейчас ему нужен полный покой... Что это? Играют сбор? Я должен идти. Через час я вернусь. Но его не надо оставлять одного,— сказал фельдшер, вставая с дивана.

— Вы можете идти,— обратилась Стефания к Франциске и Адаму,— мы с графиней немного побудем здесь.

Все благополучно, он приходит в себя,— тихо ответила Стефания на немой вопрос Людвиги, когда они остались одни.— Не находишь ли ты, Людвига, что он красив?

— Стефа, как тебе не стыдно?!

Раймонд с трудом приподнял отяжелевшие веки. Сидевшая у его изголовья Стефания ласково наклонилась к нему. Юноша долго смотрел затуманенным взглядом на незнакомую нарядную даму, на ее лукавые глаза, на яркие от кармина губы, не понимая, где он и что с ним.

Стефания осторожно рассказала ему обо всем происшедшем. Он попытался приподняться, но Стефания удержала его:

— Лежите спокойно!

Людвига, заметив его движение, подошла к дивану и взяла Раймонда за руку.

— Чем я могу отблагодарить вас? — тихо произнесла Людвига.

За окнами снова затрещал мотоцикл, увозивший майора. Только теперь Раймонд вспомнил все. Ему стало холодно и неуютно.

— Где моя одежда? Я хочу уйти,— прошептал он.

— Сейчас вам принесут платье и помогут одеться. Но вы не должны уходить, пока к вам не вернутся силы,— сказала Стефания, выходя вслед за Людвигой из комнаты.

Шатаясь от головокружения, едва не падая, Раймонд одевался. Когда в комнату вошел Юзеф, неся суконный костюм, сапоги и охотничью куртку, он застал Раймонда уже одетым.

— Это тебе прислала ясновельможная пани.— И Юзеф положил принесенные вещи на стул.— Кроме того, она велела передать тебе двести марок,— протянул он парню пачку кредиток.— Также велено накормить тебя и отвезти в город.

Комната медленно кружилась перед глазами Раймонда. Он делал слабые движения рукой, чтобы сохранить равновесие.

— А за дрова сколько мне полагается? — спросил он.

— За дрова — три марки, как условились. Но ведь тебе же дали двести, чего еще?

Раймонд вынул из пачки кредиток три марки, остальные положил на стол и молча вышел.

За воротами парка оглянулся и долго смотрел на усадьбу. Затем медленно пошел к городу. Ветер хлестал его в лицо, забирался под фуфайку. А он все шел, спотыкаясь и покачиваясь, словно пьяный...

— Господин обер-лейтенант, у этих двоих пропуска не в порядке. Как прикажете? — взяв под козырек, рапортовал приземистый вахмистр.

Шмультке взглянул на задержанных. Один из них, сутуловатый, весь обросший колючей щетиной, в потрепанной форме австрийского солдата, зло смотрел на него, часто моргая, словно дым от папиросы офицера разъедал ему глаза. Другой, высокий, с длинными седыми, как пепел сигары, усами, в черной поддевке, в коротких солдатских сапогах, стоял спокойно, равнодушно поглядывая на выходящих из вагона пассажиров.

— Почему у вас нет визы на пропуске? — строго спросил Шмультке.

— Там уже есть три, а четвертую не поставили — некому. Все прут домой, им не до визы, — с каким-то злорадством огрызнулся первый.

— Как стоишь? Стать смирно! Я тебя научу, каналья, как разговаривать с офицером! Какого полка? Почему без погонов и кокарды? Дезертируешь, мерзавец? — закричал Шмультке, найдя, наконец, на ком сорвать злобу за трехдневное бессменное дежурство на станции, где его эскадрон вылавливал в поездах дезертиров австро-венгерской армии.

— Какой я дезертир? Был в плену в России, теперь возвращаюсь на родину. Извольте посмотреть, — приглушая голос, ответил солдат.

Шмультке просматривал документы задержанных. На затасканном, грязном свидетельстве, выданном военнопленному Мечиславу Пшигодскому, стоял штамп киевской комендатуры с краткой пометкой: «Проверен. Инвалид. Разрешен проезд к месту жительства». Второе свидетельство было на имя Сигизмунда Раевского, монтера варшавского водопровода, которому также разрешался проезд к месту жительства его семьи.

— Что ты в России делал после семнадцатого года?

— Копал картошку, господин обер-лейтенант.

В ответе солдата Шмультке уловил скрытую издевку.

— Ничего, ты у меня посидишь, пока мы разберемся во всем этом... А у вас почему нет визы? — обратился Шмультке к высокому, невольно называя его на «вы».

— Я не говорю по-немецки,— ответил тот на польском языке.

— Он поляк и не понимает вас,— перевел солдат.— Мы с ним ехали вместе. Он тоже ходил в комендатуру за визой, но там некому было ее поставить. Мы с ним земляки, здешние.

Объяснения не помогли. Все эти дни Шмультке был в таком раздражении, что с трудом удерживал себя от резких выходок. Сейчас ему очень хотелось дать по морде этому хаму, который еще неделю назад дрожал перед каждым офицером, а теперь, когда в этой идиотской Австро-Венгрии заварилась каша, имеет наглость разговаривать таким тоном... Что же будет дальше? Сегодня снято с поезда пятьдесят семь дезертиров, из них одиннадцать с оружием. А телеграммы предупреждают, что начинается поголовное бегство. Если эта волна докатится сюда... Черт возьми!

— Отправьте их в комендатуру! Завтра проверим, действительно ли они живут в этом городе.

— Ну вот, приехали, называется! Парься в этом клоповнике всю ночь... Утром он разберется!.. Целый месяц ехал, домой добрался, а тут на самом пороге тебя под замок! Ну, не дай господь, чтобы вот такой мне в темном месте в руки попался! — скрипнул зубами Пшигодский, яростно швырнув свою котомку на деревянные нары, когда их заперли в пустой арестантской.

— Ты сам немного виноват, приятель: надо было полегче с ним. Ты где, собственно, живешь?

— Да здесь, недалеко от города, в имении Могельницких.

— А кто там у тебя?

— Да жена, отец, брат... В общем, народу до черта. Небось, живут себе припеваючи! Наша порода вся у Могельницких спокон века на лакейском положении. Отец — дворецкий, брат — лакей, жена моя — горничная. А я у них конюхом был. В лакеи не взяли,— рожей не вышел. Да

я и сам бы не пошел. Собачья профессия! Стой на задних лапках и виляй хвостом, когда тебя хозяин по носу щелкнет. С лошадьми куда приятнее.

Раевский постелил свою поддевку на нары, снял шапку и прилег, повернувшись лицом к солдату. Тот смотрел на серебристую от седины шевелюру соседа.

— Сколько вам лет, пане Раевский?

— Сорок пять. А что?

— Да вот, гляжу, седой весь. Отчего бы это?

Суровые, мохнатые брови Раевского шевельнулись.

— Бывает, что седеют и в двадцать.

Несколько минут оба молчали.

— Скрытный вы человек, пане Раевский,— сказал, наконец, Пшигодский.— Я уже давно к вам приглядываюсь. Вот немцу сказали, что не понимаете, а ведь неправда это!

Раевский внимательно посмотрел на него. Пшигодский успокаивающе улыбнулся:

— Можете не беспокоиться, пане Раевский! Я хоть и из лягавой породы, но души еще черту не продавал. У меня тоже есть над чем подумать. Если бы эта колбаса немецкая знала, какую я «картошку копал» весь этот год, то он бы со мной иначе разговаривал. Если интересуетесь, могу рассказать кое-что из своей жизни. Все равно делать-то нам нечего. Так скорее время пройдет...

Раевский наблюдал за беспокойными движениями солдата.

— Знаете, что я вам скажу, Пшигодский? — не сразу ответил он.— Не всегда следует рассказывать все, что хочется рассказать. Вы мне кажетесь порядочным человеком. Но теперь не такое время, чтобы говорить лишнее там, где без этого можно обойтись. Вот, например, не наступи вы немцу на мозоль, мы с вами были бы теперь уже дома...

Солдат подсел к нему на нары.

— Что правда, то правда! Но, знаете, бывает такой час, когда душе скучно. И надо кому-то рассказать об этом. Особенно, если чувствуешь, что он разберется во всем по-человечески. Вот я сейчас почти дома, а радости большой от этого нет у меня...

— Почему?

— Да вот как все это получается. Расскажу сначала, издалека... Женился я перед самой войной. Нашел себе

на деревне дивчину хорошую, красивую даже, правда, озорную немного. Зажили мы с Франциской на фольварке, что рядом с графской усадьбой... Началась война. А у графов так получилось: самый старший сын, Эдвард (у него имение под Варшавой), служил в русской гвардии, а средний, Станислав (у него имения в Галиции и на Украине), по мобилизации стал австрийским офицером. Когда немцы заняли наши места, он стал адъютантом здешнего начальника гарнизона. Выходило так: кто бы войну ни выиграл, а Могельницкие не проиграют. По просьбе отца граф Станислав взял меня в денщики. И все бы ничего. Да вот как-то заприметили господа Франциску. Понравилась им, сделали ее горничной. Жить она перешла во флигель около палаццо. Пристроили ее ухаживать за старым графом. Тот все хворает. Целые ночи за ним надо присматривать. Тут я стал замечать за ней что-то неладное. Ничего она мне не говорит, но вижу — мучит ее что-то. Приходил я к ней из города каждый вечер. Смотрю я раз утром (она еще спала), на груди у нее синяк, словно ее покусал кто. Запалило у меня сердце. Чуть не задушил! Тогда она призналась, что пристает к ней старый граф. Истерзал всю. Нет ей от него спасения. Когда она отбиваться стала, пригрозил ей, что на другой же день меня на фронт погонят, а ее со двора вон... И такое мне рассказала, что я совсем одичал. Ему, гаду старому, сдохнуть давно пора! Мешок с требухой! Ни на что не способен... Но хоть не может, а к бабе лезет. Зубами грызет... Целый день ходил я, как помешанный. Ночью пришел — ее нет. Кинулся в дом. Стал ломиться в дверь к старому. Что потом получилось, черт его знает! Не помню... Но все сбежались, не пустили, хоть я и дрался, как бешеный! Граф Станислав так двинул меня револьвером по голове, что меня замертво выволокли на двор. Арестовали «за буйство в пьяном виде». А на другой день — в эшелон и на фронт. Тут я при первой возможности и сдался русским. Загнали нас в Сибирь, в концентрационные лагери. Было это в конце пятнадцатого. Натерпелись мы там беды! Тридцать пять копеек на солдатскую душу в день! А офицерам — семь рублей. Солдаты гибли от тифа и голода, а офицерье и в ус не дуло... Тут пришла революция. Семнадцатый год мы проболтались ни туда, ни сюда. А вот как большевики взяли кого следует за жабры, тут и мы, пленные, тоже зашевелились. На-

шелся среди офицеров отчаянный парень — венгерец, лейтенант Шайно. Так он нам прямо сказал: «Расшибай, братва, склады, забирай продукты и обмундирование!» Мы так и сделали. Только большевистская революция туда еще не дошла. Нас и распатронили. Шайно и нас, заводил из солдат, упрятали в тюрьму, собрались судить военно-полевым. Но тут началась заваруха! Добрались большевики и до наших лагерей. Всех освободили. Пошли митинги. И вот часть пленных решила поддержать большевиков. Собралось нас тысячи полторы, если не больше,— венгерцы, галичане... Все больше кавалеристы. Вооружились, достали коней. Захватили город. Открыли тюрьму. Нашли Шайно и сразу ему вопрос ребром: «Если ты действительно человек порядочный и простому народу сочувствуешь, то принимай команду и действуй». Лейтенант долго не раздумывал: «Рад стараться. Давайте,— говорит,— коня и пару маузеров!» И пошли мы гвоздить господ русских офицеров. И так это мне понравилось, что я целых полгода с коня не слезал. Лейтенант Шайно с военнопленными остался партизанить на Дальнем Востоке. а меня потянуло ближе к дому. Перекочевал я на Украину. Здесь для меня тоже нашлась работа. Воевал, пока не попался немцам в лапы. Послали разведать в деревню. Наскочил разъезд. Хорошо, что не взял оружия. Сошел за военнопленного — старые документы выручили. Мотали меня, мотали. Наконец отпустили домой...

Пшигодский замолк и сидел неподвижно, устало свесив голову.

— Зачем ты мне про свои дела у большевиков рассказываешь? Человек я для тебя чужой, только что едем три дня вместе. Нарвешься ты когда-нибудь с такими разговорами на негодяя и сам себя к стенке поставишь,— тихо сказал Раевский.

— Это я для вас, чтобы не косились...

— А что тебе до меня? Смотрю я, чудной ты какой-то. Подъезжаешь ты будто не с той стороны. Давай бросим и ляжем спать.

В арестантскую прокрались сумерки. Утихал гул людских голосов за стенами. Слышно было, как по стеклам хлещет дождь...

— Я вас, товарищ Раевский, только теперь узнал, когда шапку сняли. Три дня думал, где я вас видел? Очень вы

похожи на комиссара сводной интернациональной бригады. Только место вам здесь неподходящее и фамилия другая — того звали товарищ Хмурый. А приглядеться к вам — выходит одно и то же... Вот я и рассказал, чтобы не косились. Видите, не такие уж мы чужие.

Раевский усмехнулся в седые усы.

— Бывает же такое сходство! Только это сходство опасное,— могут вздернуть на перекладине ни за что ни про что...

Пшигодский положил руку на плечо Раевского.

— Можете быть уверены, товарищ Хмурый... извиняюсь, товарищ... то есть пане Раевский. Я недаром провел полгода в Красной Армии — кое-чему научился...

За стеной послышался грохот подходившего поезда. Снова гул людских голосов. Кто-то отпирал дверь. В коридоре — резкие выкрики команды. В арестантскую ввалилась толпа австрийских солдат всех родов оружия.

Когда комната наполнилась ими до отказа, немецкие драгуны закрыли дверь. Сразу стало шумно и тесно. Солдаты размещались на нарах, на полу, на подоконнике, на ящике, заменявшем стол.

Бравый кавалерист с орденом Железного креста на груди подмигнул Пшигодскому:

— Тоже отступаешь, камрад? Ты что, погоны сам снял или тебе их этот обер, сукин сын, оборвал?

— Я военнопленный. А вы что, ребята, домой? — невольно улыбаясь, спросил Пшигодский.

За кавалериста ответил крепыш с ефрейторскими нашивками:

— Да, в бессрочный отпуск.

Кругом засмеялись.

— Домой карасей ловить.

— Жены ультиматум предъявили: если не вернемся, то получим отставку. Вот мы и торопимся.

Из угла кто-то недовольно буркнул:

— Видно, что поторопились. Говорил полковой совет — двинуться целым полком! Тогда бы от этих драгун только мокрое место осталось.

— Не унывай! Наши подоспеют — выручат.

— Когда плотину прорвет, дыру шапкой не заткнешь...

— Навоевались, хватит!

Совсем стемнело. Солдаты зажгли свечу, раскрыли сумки и принялись ужинать.

— Подсаживайтесь, камрады! Небось, голодны? — пригласил Раевского и Пшигодского кавалерист, открывая ножом банку консервов.

Раевский поблагодарил. Пшигодский охотно согласился: он уже два дня не ел.

— Так ты из России, камрад? Ну, как там? Говорят, жизнь невозможная. Правда? — спросил его пожилой пехотинец.

— Кое-кому там действительно жарко — фабрикантам, помещикам и всем, кто при царе верхом ездил на таких, как мы с тобой. Их большевики прижали так, что они еле дышат. Ну, а рабочие и крестьянство, так те воюют. Сам знаешь, лезут на них со всех сторон, — забывая, где он находится, ответил Пшигодский.

— А это верно, что большевики у помещиков землю забрали и роздали крестьянам?

— А как ты думаешь, без этого пошел бы крестьянин воевать за советскую власть?

— А верно, что над пленными большевики издеваются?

— Бабьи сказки! Офицерские выдумки. А про то, что у большевиков целые интернациональные бригады из пленных есть, вам не рассказывали?

— Говорили про изменников разных там... Нас этот обер тоже изменниками назвал.

— Как вы думаете, нам в Венгрии тоже землю дадут?

— Получишь... два метра глубины...

— То есть как не получу? А за что же я воевал?

— Скоро же ты воинский устав забыл! «За императора, за...»

— Ну, императора, положим, уже наскипидарили! — весело хмыкнул кавалерист, отправляя в рот солидную порцию хлеба.

Пшигодский не отставал от него и все время довольно улыбался, слушая солдатские разговоры. Когда банка опустела, Пшигодский вытер рукавом усы, поблагодарил кавалериста и, ни к кому собственно не обращаясь, спросил:

— А почему вы, камрады, без оружия домой едете? Так вас кучками жандармы всех переловят. Двинули бы несколько эшелонов вместе, без офицерья. Тут один

камрад об этом говорил уже. Винтовка дома всегда пригодится, когда надо шевельнуть кого следует. А то вот...

Раевский незаметно потянул его за рукав.

— Немного полегче,— по-польски шепнул он.

На рассвете их разбудила ружейная перестрелка. Все вскочили, тревожно переговариваясь.

— Что это? — спросил Пшигодский Раевского.

Тот недоумевающе пожал плечами. Минут через двадцать все выяснилось. В дверь, выбитую прикладами, втиснулось несколько солдат, и со всех сторон послышались радостные крики:

— А-а-а! Да ведь это наши — тридцать седьмого стрелкового!

Рослый артиллерист с тесаком на поясе загремел густым басом:

— Собирай ранцы, камрады! Быстро! Едем дальше. Мы этих драгунишек пощипали немножко. Чуть было не проехали мимо, да узнали, что вы здесь. Ну, ну, поторапливайтесь!

На городской площади они расстались. Пшигодский крепко сжал руку своего спутника:

— Всего доброго! Если я вам на что-нибудь пригожусь, то вы знаете, где меня найти. Всего доброго, пане Раевский!

Отойдя несколько шагов, он оглянулся и приветственно махнул рукой.

Раевский ответил кивком головы...

У знакомого входа в подвал Раевский остановился. Он чувствовал, что волнуется. Одиннадцать лет назад его вывели отсюда трое жандармов. Вот здесь, на ступеньках, стояла Ядвига, держа за ручонку Раймонда. Четвертый жандарм преграждал ей путь... Что с ними? Живы ли они? Как странно — нет решимости спуститься вниз и постучать в дверь.

Но вот она открылась. По ступенькам быстро поднимается девушка в простеньком вязаном жакете. Дверь вновь приоткрылась. Выглянула детская головка.

— Тетя Сарра, конфетку принесешь?

— Конечно, мой рыженький, принесу! Закрой дверь,

— Скажите, здесь живет Ядвига Раевская? — стараясь говорить спокойно, спросил Раевский.

Девушка остановилась.

— Раевская? Нет... То есть она жила здесь несколько лет назад. Теперь здесь живет сапожник Михельсон. А Раевские живут в Краковском переулке.

— Значит, она и ее сын живы?

— Ядвига Богдановна и Раймонд? Конечно, живы. А вы что, давно их не видели?

— Да, давно... Вы не скажете номер их дома?

— Если вы к ним, то идемте вместе. Я всегда по утрам захожу за Ядвигой Богдановной — мы с ней в одной мастерской работаем. Пойдемте.

Рядом с собой Раевский слышит стук каблучков.

Он шел, не глядя на нее, но краем глаза уловил ее любопытный взгляд. Он запоминал людей сразу, а эта девушка, которую малыш назвал Саррой, запоминалась ярче других. Особенно большие темные глаза, в которых выражение холодного безразличия мгновенно исчезло, как только она заговорила с малышом. Если бы она не была так молода (ей, наверное, не больше семнадцати), можно было бы подумать, что она — мать этого карапуза.

Ему хотелось узнать о Ядвиге и сыне больше, чем она сказала, но привычная осторожность не позволяла расспрашивать. Хотя самое тяжелое свалилось с плеч — он знает, что они живы, но волнение от предстоящей встречи нарастало. Какой у него сын? Ведь мальчику сейчас восемнадцать лет. Это уже настоящий мужчина... А Ядвига? А что, если у нее другой муж? Ведь прошло одиннадцать лет! Как это давно было! Невозможно снять с плеч тяжесть этих долгих лет, как не уйти от седины...

— Ну, вот мы и пришли!

Голос девушки мелодично-певуч.

Он еще раз взглянул на нее. Серая, под цвет жакета, вязаная шапочка одета без кокетства. Правильный носик, решительная линия красивого рта.

Она улыбалась, смутно о чем-то догадываясь.

— А, Сарночка! Сейчас иду...

— Я не одна, Ядвига Богдановна, к вам гость. Добрый день, Раймонд.

Раевский почти касался головой потолка низкой крошечной комнаты. Единственное окошко выходило в стену какого-то сарая. Было темно и тесно.

Ядвига, надевавшая пальто, оглянулась.

Сигизмунд снял отяжелевшей рукой шапку и сказал тихо:

— Добрый день, Ядзя!

Несколько секунд Ядвига смотрела широко раскрытыми глазами.

— Зигмунд!..

Она рыдала, судорожно обняв его, словно боясь, что его опять отнимут у нее.

— Зачем же плакать, моя дорогая, зачем? Вот мы и опять вместе... Не надо, Ядзя...— уговаривал ее Раевский.

Раймонд, не отрываясь, смотрел на отца. Это о нем рассказывала ему мать длинными вечерами с глубокой нежностью и любовью. В своем воображении Раймонд создал прекрасный образ отца, мужественного, сильного, справедливого и честного.

В сердце мальчика вместе с любовью к отцу росла ненависть к тем, кто его преследовал, заковал в кандалы, сослал на каторгу.

Мальчик не мог ясно представить себе, что такое «каторга».

Он чувствовал только, что это что-то мрачное, безысходное. Мать говорила о далекой, где-то на краю света, стране — Сибири, где лютый холод, непроходимые леса или мертвые поля, покрытые снегом. На сотни километров кругом — ни единой живой души. И вот там, в этом мрачном краю, люди в кандалах глубоко в земле роют золото для царя. Их сторожат солдаты. Это и есть каторга. И там его отец.

Сколько слез пролил мальчик, слушая печальные повести матери о том, кто хотел лишь одного — счастливой жизни для нищих и обездоленных...

Кому, как не сыну, могла рассказать мать о своем незаживающем горе, о молодой искалеченной жизни, о том, кого она не переставала любить и ждала все эти долгие годы?

Всю свою неистраченную нежность перенесла мать на сына.

Мальчик рос чутким и отзывчивым к чужому страданию и горю. Он был для матери единственной радостью, она только им и жила. Годы шли. Мальчик вырос в сильного мужчину. Часто, глядя на него, она вспоминала свою молодость, то время, когда Сигизмунд приходил на свидания с ней, такой же молодой и красивый. Как надругалась над ней жизнь...

Самые лучшие годы прожить без друга, знать каждый час, что он страдает... И вот он вернулся, отец и муж. Седой и суровый. На лбу, словно два сабельных шрама, глубокие морщины...

Отец выше его. Он сильный. Раймонд чувствует это по руке, обнявшей его за плечи.

— Тато, милый! — тихо шепчет он.

Сарра смущенно наблюдала за происходящим. Ей было неловко за свое невольное присутствие. «Так вот он какой, этот таинственный отец Раймонда!.. А ведь я это почти угадала»,— радуясь за своих друзей, думала она.

— Ядвига Богдановна, я побегу, а вы оставайтесь. Я скажу, что вы заболели,— тихо сказала она.

Ядвига пришла в себя.

— Ах да, мастерская... Подожди, Саррочка! Мне нельзя оставаться — сегодня ведь Шпильман приказал нам с тобой ехать к Могельницким. Если я не приду, он меня выгонит...— Она повернулась к мужу и прошептала, словно оправдываясь: — Прости, Зигмунд, я должна уйти. Мне нужно самой примерить и сдать дорогой заказ. Я постараюсь вернуться пораньше... Ну... Раймонд тебе все расскажет... Господи! Неужели это правда, что ты вернулся?

На пороге она еще раз обняла мужа и закрыла дверь.

— Эта девушка — ваша приятельница? — быстро спросил Сигизмунд сына.

— Да, отец.

— Догони их и скажи матери, чтобы о моем приезде ни она, ни эта девушка никому не говорили.

Раймонд понял и быстро вышел из комнаты.

Когда он вернулся, отец задумчиво сидел у стола, склонив на руку седую голову. Он посмотрел на сына и улыбнулся с суровой нежностью. Раймонд стоял перед ним, не находя слов.

— Вы, наверное, есть хотите? — тихо спросил он наконец.

— Хочу. Только не говори мне «вы».

Опять наступило молчание. Они всматривались друг в друга. Сын знал об отце многое, но отец о сыне — ничего. Сигизмунда Раевского тревожила эта неизвестность. Чем жил и к чему стремился этот рослый юноша? Как сложатся их отношения? Будет ли он его другом и соратником, или останется получужим, посторонним, от которого надо скрываться, как и от обывателей-соседей? Как всегда, Раевский повернулся лицом к опасности:

— Садись, сынок, расскажи, как вы жили...

Раймонд сел за стол, смущенно улыбаясь. Отец смотрел на его красивое, с девичье-нежными чертами лицо и хмурился. Он искал мужества в этом лице и только в синих глазах на миг уловил что-то желанное.

— С чего начинать, отец?

— Ты учишься?

— Нет, уже три года, как я окончил городскую школу. Дальше учиться не мог — у нас не было денег. Мама хотела, но я не мог согласиться, чтобы она шила по двадцать часов в сутки. И я стал работать на сахарном заводе Баранкевича...

Тихо в комнате. Слышно только, как отбивают свой размеренный шаг часы.

— Ты из-за меня не пошел сегодня на завод?

— Нет... Я уже несколько месяцев там не работаю...

— Почему?

Раймонд тревожно шевельнулся.

— Меня прогнали с завода.

— За что?

Глаза Раймонда сузились.

— Они выдали мне свидетельство, что я уволен за участие в грабеже складов...

Раймонд замолчал, увидя, как резко сдвинулись брови отца.

— Но это неправда, отец! Это подлая ложь. Мы только требовали уплатить нам за шесть месяцев работы. Рабочие выбрали депутацию к Баранкевичу, молодежь послала меня. Баранкевич кричал на нас, как на собак, и выгнал. Перед конторой нас ждал весь завод. Мы рассказали, как принял нас хозяин. Ну, здесь и началось. Когда немецкая

охрана стала нас разгонять, мы разоружили ее и отняли пулемет. Заставили кассира выплачивать жалованье по спискам. Когда денег в кассе не хватило, то открыли склад и приказали кладовщику выдавать по три мешка сахару каждому вместо денег. Никакого грабежа не было! Мы со старыми солдатами защищали улицу от немецких драгун. Баранкевич успел вызвать их из города по телефону. Когда мы расстреляли все ленты, то разбежались. Но пулемет немцам не достался, мы его спрятали в надежном месте...

Раймонд умолк. Отец задумчиво теребил седой ус и улыбался.

— Что же было потом?

— Потом немцы сахар у всех отобрали. Многих арестовали, а остальных Баранкевич прогнал, не заплатив ни копейки. Мне и другим, кто был в делегации, администрация завода выдала волчьи билеты. Но я, отец, не взял ни фунта сахару. А Баранкевич не заплатил мне сто восемьдесят марок. Это за целые полгода...

— Ладно, сынок. Ты меня с этими твоими пулеметчиками как-нибудь познакомишь. А теперь давай поедим, если есть что.

— Прости, тато, только селедка...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Огромные чугунные ворота парка не закрывались — в них один за другим въезжали экипажи. У подъезда ярко освещенного палаццо Могельницких непрерывное движение — прибывали приглашенные. В вестибюле лакеи снимали с них верхнее платье.

У входа в гостиную приезжающих встречали Стефания и Владислав. Черное бальное платье облегало полную фигуру Стефании, оставляя обнаженными плечи и руки. Ее лицо было радостно возбуждено. Она встречала гостей с такой приветливой улыбкой, с такой любезностью, что мелкие шляхтичи, в первую минуту робевшие перед великолепием графского дома и блестящим обществом, становились смелее и увереннее.

Владислав был красен от волнения и желания производить впечатление настоящего аристократа: он хотел, чтобы эта мелкая сошка, допущенная сюда из политиче-

ских соображений, сразу почувствовала в нем графа Могельницкого. Мелкопоместным дворянам он небрежно протягивал два пальца, крупным помещикам говорил несколько приветственных слов. И только когда появился князь Замойский с семьей, он кинулся навстречу.

Из большого зала доносились звуки настраиваемых инструментов.

— А вот и пан Баранкевич с супругой! — шепнул Владислав Стефании.

К ним подходил огромного роста человек, столь же толстый, сколь худа была его супруга, которую он вел под руку. Из-под тесного крахмального воротника выпирала жирная шея. Его рачьи, выпученные глаза с кровяными жилками остановились на Стефании.

— О-о-о! Вельможная пани сегодня ослепительна! Будь я на десяток лет моложе... гэ... умм... да!..— загрохотал он пропойным басом.

Его жена, пани Анеля, кисло улыбалась. Владиславу казалось, что пуговицы жилета сахарозаводчика сейчас отлетят, не выдержав напора огромного живота.

Баранкевичи прошли в гостиную. Лакей доложил Стефании, что прибыл автомобиль с господами немецкими офицерами. Владислав многозначительно посмотрел на Стефанию.

— Ты не забыла, Стефа, что Эдвард просил тебя не упускать немцев из виду? Их надо устроить в малой гостиной. Собрать там панепок, говорящих по-немецки, а главное — не жалеть вина,— быстро проговорил он.

— Знаю... Вот и они. Я их встречу, а ты иди наверх к Эдварду и предупреди об их приезде... И пусть Людвига придет мне помочь. Все уже спрашивают о ней...

Владислав исчез. Стефания встретила немцев очаровательной улыбкой. Рядом с Зонненбургом шел не старый еще полковник, начальник гарнизона города. За ними — три офицера, среди них — Шмультке. Зонненбург представил их Стефании.

Полковник прикоснулся холеными усами к ее руке.

— Чрезвычайно признателен, графиня, за любезное приглашение и весьма рад встретить в вашем лице жену одного из офицеров немецкой армии,— сказал он.

— Надеюсь, ваше превосходительство, вам не будет скучно в нашем обществе?

— О, что вы, что вы! — запротестовал полковник.

Стефания, окруженная офицерами, направилась в зал. Зонненбург задержал Шмультке.

— Господин лейтенант, вы поставили караул вокруг усадьбы?

— Так точно, господин майор!

В кабинете Эдварда сидело несколько человек. Здесь были: Эдвард, накануне возвратившийся из Варшавы, отец Иероним, князь Замойский, Баранкевич, викарный епископ Бенедикт и еще трое молодых людей в штатском.

У входа в апартаменты Людвиги сидел Юзеф.

Когда, поддерживаемый лакеем, появился старый князь Могельницкий, Юзеф почтительно раскрыл перед ним дверь и сейчас же закрыл ее перед самым носом лакея.

— Можешь идти. Я позову, когда понадобишься.

Сын недоумевающе пожал плечами и стал спускаться с лестницы.

— А где этот бродяга, Мечислав? Ты за ним присматривай, Адам. Вот еще наказание господне!..

Адам остановился и невесело посмотрел на отца.

— Со вчерашнего вечера, после того как он побил Франциску, я не видел его. Говорят, что пошел на фольварк к солдатам.

При появлении отца Эдвард поднялся.

— Ну, теперь, кажется, все в сборе. Пока там, внизу, будут веселиться, мы кое о чем успеем поговорить. Познакомься, отец,— сказал Эдвард, когда Казимир Могельницкий остановился перед поднявшимися ему навстречу незнакомыми молодыми людьми.

— Капитан Врона,— отрекомендовался один из них, бледный, с воспаленными глазами.

— Лейтенант Варнери,— произнес другой, стройный, голубоглазый.

— Поручик Заремба,— угрюмо пробасил третий, коренастый, с коротко подстриженными усами.

В комнату торопливо вошел Владислав.

— Эдвард, приехали немцы — полковник, несколько офицеров... Людвига сошла вниз. Слышишь, играют туш? Все твои приказания выполнены. Ты разрешишь мне остаться здесь?

— Нет. Иди вниз занимать гостей. Через полчаса придешь,— сухо ответил Эдвард.

Владислав сделал недовольную мину, но повернулся по-военному и вышел. Сегодня утром он был «произведен» в подпоручики и назначен командиром взвода в формируемом Эдвардом польском легионе.

— Итак, если панство разрешит, я начну,— произнес Эдвард, когда все уселись.

Снизу доносились звуки мазурки.

— Послезавтра мы решили выступить. Дальше медлить нельзя. Австрийцы бегут на родину, бросая все. Сегодня нам стало известно о революции в Германии. Наше положение необычайно трудное. Уходящих немцев преследуют партизанские отряды. Они скоро ворвутся сюда. Пан Зайончковский говорит, что у них на селах уже начинается... Как вам известно, седьмого ноября в Люблине организовано польское правительство с пепээсовцем Дашинским во главе...

Баранкевич сделал резкий жест рукой.

— Это не так страшно,— успокоил его Эдвард.— Правда, Дашинский наобещал в своих декларациях всеобщее, прямое, тайное и равное избирательное право, восьмичасовой рабочий день и даже передачу земли крестьянам,— с издевкой продолжал Эдвард.— Но все это необходимые на сегодняшний день декорации. Их нам легко отшвырнуть, когда мы будем иметь силу. Пока что благодаря декларациям Дашинского мужики сами охраняют имения: народное достояние, как же. Важно одно: чтобы вооруженная сила была в наших руках. Мы пока что располагаем сотней людей. Этого достаточно, чтобы занять город. Австрийский гарнизон города растаял. Единственная сила — эскадрон немецких драгун... Но с немцами мы договоримся. Тем более, что у них самих вскоре не останется ни одного солдата.

— Откуда вы взяли эти сто человек? — заинтересовался епископ, высохший, как мощи, старичок, машинально перебиравший пальцами четки.

До сих пор он придерживался немецкой ориентации и теперь хотел выведать, насколько реальна вся эта затея, в которую его так усиленно тянул отец Иероним.

— Это — часть солдат расформированного польского легиона австрийской армии и члены местной польской военной организации. Ну, потом — молодежь из хороших семей... На другой день после занятия города у нас будет

втрое больше... Пан Дашинский обещает прислать в случае нужды отряд организованной им народной милиции.

— Гэ... умм... да! — угрожающе откашлялся Баранкевич.— Ненавижу всех этих социалистов и прочих мазуриков!.. «Народная милиция»! Скажите, пожалуйста! Что до меня, то мне приятнее слово «жандарм».

— Благодарю за комплимент,— отозвался из своего угла капитан Врона, исказив лицо гримасой, заменявшей ему улыбку.

Когда Врона улыбался, казалось, что мертвец скалит зубы,— до того неподвижны были его лицо и мутные глаза. После переворота Врона должен был стать шефом жандармов.

— Кто же будет городским головой? — спросил епископ.

Эдвард снисходительно улыбнулся.

— Власть будет у нас, у штаба округа. А в магистрате будут сидеть марионетки, вроде адвоката Сладкевича... Недели через три мы соберем полторы-две тысячи солдат. Это будет уже маленькая армия...

Епископ мягко перебил его:

— Вы думаете, что этого достаточно?

Капитан Врона тихо шепнул Варнери:

— Эта сушеная глиста не так уж глупа...

Старик Зайончковский резко поднялся со стула.

— Мне кажется, его преосвященство не понимает всей серьезности момента. Если вы, живущие в городе, где всегда стоит какой-нибудь гарнизон, чувствуете себя в сравнительной безопасности, то нам в наших имениях приходится буквально не спать ночами! Ведь кругом мужики. На десяток украинцев — один поляк... Эти хлопы спят и видят, как бы им соединиться с партизанами...

— Вернее, отнять у нас землю,— добавил Замойский,— национальный вопрос здесь только в придачу.

— Земля — крестьянам, заводы — рабочим, панов — к стенке, а ксендзов — на виселицу... Кажется, так у них? — спокойно произнес Врона.

— Не будем отвлекаться, панове! — остановил его Эдвард.— Итак, послезавтра мы занимаем городскую комендатуру, управу и вокзал. Объявляем военное положение и набор добровольцев. А потом посмотрим, как обернутся дела.

Епископ ядовито улыбнулся.

— Пусть пан граф меня извинит, что я его перебиваю. Но я хочу кое-что уточнить,— тихо проговорил он и, оставив четки в покое, вонзился своими крысиными глазами в Эдварда.— Только что пан Зайончковский сказал, что я не учитываю всей серьезности положения...— Во вкрадчивом тоне, каким были сказаны эти слова, было немало яда.— Но я думаю, что этим грешу не я. Я тридцать пять лет служу богу в этом крае, и мне пора знать истинное положение вещей. Я не воин, а только смиренный проповедник божьего слова. И мне с отцом Иеронимом даже не место на этом совещании. Но служители церкви приходили иногда на военные советы, чтобы предупредить горячих воевод об опасности, которая перед ними встанет в их походах... Вы все ревностные католики. Я, как ваш пастырь, обязан сказать, что я думаю обо всем этом.— Епископ сделал многозначительную паузу.— Не забывайте, панове, что мы с вами живем на самой русско-австрийской границе. Сейчас эта граница стерта. Те украинцы, которые находились в России, уже знают, что такое революция. Вы, надеюсь, не забыли, как они жгли своих помещиков? Немецкая оккупация на время придавила их. Другие украинцы, которые живут тут же рядом, в Галиции, не сделали этого лишь потому, что божьей милостью властвовал австрийский император и у него была армия, поддерживающая порядок... Теперь же нет ни императора, ни армии. Вы собираетесь взять в свои руки власть в крае, где девять десятых населения — украинцы. Пан Эдвард читал мне письма графа Потоцкого и князя Радзивилла. Их поместья и заводы разбросаны по всей Волыни и Подолии. Они тоже создают свои отряды и собираются захватить власть. Они ожидают нашей помощи... Что это значит, панове? Это значит, что польское государство, еще не родившись, уже думает о войне с Украиной и Белоруссией. Ведь вам там придется воевать со всем населением, которое будет бороться против вас, как против иноземных оккупантов и как против помещиков... Теперь судите, может ли молодое государство пойти на эту, простите за резкое слово, авантюру, не рискуя погибнуть? Если мы в самой Польше имеем национальное большинство, которое можно поднять на защиту своей отчизны от москалей и хлопов, то как вы поднимете украинцев и белорусов против украинцев и белорусов, за польских помещиков? Видит бог, моя мечта — это победа католической церкви во всем мире! Но, панове, мы

ве дети. И мы должны знать, что немцам для оккупации Украины понадобилось триста двадцать тысяч солдат! А вы только через месяц надеетесь иметь две тысячи... Я думаю, панове, что надо пожертвовать интересами Потоцких, Радзивиллов, Сангушко и других пяти-шести магнатов и укреплять Польское королевство там, где у нас есть опора...

Князь Замойский, имя которого епископ дипломатично не назвал в числе магнатов, зло прикусил губу.

— Гэ... умм... да!..— прохрипел Баранкевич, стукнув себя кулаком по колену (он едва сдерживал свою ярость). Баранкевич обычно пугал собеседников своим оглушительным прокашливанием, которое он неизменно заканчивал восклицанием «да».— Прошу прощения, ваше преосвященство! Значит, вы мне советуете бросить свой завод и бежать в Варшаву? И то же самое сделать всем нам, здесь сидящим? Оставить наши имения, все имущество, приехать нищими в Варшаву и «укреплять» там Польское королевство? Спасибо! Но мы думаем иначе! Мы будем бороться до последнего вздоха... Но чтобы мы добровольно отдали все свое состояние взбесившейся серой скотине! За кого же вы нас тогда считаете?

Епископ презрительно сжал губы.

— Пан Баранкевич смотрит на происходящее с высоты своей заводской трубы, с которой видно только на пять километров вокруг, и интересы Польши, как нации, ему чужды.

— Но разве не идеал каждого шляхтича — великая Польша от моря до моря? — крикнул Заремба, вскакивая на ноги.

Епископ даже не обернулся в его сторону.

— Плохой пример, господин поручик! Великая Польша тысяча семьсот семьдесят второго года, когда она владела частью Украины, Литвой и Белоруссией (кстати, границы Польши даже тогда были далеки от Черного моря), и погибла оттого, что каждый уезд думал только о себе, каждый воевода захватывал как можно больше земель, чтобы прирезать их к своим владениям, потому что ни один магнат не думал о государстве как о таковом, а только о собственных интересах... Нечто подобное вы собираетесь повторить,— холодно ответил Зарембе епископ.

— Странно, но его преосвященство не возражал, когда немцы оккупировали Украину,— сердито буркнул князь Замойский.

— Это была реальная сила... Сейчас рушатся империи, падают короны... Россия в огне. И нам, если мы не хотим погубить себя, надо быть осторожными! Я за то, чтобы укрепляться там, где есть опора! Я — за осторожность! Видит бог, что если бы у вас была сила, то я благословил бы вас на истребление проклятых большевиков не только в Польше... Я ухожу, но пусть панство помнит, что у нас тут, у себя дома, есть немало людей, которые уже роют нам могилу. Помните, что даже в Польше, кроме правительства Дашинского, есть кое-где уже и советы!

Епископ поднялся и, сделав общий поклон, вышел. Не проронивший за все время ни одного слова отец Иероним тоже встал и вышел вслед за ним. Они спустились по черной лестнице, стараясь быть незамеченными. Молча прошли в парк, где стояла закрытая коляска епископа, молча сели в экипаж. Только когда подъезжали уже к городу, епископ повернулся к отцу Иерониму и тихо сказал:

— Вы, конечно, вернетесь туда, отец Иероним? Ну, так вы завтра заезжайте ко мне и расскажите обо всем. Старайтесь подействовать на графа, чтобы он не увлекался предложением Замойского и Потоцкого. Все созданные им отряды должны оставаться здесь, а не двигаться в глубь Украины. Потом я слыхал, что вчера у вас были местные ксендзы... Я думаю, в другой раз вы соберетесь при мне. Я пробуду в городе дней десять. Вы, конечно, знаете, что я перевожусь в краковское епископство? Но, пока я здесь, прошу без меня ничего не делать... Помните, отец Иероним, если вся эта затея провалится, вам не быть викарным епископом. Поэтому не надо пренебрегать моей помощью и советом... Не забывайте, что осторожность — сестра мудрости!

Отец Иероним кусал губы. Он чувствовал себя в положении школьника, которого дерут за уши, поймав на месте преступления. «Откуда эта старая лиса все знает? Да, с этим дьяволом в сутане надо быть осторожнее!»

Экипаж остановился около дома местного ксендза. Отец Иероним открыл дверцу, помог епископу выйти.

— Да благословит вас бог! — сказал тот прощаясь. — Кучер отвезет вас обратно.

А в столовой лилось вино, звенели бокалы.

Тут много пили и ели. Говорили все сразу, не слушая друг друга. Горячились, спорили, доказывали.

Лакеи сбивались с ног.

Юзеф скрепя сердце смотрел, как съедаются пятнадцать тысяч марок, выданные графом Эдвардом.

Пожилые дамы расположились на диванах в гостиных и неутомимо перемывали косточки своим ближним.

В спортивной комнате вокруг Владислава собралась мужская молодежь. Поручик Заремба, после речи, полной патриотических призывов, приступил к записи добровольцев. Все кандидаты были заранее намечены. Каждый из завербованных получал назначение и инструкцию. Ящики с оружием были уже привезены, и завтра вечером все оружие должно было быть роздано. Кое-кто трусил, но вида не показывал. Владислав хвастался вынутым из шкафа мундиром с офицерскими нашивками, переделанным для него из мундира брата. После записи спели для поднятия духа «Еще Польска не сгинела» и гурьбой повалили в зал.

Немцы играли в карты в кабинете старого графа. Их усердно угощали вином. Стефания часто появлялась там, чтобы проверить, достаточно ли на столе вина и по-прежнему ли увлечены офицеры игрой. Заметив, что вина осталось немного, она сказала Владиславу:

— Вели подать в кабинет бургундского.

Владислав уже много выпил и был сильно возбужден. Первая служанка, попавшаяся ему на глаза, была Хеля.

— Беги скорей в погреб и принеси корзину бургундского! Быстро!

— Я не понимаю в винах, ясновельможный пане. Я попрошу отца, он принесет.

Несколько секунд Владислав скользил взглядом по фигуре девушки.

— Надо сейчас же! Пойдем, я сам выберу.

Спустившись в погреб, Владислав осторожно закрыл дверь погреба. Хеля, шедшая впереди со свечой, ничего не заметила.

Наполнив корзину бутылками, она наклонилась, чтобы поднять ее. Но Владислав резким толчком повалил девушку на пол.

Празднество наверху продолжалось...

Владек осторожно приоткрыл дверь погреба — никого. Он вытащил корзину с бутылками на лестницу, прихлопнул дверь и, трусливо озираясь, стал запирать ее на ключ. Наверху ему почудились чьи-то шаги. Через боковую дверь

он проскользнул во двор, оставив ключ в замке. Как нашкодившая собака, он пробрался в буфетную и залпом выпил стакан портвейна.

В углу буфетной сидели двое гостей, чувствовавших себя на этом вечере не совсем в своей тарелке. Это были: владелец швейных мастерских Шпильман, маленький, вертлявый человечек, и директор коммерческого банка Абрамахер, флегматичный толстяк с солидной лысиной. Они не заметили Владислава и продолжали свой разговор.

— Вы понимаете, господин Абрамахер, как это все меня задевает? Когда мой Исаак захотел записаться, то ему сказали, что «жидов» не принимают! Это, видите ли, польская армия!

— Ну и что же?

— Исаак возмутился. Я поймал Баранкевича и говорю ему: «Послушайте, я дал на это дело десять тысяч марок, я дам еще триста комплектов военного обмундирования! Но разве Исаака нельзя пристроить каптенармусом или на какую-нибудь офицерскую должность по хозяйственной части? Он, слава богу, окончил коммерческое училище и не глупее этих панков, у которых нет ни гроша в кармане. Разве, говорю, прилично так относиться к союзникам только потому, что они евреи?»

— Ну и что же?

— Ну, Баранкевич все устроил. Исаака зачислили по хозяйственной части. Только офицера они ему все-таки не дали. Пока он — сержант. Но это ничего! Исаак — умный мальчик, и если все пойдет хорошо, то он-таки да будет офицером! Пусть это будет стоить мне еще десять тысяч!

Абрамахер заметил Владислава и толкнул Шпильмана в бок. Они перешли на шепот.

— Так вы думаете, господин Шпильман, что они захватят власть?

— А как вы думаете, для чего все это делается?

— Ну, и как вы на это смотрите?

— А как мне смотреть, господин Абрамахер? Я думаю, и вы согласитесь, что лучше паны, чем советская власть. Ведь если голытьба побьет панов, то ни вам, ни мне она ничего не оставит. И, кто знает, может быть, и головы... Я узнал, что среди моих рабочих уже такие разговорчики были вчера: пусть только придет советская власть, мы этому кровососу Шпильману все припомним... Тьфу,

паскудство! Я этих нищих кормлю, и в благодарность — «кровосос»! Есть, скажите, справедливость на свете?!

— Вы знаете, кто это говорил? — спросил Абрамахер.

— Ну, как же! У меня есть свои люди. Говорила Сарка, девчонка сапожника Михельсона. Он, кажется, живет в вашем доме? Я, конечно, эту дрянь завтра же выгоню! Но разве она только одна? И нужно было австрийцам заварить эту кашу! Кажется, порядочный народ, и на́ тебе — революция!

Абрамахер нетерпеливо перебил его:

— Так вы завтра заберете у меня иностранную валюту с вашего счета? Я думаю, все это надо спрятать подальше. Пока, к сожалению, ее нельзя никуда ни перевести, ни вывезти... Так вы поторопитесь, а то, кто знает, что из этого выйдет! Имейте в виду, что этот Могельницкий может наложить лапу и на наш банк. Почему бы и нет?

— Вы золотой человек, господин Абрамахер! Вы видите в землю на́ четыре аршина. Верьте мне, если бы нашелся такой идиот, что купил бы у меня мои мастерские и дома, то я бы, не моргнув глазом, сегодня же продал! И за полцены, ей-богу! До того паскудное положение!..

•

Возвращаясь в палаццо все тем же черным ходом, отец Иероним услыхал за дверью погреба заглушенные крики. Он остановился.

— Откройте! Ради бога! Я боюсь!

Это кричала женщина. Ключ торчал в замке. Отец Иероним повернул его. В темноте обезумевшей Хеле почудилось, что она увидела дьявола.

— Езус Христос! Свента Мария! Пощадите! — истерически вскрикнула она.

— Что с тобой, дитя мое? Не бойся! Разве ты не узнаешь отца Иеронима?

Бессвязные слова Хели сказали ему все. Он взял девушку за руку.

— Идем со мной.

На его стук дверь верхнего этажа открыла Стефания, как раз бывшая здесь.

— Что такое, отец Иероним? — испуганно спросила она, увидев искаженнее лицо Хели.

— Простите, графиня, я должен поговорить с этим ребенком наедине. Разрешите пройти в ваш будуар?

— Пожалуйста, но что случилось?

Отец Иероним сделал ей предостерегающий жест рукой, ввел Хелю в комнату, усадил на диван и возвратился к Стефании, закрыв за собой дверь.

— Случилась очень скверная история. Нужно сделать так, чтобы она не стала известной. Пройдите в свою спальню и послушайте. Вы мне понадобитесь еще,— быстро шептал отец Иероним.

— Да, дитя мое, то, что ты рассказываешь, ужасно, если ты говоришь правду. Теперь послушай меня, дочь моя. Ты хочешь рассказать об этом родителям? Не надо этого делать! Ты сама себя погубишь. Господа выгонят твоих родителей на улицу, а тебя посадят в тюрьму за клевету. Ведь ты сама сказала, что вас с графом никто не видел. Послушай меня, своего духовного отца. Сам бог велит прощать обиды врагам своим! И тебе многое зачтется за твой христианский поступок, если ты забудешь обо всем... Если ты дашь слово молчать, я скажу о твоей обиде графине Стефании. Она добрая католичка и не пожалеет золота, чтобы хоть немного искупить перед богом вину твоего обидчика. Клянись же, дитя мое, именем пресвятой Марии, что ты никому об этом не скажешь. Поверь, что я хочу тебе только добра. Я вымолю для тебя благословение. Бесчестный же человек не уйдет от божеского возмездия!

Глаза отца Иеронима гипнотизировали Хелю, и она чуть слышно прошептала:

— Я не скажу.

Отец Иероним ласково положил свою тяжелую руку на ее голову, шепча слова молитвы.

В соседней комнате Стефания, сгорая от стыда, что ей, по милости отца Иеронима, приходится играть во всей этой истории двусмысленную роль, выбирала из своей шкатулки мелкие золотые вещи...

Весь вечер Людвига была в приподнятом, восторженном настроении. Общее внимание, восхищение, сознание своей красоты, счастье от близости Эдварда, волнующее чувство, что она — первая в этом шумном обществе, кружили ей голову. Молодые люди лучших семейств считали за честь пригласить ее на мазурку или краковяк. И она танцевала до головокружения бурные национальные тан-

пы, приводя в восторг и седоусых стариков и молодых панов.

— Она изумительна! — заметил Варнери, не отрывая восхищенного взгляда от танцующей Людвиги.

Он спускался с капитаном Вроной в зал, оставив Эдварда с князем Замойским. С последних ступенек лестницы был виден весь зал.

— Женщины — не моя стихия, мосье Варнери! Щепоть кокаина волнует меня больше, чем все эти патентованные красавицы,— безбожно коверкая французские слова, ответил Врона.

Варнери брезгливо поморщился.

— О вкусах не спорят... Как вы думаете, удобно будет, если я приглашу ее на тур вальса? Не скрою, я почти влюблен!

— Я думаю, пригласить можно, если вам уж так не терпится. Но только помните, для посторонних вы — гувернер младшего сына Замойского... Желаю успеха! Хотя это и безнадежно,— вяло произнес Врона.

Приземистый вахмистр настойчиво добивался от Юзефа вызова лейтенанта Шмультке. Старик, видя, что вахмистр войдет и без разрешения, пошел доложить.

Через несколько минут появился Шмультке об руку со Стефанией. Обер-лейтенант был навеселе. Увидев вахмистра, он сердито шевельнул усами а-ля Вильгельм.

— В чем дело, Зуппе? Я ведь сказал, чтобы меня по пустякам не беспокоили.

Шмультке не отпускал руки Стефании, и она не торопилась уходить. Вахмистр не решался говорить при ней, но усы лейтенанта так ужасающе шевелились, что он поспешил отрапортовать:

— Смею доложить, господин обер-лейтенант, мною задержан на фольварке уже однажды арестованный вами Мечислав Пшигодский, называющий себя военнопленным и сбежавший вместе с другими арестантами при налете дезертиров на вокзал...

— Арестован — и прекрасно! Мог об этом доложить и завтра.

Вахмистр нерешительно переступил с ноги на ногу.

— Но этот человек смущал солдат... Кроме того, на фольварк пришел пьяный денщик господина майора

и принес взятую откуда-то корзину с вином. Он стал рассказывать солдатам, будто он знает, что в Германии произошла...— вахмистр запнулся и так и не произнес страшного слова.

Шмультке отпустил руку Стефании.

— Что такое?

— Тогда этот военнопленный стал подбивать солдат арестовать господ офицеров.

— Довольно! А где ты был? Простите, графиня, я должен уйти.

Встревоженная Стефания поспешила наверх к Эдварду. Бегло рассказала Юзефу, сидевшему у двери, об аресте его сына. Старик быстро спустился вниз.

Выслушав Стефанию, Эдвард спросил вошедшего Врону:

— Второй сын старого Юзефа завербован вами?

— Нет. Это странный субъект. Утром на мое предложение он ответил, что навоевался и с него довольно.

Не покидавший кабинета сына Казимир Могельницкий очнулся от полудремоты.

— Надо, чтобы Шмультке не упустил этого негодяя из своих рук... Кха-кха-кха... Вообще подозрительно, откуда он взялся.— Он опять закашлялся.— Ведь этот тип способен на любое преступление... Я только сегодня узнал, что он здесь. Он, оказывается, избил Франциску... Прошу тебя, Эдвард, прими меры!

— Успокойся, отец, немцы и без нас упрячут его, куда следует. Нам в конце концов вся эта история наруку... Денщик, видимо, почитывал у майора секретные бумажки, и хорошо, что солдаты знают о революции. Ничего, Стефа, все это пустяки! Пойдемте, князь, на хоры, посмотрим, как веселится молодежь,— оттуда все прекрасно видно.

Весь этот вечер Франциска работала в кухне. Ее не пустили прислуживать гостям из-за двух огромных синяков на лице. Когда Юзеф сказал ей об аресте мужа, она в первую минуту растерялась, а затем сердито загремела тарелками.

— Ну и пусть! Какое мне дело? Не муж он мне! Провались такая жизнь! Пусть его хоть повесят, мне не жалко.

Слезы мешали ей говорить. Ей было жалко себя, своей исковерканной молодости. Вспомнились все оскорбления, обиды, какие она терпела в этом доме. И самой большой все же была обида на Мечислава, побившего ее в день приезда. И какими только подлыми словами не называл он ее. Слезы потекли еще обильнее. Было жалко себя, жалко его. Что он там натворил? Чем это кончится? И оттого, что Мечиславу грозила беда, ей было тревожно. Она не хотела признаться, что ей страшно за его судьбу, что он ей все еще дорог.

Стефания с сожалением посмотрела на Франциску. Горничная, сдерживая слезы, смущенно теребила кончик фартука.

— Я вряд ли могу что-нибудь сделать. Старый граф очень не любит твоего мужа. И вообще сейчас такое время...

— Вы все можете, ясновельможная пани. Прошу вас! Вам стоит только поговорить с господином офицером, и он отпустит.— умоляюще шептала Франциска.

Стефания сделала отрицательный жест.

— Нет, я не могу сейчас говорить лейтенанту об этом! И притом ты меня удивляешь — человек тебя избивает, а ты...

— Ну что же! Бьет — значит, любит...

— Вот как! — Стефания догадывалась, какую роль играл старый граф в этом деле, и не сочла возможным продолжать разговор. Обнадежив горничную неопределенным обещанием, она из коридора, куда ее вызвала Франциска, вернулась в зал.

...Хеля в припадке озноба куталась в одеяло.

Встревоженная мать сидела рядом.

— Может, послать за доктором, дитятко?

— Ничего, мамуся, пройдет, Я немного остыла. Оставь меня одну...

— Ну, теперь ты от меня не уйдешь, каналья, как в первый раз! Так ты говоришь — арестовать офицеров? Пока что мы в состоянии сократить срок твоей собачьей

жизни. Ну, отвечать на вопросы, иначе...— Шмультке стукнул дулом парабеллума о стол.— Имя, фамилия?

— Пшигодский Мечислав.

В большом зале танцевали мазурку. Лихо пристукивали каблуками паны, плавно скользили женщины.

— Я очарован вами, графиня!

Людвига улыбалась. Она смотрела через плечо Варнери на хоры, где стоял надменный и сдержанный Эдвард. А лейтенант думал, что она улыбается ему...

— Нех жие великая Польша от моря до моря! Нех жие великое дворянство польское! Смерть нашим врагам! — кричал Владислав, совершенно потерявший от вина голову.

— Виват! — отвечал ему зал, заглушая на миг оркестр.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Татэ, смотри, солнышко в гости пришло! — Мойше ловит ручонками золотые блики на грязном полу.— Татэ! Я тебе принесу немножко солнышка... Оно удирает, не хочет...

Мойше жмурит глазенки. Одинокий луч заглянул ему в лицо. Он знает, солнце сейчас уйдет спать, тогда будет совсем темно. Сейчас дедушка и татэ быстро-быстро застучат молотками. Они всегда так делают, когда солнышко засыпает, потому что у них нет керосина. А им нужно делать сапоги. Завтра придет сердитый дядя с большим ножом на поясе и будет кричать на дедушку. Мойше не знает, о чем дядя говорит с дедушкой, а дедушка знает и тоже говорит ему что-то непонятное. Дедушка все знает. О чем бы Мойше его ни спросил, всегда ответит... Вот бабушка уже зажигает щепки под треногой. Скоро будем кушать. Мойше вспоминает, что он уже давно голоден. Давно уже он не ел ничего вкусного. Все фасоль без масла. Когда бабушке надоест варить ее? Может быть, тетя Сарра принесет ему яблоко или конфетку? Мойше любит конфетки и тетю Сарру. Тетя Сарра ласковая, хорошая. Она всегда играет с Мойше, когда не шьет. Он видел этот дом, где много тетей что-то шьют... Глаза у тети Сарры большие-большие! Черные, как вакса. И в них Мойше видит самого себя... У Мойше тоже есть свой уголок — под столом. Здесь все его богатство — скамейка, лоскутки кожи,

маленький молоточек, подарок татэ, деревянные гвоздики. Мойше тоже шьет сапоги, только игрушечные.

Под столом у Мойше хорошо. Здесь он никому не мешает, и мамэ не кричит на него, что он путается под ногами. Татэ и дедушка работают в другом углу, под окошком в потолке. Оттуда солнышко приходит в гости очень редко, но приходит на немножко. Мойше не успеет поиграть с ним, как его уже нет.

Еще в углу печь,— там мамэ и бабушка. Еще в углу кровать. Бабушка спит на печке. Тетя Сарра спит на сундуке. Дедушка — на ящике с кожей. Татэ и мамэ — на кровати, а Мойше со всеми по очереди. В доме четыре угла, а ему четыре года. Татэ вчера говорил дедушке... Мойше не успел вспомнить, что сказал татэ. Дверь скрипнула. А-а-а! Тетя Сарра! Мойше даже подпрыгнул от радости.

Он уже обхватил руками колени тети Сарры. Сейчас он узнает, принесла ли она ему гостинцев... Мойше знает, где лучше всего сидеть вечером,— на коленях тети Сарры! У нее длинные, тяжелые косы. Кончики их пушистые, и так приятно щекотать ими носик.

Быстро стучат молотки... Вечер скоро закроет окошко черной шапкой. Только огонек под треногой будет освещать комнату...

Мамэ режет хлеб. Татэ и дедушка моют руки.

— Что ты молчишь, Саррочка? — спросил татэ.

— Меня Шпильман выгнал из мастерской.

— За что? — крикнули все почти одновременно. Только Мойше молчит.

— За то, что я назвала его кровососом.

Мойше не знает, что такое «кровосос», но это, должно быть, страшное.

— Что же, ты думала, что он тебе за это жалованье повысит? — Голос у мамэ злой. Она не любит тетю Сарру.

— По-твоему, Фира, я должна была молчать? Он каждый месяц уменьшал нам заработок, заставлял работать по четырнадцать часов в день. Сам богател, а у нас гроши отбирал. Гадина противная.

— Как же теперь быть? Мы думали твоим жалованьем в будущем месяце за квартиру уплатить Абрамахеру,— испуганно сказал дедушка.

— Какое ей до этого дело? Она живет своей головой, у нее свой гонор... Чуть-чуть не вельможная пани! Она позволяет себе грубить хозяину, а завтра ей есть нечего

будет. Или ты надеешься, что тебя брат с отцом прокормят? — кричит мамэ.

Мойше с испугом смотрит на нее. Она худа, нос у нее острый. Мамэ всегда болеет и всегда сердится.

— Не надо ссориться, Фира. Если в доме несчастье, то от ссоры оно не уменьшится.

Это говорит дедушка. Он любит тетю Сарру и Мойше. Дедушка старенький. Борода у него длинная, белая. Брови сердитые, а глаза добрые. Дедушка всегда сидит согнувшись, оттого спина у него кривая.

Кто-то стучит в дверь. Вот она открывается, и Мойше видит важного дядю Абрамахера. Все тоже смотрят на него и молчат.

Наконец дедушка заговорил:

— Добрый вечер, господин Абрамахер! Садитесь, пожалуйста! Фира, зажги свечи.

Мойше хочется спросить дедушку: разве сегодня суббота? Но он боится важного дяди.

— Я зашел спросить вас, Михельсон: думаете ли вы уплатить за квартиру, или я должен принять другие меры? — сказал важный дядя.

— Вы уж подождите немножко, господин Абрамахер. Уплатим обязательно! Только денег сейчас нет. Ни марки! Сами знаете, тяжело сейчас жить бедному человеку. Что заработаешь, то проешь. Вот думали, Сарра получит жалованье, но ее господин Шпильман уволил...— тихо отвечает дедушка.

Дядя посмотрел на тетю Сарру. Он похож на жирного кота, что сидит на заборе и высматривает воробьев. Хитрый кот! Кажется, что он спит, а он все видит. И только воробей сядет на забор, он его — цап лапой!.. И усы у дяди, как у кота.

— Меня все это мало интересует. Я спрашиваю: когда вы уплатите за квартиру?

Он надевает шапку. Скорей бы он ушел!

— Если завтра вы не уплатите за все четыре месяца, шестьдесят марок, то послезавтра вы уже будете квартировать на улице.

— Как на улице? Ведь там уже зима! Побойтесь бога, господин Абрамахер. Есть же у вас сердце! Ведь вы тоже еврей! — заплакала бабушка.

— Я прежде всего — хозяин дома. Для бога и нищих евреев я жертвую ежемесячно немножко больше, чем вы

мне должны. Но если вы думаете, что еврей еврею не должен платить за квартиру, то вы очень ошибаетесь,— говорит дядя.

— Какая там квартира? Это же гроб! — закричал татэ так, что Мойше вздрогнул.

— Ха! Гроб? А вы за пятнадцать марок во дворце жить хотите?.. Ну, я сказал. Завтра чтобы деньги были! Кроме того, вообще подыщите себе другое помещение. Я не намерен держать в своем доме неблагодарных грубиянов.— И дядя повернулся к двери.

Мамэ бросилась за ним.

— Подождите, господин Абрамахер! Не сердитесь на мужа за его слова. Мы люди необразованные, может, и не умеем сказать, как надо. Вы уж простите, господин Абрамахер! Конечно, мы уплатим!.. А, может, часть денег мы отработаем вам чем-нибудь? Вы, например, нанимаете же прачку? Так я могу вам стирать белье... Может, что-нибудь надо сшить госпоже Абрамахер и дочкам? То Сарра может это сделать,— жалобно упрашивала важного дядю мамэ.

Дядя еще раз посмотрел на тетю Сарру и ответил:

— Так и быть, я подожду несколько дней... Пусть она,— он указал пальцем на тетю Сарру,— завтра придет ко мне в контору. Может быть, для нее найдется работа... Но деньги вы все-таки готовьте...— И важный дядя ушел.

Мойше очень хочется высунуть ему вслед язык, но если мамэ увидит, она опять отдерет его за уши, как утром, когда он привязал к хвосту кошки коробку с гвоздиками.

Только глубокой ночью возвращался Сигизмунд Раевский в маленькую комнатку. Ядвига тревожно наблюдала за ним. Ночью, обнимая его, шептала:

— Я тебя так мало вижу... Опять, Зигмунд, все, как тогда! Нет покоя у меня на сердце — боюсь я за тебя! Так уж, видно, мне на роду написано... Когда вернулся, счастью своему не верила. Ведь столько лет — пойми, Зигмунд, столько лет! — одна без тебя...

Сигизмунд молча положил свою большую руку на ее плечо. Это прикосновение было для нее дороже ласковых слов. Не умел он говорить этих слов и раньше. Но ей ли не знать, как горячо, как нежно может любить он. В ее памяти ожила их первая встреча на нелегальном собрании в Варшаве. У него уже тогда была партийная

кличка — товарищ Хмурый. Она уходила с этого собрания членом социал-демократической рабочей партии Польши. До самого дома проводил нового товарища высокий слесарь водопровода, член комитета, товарищ Хмурый. С той ночи началась их дружба, а затем любовь...

— Мне страшно подумать, Зигмунд, что вас могут отнять у меня. Я говорю — вас, потому что мальчик стал твоей тенью. Он не сводит с тебя глаз... Я знаю, что иначе и быть не может. Но пойми, каково моему сердцу? Где бы я ни была, что бы я ни делала — всегда мысль о вас! Я так настрадалась, столько пережила, что я не перенесу этой потери...

Словно останавливая ее, Сигизмунд сжал пальцами ее плечо.

— Так нельзя, Ядзя! Я понимаю все. Я тоже знаю, что такое боль. У матери это, конечно, сильнее. Потерять — ужасно. Но как же быть? Ведь ты была в партии. Тебе ль не знать, что если уж начался бой, то цель одна — разгромить врага, чего бы это ни стоило, может быть, самого дорогого! — Он почувствовал на своей груди ее голову и влажную от слез щеку. Она слушала его, растерянная и обезоруженная.

— Я не хочу сейчас осуждать тебя за отрыв от партии. Бывает, слабые не выдерживают тяжести борьбы. Не все в эти годы удержали в руках партийное знамя. Иные отошли — все свои заботы и мысли отдали семье. Для них гибель семьи — собственная гибель. Но разве можно всю жизнь вместить в эту комнату? Подумай, Ядзя! Ты вернешься к нам, моя дорогая, и в этом опять найдешь счастье... Что бы ни случилось с нами, у тебя всегда останется цель жизни, самая прекрасная, самая благородная, какую только знает человечество.

Губы Ядвиги нежно дотронулись до его груди там, где стучит сердце. Охваченный большой человеческой нежностью, он притянул ее к себе...

А в другом конце комнаты, разметав руки, глубоко дыша, крепко спал сын. Ему снился сон. Они с отцом стоят на высоком кургане. Кругом необъятная степь. Ночь. А там, где восток, яркое зарево. И кажется, что степь пламенеет. Ветер доносит грозный рокот надвигающейся бури. Далеко, насколько хватает взор, волна за волной движутся людские множества. Залитые ярким светом, ярче пламени горят знамена. Сверкает сталь. Дрожит земля под

конскими копытами. И над всем этим вьется и реет могучая песня. «Это, сынок, наши идут. Идем навстречу»,— говорит отец и берет его за руку...

Раевские проснулись ранним утром. Было воскресенье. Сегодня в доме машиниста водокачки, в полукилометре от станции, в глубоком яру, у реки, должны были встретиться революционные рабочие. Все эти дни и вечера Раевский отыскивал их одного за другим по тем братским связям, что сохраняют люди, когда-либо боровшиеся вместе против своих угнетателей. Разыскал он и старых подпольщиков, отошедших временно от борьбы. И где бы он ни ступил, он чувствовал за своей спиной сына, оберегавшего его. И теперь, когда в просторной комнате машиниста собрались рабочие, Раймонд сидел в пустой будке стрелочника на холме, у поворота в депо. Отсюда ему видно все кругом. Внизу, у реки, водокачка. В правое окошко видны железнодорожная насыпь и уходящие на север стальные рельсы. В левое видны подъездные пути в депо, за ним — вокзал.

Машинист Ковалло все время возился здесь, для вида починяя мостик. Когда внизу по тропинке, идущей вдоль реки, прошел четвертый человек, он взял топор под мышку и направился к будке.

— Теперь гляди в оба, паренек,— сказал он Раймонду сухо.— Приходить сюда некому. Если же кого по случайности занесет, то пропусти. А когда он начнет спускаться вниз, крутни шапкой. Я дочку пошлю со двора поглядеть. Она мне скажет.

И он пошел вниз.

— Олеся, пойди посмотри там по хозяйству. Да не забудь, о чем я тебе говорил,— сказал Ковалло, входя в комнату и обращаясь к дочери.— Кажись, все теперь? Так что можно поговорить.— И Ковалло обвел присутствующих вопросительным взглядом. Он был похож на ежа со своей седой щетинистой бородкой и коротко остриженными волосами. Серые умные глаза его остановились на Раевском.— Так что слово за тобой, Зигмунд. Начинай, а мы послушаем,— сказал он, присаживаясь к столу.

И, обращаясь к остальным, спросил:

— Поди, познакомились? Мы-то с ним старые приятели. Как вы знаете, его прислали сюда шевельнуть стоячую

воду. А то здесь здорово от народа отстали... В городе начинается заваруха, надо это обмозговать.

Григорий Ковалло говорил по-украински.

— Товарищи! — начал Раевский.— Местный революционный комитет поручил мне обсудить с вами кое-что.

— А кто в нем состоит, в этом комитете? — простодушно спросил худенький Воробейко, скромно усевшийся в углу комнаты. Он был самым молодым из присутствующих. Раевский посмотрел на него и улыбнулся.

— Можете быть спокойны, люди надежные...

Воробейко смутился.

— Мы уже имеем партийную организацию,— продолжал Раевский.— Правда, нас немного — всего тридцать семь человек. Но это проверенные люди. В городе, по-видимому, происходит переворот. Немцы уходят, а паны прибирают власть к рукам. Сегодня у нас нечем ударить по этим рукам. Значит, надо действовать, надо поднять железнодорожников, сахарников! А то это воронье укрепится, и тогда не так легко его будет сковырнуть.

Сидевший напротив Раевского Данило Чобот, неладно скроенный, но крепко сшитый человек, черный, как антрацит, которым он кормил топку своего паровоза, грузно шевельнулся, и старый табурет под ним жалобно скрипнул.

— Все понятно... А вот чем мы панков щупать будем? Народ мы поднимем, это факт! А оружия нет! Кулаком много не навоюешь,— приглушая свой мощный бас, прогудел он.

Все невольно взглянули на его огромные кулаки.

— Если дело за оружием, так далеко ходить не надо — на седьмом пути в тупике стоит запломбированный вагон. Там ящики с винтовками. Сам видел, как грузили,— оживился Воробейко.— Ну, а патронов в артиллерийском складе, что около станции, хоть завались! Если на то пошло, то мы хоть сегодня ночью вагон этот загоним сюда, к водокачке, здесь в момент разгрузим и сложим в запасной камере. Водокачка на отшибе, этого никто и не заметит... Только зевать не приходится.

Раймонд следил за подходившим к будке парнем. Тот шел прямо по насыпи. Ветер доносил обрывки песни:

Ты навик моя, кохана,
Смерть одна разлучит нас!

Было холодно, но ватная куртка на парне широко распахнута. Он, видимо, был в прекрасном настроении. Рыжая шапчонка сдвинута на самую макушку. Волнистый чуб цвета спелой ржи отдан ветру на забаву. Парень шел, заложив руки в карманы, и с увлечением пел.

Раймонд узнал его. Это был Андрий Птаха, кочегар из котельной сахарного завода.

Теперь Раймонда тревожило лишь одно — куда шел Птаха. Если в село, то он пойдет через переезд направо. Вот он на переезде... Нет, повернул сюда! Ясно, идет к водокачке! Больше некуда. Раймонд оставил свой пост.

— Эй, Андрюша!

Птаха обернулся, удивленно посмотрел на неизвестно откуда взявшегося Раймонда и пошел ему навстречу.

— Ты куда, Андрий?

— Я к Григорию Михайловичу. Вон внизу его домишко.

— А что ты там делать будешь?

— Делать? Хм... Да все одно и то же. Птичка у него есть занятная... Так вот, я всегда по воскресеньям хожу ее слушать. Хорошо поет, шельма! — лукаво улыбаясь, ответил Птаха и крепко сжал Раймонду руку.— А ты чего здесь?

— Я? Так... Случайно забрел. Никогда не был в этих местах... захотел поглядеть,— замялся Раймонд.

Птаха перестал улыбаться. Серые отважные глаза его недоверчиво смерили Раймонда. Он рывком нахлобучил шапку до самых бровей.

— Захотел поглядеть? Видал я таких рябчиков! — И, сердито насупившись, добавил: — Лучше будет тебе другое место выбрать. Здесь уже смотрено, понял?

— Ничего не понял!

— Ну, тогда не обойдется без драки!

— Драться? Из-за чего? Похоже, что ты выпил сегодня...

Но Птаха с недвусмысленным намерением вынул руку из кармана.

— Ты что придуриваешься? Думаешь, ваша власть теперь, так ваньку ломать можешь? Плевать я хотел на все это! А вот начну штукатурить, тогда узнаешь, как с хохлами связываться. И приказ тебе не поможет! — угрожающе произнес Андрий.

— Брось, Андрий! Какая власть? Какой приказ? Если тебе уж так охота подраться, поищи себе кого-нибудь

другого,— ответил Раймонд, которому стало надоедать поведение Андрия.

— Что, законтрапарил? Знает кошка, чье мясо съела! Все вы, полячишки, на один манер: сверху шелк, а в брюхе щелк! Привыкли ездить на хохлах, как на ослах.

Раймонд шагнул к нему. С трудом сдерживая себя, тихо проговорил:

— Если бы ты не был пьян, то я за такие слова поломал бы тебе ребра... Пристал, как злая собака! А я тебя еще за порядочного парня считал... За что ты весь польский народ оскорбляешь? Какой на мне шелк? На чьей я спине езжу? Эх ты, бревно!

Неизвестно, чем бы окончился этот разговор, если бы звонкий девичий голос не позвал снизу:

— Андри-и-й!

Оба оглянулись. Внизу, у домика, на цементированной площадке водяной камеры стояла Олеся. Птаха несколько секунд постоял в нерешительности. Затем, вновь сдвинув шапчонку на макушку, стал спускаться. Отойдя несколько шагов, он остановился и, глядя не на Раймонда, а куда-то в сторону, сказал:

— А ты все же высматривай себе в другом месте. А то, хотя ты парень и свой, а морду набью, понял?

Олеся нетерпеливо ждала, когда Андрий подойдет к ней. Даже сюда, в яр, заглядывал бродяга-ветер, студеный и сухой. Олесе приходилось бороться с ним, спасая свою юбку от его нескромных рук.

Теплый вязаный свитер плотно облегал ее грудь и плечи. Ей шел семнадцатый год. Это была черноокая смуглянка, жизнерадостная и порывистая. Женственная застенчивость и задор переплетались во всех ее движениях. И это противоречие особенно привлекало к ней.

Стройная, как горная козочка, она знала о своей обаятельности. Уже проснувшаяся в ней женщина подсказывала ей самые красивые движения и ту неуловимую форму кокетства, к которой, сама того не зная, она прибегала из желания нравиться.

— Ты о чем с ним говорил? — в упор спросила она Андрия, не дав ему даже поздороваться.

— Так... о родственничках... Евойный папаша и моя бабушка — двоюродные знакомые... А ты что, с ним в гляделки играешь? Чего же на холоде, в хату не зовешь? Я хотел ему нагнать жару, да ты...

Андрий внезапно смолк. В сощуренных глазах девушки было столько холода, что ему стало не по себе.

— А еще что?

В этом вопросе Птаха уловил нескрываемую угрозу. Коса нашла на камень. Андрий не желал размолвки — не для этого он шел сюда. Но встреча с Раймондом и допрос Олеси, такой неприветливой и даже злой, испортили все.

— Еще что? — Олеся стукнула каблучком о бетон.

— Еще я сказал ему, чтобы он проваливал отсюда к чертовой бабушке, поняла?

Андрий решил, что день все равно испорчен, и шел напролом. Налетевший ветер застиг Олесю врасплох. Она яростно ударила рукой по взметнувшейся юбке. Андрий скромно опустил глаза.

— Какой осел! Какой осел! Что теперь человек подумает? — шептала она.

Андрий с огорчением увидел в ее глазах слезинки.

— Ну, пускай я осел, но зачем же ты плачешь? Я же тебе ничего такого...

— Я плачу? Не хватало, чтобы я перед каждым мальчишкой еще плакала. Ветер глаза режет, а он... Тоже ухажор! Соплей к земле примерзает, а туда же... Скажи ты мне, какого ты черта сюда ходишь? Сколько раз говорила, что видеть тебя не хочу!

— Я что-то этого не слыхал.

— Уйди с глаз, противный.

Олеся отвернулась. Андрий не знал, как помириться с ней. Он чутьем понял, что Раймонд пришел сюда не на свиданье. Олеся тогда бы вела себя иначе.

— Закурить с горя, что ли? — грустно сказал он и полез в карман за табаком. Пальцы наткнулись на сложенную бумагу. Он вынул ее, развернул и еще раз прочел: «Приказ командующего вооруженными силами государства Польского на Волыни...»

— Ты не знаешь, Олеся, твой батька читал эту штуковину? Что он делает? Может, мне к нему пойти, раз тебе не по душе пришелся?

— К отцу нельзя — у него гости. Дай сюда! — Олеся взяла из его рук листок.

Приказ был напечатан по-польски и по-русски. Быстро просмотрев его, Олеся повернулась к Андрию.

— Не ходи за мной, я сейчас вернусь...— И побежала к дому.

Андрий повеселел. Дела, видимо, поправлялись. Повернувшись спиной к ветру, он на радостях стал крутить огромную цигарку.

В комнате напряженно слушали. Раевский медленно и раздельно читал:

— «Параграф первый. Волею польского народа с сегодняшнего дня вся власть в крае принадлежит штабу легионеров».

— Видали? Залез на Украину и командует именем польского народа! — возбужденно крикнул Остап Щабель, чернобровый красавец, молотобоец из депо.

— Интересно их спросить, когда они у польского народа спрашивались? — порывисто поднялся стройный Метельский, и в глазах его полыхнула ярость.

— «Параграф второй. Объявляю в городе осадное положение. Хождение по улицам после семи часов запрещается под страхом расстрела.

Параграф третий. Запрещаются всякие собрания, сходки, сборища без моего на то разрешения. Лиц, уличенных в агитации против командования и вновь организованной власти, приказываю расстреливать на месте».

— Ого!

— Сразу видать волчью хватку!

— Ничего себе «власть польского народа»!

— А этого самого польского народа боятся, как черта!

— «Параграф четвертый. Предупреждаю, что каждый насильственный захват кем-либо личных владений граждан Польского государства или их имущества будет считаться грабежом и с захватчиками будет поступлено, как с бандитами».

— Ага. Вот с этого бы и начинали!

— Народа что-то не видать, а вот помещичий арапник налицо,— прогудел Чобот.

— Про землю еще помалкивают, чтоб народ не бунтовать. Время терпит — зима...— сказал Воробейко.

— А владения что, по-твоему? — обернулся к нему Щабель.

— Продолжаю читать. «Параграф пятый. Объявляю набор добровольцев-поляков во вновь формируемые части. Каждый доброволец получает полное содержание, обмундирование и пятьдесят марок жалованья в месяц».

— А дальше что там? — не терпелось Ковалло.

— Дальше? «Командование будет вести беспощадную борьбу с большевиками, как с самыми опасными врагами государства Польского. Уличенных в принадлежности к большевистской партии приказываю немедленно предавать военно-полевому суду с разбором дела в двадцать четыре часа».

— Это уж для нас специально!

— У них не долго поживешь на белом свете!

Чобот свирепо забрался всей пятерней в свои густые волосы.

— Кто это у них такой скорый? — спросил он.

Раевский посмотрел на подпись.

— Полковник Могельницкий.

На минуту в комнате стало тихо. Раевский положил приказ на стол.

— Я думаю, товарищи, что теперь все ясно?

Чобот угрюмо сопел, засмотревшись в окно.

Раевский обвел взглядом всех пятерых и не нашел ни страха, ни растерянности в их глазах. «Хороший подобрался народ».

Серьезные рабочие лица. Немножко угрюмые. Щабель не по летам суров, Воробейко о чем-то грустно задумался. Щабель и Воробейко не знали, что Ковалло, Чобот и доктор Метельский являются членами ревкома. Для них только один Раевский был его представителем.

Раевский подошел к хозяину.

— Надо послать ребят в город проведать, что и как. Пусть Раймонд с твоей дочкой сходят.

— Добре, сейчас скажу.

— Теперь мы поговорим о том, что нам нужно делать,— предложил Раевский.

Олеся подбежала к Птахе.

— Идем, противный, в город! Погуляем, поглядим, что там делается.

Когда шли в гору, она сказала решительно:

— Ты с Раевским должен помириться, иначе я с тобой — никуда! Не был бы ты дурнем, рассказала бы, почему этот парень здесь.

И побежала к будке.

— Пойдемте в город, Раймонд. Батько сказал, надо посмотреть, что там творится. Ваш отец остался у нас, будет ждать. Сюда придет Воробейко.— И, пока подходил Андрий, добавила, волнуясь: — Птаха вам наговорил

чепухи, но он все же парень хороший. Вы на него не сердитесь. Ну, пошли!

Птаха шел и разговаривал, как будто между ним и Раймондом ничего не произошло. На вокзале раздалось несколько выстрелов. Тревожно загудел паровоз, но как-то сразу смолк, стало тихо.

— Андрий, ты был в городе? Что там творится? — тревожно спросила Олеся.

— А черт его знает! Видал отряд кавалеристов. Около городской управы — кучка фендриков с винтовками. Одного узнал — Сладкевича, адвоката сынок. Нацепляли себе белых орлов на шапки... Все больше гимназистики. Потеха!

На железнодорожных путях было безлюдно. Деповские ворота закрыты. Что-то угрожающее было в этом безлюдье. За несколько шагов до выхода на мост, перекинутый над станцией, из-за угла товарного склада навстречу им шмыгнула какая-то фигура. Это был австрийский полицейский. Он шарахнулся было в сторону, но вид троих его успокоил. Задыхаясь и оглядываясь, он крикнул им на ломаном польском языке, махнув рукой на север:

— Вы там не видали вооруженных людей?

— Нет,— ответил Раймонд, единственный из троих говоривший по-польски.

Полицейский кинулся бежать к водокачке. Но Птаха вдруг подставил ему ножку, и солидный шуцман со всего размаху плюхнулся на землю. С такой же быстротой Андрий оказался верхом на нем. Как ни барахтался тот, но выбраться из цепких рук парня не мог.

— Раймонд, тягни у него револьвер! Да живее!

Раймонд наклонился к полицейскому и, торопясь и волнуясь, расстегнул кобуру и вытащил из нее револьвер. Птаха быстро отскочил от полицейского, не забыв выхватить из ножен широкий тесак, и встал в оборонительную позу.

Раймонд вертел в руках отнятый маузер, не зная, что с ним делать.

Все произошло настолько быстро, что Олеся не успела опомниться. Полицейский вскочил на ноги. От испуга и бешенства его нижняя челюсть дрожала. Но решительный вид Птахи не позволял и думать о сопротивлении.

— Ну, а теперь тикай! Нажимай на пятки! — И Андрий выразительно махнул в воздухе тесаком по направле-

нию на север.— Не понимаешь? Ну, как там по-вашему — махен драппс к чертовой матери!

Раймонд спрятал револьвер в карман. Тогда полицейский стал поспешно уходить от них, поминутно оглядываясь. Пройдя несколько шагов, он расстегнул пояс и бросил ненужные теперь кобуру и ножны. Андрий пошел и поднял их. Засунув в ножны тесак и довольно улыбаясь, возвратился назад.

— Куда бы мне эту штуковину заткнуть?

— Ты что, с ума сошел? А если бы он нас всех перестрелял? — накинулась на него Олеся.

— Эх, если бы да кабы выросли в носу грибы! На кой ему черт пистолет! Все равно лавочка кончилась! А мне он пригодится.

— Ну, а штык-то на что тебе? Брось его и пойдем!

— Ну да! Из него два ножа важнецкие сделать можно. Я его вот сюда, под ступеньку, примощу. Здесь не видать.

На мосту он их догнал.

— Слушай, Андрий, если ты думаешь еще что-нибудь выкинуть, то не ходи с нами. У нас важное дело,— сухо сказал Раймонд.

— Ну, чего пристали? Все же в порядке! Давно мне хотелось пистоль иметь, а тут, гляжу, из рук добро уходит... А здорово я полицая напугал! Поди, десятую версту отжимает! Поте-ха! — И Андрий захохотал так заразительно, что Раймонд и Олеся не могли не улыбнуться.

К Андрию вернулось хорошее настроение. По мосту он шел, слегка приплясывая и напевая.

Гоп, кумэ, нэ журыся,
Туды-сюды повернися!

Так же вдруг ему пришла мысль завершить все благородным поступком.

— Знаешь что, Раймонд, дарю тебе пистоль! Бери! Знай мою дружбу! Я себе другой достану.

Олеся резко повернулась к нему.

— Ты что, опять думаешь на кого-нибудь накинуться? Не ходи с нами! Слышишь? Не ходи!

— Да нет же! Что ты мне сегодня настроение сбиваешь? Я от всей души, а она... Сказал, чудить не буду, чего же еще? Мало ли где я себе могу достать? Какое твое дело? На, Раймонд, кобуру и носи на здоровье... Что это бабье в военном деле понимает!

— Ты насчет бабья полегче!

Но Андрий уже не слушал ее. Обняв Раймонда и улыбаясь, смущенно прошептал:

— Кто старое помянет, тому глаз вон, понял? А из этой штуковины мы с тобой по разу стрельнем в подходящем месте. Идет?

Вместо ответа Раймонд положил руку па его плечо.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В это воскресное утро в палаццо Могельницких проснулись очень рано.

В конюшнях одетые в форму польских легионеров вооруженные люди седлали лошадей. Во флигелях, где жила многочисленная дворня, ожидали сигнала к выступлению пехотинцы.

Шмультке и Зонненбург только что окончили завтрак. В комнату вошел Юзеф и подал майору записку. Майор прочел и сказал:

— Графиня Стефания просит нас зайти к ней по очень срочному и важному делу.

Они недоуменно переглянулись, но тотчас встали из-за стола и, оправив мундиры, молча пошли за стариком.

На втором этаже Юзеф широко распахнул двери будуара Стефании и жестом пригласил немцев войти.

Но вместо графини их встретили несколько вооруженных офицеров в неизвестной им форме. Один из них закрыл за немцами дверь и остался сзади вошедших с револьвером в руке.

— Что это означает? — сухо спросил Зонненбург.

Шмультке инстинктивно протянул руку к поясу. Но револьвер остался в комнате майора.

В углу будуара в глубоких креслах сидели Баранкевич и старый граф.

— Садитесь, господа,— сказал один из офицеров, искривив в улыбке бледное лицо.

Немцы продолжали стоять.

Баранкевич тяжело поднялся с кресла и подошел к ним. Он, как знакомый, протянул им руку, но оба офицера даже не шевельнулись. Баранкевич побагровел.

— Гэ... умм... да! — начал он.— Дело в следующем, господа. Поскольку вы оставляете наш край и не в состоя-

нии больше охранять нас и поддерживать порядок, мы решили сами заняться этим.

— Кто это мы? — злобно скосил на него глаза Зонненбург.

— Мы — это штаб польского легиона. Честь имею представить! — И Баранкевич повернул свою тушу в сторону одного из польских офицеров.— Полковник граф Могельницкий, начальник легиона.

— Эдвард Могельницкий? Полковник французской службы?

— Почти верно, господин обер-лейтенант. Я, собственно, полковник русской гвардии, но всю войну провел во Франции как член русской военной миссии и после большевистского переворота в России стал офицером французской службы,— ответил Эдвард с холодной учтивостью.

— Тогда мы обязаны арестовать вас.

— Немножко поздно, господин обер-лейтенант. К тому же мы призвали вас сюда с совершенно иной целью. Для обеих сторон будет лучше, если мы спокойно обсудим создавшееся положение,— продолжал Эдвард.— Мы занимаем город. От вас мы требуем нейтралитета. Мы не будем препятствовать вашей эвакуации отсюда при единственном условии невмешательства в наши дела. Конечно, все склады оружия и обмундирования переходят к нам.— Шмультке сделал негодующий жест.— Вы сами видите, это не бунт черни, но вслед за вашими отступающими частями движутся красные. Они обрушатся на нас сейчас же после ухода немецких войск. Вот почему мы вынуждены, не дожидаясь, пока вы уйдете, заняться наведением порядка в округе и мобилизовать наши силы. Я обращаюсь к вам, господин майор и господин обер-лейтенант. Вы оба дворяне и офицеры. Правда, мы с вами находились во враждебных лагерях. Но сейчас у нас с вами общий враг — революция. Если вы с нами начнете борьбу, то это будет только наруку красным. Я не думаю, чтобы вы этого хотели!

Несколько секунд длилось молчание. Шмультке вопросительно посмотрел на Зонненбурга.

— Хорошо... Но как к этому отнесется его превосходительство начальник гарнизона? — растерянно пробормотал Зонненбург.

— Его преосвященство епископ Бенедикт уже договорился с господином полковником,— тихо произнес кто-то за его спиной.

Немцы оглянулись. Перед ними стоял отец Иероним, незаметно вошедший в комнату во время разговора. Он подал Зонненбургу запечатанный конверт; пока немцы читали, он скромно прошел в угол и сел рядом со старым графом.

— Итак, господа офицеры, ваш ответ? — спросил Эдвард.

— Нам остается только подчиниться,— глухо ответил Зонненбург.

— Очень рад! Вы, господа, конечно, свободны. Отныне вы гости в нашем доме. Будьте добры, предупредите ваших солдат о том, как они должны себя вести. Поручик Заремба, спрячьте ваш револьвер. Подпоручик Могельницкий, передайте отряду мой приказ приготовиться. Господа офицеры, занимайте свои места.

Через полчаса небольшой отряд, состоящий из кавалерии и пехоты с тремя пулеметами, двинулся к городу.

В обширной камере было полутемно. Два небольших окошка с массивными решетками почти не пропускали света. Теснота. Вместо пятнадцати человек здесь тридцать один. Дощатые нары завалены человеческими телами. Смрадно и грязно.

Лежавший прямо на полу богатырского телосложения крестьянин повернул к Пшигодскому свою большую голову и, забираясь пятерней, как гребнем, в широкую бороду, сказал:

— Что ты мне там квакаешь? Спокон веков ляхи нас мордовали! Привык пан считать за скотинку, так и зовет — «быдло». Не бывать меж поляком и хохлом миру до самого скончания веку!

Пшигодский сердито сплюнул.

— До чего же туп человек! Всего тебе дано вволю, а ума мало... Да возьми ты меня и себя, к примеру, медведь ты косолапый! Чего нам с тобой враждовать, скажи на милость? И тебя и меня помещик норовит в ярмо запрячь и гонять до седьмого поту. Выходит, поляк поляку — разница. Не все ж они помещики, черт побери! Есть и такие бесштанные, как ты!

Крестьянин слушал недоверчиво.

— Небось, был бы помещиком, тоже гвоздил бы арапником не хуже пана Зайончковского. Сам, говоришь, бес-

портошный, а все в нос тычешь — «дурак, дескать, баран сельской, а я, мол, умный». Гонор свой показываешь...

Пшигодский приподнялся и сел на нарах. Несколько секунд угрюмо глядел на собеседника, затем улыбнулся.

— Чудило-человек! Я ж к тебе по-хорошему, а ты обижаешься.

— Это дурака-то да медведя по-хорошему считаешь?

— Брось, папаша! Ты за мои слова не цепляйся, ты в корень гляди!

Из-под нар высунулась бритая голова, и на Пшигодского взглянули лисьи глазки.

— Ну и упрямый же вы, пане Пшигодский! Хотите из этого быка скакового жеребца сделать! Хи-хи-хи! — И обладатель лисьих глазок выбрался из-под нар, где он спал.

— А какое твое собачье дело? — спокойно ответил ему крестьянин, поняв польскую речь.

Пшигодский тоже неприязненно покосился на вертлявого человека в почерневшем от грязи летнем костюме с измятым галстучком.

— У меня ко всему дело есть, па то я...

— Шулер и охмуряло! — закончил за него звонкий юношеский голос из угла камеры.

— Ты, щенок, потише там, а то... — И человек сделал выразительный жест рукой.

Лежавший рядом с Пшигодским пожилой рабочий с бледным худощавым лицом вмешался в перепалку:

— Осторожнее с кулаками, пан Дзёбек. Пшеничек верно сказал. Факт, что ты всех простачков в камере обобрал.

— Я? Обобрал? — И Дзёбек сунул руку в карман.

Камера давно проснулась, но лишь теперь пришла в движение. И в этом движении Дзёбек почувствовал явную угрозу.

— Как ты думаешь, Патлай, чего он руку в карман сует каждый раз, когда ему хвост прищемляют? На испуг, что ли, берет или у него такая поганая привычка? — спросил соседа Пшигодский.

— Я знаю, у него там безопасная бритва,— подсказал юноша из угла, надевая сапоги.

Затем он быстро встал и, шагая через лежавших па полу, подошел к Дзёбеку. Это был высокий белокурый парень с голубыми глазами, одетый в рабочее платье пекаря. Полиция арестовала его на работе за то, что он с ножом

кинулся на хозяина, избившего десятилетнего ученика. Хозяин отделался легкой царапиной, но Пшеничека ждал суд.

— Покажи, что там у тебя! — крикнул он Дзёбеку.

Камера затихла. В это время по коридору пробежал кто-то из сторожей. Затем послышался топот тяжелых сапог. Дверь камеры открыли. На пороге стоял офицер в неизвестной никому форме. Сзади него — несколько солдат. Перепуганный начальник тюрьмы перелистывал толстую книгу с аттестатами арестантов. Пшигодский быстро поднялся. В одном из солдат он узнал своего брата Адама, а в офицере — того пана, который предлагал ему вступить в польский легион.

— Здесь, господин капитан, крестьяне, арестованные за восстание,— бормотал по-немецки начальник тюрьмы.

— Это по делу о захвате сена Зайончковского? — спросил Врона.

— Да-да... Потом семь рабочих сахарного завода...

— Знаю.

— Еще несколько человек по разным делам. Среди них два поляка: Дзёбек — по обвинению в шулерстве и шантаже — и Пшигодский... Этот в особом ведении комендатуры.

— Знаю.— Врона уже нащупал глазами Пшигодского.

— Ну, остальные по мелким делам. Среди них один несовершеннолетний — Пшеничек.

Врона взял книгу, сделал отметку красным карандашом на полях против фамилии Пшигодского, сахарников и крестьян.

— Остальных выпустить. Нечего кормить дармоедов! Пойдемте дальше.

Пока открывали следующую камеру, начальник тюрьмы успел прочитать имена тех, кто освобождался.

Через двадцать минут в камере осталось шестнадцать человек. Патлай наскоро передал через Пшеничека несколько слов своей жене, Пшигодский же надеялся поговорить с братом.

— Пане капитане, смею просить вашей милости отпустить моего брата, Мечислава Пшигодского, что в девятой камере. Он против немцев агитацию вел, так его за это взяли...

Голос Адама дрожал. Он не отнимал руки от козырька конфедератки[1].

— Рядовой Пшигодский, я сам знаю, что делать. Отправляйся к воротам!

Адам замер на месте.

— Что я сказал? Кругом марш! Чего стоишь, пся крев?

Молчание. От удара кулаком по лицу он пошатнулся и едва не уронил ружье.

— Марш, а то застрелю, как собаку!

Адам тяжело сдвинулся с места. Медленно пошел по коридору, волоча по полу винтовку. Проходя мимо камеры № 9, он встретился с глазами брата. Тот все слышал.

Весть о перевороте и о том, что освобождают арестованных, мгновенно распространилась по городу. Вскоре на окраине у тюрьмы собралась толпа. Отряд легионеров не подпускал никого близко к воротам.

Раймонд, Андрий и Олеся тоже были здесь.

Освобожденных засыпали вопросами, окружив тесным кольцом, но никто ничего толком не знал. Когда из ворот выбежал молодой парень в пекарском платье, его сейчас же обступили.

— Ты что, тоже сидел?

— Да!

— Значит, всех освобождают? — спросил его Раймонд.

— Ну да, всех! Одних жуликов только... А которые честные, так тех еще на один замок.

— Выходит, ты — жулик? Раймонд, береги карманы! А то у него — один момент, и ваших нет!

Пшеничек яростно повернулся к Андрию.

— Это ты сказал, что я жулик? Сакраме́нска по́твора!

— Сам назвался! — крикнул ему Андрий, готовясь к потасовке.

— Да чего вы сцепились, как петухи? Не дадут расспросить толком человека! — крикнула пожилая женщина, дергая Пшеничека за рукав.

— Так не всех, говоришь? А кого ж оставляют?

[1] Польская военная фуражка с четырехугольным верхом.

— Я ж сказал — которые за правду, те и будут сидеть! А ежели меня жуликом еще кто назовет, так я ему из морды пирожное сделаю... Я за правду сидел! А почему выпустили, черт его знает!

— Эй, ты! Что ты тут брешешь? Хочешь обратно за решетку? — угрожающе прикрикнул на Пшенична хорошо одетый господин, известный всему городу владелец колбасного завода, и толкнул пекаря палкой в спину.

Андрий вырвал палку из его рук.

— Ты за что его ударил, колбаса вонючая? На, получи сдачи! — И Андрий ловко сбил с головы торговца котелок.

— Держите его! Поли-ци-я! — заорал тот, схватившись рукой за лысину.

По мостовой зацокали копыта.

— Это что за сборище? — С высоты коня Эдвард Могельницкий окинул презрительным взглядом столпившихся у тюрьмы.— Поручик Заремба, очистить площадь!

— Ра-зой-дись! — скомандовал Заремба.

Над головой его сверкнул палаш.

Толпа шарахнулась и побежала, опрокидывая все на своем пути.

Отряд легионеров у ворот тюрьмы взял ружья наперевес. Это могло служить и приветствием командиру и острасткой для толпы.

Пробежав два квартала, Раймонд, Олеся и Пшеничек остановились. Разогнав толпу, легионеры ускакали.

— Где же Андрий? Вы его не видели? — волновалась Олеся.

От бега щеки ее раскраснелись, она глубоко дышала.

Молодой пекарь посмотрел на девушку, затем на Раймонда и грустно улыбнулся.

Из переулка вынырнул Птаха. Он бежал легкими скачками, вертя в руках палку.

— А-а-а! Вот вы где! Фу... А я отстал маленько...— Смех сверкал в его глазах.

Подбежав к друзьям, он прислонился к забору и захохотал.

— Эх, если бы вы видели, как он улепетывал! Умру! Когда все кинулись, я колбасника еще раз наддал пал-

кой, он как сгрибанет! Да так быстро, что я его насилу догнал. Дал ему на прощанье еще раз! Он от меня, как от черта, в подворотню...

Пшеничек тоже смеялся.

Раймонду и Олесе, глядя на них, трудно было сохранить серьезность.

— Я с тобой никуда больше не пойду. Только осрамишь... Вот не знала, что ты такой хулиган...

— Что же, я не виноват, что сегодня день такой скаженный,— беспечно ответил Андрий.

— На, приятель, палку. Тебя ею били, так и возьми себе на память... А скажи, наших заводских ты там не видел? Патлая, Широкого? — спросил Андрий пекаря, подавая ему палку.

— Ну, как же! Я вместе с ними сидел. Хороший человек Василий Степанович! Все заводские вместе... С ними еще Пшигодский один. Тоже хороший человек,— с трудом подбирал украинские слова Пшеничек.

— А знаешь что? — подумав, сказал Раймонд.— Пойдем к жене Василия Степановича, ты ей все расскажешь.

— Да он и так просил передать ей кое-что.

— Ну вот, и пошли. Давай познакомимся.

— Господин капитан, один из освобожденных хочет сообщить вам что-то важное.— Начальник тюрьмы показал на Дзёбека.

— Ну, что там? Быстро! — сказал Врона, войдя в канцелярию.

— Прошу позволения, ясновельможный пане, поздравить вас с победой! Я сам поляк, и я...— патетически начал Дзёбек.

— Короче!

Дзёбек глотнул конец фразы, угодливо осклабился и зачастил:

— Я, как поляк, обязан перед отчизной служить вам верой... В тюрьму я попал по недоразумению...

— Короче, пся крев! — гаркнул Врона.

— Считаю долгом сообщить, пане капитане, что в камере номер девять остались опасные люди. Особенно этот Патлай... Но и Пшигодский... Они все время ведут красную пропаганду... Особенно опасен Патлай. Это заклятый большевик, пане капитане! Вы изволили отпустить этого

мальчишку Пшеничека. Это очень вредный мальчишка! Он все время с ними якшался. Патлай ему что-то шептал перед уходом. Если не поздно, прикажите задержать его. Если пану капитану угодно, я могу рассказать все подробно.

— Хорошо! Поговорим... Кстати, чем вы думаете заниматься?

— Чем вам угодно, пане капитане.

— Что ж, попробуем! Авось из вас неплохой агент выйдет. Но только у меня без фокусов! А то пуля в лоб и на свалку.

— О, что вы, пане капитане! Я оправдаю доверие.

Вечером Раевский с сыном осторожно подошли к своему дому. На окне зажженная лампа.

— Значит, все спокойно. Мама дома.

Отец вошел в квартиру, сын остался сторожить у ворот. Целый день юноша кружил по городу, выполняя поручения отца.

Через минуту из дома вышла мать. На ходу шепнула на ухо:

— Иду к жене Патлая. У нас Олива. Отца дождался.— И скрылась в темноте.

«Милая, родная мама! Как она изменилась! Какая-то другая стала — совсем молодая...»

— Все будет сделано, товарищ Раевский. У нас на складе в типографии стоит запасная «бостонка». Ручная. Сегодня ночью у нас срочный заказ от ихнего штаба. Приказы, мобилизационные анкеты и воинские книжки надо отпечатать. Я кстати и вам принесу всего этого понемножку. Может, пригодится. А это я сегодня ночью сам отпечатаю. Пятьсот штук, больше не успею. Только под утро воззвания надо вынести из склада. И набор тоже, а то разбирать его мне некогда будет. А потом я вам шапирограф по частям притащу. Это штука полезная. А то ведь навряд ли придется печатать в самой типографии. Ведь они, когда прочтут, так все вверх дном перевернут... Это дело надо обтяпать основательно, а то и без головы останешься,— говорил Олива спокойно, рассудительно.

Старый наборщик понравился Раевскому. Все лицо в мелких морщинах. Большие очки в медной оправе, а за ними — голубые, добрые глаза.

— Скажите, товарищ Олива, там, кроме вас, никого больше нет, кому можно было бы доверить?

— Кто его знает. Есть, конечно, порядочные, но в петлю не полезут. Комнатный народ. Остальные еще хуже — два пепэсовца, сионист и трое — куда ветер дует. Разве только Эмма Штольберг? Ее отец венгерец, но девчонка здесь родилась. Зелена, а так как будто ничего.

— Хорошо, товарищ Олива, действуйте.

Наборщик встал.

— Да, чуть было не забыл! Скажите, вы нам печать сделать не можете?

— Я, конечно, не гравер, но, пожалуй, сделаю. Вам-то ведь не очень фасонистую. Хе-хе...— Морщины на его лице зашевелились, а в уголках глаз собрались веером.— Ну, всего хорошего. Присылайте ребят к пяти утра.

Раевский на минуту задержал в ладони черную от свинцовой пыли руку Оливы.

— Почему вы не в партии, товарищ Олива?

— Стар уж... Где мне. Пусть уж молодые. А я подсоблю. Меня если и повесят, так не жалко — свое прожил. Конечно, умирать никому не охота, но все же молодому это тяжелей.— Он посмотрел на Раевского поверх очков строго и, как показалось Сигизмунду, укоризненно.

Когда Олива вышел, Раймонд вошел в комнату.

— Вот что, сынок, мы поручаем тебе организацию коммунистического союза молодежи. Партии нужны сторожевые и разведчики, преданная молодежь. Ты сам видишь, мы в стане врага. От одного неосторожного шага, движения может погибнуть вся организация. Молодежь иногда неосторожна по неопытности, вот почему прием в союз новых товарищей — весьма важное дело. Принимать можно только отважных, сознательных, готовых пожертвовать даже жизнью. Представь себе, что мы приняли труса и он почему-либо попадется в руки жандармов. Он выдаст всех в надежде спасти свою шкуру. Его революционности хватит только до первого ареста. Есть такие любители опасных приключений. Наша борьба для них — не кровное дело. Они играют в революцию. Этим чаще

всего страдают интеллигентики, начитавшиеся приключенческих книг. Когда дело от игры переходит к смерти, то они начинают трусить. Основное ядро будущей организации мы наметим вместе. Кого ты считаешь наиболее достойным?

Раймонд задумался.

— Я не знаю, отец. Это ведь так серьезно,— прошептал он наконец.

— Хорошо, я помогу тебе. Что ты думаешь об Олесе Ковалло? Она из хорошего рода. Их двое — отец и дочь. Кровная связь — кровное дело. Она, кажется мне, смелая девушка.

— Да, мне тоже так кажется.

— Ну вот! Один товарищ уже есть. Дальше, кого ты знаешь?

Раймонд долго молчал, затем сказал:

— Сарра Михельсон. Ее Шпильман с работы прогнал, а хозяин дома сегодня выкинул их на улицу. Так и сидят во дворе на сваленных вещах. Я ее только что видел, им некуда деться... Как бы им помочь, отец?

Раевский что-то обдумывал.

— Пусть переезжают к нам.

— Но где же они поместятся? Здесь и так повернуться негде, а их шестеро. Потом вещи...

— Ничего, нам отсюда все равно надо уйти. Ты же знаешь, что по городу уже рыщут. Нас не сегодня завтра нащупают. Пусть переезжают, с вещами распоряжаются, как хотят. А нам придется расселиться в разных местах. Я поселюсь пока у Ковалло, мама — у тети Марцелины, а ты у кого-нибудь из товарищей... Ну, мы с тобой отвлеклись. Значит, Сарра. Хорошо. Кто еще у тебя на примете?

— Есть еще Андрий Птаха. У того отваги — хоть отбавляй. Только он озорной очень и может перестараться. По-моему, он сознательный, только очень горячий.

Раевский улыбнулся.

— А вы его будете придерживать пока. Осторожность придет вместе с сознанием, что он может погубить не только себя... Он что, твой приятель?

— Да... То есть не то, чтобы совсем... Зато он очень хорош с Олесей...— И Раймонд заметно смутился.

— Ага. Что же, это неплохо. Дружба — огромная вещь... Еще кого ты думаешь?

— Еще есть тот парень, что в тюрьме сидел вместе с Патлаем. Чех Пшеничек. По натуре он — подходящий к Андрию.

— Добре. Завтра ты поговори с каждым в отдельности, не называя имен других. Расскажи о всех трудностях, чтобы ребята знали, на что они идут. И только после их доброго согласия можно считать их членами коммунистического союза. Первую группу утвердит ревком, а потом новых товарищей будете принимать самостоятельно... Сейчас ты пойдешь на водокачку. Там ночью предстоит серьезное дело. Ковалло скажет. У тебя есть оружие?

— Да, револьвер, который отобрал у полицейского Андрий.

— Ты знаешь, как с ним обращаться?

— Нет.

— Давай, я покажу.

Когда Раймонд освоил нехитрую механику оружия, отец сказал:

— Возьми. Не забывай: стрелять нужно лишь в исключительных случаях, когда иного выхода нет. Но если уж начал стрелять, то обороняйся до последнего патрона. За один или десяток выстрелов — расплата у жандармов одна... Иди, мальчик, и будь осторожен...

Впервые отец назвал его «мальчиком». Раймонду хотелось обнять отца, прижаться к груди, сказать: «Отец, уважаю тебя и люблю!» Но, заметив его нетерпеливое движение, Раймонд поспешно вышел.

По дороге к водокачке забежал к Сарре, чтобы обрадовать ее. Поговорить же с девушкой, как поручил ему отец, он не мог. Все время мешали.

У него оставалось еще часа два свободного времени, и он направился к заводской окраине, где жил Птаха.

Андрий был дома. Он сидел на кровати и играл на мандолине попурри из украинских песен и плясок. Он только что закончил грустную мелодию «Та нэма гирш ныкому, як тий сыротыни» и перешел к бесшабашной стремительности гопака. Играл он мастерски. И в такт неуловимо быстрым движениям рука лихо отплясывал его чуб.

Младший его братишка, девятилетний Василек, упершись головой в подушку и задрав вверх ноги, выделывал

ими всевозможные кренделя. Когда он терял равновесие и падал на кровать, то тотчас же, словно жеребенок, взбрыкивал ногами и опять принимал вертикальное положение.

Заметив Раймонда, Андрий закончил игру таким фортиссимо, что две струны не выдержали и лопнули, что привело владельца мандолины в восхищение.

— А ведь здорово я эту штучку отшпарил! Аж струны тенькнули! — вскочил он с кровати и положил мандолину на стол.

Матери Андрия в комнатушке не было — она ушла к соседям.

— Мне с тобой, Андрий, поговорить надо по одному важному делу.

— А что случилось? — обеспокоился Птаха.— Валяй, говори!

— Наедине надо.

Андрий повернулся к Васильку. Тот уже сидел на подушке, болтая босыми ногами, и деловито ковырял в носу.

— Василек, сбегай-ка на улицу!

— А чего я там не видал?

— Я тебе сказал — сбегай! Тут без тебя обойдемся.

— Не пойду. Там холодно, а сапогов нету.

— Надень мамины ботинки.

— Ну да! Чтобы она меня выпорола!

— Ты что, ремня захотел? Что ж я, по-твоему, от тебя на двор должен ходить?

— Зачем ходить? Я заткну уши, а вы говорите.

— Васька! — повысил голос Андрий.

Но Василек продолжал сидеть, не изъявляя желания подчиниться. Андрий стал расстегивать пояс. Василек зорко наблюдал за его движениями. Раймонд взял Птаху за руку.

— Пойдем, Андрюша, во двор. Там в самом деле холодно.

Они сели на ступеньках. Дверь из комнаты тихо скрипнула.

— Васька! Засеку! Я тебе подслушаю!

Дверь быстро закрылась.

— Ты что, его в самом деле бьешь?

— Да нет! Но стервец весь в меня. Я ему одно, он мне другое. А бить не могу — люблю шельму. Он это знает.

Все сделает, только надо с ним по-хорошему. Не любит, жаба, чтобы им командовали...

Долго сидели они вдвоем, разговаривая шепотом.

Андрий проводил Раймонда до калитки. Там они постояли молча, не разжимая рук.

— Ты понимаешь, Андрий. об этом никто не должен знать.

— Раймонд, я ж сказал! Могила! Я сам не раз думал: да неужели же не найдется такой народ, чтобы правду на свете установил? А тут оно выходит, что есть.

— А, может, ты раздумаешь? Так завтра скажешь.

— Я?! Да чтоб мне лопнуть на этом самом месте, если я на попятную! Эх, Раймонд, не понимаешь ты моего характеру! Так, думаешь, горлодер... А ведь и у меня тоже сердце по жизни настоящей скучает...

Черная морозная ночь. Студеный ветер рыскал по железнодорожным путям.

На вокзале, на двери жандармского отделения, сменили дощечку. Название осталось то же, но уже на польском языке.

Никто из находившихся в жандармской не знал, что маневровый паровоз на запасном пути как бы нечаянно натолкнулся на одинокий вагон, затем погнал его впереди себя, так же незаметно остановился и пошел обратно. А вагон уже катился сам туда, где его ждали десятка два человек. Под утро тот же паровоз увел его из далекого тупика, что у водокачки, на старое место.

Еще до зари Раймонд вынес из склада типографии завернутую в мешок пачку воззваний. Всю ночь он не спал. Но впереди предстояла еще самая опасная работа.

Наутро семья Михельсона переселилась в комнату Раевских. Хозяевам дома Ядвига сказала, что она с сыном уезжает из города.

На водокачке прибавился новый жилец...

Врона трижды прочел свежеотпечатанную листовку. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Заголовок на русском, украинском, польском и немецком языках. Призыв к вооруженному восстанию! «Вся власть Советам!..

Долой капиталистов, помещиков... Земля крестьянам...» Ах, пся крев! А ведь отпечатано в типографии — у нас под носом... Что скажет Могельницкий? А главное, черт возьми, подпись: «Революцио-о-онный комитет». Есть уже, значит, такой...

— Эй, кто там!

В дверях появился часовой.

— Дать сюда Дзёбека, пся его мать!

Дзёбек вбежал в кабинет начальника жандармерии, гремя палашом, который волочился по земле, как это водилось у австрийских гусар.

— Честь имею...

Дзёбек запнулся, увидев, как внезапно передернулось лицо Вроны.

Капитан поднялся из-за стола, держа в руках воззвание. Дзёбек не знал, смеется Врона или губы его конвульсивно дергаются.

— Это что такое?

— Честь имею доложить, пане начальник, мои агенты только донесли об этом. Еще утром вместе с афишами кинематографа какие-то люди наклеили эти листки. Извольте видеть, пане начальник, на одной стороне ваш приказ, а на другой воззвание. Они так и расклеили: где было удобно — воззвание, а где — приказ... Потом, смею доложить, какой-то мальчишка лет десяти пробежал по центральным улицам с нашей газетой, раскидывал эти листки и кричал· «Читайте приказ штаба!» Когда постовые прочли и хватились, то его и след простыл... Также смею доложить, на заводе и на железной дороге эти листки распространялись неизвестными личностями... Я уже арестовал всю типографию. Но, кроме наших материалов, там ничего не найдено. Притом там есть два члена ППС, те головой ручаются, что никто у них не мог печатать. Не иначе, как у тех собственная машина!

— А где они достали приказы?

— Смею доложить, не иначе, как в управе. Они там просто свалены пачками в коридоре. Всякий, кто хотел, мог взять.

Врона сделал два шага по направлению к вахмистру. Дзёбек попятился на столько же.

— Слушайте, вы! Шулер! Я дал вам мундир и чин, но я вас повешу, предварительно приказав всыпать сто плетей, если вы мне не раскопаете всего этого! Вот вам ты-

сяча марок. Соберите весь ваш сброд и не являйтесь без тех, кто это напечатал... А сделаете — чин подпоручика и тысяча марок! Клянусь богом, я делаю преступление против чести! Такая хамская морда не достойна офицерских погонов. Но вы их получите, если не предпочтете висеть... Не подумайте сбежать с деньгами — я вас найду и под землей. Марш!

Дзёбек схватил деньги и повернулся так быстро, что палаш не поспел за ним, отчего вахмистр едва не упал, споткнувшись. Подхватив палаш, он выскочил в коридор.

— Так вот за что твоего мужа на фронт послали,— прошептала Людвига.

— Ясновельможная пани! Прошу вас! Ноги ваши целовать буду... Пан граф все для вас сделает... Спасите его! — рыдала Франциска, обнимая колени Людвиги.

— Хорошо, я все сделаю, только перестань плакать,— растерянно говорила Людвига.

— Ради святой Марии поспешите, ясновельможная пани! Сегодня ночью их расстреляют. Сам капитан сказал,— бормотала Франциска, с трудом поднимаясь с пола.

— Я сейчас пойду к графу. Успокойся, Франциска,— сказала Людвига. Избегая умоляющего взгляда измученной женщины, она быстро вышла из комнаты.

— Кто там? Ах, это ты, Людвись! Прости меня, но я очень занят.— Эдвард положил на стол трубку полевого телефона.

Его кабинет был превращен в штаб. На столе — два телефона. На стене — карта края, утыканная красными и черными флажками. Палаш и револьвер лежали на диване.

— Эдди, на одну минуту... Я прошу тебя сделать для меня одну вещь...

— Говори, Людвись. Ты же знаешь, что я для тебя все сделаю.

Зазвонил телефон. Эдвард взял трубку.

— Да, я. Что? В Павлодзи восстание? Что такое? На вокзале стрельба? Сейчас же узнайте, в чем дело. Конечно... Поставьте всех на ноги... Сейчас приеду... Что?

Немецкий эшелон? Пришлите взвод для охраны усадьбы. Да. Сейчас еду!

Эдвард в бешенстве швырнул трубку на стол.

— Что случилось, Эдди?

Могельницкий торопливо застегивал пояс, на котором висели палаш и револьвер. Лицо его было мрачно.

— Небольшие неприятности. Мы все это устраним... Вскоре здесь будет Владислав со взводом кавалерии. Не волнуйся, радость моя, все уладится. Но на всякий случай будьте готовы к отъезду... Я позвоню из штаба. Ну, прощай!

— Эдди, а моя просьба?

— Прости, ты о ней скажешь вечером...

— Но тогда будет поздно. Я прошу тебя, Эдди, умоляю... Сделай это для меня — освободи сына Юзефа! Мне страшно даже сказать, но его собираются расстрелять сегодня ночью.

Она преграждала ему путь.

— Ах, вот ты о чем? Ну, этого сделать нельзя! Это опасный человек. И вообще, моя дорогая, не вмешивайся в эти дела. Я спешу, Людвись.

— Умоляю тебя, Эдди! Сделай это ради меня... Слышишь? Умоляю!

Она обняла его за плечи и нежно прильнула к нему.

Но он разжал ее объятия и решительно отодвинул в сторону.

— Я не могу остаться здесь ни одной минуты. Меня ждут. На вокзале неспокойно... Прощай...

Она схватила его за рукав мундира.

— Эдди, ради нашей любви прошу тебя! Если ты не сделаешь, значит не любишь...

Он резко повернулся к ней, холодный, совсем чужой.

— Я прошу тебя, я, наконец, требую... да, требую не вмешиваться в дела штаба! Ты просишь невозможного. Что тебе до них? Эти люди готовы уничтожить нас, а ты их еще защищаешь... Твоя гуманность неуместна. Их надо истреблять, как бешеных собак! Пожалуйста, без истерики! Вместо того чтобы мне помочь, ты только мешаешь...

Закрылась дверь. Быстро прозвучали по коридору твердые шаги и звон шпор. Через минуту трое всадников неслись вскачь к городу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дзёбек твердо решил заработать золотые погоны подпоручика и тысячу марок, а в случае неудачи — скрыться подальше. И так уж давно пора было переменить место. Но сейчас, когда шла игра и лишь раздавались карты, шулер поборол в нем труса. Спачала «ударить по банку». Жди, пока опять настанет такое сумасшедшее время, когда так же легко стать генералом, как и быть повешенным. Только бы не сорваться. Большая игра бывает раз... И он действовал.

Захватив с собой двух капралов и сержанта жандармерии Кобыльского, еще недавно служившего швейцаром в «заведении» пани Пушкальской, Дзёбек устремился в рабочий поселок.

У дома, где жил Пшеничек, пролетка остановилась.

— Стоп! — Дзёбек соскочил на мостовую.— Кобыльский, за мной! Авось, мы накроем эту стерву Пшеничека...— И, придерживая палаш, он вбежал во двор.

— Вот он, вот он! Стой! Стрелять буду! — с дикой радостью заорал Дзёбек, когда перед самым его носом шарахнулась назад в коридор высокая фигура пекаря.

Леон влетел в комнату, как бомба, и тотчас запер дверь на ключ.

— Езус-Мария! Что такое? — вскрикнула мать.

Но в дверь уже ломились.

— Кобыльский, вышибай, а то уйдет!

Сержант разбежался и всей тяжестью тела грохнулся о дверь. Он ввалился вместе с вышибленной дверью в комнату, не удержал равновесия и упал на пол. В то же мгновение Пшеничек ринулся к окну, высадил головой раму и выпрыгнул в сад.

Звон разбитого стекла, ворвавшиеся люди и бегство сына ошеломили стариков Пшеничек. Они онемели от ужаса.

— Держи его! — бесился Дзёбек, которому выбитая дверь и поднимающийся Кобыльский мешали подбежать к окну.

— Опять ушел... Эх, ты, тумба! Чего смотрел? Под носом был, сволочь!

Кобыльский, потирая ушибленное колено, мрачно огрызнулся:

— Он, пане Дзёбек, у вас тоже под носом был...

Дзёбек накинулся на старика:

— Ну, ты, старая кляча! Собирайся! Мы там тебя подогреем, ты нам скажешь, где он скрывается.

— Пане военный, за что же меня? — мешая чешскую речь с польской, залепетал старик.

— Ты еще спрашиваешь, за что, канальня? Я тебе что говорил вчера,— как только придет, сейчас же заявить мне!

— Так где ж это видано, пане, чтобы на родного сына?..

— Ну так вот, мы тебя подучим. Ты за все это ответишь... Марш!

— Куда вы его ведете? — в ужасе закричала старуха.

— Цыц ты у меня, ведьма! Все вы одного поля ягода... Цыц, а то тут тебе и конец...

Старик шел между двумя жандармами без шапки, беспомощно опустив голову. Кругом стояли молчаливые соседи, недоумевая, за что арестовали честного колесника, всегда тихого, прожившего в этом доме без единого скандала почти двадцать лет.

Через полчаса четверо жандармов ворвались в домик, испугав детей и жену Патлая. Их приезд сразу бросился в глаза. Здесь жили сахарники. Патлая знали все. Около дома через несколько минут собралась кучка рабочих.

— Что тебе передал мальчишка из тюрьмы? Говори! — как коршун налетел Дзёбек на жену Патлая.

— Я ничего не знаю...— шептала маленькая, худенькая, испуганная женщина. Дети мал-мала меньше жались в угол за ее спиной.

— Ну, ты...— Дзёбек похабно выругался.— Ты у меня заговоришь!

Он торопился. Чутье ищейки подсказывало ему, что именно здесь можно найти след, так или иначе ведущий к тем, кто напечатал воззвание.

— Ну, так вот... Вчера у тебя был этот Пшеничек... Он уже сидит у нас и все рассказал... Конечно, после того, как мы ему всыпали плетей... Так что отпираться бесполезно. Нам только надо сверить. Если же ты будешь отмалчиваться или крутить, то я с тебя шкуру спущу. Говори!..

Женщина попятилась в угол, ей было жутко.

— Я... ничего не знаю...

Дзёбек торопился.

— Кобыльский, дай ей для начала!

Четырехугольный Кобыльский, с бычьей шеей и низким лбом дегенерата, поднял руку, в которой держал плетеную нагайку.

И мать и дети вскрикнули сразу — мать от боли, дети от испуга.

— Замолчи, сука... Говори, что тебе передали! Говори! Кобыльский, дай ей еще!

Дикий крик женщины словно ножом резнул стоящих на улице.

— Что они с ней делают?

— Ой, хлопцы, что же вы стоите? Зайдите в дом.

— Может, там над женщиной знущаются, а вы рты поразявляли...

— Мало того, что человека в тюрьме гноят, так еще бабу мордуют...

— Эй, мужики, пошли!

— Стой! Куда? — крикнул на рабочих капрал, стоявший у двери.

— А что вы с ними делаете?

— Чего они кричат?

— Пусти в хату!

— Почему без понятых?

Услыхав эти гневные выкрики, Дзёбек подскочил к двери.

— Это что такое? Разойтись сейчас же!

Никто не уходил. Наоборот, со всех сторон на шум сбегались обитатели пригорода.

— Тетю Марусю нагайкой бьют! Я сам видел в окно...— кричал Василек, забравшийся на забор.

— За что бабу бьете? — глухо спросил у Дзёбека пожилой рабочий.

Толпа напирала. Дзёбек чувствовал, как страх холодной гадюкой ползет по его спине. Он знал: толпа сомнет его, если заметит этот страх. Он выхватил из кобуры револьвер.

— Разойдись, а то стреляю!

Передний ряд вогнулся, но отодвинуться далеко не мог, так как сзади напирали. Только бородатый рабочий, стоявший перед Дзёбеком, не сдвинулся с места.

— Ты этой штучкой не махай! Всех не перестреляешь... Убирайтесь-ка отсюда по-хорошему...

Выстрел ударил всех по сердцу.

Рабочий схватился за грудь, качнулся и повалился набок. Толпа вокруг него сразу поредела. Жандармы вытащили из дома жену Патлая и швырнули ее в извозчичью пролетку. Держа револьверы наготове, жандармы встали на подножки.

Дзёбек и Кобыльский вскочили во вторую пролетку и помчались.

А около убитого собиралось все больше и больше людей.

Слух о том, что польские жандармы убили слесаря Глушко, разнесся по переулкам пригорода. Он проник во все уголки и добрался до самых крайних землянок. Большинство людей устремилось к дому Патлая, чтобы собственными глазами убедиться в этом. Остальные горячо обсуждали случившееся у своих домиков.

— За что убили? — спрашивало сразу несколько голосов того, кто приносил эту весть.

— За Патлаеву бабу вступился. Так его той Кобыльский — знаете, что вышибалой у Пушкальской служил,— застрелил с револьвера.

— Не Кобыльский, а той, что рулетку на базаре крутил. А теперь он у их за вахмистра.

— А где же закон? Людей убивают ни за что ни про что.

— Закон один — кто палку взял, тот и капрал. Дожились до новых хозяев!

— Да, теперь так: день прожил, не повесили — скажи спасибо. Ну и житуха!

И только кое-где разговоры носили более решительный характер.

— Это о чем вы, хлопцы?

— Да так, языки чешем... Эти гады, что хотят, то и делают. А мы все больше на языки нажимаем. Потрепался — и до хаты! А ночью придут — тебе кишки выпустят...

— Что ж ты, такой храбрый, здесь стоишь? Пойди к панкам да поговори с ними.

— Чего ты зубы скалишь? Тут людей стреляют, а тебе шуточки!

— Говорил я: не носите, хлопцы, немцам ружей. Теперь вот немцы тикают, а с панками нечем справляться. Так и оседлают.

— Кабы дружный народ, а то каждый за свою шкуру трусится.

— От то-то же! Покажет дулю в кармане и давай тикать, чтоб не поймали...

— Нас тут одних фронтовиков, почитай, человек триста найдется... Не верю я, что все винтовки сдали!

Но тут в разговор решительно вмешивается жена:

— Гнат, иди домой! Иди домой, говорю!

На заводе Баранкевича заканчивала работу вторая смена. У главных заводских ворот скопилась густая толпа пришедших на смену. Часть рабочих прошла через контрольную будку в заводские цехи, остальные, узнав об убийстве, задержались у ворот.

— Чего стоите? Проходите, говорю вам! — кричал старый заводской сторож.

— Успеем... Еще гудка не было.

Андрий кидал в топку последнюю порцию угля. Стрелка часов подходила к трем. Кочегары сменялись на десять минут раньше других.

— Слыхал, Андрюша, Глушко застрелили ляхи,— сказал, подходя к нему, его приятель кочегар Дмитрусь.

В котельную входила новая смена, и Андрий уловил отрывистые фразы:

— А у ворот кутерьма начинается!

— Видал, охранники побежали туда?

За окном послышался выстрел. Кочегары переглянулись.

— Что там?

Несколько секунд все молча прислушивались, невольно ожидая следующих выстрелов. Андрий полез по лесенке на кожух котла. Наверху — три узких окна. Одно из них было открыто. Из него были видны заводские ворота. Там творилось что-то неладное. Вся площадь перед воротами запружена народом. Какой-то человек, взобравшись на ограду, что-то кричал в толпу. К воротам один за другим подбегали легионеры, охранявшие завод.

Из соседнего машинного отделения в котельную вбежал младший механик, пан Струмил.

— Почему вы не даете гудка на смену? — кричал он изо всех сил.

— Где Птаха? Давайте же гудок!

Видя, что его никто не слушает, механик сам схватил кольцо, прикрепленное к канату, открывающему клапан гудка, и потянул его вниз.

Мощный рев ошеломил Андрия. Он забыл обо всем. Он видел только начинающуюся у ворот свалку, и вдруг — этот рев.

Из всех дверей на заводской двор повалил народ.

Среди рабочих — половина женщин.

Андрий быстро спустился на пол.

Струмил отпустил кольцо. Рев смолк. Только теперь механик увидел Птаху.

— Где ты шлялся?

— Я в окно смотрел...

— А-а-а, в окно! Тогда получи расчет. Тебя нанимали для работы... Принимайтесь за дело! — крикнул Струмил кочегарам и выбежал в машинное отделение.

Андрий несколько секунд стоял неподвижно. Его захватила одна мысль.

Он колебался, отстранял ее. Но она уже завладела его волей. Сердце его замерло, как перед прыжком с высоты. И уже в следующее мгновение он ринулся к двери, запер ее, положил ключ в карман. Затем вернулся к котлам, схватился за кольцо и повис на нем. Рев возобновился.

— Ты что, с ума сошел, Андрий! — кинулись кочегары к Птахе.— Хочешь, чтобы нас всех поувольняли?

Но Андрий не слушал их. Он продолжал тянуть кольцо вниз.

— Брось, Андрюшка! Повыгонят же всех,— взмолился Дмитрусь.

Андрий схватил свободной рукой тяжелый лом, которым разбивали уголь, и закричал в лицо Дмитрусю:

— Скажи хлопцам, чтобы тикали отсюда! Через запасную... Пускай говорят, что ломом их дубасить стал...

Но его не было слышно. Тогда Андрий отпустил кольцо. Рев мгновенно стих. Ухватив обеими руками лом, сверкая глазами, весь черный от угольной пыли, он кричал товарищам:

— Выбегай через запасную! Ребята, по-дружески прошу — выбегай сейчас же! Я гудеть буду, чтобы народ поднять... Пущай меня одного мордуют... Выскакивай, хлопцы, а то вдарю ломом! Живей! — Он замахнулся. Кочегары гурьбой бросились к запасному выходу.

Андрий набросил железные крюки на дверь, засунул

свой лом между дверными ручками и опять схватился за кольцо. Вновь, потрясая воздух, заревел гудок, прерывистый, страшный вестник несчастья. Он заставил всех в городе выбежать на улицы. Он вздыбил редкие волосы Баранкевича. Он заставил побледнеть Врону и бросил в дрожь Дзёбека. В тюрьме напряженно прислушивались к этому реву. Из немецкого эшелона выскакивали солдаты и оглядывались вокруг. А гудок продолжал реветь...

В дверь котельной ломились охранники. Но окованная железом массивная дверь чуть вздрагивала под ударами их прикладов.

— Несите лестницу! Марш к окнам! Стреляй по нем, пся его мать! — кричал капрал охране.

Андрий узнал об опасности, лишь когда в окно грянул выстрел и пуля свистнула у его головы. Он невольно выпустил кольцо. Рев смолк. Спасаясь от нового выстрела, Андрий бросился к угольной яме.

Вытянув руки с карабином вперед, в окно втискивался легионер. Птаха метался в угольной яме, как пойманная мышь. Он чувствовал, что приходит конец его бунту. Его охватило отчаяние.

Окно было узкое, и легионер с трудом продвинулся в него одним плечом. Сзади его подталкивали. Тогда Андрий схватил кусок антрацита и, рискуя быть убитым, выскочил из ямы. Размахнулся, с силой швырнул углем в окно и попал в лицо легионера. Тот взвыл. Лицо его вмиг окровавилось. Он уронил карабин и повалился на руки державших его снизу охранников. Карабин лязгнул о цементный пол котельной. Вновь бабахнул выстрел. Андрий ошалел от радости. Он бомбардировал окно каменным углем.

За окном послышались дикие ругательства. Люди с лестницы поспешно сползли на землю.

Андрия охватило неистовство. Он отстегнул свой пояс и привязал им кольцо к регулятору давления. Гудок вновь зарычал. Уже не прерывисто, так как Птаха прикрепил ремень наглухо.

Теперь руки Андрия были свободны. Боясь быть застигнутым врасплох, он непрерывно швырял углем в окно.

В пылу борьбы Птаха забыл, что в котельной есть еще два окна. Только когда из обоих нераскрытых окон вылетели стекла и со стен посыпалась штукатурка, Андрий

с тоской понял, что с тремя окнами ему не справиться. Пули опять загнали его в угольную яму. В одном из окон появилось дуло карабина.

Андрий яростно швырнул туда кампем. Но выстрел из другого окна заставил его отпрянуть назад.

— Вот теперь конец! — сказал Андрий и чуть не заплакал. Его охватила апатия, расслабленность.

Он сразу почувствовал тяжелую усталость. И уже отказываясь от сопротивления, присел в углу ямы. Что-то больно ткнуло его в бок. Птаха невольно схватился за предмет, на который наткнулся. Это был наконечник пожарной кишки, которой кочегары пользовались для смачивания угля.

В усталом сознании что-то сверкнуло.

— А-а, вы думаете, что меня уже взяли, сволочи, панские души! Сейчас посмотрим! — кричал он, хотя его никто не слышал из-за сумасшедшего рева.

Андрий бешено крутил колесо, отводящее воду в шланги. Пар с пронзительным свистом вырвался из брандспойта. Вслед за ним хлынула горячая вода. Угольная яма наполнилась паром. Андрию нечем стало дышать. Дрожащими руками он схватил брандспойт и, обжигая пальцы, страдая от горячих водяных брызг, направил струю кипятка в котельную.

И уже не думая о том, что его могут убить, хлестнул струей по окнам. Он плясал, как дикарь, от радости, слушая, как взвыли за окнами. Теперь, сидя между котлами, он ворочал брандспойтом, не высовывая головы, и поливал окна кипятком.

Сердце его рвалось из груди. Вся котельная наполнилась паром. По полу лилась горячая вода. Андрий спасался от нее на подмуровке котла. Ему было душно. Жгло руки. Но сознание безвыходности заставляло его продолжать сопротивление.

Рев несся по городу.

Могельницкий прискакал в штаб.

— Что у вас здесь творится? — резко спросил он Врону.

Капитан приложил руку к козырьку.

— По-видимому, серьезные беспорядки, пане полковник. Мой вахмистр пристрелил одного рабочего, оказав-

шего сопротивление. И вот на заводе отказались работать, митингуют. Я послал туда Зарембу...— внешне спокойно рапортовал Врона.

Эдвард зло кусал губы.

— Кто это гудит? Почему вы допустили до сих пор этот набат? Что, они захватили завод?

Врона немного опустил руку. Ему было неприятно стоять навытяжку. Он ожидал разрешения стать вольно, как это всегда водилось между старшими и младшими офицерами из вежливости.

— Нет, на заводе наши охранники. Но один из кочегаров засел в котельной, и до сих пор его не удается выкурить оттуда.

Могельницкий со сдержанной яростью ударил рукой по эфесу палаша.

— Один человек, говорите? Послушайте, капитан, что это — насмешка? Один человек будоражит весь город, а вы спокойно наблюдаете.

За окном выл гудок, мощный, неутомимый. Это выводило Могельницкого из себя.

Врона стоял перед ним неподвижно, как истукан, с застывшей на лице гримасой. Эдвард лишь теперь заметил свою оплошность.

— Вольно! Ведь вы же понимаете, что теперь не до этого,— раздраженно махнул он рукой.

Врона молча опустил руку.

За окном что-то затрещало, словно ломали сухие сучья, и смолкло. Могельницкий быстро подошел к окну.

— Это Заремба прокладывает себе дорогу,— объяснил Врона.

Могельницкий обернулся к нему.

— Как ведут себя немцы из эшелона?

— Пока ничего. В город ходят не меньше, чем взводом. Всегда наготове. К эшелону никого не подпускают... Их человек семьсот. Четыре орудия, броневтомобиль. Разложения не заметно, офицеры на местах... В магазинах они забрали все продовольствие и расплатились расписками. Я приказал полицейским их не трогать, а магазины закрыть. Если будут ломиться силой, то придется что-нибудь предпринять.

— Да, да, их не надо трогать,— сказал Могельницкий уже менее раздраженно.— Скажите, как по-вашему, это все «их» работа?

Врона понял, о ком говорит полковник.

— Конечно. Одно воззвание чего стоит. Но все же не убей вахмистр этого хлопа, я думаю, было бы тихо.

— А вам что-либо удалось узнать?.. Кто это напечатал?

— Пока ничего.

Могельницкий прошелся из угла в угол, что-то решая. Затем подобрал палаш, сел к столу.

— Вот что, пане капитан,— сказал он решительно.

— Слушаюсь.— Врона опять вытянулся.

— Вы понимаете, пане Врона, если мы допустим такую обстановку в городе еще на один-два дня, то...

— Понимаю,— ответил Врона.

Могельницкий поднялся. Он поправил рукой высокий, обшитый золотым жгутом воротник шинели, словно ему было трудно дышать, и докончил свою мысль:

— Так будьте добры приступить к делу. Прежде всего — приказываю сегодня ночью расстрелять всю эту шваль в тюрьме. Выведите их за город куда-нибудь подальше. Пусть завтра об этом расклеют во всем городе извещение от моего имени.

— Слушаюсь.

— Затем, если кто-нибудь высунет нос на улицу после семи часов вечера,— расстреливайте! — Эдвард с силой натянул перчатку на руку.— Надо загнать скот в стойло. Стадо есть всегда стадо. На то и существует плетка.

За окном завывал гудок.

— И чтобы я больше не слыхал от вас, пане капитан, таких ответов... Вроде того, что вы не могли справиться с одним человеком, который все-таки воет до сих пор.

— Там Заремба. Гудок должен прекратиться, пане полковник.

Могельницкий, не слушая его, пошел к двери.

— Вы поедете со мной.

Стоящий на часах жандармский капрал отдал им честь, и когда они сошли вниз, вошел в кабинет Вроны и сел у телефона.

Перед штабом выстроился взвод кавалерии.

Владислав Могельницкий ездил перед строем, прилипая толстым задом к седлу, то и дело поправляя обшитую серебром конфедератку. Увидев брата и Врону, дал шпоры коню и закричал, срываясь на визг:

— Взвод, сми-и-и-рно!

Эдвард сунул ногу в стремя, сделал усилие, чтобы «легко» вскочить в седло.

«Старею, что ли? Эти парижские лимузины отучили даже ходить,— с досадой подумал он и поморщился от боли.— А тут еще этот геморрой! Совсем не для кавалериста...»

Врона подъехал к нему.

— Посмотрим, какие там серьезные беспорядки,— иронически сказал Эдвард и прикоснулся шпорами к бокам лошади.

Владислав взвизгнул команду, и сзади нестройно зацокали копыта.

Первую толпу они встретили у аптеки.

— В чем дело? — резко крикнул Эдвард, чувствуя, что у него запрыгала правая бровь.

Ближе всех к нему стояла полная интеллигентная дама, прилично, но бедно одетая.

— Сюда привезли троих раненых... Одной женщине глаз выбили,— ответила она по-польски и как-то виновато улыбнулась.

— Кто их ранил?

Дама смутилась и не нашла, что ответить.

— Тут на конях приезжали ваши же, господин офицер.

— Бьют народ ни за что ни про что...

Врона резко повернул лошадь в сторону, откуда слышались голоса.

— Кто это сказал?

В толпе началось движение. Из задних рядов уже удирали.

— Займитесь ими,— сквозь зубы процедил Эдвард и двинул лошадь вперед.

Толпа расползлась перед ним, как мягкое тесто, в которое всунули кулак.

— Эй, вы! Марш по домам! Если еще хоть одна стерва появится на улице, то пусть простится с головой!

— Пане подпоручик, прикажите дать им плетей...— услыхал Эдвард за своей спиной приказ Вроны.

Он резко дернул поводья и поскакал.

«А неприятная эта служба жандармская. Грязная работа!» — брезгливо поежился он. Такое же ощущение брезгливости испытал он впервые, когда поймал вошь

у себя за воротом во время своих переходов через фронты.

Врона нагнал его.

— Я думаю, пане полковник, вам не следует одному далеко отъезжать от взвода. Сейчас пан Владислав справится там, и мы двинемся вперед.

— Ну, для этого стада хватит пока одной нагайки,— с презрением ответил Эдвард.

— Да, но если хоть один из них швырнет камнем...

Крики сзади стихли. Взвод приближался. Улица была пуста.

— Все это раньше делала полиция, а теперь, как видите, самим приходится очищать улицы от этого навоза.

Врона злорадно улыбнулся. «Привык, небось, жар чужими руками загребать, штабная крыса! Ничего, они с тебя спесь собьют немножко... Подожди, не то еще будет»,— с каким-то удовольствием подумал капитан.

Врона всю войну провел в окопах. Был дважды контужен. Он происходил из разорившейся помещичьей семьи. С трудом дослужился до чина капитана. Неудачник в жизни, на войне он ожесточился до последней степени. Он ненавидел серую солдатскую массу, но ненавидел также и тех, кто за спиной фронта пьяно прожигал жизнь в далеких штабах, городах, наслаждаясь всем, что ему было недоступно. У него не было ни денег, ни связей, могущих вытащить его из окопной грязи, туда, в тыл, к угарной и веселой жизни. Попав в плен к австрийцам, он даже обрадовался, так как избегал опасности получить пулю в спину от своих же солдат, ненавидевших его за жестокость. В Австрии его как поляка завербовал в свой легион Пилсудский. И Врона опять принялся за ремесло профессионального убийцы, только уже по ту сторону фронта, сменив цвет мундира и кокарду. Когда немцы, не поладив с Пилсудским, посадили его в Магдебургскую крепость (конечно, комфортабельно обставив это бутафорское заключение), а его легион расформировали, Врона сбежал в Варшаву, не желая больше драться в австрийской армии. В Варшаве его нащупали вербовщики польской войсковой организации[1], а затем вместе с поручиком Зарембой откомандировали к Могельницкому на Волынь.

— А вот опять сборище! — крикнул Эдвард.

[1] Нелегальная военная организация Пилсудского.

Врона поднял голову. На перекрестке, где сходились две центральные улицы, у закрытой булочной, действительно была густая толпа. Врона обернулся и махнул рукой. Взвод перешел в карьер и выстроился за их спинами.

Из толпы неслись крики:

— Почему хлеб не продают?

— Что это такое? Сдыхать, что ли с голоду?

Чтобы освободить место для взвода, Эдварду надо было или отъехать в сторону, или пробиться через толпу. Он с силой ударил коня шпорами. Горячий конь вздыбился. Испуганный крик женщин и детей, возмущенные возгласы — все это не остановило Эдварда. Самолюбие не позволяло ему отступить. Кусая от бешенства губы, он наехал на толпу.

— Да куда же вы? Дети... смотрите, дети! — истерически закричала какая-то женщина.

Эдвард приподнялся на стременах, задыхаясь от нахлынувшей ярости.

— Са-а-абли!..— взвизгнул Владислав.

Кто-то схватил лошадь Эдварда под уздцы. Это было последним толчком. Эдвард вырвал палаш из ножен. Еще секунда, и он размозжил бы голову наглеца. Но резкий предостерегающий крик: «Zurück!»[1] и мелькнувший у самой лошади красный околыш немецкой фуражки остановили его руку. Эдвард вырвал поводья.

Только теперь он заметил в толпе нескольких немецких солдат, а в переулке военную повозку, по-видимому, приехавшую за хлебом.

Сзади Владислав доканчивал команду:

— ...наголо!

— Отставить! — с бессильной злобой выкрикнул Эдвард.

Врона тоже заметил немцев. Они стояли теперь плотным рядом, преграждая ему дорогу, настороженно выдвинув вперед тяжелые винтовки с привинченными к ним короткими тесаками.

От толпы не осталось почти ничего. Она разбежалась, освобождая улицу. Только издали кое-кто из наиболее смелых наблюдал, чем окончится это неожиданное столкновение.

---

[1] «Назад!»

Гудок продолжал реветь. Он напоминал Эдварду о другой опасности. Кровь медленно отливала от его лица. Конечно, они могли смять эти несколько фигурок в темно-зеленых мундирах. Но за ними стояли четыре орудия, бронеавтомобиль и семьсот штыков. Приходилось жертвовать самолюбием и идти на компромисс. Это было мучительно. Но расчет всегда побеждал в Могельницком.

— Что вам угодно? — сухо спросил он по-немецки того, кто схватил под уздцы его лошадь. Это был белобрысый лейтенант с голубыми близорукими глазами, которые настороженно следили за Эдвардом сквозь стекла пенсне.

— Мне угодно, чтобы вы вложили свою саблю в ножны.

Эдвард следил, как смешно подпрыгивал пучок усов под носом у лейтенанта, когда тот говорил.

— Если вас это нервирует, то я могу оказать вам такую любезность,— объявил Эдвард и не спеша вложил палаш в ножны, слегка порезав при этом палец. Зажимая другим пальцем порез, Эдвард выразительно посмотрел на лейтенанта, затем на солдат.

Лейтенант уже застегивал кобуру, в которую только что вложил револьвер. Затем он обернулся к солдатам, и резкая, как лай, команда вскинула винтовки солдат на спину.

— С кем имею честь говорить? — задал в свою очередь вопрос немец.

— Полковник граф Могельницкий,— приложил руку к козырьку Эдвард.

— Полковник? Позвольте спросить, какой армии? Я что-то не видал такой формы,— еще более прищурился лейтенант.

— Польской армии,— медленно отчеканил Эдвард, чувствуя, что его опять охватывает ярость.

— Польской армии? — удивленно переспросил лейтенант.— Нам неизвестна такая армия.— Короткие усики его опять прикоснулись к носу.

— Неизвестна! Что ж, я думаю, в дальнейшем вы с ней познакомитесь,— со скрытой угрозой ответил Эдвард и подобрал поводья.— Поговорите с ним, пане Врона... Если хлеб нужен, пусть возьмут. Я не могу больше разговаривать с этим швабом. Еще несколько слов, и я разобью

ему голову вместе с его дурацкими очками,— сказал он по-польски, и объехав немца стороной, поскакал вперед.

Владислав со взводом последовал за ним.

У тюрьмы все было спокойно. Возле ворот — кучка легионеров вокруг тяжелого пулемета.

— Вы помните, пане Врона, что я вам сказал?

— Я обязан помнить, пане полковник. Здесь вахмистр ведет последнее дознание...

Гудок ревел. Эдвард остановил коня, долго прислушивался к этому реву, и правая бровь его вновь запрыгала. Он пытался прекратить тик прикосновением руки, но это не помогло.

— Капитан, скажите, чтобы из тюрьмы позвонили в штаб и всех, кто там есть, послать к заводу... Видно, Заремба тоже не смог справиться. Приходится самому заняться этим. Я-то уж заткну ему глотку.— Он ударил коня.

Взвод едва поспевал за ним.

Люди бросались во дворы, едва завидя мчавшихся всадников. Не успевшие спрятаться жались к стенкам. Если где-либо они встречали кучку людей, то она сразу таяла. Только ближе к заводу эти кучки становились все гуще и рассеивались уже не так быстро.

Еще один поворот, и толпа запрудила все подходы к заводу. Здесь было несколько тысяч человек.

Гул толпы смешивался с ревом гудка. При виде этого огромного людского сборища Эдвард растерялся. Он не ожидал такого размаха. Невольно он остановил коня. К нему подскакали Врона и Владислав.

Надо было что-то предпринимать. Стоять неподвижно перед толпой было невозможно.

— Капитан, прикажите им разойтись. Немедленно же!

Пока Врона кричал в толпу, Эдвард отдавал приказания.

— Снять карабины! Стрелять только по команде.

— Займите вот тот переулок... В плеть тех, кто там торчит!

Раздавая удары направо и налево, легионеры вытеснили людей из переулка и выстроились дугой.

— В последний раз,— кричал Врона,— приказываю!

Толпа, словно ее разрезали надвое, откатилась,

оставляя открытой дорогу к заводским воротам, и застыла в неподвижности.

Эдвард отъехал в одну сторону. Владислав и Врона — в другую.

— Пока стрелять в воздух,— тихо сказал Могельницкий.— Передайте команду по взводу.

Легионеры вскинули винтовки на прицел. В толпе началась паника.

Но расстояние между толпой и легионерами увеличивалось медленно.

Стоящие сзади, не зная, что делается впереди, невольно сдерживали хлынувшую на них людскую волну. Спасаясь от гибели, передние валили с ног людей, пробивая себе дорогу, что увеличивало панику. Эдвард торжествовал: «стадо есть стадо».

— Пли! — крикнул он.

Залп полоснул по воздуху, словно кто-то рванул надвое огромное полотнище. Толпа откатывалась уже стремительней, оставляя на земле сшибленных людей. Тем, кто еще стоял на ногах, казалось, что это лежат убитые и раненые.

— Пли! — крикнул Эдвард.

Он прекратил эту команду, лишь когда взвод расстрелял всю обойму.

Площадь была наполовину свободна. Человеческая лавина откатывалась все дальше, все стремительней...

Заводские ворота открылись. Взвод Зарембы, обнажив сабли, помчался за убегающими.

— Марш вперед! — крикнул Эдвард. — Загоните их в стойла!

Взвод Владислава ринулся вперед. Эдвард и Врона поскакали к воротам...

Полчаса гонялись за людьми оба взвода.

На улице не осталось ни души. Избитые и раненые сами уползали, спасая свою жизнь.

Вслед за Могельницким на заводе появился Баранкевич и городской голова Сладкевич. До сих пор они не осмеливались показываться.

На заводском дворе стояло человек восемьсот рабочих.

— Почему вы их не выпустили отсюда? — с недоумением обратился Эдвард к подпоручику Зайончковскому, которого Заремба оставил здесь в резерве.

Подпоручик, совсем еще мальчик, неумело козыряя, смущенно оправдывался:

— Так приказал пан поручик. Он боялся, что они соединятся с этими.

— Тоже политик! Завод надо было очистить сразу же. А то там, на улице, думали, что здесь их всех перевешали. Худшую провокацию трудно придумать! — раздраженно говорил Могельницкий, пожимая руки адвокату и сахарозаводчику.

— Что же это творится? Это же бунт! Надо положить этому конец!

— Не волнуйтесь, пане Баранкевич, все, что нужно, будет сделано,— успокоил его Эдвард.

— Но у меня завод завален свеклой. Она у меня сгниет! Я не могу допустить, чтобы завод стоял... Каждый день мне стоит несколько тысяч,— раздраженно говорил Баранкевич.

Эдварду противен был этот толстяк, о жадности которого ходили анекдоты.

— Есть вещи посерьезнее свеклы, пане Баранкевич. В Павлодзи восстание. В Холмянке и Сосновке поднялись мужики...

— А как же с нашими? — испуганно вскрикнул подпоручик Зайончковский.

— Не беспокойтесь, подпоручик: по дороге в город я встретил вашего отца и всю семью. Они теперь у нас. Все живы и здоровы.

— Простите, пане полковник...

— Ничего, я понимаю вас.

— Потом эти немцы на вокзале... Берут в магазинах все, что заблагорассудится,— вмешался Сладкевич.

Могельницкий обернулся к нему и сказал, не скрывая пренебрежения:

— Я думаю, пан Сладкевич не откажет нам в любезности пойти поговорить вот с этими,— указал он на рабочих.

Во двор уже въезжал Владислав с частью взвода. Другая часть патрулировала улицы.

— Приказ выполнен, пане полковник,— с особым удовольствием отчеканивая последние два слова, доложил он Эдварду.

Из-за рева гудка Эдвард едва расслышал его. Он подошел к брату. Владислав нагнулся к его голове.

— Бери взвод и отправляйся домой. Здесь обойдемся и без тебя, а там никого нет. Расставь часовых и будь

начеку. Держи по телефону связь со штабом. Ну, с богом.

Владислав откозырнул и стал поворачивать лошадь. В ворота въезжал Заремба со своими.

— Пане Баранкевич, идите успокойте свою супругу. Порядок восстановлен. Вечером приезжайте к нам, поговорим. А я сейчас займусь этим.— И Эдвард посмотрел на фонтан из пара, поднимающийся над крышей котельной.

— Пане Заремба, прикажите рабочим оставить завод. Все равно этого попугая никто не слышит. Чтобы через двадцать минут здесь никого не было. А мы пойдем затыкать глотку этой бестии.

Подпоручик Зайончковский на ходу рапортовал Эдварду:

— Теперь он, пане полковник, закрыл пар. Видно, ему там дышать нечем стало. Мы обрадовались было. Но когда мы полезли к окнам, то он выстрелом ранил одного солдата... Видите ли, при первой атаке легионер, которого он ударил камнем, уронил туда карабин. В нем было четыре патрона. Падая, карабин выстрелил. Значит, осталось три. Теперь этот бандит выстрелил. Значит, у него два патрона... Потом он всегда может пустить шланг в работу. Он там, как в крепости... Механик говорит, что пара хватит еще на несколько часов.

— Позовите сюда механика.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Василек пробрался на завод с первой группой рабочих, пришедших на смену. Он во что бы то ни стало хотел первым рассказать брату, как убили дядю Серегу, их соседа.

Василек не раз пробирался к брату даже во время работы, как уж проскальзывая между рабочими, избегая встреч со сторожами. Часто целые смены проводил с братом в котельной, стараясь быть ему чем-нибудь полезным. Кочегары любили этого шустрого мальчишку, быстро постигающего искусство кочегарного дела.

Один раз он даже попался на глаза пану Струмилу, но кочегары заступились за мальчика, и механик махнул

рукой. Мальчик помогал кочегарам разгружать вагоны с углем, знал в котельной все ходы и выходы и вскоре нашел себе удобную лазейку, через которую пробирался в котельную, минуя всех дверных контролеров. Он забирался на угольный двор, залезал в широкую вентиляционную трубу, по которой спускался к выгребной яме, куда сваливался отработанный угольный шлак. Потом по железной балке добирался он к угольной яме, а оттуда, отвалив два-три куска антрацита, попадал в котельную, в выемку, из которой брали уголь. Свой секрет Василек не выдавал никому, даже брату. Ему было приятно появляться неожиданно и вызывать восхищение кочегаров ловкостью, с которой он проскальзывал мимо контролеров.

Ужас охватил Василька, когда он узнал, что Андрий заперся в котельной и что его хотят убить. Мальчик с замирающим сердцем следил за попытками легионеров забраться в котельную.

Когда эти попытки провалились, радости его не было границ. Василек метался среди рабочих и, умоляюще глядя полными слез глазами, спрашивал знакомых кочегаров:

— Скажите, дядя, что они с ним сделают?

Кочегары хмуро отмалчивались. А один взял его за руку и отвел в сторону:

— Улепетывай отсюдова, пока живой! Один уже достукался... Или хочешь, чтобы тебе башку свернули под горячую руку?

Василек увернулся от него. Заливаясь слезами, опять побежал смотреть, что делают легионеры.

За тем, что происходило в котельной, наблюдали все рабочие, задержанные на заводском дворе. Отчаянная отвага одиночки, перед которой оказались бессильными вооруженные легионеры, покорила сердца. Сумрачные, измученные тяжелой работой люди чувствовали в сопротивлении одного человека укор своей пассивности. А рев не давал забыть об этом ни на одну минуту. Теперь судьба Птахи глубоко тревожила всех. Восхищаться им стали открыто, особенно женщины. Послышались негодующие голоса:

— Стыдились бы, мужики, глядеть! Одного оставили на погибель, а сами — дёру!

— Больше с бабами воюете...

— Там они герои — бабам зубы выбивать...

Возбужденные криками женщин, гудком и всем

происходящим, рабочие отказывались уходить со двора. Легионеры пустили в ход штыки. Кавалеристы теснили их конями и хлестали плетьми.

Заремба охрип от крика. Сопротивляясь, разъяренные рабочие стащили с лошади одного легионера. Его едва отбили. С большим трудом эскадрон Зарембы очищал двор.

Василек не находил себе места. Эту мятущуюся маленькую фигурку уже приметили легионеры.

— Эй, ты! Чего тебе здесь? Стой, пся твоя мать! Куда бежишь? — крикнул на него один. Василек нырнул в толпу и, работая локтями и головой, забирался в самую гущу. Боясь, чтобы его не поймали, он убежал через служебный ход на угольный склад и тут только вспомнил о своей лазейке...

Добравшись до угольной ямы, Василек долго в темноте ползал по углю, больно натыкаясь на камни коленями и головой, ища прохода к выемке и не находя его. Он был засыпан вновь привезенным углем. Тогда мальчик стал разгребать уголь, оттаскивая в сторону тяжелые куски. Один из них скатился назад и больно ударил его но босым ногам. Василек упал и долго плакал. Но, наплакавшись, вновь принялся за работу. Он уже вырыл небольшую яму. Но разгребать становилось все труднее. Уголь приходилось таскать наверх и бросать подальше, чтобы он не катился на голову. Угольная пыль лезла в нос и глаза. Он чихал и отплевывался. Но углю конца не было видно. Василек подумал, что он не там копает. Ему стало обидно и страшно. Он опять заплакал.

— Андрий, Андрю-ю-юшка!..— закричал он изо всех сил.

Андрий подскочил, словно его ужалили.

— Тьфу, черт!

Ему показалось, что где-то за спиной плачет Василек.

Птаха стоял в угольной яме, держал в руках карабин и не отрывал глаз от окон.

Брандспойт лежал тут же, рядом. Пар, который чуть было не задушил его, медленно выходил через окна. В котельной было мрачно и душно.

Андрию иногда казалось, что все это — дурной сон. Уже прошло три часа, а его никто не выручал. И все, что он сделал, ни к чему. Его все равно возьмут и застрелят. И никому до этого нет дела. Все в стороне, только он один, Птаха, должен положить свою голову!..

— Андрюшка! — где-то совсем близко кричал Василек.

Сверху скатился камень и больно ударил Андрия по плечу. Вслед за тем радостный крик: «Это я, Васька!» удержал Птаху от выстрела.

Настоящий, живой Василек спускался к нему. У Андрия застучали зубы при мысли, что он едва не застрелил его сейчас.

— Андрюшка, это я... Там их понаехало еще много... Целый двор на конях. И самый главный ихний... Тикай отсюда! Тут дыра есть... Я скрозь нее каждый раз лазал. Только сейчас угля насыпали доверху, я не мог пролезть,— кричал Василек в ухо брата, обнимая его.

Сердце Андрия заколотилось.

— Откуда ты залез сюда?

— С угольного двора.

— Там хода нету...

— А я через трубу. Она широкая! И ты пролезешь. Идем, Андрюшка, идем! Бо их там наехало! Дядя Остап говорит, что они тебя убьют!

Василек тянул Андрия к отверстию.

— Лезь, а я за тобой!

Василек вскарабкался вверх. Птаха еще раз оглядел котельную, затухающие топки и полез за ним. Василек уже ожидал его там. Андрий осторожно взвел предохранитель и подал ему карабин. Затем, царапая плечи, втиснулся в дыру и, хватаясь руками за осыпающийся уголь, с большим трудом выбрался наверх.

Василек торопил его. Андрий схватился руками за тяжелую каменную глыбу и свалил ее в дыру. Мальчик помогал ему, руками и ногами сталкивая туда куски антрацита. Через минуту дыра была завалена.

Василек вел Андрия своими путями. Птаха с ужасом думал, что будет, если он не влезет в вентиляционную трубу. С огромным облегчением вздохнул он, когда вслед за Васильком просунул голову и плечи и стал медленно продвигаться вперед.

Когда они выбрались наверх, шел мелкий дождь. Угольный двор находился вне основной заводской территории, от которой он был отделен высокой каменной стеной.

Сюда шли подъездные железнодорожные пути.

Василек пошел на разведку. Скоро он вернулся и сообщил, что на путях никого нет.

— Там пустые вагоны стоят в три ряда. По серёдке под вагонами можно пройти, и никто не увидит. А около задних ворот никого нету. Их на замок закрыли. Мы на вагон влезем, а с вагона на ворота — и айда в поле! — говорил Василек в самое ухо Андрию.

Они сползли с угольной горы и, согнувшись, побежали между вагонами.

План Василька оказался прекрасным. Последний вагон стоял у самых ворот. Они перелезли через решетчатые железные ворота и бросились бежать по железнодорожному полотну.

Василек летел впереди, как птица, расставив руки и делая двухметровые прыжки. Он часто оглядывался, поспевает ли за ним брат. Андрий бежал что есть мочи. Дождь хлестал им в лицо. Низкие, тяжелые тучи заволокли все небо.

Андрий не бросал карабина. «Все равно убьют, если поймают. Так хоть порешу двоих под конец», — думал он, не веря еще, что спасется. И только когда завод остался далеко позади и подъездные пути стали поворачивать к вокзалу, Андрий остановился и, обессиленный, опустился на насыпь...

— Стой, Василек, не могу больше! — крикнул он и схватился рукой за сердце.

— Тикаймо, Андрюшка, тикаймо, а то догонят! — Боязливо озираясь, мальчик нетерпеливо подпрыгивал. Промокший до последней нитки, он зябко ежился от холода и испуга. Забрызганные грязью босые ноги его окоченели. Стоя на шпале, он нет-нет да тер ногу об ногу.

Ему казалось, что Андрий сидит очень долго.

— Уже будет, Андрюшка, побежим!

Птаха устало повернулся, посмотрел на ноги Василька и на какое-то подобие фуражки, блином прилипшей к его голове, на всю его согнувшуюся в три погибели фигурку в старой женской кофте, и острая жалость и горькая обида на собачью жизнь, при которой он не мог заработать даже на сапоги и одежду этому ребенку, сдавили ему горло.

«А теперь и куска хлеба не будет. И самому деваться некуда»...

— Андрюшка, — жалобно затянул Василек.

Андрий поднялся. Оттуда, где в густом тумане утонул завод, неслось грозное завывание гудка.

— Гудит,— с гордостью прошептал он, с наслаждением прислушиваясь к густому басу своего сообщника. И уже не побежал, а пошел быстрым шагом. Василек трусил мелкой рысцой рядом, поминутно оглядываясь.

С высокой насыпи Птаха увидел знакомый домик у водокачки и только теперь поверил в свое спасение.

— Василек, братишка! Пацаненок... Васька, стервец! Плевали мы теперь на них! А за тебя я еще рассчитаюсь...— Он обнял братишку, прижал его к груди. Благо, не надо было скрывать слез. Кто рассмотрит их, когда дождь обрушивается целыми потоками.

— Мы можем начать только ночью. А выйти сейчас кучкой в тридцать человек — глупость,— уже сердито отрезал Раевский.

Чобот упрямо мотнул головой.

— До ночи они всех поразгоняют и наших в тюрьме порешат. Сейчас — самое время. Я не согласный — и кончено!

Вслед за ним горячо заговорил Метельский.

— Товарищ Сигизмунд. Чобот прав. Когда массы вышли на улицу, когда рабочих расстреливают, мы обязаны выступить с оружием. Пусть нас разгромят, но мы не можем не выступить. Иначе мы покроем себя позором... Ведь это же аксиома марксизма... Пусть выступление преждевременно, но мы должны его возглавить, раз оно уже началось.

Раевский неодобрительно скосил на него глаза.

— Возглавить не значит плестись в хвосте.

Метельский вспыхнул.

— Первый раз слышу, что выступить с оружием — значит плестись в хвосте. Мне странно слышать это от вас...

— Факт,— прогудел Чобот.

Метельский нервно заходил по комнате. Лицо его, с тонкими чертами, с высоким, красивым лбом, вновь стало бледным. Большие темные глаза светились внутренним огнем. Во всей его фигуре было что-то хрупкое. Раевский еще раз посмотрел на молодого врача и уже более спокойно ответил:

— Мы слишком затянули наше совещание. Думаю, пора кончить этот бесцельный спор... Чобот и доктор против.

Я и Ковалло — за то, чтобы выступить ночью. К этому времени мы соберем и вооружим около двухсот железнодорожников и сахарников. К этому времени придет Щабель из Сосновки и, возможно, с ним крестьяне... Выступать же, чтобы только выступить, это не по-большевистски. Товарищ Метельский, нас заклеймят позором, если мы бросим тридцать коммунистов на верную и бесполезную гибель. А если вас послушать, то вы дадите врагу эту возможность. Я еще раз повторяю: все коммунисты должны сейчас мобилизовать рабочих. Да, да! Нужно поговорить с каждым, на кого есть надежда, что он возьмется за оружие. Вы сами видели, как кучка вооруженных панов расправлялась с тысячами людей. Почему это? Потому, что рабочие не были организованы, их били.

Для того и существует партия, чтобы организовать отпор. Здесь меньше всего нужны цветистые фразы. Давайте подумаем над тем, как лучше и быстрее вооружить рабочих. Я думаю, обо всем здесь говорено достаточно. За это время товарищи, посланные нами, сделали больше, чем мы здесь... У нас есть оружие, но нет еще патронов. Об этом надо помнить. Я против вашего предложения добывать патроны отдельно и везти их сюда. Склад близко у вокзала, и достаточно малейшей неудачи, чтобы мы не получили патронов. Поэтому отряд собирается здесь и общей массой двигается к патронным складам, снимает караульного, захватывает патроны и, уже будучи вооруженным, начинает наступление на город... Чобот протолкнет на завод две платформы с оружием и патронами. В поселке мы вооружим остальных, кто еще не успел или не решился примкнуть. Нашей опорой будет поселок. Большинство отряда будет оттуда. Вот и все!

Ковалло одобрительно крякнул.

— Очень жаль, что здесь нет товарища Патлая. Но ночью мы его освободим, так как тюрьма будет первым пунктом в городе, на который мы поведем наступление. Итак, решено, товарищи. Я как председатель предлагаю вам приступить к действию сейчас же. Но чтобы мы были уверены, прошу вас ответить — подчиняетесь вы этому?

Чобот обиженно посмотрел на Раевского.

— Какое может быть сумление? Что, мы партейную дисциплину не понимаем?

Раевский устало улыбнулся. Он поднялся из-за стола, подошел к Метельскому, дружески положил ему руку на плечо.

— Скажите, доктор, вы достанете все необходимое для перевязок? Без крови не обойтись ведь...

— Все, что нужно, я достану. Куда прикажете мне сейчас направиться?

— Не будьте ребенком, Метельский. Не время! Сходите на вокзал, прощупайте немцев. Вы как железнодорожный доктор сможете поговорить с офицерами. Какое у них настроение? Хорошо бы знать, какую немцы займут позицию, когда начнется наше столкновение с легионерами.

Они вместе вышли на крыльцо. Вечерело. Шел дождь. Было сыро и пасмурно.

— Погода хорошая,— сказал Раевский.— Что ж, друзья, расстанемся до девяти вечера. Ты, Григорий Михайлович, сходи к своим деповским. Пусть человек пять членов партии придут сюда. Нужно, чтобы у нас здесь была опора. Если у кого есть оружие, пусть захватят... А вот и твоя ласточка летит! — Раевский мягко улыбнулся.

Сверху сбегала Олеся.

— Все, что ты поручил, батько, я сделала,— сказала она запыхавшись.

Она немного смущалась чужих. Промокшее насквозь платье прилипало к ее телу, и она торопилась проскользнуть в комнату.

— А Раймонд где? — задержал ее Раевский.

— Мы с ним в городе расстались часа два назад. Он сейчас в поселке... Ядвига Богдановна понесла на вашу старую квартиру какой-то сверток с бумагами... Раймонд просил передать, что у тюрьмы стоят пять человек и пулемет. Я забегала к Воробейко, так он сказал, что паровоз будет,— быстро передала Олеся и шмыгнула в комнату.

— Хорошая у тебя дочка,— с грустью вздохнул Чобот. Он был бездетный.

— Спасибо. Жаль, что одна у меня. А девчурка как будто ничего,— неожиданно нахмурившись, тихо ответил Ковалло.

Дождь хлынул сильнее. Косые струи залили крыльцо.

Метельский нахлобучил шляпу и запахнул резиновый плащ.

— Пошли?

Раевский проводил их глазами до самой будки. Лишь когда они разошлись в разные стороны, он вошел в дом.

Олеся уже успела переодеться и вышла к нему из своей комнаты.

— А вы, наверное, ничего не ели? — смущенно спросила она, выжимая мокрую косу.— Я сейчас сварю картошки и принесу квашеной капусты... Батько никогда не догадается поставить горшок в печь. Я ведь ему приготовила,— с шуточным недовольством говорила она.

Могельницкий с холодной яростью щелкал концом плетеной нагайки по голенищу сапога.

— Быстрей соображайте, пане Струмпл! У меня нет времени. Вы допустили это безобразие, и, если в течение десяти минут не придумаете, как прекратить гудок, боюсь, что мне придется расстрелять вас.

Эдвард видел, как у механика заплясали коленки. Он даже не посмотрел ему в лицо.

— Смилуйтесь, пане полковник, в чем же моя вина?

— Не оправдывайтесь, а скажите, как его выкурить оттуда.

— Я уже думал...

— Плохо думали,— оборвал его Эдвард.

Они стояли в машинном отделении.

— Нельзя ли пар пустить к нему?

— Он выключил машинное отделение,— с отчаянием промямлил Струмпл.

И вдруг, широко раскрыв рот, так и застыл с этим идиотским выражением, осененный какой-то идеей. Радостно хлопнул себя по лбу:

— Есть, нашел! Пан полковник меня надоумил. Мы закроем дымовую тягу. Тогда он задохнется от дыма...

— Действуйте.

Через полчаса, когда густой, черный дым перестал валить из окон котельной, Эдвард приказал:

— Проверьте!

Запасная дверь открылась, и капрал, за которым стояло несколько легионеров, лазивших в котельную, кашляя и моргая слезящимися глазами, растерянно доложил:

— Никого не нашли, пане полковник...

— Что-о-о? — Эдвард до хруста в пальцах сжал рукоять нагайки.

Из котельной пахнуло угаром. Эдвард резко повернулся и, ни на кого не глядя, пошел к выходу.

Заремба, Врона, Зайончковский и Струмил вошли в котельную. Эдвард ходил по двору, не обращая внимания на проливной дождь.

— Ну? — недобро спросил он, когда Врона и Заремба вернулись.

Зайончковский и Струмил сочли за лучшее не показываться ему на глаза.

— Его действительно нет... И не придумаешь, куда он мог скрыться...

Теперь, когда замолк гудок, стало как-то особенно тихо.

— Значит, там никого не было? Или как все это прикажете понять?

— Был, но куда ушел — ума не приложим...— развел руками Заремба.

— Значит, вы его упустили?

— Этого не могло быть — все двери охранялись. Ничего не пойму, пане полковник...

— Если бы вы не были боевым офицером, поручик, я поступил бы с вами иначе. Пане Врона, когда мы приведем город в порядок, приказываю посадить поручика на пятнадцать суток под строгий арест. Эй, кто там, подать коня!

...Домик у водокачки наполнялся людьми. Первой пришла Ядвига. Пока Олеся возилась в кухне у печи, она успела рассказать мужу все новости.

За ней появился Воробейко. Он вынул из-под пальто разобранную двустволку и патронташ. Прикрепив стволы к прикладу, зарядил ружье и с удовлетворением поставил его в угол.

— Я патроны набил картечью. На двадцать шагов смело можно... Ночью не разберешь, с чего стреляют, а грому наделает достаточно. Для начала ничего! А это на закуску,— с гордостью сказал он, вынимая из кармана обойму с немецкими патронами.— Пять штук... У соседнего мальчишки выпросил. Подобрал где-то, чертенок. Ему

на что? А нам до зарезу... Дадим пятерым по патрону, каждый по разу бухнуть сможет...

Воробейко бережно положил обойму на стол. Вода текла с него ручьями. Но помощник машиниста был в хорошем настроении. Он смешно шевелил своими белесыми бровками и, часто шмыгая носом, оживленно рассказывал, каких «отчаянной жизни» парней он приведет.

— На ходу подметки рвут! — не нашел он более сильного выражения.— Как совсем стемнеет, я приведу их. А сейчас я понесся назад. Там еще поговорить надо кое с кем, да и паровоз пристроить. Кабы не немцы, так это бы плевое дело... Принес их черт как раз! Говорят, сейчас им вперед ходу нет — там им панки пробки ставят... Ну, я пошел,— заторопился он.

Уже в сенях вспомнил что-то, вернулся.

— А не принесть ли вам пока винтовку из камеры? А то занесет сюда нелегкая какую-нибудь стерву, отбиться нечем!

Раевский кивнул головой.

Когда Воробейко вернулся, в доме уже были Раймонд и несколько рабочих. Среди них — высокий белокурый юноша, которого Раймонд познакомил с отцом.

— Это Пшеничек. Он тебе расскажет про Патлая и других товарищей. Я его случайно встретил у Степового.

Раевский крепко пожал юноше руку.

— А это,— шепотом добавил Раймонд, указывая глазами на входящих рабочих,— пулеметчики. Ты, помнишь, говорил, чтобы я познакомил тебя? Вот этот высокий, Степовый, а другой, усатый, Гнат Верба,— это старые солдаты. Пулемет они между прочим принесли в мешках по частям. Мы его сейчас соберем на водокачке. Лента есть, только патронов нет... Остальные придут позже, как ты приказал.

В комнате становилось тесно. Высокий рабочий проверял принесенную Воробейко винтовку.

— Новенькая! Штык прикрепляется вот так: раз, два — и готово!

Раевский расспрашивал рабочих о настроении в поселке.

Ядвига ушла помогать Олесе. Раймонд тоже пошел в кухню, позвав с собой Пшеничека.

— Вот, Олеся, новый товарищ. Помните его?

Пшеничек, не зная, куда деть мокрую фуражку, крутил ее в руках. Ему уже рассказали об аресте отца. Тревога за старика не давала ему покоя.

— Присаживайтесь здесь вот, на лавке. Хоть и тесно, но уж извиняйте,— пригласила Олеся и ловко высыпала из горшка в большую миску вареный картофель.

Ядвига поливала маслом кислую капусту.

Раймонд чувствовал, что необходимо сказать девушке об Андрии.

— Олеся, вы знаете, кто это гудит?

— Нет, а что?

— Говорят, это Птаха закрылся в котельной.

Черные брови девушки встрепенулись. Она не чувствовала, что горячий чугун жжет ей пальцы.

— Как Андрий? Один?

— Да. Его окружили... До сих пор он отбивается от них.

Пшеничек следил за Олесей грустным взглядом.

— Как же так, Раймонд? Почему его оставили? Что ж он один сделает?

Раймонд не мог смотреть ей в глаза. Он вышел из кухни.

— Отец, ты помнишь, я тебе говорил об Андрии Птахе?

— Помню.

— Это он гудит на заводе. Его убьют. Разреши на̂м, отец, прошу тебя...

Раймонд чувствовал, что за его спиной стоит Олеся.

— Разреши нам... Сейчас еще товарищи придут из поселка... Все знают Андрюшу. Разреши нам выручить его!

— Да, жаль парня! Кончат они его,— негромко сказал стоящий у двери высокий рабочий, тот, кого Раймонд назвал пулеметчиком.

Брови Сигизмунда сошлись в одну сплошную линию.

— У нас нет патронов. И притом выступать по частям нельзя.

Никто не шевельнулся. Раймо̂нд стоял перед отцом, как немая просьба.

Раевский посмотрел в широко открытые глаза девушки, и она поняла, что он не уступит.

— Господи! Неужели у вас нет сердца! — чуть слышно прошептала она.

Седая голова Раевского на несколько секунд устало склонилась на руку. Концы усов сурово свисли вниз. Олеся вспомнила, что этот человек не спал две ночи. А сколько таких бессонных ночей было до этого! С какой любовью и уважением говорит о нем отец.

Этот редко улыбающийся человек всегда встречал ее ласково. Ей стало стыдно своей первой мысли...

Гудок внезапно оборвался. Несколько секунд никто не проронил ни слова. Олеся зарыдала и бросилась к себе в комнату. Упав на кровать, она содрогалась от рыданий.

Ядвига молча гладила ее по голове. В дом входили все новые и новые люди. Машинное отделение водокачки, сарай, большая комната и кухня едва вмещали пришедших. Вернулись Ковалло, Чобот, с ними железнодорожники. Всех мучил вопрос, почему замолчал гудок.

— Добрались-таки!

И вдруг в дверях появился Птаха. Сзади него — Василек.

— Вот те на! — ахнули все.

Птахе почудилось в этом возгласе какое-то разочарование, почти раздражение.

— Птаха, ты? — крикнул Раймонд, выбегая из кухни.

— А то кто же? — буркнул Андрий, удивленный множеством почему-то собравшихся здесь людей и тем, что у мостика их с Васильком остановил вооруженный Воробейко.

Заговорили все сразу.

— Смотрите, говорили, что он гудит на заводе, а он себе гуляет!

Услыхав восклицание Раймонда, Олеся вбежала в комнату. Ковалло исподлобья недовольно взглянул на Андрия:

— Тут про тебя сказки ходят, будто ты гудишь, а выходит, зря?

— Значит, там кто-то другой. Со страху те балды-кочегары перепутали...

— Кто же гудел?

— Отчаянный, видать, парень!

— Настоящий боец! Замечательный человек! Очень жаль, если эти негодяи его убили, — взволнованно сказал Раевский и поднялся во весь рост.

У Андрия потемнело в глазах от обиды. Измученный, похудевший за эти несколько часов, он стоял, низко опу-

стив голову, измокший, весь испачканный углем. Этого никто не заметил. Бывает так: люди, отвлеченные чем-либо волнующим, не замечают того, что в спокойной обстановке сразу бросилось бы им в глаза.

Про Птаху тотчас же забыли. Он был досадным эпизодом. Его считали героем, а он оказался праздно болтающимся парнем. Это вызвало у всех чувство недовольства, даже обиды за ошибку.

Олесе стало стыдно своих слез и того, что их все видели и могут всякое подумать о ней. То, что Птаха попал в такое нелепое положение, хотя и без вины с его стороны, больно задело ее девичье самолюбие.

Она смерила жалкую фигуру Андрия обидным взглядом. «И чего я в нем видела хорошего? Стоит, как дурак! Хоть бы ушел, что ли!» — зло подумала она.

Раймонд старался не встречаться с ней взглядом. Ему было неловко.

Василек возмущенно выглядывал из-за спины брата. Он не понимал, как это Андрюшка терпит. «По-ихнему, так мы и на заводе не были? А то, что мне углем пальцы поотбивало, так это их не касается,— почему-то именно о пальцах вспомнил он.— А еще мамка пороть будет»,— с тоской подумал он и готов был заплакать. Он уже начал сморкаться.

Андрий поднял голову.

Олеся видела, как внезапно побледнело его лицо. Он шатнулся и, чтобы не упасть, схватился рукой за стену.

«Что он, пьяный, что ли? Только этого не хватало!» — с испугом подумала Олеся... но что-то подсказывало ей иное. Ей стало жалко его. Она подошла к нему и тихо сказала:

— Чего ты здесь торчишь? Пройди на кухню. На кого ты похож! Тоже герой...

Андрий сделал шаг вперед, отодвинул ее рукой в сторону.

— Так, значит, надо мной насмешки строите? Я жизни не жалел... Вы все разбежались, меня одного оставили на расправу! Я один с ними бился, от вас подмоги ждал, а вы здесь прохлаждались... А теперь насмешки...— Андрий глотал слезы.

Все вновь смотрели на него. Его натянутый, как струна, голос, его волнение, весь вид, истерзанный

и возбужденный, заставили всех посмотреть на Андрия иными глазами.

Птаха больше не мог говорить. Шатаясь, он пошел в кухню, через нее — в комнату Олеси. Здесь Андрий опустился прямо на пол и так лежал в полузабытьи. Ошеломленная всем этим, Олеся тщетно пыталась добиться у него объяснения.

Зато Василек охотно рассказывал в кухне Раймонду и Пшеничеку обо всем происшедшем. Маленького свидетеля повели к Раевскому. Когда Василек освоился и обогрелся, он повторил свой рассказ, не преминув добавить:

— А ружжо Андрюшка с собой взял, ей-бо! Оно за сараем стоить. Сейчас принесу.— И, не ожидая согласия, исчез за дверьми.

Скоро он вернулся.

— Во! Заряженное.

Сигизмунд пошел в комнату Олеси. Птаха все еще лежал на полу.

Раевский приподнял обеими руками его голову. Из глаз парня текли слезы.

— Вы молодчина, Птаха! Я не беру своих слов обратно... А товарищам надо простить их ошибку.

Птаха нашел его руку.

— Это я гудел,— прошептал он.

— Никто в этом теперь не сомневается.

Раевский почувствовал в своей руке его разбухшие пальцы.

— Что с вашими руками?

— Я обварил их кипятком...

— Вы останетесь здесь и отдохнете. Я освобождаю вас от участия в бою. Охраняйте женщин.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Красный язычок коптилки лизал край глиняной чашки, наполненной воловьим жиром.

На стене коридора равномерно взмахивала крыльями тень какой-то огромной птицы.

Обхватив руками колени, Сарра завороженно глядела на крошечный язычок пламени. Меер сшивал дратвой голенище сапога.

За дверью в комнатушке затихло. Там улеглись спать. Меер нарочно выбрал бесшумную работу, чтобы не тревожить их. Старенький татэ прихворнул. Все эти невзгоды — выселение, переезд — подрезали его вконец. Старые заказчики сюда не пойдут — далеко, а новых не скоро найдешь. Репутация добросовестного сапожника приобретается годами. На новом месте все начинай сначала.

Трудно, очень трудно это, когда тебе шестьдесят четыре года...

Что хорошего, радостного видел отец за свою долгую жизнь? Сарра вспомнила его рассказы. Жизнь отца представилась ей бесконечной вереницей маленьких серых деревянных гвоздиков, похожих один на другой. Однотонный стук молотка, запах кожи, согнутая спина и труд, каторжный труд от зари до глубокой ночи. И это с одиннадцати лет...

Птица на стене взмахивала крыльями.

Сарра зажмурила глаза. Неужели и ее, и Меера, и Мойше, маленького рыженького Мойше, ждет та же судьба? Давно, когда она была совсем глупенькой, бабушка говорила ей: «Судьба — это загадочная гостья, и каждая девушка ждет ее прихода с трепетной надеждой. Судьбу эту посылает сам бог. Она неотвратима. От нее не уйти. И гневить судьбу не надо. Чем покорнее принимает ее человек, тем милостивее она к нему...»

Бабушка давно умерла. Забылись ее сказки, не взошли посеянные ею в детской головке библейские семена. И приди сейчас, в этот холодный осенний вечер, развенчанная в своей таинственности судьба, Сарра закрыла бы перед этой злой вестницей горя двери. Она и так знает, что жестяник Фальшток ходит к ним лишь для того, чтобы отравлять ее жизнь. Он уверен в себе — у него мастерская, он солидный жених. И хотя его мать истинная фурия (она даже сейчас бьет сына), какое ему дело до того, как будет жить с этой ведьмой его жена? У него трое рабочих и дом... Ему нужно жениться. А чем Сарра плохая невеста? Она будет рожать ему детей и варить вкусный фиш... А то, что она через пять лет станет старухой,— что ж, такова судьба еврейской девушки, если у ее отца ничего нет, кроме дочери...

Кто-то тихо постучал в дверь... Меер обернулся.

Теперь на стене вырисовывался профиль его всклокоченной головы с орлиным носом.

— Это Раймонд. Он... пришел за мной,— тихо сказала Сарра, поднимаясь.

Раймонд принес с собой запах сырой осенней ночи.

— Я сейчас оденусь,— Сарра тихо открыла дверь в комнату.

Раймонд пожал Мееру руку и сел против сапожника на стульчик отца.

Вышла Сарра, надевая жакет. Меер смолил дратву. Сарра видела — он недоволен.

— Куда вы пойдете в дождь... и так поздно. Нашли время! — Меер сказал это по-еврейски.

И все же Раймонд понял, о чем он говорит, и покраснел. Сарра несколько мгновений колебалась, затем тихо спросила:

— Можно ему сказать?

— Я не знаю,— с беспокойством ответил Раймонд.

— Думаю, что можно,— решила Сарра.— Послушай, Меер, оставь на минутку свою дратву!

— У меня срочный заказ, я не имею времени...

— Меер, сегодня в городе начнется восстание...— Она замолчала, увидев, как неподвижно застыли на ней такие же большие и черные, как у нее, Мееровы глаза.

— Восстание? Откуда ты знаешь? И...— Он не договорил.

Сарра прикоснулась к его плечу:

— Меер, может, ты пойдешь с нами?

— Куда?

— Если пойдешь, скажем.

Меер быстро заморгал, болезненно кривя губы.

— Никуда я не пойду! — резко дергая облепленную смолой дратву, сказал он.

Тень птицы на стене взмахнула одним крылом.

— И ты не пойдешь... Иди спать... А ему скажи, пусть он больше сюда не приходит... Да, да, пусть не приходит! Я не хочу, чтобы тебя повесили,— зашептал он испуганно и зло.

Раймонд вслушивался в непонятную речь, стараясь разгадать ее смысл. По еле уловимому движению в его сторону он понял, что Меер говорит о нем.

— Что ж, оставайся, а я пойду. Я думала, что ты не такой...— Она хотела сказать «трус», но не смогла произнести этого слова.

Колодка с голенищем упала с колен Меера на пол. Все испуганно оглянулись на дверь.

— Ты бы подумала о семье... об отце! Что ты хочешь, чтобы нас всех порезали? Где у тебя совесть? Чего тебе там нужно? — шептал он, все больше волнуясь.

— Моя совесть?.. Я хочу жить, Меер. Жить хочу! Разве это бессовестно?

— Хе! Хочешь жить? А идешь на смерть...

— Я не могу больше так! Вечно голодать, жить в нищете... Чтобы каждый, у кого есть деньги и власть, мог пинать тебя сапогом в самое сердце... Скажи, для чего жить вот таким червяком, которого каждая из этих гадин может раздавить? Лучше пусть меня убьют на улице! — так же шепотом страстно говорила Сарра.

— Кто тебя этому научил?

— Жизнь научила, эта проклятая жизнь...

— Люди поумнее тебя ничего не могли сделать, а ты думаешь свет перевернуть?

Сарра встала.

— Не смогли сделать? Ты ждешь, чтобы тебе кто-то сделал. А сам ты будешь ползать перед Шпильманами и Баранкевичами! Проклинать судьбу и грозить кулаком, когда этого никто не видит... А мы хотим с ними покончить! Это же и твои враги. Почему же ты боишься поднять руку на них? Где же твоя совесть?

Меер раздраженно посмотрел на нее.

— Моя совесть — это семья.— Он нервно мял худыми пальцами комок смолы.— Без нас они сдохнут с голоду. Понимаешь? Сдохнут! И никто им не поможет... Хочешь идти — иди! — Он ожесточенно махнул рукой по направлению к двери.— Иди, иди! А я еврей, нищий сапожник... У меня нет родины, за которую я должен положить голову... Был русский царь — меня гоняли, как собаку. Пришли немцы — то же самое. Теперь поляки — на улицу страшно выйти. Ну, а если вместо них придут гетманские гайдамаки, то нам станет легче? Я не знаю, какое там восстание и кто кого хочет прогнать. Я знаю только, что еврей должен сидеть дома...

— Сегодня ночью поднимутся рабочие.

— Рабочие? — растерянно переспросил Меер.

На вокзале протяжно загудел паровоз. На мгновение смолк. Затем еще три коротких гудка. Они донеслись сюда приглушенные, далекие. Раймонд быстро встал.

— Прощай, Меер! — взволнованно сказала Сарра.
— Так ты идешь? — Голос Меера дрогнул.
— Да.

Меер с тоской посмотрел на нее. Сарра ждала еще несколько мгновений.

— Перебьют вас. С чем вы против них пойдете? — чуть слышно пробормотал он.

Затем, тревожно мигая воспаленными веками, нагнулся, поднял с земли зашитый в кожу сапожный нож.

— Возьми хоть это...

Дверь за ними закрылась. Меер долго сидел неподвижно. Тревожные, недобрые мысли не оставляли его.

В комнате, стоя, тесно прижимаясь друг к другу, смогли поместиться около пятидесяти человек. Остальные стояли во дворе, на крыльце и в дверях, ведущих в машинное отделение. Все были вооружены винтовками с примкнутыми штыками.

Окно, обращенное к переезду, Олеся завесила одеялом. Андрий, переодетый в сухое платье Григория Михайловича,— Ковалло приказал ему это сделать,— стоял с другими в кухне. Васильку Олеся тоже достала батьковы штаны, дала ему свой старый свитер, и сейчас он старательно натягивал на ноги ее чулки. Тут же около него стояли Олесины ботинки. Мокрую, грязную одежду обоих братьев Олеся бросила в чулан.

— Ну и длинные! — сопел Василек.

Он торопился. Ему хотелось послушать, что говорил высокий дядя с седыми усами.

— Я думаю, друзья, много говорить не надо,— сказал Раевский.— Каждый из вас пришел сюда добровольно, каждый знает, для чего. Давайте же, товарищи, решим крепко: у кого сердце не выносит боя, пусть уйдет! А те, кто остается, кто решил покончить с этими грабителями, с вековыми нашими врагами, тот пусть даст слово рабочее в бою не бежать.— Раевский помолчал.— А кто побежит...— он вгляделся в лица товарищей, как бы спрашивая их.

— Того будем стрелять! — закончил за него Степовый.

Раевский нашел его глазами.

— Да, кто побежит, тот не только трус, но и предатель.

Раевский стоял у окна, опираясь рукой на винтовку. Он говорил, не повышая голоса, как всегда сдержанно, четко выговаривая слова, вдумываясь в каждую фразу в поисках самого простого, ясного выражения своих мыслей.

И от того, что этот широкоплечий сильный человек со всезнающими глазами был спокоен, у всех крепла уверенность в своих силах. Обаяние этого человека шло от его простоты, лишенной какой-либо позы, от непоколебимой уверенности в правоте своего дела, которая так характерна для людей, всю свою жизнь посвятивших революционной борьбе.

Ковалло посмотрел на часы:

— Зигмунд, пора.

Раевский надел шапку.

— Да, друзья,— громко сказал он.— Лучше два раза подумать и вовремя уйти, чем потом сбежать...

Никто даже не шевельнулся.

Он заботливо осматривал своих соратников от сапог до головы.

Видно, что большинство из них не было на фронте. Ружья держат магазинной коробкой к себе, ремень так натянут, что руку не проденешь. Но по лицам видно — будут драться!.. Вот хотя бы этот курносый парнишка в кепке, нахлобученной на самые уши,— винтовку прижал к себе, словно девушку. Глаза серьезные, но наивно, по-детски оттопыренные губы выдают его восемнадцать лет.

Сзади худой рабочий в кожаной фуражке ответил за всех:

— Передумывать нам незачем. Те, у кого гайка слаба, дома остались. А кто сюда пришел, так не для того, чтобы назад ворочаться.

Раевский вскинул винтовку за спину.

— Передайте, друзья, остальным во дворе и всем наше решение. Командиром революционный комитет назначил меня. А вы изберете двух помощников,— сказал Раевский.

— Чобот!

— Степовый!

— Больше никого?

— Нет!

— Тогда выступаем. Те, у кого есть патроны, двигаются впереди. Захватим склад, оттуда в поселок,

а затем на тюрьму. Каждый десяток знает своего командира?

— Еще бы!

— Знаем!..

Сто шестьдесят три человека ушли в ночную темноту. Шорох их шагов смешался с шумом дождя и свистом ветра.

Ковалло оставил дом последним. Он даже не обнял дочери,— как-то неудобно было при Ядвиге и Птахе.

«Не вовремя, скажут, старый черт расчувствовался. Еще, глядишь, и слезу пустит». Он обвел глазами знакомую комнату и, глядя на ноги, с деланным равнодушием сказал:

— Ты того, дочепька... не бойся! К обеду придем. А ты нам картофельки поджарь к тому часу да огурчика вынь... Ну, бувай здорова...

На пороге еще раз оглянулся. У Олеси — полные глаза слез.

— Ну, вот еще! Сказал, к обеду вернемся...— И, торопясь, добавил: — Ты, Андрий, присматривай тут. Запрись и не пускай никого. Я б тебе ружьишко оставил, но это хужей. Топор тут, в сенях...— На ступеньках тихо сказал Андрию:— Ежели неудача, забирай Олесю, Ядвигу Богдановну, тючок барахла и тикайте в Сосновку.

— А дом как же?

— А черт с ним! Ежели разобьют, так тут нам все равно не жить. Ты девку бережи...

— Григорий Михайлович, да я...

— Знаю, что ты... Вот и смотри. А ежели меня...

Ковалло помолчал. Они были уже у калитки. Андрий не видел старика.

— Так ты будь ей за брата...

Сквозь шум дождя Андрий едва уловил:

— У меня, кроме ее, никого нету...

— У меня тоже, кроме...

— Ну, там увидим, а пока — смотри...

Андрий вернулся в дом. Хотел запереть на крюки дверь,— не смог. Впервые почувствовал невыносимую боль в пальцах.

— Олеся, закрой, а то у меня руки распухли, черт бы их подрал!

Свет в большой комнате потушили. Ядвига села у окна. Если по путям пройдет к заводу паровоз с платформой, значит патроны взяли...

Сигизмунд приказал женщинам остаться. Будь она с ним, ей было бы спокойнее. Впереди томительная ночь, ожидание мучительное, тревожное...

— Покажи свои руки! Боже мой, что ж ты молчишь? — испуганно воскликнула Олеся.

Она поспешно принесла оставленный Метельским пакет и, болезненно морщась от сострадания, стала осторожно перевязывать обваренные пальцы Андрия, с которых лоскутами свисала кожа.

Василек клевал носом.

— Иди на кухню, ложись спать на топчане,— сказал Андрий ласково.

Василек встрепенулся.

— А может, я до дому пойду? Мамка будет лупцевать. Где ты, скажет, шлялся целый день,— невесело ответил мальчик.

— Ничего не будет. Ложись спать, а завтра вместе пойдем. Сказал, пальцем никто не тронет! Тебя послушаешь, так мать у нас только и делает, что дерется.

— Тебе ничего, а мне кажинный раз попадает...

— А ты что, хочешь, чтобы тебя за твои фортеля по головке гладили?

Василек обиженно вытер нос рукавом и молча пошел в кухню. Он заснул, едва добравшись до топчана.

Андрий, закусив губу, смотрел, как ловкие пальчики Олеси, нежно прикасаясь к его руке, отделяли безжизненные клочья кожи и укутывали пальцы белоснежной повязкой. Чтобы было удобнее, она села на пол. Андрий смотрел на нее сверху вниз и видел, как всякий его жест боли вызывал ответное вздрагивание чудесных ресниц девушки и нежных губ, прекрасных девичьих губ, свежих и влекущих своей недоступностью. Андрий никогда их не целовал. Он не решался на это, зная, что она не простит ни малейшей вольности. И он ждал, борясь со своими порывами, оберегая ее дружбу.

Олеся заканчивала перевязку. Нагибаясь за ножницами, чтобы отрезать концы бинта, она сказала:

— А ты терпеливый...

На одно лишь мгновение Андрий увидел в вырезе блузки ее высокую грудь, и ему стало тревожно и больно. Эта дерзость, в которой он даже не был виноват, смутила его. И глубокая грусть наполнила его сердце.

— Что с тобой? Я тебе сделала больно?

— Да. Но я больше не буду...

— Видишь, какая я неловкая — толкнула и не заметила даже.

Андрий молчал.

— Ты ложись, отдохни, а я пойду к Ядвиге Богдановне. Ну, я тушу...

Он долго еще сидел у стола, склонив голову на руки, весь во власти невеселых мыслей. Затем устало опустился на пол, на постланный Олесей матрац, и пытался уснуть.

«И чего я пристал к ней? Будто, кроме нее, дивчат хороших нет на свете».

Андрию хотелось уверить себя, что в Олесе нет ничего особенного. «Есть красивее ее. Взять хотя бы Пашу Соллогуб или Марину Коноплянскую. Огонь дивчата! И ласковые, с ними и пожартовать можно... Да и мало ли красивых девушек? Так нет,— ему надо было пристать к этой. Смеется, дразнит, командует... Пальцем ее не тронь! И он все это сносит, он, на которого не такие еще дивчата засматриваются».

От этих мыслей Андрию стало еще обидней.

«Такая уже, видать, у меня планета. Все наперекос идет».

Он забылся в полудреме, но встревоженная мысль вернулась к нему мгновенным видением. Это были чудные, густые ресницы девушки, ее задорные глаза с насмешливыми искорками...

Женщины, страдая и волнуясь, молча стояли у окна. Ядвига посоветовала Олесе уснуть.

— Я разбужу вас, если что-либо услышу.

На кухне сладко сопел Василек.

Олеся на цыпочках вошла в комнату. Тишина в доме угнетала ее. Она не находила себе места.

Опасность поселилась здесь прочно с того дня, когда отец впервые встретился с Раевским. Олеся любила отца глубоко и нежно. Мысль о нем не покидала ее.

Девушка осторожно, чтобы не разбудить Андрия, прилегла на кровать.

Но Птаха не спал. Ему жгло руки.

— Ты не спишь? — шепотом спросила Олеся, уловив его движение.

— Нет.

— Болят руки?

— Что мне руки? Тут сердце покою не дает.

Он сел на пол и горестно склонил голову на колени.

— Ты о чем это? — Олеся слегка наклонилась к нему.

— Я о том, что нет в жизни счастья. Только одна обида... И черт его знает, для чего это люди живут на свете? Где ни глянь, одна несправедливость...

Олеся тоже села. Он чувствовал ее рядом. Непреодолимое желание высказать свою обиду охватило его.

«Скажу ей все и уйду. Пусть меня убьют там».

Он протянул руку, чтобы подняться, и почувствовал ее колени. И сразу же руки Олеси легли на его забинтованную руку. Боясь причинить ему боль, она тихонько снимала его руку с колена.

Андрий забыл все — и обиду и упреки. Осталось только желание ласкового прикосновения, хотя бы слова от этой девушки, милой, такой прекрасной и родной.

— Олеся,— сказал он грустно и тихо.— Олеся, зачем ты так?

— О чем ты?

— Олеся, нет у меня счастья другого, как ты...

Он обнял ее колени. Она не могла сопротивляться. Как оттолкнуть эти искалеченные руки?

— Андрий,— предостерегающе прошептала она.

Он прикоснулся губами к ее коленям. Его оскорбила грубая ткань. Забывая все и не чувствуя боли, он скомкал ее искалеченной рукой.

— Андрий!..

Но он уже целовал ее колени, и не в ее силах было помешать этому. Застигнутая врасплох, встревоженная этим страстным порывом, Олеся растерялась, не зная, что делать с этим сумасшедшим парнем. А когда опомнилась, он уже сам бережно закутал обнаженное колено.

— Олеся... Зорька моя.

Взволнованная Олеся порывисто встала. Андрий отпустил ее. Ничего не сказав, она ушла к Раевской.

«Ну, что я наделал? Теперь все пропало. Ну и пусть!» — Андрий в отчаянии махнул рукой.

Острая боль напомнила о себе. Он упал на постель. Сердце стучало.

«Так всегда — все навыворот. Ну и пусть. Завтра уйду и никогда больше не увижусь,— сказал он себе и тут же не поверил этому.— Вот когда она тебе по морде надает, тогда, может, и уйдешь. И то еще поглядим... А что ты дождешься этого, так это видать уже сейчас.

И что она обо мне подумает?

Люди в бой пошли. Может, на погибель... Дивчина за отца мучится, а он тревожит ее. Не нашел другого времени».

Ему стало совестно за свой порыв.

«А когда ж ей было сказать? Может, завтра я жить не буду». Разве сегодня он не чудом ускользнул от гибели?

Где-то далеко едва слышно треснуло. Андрий прислушался. Затем встал на колени.

«Началось, что ли?» — мелькнуло в его голове. Он поднялся, осторожно выставил вперед руку, наугад пошел к двери.

В комнате обе женщины прильнули к окну.

— Это я,— наткнувшись на стол, сказал Андрий.

— Я открою форточку,— прошептала Ядвига.

Пахнуло сыростью. Шел дождь. Было темно и тихо. Так они долго стояли втроем, настороженные и молчаливые.

— Смотрите, вот огни! Это паровоз! Значит, удалось? — вскрикнула Олеся.

В беспросветной мгле вспыхнули два глаза. Казалось, там, наверху, глубоко вздыхая и фыркая, ползло какое-то чудовище.

Они прислушивались к удаляющемуся грохоту.

Город спал.

Вдруг сквозь шелест дождя и журчанье воды донесся короткий хлопок, а через несколько мгновений словно кто-то швырнул горсть камней на железную крышу.

Какой-то беспокойный сторож заходил по поселку. Будил людей своей колотушкой, стучал в ставни, поднимал всех на ноги. Заговорили немые, безлюдные улицы.

Засверкали огоньки. Людей не было видно, но их было слышно. Слишком громко заговорили они. На что уж крепко спал сержант Кобыльский, но и его разбудили эти разговоры. Он выскочил из штаба в одних штанах, босой. Тут не до сапог и шинели — дай бог ноги унести.

Щебнем сыпались стекла. Кипело на улицах. По железной крыше штаба кто-то дико отбивал трепака.

Прямо перед лицом Кобыльского что-то сверкнуло и оглушительно хлопнуло.

Он заметался и, согнувшись, побежал через улицу в ворота напротив.

В беспорядочный грохот ворвался равномерный и резкий стук. Это строчил из переулка по тюремным воротам Степовый.

— Вперед, друзья! — послышался мощный голос Раевского.

Раймонд бежал рядом с ним через площадь, боясь упустить его из виду в этой кромешной тьме. У ворот чуть не упал, споткнувшись о чье-то тело, и ринулся за отцом во двор. У входа тюремного корпуса — фонари.

Из дверей стреляли. Отец вбежал туда. Сзади — грохот сапог. Беспорядочная стрельба. Лязг штыков. Кто-то убегал. Кого-то настигли. Крики... Короткая схватка в дверях...

Раймонд ударил штыком нацелившегося в отца легионера.

— Бей шляхту! Круши ее, в бога мать! — ревел Чобот, врываясь в коридор.

Врассыпную спасались от его штыка легионеры. Раевский бежал уже вверх по лестнице. Его опередил молодой парнишка со сбившейся на ухо кепкой.

Бас Чобота гремел по коридору:

— Эй, Патлай, где ты? Отзывайся! Наша взяла... Патла-а-а-й!

Дзёбек метался по заднему двору, на бегу срывая с себя погоны. В нем билась одна мысль: «Конец... Конец... Сейчас они ворвутся сюда. Куда бежать?»

Дальше некуда — тупик.

Он влетел в уборную. Ужас гнал его в зловонную, смердящую яму. Он залез в отвратительную жижу, заполз под доски, чувствуя, что сейчас задохнется от невыносимой вони. Все же думал лишь об одном — жить!

Канцелярия начальника тюрьмы была захвачена последней. Тут оказались освобожденные Пшигодский, Патлай и Цибуля, тот самый богатырь-крестьянин, с которым Пшигодский вел свои беседы в камере.

Степовый и другой пулеметчик, Гнат Верба, остались у ворот.

У Гната был теперь свой пулемет, отбитый у легионеров при атаке на тюрьму. Крепыш Верба хлопотал около него.

— Возьмите меня к себе,— смущенно сказала ему Сарра.— Я буду выполнять все, что вы мне прикажете.

Верба, на корточках проверявший, свободно ли поворачивается пулемет, удивленно оглянулся на нее.

Подумав немного, убежденно ответил:

— Не бабье это дело! Пулемет — это вам не швейная машинка, барышня.

Сарру этот ответ оскорбил до глубины души. Она отошла.

— Зачем вы ее обидели? — упрекнул Вербу Раймонд.

К ним подбежал Пшеничек с группой рабочих.

— Удрал, сакраме́нска по́твора! — раздраженно крикнул он.

— Кто удрал? — спросил Степовый.

— Да тот мерзавец... нос от птицы... Как его? — он вспомнил: —Дзёбек! Везде искали — нету! А пленные говорят, здесь был.

Верба вложил ленту, уселся поудобнее.

— Степовый, сейчас дам поверх крыши очередь для пробы...

И тотчас загрохотало.

— Все в порядке.

Степовый чертыхнулся.

— Пшеничек, беги в канцелярию! Скажи, что проба. А так все спокойно, панки еще не очухались...

Уже в коридоре Пшеничек услышал голос Раевского.

— Предложение укрепиться на заводе и в тюрьме и выжидать подхода сосновских и холмянских никуда не годится! Надо действовать стремительно, не давая им опомниться. К утру город должен быть наш. Сейчас, когда они растерялись, надо бить и бить. Имейте в виду, половина солдат в имении. Скоро они появятся здесь.

Его прервало несколько голосов.

Все они были перекрыты басом Чобота:

— Факт! Это по-моему — ежели бить, так до бесчувствия. Гоним папков к вокзалу!

Все подымались. Раевский отдавал последние приказания.

— Подводы с винтовками пригнать сюда. Кто из арестованных желает, пусть вооружается... Вы, товарищ Цибуля, берите па заводе коня и скачите в Сосновку. Щабель где-то застрял там... А ваши хлопцы пусть остаются здесь и помогут нам. Им сейчас дадут оружие. Чобот, берите пятьдесят человек и наступайте от рынка до реки. Жмите их к вокзалу. А мы атакуем управу... Держите связь. Запомните пароль. Не забудьте — ревком помещается на заводе.

Все двинулись к дверям. Пшигодский подошел к Раевскому.

— А куда мне, товарищ... Хмурый?

Все лицо его было в темных ссадинах.

— Это здесь? — коротко спросил Раевский, указывая на синяки.

— Да,— мрачно ответил Пшигодский.— Разрешите при вас быть?

— Хорошо.

— А может, мы, товарищ комиссар, жахнем по имению? Там весь выводок накроем. Ежели мы их в расход выведем, так дело веселее пойдет,— сказал он глухо.

Раевский почувствовал, какая нестерпимая ненависть толкает Пшигодского на это предложение.

— Нет, нельзя. Возьмем город, тогда лишь...

Пшигодский молча взял винтовку и с ожесточением стянул пояс с патронташем.

В коридоре Раевского поджидал Цибуля.

— Вы, стало быть, здесь за старшего? — спросил он.

— Да, вроде этого,— улыбнулся Раевский.

— Так что я не поеду в Сосновку. Еще попадешься им ночью в лапы... Тут мы вам подмогнем, а с рассветом я тронусь. Тогда виднее будет, куды оно пойдет.

«Осмотрительный мужик»,— подумал Раевский.

— Ваших крестьян, что сидели в тюрьме, тут десятка два наберется, ну и командуйте ими...

Заремба остервенело крутил телефонную ручку.

— Алло! Алло! — кричал он, прикрывая трубку рукой. Стрельба приближалась.

— Алло! Имение? Молчат, пся их мать! Уехали себе, а ты тут за всех отдувайся... Алло! Имение! Ни звука...— Заремба цинично выругался.

В дверях появился Врона с парабеллумом в руках.

— Да бросьте вы трубку, поручик! Они же провода перерезали. Идемте скорее.

Со звоном посыпались стекла.

— Вот видите, управу придется сдать. А то здесь передушат, как в мышеловке. Отступаем к вокзалу. Эти бестии обходят со стороны рынка. Возьмут в клещи, тогда не уйдем... А Могельницкий тоже хорош — взял привычку ездить домой. И половину отряда при своей особе держит,— бесился Заремба, сбегая с лестницы.

— Своя рубашка ближе к телу,— ответил Врона.

На улице Заремба остановился.

— Ну, подумайте, капитан, с кем воевать? Вот с этими сопляками? Небось, все на горшок просятся. Тоже солдаты, пся крев! — злобно сплюнул он.

— Что дерьмо, то верно, поручик. Будь у меня рота баварцев, я б эту сволочь живо утихомирил.

Заремба схватил его за рукав.

— Стойте, а что, если в самом деле попросить немцев помочь?

Стрельба усиливалась.

— Не пойдут. Разве только спровоцировать...

К ним подбежало несколько легионеров.

— Они уже на Приречне, пане поручик,— задыхаясь, сообщил один.

— Молчать! — накинулся на него Заремба.— Эй, вы! Куда бежите, пся ваша...

Совсем близко, заглушая все, затрещал пулемет. Вверху над головами зашипели пули.

Теперь уже и Заремба и Врона побежали.

Впереди них беспорядочной толпой улепетывали легионеры. А сзади, все приближаясь, рвались выстрелы.

На привокзальной площади Заремба и Врона остановились.

— Надо задержать этих трусов! — крикнул Врона.

— Сюда, ко мне! Ко мне! — заорал Заремба и злобно ударил первого попавшегося револьвером по голове.— Ты куда? Стой, говорю тебе! Я тебе побегу, пся твоя мать!

Тот, кого он ударил, взвизгнул:

— Не бейте, это я, пане поручик!

Зaремба выругался.

— Подпоручик Зайончковский! Где ваши солдаты, а? Где солдаты, спрашиваю? Вы — сморчок, а не офицер... Марш вперед!

Неподалеку Врона тоже ловил убегающих. Постепенно они навели кое-какой порядок, заняли вокзал и оттуда начали отстреливаться.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В столовой Могельницких ужинали.

Только что приехавший Эдвард рассказывал о происшедшем в городе. Присутствие прислуги стесняло его.

Зато Владислав разглагольствовал с обычным апломбом:

— Им на целый год хватит! Да, мы славно поработали...

Людвига сидела молчаливая и почти ничего не ела. Баранкевич, посыпая гречневую кашу, которой был начинен поросенок, жаловался старому графу:

— Что мне делать со свеклой — не знаю. А сахар... Куда деть сахар? Да! — Вдруг он вспомнил что-то неприятное и даже поперхнулся.— Вы знаете,— повернулся он к Эдварду,— сегодня мне принесли записку, в которой какой-то каптенармус из немецкого эшелона приказывает немедленно отгрузить шесть вагонов сахару и подать их немецкому эшелону... как вам это нравится — шесть вагонов сахару! Ну, знаете, это верх нахальства!

Эдвард нахмурился.

— И что же пан Баранкевич думает делать? — вкрадчиво спросил отец Иероним.

Сахарозаводчика этот вопрос возмутил.

— Как, что делать? Я не дам и куска сахару, не то что шесть вагонов.

— Тогда они возьмут его сами,— сокрушенно ответил отец Иероним, аккуратно отрезая кусочек поросенка.

— Я надеюсь, пан Эдвард не позволит этого сделать!

Эдвард не ответил.

— Шесть вагонов — это еще ничего. Вот у нас забрали все, и мы сами едва спаслись,— желчно заговорил старик Зайончковский.— Я думаю, что пан Эдвард прежде всего пошлет свой отряд в наше имение. Я прошу

это сделать завтра же, пока крестьяне не успели еще попрятать награбленного.

Баранкевич даже перестал жевать.

— Так, по-вашему, шесть вагонов сахару — пустяк? Это шесть тысяч пудов! Шесть тысяч пудов,— прохрипел он, потрясая вилкой,— это двадцать восемь тысяч восемьсот рублей золотом...

— Да, но это только небольшая часть вашего состояния, а у нас все забрали,— не вытерпела пани Зайончковская.

Баранкевич резко повернулся в ее сторону:

— Прошу прощения... Гэ... умм... да! Но пани, видно, лучше меня знает мое состояние...

Появление Юзефа прервало неприятную сцену.

— Пан майор и пан обер-лейтенант просят разрешения войти. Они уезжают на вокзал и желают попрощаться,— угрюмо произнес старик.

Могельницкие переглянулись.

— Проси,— кратко ответил Эдвард.

Немцев пригласили к столу. Разговор не клеился.

— Простите, господа, вам неизвестна фамилия командира прибывшего сегодня эшелона? — вдруг спросил Эдвард офицеров.

— Полковник Пфлаумер,— сдержанно ответил майор.

— Эшелон уходит сегодня? — с надеждой спросил Баранкевич.

Зонненбург пытался улыбнуться:

— Об этом обычно не говорят...

— Простите, я просто заинтересовался,— обиделся Баранкевич.

Вновь появился Юзеф.

— Прошу прощения, у ворот стоят какие-то всадники. Начальник караула просит вас, ясновельможный пане, выйти для переговоров,— сказал он, обращаясь к Владиславу.

Владислав поспешно вышел.

— Так вы продаете нам эскадронных лошадей? — тихо спросил старый граф, нагибаясь к лейтенанту.

Зонненбург сидел далеко от них.

— Как вам сказать... Это не совсем удобно. Господин майор против...

— Но вы можете сделать и без него. Ведь вы уезжаете. Половина солдат дезертировала, остальные торопятся

домой. Куда вам тащить с собой лошадей? Ведь вы же едете поездом.

— Я понимаю, господин граф, но дело...

— В оплате,— подсказал ему граф.

— Да, пожалуй, и в этом. Я сказал вам сумму — сорок тысяч марок. Но марка падает. Я боюсь, что по приезде в Берлин я смогу купить на них только бутерброд. Согласитесь сами, что это очень дешево за девяносто хороших лошадей.

Казимир Могельницкий сердито закашлялся.

— Но вы же все равно их с собой не возьмете! Допустим, вы сегодня ночью уедете,— ведь лошади достанутся нам даром...

Увлеченные общим разговором, гости не обращали на них внимания.

Шмультке мысленно крепко выругался, но, сдерживая себя, ответил:

— Конечно, не возьмем. Правда, я мог бы остаться здесь на несколько дней. Вслед за эшелоном походным порядком движется наш франкфуртский полк, в котором, как мне известно, служит ваш сын. Если их не задержат, они будут здесь через несколько дней...

Старый граф забеспокоился. Эдвард поручил ему купить у немцев лошадей во что бы то ни стало.

— Ну, хорошо, я согласен дать пятьдесят тысяч, так, в порядке услуги. Ведь мы с вами добрые знакомые.

— Простите, граф, господин майор делает мне знак,— нам пора уходить... Знаете, я тоже хочу оказать вам услугу. Это нескромность, но я вам сообщу нечто: господин майор приказал мне перестрелять всех лошадей... Но если вы располагаете тысячью рублей золотом,— именно золотом! — то я не выполню этого приказания и ваш сын получит нужных ему лошадей! Решайте!

Дверь открылась. Вбежал Владислав.

— Приятные гости, Эдвард! Там граф Роман Потоцкий со своими спутниками.

Эдвард быстро встал.

Гости зашептались. Приезд могущественного магната взволновал всех.

— Проси! Чего ж ты? — приказал Юзефу старый граф.

В комнату вошло несколько военных. Впереди — рослый Роман Потоцкий, одетый в серый офицерский мундир

без погонов и других знаков различия и синие рейтузы. На ногах — высокие сапоги с глухими шпорами. Саблю и револьвер он оставил в вестибюле.

Потоцкий обвел общество быстрым взглядом. Надменные серые глаза на миг задержались на Людвиге, затем остановились на немцах. Губы сжались.

Эдвард уже подходил к нему.

— Очень рад вас видеть в нашем доме.

Потоцкий и его спутники были представлены всем.

— Ну, как здоровье пана Иосифа?

— Спасибо, отец здоров,— ответил Потоцкий.

Зонненбург поднялся из-за стола.

— Всего хорошего! Мы уезжаем,— сказал Шмультке старому графу, подавая руку.

— Ах, да! -- спохватился Могельницкий.— Я прошу вас задержаться на несколько минут. Я поговорю с сыном.

— Хорошо! Пока мы оденемся...

Немцы, сделав общий поклон, удалились.

Прибывшие рассаживались за столом. Эдвард объяснял Потоцкому:

— Они жили в нашем доме. Сейчас уезжают на вокзал — там их эшелон...

Потоцкий недобро посмотрел на дверь, за которой скрылись немцы.

— Знаю. Из-за них нам пришлось ехать тридцать верст на лошадях. Отряд пилсудчиков закупорил им путь, взорвав мостик. А вы с ними, как видно, не ссоритесь? — добавил он с легкой иронией.

Эдвард уловил эту иронию.

— Для ссоры нужна сила, а у меня ее нет. Потом, кроме них, здесь и так есть с кем возиться.

В разговор вмешался старый граф:

— Прости, Эдди, что я перебиваю, но лейтенант требует за лошадей тысячу рублей золотом. Иначе...

Эдварду было неприятно, что отец при Потоцком говорит это, и он не дал ему закончить:

— Делай, что нужно.

Старик, кряхтя, приподнялся. Юзеф от двери уже спешил ему на помощь.

— Расскажите же нам, граф, что нового в Варшаве? — спросил Эдвард.

— Что нового в Варшаве? Я, право, затрудняюсь ответить на этот вопрос. Новостей много! — уклончиво отве-

тил Потоцкий и тихо сказал Эдварду: — Мне нужно будет поговорить с вами наедине.

— Хорошо, — так же тихо ответил Эдвард.

В кабинете Эдварда собрались одни мужчины. Кроме Баранкевича, отца Иеронима, Зайончковского, здесь было несколько помещиков, бежавших из Шепетовки, Староконстантинова и Антонин.

Потоцкий ходил по кабинету, заложив руки в карманы рейтуз и, ни на кого не глядя, обращаясь все время к Эдварду, как бы подчеркивая, что считается только с ним, говорил:

— Вы спрашиваете, что такое Пилсудский? Я говорил с ним перед отъездом. Это сильная личность. — Он задержался у стола, рассматривая миниатюрный портрет Людвиги в изящной рамке из слоновой кости. — Да, личность сильная, и с ним приходится считаться...

Баранкевич с обычной бесцеремонностью перебил его:

— Но говорят, он социалист?

Потоцкий скользнул по нему небрежным взглядом и рассмеялся:

— Пилсудский — социалист? Кто вас этим напугал?

— А разве он не путался с ППС прошлые годы? — обидевшись за Баранкевича, спросил Зайончковский.

Потоцкий осторожно поставил портрет Людвиги на стол.

— Я не знаю, что он там делал раньше. Мало ли каких глупостей натворит человек? Я знаю лишь одно — и это не только мое мнение, — что Пилсудский прежде всего польский патриот, а это важнее всего. И уже для нас, конечно, легче, если «начальником государства» будет он, а не князь Сапега, скажем, хотя это было бы приятнее...

Отец Иероним, сидевший, как всегда, в углу, осторожно спросил:

— Простите, вельможный пане, а нет ли опасности в том, что, помимо его желания, генерал Пилсудский станет игрушкой в руках своей партии, этих демагогов, вроде Дашинского и ему подобных?

Потоцкий несколько секунд смотрел на отца Иеронима испытующе.

— Ага, отец духовный тоже занимается политикой.

Эдварду не нравился этот самоуверенный тон магната,

— Отец Иероним задал очень интересный вопрос,— сказал он сухо.

— У вас неправильное представление и об Юзефе Пилсудском и о ППС! По-моему, он гораздо ближе к нам. А ППС целиком у него в руках, это средство для создания ему ореола в массах. Все это для черни! И нам же лучше, если чернь поверит в него. К сожалению, приходится маневрировать... Его опора — это военная организация, так называемые «пилсудчики». Среди них, правда, немало пепеэсовцев, но это, знаете, такие социалисты... Если Пилсудский с кем-либо считается, так это с нами, потому что у нас есть сила и золото! Чтобы вы имели о нем представление, я расскажу, как было создано правительство.

— О, пожалуйста! Здесь, в этой проклятой глуши, ничего не узнаешь...— выразил общее желание Баранкевич.

— Конечно, как всегда, началась драка за портфели. Князь Сапега рассказывал, что претенденты чуть было не побили друг другу физиономии,— все эти национал-демократы, людовцы и прочие. Тогда Пилсудский вызвал к себе капитана второй бригады легионеров Морачевского, старого пепеэсовца и пилсудчика, и сказал: «Вы назначены мною премьер-министром. Стать во фронт!» Морачевский отдал честь. «Можете идти!» Премьер-министр повернулся на каблуках и вышел... Будьте уверены, что этот самый Морачевский, на которого кое-кто из этих господ демократов смотрит, как на своего, не посмеет и пикнуть, если Пилсудский ему этого не прикажет!..

Эдвард потушил папиросу.

— А каковы его планы? Как он смотрит на наши действия?

Потоцкий остановился против Эдварда.

— За это вы можете быть спокойны, граф. Говорят,— и это, конечно, факт! — что Пилсудский, принимая на себя звание «начальника государства», сказал: «Я не сложу этого звания до тех пор, пока польский меч не начертит границу Польши от Балтийского до Черного моря!» И он это сделает, если мы сумеем справиться с взбунтовавшейся чернью! — Потоцкий остановился у окна и, нахмурясь, долго смотрел в темноту ночи.

— А что, разве наше положение так плохо?—с нескрываемым страхом спросил Казимир Могельницкий и затрясся в удушливом кашле.

Потоцкий ждал, когда он справится с кашлем. Но приступ все нарастал. Старик хватался рукой за горло. Эдвард, мрачно сидевший в кресле, встревоженно повернулся к нему.

Потоцкий с холодной брезгливостью наблюдал за трясущимся стариком. Наконец Могельницкий перестал хрипеть.

— Вы спрашиваете, граф, каково наше положение,— начал Потоцкий возбужденно, и в глазах его сверкнула ярость.— Я думаю, вы тоже чувствуете, как под нашими ногами вздрагивает земля. Это землетрясение, господа! Самое страшное, пожалуй, в том, что это не только у нас. Если прежде можно было спастись, то теперь это почти невозможно. И нам остается одно — заняться усмирением взбесившегося стада! — Потоцкий порывисто шагнул к столу.— В Варшаве есть такие господа, что уже упаковали свои сундуки и закупили билеты...— Он зло засмеялся.— Только неизвестно, куда они собираются бежать. Мне неведомо, какие здесь у вас настроения, но я знаю, что мы, Потоцкие, а с нами Сангушки, Радзивиллы, Замойские, Тышкевичи, Браницкие — все, кто богат и знатен в Польше и чьи имения находятся здесь, на Украине,— мы не сложим оружия, пока не истребим всех, кто протянул свою хамскую руку к нашему добру! Да, мы отсечем эту руку вместе с головой!

Эдвард искоса посмотрел на Потоцкого.

«Да, этому есть что терять! Десятки сахарных заводов, сотни тысяч десятин земли, полмиллиарда состояния,— этот, конечно, будет драться! Если я из-за несчастных пяти миллионов рискую здесь головой, то уж ему сам бог велел»,— подумал он.

— Гэ... умм... да! Это хорошо сказано. Именно руку с головой, хо-хо-хо! Но для этого нужно, чтобы в Варшаве не пускали этих мазуриков — социалистов — к власти. Я, знаете, когда узнал, что Пилсудский назначил Игнатия Дашинского министром, так у меня целый день живот болел,— как всегда грубо и чрезмерно громко заговорил Баранкевич.— Ну, думаю, если его министром сделали, то добра не будет! Эта бестия у себя в Люблине и так напакостил достаточно... Гэ... умм... да! Восьмичасовой рабочий день! Как вам это нравится? Я с двенадцатичасовым прогораю. А они...

Потоцкий властным жестом остановил его.

— Я вижу, пан все упрощает. Дашинский, тот пугающий вас вождь партии польских социалистов, по-своему очень полезный человек. В этом сумасшедшем водовороте, охватившем Польшу, только такие люди, как он, могут спасти нас с вами. А вы его ругаете и к слову и не к слову. Если бы Игнатий Дашинский действительно был опасным человеком, то, уверяю вас, Пилсудский не назначил бы его министром,— уже начиная сердиться, сказал он.

— Гэ... умм... да! Но...

Потоцкий не дал Баранкевичу высказаться.

— Пан очень похож на телеграфный столб. Прошу прощения, я, право, не хотел вас обидеть. Твердость убеждений полезна, но не в такой мере,— издевательски засмеялся Потоцкий.— Кстати, пан может успокоиться: восемнадцатого ноября Дашинский подал в отставку.

— Почему? — заинтересовался отец Иероним.

— По-видимому, ему сейчас невыгодно быть министром. Вы понимаете, все-таки он «представитель народа», а ППС поневоле должна играть в оппозицию. Не всем, например, нравится наше законное стремление начать немедленную войну с украинцами, белорусами и литовцами. Чернь, видите ли, не желает больше воевать. Да что чернь! Даже кое-кто из буржуа и помещиков, имения которых пока что в полной безопасности, считают наши планы слишком рискованными. Но таких куриц, к счастью, не так уж много. Во всяком случае мы заставим и их раскошелиться. Если они думают, что только мы будем создавать на свои средства целые полки и защищать их сундуки, то они глубоко ошибаются.

Баранкевич принял намек на свой счет.

— Гэ... умм... да! Но не у всех же состояние одинаково.

Чувствуя, что Баранкевич может сейчас сказать Потоцкому какую-нибудь дерзость, Эдвард вмешался в разговор:

— Скажите, граф, если это не секрет, куда вы думаете направиться отсюда?

— Вам я могу открыть свой маршрут. Я еду в Здолбуново. Там формируется мой полк, которым я буду командовать. Кстати, вы не послали еще «начальнику государства» свой рапорт и просьбу утвердить производ-

ство в офицеры всех командиров вашего отряда? — сказал Потоцкий.

— Нет,— ответил Эдвард.— А что, разве Пилсудский обязательно должен это утверждать?

— Да, но это не должно вас тревожить. Он это сделает без оговорок. Сейчас такое время, что не до формальностей. Вы тоже думаете формировать полк? Ну, вот! Чин полковника польской армии вам обеспечен.

Эдвард вспыхнул.

— Я, граф, уже пять лет ношу звание полковника гвардии, в данное время — полковника французской службы. И не собираюсь спрашивать у этого новоиспеченного генерала, пожелает он мне его дать или нет...

Потоцкий прикусил губу.

— Ваше дело, граф. Но для приличия это можно сделать. Это укрепляет авторитет армии. Для меня Пилсудский тоже не бог. Но я принял звание полковника, мои братья — тоже. И не вижу в этом ничего зазорного,— сказал он сухо.

Он щелкнул каблуками.

— Разрешите, граф, покинуть вас. Я и мои спутники должны отдохнуть, так как с рассветом мы двигаемся в путь.

Эдвард лично проводил Потоцкого в отведенную ему комнату.

Когда они остались с глазу на глаз, Потоцкий сказал:

— При этих господах я не счел возможным рассказывать все. Языки у них подвешены не так уж крепко, поэтому я умолчал о самом главном. Вы будете так любезны задержаться у меня?

— Пожалуйста! Я вас слушаю, граф.

Они сели за стол.

— Вы знаете, что Пилсудский приказал разоружить немцев на всей территории Польши? — спросил Потоцкий.

— Да. Но это не всегда возможно... Например, у меня недостаточно сил.

Потоцкий недоверчиво посмотрел на Эдварда.

— Скоро подойдет князь Радзивилл. Потом целый ряд мелких легионерских отрядов тоже направляется сюда. Если вам удастся задержать эшелон на два-три дня, то их можно будет разоружить. Нам ведь нужны орудия, боеприпасы...

— Конечно, если мне помогут, то я их разоружу. Но учтите — вокруг в селах начинается повстанческое движение. Например, в двадцати верстах есть большое село Сосновка, там имение пана Зайончковского. Достаточно было Зайончковскому отобрать у крестьян спорное сено и рожь, чтобы хлопы схватились за вилы. У него был всего десяток легионеров. Конечно, они не смогли справиться. В результате крестьяне легионеров разоружили, избили. А Зайончковские едва спаслись. В селе Холмянке — то же самое. А в Павлодзи настоящее восстание: там убили помещика, перестреляли всех легионеров.

Потоцкий слушал его, крепко сжав губы.

— Все это мелкие неприятности... Но я хочу осведомить вас об украинских делах,— сказал Потоцкий.

— Я слушаю.

— Вы, конечно, знаете, что первого ноября галичане объявили образование Западной Украинской республики.

— Мне говорил об этом отец Иероним.

— Да, кстати, что это за монах?

— Это иезуит... Ему доверяет кардинал. Он неплохой информатор.

— А-а! Я так и думал. Он, конечно, умнее этого жирного заводчика. Но я отвлекся. В Варшаве считают, что Галиция должна быть занята нами в первую очередь,— там нефть, железо... Мы сначала протестовали против этого плана,— ведь большинство наших имений на Волыни, в Подолии, а не в Галиции. Но пилсудчики нас заверили, что после Галиции сейчас же примутся за Украину. Мы обсудили это со многими заинтересованными фамилиями и пришли к выводу, что занятие Галиции нисколько не нарушит наших планов, а наоборот, мы будем иметь обеспеченный тыл. Мы согласились с условием, что на Галицию Пилсудский двинет свои резервы и отряды галицийских помещиков, а мы свои силы направим на Волынь и Подолию.

Эдвард одобрительно кивнул головой:

— Это справедливо. Каждый будет воевать за свои поместья с гораздо большим жаром, чем только за отвлеченное понятие «Великодержавная Польша».

Потоцкий усмехнулся.

— А как дела с Москвой? — спросил Эдвард.

Улыбка исчезла с губ Потоцкого.

— С Москвой будет большая война. Пилсудский спит и видит наполеоновскую дорогу... Ну, если и не до Москвы, то хотя бы до Смоленска.

На этот раз улыбнулся Эдвард.

— Не считаете ли вы, что это — опасное историческое сравнение?

— Нет! Тогда была иная ситуация. Поверьте, что в Варшаве не такие уж глупцы. Москву зажимают в железное кольцо, и Пилсудский достаточно хитрый человек, чтобы воспользоваться этим и выкроить для Польши солидный кусок русского мяса. Беда только, что у нас нет пороху для большой войны... А тут еще эта Украина.

— Да, граф, вы обещали меня информировать...

— Вот видите, затронешь одно — оглядывайся на другое. Да, что вы знаете о Симоне Петлюре?

— Почти ничего, кроме того, что этот субъект сейчас верховодит в так называемой Украинской директории,— ответил Эдвард.

Потоцкий что-то искал в карманах.

— Об этом человеке надо вам рассказать. Ведь вам с ним придется иметь дело. Сейчас его банды запрудили почти всю Волынь и Подолию. Красные разбросаны там группами в разных местах... Вот оно! — он вынул из бумажника сложенный вчетверо лист.— Краткая характеристика, которую князь Сапега просил передать вам, копия донесения нашей киевской агентуры.

Эдвард взял листок.

— Мне о нем говорили еще в Париже, в военном министерстве. Этот авантюрист обставил генерала Табуи в прошлом году, когда в Киеве была еще так называемая Центральная рада.

— Совершенно верно. Вот вы прочтите, там довольно метко написан его портрет.

Эдвард вполголоса читал:

— «Его овальное лицо с правильными чертами ничем не обращает на себя внимания. Его серые, глубоко посаженные глаза прячутся, избегая взора. Массивная челюсть, чувственный рот с устало опущенной нижней губой, заплывший подбородок, большие, слегка оттопыренные уши — ничто не выражает энергии, смелости, силы воли, характеризующих вождя. Обладая не очень крупным умом, склонный скорее к интригам, чем к широким политическим комбинациям, Петлюра особенно искусен в подго-

товке маленьких подпольных «событий», в одновременном проведении двух противоположных линий действия, в быстроте начинаний, неожиданных не только для его противников, но и для друзей. Эгоист и честолюбец, он всегда ставит свои личные интересы выше долга службы. Получив не очень большое образование, он так и остался заурядным человеком в скверном, узком смысле этого слова».

Эдвард значительно посмотрел на Потоцкого, затем продолжал чтение:

— «Петлюра родился в Полтаве в 1877 году в зажиточной казацкой семье и воспитывался в одной из тех семинарий, где подготовлялось национальное украинское движение. Революция 1905 года застает его правым социал-демократом. Это публицист очень небольшого калибра, даже на фоне тогдашней, бедной силами украинской интеллигенции, как позволяют судить его статьи, вышедшие впоследствии отдельной книгой. Он редактирует в Киеве еженедельник «Слово», потом в Москве журнал «Украинская жизнь», публиковавший в начале войны верноподданнические воззвания. Потому-то Петлюра и не увидел фронта. Его мобилизовали для административной работы в глубоком тылу, где он спокойно дожидался окончания военных действий. В июне 1917 года он занимал пост генерального секретаря по военным делам в правительстве Центральной рады. Он начал подражать Керенскому, заимствовав у него все, даже жесты и позы. Петлюра ораторствует на солдатских митингах, перенимая, вслед за Керенским, традиционную наполеоновскую позу. После того как Центральная рада была изгнана из Киева восставшими рабочими и солдатами, Петлюра становится одним из активнейших сторонников беспощадной борьбы с большевиками, возглавляя крайнее правое крыло в Центральной раде. В начале 1918 года Петлюра сразу изменил французскую ориентацию на немецкую и вернулся в Киев в обозе немецких оккупационных войск. Здесь он неплохо устроился при гетмане Скоропадском, но вскоре поскандалил с ним, за что был временно посажен под арест. Он это ловко использовал впоследствии, выдавая себя за «борца» против немцев и гетмана, которым еще вчера лизал пятки. В Директории он самый правый, и фактически руководит всем не Винниченко, а он, да и вообще уход Винниченко — дело решенное, и тогда Петлюра безусловно займет его

место. Сейчас этот демагог и авантюрист использует повстанческое движение против немцев и помещиков в своих карьеристских целях. Он не брезгует ничем, швыряя лозунгами: «За самостийную Украину», «Долой польских панов», а по другую сторону — «Долой москалей» и тому подобное. Наша агентура при штабе Деникина сообщает, что Петлюра прислал генералу Деникину своего эмиссара с предложением услуг. Но, как говорят, Деникин не пожелал иметь с ним дела. Мы думаем, что Петлюру можно купить за соответствующее моральное и материальное вознаграждение, и он будет служить царству Польскому, если, конечно, за ним хорошо присматривать, имея в виду, что этот человек может продать любого хозяина в любую минуту, когда это будет ему выгодно.

Просим это учесть в Варшаве. Повторяем, Петлюра может служить Польше, если его соответственно обработать. Хотя его войска, состоящие поголовно из крестьян, настроены против нас, но «головной атаман» уже не раз доказал свою способность ставить свою политику вверх ногами. Единственно, с кем Петлюра действительно будет бороться,— это с большевиками, которых он ненавидит и которых истребляет с похвальным рвением. Мы считаем, что сейчас самое подходящее время для занятия хотя бы Волынской и Подольской губерний. Надо пользоваться тем, что Россия напрягает все свои силы на других фронтах. Напоминаем, что это будет труднее сделать, когда красные партизанские полки соединятся в одну армию. Это надо делать незаметно, оттесняя петлюровские отряды на юг, и, пока петлюровцы занимаются здесь разбоем и еврейскими погромами, можно будет очистить северную часть Волыни от его банд и восстановить власть Речи Посполитой».

Эдвард положил письмо на стол.

— Что же, это нас вполне устраивает,— сказал он, подумав.

— Значит, вы тоже согласны с нами? — оживился Потоцкий.

— Да.

— Теперь вы понимаете, какова должна быть наша политика: пока сил у нас мало, действовать потихоньку, отнимая уезд за уездом у России и Украины. У них в Белоруссии почти совсем нет войск. Войны мы России пока объявлять не будем, а пользуясь каждым удобным

случаем, будем выталкивать красные части из Белоруссии и Литвы. Для этого новый министр иностранных дел пан Василевский уже поднял в печати кампанию против советского правительства. Благо для этого есть зацепка!

— Какая? — спросил Эдвард.

— Они в Москве лишили дипломатических привилегий пана Жарновского, которого посланник Регенционной рады Ледницкий оставил своим заместителем в Москве. Василевский уже поднял крик, обвиняя большевиков в нарушении международного права, и послал два ультиматума, требуя немедленного восстановления в правах Жарновского и возвращения архивов посольства.

Эдвард удивленно взглянул на него.

— Позвольте, я вас не понял. Ведь Жарновский был по существу представителем не Польши, а немецких оккупантов? Ведь наше правительство объявило Регенционную раду вне закона!

Потоцкий засмеялся.

— Для нас это понятно. Это так. Кто в Польше не знает, что Регенционная рада состояла из немецких лакеев, продававших Польшу немцам «в розницу и на вывоз»! Правда и то, что они объявлены вне закона, но для дипломатов тот факт, что в Москве, исходя из этого решения, отстранили Жарновского, как объявленного вне закона, от посольских полномочий, достаточен, чтобы закричать о нарушении международных прав, хотя для здравого смысла это непонятно. Но дело ведь в том, чтобы найти зацепку. Наши газеты уже кричат, что большевики оскорбляют честь Польши, арестовывают послов, ну и все в том же духе... Это подогреет общественное мнение, даст кое-какое оправдание нашему наступлению на белорусском фронте...

Эдвард шевельнулся, желая найти более удобное положение.

— Конечно, если бы это относилось к другому государству, то было бы нелепо. Но в борьбе с большевиками все средства хороши! — Он посмотрел на часы.— Кстати, я приказал начальнику жандармерии расстрелять сегодня девятнадцать красных, которые сидят у меня под замком. Разрешите, я позвоню в штаб?

Потоцкий встал.

— Мы еще увидимся с вами завтра перед отъездом? — спросил Эдвард.

— Вероятно, нет. Мы уезжаем на рассвете. Я прошу вас держать со мной тесную связь.

— Обещаю. Будьте осторожны в пути!

Людвига с тоской прислушивалась к бою часов.

— Езус-Мария! Какая ужасная ночь! — прошептала она.

Сон бежал от нее. Все эти ночи Эдвард спал в своем кабинете. Теперь там расположились офицеры Потоцкого. Эдвард, наверное, придет сюда. Она не хотела этой встречи. О чем они могут говорить сейчас? И вот теперь он придет как муж. Это вызовет новое столкновение... Она закуталась в одеяло, когда услыхала стук открываемой двери. У Эдварда был свой ключ от спальни.

Раньше это были желанные встречи. Сейчас же это напоминало ей о том, что она в сущности рабыня этого человека; только рабыня, одетая в шелк, имеющая право приказывать слугам, носить титул, воображать себя маленькой царицей для того, чтобы все это подчинялось лишь его воле...

Как это было приятно раньше и как тяжело сейчас!..

Эдвард вошел в спальню.

— Я останусь здесь,— сказал он, уверенный, что она не спит.

Людвига молчала. Он раздевался. По тому, с какой резкостью он отстегивал пояс, она почувствовала — злится.

Он подошел к кровати и, раскрывая одеяло, сказал, сдерживая себя:

— Сегодня я хочу быть с тобой...

Людвига пыталась натянуть одеяло на обнаженное плечо, но его рука сбросила одеяло на пол.

— Что это такое, Эдди? Я не хочу, чтобы ты оставался здесь!..— оскорбленно воскликнула Людвига.

— А я хочу!

Он присел на кровать и положил руку на ее грудь.

— Уйди, Эдди! Я не могу тебя видеть... Уйди! — защищалась она.

— Послушай, Людвись, мне все это уже надоело. Неужели ты думаешь, что я и впредь буду спать на диванах в ожидании, когда ты сменишь гнев на милость? Это состязание не в моем духе. Давай лучше помиримся!

Он наклонился к ней. Она отстранила его:

— Оставь меня!..

Но близость ее полуобнаженного тела уже опьянила его. Он легко отвел ее руки и силой овладел ею... Повернувшись к ней спиной, он сразу же заснул.

Униженная, она плакала. Самое горькое было в том, что она чувствовала себя безвольной, способной ответить на это грубое насилие лишь слезами.

Эдвард был ей отвратителен. Как он может спать, оскорбив ее женскую гордость! И как его душу не тревожит то, что по его приказу этой ночью расстреляют людей! Она с отвращением отодвинулась на край кровати и осторожно, боясь, что он проснется, поднялась и ушла в свою комнату. И там, забившись в угол дивана, долго беззвучно плакала.

Адам, только что пришедший с караула, пил холодный чай. Жена и Хеля уже спали. Во флигеле опять было полно чужих — здесь спали двадцать три человека из конвоя графа Потоцкого.

Он мрачно жевал ломоть хлеба и смотрел невидящим взглядом перед собой.

В окно постучались. Адам нехотя поднялся, пошел открыть двери.

На пороге стояла Франциска. Она только что вернулась из города.

Он молча пропустил ее в комнату, закрыл дверь и глухо спросил:

— Ну, что?

Франциска порывисто сняла с плеч мокрый платок.

— Ничего! — ответила она упавшим голосом.— Я его не видела — не пустили...

Адам понуро стоял перед ней, зажав в руке недоеденный кусок хлеба.

— Здесь за тобой приходили...

— Зачем? — с ненавистью спросила Франциска.

Адам шевельнул желваками и, отводя глаза в сторону, ответил:

— Отец звал готовить Потоцкому постель...

Франциска глубоко вздохнула, словно ей трудно было дышать.

— Постель стлать? — Ей сдавило горло. Она с презрением глянула на Адама.— И что ты сказал?

— Что придешь, когда вернешься.

Большие серые глаза Франциски стали зелеными. Что-то дикое, необузданное вспыхнуло в них.

— Сволочи вы все! — шептала она, ненавидя.— Слышишь? Сволочи! И ты и твой отец... будь он проклят, старая собака!..

Адам отшатнулся от нее.

— Почему ты Хелю не послал?

— Она не сумеет...— растерянно бормотал он.

— Сумеет! Этот клур Владислав научил уже... Вы ж нас всех продали здесь... Твое счастье, что Барбара лицом не вышла, а то и с ней спали бы все, кому захотелось...

— Что ты говоришь?

— Ты у Хели спроси — она расскажет... И какая несчастная доля меня сюда пригнала?

Адам свирепо уставился на нее.

— Чего смотришь? Брата, может, вешают сейчас, а ты, как собака, охраняешь их, чтобы кто случайно не сунул ножа в графские кишки... Холуй проклятый! — Она оттолкнула его и выбежала в сени.

Адам, отравленный словами Франциски, грубо будил дочь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Трое на водокачке, волнуясь и вздрагивая, слушали, как учащалась стрельба. Вот уже заклокотало у вокзала. В этой нарастающей буре звуков чувствовалось ожесточение борьбы. Андрий замер, прижав руки к груди.

— Что ж они оставили нас здесь? Где ж это видано, чтобы я стоял и дожидался, чья возьмет? По-ихнему, я ни на что неспособный? — сказал он с горечью.

Стоящая рядом Ядвига притянула его к себе и по-матерински успокаивала.

— Что ж делать? Нам приказали остаться здесь.

Олеся молчала. На дворе послышались голоса и, как показалось Андрию, храп лошади. Олеся схватила Птаху за плечо.

— Андрий, что это?

Птаха похолодел. «А что, если ляхи? Тогда все пропало»,— чувствуя, как сжалось его сердце, думал он.

В дверь застучали. Андрий, натыкаясь на табуретки, устремился к двери. Здесь на полу лежал топор.

— Григорий Михайлович! Это я, Щабель. Открывай!

— А, Щабель! — радостно воскликнула Олеся и тоже бросилась к двери.

— Это наши... Я сейчас открою.— И она уже снимала крюки.

— Кто это? — остановил ее Андрий.

— Ну, вот и я,— сказал кто-то высокий, невидимый.

— А наши уже ушли,— укорила Олеся.

— Слышим! Запоздали мы — с холмянскими все торговались. Они к Могельницкому ходоков слать хотели. Дескать, не тронь нас — и мы тебя трогать не будем. Пока мы их уломали, время прошло... Свети, Олеся, что ли.— И Щабель зажег спичку.

На миг он увидел Андрия.

— Это кто? — недоверчиво спросил он.

— Это Андрий,— почему-то смутилась Олеся.— Его отец оставил здесь.

Вслед за Щабелем в комнату вошел низкорослый широкоплечий крестьянин.

— Здрасьте, хозяева!

Щабель пожал руку Ядвиге.

— Это Евтихий Сачек из Сосновки,— сказал он, кивнув на крестьянина.

Олеся поставила зажженную лампу на стол и поспешила к окну, чтобы его завесить.

— С нами человек пятьдесят сосновских и около тридцати холмянских. Им сейчас винтовки дать надо,— сказал Щабель.

Ядвига отвела его в сторону.

— Товарищ Раевский сказал, что для вас патроны сбросят на ходу близ речки. Он поручил передать вам, чтобы вы повели свой отряд на усадьбу Могельницких. Этим часть легионеров будет задержана, пока наши не захватят города. А вы попытайтесь занять прежде всего фольварк. Там стоят немецкие лошади...

Щабель быстро повернулся к Сачеку.

— Сейчас возьмем винтовки и двинем на фольварк. Скажи своим хлопцам, что там коней хороших добудем...

— Это дело! — обрадовался Сачек.— Что-то у меня кони хромать стали, и парочка мне как раз...

— Ну, ладно, ладно! Пошли. Слышишь, что в городе делается? Рассусоливать тут некогда...

Они вышли во двор, где их ожидали крестьяне. Птаха решительно сказал Ядвиге:

— Я с ними пойду!

— Как пойдете? А ваши руки?..— растерялась Ядвига.

— А мы одни останемся? Хорош защитник! Тогда я тоже пойду. Я одна здесь ни за что не буду! — вспыхнула Олеся.

— Тогда и мне надо уходить,— тихо сказала Ядвига.

— Вот и пойдем все вместе. Оставаться я не хочу, мне страшно здесь,— заупрямилась Олеся.

— Куда ж ты пойдешь? Там же война,— сказал Андрий, устыдившись.

— Ну и что ж! Возьмем с Ядвигой Богдановной ту сумку с бинтами и будем помогать, если кого покалечат.

Андрий не знал, что ответить.

— А что Григорий Михайлович мне скажет?

— Почему тебе? Я сама ему отвечу. Идемте, Ядвига Богдановна.

Раевская уже надевала пальто.

— Олеся, развяжи мне правую руку, — попросил Андрий.

— Как развяжи? Она же обваренная вся...

— Ты мне два пальца, вот эти, размотай, чтобы я мог затвор дергать.

— Не буду я разматывать — тут одно живое мясо...

Андрий шагнул к Ядвиге.

— Прошу вас, развяжите! А то я зубами порву.

Ядвига несколько мгновений смотрела на него и молча принялась развязывать бинты.

— Я немножко оставлю, вот здесь...

Вошел Щабель.

— Все в порядке — патроны, винтовки есть! Сейчас двинемся... Дождь перестает...

— И мы с вами,— сказала Ядвига.

Птаха выбежал во двор и вернулся с винтовкой. Карманы пиджака были набиты патронами.

— А мне ты принес? — спросила Олеся.

Они впервые за все это время встретились глазами.

— Тебе? — переспросил он удивленно и улыбнулся.

Он передал ей свою винтовку и стал торопливо совать в карманы ее жакета обоймы с патронами.

— Сейчас я научу тебя, как заряжать. Вот берешь за эту штучку—раз! Затем к себе... Ишь, патрон выскочил.

Раз — загнал в дуло... Опять сюда! Теперь тянешь за курок — и одним гадом меньше на свете... Приклад крепко прижимай к плечу. Бери, я сейчас себе достану.

Уже уходя, Андрий спохватился:

— А Василек?.. Куда парнишку девать? — Он побежал в кухню.— Васька, вставай живее! Да проснись ты, соня! Мы уходим. Слышишь? Уходим! Ты закрой дверь и спи себе. Мы скоро вернемся...

Сонный Василек ничего не понимал. Андрий уже подталкивал его к двери.

— Закрывай на крюк и ложись спать.

Василек моргал спросонья и что-то бормотал про себя, но в конце концов понял, что надо закрыть дверь и идти спать. Он так и сделал.

Щабель взял фольварк без единого выстрела. Их налет был, как снег на голову. В усадьбе Эдвард поставил под ружье всех, кто только мог носить оружие, и двинулся в город. В палаццо остался только граф Потоцкий с конвоем. Услыхав начавшуюся вокруг усадьбы стрельбу, Эдвард повернул свой отряд назад.

«Что это? — думал он.— В городе бой? Черт знает, кто с кем дерется. Неужели немцы обнаглели? Ну, а на фольварке кто?» Он приказал окружить усадьбу.

У ворот его встретил Потоцкий. Он был на коне.

— Что это, по-вашему, граф?

— Не знаю. Связи с городом нет.

От фольварка слышались редкие выстрелы. Могельницкий не решался двигаться туда ночью. Он решил дожидаться утра, не уходя от усадьбы ни на шаг.

А на фольварке в это время происходило неладное.

Захватив фольварк, холмянцы затеяли ссору с сосновскими, начав тут же делить коней.

— Мы первые вскочили во двор, кони наши! — кричал высокий холмянец, уже сидя на оседланной немецкой лошади и держа в поводу еще тройку.

К нему подскочил Сачек.

— Отдай, говорю тебе! Скажи спасибо, что одного получил. А ты все загребти хочешь... У меня вот все кони на ноги пали, а ты хватаешь...

Споры из-за коней загорались во всем фольварке. Щабель, находясь в цепи, обстреливавшей имение, по редким

выстрелам понял, что часть крестьян куда-то убежала. Он кинулся к воротам.

— Гей, мужики! Что ж вы?

Но его никто не слушал. Кое-где уже награждали прикладами друг друга. Высокий холмянец поджигал своих:

— Забирай коней и тикаем до дому! Пусть они сами справляются... Чего нам лезть в прорву? Гайда до дому, хлопцы! А кто пущать не будет, так бей его з винта.

Щабель поздно понял опасность.

— Куда вы, хлопцы? Что ж это — продаете, значит? — кричал он.

— Злазь с дороги! — гаркнул на него высокий холмянец.

— Пущай сосновские отдают коней, тогда останемся... А у нас Могельницкий все позабирал, так мы хоть этим попользуемся...

— Чего там с им тарабарить? Гайда, хлопцы, до дому! А то еще окружат тут, то и без головы останешься...

Щабеля оттеснили в сторону.

Птаха едва успел спасти Олесю от лошадиных копыт. Холмянцы, нахлестывая коней, налетая друг на друга, матерясь на чем свет стоит, промчались мимо них. Через минуту их не стало слышно.

С первыми выстрелами немцы зашевелились. Вдоль эшелона забегали фельдфебели. Слышались короткие слова команды. Когда стрельба разгорелась с особенной силой и стала приближаться к вокзалу, у штабного классного вагона заиграл тревогу горнист.

— Господин полковник, вас желает видеть какой-то военный, называющий себя польским офицером.

— Введите,— сказал полковник Пфлаумер.

— Честь имею представиться — капитан Врона.

— Чем объяснить эту стрельбу? — с угрозой спросил полковник.

— Дело в следующем, господин полковник. В городе вспыхнуло большевистское восстание. Нам был предъявлен ультиматум невмешательства в их действия. Они хотят разоружить ваш эшелон, а офицеров расстрелять. Мы всю ночь вели бой, но сейчас вынуждены просить вашей помощи. Мы сделали все, чтобы предотвратить этот бунт. Но у нас иссякли силы, и мы должны оставить город.

Грохот пальбы у вокзала как бы подтверждал его слова. Вокруг полковника стояла группа немецких офицеров в стальных шлемах.

Густые цепи немцев залегли вдоль парапета товарной станции, другая часть солдат возилась на платформах с броневтомобилем и у орудий.

— Тэк-с,— процедил сквозь зубы Пфлаумер и выплюнул остаток сигары.— Они хотят нас разоружить? Ну, это мы еще посмотрим...

— Конечно, господин полковник, если вы вмешаетесь, то от этой мрази не останется и следа.

Врона разглядел среди офицеров Шмультке.

Лейтенант что-то тихо говорил полковнику.

— Простите, как вас?..

— Капитан Врона,— подсказал Шмультке.

— Ага! Так мы вмешаемся обязательно. Будьте добры, отведите своих солдат вон туда! — махнул он рукой влево.— Мы сейчас начнем операцию. Снять орудие! Свезти броневтомобиль на землю! Господин председатель полкового совета, объясните солдатам причину боя.

К рассвету город был занят рабочими. Щабель прочно засел на фольварке, приковав Могельницкого к усадьбе.

Но когда полная победа была близка, на вокзале загрохотали мощные залпы. Оттуда по городу брызнули огнем и сталью. Залаяли сразу полтора десятка пулеметов.

Немцы двинулись на город.

Целый час Раевский упорно сопротивлялся, задерживаясь на каждом углу. Но по улицам рыскал неуязвимый броневтомобиль, направляя огонь своих пулеметов в переулки и дворы.

— Эх, бомбы нет! — бесился Чобот.

Восставшие отходили, оставляя улицу за улицей. А серо-зеленые цепи немцев методично, размеренно двигались вперед. Так же размеренно грохотали на станции четыре орудия, швыряя в город тяжелые снаряды.

— Что же, Зигмунд, выходит — проиграли? — сказал Ковалло, быстро шагая рядом с Раевским.

— Да, этого я больше всего боялся. Здесь без провокации не обошлось... Метельский вчера хотел поговорить с полковым советом, но председатель, продажная душа, пригрозил его арестовать. Теперь надо сохранить людей. Будем отходить на Сосновку. Из города надо выбраться как можно скорее, до утра, а то здесь окружат...

В предрассветной дымке кутался город. Последние цепи рабочих уже покинули пригород.

Щабель прислушался.

— А ведь наши из города уходят... Слышишь, пальба уже с пригорода? Видать, немцы полезли в драку. Что ж, тогда и нам отходить надо, пока не рассвело... Будь здесь холмянцы, можно было бы на усадьбу пажать, а так делать нечего. Передай, чтобы отходили! — сказал он Сачеку.

— Фольварк запалить? — спросил тот.

— Не надо. Все равно нашим будет,— запретил Щабель.— Пусть седают на коней.

— А баб куда же? — недовольно буркнул Сачек.

— Их тоже на коней посадим.

— Тут я подводу снарядил с барахлишком, одну посадить можно!

Щабель помог Олесе сесть в седло.

— Не упадешь? — сказал он, подавая ей поводья.

— Нет, я у себя в деревне ездила.

— Ну, а ружье перекинь через плечо. Эх, и вояка же из тебя геройский,— пошутил он, но сейчас же помрачнел...

Птаха скакал рядом с Олесей. Ему все казалось, что девушка может упасть...

Через полчаса они соединились с уходящими из города.

Эдвард Могельницкий приехал на вокзал, чтобы лично отблагодарить полковника Пфлаумера за оказанную помощь.

— Чем могу быть вам полезен? Скажите, и все, что в моих силах, сейчас же будет сделано.

Полковник Пфлаумер отказался от услуг.

— Благодарю. У нас есть все необходимое. Но вслед за нами движется пехотный франкфуртский полк. Господин Шмультке говорит, что в нем служит ваш брат. Как мне известно, они нуждаются в продовольствии и теплой одежде. Начинаются холода. Вот если вы им поможете, это будет прекрасно.

— Конечно, конечно! — заверил его Эдвард.— Может быть, господин полковник разрешит мне наградить его доблестных солдат? Я хочу выдать им по сто марок...

— Это можно. Я передам о вашей любезности полковому совету. Кстати, мы здесь думаем задержаться

до прихода франкфуртцев и просим не чинить нам препятствий в получении хлеба из пекарни.

Могельницкий приложил руку к козырьку.

— Я немедленно отдам приказ доставлять вам хлеб сюда, на вокзал. Теперь разрешите от имени наших дам и всей семьи пригласить вас и господ офицеров на вечер, устраиваемый в вашу честь в нашем родовом имении. За вами будут присланы экипажи.

— Спасибо! Я передам офицерам. Если все будет спокойно, мы приедем.

Могельницкий со своим штабом уехал.

— Надо торопиться, а то мы с ними не справимся тогда,— сказал Могельницкий Вроне, когда они возвращались в город.— Пошлите двоих курьеров к Замойскому. Пусть он снимет свой отряд из-под Павлодзи и движется сюда. Пусть ему скажут от моего имени, что, как только мы справимся с немцами, я помогу ему разгромить павлодзинцев. А вы подготовьте на вокзале все, что нужно. Если наш план провалится, то придется эвакуировать город и открыть немцам дорогу... Не упускайте холмянцев из виду, когда они появятся. Действуйте энергично!

Потоцкий не уехал в этот день, как думал. Восстание в городе задержало его. Когда положение было восстановлено, в кабинете Эдварда был разработан предложенный Потоцким план разоружения немцев. Горячий Потоцкий защищал его с таким пылом, что Эдвард не мог возражать, не рискуя навлечь на себя обвинения в трусости.

— Вы говорите — риск, но где его нет? Я сам могу помогать вам и уверен, что мы немцев разоружим,— самоуверенно говорил Потоцкий.

Во время их беседы отец Иероним доложил, что приехала делегация от холмянцев. Эдвард приказал арестовать их.

— Я их повешу! Они разгромили наш фольварк в Холмянке, а здесь забрали купленных мною лошадей! — крикнул он.

Но тут неожиданно вмешался Потоцкий.

— Повесить всегда можно. А нельзя ли их использовать для наших замыслов?

Эдвард удивленно посмотрел на него.

— Вы думаете? Это же сброд!..

— Ничего, ничего! Пусть отец Иероним с ними побеседует. Скажите им, что если они к вечеру пришлют пятьдесят человек к вокзалу и помогут нам разоружить немцев, то получат часть добычи, денег и графское прощение,— обращаясь к отцу Иерониму, приказал Потоцкий.— Ну, вы сами знаете, как это уладить...

Отец Иероним ушел, но вскоре вернулся.

— Они просят, чтобы сам вельможный пан сказал им это.

Эдвард взглянул на Потоцкого.

— Ничего, подите. Это ведь ни к чему не обязывает.

Эдвард поднялся.

Вечером, когда в усадьбе Могельницких собрались почти все немецкие офицеры, Эдвард с Потоцким, окруженные конвоем, поехали к вокзалу.

Наспех собранные для вечера панны усиленно занимали гостей. Повеселевший Юзеф не жалел вина.

Немцы понемногу осваивались.

Шмультке и Зонненбург ухаживали за Стефанией. А хитрая полька дарила немцев лукавыми взглядами, хохотала. И никому не могло прийти на ум, что творится сейчас на вокзале.

Длинноногий немецкий солдат бегал от вагона к вагону и радостно кричал в открытые двери:

— Торопитесь получить по сотне марок! А то, чего доброго, не хватит, тогда останетесь с носом. Деньги раздают в первом классе вокзала.

Вагоны опустели. Густая толпа солдат заполнила залы первого и второго классов. Фельдфебель выкрикивал фамилии, а трое служащих управы выдавали каждому стомарковую ассигнацию. У столов — толкотня, крики, споры. Кто-то получил дважды, его уличили.

А в это время Дзёбек, от которого все еще несло отвратительной вонью, хотя он трижды отмывался в бане, каждый раз вновь отсылаемый туда Вроной, с несколькими жандармами вел к паровозу Воробейко.

— Садись и двигай к эшелону. Подойдешь и сразу же нажимай на все колеса, чтобы эшелон в один момент был вывезен за станцию. Отвезешь версты за четыре и остановись. Смотри у меня, чуть что...— И он показал помощнику машиниста на револьвер.

— Но они ж меня убьют за это!

— Ни черта тебе не будет! Садись и двигай. А будешь разговаривать, тут тебе и амба!

Воробейко, проклиная себя за то, что остался на станции, полез на паровоз.

По станции неслись дикие крики. Громыхая на стрелках, состав, быстро развивая ход, промчался мимо вокзала и скрылся за депо.

Кое-кто из солдат пытался догонять, но вскоре, видя бесполезность этого, останавливался.

Большинство солдат были безоружны. Только унтер-офицеры имели револьверы и некоторые солдаты — тесаки.

— Измена! Нас предали! — неслись со всех сторон возмущенные крики.

Разъяренные солдаты избили ни в чем не повинных служащих управы, опрокинули стол с деньгами.

Белобрысый лейтенант в пенсне, один из оставшихся на вокзале офицеров, пытался навести порядок.

— Кто с оружием, ко мне!

Но было поздно. Вокзал был окружен отрядом Могельницкого и людьми Потоцкого. А дорогу на север преградили холмянцы.

Ими командовал высокий крестьянин, во всем подчиняясь советам Зарембы, который с двумя десятками легионеров тоже был среди холмянцев.

Несколько залпов заставили немецких солдат по одному выйти из здания, как им было приказано.

Через полтора часа, без шинелей, которые с них сняли, а кое-кто и разутый, немцы, окруженные с трех сторон поляками, были выведены за станцию.

— Внимание! — заорал Заремба. — Вам приказано двигаться вперед, не останавливаясь ни на одну минуту. Дойдете до фатерланда и пешком, ничего!

Гробовое молчание было ему ответом.

Несколько сот человек молча шагали по грязи, мрачно опустив головы, затаив лютую ненависть к обманувшим их людям...

— Ну, что я вам говорил? — восхищенно воскликнул Потоцкий, гарцуя на беспокойном коне.— Теперь поедем к господам офицерам. С ними мы будем немножко вежливее. Надо все-таки помнить, что они сегодня вели себя

прилично. Я напишу князю Замойскому, чтобы он пропустил их без эксцессов.

— Да, конечно,— согласился Эдвард.

Эшелон промчался мимо пустынного полустанка и через полчаса влетел на соседнюю станцию. Воробейко остановил паровоз и спрыгнул со ступенек.

Со всех сторон к эшелону бежали вооруженные люди.

— Эй, хлопцы, що цэ такэ? Звидкиля состав? Гляды, да ось два нимця! А тут ще одын...

Воробейко окружили. Плотный, широкобородый дядько, перепоясанный пулеметными лентами, с наганом и бомбой за поясом, спросил:

— Кто такий будешь? Отвечай! Я атаман Березня.

— Повстанцы, значит? — обрадовался Воробейко.— А я думал, чи не панам ли в руки попался? А выходит — своим...— Он радостно улыбался.— А я вам, товарищи, броневик привез и четыре орудия. Будет чем панам припарки ставить... У нас не вышло. Поднялись мы, значит, своих из тюрьмы вызволили, расчехвостили легионеров,— так на́ тебе — немцы вмешались в это дело! Целый полк! Известно, разбили нас. Наши на Сосновку отошли, а у немцев с ляхами кутерьма началась. Взяли меня ляхи за жабры, чтобы я немецкий эшелон со станции вывез. Ну, я и допер сюды. Вот оно как получилось, товарищи!

Окружавшие Воробейко люди молча слушали его.

— А ты, случаем, не из большевиков будешь? — спросил его бородатый, назвавший себя Березней.

— Фактически являюсь партейным коммунистом,— с гордостью ответил Воробейко.

— А-а-а, коммунистом! — И бородатый цинично выругался.— Дак мы вашего брата к ногтю жмем. Берите его, хлопцы.

Воробейко растерянно озирался.

— Кто же вы такие?

— Мы — петлюровцы. Не слыхал таких, а? Жидовский прихвостень! — жестоко оскалил зубы бородатый.

— Стало быть, вы — контра? — упавшим голосом произнес Воробейко.

— Понимай, как хошь. Отведить его за переезд и пустить его до Карлы Марксы, ихнего бога,— махнул рукой бородатый.

Несколько человек схватили Воробейко и повели в сторону.

В эшелоне уже шел грабеж.

— Тут, что ли, кончать будем? Куда его тащить дальше? — сказал один из петлюровцев.

Воробейко с тоской глянул вокруг.

За переездом начиналось поле. Дул холодный ветер. Воробейко вздрогнул от ужаса, что вот его сейчас убьют и никто об этом не узнает даже. И все это так просто...

— Ты православный? Так перекрестись, а то зараз кончим,— спокойно сказал один из петлюровцев.

— За что? — бессознательно спросил Воробейко.

— Сказал атаман — пустить в расход, значит заслужил...

— Что ж я вам сделал такого? Эшелон с добром пригнал. Разве ж вам не совестно рабочего человека убивать ни за что ни про что?

— Дак ты ж коммунист?

Воробейко боялся, что ему выстрелят в спину, и поворачивался то к одному, то к другому.

— Мы ж, рабочие, все большевики! Что ж тут такого? У меня отец всю жизнь батрачил. За что ж убивать?

Один из петлюровцев сказал в раздумьи:

— Может, мы его в самом деле пустим? На кой он нам?

Другой нерешительно протянул:

— Черт с ним — нехай идет!

Третий, уже снявший винтовку, закинул ее опять за спину.

— Вались, да смотри, не попадайся атаману на глаза. А из коммунии вылазь, дурень!

— А вы мне в спину не жахнете? — откровенно спросил Воробейко.— Ежели так, так лучше бей сейчас в сердце, чтобы не мучиться. Все равно — конец один...

— Валяй, валяй!

Первые десять шагов Воробейко оглядывался, ожидая выстрела. Затем кинулся бежать в поле.

Наутро ударил мороз. Лужи и болота замерзли. В хате Цибули, в Сосновке, собрался штаб. Было решено: члены ревкома возвращаются в город для работы. Те из рабочих, кто надеялся остаться не открытыми, тоже возвратятся в город. Часть останется в отряде Цибули. Остальные направятся в Павлодзь. К концу заседания прискакал

мужик из Холмянки со страшной вестью. Могельницкий приказал повесить в городе против управы одиннадцать холмянцев. Остальным же дали по пятьдесят шомполов и, отобрав лошадей, отпустили домой.

Патлай, Щабель, Чобот и часть рабочих, погрузив на телегу пулеметы, двинулись в Павлодзь. Степовый не захотел возвращаться в город и отправился вместе с ними.

Из шестидесяти отнятых на фольварке лошадей Щабелю удалось выпросить у сосновцев только десяток. Когда телеги, нагруженные ящиками с винтовками и патронами, вывезенными из города, выехали из села, Щабель с десятком конных тоже тронулся в путь.

— Вы уж, девушки, по нас не плачьте! Скоро вернемся, заживем в счастье и добро,— шутил он, прощаясь с Олесей и Саррой. Молодых решено было оставить в Сосновке.

Один за другим в город вернулись Ковалло, Метельский, Ядвига и Раевский.

Ковалло был немало удивлен, когда на крыльце водокачки он увидел хлопотавшую с самоваром незнакомую женщину.

«Это еще что такое?» — подумал он.

При виде его женщина улыбнулась.

— Видать, хозяин пришел? А то неловко в чужом доме хозяевать. Я — Андрийкина мама, Мария Птаха.

— Добрый день! Вот как пришлось познакомиться.— Ковалло дружелюбно пожал ей руку.

Мать Андрия была высокая, сильная и, что удивило Ковалло, молодая.

Когда Раевский вошел во двор, он застал их за оживленной беседой.

— Так вот же я им и говорю: «А черт его знает, где его носит! Что я ему — нянька? Слава богу, семнадцать годов! Я за него не ответчица. Як поймаете, так хоть шкуру с него сдерите!» А у самой сердце болит. Только, думаю, не поймают они его, бо мой Андрийка не из таких, чтоб им в руки дался. Ох, и горе мне с хлопцами! Что один, что другой... Малого хоть отлупить могу, а тому что сделаешь, когда он выше меня ростом?

Увидев Раевского, она замолчала.

Прошла неделя. Зима наступила сразу. Ядвига жила у старшей сестры. Марцелина служила продавщицей в польском кооперативе. Набожная, замкнутая, она никогда не была близка с сестрой. Как все старые девы, имела свои причуды: в ее комнате жили семь кошек. Она их называла самыми замысловатыми именами и возилась с ними все свободное время. Каждое воскресенье аккуратно ходила в костел и у ксендза была на хорошем счету. Иногда она ходила в гости к экономке ксендза, единственной ее приятельнице. Сегодня вечером, придя к ней, Марцелина не застала ее дома. Двери открыл сам ксендз, добродушный толстяк с широкой лысиной.

— Войдите, панна Марцелина, пани Ванда сейчас вернется,— пригласил он.

— Ну, что у вас хорошего, панна? — спросил он, когда она скромно уселась в уголке гостиной.

— Ничего, спасибо. Живем теперь с сестрой.

— Ах, вот как! — произнес он, чтобы что-нибудь сказать.— Скажите, почему я не помню вашей сестры?

Марцелина потупила глаза.

— Она не ходит в костел, пане ксёндже.

— Ага! Она, кажется, вдова? Помнится, вы просили меня осенью помолиться о ее муже.

— Слава богу, он жив, пане ксёндже. Он недавно вернулся.

— Вот как!

Ксендз ходил мелкими шажками по комнате, участливо расспрашивал, соболезновал, был так ласков, что растроганная Марцелина охотно рассказала ему все, о чем он спрашивал.

— Так, так... Ничего, моя родная, не горюйте. Печально, конечно, очень печально, что все они отошли от бога. Но святой отец всемогущ. Они вернутся к нему... Да, смутные времена пошли,— задумчиво произнес ксендз.

— Добрый вечер, отец Иероним. Вот и зима. И снег пошел. Ну, пройдемте ко мне...

— Вам не кажется, отец Иероним, все это немного странным?

— Да, конечно. Особенно теперь. Вы говорите — ее фамилия Раевская?..

Два дня Дзёбек, одетый в штатское, следил за Ядвигой. Ночью его сменял Кобыльский. Дзёбеку дважды удалось увидеть ее в лицо. Он хорошо запомнил черты этой полной, красивой женщины в белой вязаной шапочке, ее ладную походку, мягкий, приятный голос. Он мог узнать ее издалека. На вид он дал ей сначала тридцать лет. Но при второй встрече, рассмотрев ее ближе, прибавил еще пять.

Ничего подозрительного эта женщина не делала.

До вечера работала в мастерской. Возвращаясь домой, зашла в лавку. Затем, часов в девять, пошла к доктору, пану Метельскому, и потом — домой. Ночью никуда не ходила.

К вечеру второго дня Дзёбеку надоело бесполезное хождение. Он передал слежку одному из своих агентов, а сам занялся подробной разведкой.

Вскоре он уже знал, что Раевская раньше жила на другой улице, и не одна, а с сыном. Под предлогом починки ботинок он побывал у сапожника Михельсона.

Клубок начинал постепенно распутываться. От Шпильмана капитан Врона узнал о Сарре.

— А дочери сапожника нет! И сына этой Раевской тоже... Тут, пане начальник, нечисто!

Когда Баранкевич сообщил все о Раймонде Раевском, Врона сам взялся за расследование.

На третий день ранним утром Ядвига зашла к жене Патлая.

— Есть! — обрадовался Дзёбек.

Это была первая тяжелая улика. Жену Патлая после восстания, во время которого она была освобождена, решили пока оставить в покое. Но за домом присматривали.

— Будьте осторожны, а то сорвете все дело! — остановил Врона болтливого Дзёбека, когда тот докладывал о своих успехах.— Пока что вы ничего не знаете.

Утром следующего дня Вроне позвонили сразу и с завода и из вокзального жандармского управления.

— Сегодня ночью опять были расклеены воззвания ревкома в несколько слов: «Товарищи рабочие! Мы не разбиты. Мы только временно отступили. Ждите — мы скоро вернемся. Пусть враг это знает. Да здравствует власть рабочих и крестьян! Председатель революционного комитета Хмурый».

Ігона положил трубку телефона и задумался. Затем вынул маленькую жестяную коробочку, взял из нее щепоть белого порошка и с наслаждением втянул его в нос.

Раевский остановился на углу около магазина, поджидая Ядвигу. Она должна была пройти здесь после работы. Ему нужно было поговорить с ней. До сих пор они встречались лишь у Метельского. Приемная врача была самым удобным для этого местом.

Рядом с ним стоял низенький человек в теплом полушубке. По давней привычке не привлекать внимания неподвижностью Раевский повернулся спиной к ветру и закурил. Ветер гнал по улице легкий снежок.

— Разрешите прикурить,— попросил человек в полушубке и вынул озябшими пальцами коробку дрянных папирос.

— Пожалуйста.

По акценту Раевский узнал в нем поляка. По тротуару шли люди. Холод подгонял их. В стекле витрины Раевский увидел проходившую Ядвигу. Она не заметила его. Человек в полушубке заторопился. Он так и не прикурил.

Раевский посмотрел ему вслед и, попыхивая папиросой, спокойно пошел за ним. Он видел — Ядвига вошла в хлебную лавку. Человек в полушубке остановился около. Раевский задержался у афиши. Когда Ядвига вышла, человек в полушубке двинулся за ней. Раевский прошел мимо дома, где жила Ядвига, по другой стороне улицы, даже не взглянув туда.

В переулке человек в полушубке вяло торговался с извозчиком.

Раевский шел и думал. Ощутив горечь во рту, он вынул папиросу. Она была выкурена — тлел мундштук.

Острый взгляд нашел лишнего человека у дома Метельского.

В квартире доктора стоял шапирограф.

«Ковалло сейчас у Метельского. А, вот еще один. Ну, это определенно болван. Не успели еще подобрать матерых».

Раевский прошел лишних два квартала, свернул в переулок. Убедился — за ним никого нет.

«Ядвига, Ковалло, Метельский,— кто был неосторожен? Никого из них предупредить уже нельзя. Ясно —

Ядвиге не надо было возвращаться в город...» Сердце вдруг сдавило тяжело и больно. «Ядвига!» Он ударился плечом о фонарный столб и тотчас пришел в себя. Быстро пошел к поселку. Надо предупредить остальных...

Гнат Верба обошел всех, посоветовав выбираться из города как можно скорее. Затем Раевский послал его в город. Через час он вернулся с печальной вестью.

Как только стемнело, Раевский и Верба вышли из города. Их взял в сани возвращавшийся с базара крестьянин. В пути они разминулись со Щабелем. Тот, оставив в соседнем селе лошадь, пробирался в город пешком.

Ночью в поселке начались повальные аресты.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Злобствовала пурга... Она бросала в окна лесной мельницы хлопья снега. Лес встревоженно гудел...

Холодно становилось у Андрия на сердце. Он прижимался спиной к дубу, сжимая в руках карабин, и до боли в глазах вглядывался в темноту ночи. Каждый треск сломанной ветки казался человеческими шагами. Когда он уставал от нервного напряжения, он обходил дуб, и глаза его отдыхали на огнях, струившихся из окон старой мельницы.

Огни говорили о жизни, о людях, укрывшихся от свирепой вьюги в теплых комнатах мельника.

«Пшеничек опять, поди, что-нибудь про меня брешет... Олеся смеется, наверное. Что ж, пусть смеется».

Андрий бессознательно улыбнулся. Теплая волна прилила к сердцу, как всегда при мысли об Олесе. Люди зовут это любовью. Что же, пусть будет любовь!

Задумался Андрий, замечтался... А что, если он станет знаменитым бойцом? О нем будут ходить легенды по хуторам и селам, страшным станет его имя для врагов, а он, смелый, молодой, будет носиться впереди своих эскадронов, очищая родную землю от шляхты. И пан Баранкевич, спасаясь от него, будет говорить своей топкошеей супруге, этой дохлой кошке: «Ведь это тот самый Птаха, пся его мать, тот самый кочегар из котельной нашего же завода».

Олеся будет следить за его победами и в душе, наверное, будет гордиться, что вот этот самый парень, о котором

все говорят, целовал ее колени и говорил жаркие слова... И уже не будет шутить над ним, и в глазах ее он уже не встретит плохо скрытой насмешки.

Взглянет Олеся на него, покрытого славой, и впервые увидит он в ее взоре восхищение и любовь...

Почти совсем рядом затрещал сухой хворост. Руки сами собой рванули карабин к плечу. Резкий окрик вырвался из груди:

— Стой! Кто идет? Стреляю!

Что-то темное, высокое шевельнулось впереди, и простуженный голос ответил:

— Эй! Кто там у мельницы? Я — Щабель!

Андрий опустил карабин. Он узнал голос.

— Это я, Птаха! — крикнул он.

Вот голова коня рядом с ним, а всадник в тулупе и бараньей шапке уже нагнулся к Андрию, присматриваясь.

— Куда коня поставить? Кто там в хате? Цибуля здесь? — хрипел Щабель.

— Все там! — кричал Птаха.— А что в Павлодзи?

— Я из города. Там могила. Ревком забрали...

Птаха отшатнулся:

— Да что же это?

Страстные споры шли до глубокой ночи. Весть о том, что ревком захвачен, придавила всех.

Снимая полушубок, Щабель бросил:

— Кто-то продал! Всех забрали...

Щабель не знал, что Раевскому удалось уйти в Павлодзь.

Долго, очень долго стояло в комнате тягостное молчание. Пепельно-бледным стало лицо Раймонда. Огромный Цибуля мрачно теребил свою широкую бороду. Он смотрел в угол, словно в темноте, под скамьей, было что-то, притягивавшее его взор.

Наклонив голову к коленям, чтобы скрыть слезы отчаяния, забилась в угол у печки Олеся. Еще недавно ее звонкий смех веселил всех. Широко раскрытыми глазами, полными ужаса и тоски, глядела на великана Цибулю Сарра, тщетно пытаясь в его поведении найти хоть искру надежды. Но сосновский повстанец был мрачен.

Птаха, которого только что сменил с поста Пшеничек, внезапно вскочил с лавки и с яростью бросил на стол свою куцую шапчонку:

— Что же вы сидите, деды? Выручать ревком надо! Вдарим всем отрядом на город — и душа из них вон! Срубаем панов и своих вызволим!

Цибуля медленно повернул к нему свою тяжелую голову.

— Чем вдаришь-то, сосунок? Сидел бы тишком, умней был бы!

Андрия словно обожгло.

— Как чем вдарить? Я ж говорю — всем отрядом! Поднять мужиков в деревнях! А ты меня сосунком не шпыняй, а то я не посмотрю, что у тебя борода до пояса, а так двину, что...

— Андрий...— тихо сказала Сарра.

Птаха опомнился. Сачек зло хмыкнул.

— Ты полегче, мальчонок! За такие слова можем плетей всыпать. Хоть здесь не царская армия, но командир и у нас есть командир, и раз он говорит, то должон слушать и понимать. А вот подрастешь, тебя командиром выберем, и будешь свой ум доказывать.

— Насчет плетей — это ты зря! — хмуро отозвался Пшигодский.— Это у тебя фельдфебельская замашка осталась еще.

Медленно выговаривая украинские слова, Раймонд спросил:

— Товарищ Цибуля, вы отказываетесь напасть на город, хотя бы на тюрьму? Или, говоря прямо, вы не двинете свой отряд на выручку?

Цибуля тяжело налег громадой своего тела на стол и смущенно кашлянул.

— Разве я говорил, что отказываюсь? Но как его двинуть? Сами, небось, знаете,— пятьдесят мужиков на конях, у двадцати ружья казенные, у остальных берданки охотничьи. Ну, еще человек двадцать пять на санях усадим. Я за сосновских говорю, за своих. В другие села не дюже суйся. Там сами себе хозяева. Скажем, ежели на них нажимали б каратели, конечно, огрызаться будут. А городских выручать — так не пойдут, пожалуй. В городе войсков побольше нашего. Кому охота под пулемет лезть?

— Так ты наоборот? — недружелюбно спросил Щабель.

Цибуля потемнел.

— Горячий вы народ, городские! Вам вынь да положь... Я, скажем, пойду с вами, не отказываюсь, я старое добро всегда помню. Я еще не забыл, кто меня от расстрелу панского выручил, по мужикам-то до этого какое дело? Да и, сказать по правде, перебьют нас, как гусей, до единого, и никого мы не выручим и свои головы положим, а я, как командир, за все должон отвечать.

Щабель резко перебил его:

— Брось, Цибуля, эти сказки про белого бычка! Скажи прямо — слаба у вас гайка, у партизан-то. Дальше своей хаты воевать не ходите. Все норовите коло баб своих поближе, а на революцию вам наплевать! Эх! Мелкая буржуазея в вас сидит, будь она трижды проклята!

— Это мы-то буржуи? — удивился Сачек.

— А что ж ты такое? — крикнул ему Птаха.— Когда мы ваших из тюрьмы выручали, на смерть шли. А теперь, когда ревкому паны виселицу строят, так у вас «моя хата с краю, я ничего не знаю».

— Андрий, не надо ссоры. Товарищ Цибуля ведь не сказал так. Правда ведь, Емельян Захарович? — вмешалась Сарра, подходя к повстанцу.

Цибуля тяжело заворочался на лавке и, опять принимаясь за свою бороду, пробурчал:

— Ежели я буржуазея, так нечего судачить, а ежели ко мне по-товарищески, так я ж не отказываюсь подмогнуть, но на город не пойду. Перебьют...— твердо откроил он последнее слово.

— Тогда нашим, выходит, могила? — глухо произнес Щабель.

— Ну, нет! Этому не бывать, пока мы живы! — вырвалось у Раймонда.

— Раймонд, если они не хотят, то мы сами пойдем,— негодующе сказала Олеся.— Я тоже пойду!

— И я...— тихо проговорила Сарра.

— И тебе не стыдно, Цибуля, детей на смерть пускать? — не вытерпел Пшигодский.

— Сказал, на город не пойду. А кому охота, пущай идет. Еще семерых приберут к рукам.

— Ну и черт с вами! — крикнул Птаха.— Собирайся, братва! Нам здесь делать нечего. Пусть меня изрубают в капусту, но чтоб я здесь сидел и дожидался, когда наших перевешают, так лучше мне не жить на свете!

И Щабель и Пшигодский понимали безвыходность положения. Было ясно, что без помощи партизан всякая попытка освободить ревком обречена на неудачу. Пшигодский знал упрямство Цибули. Сломить его было невозможно, и он искал других путей. И вдруг не кто другой, как Птаха, подсказал ему эти пути.

— Ты как думаешь, Щабель, их будут судить или так?..— спросил Пшигодский.

— Какой там суд! А может, для видимости — военно-полевой. Все равно один конец. Ежели завтра ничего не сделаем, то будет, пожалуй, поздно.

— Как поздно? — прошептала Олеся, мертвея.

Молчание. Оно становилось невыносимым.

— Ну, если наши погибнут, тогда кончено,— никому пощады не дам! Год буду собирать народ, но соберу, и тогда будет расплата. Будь я трижды проклят, если я не перережу всех этих Могельницких! Ворвусь в усадьбу и всех до одного под корень. Кровь за кровь! — страстно кричал Андрий.

— Стой, парень, а ведь это в самом деле подходяще! — радостно вскрикнул Пшигодский.

— Что подходяще? Могельницких резать? Близок локоть, да не укусишь! — с презрительным недоумением усмехнулся Цибуля.

Но Пшигодский, уже не слушая его, обвел всех радостным взглядом.

— Вот послушайте, до чего дельно получается,— начал он.— Как с нами все это панство и офицерье поступает? По-зверячему! Раз им в лапы попался — прощайся с жизнью. Не хочешь в ярме ходить — пуля в лоб. Так мы что ж, святые, что ль? Змею, раз она кусается, голыми руками не ловят...

— К чему ты это? — перебил его Сачек.

— А к тому, что наскочим мы сегодня под рассвет, скажем, не на город, а на усадьбу графскую.

— Что ж, с бабами воевать будешь, что ль? Граф-то в городе, до него не достанешь!

— Ты помолчи, Сачек!

— Налетим, значит, на усадьбу. Заставу ихнюю в Малой Холмянке обойдем кругом. В обход верст двенадцать будет. В такую погоду сам черт не углядит. Ну, так вот... Сомнем мы там охрану ихнюю. Могельницкому и в ум не придет держать у себя в тылу большую часть. Знает

ведь он партизанскую повадку — из своей берлоги не выходить.

— Ну, ну, слыхали, дальше что? — огрызнулся Сачек.

— А дальше — заберем жен ихних, старого гада впридачу. Глядишь, сам Могельницкий в руки попадется. Ездит он туда из города частенько. Мне там все ходы известны. Заберем всех, в ихние же сани посадим — и айда! Ищи ветра в поле. Запрячем их подальше в подходящее место, а ему по телефону, коли сам не попадется, скажем: ежели хоть одного из наших пальцем тронешь, так мы твоих уж тут миловать не будем. А?

— Молодец, Пшигодский, вот это по-моему! До чего ж просто, черт возьми! — восхищенно воскликнул Птаха.

Все глядели на Цибулю, ожидая от него ответа.

Великан заговорил не сразу. Он всегда трудно думал, никогда не спешил. Но уж одно его молчание обнадеживало.

— Да. Это более подходяще. Тут можно и потолковать. Это умней, чем на город переть. Только боюсь я, наскочим мы на имение, а там никого и нет, и выйдет это у нас впустую...— все еще колебался Цибуля.

— Значит, решено? — подталкивал его Щабель.

— Ты как, Сачек, на это?

— Я, Емельян Захарович, как вы... А так мыслишка не плохая. Глядишь, там из барахла мужикам кое-что перепадет...

— Ну, это вы бросьте! — остановил его тихо Раймонд, но так решительно, что Сачек смущенно заморгал.

— А я что? У нас оно же и награблено.

— Нам ревком выручать надо, а ты...— возмутился Щабель.

— Ладно, так и быть, согласен я,— докапчивал вслух свою мысль Цибуля. И спокойным тоном начальника приказал: — Езжай, Сачек, в деревню, чтобы через час хлопцы были на конях. Возьмешь которые верховые, пешие нехай остаются. Для такого дела хватит. Так чтоб через час...

Людвига стояла у огромного окна библиотеки.

Ночная метель утихала. Одинокие снежинки медленно падали на пушистый снежный ковер.

Он уехал вчера поздно вечером, даже не простившись.

Что случилось? Почему ей стало так неуютно и одиноко в этом огромном доме?

Многое для нее было неясно. Во многом она безнадежно запутывалась. Все они — и Эдвард, и Потоцкий, и отец Иероним — говорят о борьбе за независимую Польшу, но вместо героизма, благородства, самоотверженности — предательство, порка, виселица. Это политика. А ее личная жизнь? Она здесь чужая.

Правда, и раньше она в этом доме не была родной. Ее любил и согревал лишь он один.

Разве был ей близким когда-либо этот отвратительный старик, беззубый развратник, о низости которого она не имела представления, пока история с Франциской не открыла ей глаза?

Этот Владек?

Или Стефания...

Но Эдди, ее Эдди?!

«Неужели,— думала Людвига,— я не люблю его?»

И кто виноват в этом? Он сам или, может быть, она? Ведь вот, оказывается, она не знала своего мужа! А когда-то он ей казался героем, рыцарем без страха и упрека. Разве могла она когда-либо подумать, что он способен на такую низость? Она вздрогнула, вспомнив виселицы около управы... Это он, Эдвард, приказал повесить предательски захваченных людей, поверивших его честному слову. Кто толкнул его на это? Врона? Она боится этого человека.

Людвига отошла от окна.

Высокие дубовые шкафы, заполненные книгами, стояли вдоль стен. Сюда, в библиотеку, она забиралась часто на целые часы и уносилась в сказочный мир приключений, фантастики и романтики.

Сейчас ее влекло сюда желание забыться.

Она подошла к открытому шкафу и безразличным взглядом скользнула по золотым корешкам книг. «Письма о прошлом»,— прочла она. Мысль опять вернулась к Эдварду...

Она вспомнила о найденном на днях в одном из томов старом, забытом письме. В нем покойная графиня, мать Эдварда, писала своему домашнему врачу о «юношеских шалостях» своего старшего сына, которые ее очень

беспокоят. Ведь мальчик может заразиться дурной болезнью. Старая графиня просила уважаемого пана доктора освидетельствовать горничную Веру, которой будет поручено «постоянное наблюдение» за комнатами молодого графа...

Стыд и уязвленная гордость, ревность и негодование — все вспыхнуло вновь, и Людвига зарыдала. Но слезы быстро прошли. Плакать об этом теперь, когда все рушится, после того, как он только презрительно усмехнулся, прочтя это письмо!

Нужно ехать к маме. И там, вдали от него, подумать обо всем и тогда решить...

Во дворе раздался выстрел. Людвига подбежала к окну и застыла. По двору метался на коне всадник в бараньем полушубке. Он держал в одной руке короткий карабин, из которого, видимо, только что выстрелил. По аллее к усадьбе неслись еще несколько всадников. Из парка прямо к подъезду подлетели двое и, спрыгнув с лошадей, побежали к палаццо.

В несколько минут двор наполнился вооруженными конниками. Ими предводительствовал бородатый великан. По взмаху его руки они рассыпались в разные стороны, окружая усадьбу. До Людвиги донесся его голос. Уже в доме еще дважды грохнуло.

Сомнений быть не могло. Люди, ворвавшиеся в усадьбу, были партизаны. Ей стало жутко.

Неужели это смерть? Вот сейчас они ворвутся сюда. Один из них выстрелит в нее. И все... Просить пощады после виселиц, после расстрелов и обмана? Стать расплатой за жестокость Эдди! На мгновение страх сковал ее движения, затем инстинкт самозащиты толкнул ее к двери, чтобы запереть ее на ключ. Но, сделав несколько шагов, она остановилась. Гордость и сознание безвыходности удержали ее. Она стояла среди комнаты, в смятении и страхе ожидая, когда откроются двери. И они открылись под мощным ударом чьей-то ноги. В библиотеку ворвался высокий парень в бараньем полушубке и в куцей шапчонке, сдвинутой набекрень. Он метнул взглядом по комнате.

Заметив Людвигу, вскинул карабин к плечу.

— Руки вверх! А, черт, опять баба!

Он сейчас же опустил карабин и, задыхаясь от бега, крикнул:

— Сказывай, где мужики ваши прячутся? Давай их сюда, все равно найдем!

И тут же, рассмотрев бледное лицо Людвиги, более мягко сказал:

— Мы красные партизаны, понятно? Так что не пугайтесь. Ваших мужиков, офицерьев, ищем, а с бабами мы не воюем. А вас я должен забрать на обмен. Пойдем!

Людвига встретилась взглядом с серыми отважными глазами парня.

— А вы, может, не из буржуев?

— Я графиня Могельницкая.

— А-а-а! Тогда пойдем! — Он указал на дверь.

По коридору бегали вооруженные люди, обыскивая все комнаты. Здесь Людвига встретилась с отцом Иеронимом. Его вели двое партизан.

— А, Птаха! Поймал пташку? — крикнул один из них.

— А нам этот гусь попался! Мы его у телефона захватили, звонил в штаб,— сказал второй, на всякий случай придерживая отца Иеронима за сутану.

Пробегавший мимо Пшеничек, услыхав последнюю фразу, смеясь, крикнул:

— Мы, святой отец, не такие дураки, мы провода раньше порезали! Так что зря, папаша, старался. Раз к нам в руки попался, и святой дух тебе не поможет.

На лестнице стоял рослый молодой человек в коротком ватном пиджаке, перепоясанном ремнем, на котором висела сабля.

Рука его лежала на рукоятке револьвера, засунутого за пояс. Лицо это было знакомо Людвиге, но вспомнить, где его видела, она не могла.

Внизу, в вестибюле, Людвига увидела уже одетую в шубу Стефанию и растерянную прислугу. С верхнего этажа скатился, гремя прикладом винтовки, Пшигодский. Он яростно накинулся на лакеев.

— Эй, вы, собачье племя, чего рты поразинули? Тащи панам шубы, бы-ы-стро! А то...— И он зло кольнул глазами старого Юзефа.

— Скажи, где спрятался этот мерзавец Владислав? Я знаю, что он здесь, в доме. Куда он делся, говори! Ты-то знаешь, где эта скотина прячется! — крикнул Пшигодский отцу.

Лицо старого Юзефа перекосилось.

— Я ничего не знаю. Пан Владислав уехал, наверное. А по тебе, видно, веревка плачет,— тихо добавил он.

— Ладно, рук о тебя марать не хочется,— ответил ему сын.— А жаль, если он здесь, и я не нашел. Эй, хлопцы, тащите сюда старую рухлядь! — кричал он наверх.

Несколько партизан на руках несли закутанного в меха старого графа, на которого от испуга напал столбняк. Высокие двери вестибюля, ведшие во двор к подъезду, были открыты. Прямо на коне в прихожую въехал Цибуля. Его голос разнесся по всему дому:

— Живо, хлопцы, живо справляйтесь! Шевелись быстрей! Живо, говорю вам!

Пшигодский бросился еще раз проверить комнаты. Наверху, в кабинете Эдварда, Щабель и Сачек укладывали в графский чемодан найденные в кабинете бумаги. Раймонд заканчивал письмо к полковнику.

Через несколько минут двое саней, покрытых медвежьими полостями, выезжали из ворот усадьбы. В первых сидели Людвига, Стефания и Франциска, которую Пшигодский силой заставил сопровождать графиню. В другие были посажены старый граф с ксендзом.

Выехав на широкую дорогу, тройки помчались, окруженные всадниками.

У подъезда на конях остались лишь трое: Раймонд, Птаха и Пшеничек. Через двадцать минут и они оставили усадьбу.

Могельницких решено было спрятать в старом охотничьем домике, принадлежащем их соседу, помещику Манежкевичу.

Домик стоял в лесной глуши. На несколько километров вокруг тянулся сосновый бор.

Ближайшая деревня Гнилые Воды была в семи километрах.

— Тут тихие места. Могельницкому и в голову не придет искать здесь, у себя под носом, он на Сосновку нажимать будет,— настоял осторожный Цибуля.

Олеся и Сарра, приехавшие сюда ранним утром, начали с того, что заперли в чулане старика-сторожа и его жену, объяснив им, что этот невольный арест будет коротким.

Хромой на правую ногу партизан, получивший от деревенских мальчишек кличку «Рупь двадцать», помогал им. Поставив лошадей и сани в конюшню, он вошел в дом, снял шапку, перекрестился на распятие, висевшее в углу столовой, и медленно стащил с плеча винтовку.

— Что, веруешь, дядя? — полушутя спросила его Олеся.

— Да, то-ись не то, что верую чи не верую, а обычай уж такой христианский,— ответил «Рупь двадцать».— Да и святые у них подходящие под наши, хоть вера у них польская.

Они растопили большую печь и камин. Кроме столовой, в доме было еще три комнаты и кухня. На стенах столовой висели звериные головы. Давняя пыль и паутина говорили о том, что в комнате этой давно никто не жил.

Имение Манежкевича было в тринадцати километрах отсюда. В домике жил лишь лесной сторож.

Когда «Рупь двадцать» вышел к лошадям, Олеся тихо сказала Сарре:

— Что там теперь делается? Как ты думаешь, Сарочка?

Сарра молча присела на край дубовой скамьи. Олеся тревожно ходила по горнице, на миг задерживалась у окна, всматриваясь, не видно ли кого на лесной просеке. Она не снимала белого дубленого полушубка, подаренного ей женой Цибули. На голове был небрежно повязан пуховый платок. Она ступала в своих валенках, как медвежонок.

— Если бы ты знала, Сарочка, как тяжело на сердце! Я бы все отдала, чтобы узнать, что с батькой! — говорила она, присев рядом с подругой.— Почему ты молчишь, Сарра? Неужели их убьют?

Она притихла, обхватив руками колени. Надежда то возвращалась, то вновь убегала от нее. И девушка истомилась от неизвестности и ожидания. Сарра молча потянула ее к себе, и Олеся послушно прильнула к ее плечу.

— Не надо так, Олеся. То ты веришь, то отчаиваешься. Ты бы что-нибудь одно уж, а то, глядя на тебя, я сбиваюсь с толку.

Сухо потрескивали в камине пылающие поленья.

Тихо в домике. Лишь в далеком чулане шепчутся перепуганные старик и старуха.

— Ага! Здоровеньки были, принимайте гостей! — влетел в столовую Птаха.

В минуту охотничий домик наполнился людьми. Сюда привезли только Людвигу и Стефанию. Старого графа и отца Иеронима с полдороги забрал к себе в Сосновку Цибуля.

— Так вернее. Всякое может случиться. Мне с отрядом к Манежкевичу ходить не гоже. Оставим там пятерых для охраны. Нехай ваши молодые и стерегут, а мы в Сосновку. Могельницкий туда нажмет, как пить дать. Мы свое дело сделали, а деревню без мужиков оставлять не годится. Так, что ли? — сказал Цибуля, обращаясь к Щабелю.

Тот подумал и согласился.

Людвига и Стефания поместились в комнате рядом со столовой. Тут стояли два широких кожаных дивана и пианино. Сюда привели и Франциску.

Раймонд, Птаха, Пшеничек, Олеся и Сарра устроились в столовой. Расторопный Леон успел познакомиться со сторожем и его женой. Он завел с ними дружескую беседу, как мог, успокоил и так понравился им, что старики даже накормили его из своих запасов, которые, как вскоре он узнал, были довольно солидными.

Он появился в горнице с чудесно пахнущим окороком и, встреченный удивленными возгласами, смеясь, сказал, как всегда коверкая слова:

— А старикашки симпатичные, даже окорок подарили. Ты что, Андрий, на меня так смотришь? Думаешь, стяпул? Тогда идем, спросим. То-то же!

В горницу вошли Пшигодский и Щабель.

— Как будто все в порядке,— ответил Щабель на немой вопрос Раймонда.

— Сани и лошади упрятаны в конюшню, сторожевые на месте. Снег пошел густо, через час все следы заметет. А Цибуля нарочно пройдет вблизи Холмянки. Там его заметят, дадут знать, от нас глаза отведут. Хитро придумал этот медведь!..

— А как тебе этот монах нравится? — спросил Раймонд.

В разговор вмешался Птаха.

— По глазам видать, что стерва: на человека не глядит прямо. Я каждого насквозь вижу...

— Ну, если видишь, то должен знать, что я еще с утра ничего не ел и у меня в желудке пусто,— нетерпеливо перебил его Леон.

— Это ты-то не ел? Ну и бессовестный же ты, Ленька! Действительно, что ни чех, то враль! — сердито сказал Птаха.

— А я слыхал, что чехи у хохлов вранью учились,— огрызнулся Леон.

Когда все уселись за стол, запасливый «Рупь двадцать» вытащил из мешка буханку хлеба и братски разделил ее на восемь частей.

Сарра резала ветчину.

Пшигодский встал из-за стола, подошел к двери, ведшей в соседнюю комнату, медленно приоткрыл ее и отрывисто позвал:

— Франциска!

— Чего тебе? — не сразу отозвалась та.

— Иди сюда, поешь тут,—сухо ответил он.

— Не пойду!

Тогда Мечислав открыл дверь пошире, переступил порог и повторил еще суше:

— Может, пойдешь?

Людвига и Стефания наблюдали за этой сценой. Они сидели на диване, не снимая шуб. Людвига — грустная и безразличная ко всему, Стефания — испуганная и растерянная.

Одна Франциска сняла свое пальтишко. В комнате было тепло. Она сидела у небольшого столика, скрестив на высокой груди полные, красивые руки.

— Кушай сам. Я сыта,— еще раз упрямо отказалась она.

Мечиславу было неловко, что два враждебных ему человека видят, как обращается с ним жена. Он уже пожалел о своем так неуклюже проявленном порыве помириться с Франциской.

Но уйти было трудно.

Неожиданно с дивана поднялась Стефания. Она быстро подошла к ним.

— Скажите, пане Пшигодский, что нас ожидает? — волнуясь, тихо заговорила она.

— Я не пан, а конюх, графиня! — так же тихо ответил ей Мечислав.

— Я не думала этим оскорбить вас. Ведь вы поляк и понимаете, что это обращение общепринято у нас. Притом я не об этом хочу с вами говорить. Я и графиня Людвига хотим знать нашу судьбу...— Ее голос дрогнул, страх подсказывал ей угрозу как средство защиты.— Послушайте, пане, простите...— Она замялась.— Как же вас называть прикажете?

— Мы зовем друг друга товарищами,— стараясь быть вежливым, отвечал Мечислав.

Стефания презрительно сжала свои накрашенные губы.

— Но вы сами понимаете, что я вам не товарищ. Ну, оставим это. Мы требуем, чтобы вы сказали нам, что вы собираетесь с нами делать. Не забывайте, Пшигодский, что за все это вы понесете жестокую расплату...

— Ладно, уж как-нибудь сочтемся! — оборвал ее Пшигодский.

— Вы бы вспомнили о своем отце и брате!

— Я о них не забываю.

— И вам не стыдно? Ваша семья столько лет преданно служит нам, а вы позорите ее, став разбойником! — не удержалась Стефания.

— Стефа! — остановила ее Людвига.

— Помните, Пшигодский, если вы сейчас же не отпустите нас, то вам не миновать виселицы. Вы же сами понимаете, что граф не оставит этого...

— Стефа! — уже негодующе позвала Людвига.

Франциска беспокойно шевельнулась. По лицу Мечислава она увидела, что сейчас он способен сделать что-то ужасное. Она поспешно подошла к мужу:

— Идем кушать!

Дверь за ними закрылась. Страх снова вернулся к Стефании.

— Погибли мы с тобой, Людвись! Ведь эти разбойники ни перед чем не остановятся! Свента Мария! — зашептала она.

— Зачем ты их раздражаешь такими разговорами?

— А ты хочешь, чтобы я перед этим быдлом плакала?

— Не надо плакать, но и грубить не надо.

— Грубить? Да это ж хам! Как жаль, что Шмультко его не повесил еще тогда! Как Эдвард прав,— таких животных только вешать! Ты видела, как он со мной говорил? — зашептала Стефания, подсев к Людвиге.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

К вечеру между Сосновкой и Малой Холмянкой начались переговоры. Письма перевозили крестьяне, не причастные к партизанскому движению. Первое письмо, которое получил Цибуля, было такого содержания:

«Деревня Сосновка. Командиру партизанского отряда Емельяну Цибуле.

Ваше письмо было доставлено мне сегодня в одиннадцать часов утра. Предлагаю выкуп за захваченных вами в сумме пяти тысяч рублей золотом. Расчет в золотых царских пятерках. Деньги будут вручены немедленно при обмене. Способ обмена и получение денег предлагаю установить вам самим. Выкуп необходимо произвести завтра же. Предупреждаю вас и ваших сообщников, что в случае, если хоть один волос упадет с головы захваченных вами женщин, отца и служителя церкви, то никому из вас не уйти от жестокой кары. Кроме того, будут расстреляны все арестованные нами в городе большевики, которых мы до вашего нападения собирались судить и которым, к вашему сведению, не грозит смертная казнь даже в случае выкупа нами за деньги членов моей семьи. Они будут подвергнуты лишь тюремному заключению. Ожидаю немедленного ответа. Обещаю никаких военных действий до окончания переговоров не вести.

Полковник Могельницкий. 21 декабря 1918 года».

Сачек прочел это письмо вслух Цибуле. Они сидели вдвоем в избе Емельяна Захаровича.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросил Цибуля своего помощника.

Сачек быстро заморгал редкими ресницами и, ухмыляясь, ответил:

— Ежели на него нажать, так он и десять даст.

Цибуля посмотрел на него внимательно, словно впервые увидел.

— Десять, говоришь?

— Пожалуй, что даст.

— А как же городские? — спросил Цибуля.

— Я же говорю, что, ежели нажать, десять тысяч золотом отвалит. У него, небось, побольше нашего с тобой. Сколько веков на нашем брате ездили,— заторопился Сачек, обрадованный тем, что Цибуля так спокойно принял его намек.— Городские что! Сам пишет — ну, в тюрьму посадит, там, глядишь, какая перемена произойдет. Тюрьма — это тебе не расстрел. Глядишь, у нас силы прибудут. Тут Березня подсылал своих ко мне насчет соединения. Они тоже против панов. Только у них с большевиками неполадки. А нам что до этого?

— Так, так...— пробурчал Цибуля и принялся за свою бороду.— А мне сдается, что брешет этот полковник насчет тюрьмы. Знаю я ихнюю повадку. Холмянские поверили, так он их за спасибо повесил.

Цибуля темнел, и Сачек поздно заметил свой промах.

— А ты, Сачек, сука. Мне про тебя раньше еще хлопцы говорили, но я думал зря, а ты, я гляжу, продашь отца родного.

— Да что вы, Емельян Захарович, я так, к примеру сказал. Воля ваша, делайте, как знаете.

— Так, так... Бери бумагу и пиши: «За деньги не продаем». Написал? «Доставляйте в Холмянку Раевского, его жену, Ковалло и Метельского». Написал? Так. «Тогда обменяем в чистом поле, да чтоб без обману. Чуть что — постреляю ваших. Мы не холмянские». Так и напиши им. Есть? Прочитай. Так. Ну, давай подпишу.

Вечером в охотничий домик вернулся «Рупь двадцать»; он привез оба письма Могельницкого. Во втором полковник отвечал Цибуле кратко:

«Согласен на обмен моей семьи на большевиков. Обмен произведем следующим образом: в поле между Сосновкой и Холмянкой на расстоянии версты останавливаются небольшие отряды с обмениваемыми в десять человек с вашей и нашей стороны. Первой должна быть обменена моя жена — графиня Людвига Могельницкая. Вы отпускаете ее, она идет через поле к нашему отряду; с нашей стороны мы отпускаем одного из тех, кого вы требуете освободить, и остальных таким образом».

— Ура! — закричал Птаха и пустился в бешеный пляс.

Всех обуяла радость. Даже сдержанная Сарра захлопала в ладоши и бросилась обнимать просиявшую Олесю.

— Вот видишь, Олеся, как хорошо, скоро ты обнимешь батьку.

— Господи, неужели правда? — улыбаясь, сказала Олеся.

Птаха перестал плясать.

— Послушай, Ленька,— подлетел он к Пшеничеку,— нет ли у старикашек чего-нибудь такого, знаешь, от чего жить веселей на свете? — И Андрий подмигнул впервые улыбнувшемуся Раймонду.

— Молочка от бешеной коровы? — сразу понял его Леон.— Я думаю, у них все есть. Ведь паны на охоте, небось, греются шпритусом. Я в один момент, только как начальство? Может, это не подходит под программу?— на полпути к двери задержался Леон.

— Я думаю, этого не надо...— сказал Раймонд, невольно смущаясь тем, что он возражает первый и этим как бы берет на себя роль начальника.

— Не надо, ребята, зачем нам это? — поддержала его Сарра.

— Не надо, так не надо,— сразу же остыл Птаха.

— Что ты его уговариваешь, Саррочка? Если он нос рукавом вытирает, значит он понял,— звонко захохотала Олеся.

— А, зазвенел колокольчик! — улыбнулся Щабель.

Даже сумрачный Пшигодский перестал хмуриться.

— Веселый народ эти наши ребята, с ними и умирать не скучно,— тихо сказал он Щабелю.

Тот нагнулся к нему и так же тихо спросил:

— Как вы думаете, товарищ Пшигодский, не съездить ли мне с вами к Цибуле? Ребят здесь оставим, троих партизан с ними для смены на постах. Читали? Могельницкий им деньги предлагал. Все может случиться. Поедем, а?

Пшигодский, подумав, согласился.

— Вот что, хлопцы, мы сейчас с товарищем Пшигодским поедем в Сосновку,— громко сказал Щабель, поднимаясь из-за стола,— а вы здесь будьте начеку. Раймонд, мы поручаем тебе командование вашим небольшим отрядом. Под утро мы вернемся и перевезем этих,— указал он рукой на дверь,— в Сосновку.

У ворот, уже сидя на коне, Щабель наказывал Раймонду:

— Гляди в оба. Окна завесьте. Сторожевых сам проверяй. В случае чего, коней с санями держи наготове. Ежели постовые отряд ихний приметят или разведку, так сажай графиню в сани, сами на коней и жарьте во весь дух в Сосновку напрямик по лесной просеке. Одним словом, соображай сам, как лучше.

В это время на другом конце двора Пшигодский прощался с Франциской:

— Ты что ж, с ними поедешь, ежели обменяют? — глухо спросил он.

— Может, и поеду. Куда мне?

— Не езди к ним! Направляйся к отцу в Сосновку.

— Это к тебе, что ль? Чтобы снова бил? Нет, дурех нету. Не хочу я с тобой жить, понимаешь? Не хочу!

— Франциска!

— Ты мне не угрожай! Я не для того за тебя шла, чтобы ты меня кулаками утюжил.

Студеный ветер хлестнул им в разгоряченные лица.

— Пшигодский! — позвал Щабель.

— Бить не буду, езжай к отцу. Там поговорим. А туда не езди, а то убью...

Когда все окна в домике были плотно завешены, Раймонд и Птаха еще раз обошли усадьбу вокруг. Снег перестал падать. Ночь была ясная. Луна кралась по верхушкам деревьев. Сосны отбрасывали огромные тени.

В лесу тишина. Чуть слышно скрипит под ногами податливый снег. Он покрыл все вокруг теплым ватным одеялом, закутав в него маленький домик и постройки.

Слышно было, как в конюшне лошади спокойно жевали овес.

— Смотрите, товарищи, внимательно,—говорил Раймонд трем партизанам,— мы под утро вас опять сменим. В случае, если заметите что, давайте знать. Расходитесь по своим местам.

Когда они с Андрием входили в столовую, Пшеничек, только что пришедший с караула, уже рассказывал девушкам что-то смешное...

— Что он здесь брешет? — спросил Птаха, расстегивая пояс с патронными подсумками.

— Он говорит, что ты за собственной тенью бегал, думая, что это легионер. Правда это? — хохотала Олеся.

На этот раз Птаха добродушно улыбнулся и безнадежно махнул рукой.

— Что ж, профессия у него такая — мельник...

— Что же нам теперь делать, Раймонд? — спросила Сарра.

— Я думаю, что вы с Олесей можете ложиться спать, а мы должны подежурить эту ночку. Посидим, поговорим кой о чем.

— Я не хочу спать,— отказалась Сарра.

— И я,— повторила за ней Олеся.

— Ну, тогда надо заняться чем-нибудь, а то скучно всю ночь так сидеть, и Андрий опять станет ко мне придираться, а у меня терпение кончится, и будет скандал,— начинал Леон свою игру в «кошки-мышки».

— Ты не очень-то на «петуха изображайся»,— передразнил его Андрий.

— Что ж, я по-украински хоть плохо, но говорю, а ты по-чешски что понимаешь?

— Опять начали. Надоело! — рассердилась Олеся.

— Эх, мандолину б сюда. Я бы сыграл полечку, а вы б сплясали. Все равно один конец. Завтра ведь у нас праздник. То-то рад будет Григорий Михайлович, когда нас с тобой увидит, Олеся! — воскликнул он.

— Олесю, конечно, а ты-то какая ему радость? — спросил Леон.

Андрий несколько секунд смотрел на Леона молча, а затем сказал:

— А ведь у вас в самом деле неплохо дело пойдет!

— Ты о чем? — осторожно спросил Леон, чувствуя какой-то подвох.

— Я насчет мельника. Папашка-то ейный муку молоть будет, ты языком, а она,— и он сделал на слово «она» ударение,— пироги печь. Тут тебе целая фабрика.

— Зачем ты их свел, Раймонд? Пошли одного на караул, и будет тихо,— предложила Олеся.

— Нет, мы уж свое отдежурили, а ты можешь постоять с винтовкой, если охота,— запротестовал Леон.

Сарра сидела за столом, подперев голову рукой.

Раймонд отдыхал в глубоком кресле у камина, не снимая сабли и маузера.

— Я видела в шкафу в третьей комнате гитары и мандолины,— сказала Сарра.

— Чего ж ты молчала? — радостно вскочил Птаха.

— Нам ведь было не до музыки, да и сейчас, пожалуй, еще рано веселиться,— ответила девушка.

Слушая ее певучий, мягкий говор, Раймонд представил себе выражение ее лица, черные, с холодком, огромные глаза и решительные, немного упрямые губы. Странно, но в то же время и понятно — ее одну Андрий слушается беспрекословно. Раймонд не помнил еще случая, чтобы этот беспокойный парень нагрубил ей.

— Ленька, бери лампу, пойдем струмент глядеть,— сказал Птаха.

Двери всех комнат выходили в общий коридор. Леон шел с лампой впереди. Птаха следом за ним. Около чулана Андрий задержался, прислушиваясь. «Старикашки спят».

В комнате, где помещались Людвига, Стефания и Франциска, был слышен тихий разговор.

— А ключ здесь зря торчит,— сказал Андрий и положил его в карман.

— Все равно им через нас только уйти можно, да и куда побежать? — ответил Леон, но все же попробовал, заперта ли дверь.

Через минуту они вернулись, неся в руках три гитары и мандолину.

— Там на них лет двадцать не играл никто, со всех гитар на одну едва струн наберешь. Сейчас я смастерю,— сообщил Андрий и энергично принялся за работу.

— Сарра, мы не давали еще ужинать этим? — указал Раймонд рукой на дверь.

— Нет, эта полная отказалась принять обед,— ответила Олеся.

— Как же быть? —спросил Раймонд.

— Что ж, я упрашивать должна была ее? Она на меня так посмотрела,— сказала Олеся.

— Ничего, захочет кушать, сама попросит,— успокоил Андрий, ловко накручивая на колышки струны.

Раймонд подошел к столу, на котором стояла тарелка с ветчиной и хлебом, и вопросительно взглянул на Сарру. Та задумчиво глядела на огни камина, не обращая на него внимания.

— Все же нужно передать им это,— сказал он и взял тарелку.

Сарра взглянула на него с едва заметной иронией.

— Ты как думаешь, Раймонд, твоего отца тоже ветчиной кормят? И он тоже отказывается? — спросила она.

— Да, но он в руках у шляхты. Какое же здесь сравнение с нами? Если опять откажутся, я оставлю им, и пусть как хотят.— Он направился в соседнюю комнату.

Дверь открыла Франциска.

Людвига, полулежавшая на диване, поднялась и села. Стефания не шевельнулась.

— Я принес вам ужин. Почему вы отказываетесь кушать? — спросил он Людвигу, останавливаясь перед нею.

— Спасибо, но мы не голодны,— неуверенно ответила Людвига. Ей хотелось есть, но ее смущала Стефания, наотрез отказавшаяся принять что-либо от «хамов».

Раймонд поставил тарелку с ветчиной и хлебом на стол.

— Могу вам сообщить, что вы завтра будете обменены на наших захваченных жандармерией товарищей.

— Нас обменяют? Это вы правду сказали? — мгновенно «проснулась» притворившаяся спящей Стефания.

— Вы, наверно, редко встречаетесь с людьми, которым можно верить,— сухо ответил Раймонд.

Теперь, когда с его головы была снята заячья шапка, Стефания и Людвига узнали его.

— Скажите, этот Пшигодский еще здесь? Я что-то не слышу его голоса,— с тревогой спросила Стефания.

— Нет, он уехал подготовить обмен.

— Слава богу! — облегченно вздохнула Стефания и сразу же преобразилась.

Она еще раз оглядела с головы до ног Раймонда и, стараясь быть как можно ласковей, спросила:

— Скажите, как вы попали в эту ужасную компанию?

Людвига, боясь, что Стефания скажет еще что-нибудь бестактное, поставила тарелку с ветчиной к себе на колени.

— Мы будем ужинать,— улыбнулась она.

Раймонд шагнул к двери. Стефания удержала его:

— Скажите, чем вы подтвердите правдивость ваших слов?

Раймонд вынул из кармана письма Могельницкого.

— Я вам верю,— протестовала Людвига, когда он подал ей письма.

Но Стефания взяла и жадно прочла оба письма:

— Матка боска ченстоховска! Хоть бы эта ночь скорей прошла! — воскликнула она и передала письма Людвиге.

— Вы графу сразу поставили условие об обмене наших товарищей? — спросила та.

— Да, я сам писал это письмо.

— А можно узнать, что вы ответили на первое его предложение?

— Почему же? Сказали, что на деньги не меняем, нам ведь нужно спасти товарищей...— Раймонд вышел, оставив дверь полуоткрытой.

— Есть! Настроил! — крикнул Птаха и взял первый аккорд.

Минуту спустя пальцы заметались по грифу, и мандолина запела в его руках.

— Бери, Олеся, сыграем наши любимые,— сказал Птаха, обрывая свое музыкальное вступление.

Олеся взяла в руки гитару, легонько тронула пальцами басы, и ей вспомнилась маленькая водокачка у реки и вечера, которые они проводили втроем. «Как он там сейчас, батько милый! Если бы он знал о завтрашней встрече...»

— Я жду, Олеся.

Полилась грустная песня. Она то замирала далеко за степными курганами, то, чудилось, ветер приносил ее издалека. В лирическую мелодию вдруг бурно ворвались радостные звуки.

Торжественным маршем вступала на землю весна, и у околиц вечерами теплыми запевали молодые голоса:

Ой там, ой там за Дунаем,
Та за тихим Ду-на-а-ем...

Песню сменила полька, задорная, кокетливая. Андрий забыл все. Он играл с такой страстью, что красота его игры дошла даже до Стефании.

— А ведь прекрасно играет...— заметила она.

Людвига любовалась мастерским исполнением. Музыка разбудила дремавшую боль.

— Раймонд, для кого я играю? — возмутился Андрий.

Леон подлетел к Сарре.

— Задумчивая женщина... Дорогой товарищ!.. За счет завтрашнего разрешите станцевать.

Сарра отмахнулась от него.

Андрий опять тронул струны, и зазвучал вальс. Леон ласково взял Сарру за руку.

— Но станцевать же можно? Зачем грустить!.. Или со мной не хотите?

Гитара Олеси вступила прекрасным созвучием басов. Сарра встала.

Леон осторожно обнял ее за талию, сильной рукой повернул вокруг себя.

Когда пляшут двое молодых и красивых — хорошо.

Раймонд, улыбаясь, следил за их легкими, изящными движениями.

«Лихо пляшет, чертов чех»,— позавидовал Птаха.

Франциска стояла у двери, наблюдая за танцующими. Она встретилась с глазами Раймонда, и оба невольно улыбнулись, как когда-то, при первой встрече.

Раймонд колебался минуту. «Но ведь Сарра танцует...» И он решительно отстегнул пояс, положил саблю и маузер на стол и, смущенно краснея, подошел к Франциске. Она, не раздумывая, положила руку на его плечо, и в горнице закружилась новая пара.

— Ты слышишь, Людвига, они ведь танцуют. И Франциска тоже.— В открытую дверь Стефании была видна вся горница.— Оказывается, играет не он, он пляшет с Франциской, этот парень, что приходил сюда.

Олеся давно уже бросила гитару и валенки и отплясывала в мягких чувячках. Один Птаха должен был играть, чтобы не нарушить общего веселья. Наконец ему надоело.

— Что ж это, я один должон играть? Это несправедливо,— сказал он.

— Что ж делать, Андрюша, ведь мы не умеем! — крикнул ему Леон.

— Ну, еще немножко, Андрюшка, скорее ночь пройдет.

Тогда Андрий встал и, к общему удивлению, отправился в соседнюю комнату.

— Прошу прощения,— сказал он.— Я слыхал, что все образованные на этой штуковине играют,— указал он пальцем на пианино,— так что прошу, сделайте одолжение, ежели можете на этом струменте,— полечку нам, а то все пляшут, а я один должон играть,— обратился он к Людвиге.

Его простодушие, прямота и детское желание плясать покорили Людвигу. Улыбаясь, она подошла к пианино и, вспомнив первый попавшийся мотив — «Итальянскую польку» Рахманинова, прикоснулась пальцами к клави-

шам. Птаха неожиданно для самого себя повернулся к Стефании:

— Прошу прощения, не в обиду, а для веселого вечера и за завтрашнее утро... Так что прошу вас сплясать со мной.

Сероглазый, сверкая ослепительной белизной прекрасных зубов, он стоял перед ней, этот парень с волнистым чубом. Стефания решила, что будет выгоднее для ее замыслов согласиться...

Андрий видел, что Олеся рассердилась. Сарра тоже. Но это не остановило его...

Лишь глубокой ночью в охотничьем домике стало тихо. Все заснули.

Спала Людвига, и во сне ей казалось, что так и должно быть: именно в этом домике, в такой необычайной обстановке она и должна была встретиться с этими людьми. Как хорошо, что она не ошиблась: эти люди, которых она защищала, которым симпатизировала, были действительно прекрасные люди.

Крепко спали заложники и их сторожа.

На широкой скамье уснули в обнимку Сарра и Олеся, которых Андрий заботливо укрыл своим полушубком.

Сам Андрий спал на полу, подложив руку под голову, Леон — на столе, Раймонд — на другой лавке.

Партизанам на дворе надоело ходить вокруг усадьбы порознь. Они сошлись все трое в конюшне. Здесь было тепло. Двое из них забрались в сани, а «Рупь двадцать» послали караулить. Тому захотелось пить, он вошел в дом, выпил из бочки, стоявшей в коридоре, добрую кварту воды и тут же присел погреться у печки, да и заснул. Партизаны в санях, надеясь на него, тоже незаметно уснули.

Ночью Стефания поднялась, надела шубу, меховую шапочку и вышла в соседнюю комнату. Обычно в этих путешествиях в конец двора их сопровождал кто-либо из девушек, сейчас же все спали. Стефания тихо открыла дверь в коридор,— там, разметав руки, сладко спал у печки партизан; его винтовка стояла тут же, прислоненная к стенке.

Несколько минут Стефания стояла в коридоре, затем тихо приоткрыла дверь. На дворе никого. С замирающим сердцем Стефания вышла во двор, постояла немного и затем быстро пошла к воротам. «Если остановят, скажу, что мне нужно»,— думала она, чувствуя, как колотится ее сердце.

Но ее никто не останавливал. Вот эта просека идет в Гнилые Боды, она не раз заезжала сюда со Станиславом попить квасу во время охотничьих прогулок мужа.

Чем дальше она удалялась от усадьбы, тем быстрее шла и, наконец, побежала, спотыкаясь в неудобных для ходьбы ботах. Но все еще не верила, что свободна. Уже километрах в двух от домика она почувствовала усталость. Бежать больше не могла. В сердце кололо. Она сбросила боты и, оставив их на снегу, пошла в одних высоких ботинках.

Наконец она услыхала лай собак, а когда подошла к околице, была остановлена криком на польском языке:

— Стой! Кто идет?

Из-за плетня выскочили два вооруженных человека. Это были легионеры из эскадрона Зарембы.

— Пусть вельможная пани не волнуется. Мой сержант довезет вас до города. Тут ведь близко. Дорога безопасная, мы только что оттуда. Ну, трогай,— махнул рукой Заремба сержанту.

Тот подобрал вожжи. Лошади тронулись. Стефания с беспокойством оглянулась. Эскадрон Зарембы на рысях выходил из деревни к лесу. Светало.

Первым проснулся «Рупь двадцать», спавший в коридоре. Ему стало холодно. Дверь, открытая Стефанией, остудила коридор. Его испуганный крик: «Хлопцы, спасайся — ляхи!» — разбудил всех. Больше «Рупь двадцать» не сказал ничего — Заремба выстрелил ему в голову.

Раймонд кинулся к оружию.

В коридор вломились легионеры. Птаха, как кошка, вскочил на ноги. Одним прыжком он достиг угла комнаты, где стоял его карабин. Соскочивший со стола Леон спросонок ничего не понимал.

В первое мгновение ничего не поняли и девушки. Андрий бросился к двери. Открыв ее, он отпрянул назад, снова захлопнув дверь. В коридоре грянуло несколько выстрелов. Щепы летели от простреленной в нескольких местах двери.

Слепая удача спасла Андрия от смерти.

Леон, наконец, понял, что произошло. Одним движением он перевернул стол и припер им дверь, а сам бросился к винтовке. Андрий стрелял через дверь из угла комнаты.

— Назад! — гремел в коридоре Заремба.— Прекратить стрельбу! Здесь графиня, пся ваша мать! Назад!

Коридор опустел.

— Мы их и так возьмем. Там трое мальчишек, а в перестрелке можно убить графиню,— объяснил поручик свое отступление солдатам.

— Если бы не этот лайдак,— яростно ткнул он тело «Рупь двадцать»,— мы бы их спящими накрыли.

— Что случилось, пане поручик? Почему вы отступили? — подъехал Владислав к Зарембе, видя, что солдаты отходят в глубь леса.

— Их нужно выманить без боя. Успели проснуться,— зло ответил младшему Могельницкому Заремба.

— Но вы были уже в доме! — вскипел Владислав.

Оскорбленный этим восклицанием, Заремба не вытерпел:

— Я-то был в доме, подпоручик, но вас там, кажется, не было. Прошу вас заниматься своим взводом и не делать старшим по чину оскорбительных замечаний. Я знаю, что я делаю.

Владек в бешенстве повернул коня и отъехал.

— Закрывайте окна скамьями! — командовал Раймонд.

В горнице забаррикадировались.

Раймонд вбежал в комнату, где помещались пленницы. Он увидел лишь бледную Людвигу и растерянную Франциску.

— Ради бога, что случилось? Где Стефания? — бросилась к нему перепуганная Людвига.

Раймонд быстро окинул взглядом комнату.

— Как где? Она должна быть здесь! — крикнул он.

— Вот оно что! Сбежала, гадюка! Проспали мы с тобой, Раймонд, и честь и славу,— с тоской сказал сзади него Птаха.

— Что ж вы будете делать? — Людвига схватила его за руку.

Птаха вырвал руку.

— Будем отбиваться до последнего... Ложитесь на пол, я с того окна стрелять буду! — крикнул он.— Все равно живым не сдамся. Пропадать — так не даром.

Он с яростью двинул тяжелый диван к окну.

— А почему вы остались? — спросил Раймонд Людвигу.

— Я ничего не знала о ее побеге...— чуть слышно ответила она.

— Пане поручик, тут двоих поймали в конюшне,— доложил Зарембе капрал и указал пальцем на партизан.

Заремба выразительно махнул рукой.

В домике услыхали короткий залп. Леон и Птаха стояли у окна, за своим прикрытием, готовые выстрелить в любое мгновение в каждого, кто попадет на мушку.

— Эй, там, в доме, не стрелять! Пан поручик хочет с вами говорить! — крикнул чей-то зычный голос со двора.

В доме молчали...

— Слушайте, вы, которые там засели! Я, поручик Заремба, послан сюда полковником Могельницким... Слышите? — кричал со двора Заремба.

— Слышим! Что ж из этого? — закричал в ответ Пшеничек.

— Предлагаю вам сдаться.

В домике молчали. Женщины сидели, как им приказали, на полу. Раймонд, вытянув вперед руку с маузером, следил за дверью.

— Повторяю. Я предлагаю вам сдаться. В случае, если захваченная вами графиня Могельницкая жива и невредима, обещаю сохранить вам жизнь. Если не сдадитесь, то перестреляю всех до одного. Даю пять минут на размышление.

В домике молчали. Раймонд, Птаха и Пшеничек переглянулись. Людвига по их взгляду поняла, что они не сдадутся. На дворе ждали... Смерть ходила где-то близко вокруг дома, пытаясь найти щель, чтобы войти сюда.

— Эй, там, в доме, сдаетесь?

— Пошел к черту, гад! Будем биться до последнего! Да здравствует коммуна! — крикнул Андрий.

Конец первой книги.

Сочи — Москва, 1934—1936 годы.

К Н И Г А   В Т О Р А Я

ГЛАВА ПЕРВАЯ[1]

Во дворе, по-видимому, совещались. Затем Заремба крикнул:

— Последний раз спрашиваю: сдаетесь? Дом окружен эскадроном. Никому не уйти живым. Сдавайтесь, пока я не раздумал. Черт с вами, обещаю отпустить на все четыре стороны, только сдавайтесь и выпустите графиню!

Теперь все в домике переглянулись.

— Кто им поверит? — глухо проговорил Птаха.

Тогда с пола поднялась Людвига.

— Разрешите мне поговорить с этим офицером, и я добьюсь вам свободы! Прошу вас поверить моему честному слову, что я вас не обману! Ведь сопротивление бесполезно. Они вас убьют. Я умоляю вас, пане Раевский! — еще более волнуясь, обратилась она к Раймонду.

Подавленный Раймонд даже не взглянул на нее.

— Пани графине можно верить. Она славная женщина, не в пример пани Стефании,— неожиданно поддержала Людвигу Франциска.— Она среди графов самая честная и добрая!

Птаха несколько мгновений пристально всматривался в Людвигу. Она ответила ему правдивым взглядом.

— Что ж, пущай говорит. Увидим, куда оно пойдет,— наконец согласился он.

Никто не возразил. Безвыходность положения была ясна всем.

---

[1] На этом отрывке оборвалась работа Н. Островского над романом «Рожденные бурей».

— Говорите,— согласился Раймонд.

— Пане Заремба, это говорю я — Людвига Могельницкая!

— Вы живы, вельможная пани? Не тревожьтесь, мы сейчас вас вызволим! — кричал ей Заремба.

— Я жива и здорова. Вы обещаете, пане поручик, что отпустите всех, здесь находящихся, на волю? Тогда они сдадутся без боя...

— Отпущу. Пусть сдаются.

— Это слово дворянина и офицера? Я за вас поручилась своей честью. Вы меня не опозорите? Скажите прямо!

— Пусть сдаются, отпущу на все четыре стороны.

— Я верю вашей чести, пане Заремба, и буду просить находящихся здесь сдаваться.

Людвига обернулась к Раймонду.

— Я знаю Зарембу — это честный офицер. Он выполнит свое слово. Сложите оружие, и он отпустит вас на свободу, я верю в это! — умоляюще говорила она.

— Что ты скажешь, Сарра? — спросил Раймонд, нагибаясь к сидящей на полу девушке.

— Обманут они нас, Раймонд... Какой позор! Что мы наделали!..

— Нет, они не посмеют этого сделать. Я буду вас защищать,— уверяла ее Людвига.

После короткого совещания решено было сдаться. Первым на крыльцо вышел Птаха. Он сразу же наткнулся на труп хромого партизана. И ему впервые стало страшно.

Дом был окружен солдатами. Около крыльца стоял с револьвером в руке Заремба. Птаха взглянул ему в глаза и понял, что дальше этого двора не уйти. И ему стало жаль себя.

Последними вышли женщины, среди них Людвига. Парней сразу же стали обыскивать. Несколько солдат бросились в дом забирать оружие.

— Поздравляю вас, графиня, со счастливым исходом! — взял под козырек Заремба, щелкая шпорами.

— Добрый день, пане Заремба! — пожала ему руку Людвига.

— Уберите этих отсюда! — приказал он и повернулся к Людвиге.— Скажите, как эти негодяи с вами обращались?

— Очень хорошо. Вы их сейчас отпустите?

Заремба презрительно усмехнулся.

— Стоит ли говорить об этой швали! Слава богу, что вы живы! Пан полковник всю ночь не спал. Пойдемте, я вас проведу к саням. Пан Владислав тоже здесь. Мы с ним немножко поссорились, он там...— сказал Заремба и подал Людвиге руку.

— Пане Заремба, я хочу, чтобы вы их отпустили при мне. Я, конечно, верю вашему слову, но они поверили только мне, и это меня обязывает,— начиная тревожиться, сказала Людвига.

— О каком слове может идти речь? Вы помогли нам, за это большое спасибо. А с этим быдлом нечего церемониться.

Как бы иллюстрируя его мысли, один из солдат толкнул Олесю прикладом в спину.

— Пошла, говорят тебе! — шипел он па девушку, не желавшую уходить.

Олеся упала. Птаха кинулся к солдату.

— Не смей бить!

Сержант Кобыльский страшным ударом приклада в лицо свалил Андрия на землю.

— Ах, вот ваша честь, убийцы! — крикнула Сарра.

Один из солдат ударил ее плетью по лицу. Опрокинув стоящего перед ним солдата, Раймонд бросился на защиту. Заремба выстрелил в него, но промахнулся. Град ударов посыпался на Раймонда. Его били прикладами, нагайками...

Безоружный Леон кинулся в эту гущу спасать товарища.

Во время этой свалки жандармский сержант Кобыльский и двое солдат схватили поднявшуюся Олесю и потащили ее. Франциска бросилась за ними.

— Куда вы ее тащите, негодяи? Пани графиня, спасайте же! — кричала Франциска, обезумев.

Она не отпускала Олесю.

— Заремба, остановите эту подлость! Я презираю вас! Вы... негодяй! — вскрикнула Людвига.

Лицо поручика залилось густой краской.

— Отставить! По местам, пся ваша мать! — заорал он.— Кобыльский, бросьте девчонку, говорю вам!

Солдаты прекратили избиение и медленно отходили в сторону. Жандармы отпустили Олесю. Кровавые полосы от нагаек на лицах Сарры и Раймонда, кровь на лице неподвижно лежавшего на снегу Птахи и все только что

происшедшее казалось Людвиге кошмаром. Залитый кровью Птаха шевельнулся. Он пришел в себя. Людвига нагнулась над ним, рыдая. Она помогла ему подняться. Он встал, пошатываясь, взглянул на нее с дикой ненавистью и, судорожно кашляя, еле шевеля разбитыми губами, выплюнул на ладонь три окровавленных зуба.

— Пойдемте, графиня. Вам здесь не место,— сухо сказал Заремба.

— Я не отойду ни на шаг отсюда, пока вы не отпустите этих людей! — с отвращением отворачиваясь от него, сказала Людвига.

— Прошу вас, вельможная пани, оставить это место. Вас ожидают сани. А с этими людьми будет поступлено по закону,— еще суше сказал Заремба.

Людвига резко повернулась к нему. В ее глазах он прочел такое презрение, что ему стало неловко.

— Заремба, вы — негодяй! Но знайте: если вы когонибудь из них убьете, я покончу с собой! Клянусь вам в этом!

— Даю вам слово дворянина, графиня, что никого из них,— ответил он, отступая от нее на несколько шагов,— я не расстреляю. Отпустить же их не могу, не имею права.

Окруженные солдатами, они шли тесной кучкой. Птаха все еще кашлял кровью, оставляя на белом снегу алые пятна. Их больше не били, потому что за их спиной ехали сани, в которых сидела измученная Людвига. Франциска сидела рядом с солдатом, ожесточенная, замкнутая.

Раймонд крепко прижимал локоть Андрия к своей груди,— они шли под руку. Птаха был очень слаб.

— Проспали мы свою честь, Раймонд! А зубы мне правильно выбили, чтоб знал, с кем плясать!

МЫСЛИ Н. ОСТРОВСКОГО О СВОЕЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЕ НАД РОМАНОМ „РОЖДЕННЫЕ БУРЕЙ“

Как должна была сложиться дальнейшая жизнь героев романа «Рожденные бурей»? Вряд ли есть хоть один читатель, который бы не задумался над этим, закрывая первую часть романа.

В Московском и Сочинском музеях Н. Островского хранятся черновые материалы, которые позволяют, в известной мере, ответить на этот вопрос. Собраны высказывания автора, отдельные

записи, пометки, предположения по поводу общей линии романа и отдельных его героев.

— Во второй книге,— говорил писатель,— будет показано, с одной стороны, собирание сил врага, захват панской Польшей части Украины и соглашение с Петлюрой; с другой стороны,— организация Красной Армии из мелких партизанских отрядов, борьба крестьянских масс против помещиков, стихийные восстания, которые превращаются во всенародное движение против иноземных оккупантов. Красная Армия громит петлюровские банды.

В третьей книге Н. Островский собирался показать уже ничем не прикрытое наступление пилсудчиков на молодую Республику Советов. Героическое сопротивление малочисленной советской армии: тринадцать тысяч красноармейцев против шестидесяти тысяч вооруженных до зубов врагов. Пилсудчики занимают Киев. Буржуазия торжествует. Но под Уманью собирается железный кулак Конной армии. Страшный удар — и враг катится назад. Наше победное наступление и изгнание зарвавшихся интервентов из Украины. Вандализм фашистов: уничтожение прекрасных зданий, бессмысленное, варварское истребление всего, что попадает под руку. Поджог деревень, взрывы железнодорожных станций. Кровавый путь озверевших людей, именующих себя «защитниками культуры».

Островский жил жизнью своих героев — Раймонда и Андрия, Пшеничека и Олеси...

— Я полон мыслями об этих близких и родных мне людях,— часто говорил он.

В их дальнейшей судьбе для него уже многое определилось.

С честью выдержав тяжелое испытание гражданской войны, герои романа «Рожденные бурей» становятся активными строителями новой жизни, за которую они так самоотверженно боролись.

Перед Островским вставало будущее Олеси...

Вслед за своим отцом, машинистом Ковалло, уходит Олеся в Красную Армию. Срезав свои чудесные косы и переодевшись в мужской костюм, она превращается в стройного, привлекательного юношу. Олеся — отчаянный кавалерист в дивизии, которой командовал боевой комдив Щабель. Он признается ей в любви, и она согласна стать его женой, но только после того, как Украина будет начисто освобождена от врагов. Девушка говорит Щабелю: «Буду твоей, только когда кончится война».

Однако ее возлюбленный не сдержал слова верности. Олеся узнает о его мимолетной, во хмелю, связи с другой женщиной, не прощает ему этой измены и навсегда порывает с ним.

Вернувшись после войны в родной город, девушка слышит рассказы о фронтовых подвигах Андрия, завоевавшего себе славу бесстрашного бойца.

Вскоре в городе появляется и сам Андрий Птаха...

Узнав о решении Олеси связать свою жизнь со Щабелем, Андрий Птаха тяжело переживает потерю любимой девушки. Отчаявшись, искал он смерти в боях. Горячая, буйная натура, ненависть к панам толкали его на исключительно смелые, порой безрассудные поступки. Он попадал в очень трудные положения, но всегда выбирался из беды. Когда он вернулся домой, на его груди горел орден Красного Знамени.

С непередаваемой радостью узнал Андрий, что Олеся в городе, что она не вышла замуж... Они встретились, как старые друзья. Олесю растрогала преданность и верность Андрия. Она почувствовала, что теперь, когда нет отца, Андрий Птаха — самый близкий и дорогой для нее человек.

С радостью и нежностью говорил Островский об их счастливой и дружной жизни, о том, какой хорошенький черноглазый варенек рос у них, как любил и баловал своего сына Андрий.

Часто вспоминал Островский о Васильке. В этот образ он вложил много своего, автобиографического. Сам он, будучи подростком, расклеивал по поручению подпольного ревкома листовки. И Василек бесстрашно и дерзко, на глазах жандармов, разбрасывает воззвания большевиков. Так же, как Коля Островский, Василек убежал из дому в Красную Армию. Он стал любимым воспитанником одной из кавалерийских частей.

Андрий Птаха долго не знал, где находится его отчаянный братишка, и очень о нем тревожился. И вот совершенно случайно он встретил его на фронте.

Произошло это так.

Получив задание срочно переправиться с группой бойцов через реку и прискакав к мосту, Андрий увидел, что по мосту движется кавалерийская часть. Он врезался на коне в самую гущу войска, с трудом прокладывая себе путь, и вдруг почувствовал, что кто-то огрел его нагайкой по спине. Обернувшись, чтобы ответить на удар, он так и замер с поднятой вверх рукой: перед ним был Василек. В папахе, спустившейся до самых бровей, в широкой и длинной не по росту шинели, Василек выглядел до того смешным, что Андрий громко и от всего сердца расхохотался, прежде чем обнял братишку.

После этой встречи они надолго расстались. Василек остался в полку. Он вырос там. Когда кончилась война и пришло время

Васильку призываться в Красную Армию, он пошел в летную школу.

Как сложится жизнь Раймонда Раевского? Об этом Островский не говорил. Возможно, ему самому она была еще недостаточно ясна. Одно он знал твердо: Раймонд пойдет по пути отца, закаленного, стойкого бойца великой большевистской партии.

Воспитанный в семье профессионала-революционера, Раймонд не знает колебаний. Он находится на самых опасных участках борьбы, работает в подпольных коммунистических организациях Польши, Чехословакии. Он олицетворяет собой преданную и отважную смену, которую вырастила и воспитала старая большевистская гвардия.

Трагически определялась вначале жизнь Пшеничека. В первых же боях он потерял ногу. Сознание своей неполноценности угнетало его. В поисках работы он попал на водяную мельницу и остался там. Здесь он встретился с Франциской, которая не захотела мириться с деспотизмом и угрюмой озлобленностью своего мужа, покинула его и ушла к своим родственникам — владельцам мельницы.

И вот Леон Пшеничек полюбил Франциску. Она пожалела его своим добрым сердцем. Но счастье их оказалось непрочным: остаться с ним она не могла; страдала ее женская гордость, когда на ее друга и на нее, красивую, здоровую женщину, окружающие смотрели с жалостью.

Пшеничеку понятны переживания Франциски. И хотя ему было очень тяжело, он не стал удерживать ее, когда она сказала, что покидает его. Пшеничек решил возвратиться в армию. Находились, правда, люди, которые грубо отталкивали и высмеивали его: «Иди, мол, гусей пасти, а нам не время с тобой, безногим, возиться». Однако он все-таки упросил взять его в партизанский отряд, хотя бы кашеваром (он ведь кондитер по профессии). Его привезли на становище к партизанам. И он стал варить им такую вкусную кашу и печь такие необыкновенные пироги с яблоками, что завоевал общую любовь.

Но в нем билось сердце бойца. Он не мог примиряться со своей участью. После жестоких сражений кашевар старательно чистил бойцам пулеметы, помогал собирать и разбирать их и в результате в совершенстве овладел искусством пулеметчика. Он упросил командира взять его в бой. Как и раньше, Пшеничек не знает страха, и его пулемет без промаха бьет по врагу. Героя награждают сначала одним, а потом и вторым орденом Красного Знамени.

По окончании войны ему сделали протез и настолько удачно, что увечье стало незаметным.

Снова встречается он с Франциской. Теперь это крепкий союз много переживших и много испытавших людей. Франциска — энергичный, инициативный советский работник. Пшеничек умело управляет большим предприятием.

Вся семья Михельсон становится жертвой погрома. Только благодаря счастливой случайности уцелела Сарра. Над телами дорогих ей людей Сарра поклялась все свои силы отдать борьбе за свободу народа. Во имя великой цели она отказалась от личной жизни. Она целиком и безраздельно отдается революционной деятельности и вырастает в крупного партийного работника. Ее идейность, принципиальность, суровая требовательность к себе создают ей огромный авторитет в массах.

Пережитое в юности страшное горе оставило глубокую рану в ее сердце; тень грусти навсегда осталась в ее глазах, и улыбка редко появляется на ее прекрасном лице.

Бесславно кончают свою жизнь Казимир и Владислав Могельницкие. «Старую собаку», графа Казимира, и его младшего сына Островский не думал оставлять в живых.

Было несколько вариантов.

По последнему из них старый граф должен был погибнуть от руки Мечислава Пшигодского, который с чувством большого удовлетворения рассчитался с ним за все издевательства над Франциской.

Владислав же попадает в руки партизан. Он отрекается от титула и всех своих богатств, предает друзей, сулит партизанам «великие награды», желая спасти себя, но гибнет, как последний трус и подлец.

Что произошло с Людвигой?

«Романтическое существо!» — со снисходительной усмешкой думает Эдвард Могельницкий о своей жене. Действительно, воспитанная на романах Сенкевича и Жеромского, Людвига очень далека от жизни. Она наивно считала своего мужа идейным борцом. Жизнь безжалостно открывает ей глаза. Людвига не переходит в лагерь революционеров, как ожидали некоторые читатели. Ее «беззубый гуманизм» не получает дальнейшего развития. Она уезжает в Англию, чтобы изолировать себя от ужасов войны.

В дальнейшей борьбе против народа за свои бывшие владения Эдвард Могельницкий показывает свое истинное лицо, и оно настолько отвратительно, что его жена, которая раньше преданно любила его, не может больше оставаться с ним.

Островский говорил о Людвиге:

— У многих она вызывает возражения и опасения: куда я ее поведу в дальнейшем. Но выше я ее поднимать не буду. Сейчас она на вершине своего гуманизма.

Он рассказывал о графе Эдварде.

После гражданской войны Эдвард Могельницкий занимает большой дипломатический пост во Франции.

Было бы неправильно угробить Эдварда. Он не погибает в гражданской войне. Пусть молодежь знает, что далеко не все враги народа были тогда истреблены, что остались такие, как Эдварды,— враги опасные, непримиримые, готовые буквально на все, лишь бы вернуть свои поместья и капиталы. Пусть молодежь знает, что с ними еще предстоит жестокая схватка!

Таковы в общих чертах наметки судеб отдельных героев романа «Рожденные бурей».

СОДЕРЖАНИЕ

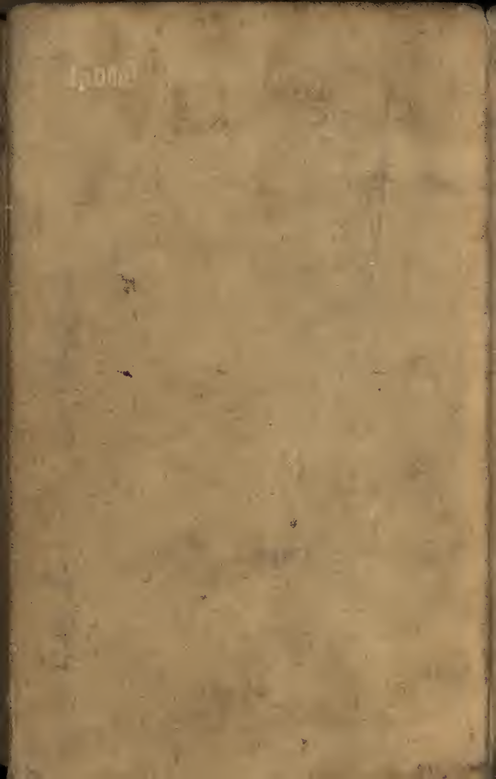
Печатается по изданию Гослитиздата, 1949

Редактор *Л. Ф. Суханова*
Оформление художников *О. И. Масланова* и *В. С. Орлова*
Художественный редактор *Н. И. Брюханов*
Технический редактор *К. М. Подъельская*
Корректоры *В. Н. Тихонова* и *Е. А. Ульянова*

Подписано к печати 29/XI 1961 г.
Бумага $84\times108^{1}/_{32}$. 17,5 печ. л. 28,7 усл. печ. л. 30,42 уч.-изд. листа. Госиздат 234. Тираж 200 000.
Заказ № 965. Цена 1 р. 06 к.

Госиздат Карельской АССР
Петрозаводск, пл. им. В. И. Ленина, 1

Сортавальская книжная типография
Министерства культуры Карельской АССР
Сортавала, Карельская, 42



НИКОЛАЙ
ОСТРОВСКИЙ

